ДЕНЬ и НОЧЬ

литературный журнал для семейного чтения

№ 4 2010

Художник Василий Елесин

Уроженец Красноярского края, выросший в живописных местах Горной Шории и получивший художественное образование в Ташкенте, В. А. Елесин прошёл сложный путь творческого становления. Он не мыслит себя без путешествий, без общения с природой и людьми, вне служения искусству. В г. Мыски Кемеровской области, где живёт художник, он открыл «Народную картинную галерею»—«Елесинку», место встреч творческой интеллигенции.

ДЕНЬ и НОЧЬ
литературный журнал для семейного чтения
№ 4 (78) | июль–август | 2010

«Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжёлое искупит заблужденье
И усмирит бунтующую страсть».
Е. А. Баратынский

В номере

ДиН встречи
Марина Саввиных
3 **Жизнь журнальная:** *куда ж нам плыть?*

ДиН юбилей
Сергей Кузнечихин
13 **Аршином общим не измерить…** *к 115-летию со дня рождения Сергея Александровича Есенина*

ДиН диалог
Юрий Беликов, Наталия Нарочницкая
20 **Красоту не купишь, или отчего Россия не может быть Швейцарией**

ДиН мемуары
Наталья Гарбер
25 **Уплыл причал**
Евгений Белодубровский
37 **Моя чуковина**

ДиН стихи
Владимир Алейников
15 **Глядя сквозь пламя**
Виктор Коврижных
128 **Вспашка зяби**
Николай Переяслов
129 **Под млечною рекой**
Дарья Верясова
133 **Жизнь—это дело привычки**
Наталья Бельченко
135 **Ненасытный воздух покаянья**
Наталья Елизарова
137 **Когда родством полна душа…**
Рустам Карапетьян
138 **И вот получается так…**

Страницы Международного сообщества писательских союзов
Владимир Прасолов
42 **Вангол**

ДиН публицистика
Артём Яковлев
85 **Кавказский дневник**

Библиотека современного рассказа
Нина Горланова
139 **Из ранних рассказов**
Андрей Дёмкин
144 **Васька**
Анатолий Грешилов
149 **Осень цвета перванш**
Григорий Найда
153 **«Чистосердечно раскаиваюсь…»**
Олег Димов
168 **Дети длинных ветров**
Михаил Стрельцов
176 **Храм превращается в плацебо**
Роман Мамонтов
188 **Дважды снаряд не падает**
Евгений Москвин
191 **Неправильные люди**

ДиН мегалит
Владимир Тарковский
202 **Безымянные**
Маргарита Ерёменко
204 **Благословляя и людей, и камни…**
Мария Маркова
205 **Не ласточка, не птичье целованье…**
Никита Чубриков
207 **О мужской любви к паровозам**

ДиН дебют
Иван Чирик
208 **Тоска по чужому**
Дина Лазарчук
223 **На трассе Квебек—Сингапур**

ДиН ирония
Валерий Белозёров
224 **Поднебесная окрошка**

ДиН перевод
Вислава Шимборска
233 **Три самых странных слова**

127 **Положение о литературной премии им. Игнатия Рождественского**

ДиН память
Виль Мустафин
152 **Истоки печали**

Клуб читателей
Борис Кутенков
226 **Литературные журналы** *haute couture*
Ульяна Лазаревская
230 **Рассуждение книжного червя после долгожданной трапезы**

ДиН детям
Эльдар Ахадов
235 **Сказки про выхухоль**

ДиН дети
243 **Синяя тетрадь**

248 **Авторы**

главный редактор

Марина Саввиных

заместители главного редактора

Эдуард Русаков
Александр Астраханцев
Сергей Кузнечихин

ответственный секретарь

Михаил Стрельцов

секретарь

Наталья Слинкова

дизайнер-верстальщик

Олег Наумов

корректоры

Александр Мазур
Ирина Бахтина

редакционная коллегия

Николай Алешков
Набережные Челны

Алексей Бабий
Красноярск

Юрий Беликов
Пермь

Светлана Василенко
Москва

Владимир Токмаков
Барнаул

Дмитрий Мурзин
Кемерово

Валентин Курбатов
Псков

Андрей Лазарчук
Санкт-Петербург

Александр Лейфер
Омск

Марина Переяслова
Москва

Евгений Попов
Москва

Лев Роднов
Ижевск

Анна Сафонова
Южно-Сахалинск

Илья Фоняков
Санкт-Петербург

Вероника Шелленберг
Омск

издательский совет

П. И. Пимашков
Глава города Красноярска

В. М. Ярошевская
директор Красноярского краеведческого музея

М. С. Невмержицкая
директор Красноярского библиотечного коллектора

Т. Л. Савельева
директор Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края

В оформлении обложки использована иллюстрация Лахмацкой.
www.illustrators.ru/i/33036

издатель

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“».

ИНН
246 304 27 49

Расчётный счёт
407 028 105 006 000 001 86
в Красноярском филиале «Банка Москвы» в г. Красноярске.

БИК
040 407 967

Корреспондентский счёт
301 018 100 000 000 967

Адрес редакции:
ул. Ладо Кецховели, д. 75а,
офис «День и ночь»
Телефон редакции:
(391) 2 43 06 38

Журнал издаётся с 1993 г. В его создании принимал участие В. П. Астафьев. Первым Главным редактором с 1993 по 2007 гг. был Р. Х. Солнцев. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № 77–7176 от 22 мая 2001 г. выдано Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Издание осуществляется при поддержке Агенства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Редакция благодарит за сотрудничество Международное Сообщество Писательских Союзов.

Рукописи принимаются по адресу: 66 00 28, Красноярск, а/я 11 937, редакция журнала «День и ночь»

или по электронной почте: kras_spr@mail.ru.

Желателен диск с набором, фотография, краткие биографические сведения.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

Интернет-версия журнала www.krasdin.ru поддерживается ООО «КИТ».

Подписано к печати: 1.09.2010
Тираж: 1500 экз.

Отпечатано с готового оригинала в типографии ООО ИПЦ «КАСС».

Адрес: 66 00 48, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 65, стр. 23

Марина Саввиных

Жизнь журнальная: *куда ж нам плыть?*

Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,
Но чу!—матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз—и паруса надулись, ветра полны;
Громада двинулась и рассекает волны.

Пушкин

В конце июля 2010 года небольшая творческая группа «ДиН» предприняла деловую поездку в объятую небывалой жарой центральную часть России. Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Обнинск. Всюду, несмотря на летнее—отпускное—безлюдье, усугублённое к тому же климатическим катаклизмом, состоялись встречи, собеседования и переговоры, значение которых для культурного процесса, поддерживаемого толстыми литературными журналами, на мой взгляд, трудно переоценить.

Это, собственно, и было целью командировки—налаживание связей, «собирание» рассыпавшейся среды общения писателей и читателей в некое обозримое целое, способное к саморазвитию, продуцированию и потреблению качественного художественного вещества хотя бы внутри самого себя, если уж постиндустриальный мир предсказанным образом «загнивает» по собственному сценарию. В том, что необходимость такого «собрания» давно назрела, мы убедились, работая над проектом *Международного альянса русскоязычных литературных журналов*—возможным детищем нескольких сетевых литературных порталов и периодических изданий. В течение полугода мы переписывались и переговаривались с редакторами и функционерами самых разных журналов и альманахов—и электронных, и бумажных. И вот к чему пришли, в конце концов…

Такт первый. Точки опоры

Меморандум Международного альянса русскоязычных литературных журналов

Представители литературных журналов, публикующих произведения авторов, живущих в России и за рубежом и пишущих на русском языке, подтверждают своё согласие в признании остроты следующих проблем:

— падение интереса к художественной литературе, ведущее к общему культурному обеднению современного человека и—как следствие—к трансформации культурного пространства исключительно в «рынок»: книжный бизнес превратил книгу, рассчитанную на массового читателя, попросту в бумажный продукт;

— девальвация ценности художественного слова; огромное количество текстов низкого качества, заполонивших страницы журналов и альманахов; трудности с публикациями, с обращением к своему кругу читателей талантливых авторов, нередко так и остающихся в безвестности;

— отсутствие системы критериев качества литературных произведений; практически исчезновение литературной критики как инструмента формирования и поддержки художественного вкуса; существование множества весьма сомнительных по уровню оценки конкурсов и премий;

— разобщённость русскоязычной культурной элиты, существующей в настоящее время в разных странах в виде диаспор и фактически лишённой творческих и социальных контактов.

Вышеизложенное представляется достаточным для того, чтобы заявить об учреждении Международного альянса русскоязычных литературных журналов (сокращённо—МАЛЖ).

МАЛЖ—объединение творческих людей и издательских ресурсов—ставит перед собой цель формирования международной русскоязычной литературной среды, которая будет:

— способствовать творческой реализации талантливых литераторов вне зависимости от места проживания, привлекать авторов дальнего и ближнего зарубежья, знакомить с ними российского читателя—в том числе и за счёт обращения к творческому потенциалу талантливых переводчиков;

— поддерживать условия для естественного развития литературного процесса;

— добиваться усиления роли художественных журналов, их влияния на литературный процесс; формировать и удерживать систему критериев оценки литературных произведений, обеспечивающую необходимый и достаточный уровень качества публикаций, по крайней мере, в зоне влияния альянса;

— представлять интересы литературных журналов в выстраивании отношений с государственными структурами, меценатами и общественными движениями и организациями.

Для осуществления этих задач русскоязычные литературные журналы уже сегодня могут:

— обмениваться авторами и рукописями, предоставлять друг другу страницы для презентации творческих достижений;

— проводить собственные рейтинги и конкурсы и предлагать лучшие произведения издательствам для выпуска новых книг, тем самым, способствуя распространению, чтению и обсуждению лучших произведений в русскоязычной аудитории;

— реализовывать совместные проекты, как поддерживающиеся международными грантовыми программами, так и осуществляющиеся за счёт других благотворителей и/или инициатив.

Учредителями МАЛЖ являются представители литературных журналов, подписавших данный Меморандум. Ежегодно открытым голосованием избирается Правление, состоящее из представителей семи журналов (по одному), и один — из семи — журнал, который в течение года выступает в качестве Координатора. Впоследствии новые участники принимаются согласно поданному заявлению в наличествующее Правление после обсуждения кандидатуры всеми членами Альянса и открытого голосования по этому вопросу.

Финансирование деятельности Альянса осуществляется за счёт:
— ежегодных взносов участников;
— грантовых программ;
— иных поступлений, не запрещённых законодательством РФ.

МАЛЖ является общественным движением, не образующим юридического лица, и действует на основании Устава, утверждённого Собранием Учредителей:

Александр Петрушкин
гл. ред. журнала «Новая Реальность», Кыштым

Марина Саввиных, Дмитрий Мурзин
гл. ред. и член редколлегии журнала «День и ночь», Красноярск—Кемерово

Людмила Коль
гл. ред. журнала «LiteraruS», Хельсинки

Юрий Беликов
гл. ред. сайта Dicoross.ru, лидер движения дикороссов, Пермь

Сергей Сутулов-Катеринич
главный редактор Международного поэтического интернет-альманаха «45-я параллель», Ставрополь

Вячеслав Корнев
ред. журнала «ЛикБез», Барнаул

Дмитрий Чернышев
зам. шеф-редактора журнала «Зинзивер», Санкт-Петербург

Дмитрий Дзюмин
гл. ред. журнала «АльтерНация», Омск—Санкт-Петербург

Игорь Кузнецов
ред. журнала «Знаки», Кемерово

Иван Бекетов, Павел Банников
соредакторы журнала «Ышшо Одын», Алмааты, Казахстан

Алексей Караковский
гл. ред. журнала «Контрабанда», Москва

Михаил Блехман
ред. альманаха «Портфолио», Канада

Евгений Лукин
гл. ред. альманаха «Северная Аврора», Санкт-Петербург

Александр Ломтев
гл. ред. ежемесячной культурно-просветительской газеты «Саровская пустынь», г. Саров Нижегородской обл.

Семён Каминский
редактор литературной страницы еженедельника «Обзор», Чикаго

Николай Алешков
главный редактор альманаха «Аргамак», Татарстан

Геннадий Петров
гл. редактор литературного журнала «На любителя», США

Такт второй. Санкт-Петербург

«Литературный журнал — как билет в театр…»

20 июля 2010 г.
Петербургский Дом Писателя

Евгений Лукин
главный редактор альманаха «Северная Аврора»

Марина Саввиных
главный редактор журнала «День и ночь»

Михаил Стрельцов
ответственный секретарь журнала «День и ночь»

Андрей Лазарчук
писатель

Саввиных. Один молодой поэт, очень талантливый, на мой вкус, в беседе со мной заявил, что «литературный журнал — это миф, сейчас не существует никаких литературных журналов. Литературные журналы, которые выходят, никто не читает. Они никому не нужны. Они не нужны массовому читателю, поскольку таковой отсутствует. Они не нужны государству, потому что оно не выражает заинтересованности в их существовании и не поддерживает их, как правило. Или, если поддерживает, то в каких-то своих интересах. И вообще, я вижу ситуацию таким образом — сказал он — нужно сделать журнал литературный наиболее приближенным к «глянцу». Вот существует же, например, «Плейбой»… Это — грубо. Но если создать гибрид «Плейбоя» и современной литературы, сделать это модным — вот тогда существование литературного журнала будет оправдано, и он сможет продаваться, приносить доход, у него будет читатель».

Лазарчук. Опыт такого рода был. Успешный и долгий. Этот журнал закрылся четыре года назад. Издавался же он лет сорок. Это английский журнал «Омни», который действительно печатал элитарную литературу, разбавляя это огромным количеством рекламы. Такой вот журнал. Там можно было читать все произведения, которые опубликованы… в мире, где литературные журналы вообще редки. Они платили чудовищные гонорары. И, тем не менее, они жили. Я не знаю, по какой причине они ушли, видимо, что-то всё-таки меняется. Их несколько раз покупали и перепродавали… а вообще, журнал такой — да, был.

Лукин. Начнём, наверное, вот с чего. Мы живём в «постгуттенберговскую» эпоху. Что это значит? Это означает, что тот вид реализации

литературы, который существовал до недавнего времени, как в России, так и на Западе, потихоньку уходит. Речь идёт о бумажных носителях. Литература сейчас развивается в параллельных мирах. На бумажных носителях и на электронных. Поэтому, что в России, что на Западе, тиражи журналов в бумажном варианте—маленькие. Любой западный журнал нашего профиля возьмём и увидим—500, 1000 экземпляров. Это означает, что эти журналы поступают на потребление… кому? Авторам, прежде всего. Потому что это материализация некой духовной жизни, а читатели, пожалуйста, доступ в Интернет. Читайте.

Саввиных. Или читателям, которые до сих пор не могут пользоваться сетевыми ресурсами. Людям старшего возраста, как сейчас—политкорректно—их называют… пенсионерам.

Лукин. Да. Вы понимаете—это о будущем. Что нас ждёт впереди. Второй момент. Очень важный. По всему миру, не только в России интерес к литературе как таковой резко упал. Люди не приобретают книги. В качестве примера рассказываю следующую историю. Недавно, в прошлом году, правительство Испании решило повысить интерес испанцев к книге. Оно пошло на следующий эксперимент. В киосках на железнодорожных вокзалах, в аэропортах они стали размещать книги… огромные развалы книг… и эти книги предоставлялись пассажирам—бесплатно. Вот вы едете, куда-то собрались, возьмите с собой «Дон Кихота»… или что-нибудь ещё. Книги были напечатаны за счёт правительства Испании. Их можно было взять бесплатно. Вы не поверите: книги так и остались на этих развалах. О чём это говорит? О том, что аналогичные ситуации будут и в России. Даже если наше правительство пойдёт на подобную гуманитарную акцию, мы можем столкнуться с тем же. Кстати, этот опыт испанский изучают сейчас и в Штатах, и в Германии. Я недавно общался с немецкими товарищами, тоже эту тему обсуждали. Путь-то должен быть другой. Путь этот проторён уже на Западе. Нужно действовать именно в том социуме, который этим интересуется. Насильно заставить человека читать—невозможно.

Теперь, что касается литературных журналов… Что такое—литературный журнал? Литературный журнал, прежде всего,—барьер. Барьер от графомании. Это как билет в театр. Не все же могут пойти на театральное представление, а только тот, кто купил билет. И к вам, и ко мне поступает бездна рукописей, но мы же не публикуем всё подряд! Мы же осуществляем отбор. Предъявляем определённые требования к публикации. Издать в издательстве за свой счёт сейчас можно всё, что угодно. А напечататься в литературном журнале, хорошем, я подчёркиваю, может далеко не каждый. Безусловно, в каждом литературном журнале есть свои пристрастия, и так далее, и так далее… Но, если автор талантлив, то он обязательно опубликуется, не в этом журнале, так в другом. Сейчас огромное разнообразие журналов. И если его взгляд на мир не подходит одному журналу, подойдёт другому. Именно поэтому литературные журналы не умрут. Потому что любой человек, особенно интересующийся литературой… для него это—определённый уровень. Критерий. Вот в чём смысл… да пусть хоть десять экземпляров. Будет уровень. Какой тираж был у пушкинского «Современника»? Триста экземпляров? Правда, типографское дело было тогда в самом зачатке… Какой тираж был первых сборников Анны Андреевны Ахматовой? «Вечер», «Чётки»? Двести экземпляров.

Саввиных. Ну—всё вернулось на круги своя.

Лукин. Количество экземпляров абсолютно не свидетельствует о качестве. Мы же говорим, качество стихов Анны Ахматовой—запредельное. Высочайшее. Правда? А некоторые графоманы издают—тысячными тиражами. Ну и что?

Саввиных. Да ещё в какой полиграфии прекрасной издают…

Лукин. Как правило, в прекрасной полиграфии. Поэтому толстые журналы—обычно—без всяких рисунков, только цветные вкладки, потому что каждый номер—«Северной Авроры», например,—рассказывает о каком-нибудь художнике. Глянцевые? Ради Бога. Пусть выходят. Набоков в «Плейбое» печатался. Кстати, в следующем номере «Северной Авроры» идут неизвестные стихи Владимира Набокова. Первая публикация на русском языке.

Лазарчук. «Плейбой» в смысле литературы как раз очень респектабельный журнал…

Лукин. Я как раз и хотел сказать, что глянцевые журналы… если они хотят печатать художественную литературу—ради бога. Существует огромное разнообразие. Но мы в данном случае говорим о литературных журналах, которые занимаются исключительно литературой. В глянцевом журнале—и гламур, и всё, что угодно. Весь набор—от кроссвордов до высокой словесности. Ради бога.

Саввиных. Теперь, собственно, о «Северной Авроре». Поделитесь секретом—как вы работаете с авторами? Как к вам попадают рукописи—ведь это не только и не столько самотёк? Это ориентация на определённые фигуры, имена, на определённые тексты? Как формируется портфель вашего журнала?

Лукин. Безусловно, у меня есть определённые вкусы. Главный редактор обязан и должен формировать политику журнала. Вот именно в этом направлении работает журнал, вот такой должен быть подбор материалов. Именно в этом главный редактор должен быть диктатором. Никакого «винегрета» не должно быть. Иначе журнал будет терять лицо.

Это закон жизни. Поэтому, ориентируясь на собственный вкус, я обращаюсь к тем или иным авторам с просьбой предоставить материалы. А второе, у меня, безусловно, существуют среди писателей… назовём их так—литературные агенты, мои друзья, которые рекомендуют мне авторов, которых, допустим, я не знаю.

Про Шарова вы не найдёте ни в одном толстом журнале. Ни одной статьи. Нет ничего. Единственная исследовательница есть в Москве — он москвич, — которая напечатала в какой-то газете небольшую статью о нём. Всё! Не печатают. Причём человек, который предоставил мне развёрнутое исследование, посвящённое творчеству Владимира Шарова, говорит: «Евгений, ты не поверишь, я и в этот журнал отправлял… — перечисляет московские толстые журналы… — ни один не взял».

Саввиных. А причина? Не говорят о причинах?

Лукин. Не говорят. Мы с Шаровым не знакомы. Когда эта публикация состоялась, я послал её Шарову. Он был страшно потрясён, зазывал в Москву приехать, познакомиться. Но главное не это: автор, наконец… талантливейший, интеллектуал… обрёл первую публикацию! А ему под шестьдесят. Это о чём говорит? Материалы есть! И я стремлюсь подбирать именно то, что не будет опубликовано в каких-то других толстых журналах. Я не в упрёк им говорю, у них своя политика. Я свою политику веду. То есть, постоянные контакты; писатели, которые проявляют интерес, они же и являются передатчиками материала. Роман Всеволодов съездил на Московский форум в Липки, познакомился с Хоботневым. Роман приехал и говорит: слушай, там такой интересный парень возник на горизонте — Дмитрий Хоботнев. Так состоялась эта публикация в «Северной Авроре».

Журнал «Северная Аврора» — это такая система координат, в которой Петербург присутствует как культурный центр… место выхода журнала — питерские авторы. Проза, поэзия. И есть, с одной стороны, вектор в глубь России… под рубрикой — «Сибирские гости»… вот в следующем номере — «Олонецкие гости»… И — вектор вовне России. Постоянная рубрика «Русский мир» — писатели, которые выехали, живут в США, Франции, Германии, Бельгии, Израиле. Очень много талантливых авторов там. Ну, естественно, и переводы. В следующем номере, например, индийский гость. Генеральный консул индийского консульства в Санкт-Петербурге пишет стихи. И хорошие стихи. Они переведены, и в следующем номере появятся стихи этого замечательного индийского поэта. Это же всё расширяет наш кругозор. Вот для этого литературные журналы и существуют. Я ответил на ваш вопрос?

Саввиных. На самом деле, это очень похоже на то, как мы делаем свой журнал. Мне даже трудно увидеть какую-то принципиальную разницу. Наверное, большинство литературных журналов сегодня так и живут. Особенно те, которые не пользуются госбюджетом, то есть не входят в государственные структуры. Ведь «Северная Аврора» не на государственные деньги издаётся?

Лукин. Конечно, нет. Ни в коем случае. Знаете — почему?

Саввиных. А очень даже понятно. У нас ситуация такая, что мы, для того, чтобы выжить, всё время перед дилеммой стоим: или сдаться всё-таки нашему краю, который, конечно же, будет свои требования предъявлять к содержанию…

Лукин. Вот это самое главное. Вопрос в том, каковы требования.

Саввиных. С другой стороны, нам всё равно приходится пользоваться разными источниками. В этом году, например, мы получаем от края серьёзную субсидию, и обязаны изрядную часть нашего объёма отводить местному материалу. А он, понятное дело, не может быть столь же богатым, как литературный массив всего русскоязычного мира. Само поле значительно сужается тогда. Но всё равно мы стараемся сети ставить мелкие — что попало не публикуем. А вообще, очень похоже… я знаю массу других альманахов и журналов… тот же казанский «Аргамак»… томский альманах «Каменный мост»… и так далее. Структура литературных журналов практически везде одинакова. Всегда есть какой-то местный материал, но в основном люди ориентируются на широкое пространство.

Лукин. Я стремлюсь особое внимание уделять молодым авторам. Это будущее. В журнале есть рубрика «Голос минувшего». Произведения тех литераторов, которые недавно ушли. У меня в следующем номере идёт подборка стихов Анатолия Соколова, новосибирского поэта, который недавно умер. Я уже с ним работал, ещё с живым, готовил эту подборку… и вдруг узнаю такую печальную весть. Замечательнейший совершенно поэт. Это же очень важно — помнить. А молодые — это будущее. Они дальше понесут, они будут помнить о нас. Хоботневу сколько? Тридцать лет. Нас уже не будет. А он будет и, может быть, добрым словом вспомнит о нас. Поэтому очень важно молодых поддерживать.

Саввиных. Конечно. Всё это очень близко и понятно. И — следующий вопрос. Прямо вытекающий из всего этого. Как распространяется «Северная Аврора»?

Лукин. Сложный вопрос. Прежде всего, это рассылка по библиотекам. Часть журналов уходит на Запад. К журналу проявили интерес славистские факультеты университетов Великобритании. Это уходит туда. Запад изучает нас гораздо более интенсивно, чем мы сами… интересуется. Я такого не ожидал, когда начинал всё это в 2005-м. Такого моментального интереса.

Саввиных. Мы это тоже почувствовали.

Лукин. Понимаете, честно говоря, союзам московским на нас наплевать. И Москва вообще своей жизнью живёт. Отдельно от России существует. У них всё хорошо. У них всё замечательно. А вы своей жизнью живёте, в России. Вы думаете, Москва хоть раз проявила интерес к моему журналу? Зато вот Красноярск приехал. Большое спасибо. Вы согласны со мной?

Саввиных. Ситуация такова, что многие москвичи тоже недовольны ходом литературных дел. Вот только что разговор состоялся с Василием Димовым, московским писателем. Он говорил то же самое, что и вы. И очень многие москвичи к нам стучатся в журнал, и мы печатаем самое лучшее, самое интересное. Москва тоже… она

становится похожа на слоёный пирог. Есть как бы каста избранных, которые активно публикуются в престижных изданиях—из номера в номер, и есть другие, не попавшие в этот слой… они смотрят по сторонам и стучатся в другие журналы. Вы говорили о Шарове—ведь он же москвич.

Лукин. Очень важно, чтобы журнал был доступен в Интернете. Потому что это вообще безразмерный тираж. Всегда можно найти. Я сейчас работаю над сайтом Санкт-Петербургского Дома писателей, там будут представлены все питерские журналы. Приглашаю и ваш журнал—когда всё это будет готово. Не так быстро делается, но, я думаю, к осени… ссылка, баннер ваш. Вот такое взаимодействие мы организуем. И другие журналы пригласим—«Бельские просторы», «Дальний Восток»… Московские ребята—пусть они уже там сами, как хотят. А мы будем жить с Камчаткой и Дальним Востоком.

Саввиных. И ещё вопрос—касающийся того проекта, в который мы вас вовлекли. Международный альянс литературных журналов. Разные есть точки зрения. Из тех людей, к которым я обратилась, занимаясь организационной стороной вопроса, примерно четверть вообще не откликнулись, несколько изданий ответили категорическим отказом… например, харьковский «Союз писателей»: нам это не интересно, это никому не нужно и вообще писатели не живут стаями… и тому подобное. Или «Немига литературная»—они не захотели «якшаться» с журналами авангардного направления. Но большая часть людей очень живо и охотно нас поддержала, и на сегодняшний день 17 изданий, русских и зарубежных, подписали Меморандум, который мы разработали, и ожидают дальнейших действий. Насколько вам, Евгений, это кажется актуальным, нужным, осуществимым? И какой вам видится деятельность такого альянса?

Лукин. Когда звучать пессимистические высказывания—зачем вы этим занимаетесь?—я сразу говорю: ребята, вы пессимисты? Ну и сидите в своей скорлупе и нойте. Кому это нужно… литература умерла… Это—не к нам. Я сторонник теории малых дел. Пусть что-то потихонечку делается, делается—и вдруг: раз—возникает явление. Чем интересен этот альянс? Он создаёт среду. Это главная задача! Поскольку информационное пространство разорвано по территориям… мы же видим везде стремление узнать друг друга, познакомиться друг с другом. Это не обязательно должны быть личные контакты, поскольку затруднено передвижение—дороговизна поездок и т. д. Но Интернет… это гениальное изобретение, которое даёт возможность контактировать. И если альянс возьмёт на себя функцию посредника в этом взаимодействии, находить интересные материалы, интересных авторов—он свою задачу как раз и выполнит. Альянс будет формировать и уровень! Снобы всегда будут, но рано или поздно эти снобы сами придут… я вас уверяю! Я считаю, что тот Меморандум, который был опубликован,—абсолютно правильный. Сибирь—честь вам и хвала, что вы взяли на себя этот труд…

Подвижниками всё всегда и делалось. Примажусь к вашей славе—я тоже подвижник. Потому что всё это не приносит никаких сумм, на которые можно купить «Тойоту» или что-то там ещё.

Саввиных. Тут другие дивиденды. Возрастание духа…

Лукин. А разве эти отношения, которые возникают, сотрудничества, товарищества, дружбы… разве это не сокровища наши?

Такт третий. Москва

«Люблю выращивать плодовые деревья…»

26 июля 2010 г.
Офис издательства «Вест-Консалтинг»

Евгений Степанов
генеральный директор издательства, главный редактор журналов «Дети Ра», «Футурум АРТ», литературного портала «Читальный зал»

Марина Саввиных
главный редактор журнала «День и ночь»

Встреча состоялась в «штаб-квартире» Степанова—цокольном этаже, кажется, не тронутого реставрацией с родимого XVII века особнячка на одной из окольных улиц Москвы. Крошечная комнатка, в которой, что называется, троим не разойтись,—кабинет одного из самых успешных издателей и деятелей культуры современной России. В этой комнатке, среди книжных полок, стоек с журналами и газетами, канцелярскими папками и почтовыми конвертами, по привычке сутулясь, видимо, от близорукости и худощавой возвышенности роста, Степанов говорит открыто и темпераментно и напоминает при этом алхимика в лаборатории по изысканию философского камня… А потом я поняла: он—не алхимик, а садовник! Ведь это не профессия—садовник, это что-то вроде «кармы»…

Степанов. Всё, что бы я ни делал, всегда воспринимается какой-то частью общества очень болезненно. Если—наоборот—поэты регионов, которым некуда податься… ну, нет в достаточном количестве изданий… говорят «спасибо» за то, что я их публикую, есть масса каких-то злопыхателей, недоброжелателей, которые обвиняют меня, Бог знает в чём… Но для меня это тоже награда, потому что, значит, мой продукт не мёртвый. Хорошо говорят только о покойниках. Из этого я и исхожу. Это и обнадёживает.

Огромное количество талантливых людей в России до сих пор не востребованы. И то, что мы в меру своих сил что-то для них делаем,—разве это не результат? У меня нет никаких субсидий от государства, я не получаю от государства ни рубля… Вы видите, в каких условиях я живу… сказать, что здесь сидит Гарун аль Рашид

на золотых мешках и управляет финансовыми потоками мира, при всём желании никто не может…

Есть несколько людей, которые мне помогают, спасибо им… Я мог бы делать в разы больше, но денег не хватает. Я за всё плачу сам. Из своего кармана. И если кто-нибудь мне найдёт человека, который скажет, что издание литературного журнала—это прибыльное дело, я тому принесу бутылку лучшего коньяка… если кто-то мне скажет: вот это прибыльное дело—ок, я несу коньяк… научите—как… дайте совет, ребята, я двадцать лет работаю в отрасли… Я зарабатываю совершенно другими вещами. Совершенно другими делами, которые к литературе вообще не имеют никакого отношения. Просто никакого. В некоммерческой издательской деятельности есть… может быть, болезнь какая-то, наваждение, безумие. Что это такое, я не понимаю. Но я, видимо, генетически как-то так неправильно устроен. У меня мама переводчица с немецкого языка, а отец у меня экономист. И как-то у меня это всё сочетается в голове—с одной стороны, практическая жилка, экономическая, а с другой стороны, филологические эти корни. И сам я по образованию экономист и лингвист. Поэтому, видимо, так и получилось.

Саввиных. Понимаю. Я тоже сейчас всячески ищу возможности каким-то образом материально поддерживать свой журнал…

Степанов. Я считаю «День и ночь» одним из лучших журналов России. Я об этом открыто говорю. И раньше говорил. И в наших обзорах, которые печатаются в «Детях Ра», у нас не было ни одного критического отзыва о журнале «День и ночь». Ни разу. У нас выходил номер красноярских поэтов, который Антон Нечаев составил—это взгляд Антона. Он составил, его был «карт-бланш». Мы представили этих поэтов. Но это не значит, что взгляд может быть только один. Надо ещё номера составлять, посвящённые Красноярскому краю, Сибири в целом. Я Вас приглашаю к сотрудничеству. И с Антоном буду продолжать сотрудничать. У меня с ним очень хорошие отношения. Я издатель его книги. Мы поддерживаем друг друга. Даже когда он меня ругает… недавно написал ругательную статью о «Детях Ра».

Саввиных. Вот как?!

Степанов. Да, он написал, что журнал «Дети Ра» становится—на его взгляд—закрытым… и что-то такое. Но я подумал, что, может быть, это и хорошо… значит, у нас—льщу себя тщеславной надеждой!—появляются какие-то фильтры редакционные, мы становимся более щепетильны в отборе. Так это плюс. То есть я сейчас стараюсь видеть, как шахматист, в любой ситуации выигрышную для себя позицию: ты так считаешь—хорошо, значит, нужно посмотреть с другой точки зрения. Ты считаешь, что это знак минус, а я считаю, что это знак плюс. То мы печатали вообще весь этот литературный мир, а сейчас мы более разборчивыми становимся. Я надеюсь на это. Всему своё время. Видите ли, я садовод. Люблю выращивать овощи и плодовые деревья. Я всегда привожу такой пример: не надо яблоню трясти в мае или в июне. Нужно в августе тихо подставить руки. Вот и всё. Тогда яблоки сами упадут в ладони.

Саввиных. Наверное, никто лучше Вас не представляет себе современную журнальную жизнь. Как Вы её оцениваете? Журналов очень много. Они появляются, исчезают. Есть такие старые «монстры», как «Новый мир», «Звезда», «Нева», «Наш современник»… Многие из них стали другими. Например, «Новый мир» сейчас—не тот журнал, который мы знали раньше. Каждый месяц появляются новые журналы, которые претендуют на собственное место в литературном пространстве. И виртуальные журналы, и журналы бумажные. Каким Вам видится этот процесс?

Степанов. Марина, когда Вы говорите—журнал «Новый мир» стал другим, не таким, каким мы знали его раньше, что Вы имеете в виду? Он стал, на Ваш взгляд, лучше, хуже?

Саввиных. Он стал не лучше и не хуже. Он стал другим. Ведь как мы воспринимали «Новый мир»? Это был журнал, в котором представлены наивысшие результаты литературного процесса. Образцы.

Степанов. Можно не продолжать… моя точка зрения с Вашей совпадает. В прошлом году вышла большая моя статья в «Литературной газете», где я дал анализ работы отдела поэзии журнала «Новый мир». Я специалист достаточно узкопрофильный, и докторскую диссертацию сейчас буду защищать по современной поэзии. Анализ достаточно критический, потому что в журнале «Новый мир» за последние 10 лет ни разу не печатались такие авторы, как Вознесенский, Ахмадулина, Ваншенкин, Казанцев, и многие-многие другие поэты, которые являются классиками русской поэзии, русской литературы. Там другие авторы стихов. Например, Андрей Василевский, главный редактор. Ирина Василькова, жена главного редактора. И так далее, и так далее. И я просто привёл статистические данные, кто печатается, кто не печатается. Спору нет, печатать себя приятно. Знаю это по себе. И жену обижать не стоит. Но ведь надо и других не забывать, не менее талантливых людей. Тем более если твой журнал поддерживается государством. А «Новому миру» государство оказывает финансовую помощь. Поверьте, я очень хорошо отношусь к «Новому миру». И с Василевским мы в нормальных отношениях. Я считаю этот журнал национальным достоянием. И хочу, чтобы он был лучше, чем он есть сейчас. Паша Крючков, редактор отдела поэзии «Нового мира»,—мой товарищ. Мы недавно встретились, обнимались. Он говорит: «Ну, зачем же ты меня так?..». Я говорю: «Паш, ну, мы же честные люди. Мы же договорились, что, несмотря на дружбу, мы говорим друг другу правду. Вот я тебе говорю правду. Ты говоришь мне правду. Я не идеален. У меня тысяча грехов. Но и вы тоже не идеальны. Давайте

меняться в лучшую сторону». Мне кажется, они постепенно меняются в лучшую сторону. Вот недавно напечатали Дмитрия Строцева. Поэта-авангардиста из Минска. Замечательные стихи.

Но, конечно, говорить о том, что «Новый мир» эпохи Василевского и «Новый мир» эпохи Твардовского отличаются друг от друга—это то же самое, что утверждать, что Волга впадает в Каспийское море. Это очевидно. Это разные журналы. Но не стоит забывать и о том, что изменилось время. Не все зависит от «Нового мира». Изменилась сама литературная ситуация. Совершенно очевидно, что появление на литературной карте такого гиганта, как Журнальный Зал, во многом уравняло в правах самые разные издания. У них появилась одна читательская аудитория. У «Нового мира», у журнала «День и ночь», у журнала «Сибирские огни», у журнала «Крещатик», у журнала «Дети Ра»… У нас—одна читательская аудитория. И престижность публикации в журнале «День и ночь» ничуть не меньше престижности публикации, допустим, в журнале «Октябрь». Вот мне скажи—где бы ты хотел опубликовать что-то своё? Я бы сказал—объективно… я бы сказал, в журнале «День и ночь»… или в журнале «Зинзивер», который тоже я издаю, но стихов своих там не печатаю. Он тоже сейчас вошёл в «Журнальный Зал». Это я в меру своих скромных сил поддерживаю Союз писателей Санкт-Петербурга. То есть я издатель этого журнала, но уже редактор—не я. Я все свои полномочия делегировал Ольге Логош, которая живёт в Санкт-Петербурге.

Саввиных. Мы знаем этот журнал. Очень хороший журнал.

Степанов. Я считаю, что «Зинзивер»—один из лучших сейчас журналов поэзии. Слава Богу, поступило предложение от руководства Журнального зала… я их не просил об этом… но ко мне лично обратился Сергей Павлович Костырко: «Женя, как ты смотришь на такой вариант, что мы представим через «Дети Ра» твой проект—журнал «Зинзивер»?» Я ответил: «Да я замечательно на это смотрю!». Тем более, мы работаем рука об руку с руководителем Союза писателей Санкт-Петербурга Валерием Георгиевичем Поповым, он у нас председатель редакционного совета. С моей стороны сейчас—прежде всего финансирование. И какая-то техническая поддержка. Мы тут, в Москве, верстаем, распространяем, печатаем. Помогаем, чем можем.

Для меня сейчас совершенно понятна ситуация: если журнал входит в «Журнальный Зал», он состоялся. И это помогает представить широкую палитру русской литературы. Потому что журнал «Дети Ра» публикует, например, самых разных поэтов разных направлений. Но начинали мы как журнал немножко авангардного толка, и у нас печатались, прежде всего—Кедров, Кацюба, Бирюков, Никонова… но этих авторов раньше не было нигде в журнальнозальном пространстве. Их там не было, хотя это состоявшиеся авторы, о которых пишутся статьи, книги и даже диссертации во всём мире. Кому-то эти поэты нравятся, кому-то не нравятся. Но они есть. Давайте, ребята, их тоже покажем. И более того. Смотрите, сейчас у нас в восьмом номере выходит моя статья о литературном процессе. В частности, о поэзии Сергея Гандлевского. И о том, как делаются имена в литературе. Я прекрасно к нему отношусь, но я пишу статью, где даю филологический разбор некоторых его стихотворений. Есть очень хорошие стихи. А порой и никуда не годные строки встречаются. Просто стих рассыпается. При этом существует огромная армия пиарщиков от литературы, которые его превозносят: Гандлевский—это гений… и всё такое… и многие мои друзья начинают это поддерживать… никто не говорит о его строчках, рифмах, синтаксисе, строфике и так далее, и так далее. То есть, получается, что у нас выходит на первый план литературный менеджер, пиарщик. Эти господа определяют: кто поэт, а кто не поэт… Поэтому очень важно, чтобы была возможность сравнивать. Давайте мы покажем других поэтов, которые тоже работают в силлабо-тонической манере. Почему Андрей Василевский никогда не печатал Валерия Прокошина при жизни? Ни разу. Почему? Потому что печатали охотно сами себя. А Валерий Прокошин—замечательный русский поэт, умерший в 49 лет. Или Юрий Беликов из Перми. Почему не было ни одной его подборки в «Новом мире»? Давайте создадим возможность сравнивать. И тогда мы увидим, что есть авторы, серьёзно преувеличенные, а есть недооценённые. Должна быть возможность компаративного анализа. Вот для этого я, собственно, и работаю. Не нужно сравнивать Гандлевского и Кацюбу. Нужно сравнивать поэтов в тех рамках, в которых они работают. Давайте сравнивать Гандлевского, Беликова, Арутюнова… множество авторов, которые работают в силлабо-тонике, но которые не так широко представлены, как мой давний хороший знакомый Кенжеев, литературным агентом которого я был 20 лет назад. И свою работу, как видите, сделал неплохо. Но это было 20 лет назад. Так давайте посмотрим и на других. Вот почему важны литературные журналы. Вот почему важен «Журнальный зал». Вот почему я создал «Читальный зал». Чтобы показать разных авторов. Поэт не отвечает за литературных менеджеров. Я как раз пишу в этой статье… Гандлевский—ангелоподобный человек, который работает в журнале «Иностранная литература», пишет два стихотворения в год и знать ничего не знает о «нюансах» так называемого литературного процесса. Важна сама ситуация, и важно, чтобы литературные менеджеры, литературные критики, пиарщики не перегибали палку. А это сейчас происходит. Вот против чего я выступаю. И делаю это старым проверенным способом: я публикую… издаю… Через меня проходят тонны рукописей. «Вест-Консалтинг» издаёт множество литературных журналов—«Знание-сила. Фантастика»,

«Крещатик», «Зинзивер», «Дети Ра», альманах «Илья», журнал «Футурум АРТ», журнал «Персона+»… Газета «Литературные известия» теперь выходит в еженедельном режиме. Сейчас я начинаю новую газету «Поэтоград». Это всё я издаю с одной целью — представить русскую литературу, русскую поэзию, прежде всего, в том огромном, выпуклом объёме, в котором она существует сегодня.

Саввиных. Верно ли я поняла, что присутствие издания в «Журнальном зале» — это что-то вроде знака качества? Несколько месяцев назад едва ли не по всем литературным интернет-ресурсам пронёсся шум по поводу того факта, что ЖЗ прекратил приём журналов, и первой «жертвой» этой политики пал журнал «Бельские просторы». Это уже довольно старая история, но, может, у Вас есть к этому какие-то новые комментарии?

Степанов. Вы знаете, главные комментарии к этой истории оставил сам С. П. Костырко, художественный редактор портала «Журнальный зал». Я знаю позицию Сергея Павловича. И думаю так же, как и он, в данном случае. Нужен один огромный литературный портал — текстохранилище, в котором существуют все издания, которые выходят. Все. Это должна быть государственная целевая акция. Все журналы. Журнал «Тютькин и ко»… журнал «Литературные незнакомцы»… всё должно быть оцифровано. Однозначная позиция. Текстохранилище. С другой стороны, как себя позиционирует «Журнальный зал»? У нас своя культурная платформа. У нас своё видение литературного процесса. Мы сами решаем, кого сюда приглашать. Указывать им, с точки зрения юридической, естественно, никто не имеет права. С моей точки зрения, как читателя, как редактора, я бы «Бельские просторы», естественно, принял. Я считаю, что палитра «Журнального зала» должна расширяться. И должен сказать, что определённые шаги в этом направлении они делают. По моим секретным оперативным данным, они сейчас включают журнал «Союз писателей». Вот это из того, что нового там появится.

Объективно говоря, конечно, я лично «Журнальному залу» только благодарен. Потому что если б я не мог размещать там свои издания, их читательская аудитория была бы в разы меньше. И это было бы похоже на то, что — как говорили в знаменитом фильме — провести брачную ночь без невесты. Ты что-то делаешь, делаешь, а тебя никто не читает. У меня был такой период, много лет назад, когда я издавал журнал «Окно», я всё делал сам — сам составлял, сам верстал, сам переплетал в одном экземпляре и сам… читал. Так что такой этап у меня в жизни уже был — журнал «Окно». Замечательный журнал. И потом я ходил и всем показывал, как сумасшедший: видишь, я тебя напечатал… видишь, я тебя напечатал. Журнал «Окно». Я всем показывал. Но я такого больше не хочу.

Саввиных. Сейчас появляются другие литературные порталы… я обратила внимание на то, что журналы не считают для себя зазорным выставляться на разных порталах. Вот, например, совершенно новый портал… за год ребята сделали…

Степанов. «Мегалит».

Саввиных. Да. Поскольку там молодёжь очень интересная, мы сразу их поддержали, и они нас поставили… как бы впереди своего состава — мы охотно сотрудничаем с этими ребятами…

Степанов. Читал. Очень хороший портал.

Саввиных. Очень хороший. Это ведь не конкуренция?

Степанов. Совершенно верно! Мы не конкуренты, мы коллеги. По сути, мы единый организм, призванный оздоровлять литературную ситуацию.

Саввиных. И Саша Петрушкин, который курирует этот портал, тоже об этом постоянно говорит.

Степанов. Саша Петрушкин — замечательный человек. Мы с ним знакомы. Он прислал мне по электронной почте свои стихи несколько лет назад. Мне кажется, его ещё никто толком не знал. Я его «выловил». Начал активно его печатать. Потом я повидался с ним, увидел, что он абсолютно — в лучшем смысле — ненормальный человек. И это ему надо, и это, и это, и всё… Я понял, что это поэт, которого нужно поддерживать, но я не ожидал от него таких замечательных организаторских способностей. Молодец!

Саввиных. «Мегалит» за год сделали! От нуля.

Степанов. От нуля! И без копейки денег. На собственном энтузиазме. И встали вровень со всеми этими гигантами. И очень хорошо! Я считаю, что это просто здорово!

Саввиных. Евгений, что, на Ваш взгляд, происходит сейчас с нашей поэзией? Выправляется ли как-то этот постмодернистский вывих?

Степанов. По поводу палитры современной поэзии. Я призываю читательское сообщество понять одну простую вещь. И, собственно, этому посвящены все мои статьи и все мои изыскания в области современной поэзии. В русской поэзии существуют *разные* литературные традиции. Многовековые. Когда мне говорят люди несведущие, необразованные — вот авангардист поэт Тютькин, потому что он пишет палиндромы. Я говорю, ну, откройте вы любую книжку Сергея Бирюкова… где показаны эти палиндромы, которые написаны триста лет назад, двести лет назад. Когда один теоретик доказывает, что он изобрёл термин «смешанная техника», я говорю: вы съездите когда-нибудь в Каир, в музей этнографии, там вы увидите эту смешанную технику образца четырёхтысячелетней давности. Это всё в истории мировой культуры уже было. Зауми, которой многие редактора толстых журналов боятся, как чёрт ладана, заумной поэзии более ста лет… Ребята, более ста лет! Это всё уже стало в определённой мере классической литературной традицией. Пугаться этого не надо. Не замечать этого не надо. Другое дело, что существует колоссальное, мощнейшее русло силлабо-тонической поэзии, которая никогда никуда не уйдёт и никогда не умрёт. Почему

во Франции произошёл тотальный переход на верлибр? Потому что сама система рифмования во французской поэзии менее богата, чем у нас. Там ударение всегда на последнем слоге, набор рифм ограничен. У нас—простор для развития силлабо-тоники. Мужская, женская рифмы! Дактилическая, гипердактилическая!.. Простор! Но опять-таки—я повторю—нужно научиться сравнивать поэтов, которые работают в силлабо-тонической манере, поэтов-верлибристов, поэтов-палиндромистов… это разные системы… Но это не значит, что если ты начал писать палиндромы или заумь, то у тебя автоматически появляется индульгенция. Число графоманов, которые пишут верлибры, ничуть не меньше, чем число графоманов, которые пишут рифмованные стихи. Процент тот же самый. Талантливых авторов рифмованных стихов единицы, то же самое можно сказать и о палиндромистах. Я их много издаю, но важен-то не приём. Важно, чтобы приём постепенно переходил в поэтическое качество. Когда Елена Кацюба пишет гениальные палиндромические стихи «Я и ты—балет, тела бытия»… то, что одинаково читается слева направо, и справа налево… тут же всё есть: и музыка, и метафора, и человек, личность. И так далее. А когда люди просто пишут эти палиндромы, и не появляется поэзии, это уже другое дело. Важно, чтобы поэзия возникала. Можно и рифмованное стихотворение сделать графоманской чепухой, а можно и в палиндроме добиться высокого результата. Пусть растут все цветы. Мы должны только ходить с лейкой и поливать. Пусть они растут, пусть растут—и постепенно литературоведы… увы, не критики!—поймут, оценят. Критика всегда социально ориентирована. Она всегда выполняет социальный заказ. Это не я сказал, это сказал профессор Тамарченко. Критика всегда выполняет социальный заказ, а литературоведение стоит над схваткой. Я призываю критиков быть хотя бы отчасти литературоведами. Хотя бы отчасти анализировать литературу, а не говорить общие слова. А так, конечно, нужно поддерживать самые разные направления. Они имеют право на существование, они давно уже стали классикой и традицией. И те, и другие.

Саввиных. Да. Я вот достаточно глубоко знакома с творчеством, например, того же Александра Петрушкина. И замечаю, как много эпигонов вокруг него вьётся…

Степанов. Абсолютно верно! Море.

Саввиных. И вроде бы форму они старательно воспроизводят, но и только. А он очень болеет за них, всячески проталкивает везде… я ему говорю: Саша, вот Вас я готова читать и печатать, сколько угодно. Потому что в Ваших вещах—при всей их иной раз нескладухе и зауми—всегда что-то есть, энергетика какая-то особая… а Ваши мальчики—не дотягивают до Вас, они до самих себя-то не дотягивают.

Степанов. На сто процентов согласен. Вы просто повторяете то, что я ему сказал. Я ему сказал: Саш, но это же всё твои клоны. Ну, что я буду печатать ослабленного Петрушкина? Никому не нужен второй Петрушкин. Никому не нужен второй Бродский, второй Айги…

Саввиных. И ещё. В ноябре у нас в Красноярске будет традиционная книжная ярмарка. Красноярская ярмарка книжной культуры, которую проводит Фонд Прохорова. В связи с этим—вот такая ещё линия. Последние полгода мы—всё с тем же Сашей Петрушкиным и порталом «Мегалит»—работаем над созданием Международного альянса русскоязычных литературных журналов. Сейчас Меморандум, который мы разработали, подписали 17 изданий, и мы очень хотим Учредительную конференцию собрать, насколько это получится,—здесь многое зависит от финансирования,—но нам очень хотелось бы, чтобы хоть какая-то часть людей приехала к нам—в ноябре, и заодно приняла бы участие в ярмарке. Вопрос: не могли бы Вы приехать? Это будет между 4 и 10 ноября. В Красноярске.

Степанов. Буду стараться. В принципе идея правильная. Я её поддерживаю. И буду стараться.

Такт четвёртый

Удивительное—рядом

27—28 июля 2010 г.
Калуга—Обнинск

Наталья Никулина
журналист и поэт

Никулина. Удивительное рядом: в гости к обнинцам приехал литературный журнал для семейного чтения «День и ночь» (ДиН). Приехал аж из Красноярска. Чему мы очень рады. Поскольку близкое знакомство с главным редактором журнала Мариной Наумовой (Саввиных) и ответственным секретарём Михаилом Стрельцовым оказалось и интересным, и полезным во всех отношениях. Пригласил их в Обнинск Вадим Наговицын—главный редактор литературно-общественной газеты «Калужское Слово». Место для встречи предоставил городской клуб ветеранов…

«День и ночь» можно назвать литературной Меккой Сибирского региона. Но известен он далеко за его пределами и даже за пределами нашей страны, поскольку публикует русскоязычных авторов, живущих заграницей. Я бы отметила одну важную особенность—в литературных кругах считается хорошим тоном опубликоваться в этом журнале. Многим писателям он дал весомый литературный старт. «ДиН дебют»—особая рубрика, и если обратиться к ней в ретроспективе, то можно обнаружить многие известные теперь в литературной сфере имена…

…Журнал играет заметную роль в российском писательском движении и не останавливается на достигнутом. Нынешняя творческая командировка по городам России—Санкт-Петербург, Москва, Калуга и попутно—Обнинск, была предпринята именно с этой целью. Создание коалиции региональных литературных журналов

(об этом и о создании калужского литературного журнала шла речь в Калуге) и расширение границ выхода к читателю—это основные задачи, которые решает сегодня журнал. Теперь его можно будет читать в электронном виде не только в «Журнальном зале», где зачастую из-за недостатка ресурсов открываются далеко не все рубрики, но и в «Читальном зале», созданном обширным московским издательством «Вест-Консалтинг», руководит которым известный поэт и меценат Евгений Степанов. Читатель имеет возможность получить полную версию номера. Там же предложена электронная версия ещё ряда популярных изданий. Это литературные, художественные, научно-популярные и детские журналы, литературные газеты, альманахи. Назову хотя бы некоторые из них. Например, известные альманахи «Илья» и «Словесность», литературные журналы «Акт», «Дети Ра», «Футурум Арт», «Стых», «Зинзивер», «Крещатик», «Контрабанда», газеты «Литературные известия», «Книжное обозрение», «Мол». В их числе и «ДиН»…

Для тех же, кто не читает электронных журналов или просто любит подержать в руках пахнущие типографской краской толстые литературные издания, надеюсь, вскоре появится возможность почитать его в центральной библиотеке. Журнал объявил редакционную подписку. Это значит, что редакция высылает своё детище прямо подписчику на дом. И это значит, что если у города будут финансы, то к имеющимся литературным журналам в читальном зале прибавится красноярский журнал «День и ночь».

Кстати, наши авторы тоже публиковались на его страницах. Эльвира Частикова и Валерий Прокошин. Теперь же появится шанс и у остальных, так как журнал принимает рукописи в электронном виде… Несмотря на то, что на этот год все номера уже сформированы, журнал приглашает к сотрудничеству новых авторов.

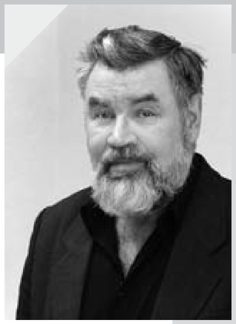
Разумеется, «ДиН» решает ещё многие проблемы, общие для всех российский журналов, но это формат, скорее, отдельной журнальной статьи… Не буду утомлять читателя описанием всех проблем, но об одной всё же скажу. Это воспитание подрастающего поколения и, как выразилась Марина Олеговна, подготовка «профессионального» читателя. Да, да, именно читателя, а не писателя. На базе журнала «День и ночь» и Красноярской гимназии «Универс» Марина Олеговна создала Литературный лицей. В лицее, начиная с третьего класса, читают и обсуждают шедевры русской, зарубежной классической и современной литературы. Проводятся мастер-классы. С детьми занимаются профессионалы—педагоги, журналисты и писатели.

На фоне упадка культуры в стране этот опыт кажется если и не панацеей, то, по крайней мере, серьёзной прививкой от бездуховности.

Обнинская газета «Вперёд»
www.vperyod.ru/print.php?id=110

Ну, что ж… похоже, громада Журнальной Жизни медленно, но верно трогается с места. И матросы взбодрились, и ветер попутный, и паруса романтически шумят. Куда ж нам плыть?

Наверное, время покажет.



Сергей Кузнечихин

Аршином общим не измерить…

Я нарочно иду нечёсаным,
С головой, как керосиновая лампа на плечах.
Ваших душ безлиственную осень
Мне нравится в потёмках освещать.

Сергей Есенин

О Есенине услышал от блатного — хотя какой там блатной — деревенский парень, угодивший за драку на лесоповал. Пять лет в лагере. Учительнице литературы столько же потребовалось для прохождения университетского курса. Но учительница заставляла зубрить «Стихи о советском паспорте», а изумлённый парень делился нечаянной радостью. «Ты только послушай, как здорово!» — и читал наизусть: «Так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок», «Ты меня не любишь, не жалеешь, разве я немного некрасив?..» Парень был некрасив, и даже много, но в вопросе звучала надежда, ожидание, что разуверят. Потом он читал: «К вашей своре собачей пора простыть, дорогая, я плачу, прости, прости» — и это запоминалось само. Не всё было понятно мне, безусому пацану из рабочего посёлка, да и тот, потрёпанный жизнью парень, полагаю, тоже не мог объяснить всю глубину прочитанного, однако нам хватало и того, что находилось на поверхности. Есенин оказался для меня первым «неофициальным» поэтом. Поэтом, которого никто не навязывал, никто не заставлял любить.

А заставляют не только учителя. Литературная мода порою безапелляционнее самого консервативного учителя. Мода диктует, возносит и ниспровергает. Но со времён «хрущёвской оттепели», когда вышло не одно собрание сочинений и множество отдельных сборников, моды на Есенина уже не было. Он стал, пусть и не совсем официальным, но всё же классиком. Однако читать его не перестали. А сколько вроде бы ярких имён поблекло сразу же после того, как их книги стали доступны. С Есениным этого не случилось. Его любят.

Я говорю не об эстетствующих снобах. Эти, разумеется, стесняются любить Есенина: он якобы слишком прост. Но мне кажется дело в другом. Эстет замкнут, а Есенин — это простор. Любовь эстета искусственна, а Есенин — натурален. И главное, взоры наших эстетов устремлены на Запад, а Есенин слишком здешний. Настоящая поэзия существует в собственном языке и плохо поддаётся переводу, но ещё труднее поддаётся переводу на английский или немецкий русская душа, особенно если это душа не коммерческого посредника, а душа великого поэта. Очень показательными мне кажутся заметки о Есенине в книге Уолтера Дюранти «Я пишу, как мне нравится», вышедшей в Нью-Йорке в 1935 году. Вот характерная цитата: «Там (в кафе «Стойло Пегаса») часто бывала Айседора Дункан, которая недавно вышла замуж за казавшегося мне совершенно ничтожным поэта по фамилии Есенин… Есенин начал читать одну из своих поэм «Чёрный человек». Сначала его голос звучал глухо и хрипло, но по мере того, как ритм стихов захватывал поэта, он становился глубже и сильнее. Поэма была примитивна и груба, но жизненна и правдива. В ней описывались чувства пьяницы, находящегося на грани белой горячки, которого преследовало ухмыляющееся лицо негра. Выражение лица не было враждебным, но оно было везде: заглядывало через плечо в зеркало, когда он брился, находилось рядом на подушке его постели, маячило между его туфель, когда он вставал утром, чтобы надеть их…». Вот вам, пожалуйста, американский взгляд: глубокий, трезвый и всеобъясняющий. Читайте и делайте выводы. Почти также воспринимается Есенин и отечественными эстетами, от «любимца партии» Бухарина до самых сегодняшних.

Однако люди, имеющие собственное мнение и понимающие поэзию, способные «отличить гения от графомана», знают истинную цену поэту. Нежнейшими чувствами и болью переполнены строки Марины Цветаевой, обращённые к Есенину. С почтением отзывался о нём Борис Пастернак. Меня, например, нисколько не удивляет, когда философ и прозаик Юрий Мамлеев в одном из интервью назвал Есенина самым лучшим русским поэтом. Казалось бы — модернист, которого никак не обвинишь в квасном патриотизме — и вдруг Есенин. Но дело не в том, как человек пишет и о чём, эмигрант он или житель самой Рязани, а в том — насколько он свободен.

И ещё, чтобы понимать Есенина, надо знать и любить Россию. Любить не на словах. И до Есенина, и особенно после, когда стихотворная любовь к родине хорошо оплачивалась, множество поэтов клялись в своих высоких чувствах… Но что эти заверения?! Настоящая любовь не очень-то тяготеет к громким фразам, она не в строчках, а между ними, зачастую между самыми горькими. «Я буду воспевать всем существом в поэте шестую часть земли с названьем кратким Русь». И рядом с этим заверением — мрачное пророчество: «И Русь всё так же будет жить, плясать и плакать у забора». В стихотворении «О Родина!» финал ещё мрачнее: «…И горько проклинаю за то, что ты мне мать». И уж совсем безжалостно звучит признание: «…Любил он родину и землю, как любит

Сергей Есенин
1925 г.

пьяница кабак». А как пьяница любит кабак? Какие чувства переполняют его в часы похмелья? Какие мысли терзают его? Какие слова рвутся с языка? Проклятья и отчаянное желание спалить. Но он никогда не спалит кабак, потому что не может жить без него. Не может… вот в чём причина, вот на чём держится любовь, и это признание самое достоверное.

Не может он и без неброского среднерусского пейзажа. Потому что вписан в этот пейзаж: ржаное поле, усеянное сорняковыми ромашками и васильками, жёлтая от пыли просёлочная дорога, церквушка на пригорке… Можно бы уточнить, что эта дорога идёт к церквушке и в этом была бы определённая правда. И кто-то бы задал модный вопрос. Эта дорога ведёт к храму? Но ответ на этот вопрос, если не выдавать желаемое за действительное, должен прозвучать примерно так: по этой дороге можно прийти к храму, но ведёт она в село, построившее этот храм, потом превратившее его в свинарник, а теперь пытающееся реставрировать его ускоренными темпами. Для Есенина церквушка—это часть русского пейзажа, такая же, как деревья с грачиными гнёздами, как ветряная мельница, такая же, как сам поэт, идущий по просёлку. И потому такими естественными кажутся слова: «Тот, кто видел хоть однажды этот край и эту гладь, тот почти берёзке каждой ножку рад поцеловать». Не холодные камни храма, а живую берёзку, точнее, ножку её. А как же церковь? Конечно, в деревенской архитектуре это самое заметное здание, но, наверное, стоит повнимательнее приглядеться к дороге, по которой идёт поэт, и уточнить, что идёт он всё-таки не в село, а из него. Из села в город. А церкви в городах вроде как приземистее. «Стыдно мне, что я в Бога верил. Горько мне, что не верю теперь». Слова, которые сладкоголосый певец Малинин бесцеремонно переврал в угоду конъюнктуре. По сему поводу не лишне вспомнить строку из стихотворения Маяковского, посвящённого Есенину: «…Твоё имя слюнявит Собинов…» Вот оно благородство хрестоматийного соперника и хамское панибратство поклонника.

Русские дороги из села в город обильно политы и потом, и слезами. Не миновал её ухабов и Есенин. Из «чистого» села в «грязный» город, благодаря которому он написал свои лучшие стихи, даже стихи о деревне. В город, любви которого он жаждал добиться. Эта любовь похожа на страсть к распутной женщине, роковая, болезненная страсть после которой остаётся только пепел. И, если повезёт—стихи. Хорошие или не очень—это зависит от дара. Нужна любовь и нужен дар. Много любящих, но бездарных. Есть даровитые, но не любящие. Встречаются искусные имитаторы любви, дара и даже одновременно того и другого. У Есенина была любовь и был дар. И дар был щедрым. Есенин купался в родном языке. У него не было нужды в школярском чистописании, как и нужды в кондовой самовитости. В быту, озорничая, поэт мог появиться в валенках и поддёвке, потом сменить их на заграничное пальто и цилиндр, но в стихи эти экзотические наряды не допускались. Язык его оставался чист и естественен. Не поддался он соблазну и советского «новояза». «…Язык сограждан стал мне, как чужой, в своей стране я словно иностранец»—это, наверное, не только о языке, но и о нём тоже. В родном языке он чувствовал себя хозяином, существовал в нём, не оглядываясь на словари, уверенный в себе настолько, что мог позволить даже неточности. Возьмём его знаменитую песнь о собаке» (слушая которую вроде бы плакал Максим Горький). «…А вечером, когда куры обсиживают шесток…»—конечно же, надо было писать «насест» или «нашест»—шесток находится в печке, и его обсиживают сверчки. Знал ли об этом Есенин? Разумеется, знал. Просто оговорился. Но оговорился с такой уверенностью, с таким изяществом, что нелепость почти никто не заметил. Встречаются у него и банальные, и приблизительные рифмы, не так часто, как у Мандельштама, но встречаются. С другой стороны, по его стихам щедро разбросаны ярчайшие метафоры—взять хотя бы «Сорокоуст» или «Чёрного человека»—свежести и силе их позавидовали бы и футуристы, и нынешние метаметафористы, но щедрость эта в заслугу Есенину не ставится. Его любят за другое.

Так за что же любят Есенина? Можно сказать, что великий поэт—это всегда тайна, и будет правильно. Никакой алгеброй его гармонию не объяснить. Но этого мало для народной любви. И певучести мало, и искренности, и доходчивости… А стоит ли искать объяснение? Нравится, потому что нравится—за то, что молодой, за то, что красивый, за то, что свой в доску, за то, что беспутный, наконец…

Владимир Алейников

Глядя сквозь пламя

Несвоевременность (не путать с несовременностью!) — признак большого поэта. Поэтому его — либо убить, либо замолчать. Как-нибудь сделать вид, что его нет. Это вполне биологическая функция общества. То есть происходит автоматически, без зазрения совести. Причина этого проста: мы не хотим отражаться в реальности и не хотим помнить. Сатиру мы любим, потому что в ней легко смеяться не над собой. Поэзию мы не любим точно так, как не любим природу и детей: слишком ответственно. Нам некогда. Некогда чувствовать, некогда помнить. Нам неудобно за самих себя, и тогда мы делаем вид, что нам скучно.

Владимир Алейников — великий русский поэт, более сорока восьми лет неустанно пашущий на ниве отечественного слова. Слава мира запечатлена в его стихах с такой силой, что нам легче всего отказать ему в той славе, которую раздаём сами, — в мирской.

Несуетность — признак большой работы. Её тоже удобно не замечать, чтобы не сравнивать со своей.

Пришла пора издать Владимира Алейникова так, чтобы всякий взявший книгу в руки заподозрил, кто это. Я вижу том, в жанре «Библиотеки поэта», с предисловием, раскрывающим масштаб и уникальность его творчества, с академическим комментарием, изданный не как сумма текстов, а как единая большая книга, представляющая собою художественную ценность сама по себе. Эта книга должна попасть по адресу — в руки подлинного читателя.

Алейников — это не человек, не тело, не член общества — это облако. Облако поэзии. Надо поймать его в переплёт.

Я счёл бы для себя честью написать о нём для этой книги. Я бы постарался исполнить это на уровне, достойном его поэзии.

Андрей Битов

Разметало вокруг огоньки лепестков
Что-то властное — зря ли таилось
Там, где след исчезал посреди пустяков
И несметное что-то роилось?

То ли куст мне шипами впивается в грудь,
То ли память иглою калёной
Тянет нить за собой — но со мною побудь
Молодою и страстно влюблённой.

Как мне слово теперь о минувшем сказать,
Если встарь оно было не праздным?
Как мне узел смолёный суметь развязать,
Если связан он с чем-то опасным?

Не зови ты меня — я и рад бы уйти,
Но куда мне срываться отсюда,
Если, как ни крути, но встаёт на пути
Сентября молчаливое чудо?

Потому-то и медлит всё то, что цветёт,
С увяданьем, сулящим невзгоды, —
И горит в лепестках, и упрямо ведёт
В некий рай, под воздушные своды.

Лепестки эти вряд ли потом соберу
Там, где правит житейская проза —
Бог с тобой, моя радость! — расти на ветру,
Киммерийская чёрная роза.

Уходит какая-то сила,
И вроде бы пусто в груди, —
Так что это всё-таки было?
А впрочем — постой, погоди.

Не новую силу ли чую,
Пространства вдыхая размах?
И старые раны врачую,
Покою внимая впотьмах.

А воля — она многогранна,
Её не бывает полней —
И, видимо, вовсе не странно,
Что тянемся издавна к ней.

В поступках своих своевольны,
Мы сдержанней стали уже —
И, участью этой довольны,
На грозном живём рубеже.

Что было — уже миновало,
Грядут снегопад, ледостав —
И в рёве девятого вала
Нам кажется: каждый был прав.

Ещё не рванулись мы просто
Сквозь дрёмой очерченный круг,
Сквозь драму сомненья и роста
В трагедию времени, друг.

Привыкший делать всё наоборот,
Я вышел слишком рано за ворота—
И вот навстречу хлынули щедроты,
Обрушились и ринулись вперёд,
Потом сомкнули плотное кольцо,
Потом его мгновенно разомкнули—
И я стоял в сиянии и гуле,
Подняв к востоку мокрое лицо.

Там было всё—источник бил тепла,
Клубились воли рвенье и движенье,
Земли броженье, к небу притяженье,
Круженье смысла, слова и числа,—
И что-то там, пульсируя, дыша,
Сквозь твердь упрямо к миру пробивалось,—
И только чуять снова оставалось,
К чему теперь вела меня душа.

Бывало всё, что в жизни быть могло,
И, как ни странно, многое сбывалось,
Грубело пламя, ливнями смывалось
Всё то, что к солнцу прежде проросло,—
Изломанной судьбы я не искал—
И всё, как есть, приемлю молчаливо,
Привычно глядя в сторону залива,
Где свет свой дар в пространстве расплескал.

Так в марте здесь, как в Скифии—в апреле:
Рулады птичьи, почки на ветрах,
Произрастанья запахи и цвели,
С восторгом вместе—неизжитый страх,
Неловкая оглядка на былое,
На то, что душу выстудить могло,
В ночах пылая чёрною смолою,
Выкручивая хрупкое крыло.

Подумать только—всё же миновало
Удушье—и в затишье мне тепло—
Бог миловал, чтоб снова оживало
Всё то, что встарь сквозь наледь проросло,
Чтоб нелюди не шастали, вполглаза
Приглядывая, где я побывал,
Чтоб сгинула имперская зараза,
Как хмарь, что вновь ушла за перевал.

Не так я жил, как некогда мечталось,
Да что с того!—какое дело вам
До строк моих, чья вешняя усталость
Сродни стряхнувшим зиму деревам?
Их свет ещё расплещется с листвою
В пространстве Киммерии,—а пока,
Седеющей качая головою,
Сквозящие встречаю облака.

Для высокого строя слова не нужны—
Только музыка льётся сквозная,
И достаточно слуху ночной тишины,
Где листва затаилась резная.

На курортной закваске замешанный бред—
Сигаретная вспышка, ухмылка,
Где лица человечьего всё-таки нет,
Да пустая на пляже бутылка.

Да зелёное хрустнет стекло под ногой,
Что-то выпорхнет вдруг запоздало,—
И стоишь у причала какой-то другой,
Постаревший, и дышишь устало.

То ли фильма обрывки в пространство летят,
То ли это гитары аккорды,—
Но не всё ли равно тебе?—видно, хотят
Жить по-своему, складно и твёрдо.

Но не всё ли равно тебе?—может, слывут
Безупречными, властными, злыми,
Неприступными, гордыми,—значит, живут,
Будет время заслуживать имя.

Но куда оно вытекло, время твоё,
И когда оно, имя, явилось—
И судьбы расплескало хмельное питьё,
Хоть с тобой ничего не случилось,

Хоть, похоже, ты цел—и ещё поживёшь,
И ещё постоишь у причала?—
И лицо своё в чёрной воде узнаёшь—
Значит, всё начинаешь сначала?

Значит, снова шагнёшь в этот морок земной,
В этот сумрак, за речью вдогонку?—
И глядит на цветы впереди, под луной,
Опершись на копьё, амазонка.

Вечерами—яблоки да чай,
Тихий жар, оставленный в печи,—
Головой тяжёлой не качай,
О былом, пожалуй, помолчи.

Что за пламя стыло над рекой—
Где-то там, в далёкие года,
Где к тому, что было под рукой,
Не вернёмся больше никогда?

Что за голос пел из облаков
Где-то там, в смятении моём,
Чтобы стаей вился мотыльков
Каждый миг, постигнутый вдвоём?

Запоздалой странницею ты
В тишине склонялась надо мной—
И теснился сгусток темноты
В стороне нехоженой лесной.

Дни пройдут—на счастье, на беду,
Прошуршат, сводящие с ума,—
Нет, не время было на виду
В этих снах, а музыка сама.

За волною новая волна
Захлестнёт где камни, где песок—
Не томит ли давняя вина?—
Серебрит затылок да висок.

Что-то к горлу вроде подошло—
Где он, вздох по далям золотым?—
Прорвалось—и встало на крыло,
Всё сбылось—так вспомним и простим.

Тихий свет увидим впереди,
Даже то, сощурясь, разглядим,
Что спасёт,—постой, не уходи!—
Не горюй, усталый нелюдим.

Тирсы Вакховых спутников помню и я,
Все в плюще и листве виноградной,—
Прозревал я их там, где встречались друзья
В толчее коктебельской отрадной.

Что житуха нескладная—ладно, потом,
На досуге авось разберёмся,
Вывих духа тугим перевяжем жгутом,
Помолчим или вдруг рассмеёмся.

Это позже—рассеемся по миру вдрызг,
Позабудем обиды и дружбы,
На солёном ветру, среди хлещущих брызг,
Отстоим свои долгие службы.

Это позже—то смерти пойдут косяком,
То увечья, а то и забвенье,
Это позже—эпоха сухим костяком
Потеснит и смутит вдохновенье.

А пока что—нам выпала радость одна,
Небывалое выдалось лето,—
Пьём до дна мы—и музыка наша хмельна
Там, где песенка общая спета.

И не чуем, что рядом—печали гуртом,
И не видим, хоть, вроде, пытливы,
Как отчётливо всё, что случится потом,
Отражает зерцало залива.

Вновь я свет узнаю с небес—
Ни с того ни с сего нисходит
На холмы—и несёт, выходит,
Продолженье сплошных чудес.

Вновь я вас узнаю окрест,
Золотые глаза людские,—
Не напрасно деньки такие
Всех живущих срывают с мест.

Не подвластны они, пойми,
Никому—и не жду хвалы я,
Ну а вспомню года былые—
Так дивлюсь, что не лёг костьми.

Знать, не просто они царят,
Посреди сентября сияя,—
Но, незримую суть ваяя
Из обломков, гормя горят.

Некий образ из мглы встаёт,
Как сквозь сон, различим прекрасно,
Некий голос—я слышу ясно—
О любви мне опять поёт.

Что за грусть в нём и что за страсть!—
Словно в трансе, я это чую—
На скрещенье времён врачуя,
Он в пространстве не даст пропасть.

Взглянуть успел и молча побрести
Куда-то к воинству густому
Листвы расплёснутой,—и некому нести
Свою постылую истому,
Сродни усталости, а может, и тоске,
По крайней мере—пребыванью
В краю, где звук уже висит на волоске,—
И нету, кажется, пристойного названья
Ни чувству этому, что тычется в туман
С неумолимостью слепою
Луча, выхватывая щебень да саман
Меж глиной сизою и порослью скупою,
Ни слову этому, что пробует привстать
И заглянуть в нутро глухое
Немого утра, коему под стать
Лишь обещание сухое
Каких-то дремлющих пока что перемен
В трясине тлена и обмана,
В пучине хаоса,—но что, скажи, взамен?—
Труха табачная, что разом из кармана
На камни вытряхнул я? стынущий чаёк?
Щепотка тающая соли?
Разруха рыхлая, свой каверзный паёк
От всех таящая? встающий поневоле
Вопрос растерянный: откуда?—и ответ:
Оттуда, где закончилась малина,—
И лето сгинуло, и рая больше нет,
Хоть серебрится дикая маслина
И хорохорится остывшая вода,
Неведомое празднуя везенье,—
Иду насупившись—наверное, туда,
Где есть участие—а может, и спасенье.

Вздохнуть бы о прошлом,
Да что ему вздох?—
Меж пришлым и дошлым
На грани эпох
Ненужным и лишним
Упрямо стою—
И ведомо вышним,
О чём я спою.

Но слишком известно,
Что песня и боль
Всегда поднебесны—
И вкривь, а не вдоль,
При доме—вне дома,
Вне правил и благ,
От смуты и дрёмы—
На пядь иль на шаг.

И слишком знакомы
Приметы беды—
От зимнего грома
До талой воды
Легло расстоянье
Без троп и дорог,
И слава—за гранью,
Свидетелем Бог.

Да много ли надо?—
Лишь выйти, пойми,
Из чуда и сада
Для встречи с людьми!—
Когда бы не слово,
Что сделал бы я
Для света и зова
В кругу бытия?

Ты думаешь, наверное, о том
Единственном и всё же непростом,
Что может приютиться, обогреться,
Проникнуть в мысли, в речь твою войти,
Впитаться в кровь, намеренно почти
Довлеть — и никуда уже не деться.

И некуда бросаться, говорю,
В спасительную дверь или зарю,
В заведомо безрадостную гущу,
Где всяк себе хозяин и слуга,
Где друг предстанет в облике врага
И силы разрушенья всемогущи.

Пощады иль прощенья не проси —
Издревле так ведётся на Руси,
Куда ни глянь — везде тебе преграда,
И некогда ершиться и гадать
О том, кому радеть, кому страдать,
Но выход есть — и в нём тебе отрада.

Не зря приноровилось естество
Разбрасывать горстями торжество
Любви земной, а может, и небесной
Тому, кто ведал зов и видел путь,
Кто нить сжимал и века чуял суть,
Прошедши, яко посуху, над бездной.

Мне оставлено так немного —
Крик слепого да взгляд немого —
В этом хаосе на ветру,
Где обрывки ненастья вьются,
Связи рвутся и слёзы льются
На окраине, на юру.

Клок не выкроишь из раздора,
Бранным стягом не станет штора,
Дом не выглядит кораблём —
На веку только вздох пожара,
Мокрой гари душок из яра,
Да и то тишком, под углом.

Столько видано мной сумбура,
Что уже не затащишь сдуру —
И охоты, конечно, нет
В это месиво лезть крутое
И в пустые вникать устои,
Чтоб ничком выходить из бед.

Может, это мне только снится? —
Но заблудшая бьётся птица
О стекло с лезвиём листа —
Просто время теперь иное —
И утраты встают за мною,
Чтобы совесть была чиста.

Что же мы видели, глядя сквозь пламя? —
Семя проросшее? Новое знамя?
И в зеркалах отражались мы сами
Вроде бы вниз головой, —
Всё бы искать для себя оправданья,
С грустью бесслёзною слушать рыданья,
Строить в пустыне, как зданье, страданье —
Пусть приютится живой.

Новое знанье и зренье иное,
К сроку пришедшие, ныне со мною,
Время прошедшее — там, за стеною,
Имя — и здесь, и вдали, —
Выпал мне, видимо, жребий оброчный,
Вышел мне, стало быть, путь непорочный,
Выдан в грядущее пропуск бессрочный —
Не оторвать от земли.

Из «Большого Мадригала»

Мифологии жаркое лоно,
Предрассудки, крушения, кроны,
Восходящие звуки цевниц,
Голосящая толща темниц!
Ахерон, Ипокрена, Элизий!
Непокорное логово близи! —
Да воспримешь ли верность мою,
Что отныне тебе отдаю?

Свечи не догорели,
Ночи не отцвели, —
Вправду ли мы старели.
Грезя вон там, вдали?

Брошенная отрада
Невыразимых дней!
Может, и вправду надо
Было остаться с ней?

Зову служа и праву,
Прожитое влечёт —
Что удалось на славу?
Только вода течёт.

Только года с водою
Схлынули в те места,
Где на паях с бедою
Стынет пролёт моста.

Что же мне, брат, не рваться
К тайной звезде своей?
Некуда мне деваться —
Ты-то понять сумей.

То-то гадай, откуда
Вьётся седая нить, —
А подоплёку чуда
Некому объяснить.

Где в хмельном отрешении пристальны
Дальнозоркие сны,
Что служить возвышению призваны
Близорукой весны,
В обнищанье дождя бесприютного,
В искушенье пустом
Обещаньями времени смутного,
В темноте за мостом,
В предвкушении мига заветного,
В коем — радость и весть,
И петушьего крика победного —
Только странность и есть.

С фистулою пичужьею, с присвистом,
С хрипотцой у иных,
С остроклювым взъерошенным диспутом
Из гнездовий сплошных,
С перекличкою чуткою, цепкою,
Где никто не молчит,
С круговою порукою крепкою,
Что растёт и звучит,
С отворённою кем-нибудь рамою,
С невозвратностью лет
Начинается главное самое —
Пробуждается свет.

Утешенья мне нынче дождаться бы
От кого-нибудь вдруг,
С кем-то сызнова мне повидаться бы,
Оглядеться вокруг,
Приподняться бы, что ли, да ринуться
В невозвратность и высь,
Встрепенуться и с места бы вскинуться
Сквозь авось да кабысь,
Настоять на своём, насобачиться
Обходиться без слёз,
Но душа моя что-то артачится —
Не к земле ль я прирос?

Поросло моё прошлое, братие,
Забытьём да быльём,
И на битву не выведу рати я
Со зверьём да жульём,
Но укроюсь и всё-таки выстою
В глухомани степной,
Словно предки с их верою чистою,
Вместе с речью родной,
Сберегу я родство своё кровное
С тем, что здесь и везде,
С правотою любви безусловною —
При свече и звезде.

Страны разрушенной смятенные сыны,
Зачем вы стонете ночами,
Томимы призраками смутными войны,
С недогоревшими свечами
Уже входящие в немыслимый провал,
В такую бездну роковую,
Где чудом выживший, по счастью, не бывал, —
А ныне, в пору грозовую,
Она заманивает вас к себе, зовёт
Нутром распахнутым, предвестием обманным
Приюта странного, где спящий проплывёт
В челне отринутом по заводям туманным —
И нет ни встреч ему, ни редких огоньков,
Ни плеска лёгкого под вёслами тугими
Волны, направившейся к берегу, — таков
Сей путь, где вряд ли спросят имя,
Окликнут нехотя, устало приведут
К давно желанному ночлегу,
К теплу неловкому, — кого, скажите, ждут
Там, где раздолье только снегу,
Где только холоду бродить не привыкать
Да пустоту ловить рыбацкой рваной сетью,
Где на руинах лиху потакать
Негоже уходящему столетью?

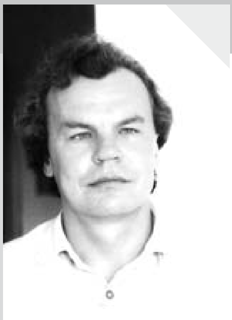
Мгновенья памяти в дожде
Трепещут листьями ночными.
Но где твой дом? И люди где?
И ты зачем не рядом с ними?

За что волхвующею тьмой
Ты брошен в омут наважденья,
Где в знаках азбуки немой
Почуял речи пробужденье?

Не тем ли опыт наш так жгуч,
Из мук не сделавший секрета,
Что в некий час мы видим луч
Сквозь мрак пробившегося света?

О нет, не прошлое с тобой,
С тобою — мира измененья:
Они гранили голос твой,
Судьбы твоей ковали звенья.

К чему о будущем гадать?
Будь собеседником природы,
Попробуй сердцем передать
Дерев рыдающие оды.



Юрий Беликов, Наталия Нарочницкая

Красоту не купишь, или отчего Россия не может быть Швейцарией

Улучив момент, когда я переставлю кассету в диктофоне, Нарочницкая с победоносной улыбкой на устах ухватит со стола дольку мармелада. Словно она, доктор исторических наук, именитая философиня, в недавнем прошлом заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, а ныне—председатель парижского отделения Института демократии и сотрудничества, во время нашего разговора только и думала не о заоблачных высях, в которые мы часто воспаряли, а о секунде, данной на мармеладную дольку.

В этом было столько утаённого женского изящества, что заоблачные выси, облагораживаемые разрядами полемических молний, вдруг перестали быть заоблачными, а мирно сошли на землю. Например, в виде поляны незабудок. Кстати, как ни странно, к незабудкам-то мы в разговоре и вышли.

Когда я наблюдаю её пребывание в телеэфире, мне кажется, что ведущие программ, куда Наталию Алексеевну нередко приглашают, как бы спохватываются и стремятся пресечь её наполненную эрудицией речь, точно Нарочницкая не из этого века и ведущим неловко, что они подобной речью не владеют. Во всяком случае, точно не из XXI-го и не из XX-го. Хотя то и другое столетие, одно—начавшееся, а другое—завершившееся, президент Фонда исторической перспективы сплетает, как два цветка в венке миновавших веков, будто опускаемом ею на воду в ночь на Ивана Купалу.

Ключ к «Загадке Нарочницкой»—в посвящениях к двум её книгам «Россия и русские» и «За что и с кем мы воевали». Первая посвящена её отцу—академику Алексею Леонтьевичу Нарочницкому, одному из последних русских историков-энциклопедистов. А вторая—матери, Лидии Ивановне Подолякиной-Нарочницкой, партизанке Великой Отечественной. С точки зрения века наступившего—так старомодно чтить своих родителей! А Наталия Алексеевна не бежит от этой старомодности. Мало того—живёт ею, как единственно возможной.

—Я, как нормальный ребёнок, считала папу самым умным, самым сильным, а маму—самой красивой и благородной. И до сих пор так считаю.

Академик Нарочницкий потрясал своим кругозором, ныне почти утраченным, когда, по точному замечанию его дочери, «общегуманитарная эрудиция даже гуманитарного образования сильно упала в угоду специализации знаний».

Дом для Наталии Алексеевны был храмом, где, помимо добрых отношений друг к другу, поощрялась тяга к изучению иностранных языков, игре на фортепьяно и классическим танцам вроде старомодного же менуэта…

Вот почему в её устах так естественны обмолвки: «Потому что красоту не купишь», «Можно иметь задачу стяжание святого духа в себе». Вложите-ка даже эти, пусть вырванные из контекста фразы, в речь нынешних телеведущих—и вы поймёте их смущение и несоразмерность сопоставления. Это—как с Россией: она не может быть маленькой уютной Швейцарией. Или—или.

—Существуют законы жизни больших величин. Либо вы излучаете энергетику этого поля, либо фрагментируете, исчезаете, проглотив мармеладную дольку,—вглядывается в пространство мировой истории Наталия Нарочницкая.

—Наталия Алексеевна, кто из женщин-государственниц в русской истории вам ближе? Княгиня Ольга, чьего именного ордена вы удостоены из рук Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго, царевна Софья, Екатерина Вторая, или, быть может, духовное подвижничество Елизаветы Фёдоровны—сестры последней императрицы?

—Вы сложили в этот пантеон таких разных личностей… О княгине Ольге мы очень мало знаем…

—Ну да, о том, что она отомстила древлянам… Велела подпереть дверь в бане—и спалила их.

—Нет, она всё-таки ещё приняла Христову веру, и есть масса не вполне достоверных легенд, связанных с Ольгой. Скажем, как она обхитрила Константина Багрянородного, который настаивал на их браке. Сначала предложила ему стать крёстным отцом, а потом сказала: «Разве может отец сочетаться браком с дщерью своею?» И тот якобы ответил: «Ольга, ты обхитрила меня!»

Елизавета Фёдоровна—это особое явление. В начале XX-го века, именно в России, именно в православии, когда уже теплохладная Европа ни о чём подобном не помышляла, вдруг предстаёт пример духовного служения, отречения от всего мирского, причём у представительницы царского дома! Это—в сравнении с веяниями революции, с упоением либеральной российской интеллигенции всем земным, конструкциями философии прогресса… В своё время пример Серафима Саровского пришёлся на ту пору, когда Россия уже стала империей. С империей многие славянофилы сопрягают упадок духа и всего того, что ещё как-то связано с идеалами святой Руси. Но эти два духовных подвига—Серафима Саровского и Елизаветы Фёдоровны—указывают на то, что, независимо ни от каких земных обстоятельств можно иметь задачу стяжания святого духа в себе. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я не стала бы подразделять этих женщин на категории «ближе-дальше».

Все они являют высоту определённого служения. Служения своему Отечеству в его духовном измерении и земном.

— Но если вернуться к образу Елизаветы Фёдоровны… Она ведь немка? Немка в православии. Но прочно стоит в ряду подвижников русского духа. Для вас такое понятие как «магнетизм крови» важно?

— Нет. Как раз образ Елизаветы Фёдоровны доказывает, что глубина проникновения в православие делает человека готовым к пониманию цели и ценности русского бытия. Немка из небольшого герцогства, в детстве воспитанная в протестантизме, становится чутко понимающей смысл православного подвижничества. Это лишний раз свидетельствует о том, что именно на русской почве православие дало максимально полный ответ на главные вопросы Евангелия: отношение к власти и хлебу. Здесь Россия явила более убедительный пример, нежели Западная Европа. В начале XX-го века Россия, хоть и раздираемая противоречиями, всё-таки уже не являлась частью той, постренессансной и постпросвещенческой Европы, которая основывала себя не на кровавом поте Франциска Ассизского и слезах блаженного Августина, а на рационалистической философии Декарта, на протестантской этике мотиваций к труду и богатству, на едином багаже французской революции. Что сегодня мы видим? Духовный упадок Европы, хотя материальный потенциал у неё — впечатляющий.

— В православии ведь тоже когда-то произошёл раскол. Я имею в виду времена Никона-Аввакума. До сих пор существуют старообрядческие общины. Считаете ли вы, что жизнь старообрядцев, есть некий идеал для православного человека, когда вокруг царит повальное растление? Сегодня православные часто идут в храм, не понимая глубину своего шага. В старообрядчестве — не так…

— Заходя в храм, человек уже открывает себя для благодати. И только не верующий отказывает в шансе для приходящего в храм, пусть даже этот прихожанин следует некой вновь приобретённой традиции. Всё равно в душе его может произойти серьёзный духовный переворот. А старообрядцы… Мне трудно судить — я иногда сталкивалась с мирянами из старообрядческой церкви, но те из них, с кем я была знакома, были такими же земными людьми, как и я. Да, их жизнь, по признанию окружения, заключала в себе меньше греха. Рядом с их общинами обычно нечего было делать шинкарям, ростовщикам, потому люди в старообрядчестве меньше грешили и большого дохода от их грехов, соответственно, не было. Но, может быть, легче не грешить самому, если ты намеренно уходишь от всего, накапливающего грех, и собираешься в стайку с теми, кто более настроен на праведную жизнь? Когда Христос присел на трапезе с мытарями, его же обвинили, что он не должен быть с ними, а он: «Я — с больными!» Я не могу претендовать на богословскую точность, но ощущаю как долг христианина быть в том мире, который нам дан. А устраняться, уберегать себя от него: «А там пусть всё пропадает!» — здесь для меня тоже — некая дилемма… Поэтому я не сужу. Думаю, что в каждом из таких избранных путей есть свои бесспорно правильные стороны, а есть и перебор.

Но раскол — это, безусловно, огромная трагедия, национальная и церковная. Ведь неслучайно же в 20-е годы Русская православная церковь приняла решение о том, что реформа Никона была произведена без достаточных богословских оснований, с чрезмерной жёсткостью. И постановила признать старообрядческие верования равночестными. О чём ещё свидетельствует раскол? О том, что русские люди не только не любители рабства, а наоборот. Они уходили в землянки сотнями тысяч, готовы были пожертвовать всем — только бы не подчиниться в том, что для них было кровным. Если б такое упорство русский человек проявил в борьбе за рынок, за демократию, наверное, на Западе нас бы считали очень продвинутыми. А поскольку мы готовы были идти на смерть ради понимания веры, тут мы записаны в варвары.

Поэтому для меня сам факт способности русских так пламенно стоять за духовный смысл бытия, это, конечно, величайшая страница! Но ведь, по мере расхождения этих общин, и в старообрядческой церкви появились какие-то внутрисектанские ветви.

Протестантские общины на Западе, особенно кальвинистские, поначалу ведь такие строгие порядки устанавливали, что сами казнили и вершили суд за малейшие отступления от норм поведения — чуть ли не за танцы, за песни… И возникает вопрос: а так ли ценно правильное поведение, если оно совершается только из-за страха перед наказанием? Слишком тонкая грань между тем, где порядок есть проявление идеала и где установленный человеком порядок человека же и подавляет.

— У каждого человека есть альтер эго — второе «я», возможность иного воплощения. Например, Фидель Кастро, когда его спросили, кем бы он был, если бы не стал вождём кубинской революции, ответил: «Писателем». А вот я бы, если бы не стал писателем, обязательно бы стал бы боксёром. Может, это оттого, что я в своей жизни, уж извините, слишком многим не набил морду, сдержался… Меня почему-то странным образом притягивают боксёрские поединки. Глядя на них, я испытываю какой-то магнетизм…

— Правда?..

— А кем бы могла стать Наталия Нарочницкая, если бы она не сделалась учёным?

— Это может показаться смешным и где-то претенциозным, но с возрастом я всё больше, как огромное благо, почитаю иметь дом, семью и много детей… К сожалению, у меня только один сын. Кстати, папа мой, который не был благосклонен к женщинам без так называемых серьёзных интересов, тем не менее, абсолютно не любил синих чулок и считал, что женщина должна быть и матерью, и женой, и рукодельницей, и хозяйкой, умеющей накрыть стол… Вот и я обожаю дом полной чашей. Мне сейчас, в силу моей занятости, всё труднее этому соответствовать и это, большая, конечно же, моя боль — из-за того, что сейчас у меня редко бывают гости. А мне нравится печь

пироги, куличи, консервировать грибы, огурцы, варить варенье! Сама вставляю «молнии» в брюках, подшиваю, укорачиваю, шью шторы, пришиваю оборочки к ним…

— Какой ваш любимый цвет? Помните, у Бараташвили в переводе Пастернака: «Этот синий, синий цвет полюбил я с юных лет». А у вас?

— Получается, что чёрный… Мне кажется, чёрный цвет — внутренне элегантен. Он одновременно и торжественный, и официальный. В нём есть что-то очень значительное и мистическое. Если чисто по-женски говорить об одежде, то ведь неслучайно же в чёрном платьице можно и в пир, и в мир. Всё будет зависеть от того, какой вы в нём предстанете. Белый цвет, тоже, конечно, хорош. Ещё мне нравится тёмно-синий. Никогда не любила всякие розовые и оранжевые… А что, это что-то значит?..

— Если не считать, что оранжевый навевает определённые политические ассоциации… А какие ваши любимые цветы?

— Я нахожу прелесть в любом цветке. Это могут быть и розы, и ромашки, и незабудки… Я очень люблю незабудки!.. У нас на даче в начале июня всё покрыто незабудками. И когда мы стрижём траву, я всегда обхожу эти полянки, потому что они красивей, чем любая грядка. Из незабудок можно сплести — вот так! (показывает) — большой веночек, потом внутрь положить меньше-меньше-меньше, и так до конца, и поместить в мисочку или тарелку с водой, и они продолжают расти в течение ещё нескольких дней…

— Как ни жалко, но придётся от незабудок опять перейти к людям и обществу, хотя, по мне, так лучше говорить о незабудках. На ваш взгляд, в каком обществе мы сейчас живём? Раньше как-то было чётко — социально-экономические формации: социализм, капитализм. Сейчас — спросите любого: в России и не социализм, как несколькими десятилетиями ранее, и не капитализм, как на Западе. Вы как-то обмолвились, что Отечество — это дар Божий. У вас иной взгляд на Отечество?

— К сожалению, сначала нас проутюжили марксизмом и, хотя не только марксизм Россию, но и Россия так изменила марксизм, что от него мало, что по-настоящему осталось, но, с другой стороны, в постсоветском исполнении, нас пропускают через иное сито — либеральное. Единственный критерий, по которому наши либералы определяют правизну и левизну, — отношение к средствам производства, то есть — по чисто марксистскому критерию. Поэтому я всегда иронизирую, что под пальто от Версаче у нынешних либералов проглядывает сюртук Карла Маркса. Современный отечественный либерализм — явление левое, атеистическое, с отрицанием всего традиционного. Правое — это охранительный консерватизм. На уровне бытового сознания — это семья, церковь, государство, целомудрие. На уровне государственного мышления — нация, держава, вера, духовные ценности. На уровне искусства — чёткое разграничение красоты и уродства, какофонии и гармонии. Всё это отрицает версия постсоветского либерализма, когда грех равен добродетели и нет никакой жёсткой системы ценностей.

Ценностный нигилизм — вот главная черта современного общества и это очень опасно. Это — история без нравственного целеполагания. Такая нация превращается из нации в совокупность некой людской массы с отметкой в паспорте и становится материалом для исторических проектов других. Я считаю, что упадок нашей страны и даже демографическая катастрофа русского народа в значительной мере связаны с утратой инстинкта продолжения исторической жизни у нации и человека, у которого отняты некие нравственные цели собственного и исторического бытия. Если мы это не преодолеем, никакие успехи в реформах и экономическом развитии не изменят сложившуюся ситуацию.

— У Виктора Астафьева, с которым я был лично знаком, в последние годы жизни прорезалось немало достаточно жёстких высказываний о нашем народе. Накануне одного из юбилеев Победы он сказал, что сегодня за этот народ он бы воевать не пошёл. И ещё: «Я пришёл в мир добрый, родной и любил его безмерно. А ухожу из мира чужого, злобного, порочного. Мне нечего сказать вам на прощанье». С этими жёсткими определениями вы согласны?

— Нет, мне абсолютно чужда мировоззренческая рама Астафьева. Попасть под удручающий пресс плохого и не видеть выхода и надежды — ведь это же то самое философское отчаяние, которое является большим грехом у верующего человека.

— Ну да, если бы всё творчество Астафьева было таковым. Это в большей степени стало проявляться в последних его вещах…

— Мы же и говорим об этом аспекте его сознания. Я же его лично не знала. Если человек сам жил по каким-то нравственным канонам, значит, у него сохранились прежние скрепы…

— Он был очень жизнерадостным, весёлым человеком… Недаром один из его романов так и называется — «Весёлый солдат».

— Конечно… Тем не менее, вот эта его полная концентрация на каком-то отчаянном пессимизме мне не близка. Не было времени, когда бы не находились люди, которые не высказывали такие апокалипсические оценки. Иосиф Волоцкий пишет о том, что уже «настали времена люто», всё разваливается, являя сплошной грех и разложение. Но легко любить своё Отечество, когда всё не только правильно и праведно, но и делается, как должно. А когда мать пьяна и лежит во грехе, как писал Василий Розанов, покинутая, оплёванная и всеми осмеянная, только тот подлинно её сын, кто не пройдёт мимо, а защитит от поругания… И Толстой свидетельствовал, что русский человек и убивал, и грабил, а, тем не менее, идите, странники, и «кто их примет ночевать в свой дом?» Вот те самые, которые, быть может, вчера грабили и убивали… Ещё Платон дал для своего времени непревзойдённое описание сущности человека — как соединения божественного и животного. Астафьев, конечно, очень сильно обращал внимание на то страшное, наверно, являвшееся ему в тех местах, где он жил. Возможно, там как-то меньше было представлено что-то энергетически доброе, хотя оно, конечно, присутствовало там тоже, но достаточно фрагментировано…

— У Астафьева на огороде в Овсянке всегда в большом количестве росли цветы. Он их сажал и ухаживал за ними. Я сам видел. На огороде, где русский человек традиционно сажает картошку, лук, морковь и огурцы, буйно и завораживающе росли марьин корень, жарки, медуницы, венерин башмачок, сирень… Это — редкое качество, характеризующее в данном случае не только человека, но и писателя.

— Да, это о многом говорит. Мы тоже на нашей даче, которая нам от папы с сестрою досталась, выращиваем цветы. Потому что красоту не купишь. Ты только сам её можешь создать. Умные люди говорили, что работа на земле — это, пожалуй, единственный, абсолютно творческий труд, где всё зависит от своего собственного плана и выбора. Я раньше не понимала, как все молодые, которые относятся, как к тяжкой обузе, к требованиям родителей: как это — приехать на дачу и что-то там делать в 18 лет?! Сейчас я всё свободное время стараюсь проводить на даче. У нас короткий сезон в деревне — только всё уберёшь, срежешь листья, что-то посадишь, что-то задумаешь пересадить, только бутоны какие-то сформировались — и вдруг куда-то уезжать?! Это сродни предательству! Поэтому, я считаю, что отдыхать северным жителям действительно надо поздней осенью. А поздней осенью отдыхать нам некогда. Вот я многие годы уже и живу без отпуска…

— Однажды вы сказали: «Евразийство — это окончательное растворение России и русских как главного геополитического и духовного субъекта. Именно такое растворение и превратит окончательно нацию в народонаселение, а Россию — в пространство без исторического импульса». Многие, в том числе, известные отечественные философы, считали евразийство — панацеей для России, неким особым стыком в пространстве, времени и истории. По вашей же мерке, евразийство — не благо. Почему? В чём принципиальное разночтение?

— Во-первых, мои слова обращены к попыткам постсоветских евразийцев сконцентрировать внимание не на упадке русского народа как державообразующего стержня исторической российской государственности, а на евразийской природе. Во-вторых, классическое русское евразийство было всё-таки конкретной реакцией на то разочарование, которое русская мысль испытала в начале XX-го века, столкнувшись с отношением Запада к России как добыче для расхищения. В моей книге «Россия и русские» православной полемики с евразийцами практически нет. Православная мысль в начале XX-го века просто была затоптана мыслью либеральной, а потом уже удалена из страны. Что касается географического положения России, то она, конечно, как держава, евразийская. Поэтому Россия должна иметь многовекторную политику, никогда не осуществлять перекоса в сторону Запада или Востока. Неслучайно — именно на этой огромной территории через веротерпимое православное ядро — в России конструктивно сосуществовали и взаимодействовали практически все цивилизации. Находилось место и протестантам в Прибалтике, и буддистам Дальнего Востока, и мусульманам, с которыми у России есть уникальный опыт взаимодействия. Мы с татарами вместе били и Наполеона, и вытесняли поляков из Кремля, и выгоняли Гитлера… Материальная культура может быть евразийской. Скажем, в нашей архитектуре мы находим следы буддийского и прочего влияния. Русские люди, приехавшие со своими традициями кулинарии в Азию, начинают добавлять в собственные рецепты местные пряности. Тут уже евразийство. Однако, что касается духовной культуры, она ведь зиждется на определённой религиозной основе. И здесь не может быть евразийства, потому что бывает система ценностей либо на христианской, либо, к примеру, на исламской основе.

— Есть ещё один парадокс, связанный с вашими высказываниями, который я хотел бы для себя разрешить. Вы говорите: «Если РФ полностью утратит обретения Петра Великого, Европа перестанет быть центром, где свершаются всемирно-исторические события». Судя по этому высказыванию, для вас Пётр — фигура однозначно позитивная? Тогда хочется уяснить: какова связь между обретениями Петра и сохранением Европы как всемирно-исторического центра?

— Я убеждена в том, что Европе угрожало не российское великодержавие, слому которого она так опрометчиво рукоплескала последние полтора десятилетия, а как раз его отсутствие. Чем больше Россия оттесняется на северо-восток Евразии, тем меньше Европа становится значимой. Она превращается в тыл для евразийской стратегии Вашингтона. Теряется даже роль Европы как главного центра приложения американских внешнеполитических усилий. Кому-то может показаться, что всё утраченное Россией, якобы перешло Европе. А на самом деле уже не служит собственно Европе как историческому проекту. Скажем, Чехия или Венгрия уходят от России. Но, формально возвращаясь в постевропейский ареал, они на поверку встраиваются в тот пояс от Балтики до Чёрного моря, который выстраивает Вашингтон в течение всего XX-го века. Для чего? Для того, чтоб изъять Восточную Европу из орбиты не только русских, но и, к примеру, немцев.

Обретения Петра Великого — это Прибалтика. Выход к Балтике и Чёрному морю изменил соотношение сил на европейском континенте, сделал за короткий исторический период Россию великой державой. И оттеснение России, эпохальность которого наши стратеги, по-моему, ещё не осознали, на северо-восток Евразии, от Чёрного моря и Балтики, это главная геополитическая линия давления на нашу страну. Если не задержать этот процесс, не включить какие-то компенсирующие моменты, трудно будет потом России как великой державе. А не великой она быть не может. Потому что страна с такой огромной территорией, собственным поиском смысла бытия, не может быть маленькой уютной Швейцарией. Существуют законы жизни больших величин. Либо вы излучаете энергетику этого поля, либо фрагментируете, исчезаете. И, если я говорю о Петре, то это вовсе не означает, что он — фигура, которая не подлежит исторической

оценке. Кстати, предвзятое отношение к Петру со стороны славянофилов, это наследие споров конца XIX-го века, потому что даже такой выдающийся русский историк-западник как Каверин, писал, что «не надо придумывать непроходимой пропасти между Русью московской и петровской». Все успешные начинания Петра Алексеевича были заложены ещё в царствование его отца Алексея Михайловича. Московский период незаслуженно забыт либеральной, а потом марксистской мыслью. Якобы только Пётр Первый европеизировал Русь. В московский период она развивалась так же быстро и в том же направлении, но, не создавая противоречия между формой и содержанием своей религиозной и государственной идеи.

— Я иной раз задумываюсь: если бы, скажем, не Пётр, а оттеснённая им царевна Софья, которая какое-то время была соправительницей наравне с Петром, пришла к управлению державой?.. Как бы тогда развивалась Россия? Был бы качественно иной путь?

— Во-первых, при Софье в России создана славяно-греко-латинская академия, то есть развивалось образование. Так что я не склонна никого романтизировать, и мне кажется таким же условным и навязанным тезис о том, что Софья была воплощением всего консервативного и отсталого. Точно так же я не буду её или ещё кого-то поднимать на щит… Создание таких мифов, ярлыков и моделей — ошибка. Увы, Бердяев очень много негативного сделал в плане внедрения на Западе мысли, что, мол, только Пётр — светоч и титан, а московский период Руси был отвратительным и удушливым. Бердяев из всех русских философов был хоть как-то принят на Западе, потому что одновременно считался православным мыслителем и носителем либерально-политических взглядов. Поэтому он удостоился на Западе некой рецепции. Кстати, от него как от богослова категорически предостерегают все настоящие церковные богословы.

— Возможно ли у нас в России появление национальных героев? Потому что, по вашему утверждению, успешные государства создаются не на основе «общечеловеческого» и «гражданского» мира. Впрочем, может быть, национальные герои есть, просто — «невидимы держатели скрижалей»?

— Вот и я хотела сказать: а разве их нету? Разве юноша Женя Родионов, который отказался выполнить требование чеченских боевиков — снять православный крест — и ему отрезали голову, не мученик и не герой? Это — в конце XX века! На фоне теплохладной Европы, для которой главная тема — кариес зубов и Родина — там, где ниже налоги!

— Мой друг, вчерашний красноярец, а ныне московский кинорежиссёр Сергей Князев, как раз отснял материал к фильму о подвиге русского солдата Жени Родионова…

— Вот видите! А что, нет у нас с вами героев, которые бросаются в горящий дом, чтоб спасти ребёнка? А врач, который не берёт взяток и оперирует с утра до вечера, падая в обморок, разве не герой?..

— Вообще-то это норма, а не героизм. Это героизмом становится на общем фоне отсутствия нормы…

— На самом деле в христианской культуре нормой является и то, что вера, Отечество, честь, дом дороже жизни. Просто человек, как существо грешное, не всегда может дойти до такого стопроцентного олицетворения. И когда он максимально приближаются к этому идеалу каким-то поступком, мы на этих поступках воспитываем детей. К сожалению, навязываемый сейчас гедонистический идеал, утверждение, что ничего нет дороже и выше физической жизни, это страшный удар по всей человеческой культуре, потому что готовность человека к самопожертвованию отличает нас от животного. И человек встал над природой вовсе не оттого, что взял палку, чтоб сбить апельсин, а именно потому, что он готов отдавать жизнь за нечто неземное, а не только из-за инстинктов продолжения рода. Иначе брат не заступится за брата, муж отдаст жену насильнику. И, если физическая жизнь — высшая ценность, то никто не пойдёт защищать Отечество. Человечество тогда бы умерло, люди бы съели друг друга…

Наталья Гарбер

Уплыл причал

История моего отца

Предисловие

…я ждал веры. И не только в свои силы и идею. Я ждал чувства полной уверенности, когда невозможно оступиться. Когда исключение только подтверждает правило… На заре однажды я понял, что пора. Одним движением поднял громадину камня. В торжественной тишине утра поднялся со своей ношей ввысь. И в полдень камень уже был вершиной… Кто пробовал его свалить, говорит, что он упадёт только вместе с горой.

Михаэль Гарбер,
«Мысли для узкого круга», 1968

Unforgettable (Незабываемо)

Песня, которую Natalie Cole записала дуэтом с отцом Nat King Cole после его смерти благодаря высоким технологиям и любви

Эта публикация представляет собой две повести: повесть о моём отце, написанную в 2008 году, через 40 лет после расставания с ним, и повесть моего отца, написанную 40 лет назад к моему рождению. Отец не читал мою повесть. Но, похоже, обе вещи—об одном.

Его история, как разбитое зеркало, собрана из обломков разрозненных фактов и осколков чужих воспоминаний, скреплённых моей потребностью в воссоединении. Реконструкция порой походила на попытку восстановить дорожно-транспортное происшествие сорокалетней давности по рассказам очевидцев: у каждого был свой, причём изрядно замутнённый, ответ на вопрос «что случилось и кто виноват?». Но я была настойчива.

Знаете, люди помнят о своей жизни что хотят: в одной и той же истории у каждого свои крупные планы, панорамные обзоры, действия и реплики персонажей. Того удивила фраза, этому понравился поступок, кто-то помнит подарок, кто-то—обидное слово, одному вспомнится смешное, другому—трогательное.

Изо всего этого, по кусочкам, я собирала зеркало воспоминаний.

У каждого фрагмента, почерневшего от времени,—свой рисунок. Все такие разные, что поначалу даже не было уверенности, что это зеркало сможет сколько-нибудь реально отразить лицо отца, даже если я соберу, сопоставлю и отчищу осколки от времени.

У меня есть подруга—историк, специалист по средним векам. Когда-то на моё открытие, что люди помнят виртуальную историю своей жизни, она сказала: «Дорогая, целые народы помнят только виртуальную историю! Римская империя веками «помнила» о себе то, что написал по заказу императора Плиний и другие летописцы. А когда археологи стали вести раскопки в 15 веке, то обнаружили, что у Римской империи всё было по-другому! Но какая разница? История всего лишь инструмент вдохновления масс. Та, что написал Плиний, подвигла империю на завоевания и победы, а это и было целью».

Я тоже собрала историю отца для победы, но иной—не той, что добывается в войне с кем бы то ни было.

Я хотела увидеть свои корни в лицо. Я прожила 40 лет без половины корней, потому что так решили те, кто присвоил себе меня в младенчестве. Они следили, чтобы я не узнала о второй половине, объявив её недостойной. Хотели б вы жить, отвергая половину своего генокода? Я тоже не хотела, но пришлось. Только всё тайное когда-то становится явным. И вот теперь моё тайное прошлое проявилось…

Все воспоминания несовершенны, так пусть у меня будут такие, какие возможно собрать. Каждый, кто вложил в эту историю свой осколок зеркала, читая мою повесть, сказал, что отражение отца похоже—только оно больше, чем то, что известно ему.

Конечно, ведь у меня есть преимущество перед всеми ними—история отца у меня в генах. Мне не хватало лишь фактов.

Теперь я знаю, как всё было «на самом деле». Не потому, что могу доказать. А потому, мой дуэт с отцом теперь звучит гармонично.

Наталья Гарбер

Если бы мир был милой лужайкой, а жизнь весёлым пикничком, я бы хотел быть маленькой девочкой в платьишке колокольчиком. Человек может подружиться с чем угодно. С любым представителем фауны и флоры. С вещью домашнего обихода. Всё живое и каждая вещь о чём-то думают. Я подружился с белым листом. Поскрипывая по нему пером или постукивая рычажками клавишей машинки, я читаю его мысли. А иначе он ничего не скажет. Строгий молчун… Истина должна быть пережита, а не преподана.

Герман Гессе

Борьба—сопротивление пустое.
Лишь поиск!
Искать—единственное позитивное.
Не одолеть стихию! Никак! Стихия!
Возможно лишь найти себя в ней.
Не утвердить.—Найти.
И самый острый клинок
сточит ржавчина времени,
если он без ножен.
Клинок находит себя в ножнах.
Ножны—на всаднике.
А всадник—на коне!

Михаэль Гарбер,
«Мысли для узкого круга», 1968

Воссоединение
Не объясняй мне, что он говорит,
Не разрушай, что чудится и мнится.
Дай мне с ним напрямую объясниться,
Оставь исходник—это был иврит.

Отец оставил почту для меня—
Не лезьте в письма. Не переводите
На все лады. Посланья на иврите
Прочту в своей крови при свете дня.

Мне нравится, не различая слов,
Вдыхать соленый воздух сообщенья,
Идти сквозь смерть и боль невозвращенья
К прощению. Я знаю—он готов

Простить себя и отпустить печали,
И я, пройдя путем его беды,
Свободна. Звуки слов понятны стали,
И я читаю их, как плеск воды,

Как тихий свет Рождественской звезды,
Как легкий вольный ветер на просторе.
На русском и иврите чайки в море
Орут. И не считают за труды.

А я пишу. Я шум кедровой рощи,
И звон монист, и песня рыбака,
Я то, что в сердце—и издалека.
Я знаю все. Не объясняй—так проще.

Наталья Гарбер, 2006

Эмигрируя, мой отец мечтал купить зáмок и пистолет. Пистолет, говорят, купил, а вот зáмок—не получилось.

Я ничего этого не знала.

Мать не много о нём рассказала. Имя, фамилия, юношеское фото. Был спортсменом, закончил МГУ, а через четыре года уехал в Израиль, подписав документ об отречении от меня. Умер в Хайфе в возрасте 45 лет. Остального мать мне не говорила, а больше спросить было не у кого. Да и больно было спрашивать.

К двадцатилетию отцовской смерти я как-то особенно затосковала, повесила на стену календарь с зáмками и пошла учиться стрелять. Не помогло. Оставалось надеяться на чудо.

Чудо я заслужила через 4 года, к своему сорокалетию. Теперь я знаю всё в подробностях.

История и истоки

Жизнь есть Вера в Истину, Цель и Смысл.

Великое чувство—видеть, как Жизнь раскидывает банк. Присутствовать и чувствовать себя партнёром.

Человек не одинок. У него есть страх. Человек не остаётся без дела. То ему надо отдохнуть, то пора браться за ум. Разные занятия. Человек отдыхает и работает. Для кого работа—отдых, а отдых—работа. Для кого и наоборот. А стоит немного зазеваться—страх тут как тут,—с поручением.
Человек отдыхает и работает, а философ… живёт и живёт.

Есть люди настолько живучие, что убить их может только время.

Михаэль Гарбер,
«Мысли для узкого круга»

…Мать моего отца—еврейка родом из Бессарабии или Северной Буковины. Имени история для меня не сохранила, но она появилась на свет где-то сразу после 1917 года, не позднее начала 1920-х. В 1918 году Румыния захватила Северную Буковину, не принадлежавшую России, и Бессарабию, которая до того была территорией российской империи. Румыния с той поры для России была врагом.

Мою будущую бабушку в те годы это, похоже, не очень тревожило—она выросла и работала продавщицей магазина румынской галантереи. Продавала чулки и, говорят, различала чуть ли не 200 оттенков коричневого цвета—столько было разных цветных чулок в Румынии в то время, когда в СССР цвела только постреволюционная разруха.

И всё-таки, кто по семейным, а кто по иным причинам, некоторые румыны с бывших российских территорий официально или самотёком переселялись на территорию СССР. Попадали они в Молдавию и на Украину. В ответ на это 17 августа 1937 года в СССР вышел приказ о проведении «румынской операции» в отношении эмигрантов и перебежчиков из Румынии. Осудили более 8000 человек, из них почти 5500 приговорили к расстрелу.

И это ещё моей бабушки не коснулось. А вот когда в 1940 году СССР забрал себе обратно Бессарабию, прихватив Северную Буковину, будущая мать моего отца оказалась наконец на Советской территории. В процессе скитаний она прижилась в Кишинёве, где и познакомилась с моим будущим дедушкой—еврейским портным Давидом Гарбером. Русским языком новая гражданка СССР овладевала с трудом, поэтому с Давидом они общались на идиш. Разноцветных чулок в магазинах тут же не стало, как не стало самих этих магазинов и многого другого. А вот хорошее зрение могло быть для евреев-непролетариев просто опасным. Однако друг друга мои дедушка с бабушкой разглядели вполне—и поженились.

В мае-июне 1941 года на всех территориях, присоединённых к СССР в 1939–1940 годах, НКВД провёл массовый арест и депортацию «социально чуждых» элементов. По решению Особого совещания при НКВД СССР эти люди получали в среднем 5–8 лет лагерей плюс 20 лет ссылки, если не расстрел. Одновременно стартовала и более мягкая, но более широкая кампания высылки всех сомнительных элементов на поселение сроком до 20 лет — в Казахскую ССР, Коми АССР, Алтайский и Красноярский края, Кировскую, Омскую и Новосибирскую области. В результате в лагеря тогда попали около 19 тысяч человек, а ещё около 87 тысяч поехали на поселение. Только из Молдавии и смежных с ней Черновицкой и Измаильской областей УССР НКВД выслал более 30 тысяч жителей. Всего по стране в то время было депортировано около 2,5 миллионов человек, из которых большинство погибло. Выжившие евреи и румыны не могли вернуться в родные места ещё до 1956 года, а немцы и татары — аж до конца 1980-х.

На этом фоне Гарберам, можно считать, сильно повезло. Каким-то образом, эта еврейская пара с наполовину румынскими корнями, разговаривавшая на идиш, миновала расстрел, лагеря и 20-летнюю ссылку. Они попали, похоже, всего лишь под превентивную депортацию евреев и румын летом 1941-го. В начале войны всех «потенциальных пособников врага» от всегда сомнительных евреев до очевидно «чуждых» немцев и румын по национальному признаку выслали за Урал и какую-то часть этих людей мобилизовали в так называемую трудовую армию. Видимо, в этот поток попала и чета Гарберов. В то время у них был один малолетний сын, а моего отца ещё не существовало. По дороге ребёнок погиб, а семейная пара доехала до места назначения в Предуралье, коим, судя по рассказам отцовских друзей, был город Соль-Илецк Оренбургской области, в 77 километрах к югу от Оренбурга.

Место ссылки отцовских предков примечательно тем, что основано в 1754-м как крепость Илецкая Защита. В 16 веке там начали добывать пищевую каменную соль у горы Тустеби. К 1775 году, когда крепость была взята Хлопушей, соратником Емельяна Пугачёва, в Соль-Илецке был уже серьёзный соляной бизнес. В 1865 году город, уже, конечно, возвращённый под официальное правление, переименовали в Илецк, и вскоре разместили здесь императорскую каторжную тюрьму.

К началу 20 века, когда Илецк стал традиционным местом ссылки и заключения, соляной бизнес уже срыл гору Тустеби до основания, превратив её окрестности в группу котлованов. Когда ямы естественным образом наполнились водой, смышлёные промышленники назвали их озёрами и основали рядом водогрязелечебницу, работающую до наших дней. Таким образом, среди угнетённой части населения город славился как место погибели в тюремной грязи, а в среде благополучных россиян — как место оздоровления на грязях.

К началу 1940-х, когда туда попали Гарберы, город снова назывался Илецкая Защита. И если исходно название места указывало на защиту поселян от набегов инородцев, то теперь городские стены укрывали инородцев внутри, защищая от них воюющий СССР. Город был, скорее всего, полон ссыльными.

Детство и юность

Социальный организм не оставляет нам почти никакой возможности проявления нашей воли. Но это и является причиной её существования.

Время точит и точит старую правду. Сушит и трёт её и стирает в пыль. Не время, конечно, а люди. Это они укорачивают правду с одной стороны и удлиняют с другой. И длинная правда так и путешествует. Из её старого хвоста сооружают новую голову.

Михаэль Гарбер,
«Мысли для узкого круга»

В ссылке Давид шил солдатские портянки, благодаря чему семья смогла прокормиться и выжить в Илецкой грязи. Более того, 1 июня 1943 года родился мой отец Михаэль Давидович Гарбер. И тут им всем опять повезло: в 1944-м в Румынии победил пролетарский режим. Поэтому Венгрию с Чехословакией СССР отвоёвывал у Гитлера уже вместе с румынами, которые из врагов стали друзьями. И в 1945 году, когда война закончилась, ссыльным евреям с румынами ради праздника Победы разрешили вернуться по домам — и Гарберы поехали в Кишинёв, где мой отец провёл сознательное детство и юность.

Время было смутное. В 1948 году в СССР прошла кампания по борьбе с космополитизмом, имевшая сильную антиеврейскую направленность. В течение двух лет в стране были закрыты все еврейские театры, школы и периодические издания на идише, еврейские научно-исследовательские учреждения и педагогические вузы. В 1952-м казнили тринадцать подсудимых, среди которых было несколько крупнейших еврейских литераторов. В 1953 году в Москве прогремело «Дело врачей», по которому арестовали в основном тоже евреев: они обвинялись в сионистском заговоре с целью убийства Сталина и прочих руководителей партии.

На этом фоне перед смертью Сталина в Москве и других больших городах заходили слухи о готовящихся массовых репрессиях евреев, о планах выселения их в Сибирь или, напротив, в Израиль. В эти годы евреев перестали рассматривать как «советскую» и «коренную» национальность, поэтому с пятым пунктом стало сложнее поступить в хороший вуз — в одних для евреев ввели процентную норму, в другие просто не брали. Евреи не допускались на партийные должности выше среднего уровня и на высшие государственные посты.

После 20 съезда КПСС власть в отношении евреев сменила стиль, но не отношение: Хрущёв провёл кампанию против экономических преступлений, имевшую антисемитский оттенок, и на партсобраниях широко цитировалась его фраза

«львовские жиды обнаглели». Вслед за тем в начале 1960-х в рамках антирелигиозной кампании власти закрыли большинство оставшихся в СССР синагог. При этом на официальном уровне антисемитизм неизменно осуждался.

Несмотря на общий негативный фон, для Гарберов жизнь облегчалась дальностью Кишинёва от Москвы: в Молдавии тех лет восстановление хозяйства и привыкание к советской власти было куда как важнее, чем отношения с евреями. Так что до семьи провинциального портного антисемитские тенденции доходили изрядно ослабленными. И, как я понимаю, было можно. Они и жили.

У моего отца были в детстве проблемы с сердцем, поэтому он активно занялся спортом. В 1961 году успешно окончил школу. В то время страна переходила от 11-летнего обучения к 10-летнему, поэтому в одних местах школьники учились на год дольше, чем в других. Отец закончил 11-летку. Ему стукнуло 18 лет, и на романтической волне он поехал поступать в Ленинградскую Военно-морскую академию. Но когда в процессе экзаменов увидел, как там ставят под ружьё и командуют, передумал. Дух свободолюбия перевесил, он попробовал забрать документы, а ему в ответ—отдадим только по медицинским показаниям. Михаэль написал своему отцу, у которого было плохо с почками, и тот прислал с проводником свою мочу. Сын сдал анализы отца вместо собственных, комиссия списала абитуриента как непригодного, он забрал документы и вернулся домой.

Университет

Человек, что бы он ни говорил, стремится к замкнутой философской системе. Пока он в неё верит—он способен к творчеству жизни.

Человек должен искать опасность, иначе опасность найдёт его.

Жизнь—это амбиция.

Изучать людей как способ изучать себя.

Дружба основана на трёх принципах: интегральном равенстве обмена, его разнородности, разномасштабности отношения к элементам обмена. Неинтересные люди—это те, у которых нечего взять.

Человеку надо знать ровно столько, чтобы это не мешало ему жить.

Михаэль Гарбер,
«Мысли для узкого круга»

Через год отец поступил на мехмат, на отделение механики. Готовился в МГУ сам, без репетиторов, да ещё с пониманием, что будет там старше всех на год или два, а в 19 лет это имеет значение. Помогала ему только Хрущовская оттепель—в те годы сильно ослабили ограничения по пятому пункту на мехмате, и евреи смогли туда поступать.

Университетские друзья моего отца описывают его как человека активного, открытого жизни и легко сходящегося с людьми. Звали его, конечно, Мишей, а не Михаэлем. Знакомых у него было много, отчасти из-за общежитской жизни, но ещё и ввиду разнообразия интересов. Кроме спорта и учёбы, отец пробовал себя в роли организатора и даже входил какое-то время в комсомольский комитет МГУ—наверное, по спортивной части. В людях любил необычные сочетания—например, в числе его друзей был профессорский сын и одновременно культурист по кличке «Володя-шкаф», который не мог почесать затылок из-за избытка мускулатуры. Умел отец рано замечать талант в человеке: например, первым приметил и оценил своего незаметного однокурсника—увальня Гришу Маргулиса, который впоследствии стал лауреатом Филдсовской премии—эквивалента Нобелевской—по математике. Отец сразу сказал друзьям—о Грише мы ещё услышим, он особенный.

Для меня самым удачным интуитивным прозрением отца стала его дружба с однокурсником Яшей, впоследствии—специалистом по работе мозга. Именно Яша нашёл меня по Интернету на моё сорокалетие: догадался попросить свою дочку Асю ввести в поисковике мою и отцовскую фамилии, и нашёл страничку моего сайта со стихотворением «Воссоединение», посвящённым отцу—тем самым, что стоит эпиграфом к этой повести. Название оказалось пророческим.

На той страничке был электронный адрес, по которому Яша связался со мной и прислал отцовскую повесть «Мысли для узкого круга» с эпиграфом обо мне: «Если бы мир был милой лужайкой, а жизнь весёлым пикничком, я бы хотел быть маленькой девочкой в платьице колокольчиком…». Затем мы с Яшей встретились, он рассказал историю отца, а потом вывел на других людей, которые тоже любили Мишу Гарбера.

К тому моменту я впустую искала отца уже лет двадцать, и все попытки волшебным образом заканчивались ничем. Я чувствовала себя астрономом, безответно посылающим сигналы внеземным цивилизациям, но не могла остановиться, как не может прервать свои поиски человек, влюблённый в космос. Поэтому, когда отклик вдруг пришёл, а потом друзья отца начали писать и звонить мне из разных концов Москвы и из различных стран мира, я слушала их голоса, как слушает астроном звуки Вселенной. Некоторые люди оказались в двух шагах, на расстоянии пары остановок метро или нескольких остановок троллейбуса. Боже мой, как всё это было невозможно близко все эти годы. И как невыносимо далеко…

Свой сайт я после этого закрыла—мне ведь больше не было нужды тоскливо слать позывные в открытый космос: разумные существа с других планет наконец-то отозвались. Теперь можно общаться напрямую, потому что все они—здесь.

Яша подружился с отцом на первом курсе. Говорит, что мужчин Миша привлекал внутренней силой, честностью и склонностью к риску. Отец чем-то напоминал Мартина Идена, Джека Лондона и Высоцкого—«его легко было представить

в героическом путешествии по диким краям», вспоминает Яша. Кроме того, отец обладал некоей твёрдостью и неожиданностью мышления. Посмотрели, например, детектив. Яша говорит, фильм — мусор, а отец в ответ — сказка плохая, зато там настоящие мужчины.

Слегка ковбойский образ «настоящего мужчины» был для отца жизненным ориентиром. Он был человек гордый, да ещё любил резать правду-матку. Так что в университете и позднее, на работе, с чужими людьми у него отношения складывались непросто. Однако с друзьями было иначе: многие из них вторят, что он был очень верный, надёжный, умел поддержать — в трудную минуту на него можно было положиться.

Односторонним фанатиком своей специальности отец не был, но учился прилично и стал вполне профессиональным в своей области. Очень любил спорт: занимался классической борьбой, и особенно — штангой, и был практически культуристом, что нетипично для мехмата. Саша — друг отца по мехмату, ныне живущий в США, — говорит, что отец и к профессии относился спортивно: сказал — собрался — сделал. Вообще, похоже на то, что любил: отец тратил сердце, душу и волю целиком.

К живописи был равнодушен, но любил парадоксальные приложения математики, посему был вхож в дом будущего известного тополога, у которого тогда впервые увидел картины Эшера, присланные самим автором. Кино не очень жаловал, однако пересказы фильмов слушал охотно, а идеи и цитаты использовал потом в ночных дискуссиях, которыми была полна студенческая жизнь.

Очень интересовался литературой, на последних курсах даже пытался писать, хотя напечататься в то время было уже невозможно — оттепель кончилась. Тем не менее, у Саши даже осталась пара отцовских рассказов, которые он увёз в Штаты и до сих пор сохранил. Друг отца по аспирантуре Витя (впоследствии известный музыкант и заслуженный артист России) тоже читал какие-то отцовские новеллы, и из них запомнил фразу «уплыл причал». Ёмкая метафора жизненного сдвига, ничего не скажешь.

Ещё отца интересовала философия. Фрейда, Ницше, Бергсона и Шопенгауэра он и его друзья активно читали вместе, правдами и неправдами проникая в библиотеку гуманитарных корпусов на Моховой. Один из центральных отцовских постулатов тех лет — «природа коварна»: он считал, что даже когда человеку кажется, будто он поступает «против правил», он всего лишь действует по правилам, коих не ощущает, и продолжает оставаться рабом природы. Может, поэтому отец любил наблюдать азартные развлечения. Но не карты, популярные на мехмате, а более «горячий» ипподром: на старших курсах отец работал там помощником букмейкера, собирал ставки, хотя сам игроком, похоже, не был. Видимо, наблюдение страстей было ему интересней.

Красотой отец не блистал — на фото времён поездки на Целину после первого курса он выглядит неказисто — худой, уши торчат, рубашка топорщится. Хотя меня бы он заинтересовал, в нём виден характер. Кроме того, для городской жизни его отец-портной шил ему хорошие костюмы по спортивной фигуре, так что, в общем, Миша на фоне московских стиляг выглядел достойно.

Его знакомая по имени Наташа, дружившая с отцом с последних курсов МГУ, помнит: он брал тем, что был невероятно добр, интересен, широк и общителен. У Натальи в то время был роман с будущим мужем Петей, а мой отец был его приятелем. Ей понравилась нетривиальность отцовского мышления, интересный взгляд на жизнь, импонировала надёжность — было ясно, что не предаст, не настучит и не станет ради карьеры идти по головам. Занятно, что при всей своей общительности отец небыстро раскрывался перед чужими людьми, и, бывало, что при дамах смущался.

Яша говорит, что женщин отец вообще привлекал мужественностью, ибо мог постоять за себя и за человека, которым дорожил, был смел и шёл лицом на опасность. Кроме того, как говорит его друг-джазмен Витя, отец «гусарил». Во-первых, грассировал от природы, а во-вторых, умел создать имидж: например, во время студенческих поездок на Целину носил топор за голенищем. Короче, он умел играть — в лучшем смысле этого слова, то есть оживлять течение событий.

Роман

Крайняя самоуверенность — крайний протест против извечного чувства Страха.

Для чего нужна мужчине пальма первенства? Не для того ли, чтоб её ощипала женщина?

Заблуждение считать взаимное согласие счастливой любовью. Предрассудок, который сильнее опыта, сильнее статистики. Нет победы без сопротивления, так нет и любви без преодоления. Различие желаний составляет основу любви. Течение любви наполнено поисками компромиссных решений. Противоречие — источник развития.

Михаэль Гарбер,
«Мысли для узкого круга»

С моей матерью — москвичкой, дочерью профессора и интеллектуалкой, отец познакомился после первого курса на той самой Целине. На природе она его оценила: он поднимал её одной рукой и носил на плече. Выяснив, что мать с кем-то встречается, отец стал собирать компанию, чтобы побить соперника. Его друзья — интеллигенты Яша и Саша — сказали: «Как же так?!» — и получили ответ, что кишинёвская шпана всегда так поступает. Но поскольку в чужой монастырь со своим уставом не ходят, мордобоя, насколько я поняла, отец всё-таки тогда не учинил. Видимо, решил положиться на своё ковбойское обаяние.

Сработало. На Целине у них с матерью начался роман, длившийся до конца университета. Отношения были сложные и конфликтные. Мишины взгляды и мышление, которые его друзьям

казались интересным и оригинальным, моя мать считала невежественными и претенциозными. Отец мой, надо сказать, тоже умел быть категоричным. Яша рассказал мне, что их общий приятель подарил жене юбку, а та отказалась её носить. Приятель отнёс юбку в магазин и с трудом — тогда возврат был делом необычным — сдал. Когда отцу рассказали эту историю, он прокомментировал: «Если бы я купил своей жене юбку, она бы её носила». Похоже, для моих родителей в те годы главным в отношениях был вопрос о первенстве — и никто не хотел уступать.

Идеи такие идут, конечно, из семьи — а в обеих семьях был домострой. Бабушка моя была домохозяйкой, чей мир полностью вертелся вокруг деда. У неё самой был сильный и жёсткий характер, с матерью моей она обращалась сурово. Поэтому в юности родительница моя решила домостроевскую традицию изменить — и пусть мир завертится вокруг неё самой! Она преуспела в самоутверждении среди сверстников, освоила мужскую хватку, но в отношениях с отцом создала изрядные сложности: он был готов к уступкам, но не к полной потере мужской роли в семье.

Семейные правила Гарберов тоже были вполне домостроевскими, однако отношения с родителями у отца были хорошие. Он ездил на каникулы домой, а в течение семестра частенько получал из дому в посылках вино и еду. Гурманские бутылочки вин «Негру де Пуркарь», «Романэшты» и «Лидии» помнят многие, потому что отец посылками активно делился. Хотя жили Гарберы небогато — Яша, заехавший к отцу в гости в 1969-м, увидел простой быт в хрущовской пятиэтажке. Витя попал в том же году на конференцию в Кишинёв. Говорит, зашли с Мишей к Гарберам домой: Давид показался гостю человеком очень спокойным и уравновешенным, а мать семейства не запомнилась. Похоже, она умела быть незаметной.

В годы учёбы родители навещали отца нечасто — друзья вспомнили только один визит: Давид Гарбер с женой зашёл в общежитскую комнату и спросил: «А что это у вас тут так скучно-то? Нужно, чтобы было немножко весело». Народ ему что-то ответил, они поговорили, но жена при муже всё время молчала. Во-первых, как теперь понятно, она не очень хорошо говорила по-русски. Во-вторых, после Илецкой ссылки она вообще не была склонна много разговаривать. И, наконец, в главных, — в семье Гарберов был домострой.

На последнем курсе университета к этой сложности в отношениях моих родителей добавилось неприятное изменение международной обстановки. Израиль провёл успешную шестидневную войну с арабскими странами, которые поддерживал СССР. После этого в России усилилась антисемитская кампания, а у евреев возникли сложности с работой — их стали хуже принимать на работу в стратегические институты, в Академию наук и «ящики», где были деньги и статус. Горизонт выживания сузился. В ответ семиты активно начали обсуждать варианты эмиграции на историческую родину. Отец в разговорах участвовал, но сильно идеей отъезда не горел, хотя предполагал, что всё может быть. Однако мать моя была русская и никуда ехать не собиралась, так что у него были разнообразные «за» и «против». Кроме того, в 1967 году идея выехать из СССР для обычного человека была ещё виртуальной.

Брак

Разврат это, когда женщина не может без мужчины и спит с ним. Брак — это, когда женщина может и без мужчины, но спит с ним. Брак — только тогда, когда вы можете обойтись и без него. Мужчина женится в ослабленном состоянии духа.

Он понимал, что находится уже в конце своего долгого пути. И дорога привела Его к узкой щели, вырубленной в скале. Он пошёл по неровным ступеням крутого извилистого хода. Он шёл. И попал в громадную, тусклоосвещённую залу. Остановился. Огонь светильников казался мёртвым, а паутина облепила рубленные каменные стены. Во всю длину залы тянулся тёмный дубовый стол, за которым сидели Они, конечно, во фраках.
— Я пришёл, — сказал Он.
Да, ты пришёл. И что же? — ответили Они.

Предвзятость стремится реализовать себя, заранее подготавливая логические опровержения возможным доводам. Она настолько увязает в логике, что легче всего обезоружить её крайней нелогичностью. Осмысливая нелогичный довод, предвзятость сама внесёт логику в него. И будет искать опровержение своей же логике. Бороться сама с собой. Остаётся только пожелать ей успеха.

Более всего человек борется не против того, с чем он не согласен, а против того, чего он не понимает. Берегитесь этого… в себе!

Не следует делать революцию в чужом доме. От этого вы не станете к нему ближе. Тем более — жалкая роль — в стане недоброжелателей привести одну из группировок к власти. Вас всё равно не полюбят, так что храните свой крест.

Юмор утверждает Бесцельность и Бессмысленность Бытия. Утверждение Бесцельности и Бессмысленности Бытия болезненно спрятано в глубине бессознательного. Если это так, то юмор — способ раскрепощения психики.

Михаэль Гарбер,
«Мысли для узкого круга»

Несмотря на сложности отношений, перед окончанием МГУ привязанность моих родителей друг к другу оказалась сильнее их противоречий. Они поженились весной 1967 года, ибо иначе отца распределили бы в Кишинёв. Поездку к Мишиным

предкам, которую молодые предприняли перед свадьбой, мать помнит как мучительную — кишинёвская родня и её «домостроевский и провинциальный» уклад жизни невесте совершенно не понравились.

Родители моей матери тоже были против этого брака — провинциал, не интеллектуал, чужак с характером. Кроме того, тогда иногородний человек мог осесть в Москве, только получив постоянную прописку, а прописку эту мог обрести только женившись. Так что ужас перед иногородними супругами, которые могут прописаться и оттяпать квартиру, был у москвичей повсеместным.

В итоге, насколько я поняла, на свадьбе родителей ни с одной из сторон не было.

Однако брак состоялся, и молодожёны поселились в московской профессорской квартире в центре города, вместе с родителями моей матери. Тёща с тестем Мишу не жаловали, но лето прожили на даче, так что пару месяцев мать с отцом могли побыть наедине. В августе они сделали меня, однако к сентябрю дед с бабушкой вернулись с дачи, и тут отношения зятя с новой семьёй стали рушиться, как карточный домик.

По рассказам Наташи, мои дед и мать демонстративно Михаэля презирали. Отец имел иной кругозор, чем московские интеллектуалы, составлявшие круг их общения. Мать любит рассказывать, как он заявил, что при желании может рисовать как Да Винчи и писать как Толстой. Гусарство, конечно. Но мать восприняла это серьёзно, а кроме того, побоялась, что Миша опозорит её перед друзьями, демонстрируя амбиции, несоизмеримые с его возможностями. Так что она, вероятно, не однажды указывала ему на скудный масштаб его дарований на фоне её любимых авторитетов.

Просвещённый москвич, ныне заслуженный артист РФ и друг отца по аспирантуре, Витя этих проблем с отцом не имел, и по сей день считает, что отец своё место в мироздании понимал, был человеком здравым и лишённым фанаберии. Я думаю, у моих родителей был конфликт на почве страха перед иным — иным взглядом, иным миром, который каждый из них представлял для другого. Говорят же, что ад — это другие. Отец и мать были из очень разной среды. Им предстояло либо старательно притираться, проявляя взаимную терпимость, либо разбежаться. Они попробовали жить совместно, но им не хватило ресурсов для строительства отношений. Так что вышла у них только я.

Во время жизни «в примаках» завтрак для Миши начинался с того, что дед и мать открывали газеты и начинали друг с другом говорить о политике, не замечая отца или перерывая его, если он пытался встроиться в разговор.

Отец мой к политической жизни был безразличен, так что быстро попытки общения на эту тему прекратил. Это накалило ситуацию ещё больше. Отец как-то пришёл с другом Сашей. Тот вспоминает, что общение с хозяевами вышло странное: дед мой отрывисто кидал фразу и уходил в другую комнату, в дискуссии не вступал. Возможности выразить и обсудить свою позицию в этом разговоре не было никакой, печально сказал добрый и мягкий Саша.

Я знаю, что дед мой по матери был серьёзным учёным, ум имел быстрый и недюжинный, харизму изрядную, а авторитет в семье огромный. Будучи сыном дворянина, в университетские годы жил в рабочей семье, так что взгляды имел вполне демократические. Просто ему действительно со многими людьми было неинтересно говорить, а дом свой он рассматривал как личные тылы и заслуженное место отдыха, и тратиться на нелюбимого зятя и его друзей не хотел. Но для истории моих родителей важнее то, что моя мать всегда недополучала поддержки от занятого деда. Пока тот был на работе, суровая бабка моя сильно тиранила дочь, а когда дед приходил, говорить об обидах мать, похоже, не решалась. Выйдя замуж за моего отца, она вынула козырь. Дед мой не захотел делить с другим мужчиной своих женщин и территорию, и, отстаивая своё главенство, стал обращать на мать внимание, которого она была лишена раньше. Наконец весь дом завертелся вокруг неё, но заплатила мать за это разрушением своего брака. Обнаружив характер давления, Миша постепенно прекратил попытки вписаться в новую семью.

В дальнейшем мне самой свободу быть собой пришлось отстаивать в настолько неравных и тяжёлых боях с матерью, что потребность в общении с ней у меня к подростковому возрасту исчезла. Я «ушла во внутреннюю эмиграцию» из материнской семьи намного раньше, чем стала жить отдельно. Наверное, пошла в отцовскую породу, которой конкурентные бои не так нужны, как материнской. Нужны, но не так…

Интересно, что приятельница отца Наталья в те же годы прошла похожий сценарий с противоположным финалом. Она москвичка, её муж Петя — провинциал. Её жёсткий образованный москвич-отец тоже отверг инакомыслящего и инородного зятя. В ответ Наталья при первой возможности ушла от родителей к мужу в общежитие. С тех пор родила троих детей и сохранила семью по сей день.

А моя мать к сентябрю 1967 года поняла, что беременна мной, и тут же решила разводиться. Очень хотела девочку. Отец мой тоже очень хотел девочку, и прямо как Рэт Батлер мечтал меня одевать и баловать. Однако отношения с семьёй жены накалились к тому времени до предела. Миша, например, как-то увидел, что бабушка моя взобралась на подоконник мыть стёкла. Он сказал ей: «Осторожно, не упадите». После этого тёща всем сообщала, что зять хотел столкнуть её с пятого этажа.

Неминуемый уход отца произошёл не позднее октября 1967 года. По словам Натальи, к моей матери Миша всё равно относился нежно, и дурного он о ней не говорил, хотя поговаривают, что в конфликтах мать терзала его намёками, что ребёнок не его. Теперь я настолько похожа на отца, что сомнений в родстве нет никаких, но тогда отцовский друг Витя хорошо запомнил любимый анекдот Миши: «В английский клуб рогоносцев принимают

нового члена. Условие клуба — неопровержимые доказательства измены жены. Джентльмен говорит, что его поместье огорожено высокой стеной, а верные слуги, чьи предки служили его семье последние 300 лет, утверждают, что жена чиста и невинна. «И всё-таки, я сомневаюсь…» — добавляет мужчина. Его единогласно принимают в клуб».

Развод

Умение создавать себе препятствия в жизни не менее важно, чем умение их преодолевать.

Нельзя пройти и не запятнать, нельзя пройти и не запятнаться.

Лучшими своими мыслями мы обязаны худшим состояниям.

Всякая философия рождается в поисках путей удовлетворения эгоизма. И начинается с очистки поля деятельности от обломков старого оружия. Перебрав возможное оружие, вы находите то, которое вам больше по вкусу, и становитесь философом «школы». Оригинальный философ не находит его и мастерит сам.

Препятствие делит людей на две категории: одни, чтобы преодолеть его, работают над собой, другие — над препятствием. Интро- и экстраверсия.

Михаэль Гарбер,
«Мысли для узкого круга»

В итоге осенью 1967 года мой отец уже съехал от моей матери и поступил в аспирантуру Института физики Земли, где стал также и работать. В МГУ он учил немецкий, а для дальнейшей жизни удобней был английский, поэтому отец устроил аферу — послал на экзамен своего друга-англофила. Тот отлично ответил, и отец получил нужную оценку.

В аспирантуре он занимался теорией откосов — то есть тем, как надо удерживать дорогу, чтобы по ней можно было ехать. Руководителем диссертации у него был симпатичный восточный человек по фамилии, кажется, Рахматуллин. Тема отца занимала, и его научный труд по динамике грунта в то время быстро продвигался. Подрабатывал отец, в числе прочего, репетиторством — у него это дело получалось.

Аспирантура дала ему временную прописку и право остаться в Москве. Он снял комнату в коммуналке на Чистых прудах, около театра «Современник». Потом переехал в комнату у Покровских ворот, а ещё через какое-то время пожил на Мосфильмовской улице. Тогда съёмные квартиры были примитивны — кровать, стол, табурет, плита, туалет в старой неотремонтированной комнате или квартире. Отец любил комфорт, и его эта жизнь унижала. Впрочем, он все годы в Москве жил либо бедно — в общежитии и на съёмных квартирах, либо некомфортно — у родителей жены. Так что разрыв между любовью к хорошей жизни и бытовой реальностью преследовал его всё время.

Он решал эту проблему парадоксально: Наташа с мужем зашла как-то в гости и отметила, что холостяцкое жильё содержится в чистоте, хотя на столе остатки еды. Отец заметил её взгляд, взял веник, смёл еду на совок прямо со стола — и выкинул за окно. По-царски не волнуясь, что там за окном с этим всем будет. Гусарство, конечно… Но, вообще-то отец хорошо адаптировался: его друг Саша, тоже выходец из провинции, в те годы не однажды удивлялся Мишиному знанию московского быта. Отец не только знал, где, что и почём покупать, но как франт был даже знаком с хорошими московскими портными. Так что когда Саше понадобился приличный костюм, сшил он его у отцовских знакомых.

В периоды между съёмом комнат отец в те годы наездами жил в квартире Пети и Натальи, которые уже обзавелись московским жильём и охотно давали кров многочисленным друзьям. Наташа говорит, что Миша был лёгкий гость: невероятно интересно, живо, с большим умом и юмором — «прямо как Андроников!» — рассказывал истории. Причём умел имитировать выговор и интонации персонажей. Новеллы были на любые темы — о друзьях, знакомых, Кишинёвском детстве и обо всём на свете. Однажды отец рассказал им о друге, который протанцевал много лет в ансамбле народного танца «Жок», а когда вышел на пенсию, стал «работать улыбкой»: в конце танца он выскакивал вперёд и обворожительным сиянием зубов ставил точку в представлении.

Наталья говорит, что временами Миша вёл себя парадоксально. Однажды по дороге на соревнования приехал к ним варить курицу — для состязаний нужно было срочно набрать вес, и почему-то он решил набрать его в гостях. В другой раз, когда отец временно жил у них, Наталья приболела, а Петя куда-то ушёл. Женщина вызвала врача, незнакомого человека. Тот пришёл, мой отец, естественно, вышел на кухню, врач вышел после осмотра больной и говорит Мише: «Вашей жене надо сделать обследование». А отец отвечает: «Она мне не жена!». Врач опешил, а Наташа шепчет отцу: «Ну, Миш, ну что, ты не мог промолчать, что ли?!». «Не мог», — говорит. Прямота не позволила.

За время дружбы с моим отцом у Натальи и её мужа была всего одна размолвка. Наташа была в положении, хлопот у Пети стало больше, а гостей осталось столько же. Мой отец как-то позвонил, дескать, можно ли приехать в гости. Наташа согласилась, трубку положила, да тут Пётр сорвался: «Вот, уже дома и отдохнуть нельзя, не нужны нам сегодня гости!». Наталья бросилась звонить, отменять визит, а отец уже ушёл. Она написала на двери записку, что, мол, нас нету, извини. Отец записку прочёл, ушёл и год с друзьями не разговаривал. Но потом они встретились где-то случайно, отношения снова наладились и уже до его эмиграции не рвались.

Меж тем весной 1968 года родилась я. Мать с отцом, похоже, перед этим снова повздорили, дед с бабушкой тоже втянулись в конфликт, и у деда накануне моего рождения случился инфаркт.

Мать переживала, рожала меня аж двое суток, и чуть пуповиной не удушила. Но обошлось.

В то время мой отец написал философскую книгу, фрагменты из которой стоят эпиграфами к этой истории, и сдал первый взнос на кооперативную квартиру в Москве. Деньги он зарабатывал, а ещё, возможно, брал взаймы—у него был родственник, повар в хорошем московском ресторане, по тем временам состоятельный человек. Наташа говорит, у повара был диван, сделанный под заказ, и в одну из ручек был встроен аквариум. У этого богача Петя с Натальей под поручительство отца занимали деньги на новую мебель, так что и отец мог у него, наверное, занять на собственное жильё. Отцовский друг Витя тогда же вступил в этот кооператив, и по сей день живёт в этой высотке на последнем этаже. Рядом лес, квартирка маленькая, уютная, мне там нравится—я бы хотела провести там своё детство.

Зарабатывая на своё жильё, отец надеялся, что на отдельной территории сможет жить с моей матерью и мной, и отношения наладятся. Он был человеком гордым и унижений не терпел, потому и ушёл из «примаков», но от ребёнка и жены отказываться не хотел. За дедову квартиру не держался, но в те годы для получения кооперативного жилья в Москве нужна была московская прописка, поэтому до момента покупки недвижимости регистрация в квартире жены Мише была нужна.

Однако у моей матери были свои планы. Как только подошёл срок оформления документов на отцовский кооператив, она начала процесс о выселении отца с профессорской жилплощади. Выписать с московской территории в те годы было можно только доказав, что человек не живёт по месту прописки более полугода. Мать привела некую свидетельницу, которая потрясла друзей отца тезисом «я ждала в этой квартире ответчика ночами, а он не приходил». Отца выписали из дедовой квартиры. Саша, присутствовавший на суде, считает, что отец мой гибкости, конечно, не проявил, но и скандала не учинял, а поведение матери выглядело чрезмерно жёстким и категоричным. Мать всегда рассказывала, что Миша в то время грозился профессорскую квартиру разменять. Правды сейчас уже не узнать, но битва тогда была суровой.

После этого суда у отца «накрылся» кооператив и возможность закрепиться в Москве. Динамика грунта, коей была посвящена его диссертация, под его собственной жизнью пошла такая, что разрушила воздушные замки надежд.

Следующим судом мать развелась с отцом. Наверное, после срыва кооператива у них был серьёзный конфликт, и они снова наговорили друг другу гадостей. Мать рассказывает, что на суде отец заявил: «Квартира моя, ребёнок не мой»,—и привёл женщину-судью в шок. Друг отца Саша вспомнил, что вся процедура длилась несколько минут, в течение которых отца выставили жутким злодеем, высказаться не дали, и судья походя приняла решение запретить отцу видеться с дочерью без ведома матери. Учитывая, что мать наняла очень опытную и коммуникабельную адвокатессу, которая готова была отца «услать в Сибирь», не исключено, что всё было решено заранее. Правды теперь, опять же, тоже не узнать, но спасибо матери, что на высылку Миши в Сибирь она не согласилась.

Отрыв

То, что называется спором, есть просто органическая непримиримость конституций.

Моя воля проста—брать то, что мне нужно и не давать того, чего не хочу.

Что ж. Надо убедить тех, кто с этим ещё не согласен.

Для этого нужна партия. Я стал вербовать её из читателей—стал писать. Пусть решительное большинство или влиятельное меньшинство заставит своим мнением считаться со мной (самому мне это не удалось) тех, кто не даёт мне того, что мне нужно, и тех, кто требует от меня того, что я не хочу им давать.

Мне надоело выживать. Я жить хочу!

Человек не колеблется при принятии решения. Решение уже принято. «Колебания»—процесс подбора аргументов в пользу принятого решения.

Михаэль Гарбер,
«Мысли для узкого круга»

После развода Миша, по словам Яши, сильно переживал утрату ребёнка. Суд дал ему право встречаться со мной под жёстким контролем матери, и поначалу отец приходил гулять. Потом рассказывал Наташе и Пете, что из-за контроля моей матери общение было мучительным, но пробовал ещё и ещё раз. Мать говорит, он пытался общаться с ней, а не со мной. Это понятно—не договорившись с ней, меня он лишался. Каждый раз прогулка, видимо, становилась всё тяжелее, и вскоре он видеться со мной перестал.

Возможно, на решение отца повлияла и смерть его спортивного друга: Володя-«шкаф» пошёл с женой в кино, там с ним случился сердечный приступ, и он скоропостижно умер. Отец был в шоке: качку Володе было лет тридцать с небольшим. У отца были подозрения на проблемы с сердцем, и, возможно, в тот момент он понял, насколько устал от битв с моей матерью. Стало ясней, чем грозит ему этот конфликт. А может, просто кончилось терпение. И отец перестал видеться со мной.

Женщин, интересующихся отцом, по словам друзей, всегда было много, и отношения с ними у него после разрыва с моей матерью были—и дружеские, и любовные. Когда из-за утраты прописки накрылся кооператив и вернулись деньги, отец сделал операцию и прижал свои прежде оттопыренные уши. Пришёл к Наталье и Пете, те удивились—«зачем?», а он в ответ рассмеялся: «Если б вы знали, сколько я девушек пропустил

из-за этих ушей». Следующим шагом отец поправил себе кривую носовую перегородку. Его друг Витя, у которого была такая же проблема, после операции спросил — больно ли. Отец сказал (жалея друга), что рассказывать не будет, Витя поглядел на его лицо и от операции отказался.

При всём своём гусарстве, отец был человек чести — если женщину не любил, ситуацией не пользовался. У Натальи была подруга, в то время — девочка лет 18-ти, дочь председателя КГБ одной из восточных республик. Она познакомилась с Мишей и «запала» на него сразу и серьёзно. Женись он на ней — и московская квартира со всеми благами мира были бы у него в момент, но отец барышню не любил, потому только брал у девочки редкие книги почитать и никаких романтических шагов в её сторону не делал.

В Москве отца в те годы держали друзья, аспирантура и работа. В 1971 году у него внезапно умер научный руководитель, так что дальнейший карьерный рост и защита сильно затруднились. Кроме того, аспирантура давала прописку, а работа — нет, поэтому оставаться в Москве отец больше не мог. Это стало поворотным моментом: все события тех лет подталкивали его искать себе иной путь. И когда в то же время случились первые успешные прецеденты эмиграции друзей, отца захватила идея отъезда на историческую родину. Витя говорит, что это был больше дух авантюризма, чем жест отчаяния. Просто Мишу, освобождённого от связей, потянуло в сторону новой, прежде нереальной, а теперь наконец достижимой жизни.

Эмигрантов легче отпускали с окраин империи. Отец возвратился в Кишинёв, где нашёл сильные промолдавские и антисемитские настроения. Это усилило общее чемоданное настроение — и Гарберы все втроём подали документы на выезд. Достойной работы после этого отцу никто бы не дал, а между тем для отъезда он должен был оплатить мои алименты до 18 лет и подписать у матери документ о согласии на его эмиграцию. Наташа говорит, алименты на меня он заработал на ипподроме. И даже хранил у них какую-то странную утварь, полученную в процессе заработков. После его отъезда кто-то пришёл и забрал эти ценности, но поскольку в свои аферы отец друзей не втягивал, назначения тех странных вещей Наталья до сих пор не знает.

Ценой своего согласия на отъезд мать назначила подпись отца под бумагой об отречении от меня. Он подписал восемь пунктов о том, что я больше не ношу его имя и фамилию, ничего от него не получу и никогда с ним не увижусь.

Так и вышло. Когда в 30 лет бои с матерью за информацию об отце наконец увенчались успехом, я увидела то самое письмо об отречении и фотокарточку, где качок лет 20-ти стоит с голым торсом перед каким-то домом, — видимо, в Кишинёве. На обороте надпись: «Вот какой я был здоровенький, пока не ослабел». Ещё пара писем, которые мать в руки не дала. В одном, к которому, вероятно, было приложено фото, Миша пишет ей какие-то тёплые слова. В другом — Гарберы поздравляют невестку с бракосочетанием и свекровь даёт ей свои домостроевские наставления о семейной жизни. Письмо подписано «мама и папа», что и было последней каплей в отношениях моей матери с родителями мужа — имея изрядные проблемы с собственными предками, она ужаснулась идее получить второй комплект ещё более чуждых ей родителей. И вот теперь напряжённые отношения матери с семейством Гарберов прервались.

По Наташиным словам, моё последнее свидание с отцом было перед его отъездом в 1972 году, и после этой встречи он сказал ей: «Что бы там ни было, это моя девочка, и она всегда будет меня любить». Угадал. Любила, но скрывала даже от себя — семья матери была настроена так, что даже имя отца и факт его существования не упоминались. Как будто у меня просто не было отца, и всё. Напряжение вокруг его фигуры было такое, что я даже не спрашивала. Вроде как у всех детей есть папы, даже и в прошлом, а мне — не положено. Скрытая любовь дорого даётся: после отъезда отца, с четырёх лет, волнуясь, я не могла до конца вдохнуть, а после известия о его смерти у меня началась астма. Всё-таки странно, что, рассчитывая на мою любовь, даже после своей смерти, Миша мне не оставил хотя бы письма с парой добрых слов на память. Может, считал, что этим письмом был роман, может, оставил написание письма на потом, а умер внезапно, а может, просто отрезал меня вместе со своей российской историей. Не знаю…

Но знаю, что в 1972 году, расплатившись с моей матерью алиментами и отречением от меня, он вышел на финишную прямую эмиграции. Для этого, как рассказывает Яша, отцу надо было, кроме всего прочего, купить дымковскую игрушку, чтобы продать её в Вене и получить хоть какие-то деньги на первое время, ибо деньгами можно было вывозить не больше 50 долларов; сдать на права, потому что в Израиле без машины сложно; вылечить зубы, потому что в Израиле это дорого; и переписать записную книжку латиницей, потому что запрещалось вывозить любые тексты на русском языке. Кафка, да и только.

Представление о том, куда они едут, у израильских эмигрантов того времени было смутное — рай, земля предков, не будет советской давиловки, но что будет — не ясно. Там неизвестность была полная, а здесь всё отрезалось. Вывозить бумаги и документы было нельзя, посему свою философскую книгу отец оставил Яше в надежде, что тот её перепечатает и передаст через Голландское посольство отцу в Израиль. Яша вскоре так и сделал, но текст до отца не дошёл.

Отец уехал в Израиль вместе с родителями летом 1972 года, когда перед приездом Никсона СССР выпустил массу евреев в надежде умаслить Штаты ради каких-то международных договоров. Тем же летом из России уехал Бродский — в его интервью Соломону Волкову атмосфера тягостной эмиграции тех лет описана вполне: уехать тогда означало умереть для близких и друзей в этой стране навсегда.

На проводы в Москве отец привёз на квартиру кого-то из друзей канистру вина — и пил, как говорит Наташа, два прощальных дня беспробудно.

Потом улетел в Кишинёв к родителям. Витя говорит, что уезжали Гарберы поездом через Брест — отец с границы тогда прислал ему прощальную записку.

Волею судьбы вскоре после этого, в ноябре 1972-го, года умер мой дед, главный семейный оппонент отца. Однако разрыв матери и отца был к тому времени уже совершенно необратимым.

Уплыл причал.

Эмиграция

Мы так стремимся к Цели, что явление Её делает нас безразличными к Ней. Так свобода, столь желанная узникам, будучи достигнута, становится ему безразлична, и обесценивается по сравнению с дорогой к ней. Скорее же всего мы не поверим в Неё.

Есть три рода мужества. Мужество, чтобы перейти через канаву «не хочу». Мужество, чтобы перешагнуть через овраг «не могу». И мужество не сворачивать с дороги «хочу и могу» — мужество зрелости, если к тому времени ещё остаются желания и силы идти, и вы не ляжете на полотно этой дороги, чтобы по крайней мере не свернуть с неё. Чтобы, лёжа на спине, писать пальцем по чистой голубой доске неба историю своего «хочу». Писать, пока за вами не придут санитары, чтобы помочь добраться до того места, где вам будет кому эту историю рассказать.

Если всё в воле Божьей, то нет понятия «не дано». Ибо, что дано — благо, и что не дано — благо. Ибо всё дано Богом — и благо.

Михаэль Гарбер,
«Мысли для узкого круга»

Про жизнь отца в Израиле я знаю со слов Яши, которому отец писал после отъезда.

Итак, первые полгода иммигрантам давали пособие и учили на курсах ивриту, потом надо было искать работу. Вначале отец был в эйфории, ибо отношение израильского государства на фоне советского было вдохновляющим. Отец писал Яше, что надо ехать, потому что здесь родина и всё прекрасно. Потом поселился в Хайфе, долго искал работу, видимо, тяготился этим, перестал писать.

Со временем он нашёл себе службу, причём по специальности и в престижном Технионе. В 1974 году женился на эмигрантке — медике из советской Прибалтики. Я говорила с ней всего однажды — после того, как Яша нашёл меня, друзья отца четыре месяца уламывали её на переговоры, хотя всё, что я хотела, это узнать место могилы отца. Когда наконец эта женщина согласилась на телефонный звонок, я пожалела, что набрала её номер: все перед ней виноваты, все ей должны, все недодали. Прошло ещё пару месяцев, и она наконец прислала через посредника адрес могилы. Однако к тому моменту для меня всё важное в истории с отцом уже стало ясно, и ехать на могилу не хочется.

Кроме того, в то время круг живых отцовских знакомцев обрисовался полностью, и выяснилось, что он содержит одного из ближайших приятелей моей матери. Все эти годы этот человек был вхож в её дом, и все эти годы он был в курсе событий отцовской жизни. И мать, соответственно, тоже. Им просто было удобно не давать информацию мне.

Визит на могилу не даст мне сейчас ничего нового. Я уже достаточно знаю об отце. И слишком много — о его женщинах. С меня хватит. Я хочу дописать эту историю и жить своей жизнью.

Про отца ясно: он лёгких путей в этой жизни явно не искал — видать, карму отрабатывал. Остаётся надеяться, что на сегодня я свои унаследованные кошмары тоже отработала. Может, поэтому Яша и смог вдруг найти меня после стольких лет абсолютной информационной блокады, во время которой все мои попытки узнать историю отца кончались ничем. Какие только люди не обещали мне найти Мишину могилу и данные о его израильской жизни — и в конце концов только руками разводили. Чёрная дыра какая-то. Впору было думать, что отец — агент 007. Эта ковбойская легенда Мише, думаю, понравилась бы, но она неверна. А верно, что евреев по пустыне Моисей водил сорок лет, чтобы рабство изошло из души народа. И мне вышел такой же срок изгнания в пустыню одиночества и информационной блокады.

На самом же деле эмигрантская история отца оказалась вполне проста: в то время, когда он женился, ситуация в Израиле была нестабильная, денег не хватало, поэтому надо было искать иные возможности заработка. Отец получил контракт в Канаде, с 1975 жил там с женой, они родили дочь в 1978, но в 1980 жена настояла на возвращении на историческую родину. Говорят, до сих пор жалеет — в Канаде было легче.

По возвращении в Израиль жена нашла работу, а у отца были с этим сложности. Ситуация усугублялась тем, что в 1982 у них родилась вторая дочь.

Наконец, в 1983-м году отец устроился на стабильную службу. А в 1984-м пришёл после работы в пустую квартиру, и у него случился сердечный приступ. Жена пришла и нашла его труп в доме. Хоронят в жарком Израиле в день смерти. Вскрытия не было.

Давид Гарбер с женой прожил в эмиграции довольно долго. На вопрос «Как жизнь в Израиле?» отвечал: «Кефир здесь плохой». Его жена, молчаливая еврейка из Бессарабии, пережила его на несколько лет и умерла в конце 1990-х.

Наташа говорит, что до сих пор иногда ей в толпе кажется, что — вот он, Миша, по улице идёт. Глянет — нет, конечно, не он… Не может быть…

P. S.

Почему волна, у которой есть столько простора, бьётся о камень? Почему она идёт, сначала молитвенно сложив руки, а потом вскипает и изо всех сил бьёт его?
И так без конца…

Чего она от него требует? Чтобы он ушёл?
Чтобы любил её?
Иногда она ластится к нему. Иногда бушует.
Но всё бесполезно…
Камень умер и его не разбудить.
Он умер. Ему не уйти, не любить. Он мёртв.
Но силой любви или ненависти
она хочет его воскресить.

Мы отвечаем за промахи предков, наверное, затем, чтобы нашим потомкам не пришлось отвечать за нас.

Михаэль Гарбер,
«Мысли для узкого круга»

Когда-то я была маленькой девочкой в платьице колокольчиком, да уплыл тот причал…

Потом я была заключённым под мостками причала — снизу вода, сверху доски, на них — пистолет. Вода плещет, дыхание захлёстывает. В минуты затишья можно смотреть на небо в щели между досками причала. Когда начинается прилив, борьба за жизнь особенно тяжела. Кандалы ржавеют вместе с терпением. Пистолет давно смыло приливом. Да и что толку от пистолета, когда даже стрелять не в кого. На мили вокруг — одна вода.

Но однажды случилось чудо — кандалы наконец прогнили. Я выбралась наверх и в двух шагах от причала нашла отцовский воздушный замок. Он смахивал на старую яхту, но оказался крепок и поддался починке.

Теперь я тихонечко иду под парусом, разглядывая в тумане своё будущее.

Кровь — сильная штука, так что на крутом повороте я обычно успеваю увидеть, где тут отмели и стремнины. И плыву дальше.

А ночью, пока моя яхта дрейфует в пространстве снов, в небе сияет созвездие отца — замок и пистолет.

Хорошо, что уплыл причал. Интересно, что впереди.

Эпилог

Отцовская книга начинается предисловием, а заканчивается эпилогом. Я их переставила. В моём зеркале они поменялись местами. Так вот:

Отчего написал автор эту короткую книгу? От наблюдательности и неполноценности, от тщеславия и беспомощности, от внутреннего страха перед смертью и от внутренней силы. От того, что понял, чего не хочет и не хотел понять, чего не может. От красного отчаяния и серой злобы, от смутной ненависти и волнующей непосредственности. От выпитого вина и жажды любви. От мании величия и бдительного самоанализа. От веры в себя.

Читай же её, читатель! Будь мужествен, будь бережен, будь добр и верь мне. Верь!

Я вырос из многих мыслей этой книги, но не отказываюсь от них.

Я благодарен им. Они мои братья, мои друзья. И эта книга — наш общий праздник, наш долгожданный сбор.

Михаэль Гарбер,
«Мысли для узкого круга»

Весеннее утро

(стихотворение Алана Милна,
вольный перевод Натальи Гарбер, 1984)

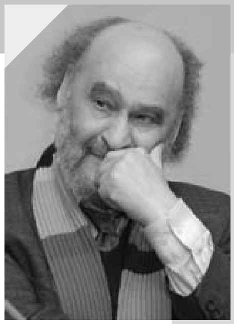
Куда я плыву? Я не знаю, куда.
Туда ли, где в лютиках берег пруда.
Меж сосен, сверкая, струится вода…
Куда-то далёко. Не знаю, куда.

Куда я смотрю? Облака надо мной
Всё заняты странной беспечной игрой.
Их тени проносятся мимо — везде
По шустрой, весёлой, зелёной воде.

Когда б ты был облаком, там, в вышине
И плыл так легко, словно воздух, ко мне,
Присвистнув, кричал бы оттуда, смеясь:
«Не правда ли, зелено небо сейчас?»

Когда б ты был птицей и жил как хотел,
Ты встретил бы ветер и с ним улетел,
Чтоб после, вернувшись, мне тихо сказать:
«Сюда-то как раз и хотел я попасть!»

Куда я плыву? Я не знаю и тут.
Не всё ли равно, куда люди плывут?
Туда, где в лесу незабудок вода.
Куда-то далёко. Не знаю, куда.



Евгений Белодубровский

Моя чуковина

Прошёл, прошумел, прошелестел нетленными страницами «чукоккалы» по невским берегам мартовский юбилей Корнея Ивановича Чуковского и Лидии Корнеевны, вернулись с выставки на свои места в фонды и в рукописный отдел нашей Публички их книги, рукописи, фотографии, документы, ушла в историю и довольно представительная московская научная конференция…

Но юбилей — юбилеем, а жизнь — жизнью. Банально! С кем не бывает. Да и у каждого «свой» Чуковский, как «свой» Пушкин или Булгаков. Но моя личная жизнь: юная, совсем детская, мальчиковая, солдатская, а нынче — совсем уж взрослая, жизнь учёного-библиографа и книгочея-старателя — уж точно без присутствия в ней Корнея Ивановича Чуковского была бы и цветом в сто раз бледнее, и умом — короче, и устремленьями — уже…

Вообще-то Корней Иванович был человек детский. То есть: долговязый, смешливый, неуклюжий, рассеянный, непоседливый, шепелявый, с скрипучим голосом и длинными руками, всё ему было мáло. К тому же по-молодости он носил какие-то несусветные мотоциклетные кепки с помпонами, галифе, гетры и вполне сходил за авиатора (по числу изображений и карикатур на него чем угодно: кистью, маслом, пером, карандашом — Корней Иванович уступает, быть может, только Пушкину и Достоевскому), ну уж никак не критика, или там, не дай бог, публициста или модного писателя. Вот стройный весь из себя Бунин в кабриолете; вот весь измятый жизнью на дне Горький, Куприн в татарской тюбетейке за столиком в «Вене», безумный Леонид Андреев с «взором горящим», ржаво-рдяно-медный поэт солнца и мирта Ка-Бальмонт — вот это писатели; или, скажем, маститый строгий папаша Аркадий Горнфельд, или сам Аким Волынский и вкупе с ними (а то — впереди) философка Зинаида Ни-кола-вна (так!) Гиппиус-Мережковская (она же «он», то бишь, «Антон Крайний» с лорнетом на тонком шнурке наперевес)… А тут что?

Однако откройте именной указатель любого мемуара, персоналии или словаря деятелей петербургской (московской, киевской, одесской) науки, культуры и художеств XX века, как имя нашего Корнея буквально запестрит в ваших глазах, и вы наверняка почувствуете, что без него, без Чуковского, никакой «серебряный век» был невозможен, он был бы иным, монохромным, глухим, с него бы слетела, как шляпа с задранной головы зеваки на Комендантском аэродроме, вся эта милая и тревожная эпоха. Эпоха, которая никогда не кончится…

Кроме того, Корней Иванович был человек пернатый, сущий и вездесущий. Он понимал язык птиц, некоторых незлых зверей, насекомых и даже научился одушевлять и оживлять неодушевлённые предметы.

И обучил этому некоторых из нас, ленивых и нелюбопытных…

Встречи

Я два раза видел (в кавычках) Корнея Ивановича Чуковского. И почти «живьём». Первый раз давным-давно по старому телеку на маленьком, с почтовую открытку или размером А4, сизом экране. Мы жили тогда в коммуналке и «ходили на телевизор» к соседям. Уже не помню, про что была передача. Помню только, что меня сильно удивил и рассмешил довольно слабый, нараспев и чуть крякающий голос Чуковского по сравнению с его гигантским — под потолок — ростом, большим лицом и всей нескладной фигурой. В другой раз, уже много-много позже и тоже, кажись, по телеку видел доброго дядю Корнея Ивановича в обличье индейца с павлиньими перьями на голове и в простой бытовой блузе (однако при галстуке и в брючной паре), окружённого переделкинской деревенской детворой в пилотках и с вытаращенными глазами… Он что-то танцевал, мяукал, мычал, кричал петухом, кукарекал. И тоже это было здорово, солидно, необычно и смешно…

И запомнилось очень.

Телефон

Был я на и могиле Чуковского (студентом-заочником Литинститута), в середине 80-х, в том же Переделкине. Это было зимой, такой вокруг живительный хрусталь на голых деревьях, серебристая, почтительная, не кладбищенская, не скорбная тишина, где-то гудит и бьётся проводами электричка…

Сидим на лавочке, курим болгарские сигареты «БТ» с фильтром… И вдруг неподалёку, откуда-то то ли сверху, то ли снизу звонкий голос: «Февраль! Достать чернил и плакать…». Пастернак, его стихи. Борис Леонидович, многолетний сосед Корнея Ивановича по даче (и по земной жизни и злой эпохе). Всё правильно! И здесь! Он где-то близко. Здорово. Мы не одни. И я, сам не зная почему, решился откликнуться на эти бессмертные пастернаковские строки, на тот «голос», громко, наизусть, нарушая морозную тишину и под звон-перезвон хрусталя на ветках, во весь опор, начал читать моё любимое: чуковский «Телефон». Такая вдруг получилась славная перекличка…

Антология

Мало кто знает, что один из выдающихся современных русских учёных-филологов, в частности, автор непреходящих учебников по истории русского футуризма и имажинизма (выпускник Ленинградского университета 1941 года), профессор Владимир Фёдорович Марков из Лос-Анджелесского университета включил именно «Телефон» Корнея Ивановича в свою уникальную поэтическую антологию «100 русских поэтов. Centifolia Russica. Упражения в отборе» (спб, 1997).

Уверен, что сам Корней Иванович был бы страшно удивлён и обрадован не только выбором именно этого его произведения, но и самим фактом… Хотя (и это общеизвестно) в его, Корнея Ивановича, окружении были в знакомцах и ближе, и дальше едва ли не все знаменитые и самые достойные писатели и поэты щедрого на имена и таланты 20 века. Возьмём, к примеру, два факта, две групповые фотографии, давно ставшие классическими. На одной, ранней, перед нами вокзальная лавочка, на лавочке — четвёрка весельчаков: Корней Иванович в косоворотке (под Максима Горького), сапогах-бутылках крест-накрест потешно «строит рожу» фотографу. Своей правой ручищей он крепко захватил притулившегося с краю (как на облучке) взлохмаченного Осипа Мандельштама, черноглазого, с открытым лицом и в тёплом, не по погоде пальто — фуфайке. С другой его стороны калачом в обхват сидит поэт-киевлянин, крепыш и воин-футурист Бенедикт Лившиц; и тут же, всешний и их друг-приятель художник Юрий Анненков в парижской шляпе набекрень. И другая, 1921 года. С Блоком. Работы Моисея Наппельбаума. Шедевр. Корней Иванович крупно, с цветком в петлице и прядью полуседых волос, и слегка над ним печальный с светлым взглядом прямо на нас Александр Блок. Лицом к лицу. Москва. Май месяц. Последнее выступление Блока перед публикой, последняя полу-улыбка уже обречённого Поэта. Так что выбор Маркова — никак не случаен, хотя я попробовал поинтересоваться на сей счёт у него самого, лично. Он нисколько не удивился и ответил, мол, что, во-первых, «по сердечной благодарности и обязанности», так как он воспитан нравственно на книжках Корнея Ивановича, а во-вторых — много ли есть в русской поэзии настоящих поэтов на букву «Ч», ну, пара Чулковых, Чурилин, Тихон. Неплохой. Чичибабин, Борис…

Может быть, мне не следовало бы утомлять читателя упоминанием этой «марковской» поэтической антологии (ныне — большая библиографическая редкость), если б сам факт выхода её в свет в 1997 году не стал ещё одной страницей из не столько моей личной «чуковины», сколько в печатной судьбе Чуковского «Телефона». Всего Марковым было сделано четыре экземпляра машинописи этой антологии. Для друзей. Один был предназначен Ефиму Григорьевичу Эткинду, другой — литературоведу Юрию Давидовичу Левину из Пушкинского Дома, сокурснику Владимира Фёдоровича по довоенному филфаку (с которым он был потом в одной роте в ополчении); ещё один — выдающейся ленинградской актрисе Елене Владимировне Юнгер, многолетним поклонником и другом семьи которой он был… И последний, четвёртый, как ни странно, был подарен мне. Причём с активным разрешением делать с этой рукописью что угодно, то есть — напечатать. Помните крылатую фразу Анны Андреевны Ахматовой о том, что лучший способ сохранить рукопись Поэта, это её напечатать. Что я и сделал в одном из петербургских издательств. Остаётся добавить кратенький текст «оговорки» Маркова к своему «выбору» из Чуковского, данной в примечаниях: «Может быть, «Мойдодыр» лучше, но он велик для этой антологии. Пожалуй, лучшее у Чуковского, это начало «Бармалея», но только начало».

И ещё один «момент» к этой страничке моей старательский чуковины, момент исторический, поучительный и весёлый.

«Чу» и «Чю»

Как известно, на букву «Ч» (кроме упомянутых выше имён) в истории петербургской поэзии была талантливая титулованная дама, писательница, поэтесса, переводчица аж самого Великого Данте, госпожа Ольга Чюмина. В 1905–1906 гг., в самые «судьбоносные» для Российской Империи годы, Ольга Чюмина, уже в зрелом возрасте, стала активной сотрудницей сатирического журнала «Сигналы» и его редактора, молодого журналиста и газетчика Чуковского (следует напомнить, что сей журнальчик, так насмерть напугавший столичных городовых и аж весь «Дом Романовых», выходил на личные средства Солиста Императорской Его Величества Сцены Леонида Собинова, поклонника творчества О. Н. Чюминой). «Сигнальные» стихи и очерки Ольги Чюминой отличались политической смелостью, страстью, сарказмом, фантастическим юмором, нисколько не уступающим таким мастерам политической публицистики и сатиры, как Л. Андреев, Саша Чёрный, А. Куприн, А. Аверченко, Ф. Сологуб, А. Адикаевский, В. Воинов, Н. Агнивцев, О. Дымов и др., и вызывали страх у власть предержащих. Этот факт сотрудничества «Чу» и «Чю» удостоился нескольких остроумных ядовитых строк ядовитейшего поэта П. Потёмкина. И даже попал в Корнееву «Чукоккалу». Но известно ли нашим читателям, что Корней Иванович по-своему отблагодарил Ольгу Чюмину за поддержку своего рискованного «предприятия», посвятив ей свою книгу «От Чехова до наших дней. Литературные портреты и характеристики» (спб, 1908), в которой он впервые «заявил» себя как «нового» критика нового модернистского направления. В доказательство приведу первые 8 «безумных» строк этой книги, выдержавшей три издания: «Каждый писатель для меня вроде как бы сумасшедший… Особый пункт помешательства есть у каждого писателя, и задача критики в том, чтобы отыскать этот пункт».

«Ленинградским детям»

Моя начальная школа была на Невском. Она называлась «Петершуле» и славилась в городе не только своим «седым» возрастом (она была основана аж в 1704 году), выпускниками (средь которых,

навскидку, современники: поэт Даниил Хармс, «золотой» боксёр Геннадий Шатков и актёр из актёров — Михаил Михайлович Козаков), но ещё и своим великолепным старинным светлым Актовым Залом. Большая гостеприимная сцена, чёрного дерева скамьи, орган, мраморный изразцовый камин, просторный рояль фирмы «Бехштейн», приличная акустика, высоченные окна и люстры… И поэтому в нашей школе, в этом зале довольно часто устраивали концерты, ставились спектакли и проводились разного рода общественные мероприятия и сборы. И всё это — силами учителей, учащихся и их родителей. И вот в 1954 году наш город готовился отметить 10-летие снятия блокады. И в честь этого действительно великого события был назначен концерт для школ всего микрорайона. От каждого старшего класса (от 6-х до 10-х) требовалось подготовить по одному номеру: песня, стих, сценка, что угодно. В нашем классе это дело было поручено нашим классным начальством — мне любимому: я обязан был сам выбрать любое весёлое стихотворение, выучить его наизусть и исполнить на блокадном концерте. Сейчас уже не воспомнить «почему я, мне?!» (я был хоть и общителен, но не очень прилежен, не очень усидчив, не так аккуратен, совсем не отличник, и к тому же страшно картавил, шепелявил и боялся собак и кошек). Одно могло быть оправданием для них — во-первых, у меня был очень громкий голос, а во-вторых: в отличие от большинства моих одноклассников я не был сильно занят ни в каких школьных кружках (исключая, правда, любимый, переплётный), не брал уроки музыки и бальных танцев, не ходил ни в какие спортивные секции (всё пришло потом, но сейчас речь не обо мне, а о Корнее Чуковском), больше торчал после уроков целыми днями во дворе и на набережной Мойки «в мечтах и думах»…

Итак, стишок! А мы дома получали «Мурзилку», бесплатно, в нагрузку к «Вечёрке», целыми годами. Мама их бережно и исправно подшивала толстыми шнурками вместе с газетами, и эти готовые «подшивки» служили нам не только постоянным чтивом и рассматриванием весёлых картинок, но и одновременно по хозяйству: то грузом, то мягкой подстилкой, то подставкой, то горкой, то ещё чем-то. От всего этого старые подшивки «Мурзилки» совсем растрепались, любимые картинки поблекли и стёрлись, им постоянно требовался срочный «ремонт» при помощи ножниц, ниток, клея, папиросной бумаги. Это занятие я любил и умел. И вот в один из таких «рабочих моментов» мне попалась выпавшая из подшивки страничка из «Мурзилки», кажется, 1946 года, со стихотворением самого «Корнея-Чуковского-Мойдодыра-Тараканища». И называлось просто: «Ленинградским детям». И хотя оно было очень длинное, трудное и какое-то нескладное, и ещё — написанное лесенкой, в нём оказалось много названий незнакомых мне иноязычных стран и городов (одна «Гаага» чего стоила). Это было здорово. И скорее всего поэтому я выбрал именно это стихотворение для предстоящего юбилейного концерта.

И вот тот день настал, тот январский денёк, 4 часа дня, концерт, наш Зал, в зале: мамы, папы, разный люд, медали, один товарищ был даже в бескозырке. По программе я был где-то в середине. И вот прошёл хоровой номер девчонок из соседней 217 школы, и настала и моя очередь. Помню, меня скромно объявили: имя, класс, школа, всё как положено. Ну и я крикнул название всё в одно слово: «Корнейчуковскийлениградскимдетям» и начал. Всё пошло как по маслу, тщательно соблюдая рифму и ударения. А на последней репетиции кто-то из старшеклассников (имеющий, видимо, свой опыт актёрства) посоветовал мне, дабы не сбиться и не испугаться публики, сразу этак «выхватить» из зала чьё-то лицо и читать как бы ему одному… Я так и делал, и, как вы уже поняли, избрал «бескозырку». И вот — концовка, которой я немного трусил из-за одного слова «блокада» (хоть мне было тогда всего-то почти 13, а это слово и всё, что таилось за ним горького и нескладного для взрослых, мне было знакомо, и всегда немного перехватывало горло). Читаю:

…Или тогда же, в две тысячи
Двадцать четвёртом году,
На лавочке сядете в Летнем саду,
Или не в Летнем саду,
А в каком-нибудь
Маленьком скверике
В Новой Зеландии
Или в Америке, —
Всюду, куда б не заехали вы, —
Всюду, везде, одинаково,
Жители Праги, Гааги, Парижа,
Чикаго и Кракова
На вас молчаливо укажут
И тихо, почтительно скажут:
«Он был в Ленинграде…
Во время осады…
В те годы… вы знаете…
В годы блокады!»
И снимут пред вами шляпы.

Вроде ничего прошло. Не сбился. Не заплакал. Пошли хлопки. Поклонился и пошёл себе за кулисы. И вдруг эта «бескозырка» прыгнула на сцену, мощный такой дядя, моряк, длинный как жердь, догнал меня, схватил довольно больно за рукав, вытащил обратно к публике, вытянулся во весь свой рост, а потом стащил с башки эту свою мятую бескозырку с лентами и якорями и поклонился мне, пацану, в три погибели до самого пола…

«Тараканище»

Среди многочисленных иллюстраторов «Тараканища» К. И. Чуковского (согласно Генеральному Каталогу нашей Публичной Библиотеки, «Тараканище» переиздавалось с 1925 года по сей день более 30 раз) был и ленинградский художник-карикатурист Владимир Александрович Гальба. Пожалуй, по своему остроумию, интеллигентности, таланту рассказчика и душевной щедрости ему в ту пору не было равных в Ленинграде (разве только профессор Никита Алексеевич Толстой). Мы дружили с Гальбой много лет (вернее сказать, я был одарён его дружбой и душевным расположением). Но это особая история. Ещё бы. Гальба знал самого

Сименона, Жана Эффеля, Херлуфа Бидструпа, да и мало ли кого…

Итак! Помнится, осенью 1984 года Владимир Александрович пригласил меня к себе в гости на Фонтанку не совсем обычным способом. То есть по почте. В конверте была короткая записка с обозначением дня и времени встречи с размашистым росчерком Гальбы, и отдельно вложен миниатюрный самодельный конвертик, на котором я прочёл «Дарю с возвратом». В нём, аккуратно, заботливо сложенный вчетверо, был маленький листочек прозрачной бумаги, на котором тонким пёрышком Гальбы был подробно нарисован карикатурный портретик «отца народов» в дырявом генеральском мундире с одним погоном, с трубкой и с большущими-пребольшущими «будённовскими» тараканьими усищами под носом. А рядом — тыкающий в портрет кривой сабелькой маленький чернявенький человечек с воробьиным хохолком на макушке, в коротких штанах и в штиблетах с болтающимися в разные стороны шнурками. Под рисуночком была подпись «Битва двух Иосифов».

При встрече, как ни в чём не бывало, Владимир Александрович показал мне новые и уже готовые к отправке в издательство картинки и буквицы к «Тараканищу», в которых всё было очень точно, здорово, остроумно и мастерски выписано, но в них я не увидел почти никакого намёка на ту крамольную «Битву двух Иосифов», хотя всё было ясно. Я вернул ему рисунок, как было договорено (очень потом сожалел об этом, ибо он наверняка пропал после смерти художника). Владимир Александрович бережно его принял, куда-то отнёс, потом вернулся и спросил: узнал я, мол, кто этот маленький герой. Я ответил: Мандельштам! Значит, сказал он, вы тоже думаете, что я был прав, утверждая, что милый сказочник Корней Иванович в своём «таракане» узрел повадки будущего тирана, хотя на то время до сталинских репрессий, ареста и гибели Мандельштама было ещё далеко. И рассказал мне далее, что именно по этой-то причине он всякий раз отказывался иллюстрировать «Тараканище». И даже тогда, когда эта просьба (дважды) исходила от самого Корнея Ивановича. Ибо, прочитав текст, сказал он, рука сама невольно выводила моего «таракана» на портрет «отца народов».

И вот однажды, продолжал свой рассказ Гальба, в начале 60-х годов, будучи в гостях у друзей в Москве, он случайно встретил Чуковского, который мягко выразил ему своё сожаление, что вот, мол, почему он никак не берётся проиллюстрировать «Тараканище». Тогда Владимир Александрович без лишних слов достал из бокового кармана пиджака свой рабочий блокнот, карандаш, быстро сделал набросок и протянул его Корнею Ивановичу. Тот взглянул на рисунок, понимающе присвистнул, закашлялся и, пробормотав что-то близкое: понимаю, да, это таракан, — крепко пожал художнику руку и отошёл в сторону.

Письмо

Где-то в середине наших 70-х годов в Лесном, в скромном тенистом охотничьем жилище моих новых старших друзей, профессора химии Лесотехнической Академии Алексея Алексеевича Ливеровского и его жены, художницы Елены Витальевны Бианки, я увидел на столике, среди альбомов, бумаг и рукописей Виталия Бианки большую групповую фотографию 1922 года. На ней в первом ряду стоя были изображены несколько стройных барышень в строгих прямых платьях и таких же причёсках; во втором, сидячем, на высоких стульях были, по-видимому, заглавные лица: мужчина и женщина, в окружении двух-трёх молодых людей весьма задиристого весёлого вида и всяческой наружности. В мужчине я почему-то сразу узнал Самуила Яковлевича Маршака в огромных очках, сложившего свои маленькие ручки на коленях и с ногами, едва достававшими до пола. Потом я сам «опознал» и тех двоих-троих, и ещё сидевшего по-турецки в ногах всей группы смуглого невысокого человека в перешитой гимнастёрке. Это были: Михаил Слонимский, Виталий Бианки и (тот что внизу) Михаил Зощенко. Главную же загадку для меня составила женщина, восседавшая (именно так) рядышком с Маршаком. Это была тучная, весьма немолодая женщина, с крупными властными чертами лица, в тёмном платье с широкими рукавами, рюшками и оборками по низу. Правда, её ясные и смотрящие прямо на нас добрые глаза тут же напрочь снимали всю эту внешнюю суровость.

На мой молчаливый вопрос Елена Витальевна рассказала, что эту строгую даму весьма генеральского вида зовут Ольга Иеронимовна Капица, или по-просту Баба Оля, и что здесь она профессор детской литературы и руководитель (вместе с Маршаком) всей этой честной компании под названием «Студия детских писателей», которая вошла в историю как «колыбель» будущей советской детской литературы. Ибо в этой «колыбели» выросли (кроме лиц, изображённых на фотографии) такие писатели, такие будущие «инженеры» детской души, такие будущие мэтры, как Шварц, Житков, все разом «обэриуты»…

Но прежде всего, Корней Иванович Чуковский.

Сии великовозрастные «студиозы» собирались по понедельникам за круглым столом (с чаем и сухарями) в скромной комнатушке Ольги Иеронимовны, где-то на задворках Библиотеки, окнами выходящую на знаменитую полукруглую чугунную решётку против Казанского собора, и поочерёдно читали там свои произведения и ревниво обсуждали их.

Но первое и главное слово (приговор) принадлежало Ольге Иеронимовне, «Бабе Оле», как её любовно называл Виталий Бианки. И очень многие произведения этих (тогда только робко начинающих) детских писателей, ставших ныне классическими, хрестоматийными, получили «крещение» за этим чайным клеёнчатым круглым столом, а его хозяйку авторы считали своей литературной «крёстной матерью».

И это было справедливо. Ибо, как известно, О. И. Капице, этой «Бабе Оле» (с той фотографии) принадлежит авторство (или литературная

обработка) таких бессмертных шедевров русской детской литературы и фольклора, как «Репка», «Теремок», «Скок-поскок», «Лисичка-сестричка и серый волк», «Зайка-зазнайка», «Мужик и медведь», «Петушок и бобовое зёрнышко» и целой библиотеки составленных учёных книжек и сборников детских сказок, песенок, прибауток и считалок.

Но ещё более примечательным и уже совершенно расположившим меня к этой незнакомой мне дотоле строгой пожилой профессорше было то, что она — матушка Петра Леонидовича Капицы, академика-физика, нобелевского лауреата, одного из плеяды умнейших и благороднейших людей нашего времени.

Лет 15–17 тому назад, в бытность моего заочного студенчества, я для своей преддипломной работы решил написать просторный биографический очерк об Ольге Иеронимовне Капице и её знаменитом сыне. Особенно мне был интересен период, когда Пётр Леонидович жил и работал в Англии у Резерфорда.

И вот в личном фонде Ольги Иеронимовны в Пушкинском Доме мне попалось довольно примечательное письмо к ней от Корнея Ивановича Чуковского 1926 года, которое свидетельствует о добрых отношениях и сотрудничестве …

Вот текст этого неопубликованного письма:

12 февраля 1926 года
Ленинград

Глубокоуважаемая Ольга Иеронимовна.
Бесконечно благодарен Вам за Ваше письмо. Я сейчас перчитываю книгу О'Брайант и разжигаю в себе праведную ярость против бездарных Елачичей и гнусных Яновских.

За сборником экспериментальных рецензий Вы позволите мне лично явиться к вам на будущей неделе? У меня оказался неожиданный союзник проф. Ю. Ломоносов (изобретатель паровозов), который сообщал мне интересную статью одного Киевского профессора — «О фантазии у инженеров».

Сам Ломоносов говорил, что если бы он в детстве не увлекался сказками, из него не вышло бы изобретателя.

Я слыхал, что Ваш сын тоже прославился изобретением в области физики. Если это так, нельзя ли подробнее познакомиться с его изобретением? Я сейчас пишу роман для юношества, и мне хотелось бы изобразить русского изобретателя.

Ваш Чуковский

Среди коллег П. Л. Капицы в Англии был Юрий Владимирович Ломоносов, близкий друг академика Крылова, будущего зятя Капицы. Он был страстным поклонником Дизеля и замечательным инженером-изобретателем в области локомотивов. Известны его яркие и неравнодушные воспоминания о петроградских событиях февраля-марта 1917 г. *(прим. — наше!).*

Первый съезд СП СССР или образец владения Корнем Ивановичем Чуковским «эзоповом языком» и применения его на практике в нашей стране на пороге ГУЛАГа

«Один пионер спросил меня: «Были ли прежде в царское время какие-нибудь съезды писателей? Я ответил ему:
— Были. Конечно. Ещё бы!
— Что же это были за съезды.
— Очень интересные. Я живо помню. О них тогда много писали в газетах. Съезжались петербургские писатели с Выборгской стороны, с Песков, из гостиницы «Пале-Рояль», с Разъезжей улицы все в одно место.
— В какое?
— Ну, конечно, в кабак. А то куда же? Был такой кабак под названием «Вена» на улице Гоголя. И в это кабак каждый вечер съезжались писатели и…
— И?
— И натурально пили водку… очень много водки… Хвастались своими гонорарами… рассказывали анекдоты про женщин, играли на бильярде и пили опять.
— А потом?
— А потом, пьяные, ехали в какое-то уединённое место (я забыл, в какое, кажется, на какую-то дачу), там раздевались догола, брали кошку и с визгом и с танцами вешали её за шею на особо устроенной виселице, так, чтобы она подольше мучилась.
— Вешали кошку?
— Да. И называли себя кошкодавами. Это была вроде как бы секта или, скажем, партия. Партия кошкодавов.
— А Вы не врёте?
— Уверяю тебя. И мне их всегда было жалко. Талантливые люди… неглупые… но такие были тогда времена… после разгрома первой революции. Их заласкала победившая буржуазия… И, впрочем, ты скоро узнаешь об этом, а теперь не забудь: это были глубоко несчастные люди.
— А других съездов не было?
— Были и другие. Немного позднее. Например, в «Бродячую собаку»
— В «Бродячую собаку?»
— Да. Так назывался ночной кабачок в подземелье, куда съезжались не только писатели, но и художники, музыканты, актёры. Там все стены и потолки были расписаны разными чудовищами, на эстраде танцевали, пели, читали стихи, а в тесных подвальных залах сидели за столиками сплошь знаменитые люди, и, конечно, пили водку… вино… и смертельно скучали. Один замечательный поэт того времени так и написал о «Бродячей собаке»:

Все мы бражники здесь, блудницы,
Как невесело вместе нам!

Пионер задумался, засмеялся, махнул рукой, убежал».

«Литературная газета», 1934 год, 31 августа.
Москва, Колонный Зал Дома Союзов.

Без комментариев.

Выпуск подготовила Марина Переяслова

Владимир Прасолов

Вангол

Главы из романа

— Гони, ро-ди-мы-я! — орал бородатый казак, нахлёстывая пару гнедых жеребцов, запряжённых в лёгкую кошёвку. Они по обочине, по неглубокому ещё снежку быстро обгоняли длинный обоз. Офицер, сидевший в кошёвке, надвинув на самые брови фуражку, дремал. Лёгкие сны прилетали к нему то — в образе красивой, стройной женщины, которая, протягивая к нему руки, звала к себе, а его уносил куда-то под перестук колёс воинский эшелон. То вдруг он видел себя в кругу друзей, таких же, как он, фронтовиков, пропахших дымами костров и пороховыми газами, чумазых и разгорячённых после очередной атаки, и отчаянно весёлых, несмотря на страх и ужас, испытанный только что.

— Вашбродь! Вашбродь! Обошли, обошли обоз! Вон сотник Сысоев вас поджидают.

— Молодец, Акимыч! Лихо! Хвалю! — Капитан снял фуражку, подставив свежему морозному ветерку красивое волевое лицо. Его сросшиеся на переносице чёрные брови благородно оттеняли большие открытые глаза, в которых горел неистощимый заряд энергии и жизненной силы.

— Господин капитан, дальше обоз не пройдёт, дорог дальше нет, — доложил подъехавший на белом дончаке сотник. В его глазах были тревога и некоторая растерянность. — Куда дальше, господин капитан? В такие турлы забрались. Шестой день как последнюю деревню прошли!

Сотник спешился и, вытащив трубку, стал неспешно набивать её табаком.

Офицер вылез из кошёвки, подошёл к коню сотника и погладил доверчиво потянувшуюся к нему голову.

— Хорош у тебя дончак, Пётр Петрович!

— Вашбродь, у вас не хуже. Чистых кровей конь, сразу видно. Так что делать будем?

— Нельзя обоз краснопузым оставить, и защитить его мы не сможем. Мало нас. Значит, уходить в тайгу нужно, сотник.

— Как уходить-то? Куда в зиму? Сгинем в этом безлюдье.

— Пётр Петрович, ты же бывалый казак, охотник, неужто пропадём? Края здесь безлюдные, ясно, так и зверя полно. Нам время выиграть надо, они же не подумают, что мы в эту глухомань подались, вдоль железной дороги искать нас станут. Переждём, а там, глядишь, наши подтянутся и вышибут голоштанных.

— Так-то так, да дорог-то нет, обоз не пройдёт.

— Вьючить лошадей, сколько сможем. Всё, что не сможем взять, здесь укроем, в землю. — Капитан вытащил из кармана золотые часы и, откинув крышку, посмотрел на циферблат. — Три часа на всё. Выполнять.

— Так точно, — козырнул сотник и, вскочив на коня, рысью метнулся к подходившему обозу.

«Лучше в тайге Богу душу отдать, чем подарить красным этот обоз и людей отдать на растерзание комиссарам», — думал капитан, глядя, как сотник отдаёт команды…

Лёгкая метель замела следы ушедшего обоза и пепелище сожжённых повозок.

Раньше он никогда бы не подумал, что Новый год придётся встречать так. Боже, как быстро может всё измениться в жизни. Ещё месяц назад были мечты, друзья, планы на жизнь. Ожидание праздничного, пусть не богатого, но сытного стола, весёлых и здоровых друзей за этим столом, добрых рук матери, любившей пригладить непокорные вихры на его голове… И вот, ничего этого нет, и как будто никогда не было, и самое страшное, что этого, наверное, уже никогда не будет…

Ровный перестук колёс и медленное покачивание вагона вдруг резко оборвались и сменились противным скрежетом железа. Эшелон остановился, постанывая и поскрипывая. Остановилось и застыло всё, что посещает людей в минуты сна или забытья. Всё то, что теплится в их душах. То, что они стараются на какие-то мгновения удержать в памяти как последний глоток благодати, зная неизбежно, что, открыв глаза, они увидят перед собой ту страшную реальность, в которой очутились, из которой не видно выхода, и неизвестно будущее.

Вторую неделю эшелон шёл на восток. И чем дальше он уходил в Сибирь, тем меньше оставалось надежд. Вагоны перестали открывать на остановках уже после Омска. Чуть приоткрыв дверь, дежурный по эшелону орал осипшим голосом фамилии. Если кто-то не отвечал, дверь открывали. Вместе с морозным воздухом в теплушку вваливались два-три конвоира и выносили, укладывая напротив двери прямо в снег тех, кто не мог уже крикнуть «Я!».

Что делали с теми, кого выносили на снег, никто не знал, да и не хотел знать. Жадно вгрызаясь в замороженный хлеб, все ждали, когда закроют, наконец, дверь, потому что жизнь была напрямую связана с теплом, которое с каждой минутой уходило из вагона.

— Голышев! — услышав свою фамилию, Иван крикнул: «Я!». Сосед по нарам по фамилии Пигарев отозвался только после хорошего пинка и, раздирая затёкшие веки слезящихся глаз, долго извинялся, ссылаясь на то, что почти не слышит на левое ухо,

которое после удара по голове кирзовым сапогом стало как чужое.

Единственный человек, с которым Иван познакомился за эти дни, был Гоголев Ефим Васильевич, в прошлом — учитель химии сельской школы где-то под Смоленском, а теперь — осуждённый за создание антисоветской группы по подготовке массового отравления скота. Этот неказистый на вид человек с умными и добрыми глазами был, наверное, любим учениками, жил скромной жизнью. Как он рассказывал, в роду Гоголевых испокон веков учительствовали или лечили. Чувствовалось, что он этим гордился и дорожил.

Иван видел, что среди многих окружавших его людей, подавленных, смирившихся или негодовавших, стиснувших зубы и ушедших в себя, ощетинившихся в прямом и переносном смысле, этот человек остался таким незащищённым и простым, что невольно вызывал жалость, а вместе с тем и уважение. Его неловкость и неуклюжесть в делах вагонного бытия вызывали раздражение у одних, смех у других. Но и те, и другие постепенно привыкли к этому человеку и завороженно слушали под монотонный стук колёс, как он тихим, но очень выразительным голосом читал на память главы из «Войны и мира» или рассказывал о далёких странах, морях и океанах, о земле и вселенной. Ивану через несколько дней почему-то стало неловко обращаться к нему по фамилии. Сами того не замечая, все стали звать Гоголева по имени и отчеству — Ефим Васильевич.

Иван мучился от осознания непоправимых, как ему казалось, обстоятельств, совершённых им опрометчивых поступков, сложившихся в цепочку событий, ставших для него роковыми. Он переживал их снова и снова, пытаясь хоть мысленно изменить то, что изменить было уже невозможно. Вновь и вновь понимая это, он с каждым днём терял само желание жить дальше.

Срок заключения, определённый ему, был так огромен, что перечёркивал всю жизнь, и он даже не пытался строить планы на будущее.

Он прожил двадцать лет, и ему дали двадцать лет лагерей. Этот приговор, оглашённый в тесном прокуренном кабинете, куда его привели после недели изнурительных и бессмысленных допросов, не сразу дошёл до сознания. Он, оглушённый и ошарашенный этими цифрами, ничего не понимая и уже не воспринимая на слух, просто смотрел и пытался запомнить лицо человека, читавшего ему приговор. И он это лицо запомнил. Теперь часто оно виделось ему, врываясь в сновидения, беззвучно шевелило губами, показывая крупные и редкие передние зубы, отрываясь от чтения, поднимало на него глаза, в которых можно было увидеть только глухое безразличие и усталость. Как раз эти безразличные карие, слегка навыкат, глаза объясняли Ивану всё. Вернее, взгляд этих глаз на него, как на пустое место. «Без права переписки» означало как бы гражданскую смерть. Оставалось тело человека, живое, способное работать, но уничтожалась его личность. Тело должно было искупать грехи своей утраченной личности, поэтому его под усиленной охраной везли на восток бескрайней матушки России. Дорога была бесконечно длинной из-за множества остановок и мучительной из-за неизвестности.

Однажды Иван поделился своими мыслями с Гоголевым. Как на исповеди, рассказал ему всё о себе, о том, что теперь жизнь загублена и лучше броситься на штыки конвоя и сгинуть, чем умирать медленно и бесцельно. Ефим Васильевич слушал внимательно, не перебивая и не переспрашивая. Выслушав, долго молчал. В темноте теплушки не было видно его лица, Иван уже было решил, что Гоголев уснул. Однако, это было не так. Ефим Васильевич думал, как объяснить этому молодому человеку, мужчине в расцвете лет и сил, потерявшему веру в жизнь, что всё то, что с ним произошло, произошло с ним именно потому, что в определённый отрезок времени он был предельно честен и порядочен. Однако, эти качества не соответствовали тем ценностям, которые исповедовались в обществе и были просто этому обществу вредны. Что человеческая жизнь — это бесценный дар, и бесполезной, бессмысленной быть не может, если только сам человек не сделает её такой. Что даже в самых неимоверно трудных условиях люди находили в себе силы для полноценной жизни. Что каждый отведённый тебе день на земле нужно прожить с пользой для себя и других людей. Как это всё объяснить человеку, трясущемуся от холода в тёмном и сыром, провонявшем нечистотами вагоне, везущем его в неизвестность? Как помочь ему обрести веру в себя, в то, что всё это можно и нужно пережить, раз уж так распорядилась судьба? Победить в себе зверя и труса, остаться человеком и выжить не за счёт чьих-то жизней, а преодолев всё. Он это понимал. Он сам был в такой же ситуации. Но он прожил большую жизнь среди людей.

Ефим Васильевич, хмыкнув, как бы подытожив свои размышления, сказал:
— Иван, всегда считай, что главное в жизни ты ещё не сделал. И ещё запомни, даже если жить осталось только один день, не поздно начать всё с начала. Я говорю тебе это потому, что верю, что рядом со мной в этом вагоне настоящий русский человек, попавший в беду, как многие другие. Что этот человек не сломается. Что придёт время, и он расскажет правду своим детям о том, как ему пришлось выжить, и ему при этом не будет стыдно. А теперь давай попробуем уснуть. Поверь, там, куда нас везут, сон будет великим благом. Российские тюрьмы и при царе-батюшке не отличались комфортом, а уж теперь, когда столько «врагов народа» развелось, думается, тесновато будет. Так что, Иван, давай радоваться отдельным нарам с соломенным матрасом.

Иван долго ворочался, переваривая слова Ефима Васильевича, наконец, уснул.

В эту ночь он впервые спал спокойно и проснулся отдохнувшим, уверенным в себе. На перекличке не пнул ногой оглохшего соседа по нарам, а растормошил его.

Никто не заметил перемен в его поведении, внешне он оставался таким же, как был, но внутри, он понял, что-то изменилось.

На полустанке, где-то под Иркутском, из соседнего вагона вынесли умершего ребёнка. Обезумевшая от горя мать бросилась на конвоира. Дикие крики женщины и мат охранников, забивавших её ногами около теплушки, стоили жизни ещё одного человека. От сердечного приступа умер Ефим Васильевич Гоголев. Когда его тело выносили из вагона, Иван подумал: если он вырвется из ада, то найдёт этот полустанок и могилу этого человека, ведь не звери же они, должны как-то хоронить людей. Иван ошибался. Погибших на этапе закапывали в траншеи, не оставляя никаких следов на месте захоронения. Один Бог знает, сколько таких траншей вдоль великой сибирской «железки».

А эшелон всё шёл и шёл, мирно постукивая колёсами на стыках рельсов, убаюкивая живых в вагонах и тех, кто оставался в траншеях, захороненными и забытыми.

«Бог придумал Сочи, а чёрт — Сковородинó и Могóчу». В справедливости этой поговорки все выгружавшиеся из теплушек заключённые убеждались сразу. Прикрытая с юга сопками и открытая с севера, расположенная в низине, станция Могоча продувалась насквозь ледяным ветром. Одетые кто во что, но в основном в осеннюю одежду, люди коченели на ветру при минус сорока градусах. При этом на абсолютно безоблачном синем небе сияло солнце, как бы смеясь над жалкими горстками людей, сбивавшихся в кучи у вагонов. Конвоиры, одетые в валенки и полушубки, не спеша пересчитывали прибывших и группами по двадцать человек уводили к видневшимся невдалеке от локомотивного депо баракам. Бараки, длинные срубы под низкими крышами без окон, как огромные деревянные ступени спускались по склону сопки, вероятно, к реке. Последние ещё были не достроены, и там суетились какие-то люди, звонко тюкая топорами по твёрдому, как камень, мёрзлому дереву, что-то кричали, перекатывая брёвна на покатах. Ещё издали Иван увидел, что из крыш бараков в нескольких местах поднимается вертикальными белыми столбами дым, их ждёт тепло. Находясь в третьей или четвёртой двадцатке, миновав двойные ворота из колючей проволоки, между которыми их ещё раз пересчитали, Иван довольно скоро оказался у входа в барак.

— Фамилия?

Скованными от холода губами, каким-то чужим голосом Иван назвался и переступил порог барака. После ослепительно белого снега и солнца в помещении невозможно было что-либо разглядеть. Объятые облаком пара, все сгрудились у входа. Сзади идущие напирали, передние, упираясь в них спинами, протянув руки, как слепые, осторожно ощупывая ногами пол, медленно как бы вдавливались в помещение. Ещё окончательно не прозрев, все замерли, услышав монотонный гул, вернее, стон, а ещё вернее, сотни человеческих стонов и воплей, идущих из глубины полутёмного барака. Ужас и страх сковал людей, перехватил дыхание. Иван почувствовал, как его, ещё секунды назад коченевшее на морозе тело, как будто окатила горячая волна, крупные капли пота, скатываясь со лба, едко защипали глаза. Полоса света из открывшейся двери предбанника и здоровый, мордатый, по пояс голый мужик, высунувшийся оттуда, произвёл на всех впечатление какого-то чуда. И это «чудо», увидев толпу вошедших, негромко так запричитало:

— Ну ты кого, моя, чо стоим, проходь, проходь, раздягайся. Ну ты, паря, даёшь, пальцы-то синие! Там холодна вода, суй, оттирай. Там — парилка, там — мойка, одежу сюды в мешки, в пропарку.

Через несколько минут баня наполнилась воем и стоном ещё двадцати мужиков, с дикой болью оттирающих в ледяной воде подмороженные руки и ноги, щёки и носы. А потом, воющие от боли, они лезли в тесную парную, где раскалённые добела камни не давали воде долететь до них, превращая её в пар. Всё это происходило под непрерывное: «Скоренько, скоренько, народец ждёт, ох, вас сёдне подвалило». Тут же, в дальнем конце мойки, орудовали пять или больше парикмахеров, начисто снимая волосы с голов клиентов. Иван удивился большой куче аккуратно сметаемых человеческих волос. Среди них отдельно лежали женские косы. Процедуры закончились выдачей исподнего, ватных штанов, телогреек, шапок и валенок.

Ивану, в отличие от многих, повезло. Он не отморозил конечностей, не попал сразу в рабочий наряд и успел занять место на нарах. Засыпая в вонючем, но тёплом бараке, он думал только об одном — нужно готовиться к побегу.

Пересыльный лагерь принял в свои объятья ещё несколько сотен заключённых, чтобы через какое-то время разбросать их по рабочим лагерям согласно заявкам и разнарядкам системы. Заявок было много, лагеря требовали людей. Ровной стопкой, в правом углу сейфа, в папках под грифом «совершенно секретно» лежали эти заявки. В левом углу, так же аккуратно подшитые, лежали списки заключённых, их личные дела. Начальник лагеря старший майор Альберт Генрихович Битц любил порядок. По происхождению судетский немец, студент филологического факультета, обожавший гулять по вечерним улочкам Праги, пивший с друзьями крушовицу в любимом ресторанчике «У принца» на Старомястской площади, был мобилизован в 1914 году и отправлен на восточный фронт. Австрийская дивизия, в составе которой он служил унтер-офицером, была смята и наголову разбита под Ковелем во время Брусиловского прорыва. Он в числе нескольких тысяч пленных попал в Россию, в лагеря под Москвой. Несколько лет плена позволили ему удивительно легко освоить русский язык, что очень пригодилось и предопределило всю его дальнейшую жизнь. После октябрьских событий в России в лагерях появились представители большевиков, которые вели среди военнопленных агитацию. Битц, хорошо освоивший русский язык, как-то незаметно, сначала в качестве переводчика, а затем и агитатора идей социалистического интернационализма, сблизился с одним из них, Петром Иониным. Их знакомство и дружба были намертво скреплены и родством. Сестра Ионина, Вера,

яростная революционерка, по уши влюбилась в чистоплотного и симпатичного Битца. И так же яростно отдалась ему в один из революционных праздников. Поэтому ему ничего не оставалось, как предложить ей руку и сердце. В дальнейшем, при организации интернациональных бригад ВЧК, он был назначен замкомбрига одной из них, где с оружием в руках доказал свою преданность идеям большевиков. Правда, не на полях сражений гражданской войны, а при проведении массовых операций по экспроприации ценностей у населения российских городов и селений, подавлению крестьянских бунтов. Его активная деятельность была замечена и оценена. В начале 1922 года он был принят в члены партии и назначен заместителем начальника одного из первых концентрационных лагерей в Поволжье. Немецкая педантичность, безусловное и точное исполнение всех указаний руководства, практичный холодный ум Битца, поддержка в руководстве ВЧК, а затем и НКВД, позволили ему спокойно пережить все невзгоды того бурного времени, минуя какие-либо интриги, достойно занять место начальника пересыльного лагеря. Со временем в системе ГУЛАГа мало кто не знал Битца, сумевшего в своём лагере создать производство кожаных кресел, мягких и удобных. В конце тридцатых годов во многих, даже московских, кабинетах начальственные задницы удобно устраивались в подаренные кресла, обитые хорошо выделанной коричневой свиной кожей, под которую был набит несминаемый вечно человеческий волос. То, что «кадры решают всё», он понял раньше Лаврентия Павловича Берии, поэтому всегда лично просматривал списки заключённых, и как бы случайно в его пересылке задерживались надолго лучшие врачи, ювелиры, портные и другие «ценные» враги народа.

В эти минуты, когда Иван Голышев засыпал на нарах, в своём кабинете, освещённом настольной лампой с зелёным абажуром, стоящей на массивном столе, под портретом вождя мирового пролетариата, в кресле сидел лысеющий не по годам, сухощавый, с пронзительными серыми глазами, в безукоризненно отглаженном военном френче с малиновыми майорскими петлицами Альберт Генрихович Битц и листал очередное «личное дело»—заключённого Голышева Ивана Романовича, 1918 года рождения, русского, беспартийного. С тюремной фотографии анфас на него смотрел широко расставленными, большими, внимательными глазами молодой человек. Слегка волнистые, тёмные волосы в пробор, скуластый, с прямым безукоризненным носом и полными, несколько девичьими губами.

Профиль говорил о многом—большой выпуклый лоб, чуть заметная горбинка носовой линии и выступающий подбородок свидетельствовали о незаурядном уме и твёрдой воле заключённого. Возраст же и, особенно, взгляд говорили о том, что этот человек ещё не окреп и не сформировался как личность окончательно.

Альберт Генрихович за годы работы в лагерях приобрёл бесценный практический опыт физиономиста. Он мог даже по фотографии безошибочно определить характер и склонности человека, тип его личности и уровень интеллектуального развития. Личные беседы с заключёнными позволяли обогатить этот опыт. Ему доставляло истинное удовольствие, составив для себя по фотографии психологический портрет человека, убедиться затем при допросе в правильности своих умозаключений. Он, как хороший врач, зачастую лишь взглянув на больного, уже знал суть болезни и мог поставить диагноз. Только его диагнозы несколько отличались от врачебных. Он не лечил тела и души людей, он ломал волю несломленных, а значит, опасных даже в лагере, преступников. Его резолюции типа «склонен к побегу» были безошибочны. Находя в массе заключённых таких людей, он подчинял их себе, если это было возможно. Используя их авторитет, руководил внутренней, как бы скрытой от глаз чекистов, жизнью лагеря. Те же, кто, несмотря на все методы воздействия Битца, не ломались, уходили в другие лагеря с такой «сопроводиловкой», что попадали на особый контроль, обеспечивавший им, по сравнению с остальными, тяжёлую и мучительную жизнь. Выявляя людей слабовольных и жадных, трусливых и завистливых, он вербовал их в лагерные «сексоты», и они преданно служили ему, денно и нощно фиксируя всё, что происходило в тёмных бараках лагеря и поставляя информацию об этом. Однажды угодив в сети Битца, никто не мог из них добровольно вырваться. Время доказывало высокий профессионализм Битца в отборе: ни один из его сексотов и не стремился к этому. Уходя с пересылки в другие лагеря, они продолжали служить новому хозяину так же преданно, отрабатывая дополнительную пайку, с особым рвением исполняя свою сучью работу. Шли годы, и уже почти во всех лагерях «трудились» стукачи Битца, за что их «крёстный отец» пользовался большим авторитетом среди оперов. Такая своеобразная сексотшкола была его любимым детищем. С истинно немецкой педантичностью Битц вёл картотеку своих агентов, это был его личный секретный архив продажных душ.

По одному ему, Битцу, известным признакам Голышев в сексоты не подходил. Не был он, по мнению начальника лагеря, и особо опасен. И его «дело», без особых отметок, чуть не перекочевало в папку обычных и ничем не заинтересовавших хозяина заключённых, сотнями направляемых им по лагерям системы. Однако специальность заключённого «шахтёр» определила дальнейший путь папки, и она легла в особую стопку. Эта особая стопка личных дел формировалась по специальностям, связанным с горнорудным производством, где требовались молодые, физически здоровые зеки. Естественно, он знал, на какие работы уйдут эти люди. Интуитивно чувствуя в этом молодом заключённом признаки волевой личности, Битц ещё раз хлопнул ладонью по папке, как бы утверждая своё решение,—этого туда, там тебя без особого труда сломают и превратят в полезное и безобидное существо типа слепой шахтёрской лошади. Изучив ещё несколько личных дел, Альберт Генрихович до хруста в теле потянулся, встал и вызвал дежурного. Ещё один день закончился.

Утром следующего дня, тщательно выбритый и пахнущий дорогим одеколоном Битц принимал доклады подчинённых. По всем прикидкам со дня на день должна была вернуться колонна грузовиков спецэтапа. На неделе с Главупра дважды звонили и требовали увеличить спецэтап на Удоганлаг. Раз в неделю грузовики увозили туда зимником сто двадцать заключённых, теперь требовали отправлять двести-двести пятьдесят. Из Читы по железной дороге эшелоном пришли новые зисы. Пять автомобилей, ещё пахнувших краской, стояли на площадке, водители по стойке смирно рапортовали начальнику лагеря о прибытии и готовности к исполнению обязанностей. Битца радовало, что система работала, как хорошо слаженный механизм. Потребовалось увеличение численности в лагерях, и вот эшелон за эшелоном пошли заключённые. Все его заявки по личному составу и технике выполняются быстро и в срок.

Он гордился, что является частицей этой громадной системы, винтиком этого сложного и ответственного механизма, и далеко не последним винтиком. Проверяющие всегда отмечали в его лагере образцовый порядок. Даже на лагерном кладбище все могилы копаются ровными рядами, и столбики с номерами одной высоты, как по линейке.

После обеда пришли грузовики с Удоганлага. Смертельно уставшие водители и сопровождающая охрана, сдав машины дежурному по лагерю, потянулись в сторону столовой. Начальник конвоя лейтенант Макушев, высокий, широкоплечий мужик в тулупе, перетянутом портупеей, унтах и мохнатом волчьем треухе, широко шагая, направился в сторону комендатуры.

«Молодец, Макушев, как из железа»,—улыбнувшись, подумал Битц, увидев бодро приближающегося к нему лейтенанта. Остановив на полуфразе официально начатый Макушевым доклад, пригласил его к себе в кабинет.

— Там доложишь, чайку попьём.

Тем временем группа заключённых под наблюдением конвоиров начала разгрузку прибывших машин.

— Ёлы-палы,—вырвалось у Голышева, когда ему на спину надвинули ящик из кузова машины,—до чего тяжело, не удержу один!—За другой конец ящика сзади подхватили и понесли. Тяжёлые деревянные ящики длиной почти в ширину кузова аккуратно снимали с машин и укладывали в штабель. Точно такие ящики, но пустые, по пять штук загружали обратно в кузова. Из последней машины выгрузили к бане кучу телогреек, ватных штанов, шапок и валенок.

Наблюдая из окна разгрузку, Битц спросил:

— Сколько?

— Двенадцать, товарищ старший майор,—ответил лейтенант, оторвавшись от кружки горячего чая,—троих можно было ещё в Тупике списывать, видел, что не довезу, да куда их там денешь? Один участковый на полторы тысячи квадратных километров.—Лейтенант выложил на стол личные дела двенадцати заключённых.—Хлипкий народ, городской, к нашей природе не приспособленный.—Макушев, допив чай, получив разрешение, закурил самокрутку едкого самосада.

— Лейтенант, угощайся,—протягивая папиросы в красивой упаковке, сказал Битц,—любимые папиросы Сталина.

— Он же, говорят, трубку курит.

— Трубку, ты прав, а табачок из этих только папирос мнёт.—Макушев с видимым сожалением затушил самокрутку, уложил её в жестяную табакерку и, прикурив папиросу, затянулся кислым, приторным дымом «Герцеговины Флор». При всей неприязни к этому дыму, Макушев улыбнулся и сказал:

— Да, табачок что надо, приятный.

«Умный мужик»,—всё прекрасно понимая, подумал Битц.

Рудное месторождение редких металлов Удоган было расположено севернее Могочи на четыреста километров. И только на сто километров до посёлка Тупик была пробита в тайге более менее сносная дорога. Этот участок пути колонна спецконвоя проходила за световой день, восемь-десять часов, как повезёт, с остановками только по нужде. Горная в основной части, покрытая снежным накатом дорога, в распадках, а то и, что более опасно, на склонах сопок, то и дело пресекалась кипящими ручьями, намерзающий лёд на которых проваливался под колёсами автомобилей, или ледяная накипь почти выравнивала пробитый дорогой склон сопки. Естественные преграды приходилось преодолевать пассажирам при обжигающем ветре, ласково называемом местными жителями «хиусок», топорами и лопатами рубить лёд, проваливаясь в ледяную воду, выталкивать застрявшие машины, а затем, трясясь в кузове под брезентовым тентом, медленно замерзать до потери чувств и молить Бога о том, чтоб наступил конец этой дороге. Но первые сто километров были только началом, первым и самым лёгким этапом этого пути на Удоган. Остальные триста можно было преодолеть вообще только зимой по зимнику, пробитому по руслам замёрзших рек, по каменным долинам да таёжным распадкам. Где-то посередине зимника, в каменной долине, зажатой со всех сторон сопками, стояли деревянные, сколоченные из досок бараки и несколько рубленых из брёвен домов. Это было место дозаправки и ночлега. Его никто не охранял, там никто не жил. От этапа до этапа место посещали только волки. Дальше, до самого Удоганлага, остановок с ночлегом не было.

Лейтенант Степан Петрович Макушев, коренной забайкалец из даурских казаков, не один десяток раз прошёл этот зимник и уже наверняка знал: оставшиеся в живых после ночлега в долине до Удоганлага доедут.

Долина, вероятно, пересохшее русло какой-то огромной древней реки, была сплошь выложена огромными валунами, за которые даже неприхотливая таёжная растительность не могла зацепиться. Где-то глубоко под валунами журчала вода. Зимой, перемерзая в течении, ключ выходил на поверхность как раз в том месте, где стояли бараки. Дальше вода, разливаясь, заполняя пространства

между валунами, замерзала слой за слоем, образуя нечто похожее на огромный слоёный торт. Бесснежные забайкальские зимы с лютыми морозами создавали в долине поистине прекрасные шедевры дикой красоты. Ясными морозными ночами в ледяных зеркалах долины отражались звёзды. Глядя со стороны, с сопок, казалось, что чёрное, с ослепительно яркими звёздами небо не кончается на горизонте, а спускается и расстилается прямо тебе под ноги. Не раз Макушев, сидевший в кабине головной машины, при спуске в эту долину ночью сам вздрагивал от столь невероятной картины. Видел, как бледнеет и напрягается лицо водителя, как намертво сжимают баранку руля его руки.

— Итак, двенадцать. Двенадцать из ста двадцати, это же десять процентов! Ты что, Макушев, под трибунал захотел?—спокойным и ровным голосом произнёс Битц. Макушев вскочил, пытаясь объяснить что-то майору, но Битц таким же ровным голосом приказал:

— Сидеть. Молчать.—Макушев сел, нервно перебирая пальцами и глядя на шагающего от стола к окну и обратно майора.

Остановившись, в упор глядя в глаза Макушеву, который под этим взглядом стал вновь приподниматься, Битц повторил:

— Сидеть,—и продолжил:—Пришла секретная директива из центра. Общий смысл такой: страна под руководством партии и лично Иосифа Виссарионовича Сталина напрягает все силы для развития экономики. Для того, чтобы мощная советская индустрия работала, необходимо ценное стратегическое сырьё и золото. Этой задаче подчинены все, в том числе и в первую очередь заключённые в лагерях, обязанные искупать свою вину перед народом трудом. Мы же обязаны обеспечить лагеря заключёнными. Живыми, понимаешь, Макушев, живыми, а не мёртвыми! Я понимаю, что ты хочешь сказать, что всё равно из Удоганлага никто не вернётся. Это не важно. Важно, чтобы они туда прибыли и выполнили определённый объём работ. Я докладывал о трудностях этапирования в Удоганлаг и связанных с этими трудностями потерях. Нам с пониманием идут навстречу, но не более пяти процентов потерь, не более! Должностные лица, допустившие неоправданные потери при этапировании заключённых, будут признаваться пособниками врагов Советской власти со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ты всё понял?

— Так точно,—Макушев чувствовал, как прилипла к телу рубашка. Он понимал, что сейчас в руках майора его судьба, его жизнь.

— Товарищ майор, вы же знаете, не от меня зависит, вернее, что от меня зависит, я готов, но я и так всегда…—он сбился, замолчал.

— Отставить, лейтенант, возьми себя в руки. Хороший ты мужик, честный и преданный…—несколько помедлив:—Делу партии и правительства,—сказал Альберт Генрихович.—Что тут сделаешь, нужно как-то выходить из создавшейся ситуации. Ты с какого года в партии, с двадцатого? Стаж хороший, да и послужной список у тебя неплохой, недавно смотрел. Правда, сейчас прежние заслуги во внимание не принимаются. Но мы-то с тобой уже пять лет вместе, Макушев, ты меня не подводил, думаю, и дальше не подведёшь, а, Макушев?

Макушев встал и, преданно глядя в глаза Битцу, сказал срывающимся от волнения голосом:

— Упаси Господь, вернее не бывает!

— Лейтенант, ты же коммунист, какой Господь? Просто дай мне честное слово, слово коммуниста, что всегда и при любых обстоятельствах мой приказ для тебя—закон.

— Даю слово коммуниста и никогда вас не подведу,—откровенно и честно глядя в глаза Битцу, сказал Макушев.

— Хорошо. А теперь слушай внимательно, как мы поступим, чтобы вытащить тебя из этой беды. Завтра утром, как всегда, привезут на захоронение расстрелянных из районного НКВД. Сколько их по нашей линии, никто не фиксирует, но при захоронении могил должно стать на шесть больше. «Похоронишь» шесть чужих как шесть своих, а на этапе у тебя замёрзло шесть, понял? А те шесть умерли не на этапе, а в лагере от болезней или ещё от чего, это мы с начальником медчасти решим. Вот тебе пять процентов, понял?

— Понял, всё сделаю в лучшем виде, товарищ старший майор,—Макушев просветлел в лице и как-то даже стал шире в плечах.

— Идите, Макушев, отдохните, через три часа у меня должен лежать отчёт на столе о шести погибших зеках.

— Есть.

Нехитрые комбинации с мёртвыми душами Битц практиковал давно, ещё со времён своей службы в концлагерях. Там было проще, в концлагерях просто уничтожались представители эксплуататорских классов и контрреволюционеры всех мастей, никто не учитывал количество умерших или расстрелянных посуточно. Пользуясь этим, он просто завышал количество содержащихся под стражей и имел тем самым дополнительные продукты питания. Положенный паёк зеки получали полностью, ну а «мёртвые души» пайки не требовали, просто на бумаге, в отчётах они жили немного дольше.

Как только Макушев вышел, осторожно закрыв за собой дверь, Битц удовлетворённо откинулся в кресле. Всё будет нормально, и требования руководства не нарушены, и покойнички лишнюю недельку «поживут». Самое главное—повязал он Макушева, крепко повязал.

Впервые Иван спустился с отцом в забой семнадцатилетним парнем. Он увидел подземный мир, узнал тяжёлый изнурительный труд и почувствовал ту, непонятную людям, не работавшим в шахте, особую шахтёрскую гордость, от которой особым светом сквозь иссиня-чёрные ресницы светятся глаза горняков.

Страна била рекорды, стахановское движение увлекло Ивана, и он, уже бригадиром комсомольско-молодёжной бригады, гнал и гнал «на-гора» чёрное золото. Только никак они не могли всей сменой догнать того неистового шахтёра. Как-то на комсомольском собрании Иван сгоряча сказал,

что не верит, будто один рабочий смог за смену нарубить двести тонн угля. На этом же собрании его сняли с бригадиров и чуть не исключили из комсомола. А на следующий день в лаве не выдержала кровля, и обвал навсегда оставил под землёй двадцать девять шахтёров. Иван чудом уцелел. Он по указанию начальника участка подвозил по штреку крепи, и его выбросило воздушной волной прежде, чем рухнула порода над его головой. Однако следственные органы, выясняя причины аварии, обратили особое внимание на объяснения Голышева, прямо показавшего, что причиной аварии он считает гонку за рекордами. Увязав его недавнее антипартийное выступление на собрании и снятие с должности бригадира, пришли к выводу, что причиной аварии является вредительство. Причём одним из виновников был признан Иван Голышев. Что творилось тогда в душе Ивана, ведомо только ему одному. Он знал, что был честен и прав. Он знал, по чьей вине произошла трагедия, и то, что те, кто его допрашивал, понимали, что он не виновен. Но от него требовали признания в том, что он умышленно устроил обвал, требовали назвать сообщников. Он не сдался и ничего не признал. Начальника шахты и главного инженера расстреляли. Иван получил статью и срок. Сейчас, лёжа на нарах в Могочинской пересылке, ждал этапа, ждал возможности побега.

«Наконец-то»,— подумал Иван, когда на вечерней перекличке после своей фамилии он услышал:

— Два шага вперёд! С вещами на выход!

Под светом качающихся тусклых фонарей на площадку перед комендатурой из разных бараков стягивались заключённые. Ещё одна перекличка, и всех повели в отдельный барак.

— Завтра — этап! — этого никто не говорил, но это все почему-то знали.

Лейтенант Макушев готовил очередной спецэтап. В этот раз двести заключённых он должен доставить по назначению, доставить живыми, мать их за ногу! Макушев злился, не зная, как высчитать эти злосчастные пять процентов, не более которых он мог потерять в дороге. Злился на то, что морозы день ото дня крепчали и ночью доходили до пятидесяти градусов. Что техника по таким дорогам в такие морозы может просто не дойти, зеки в кузовах просто помёрзнут до смерти, а его — под трибунал за эти клятые «свыше пяти процентов»! Да, жизнь заставила Макушева, надо же, удивлялся он, заботиться о жизни этапируемых зеков. Сам недюжинного здоровья, он с нескрываемым презрением рассматривал стоящих в неровном строю заключённых, в большинстве своём среднего роста и среднего возраста мужчин с безразличными серыми лицами. «Полупокойники»,— сделал он заключение, пройдя вдоль шеренг. «Ни хрена, вы у меня доедете, все! До единого!».

Двое суток, переведя в отдельный барак, спецэтапируемых кормили двойной пайкой, всем собрали вязаные шерстяные носки, свитера и тёплые вещи, благо, запасов одежды скопилось много и начальник лагеря «дал добро». Макушев раздобыл бутыль медвежьего нутряного жира. Десять машин оборудовали буржуйками, в одиннадцатой — продукты питания и дрова, двенадцатая машина — под горючее. Доложив о готовности спецэтапа Битцу, Макушев построил заключённых по двадцать человек перед машинами и начал инструктаж.

— Граждане заключённые, сегодня вы отправляетесь этапом в лагерь для дальнейшего отбытия наказания, предстоит длительный путь в трудных дорожных условиях. В пути следования — остановки через три часа, из кузова выходить только по нужде, по команде конвоира. Сейчас будут назначены старшие в каждой двадцатке, они будут получать пайки и решать все вопросы по топке буржуек, очерёдности обогрева и другие вопросы в дороге. В пути не спать, любое неподчинение конвоиру или старшему по машине будет караться по всей строгости, вплоть до расстрела. Бежать не советую, при любой попытке — расстрел на месте, да и куда вам бежать, кругом тайга, живым из неё никто не выйдет. Старшие получат по склянке жира, всем намазать перед дорогой открытые участки тела, то есть лица, это спасёт от отморожения.

Проходя мимо стоявших около машин зеков, Макушев молча тыкал пальцем в грудь одного из двадцати, таким образом назначая старших по машине, выбирая наиболее рослых и физически сильных. Иван Голышев был на голову выше остальных в своей двадцатке и, естественно, получил тычок в грудь.

— Всем через полчаса погрузка в машины! Разойтись! Старшим остаться.

Макушев, оглядев десятерых заключённых, произведённых им в старшие, ухмыльнувшись, сказал:

— Ну, голуби, ежели порядка не будет или кто в пути коньки отбросит, спрошу с вас.— При этом он, сняв с руки рукавицу, сжал кулак и поднёс к носу каждого из десяти.— Потому заботьтесь о своих, как мамки! — Увидев перед своим лицом волосатый, пахнущий крепким табаком и селёдкой кулачище лейтенанта, Иван подумал: «Этот зашибёт одним ударом».

— Идите на склад, получайте склянки с жиром, спички и пайки,— закончил Макушев разговор,— Федотов, проводи,— приказал он одному из конвоиров.

Через полчаса колонна из двенадцати машин, пробивая светом фар утренний морозный туман, выкатилась из ворот лагеря. Миновав несколько улиц, выехала из Мого́чи и двинулась на север. В кабине головной машины начальник конвоя лейтенант Макушев открыл бутылку спирта и прямо из горла сделал большой глоток. Жаркая волна прокатилась по жилам его крепкого тела.

— На дорожку,— хрустя солёным огурцом, самому себе сказал он.

Сырые дрова никак не хотели гореть в наскоро сваренных буржуйках. Нещадно дымя, они не грели, а наполняли крытые брезентом кузова едким дымом, от которого перехватывало дыхание, слезились глаза. Только через час пути разогревшиеся печки позволили заключённым нормально дышать, сидя на ящиках, а не полулёжа на обледенелом полу кузовов трясущихся на кочках грузовиков.

Голышев, назначенный старшим седьмой по счёту от головы колонны машины, устроившись около буржуйки, топором щипал тонкую лучину с поленьев, и в его машине довольно быстро печка загудела и, раскалившись, стала не только греть, но и освещать лица людей. В матово-красном свете куска раскалённой трубы на Голышева благодарно смотрели девятнадцать пар слезящихся от дыма глаз. Он тоже хватанул дымку, но не упал, как все, на карачки, спасаясь от нависающего сверху дыма, он действовал, и тем заслужил признание этих людей. В этой двадцатке Макушев не ошибся, назначая старшего. Скоро стало светлее, и тут сначала раздался смех, а потом все до упада хохотали друг над другом и особенно над Иваном. Лица, жирно смазанные медвежьим жиром, впитав в себя сажу от дыма буржуйки, почернели. У Голышева, а он был чернее всех, только белые зубы да зрачки смеющихся глаз определяли в красном сумраке местоположение его лица. Смеялись и хохотали все. Многие, наверняка, впервые за долгое время неволи. Через какое-то время хохотала вся колонна. Обеспокоенные и не понимающие причины смеха охранники и водители в кабинах грузовиков, заражённые смехом, тоже улыбались. Не смеялся только Макушев. В головной машине он не слышал хохота, да и не мог услышать, его здоровый организм мирно спал под монотонный рокот мотора.

Медленно колонна втягивалась в глухую забайкальскую тайгу. Пологие длинные сопки со всех сторон перекрывали горизонт. Плотным строем, подступая к дороге, стояли лиственничные боры. Двадцатипяти-, а то и тридцатиметровой высоты стволы деревьев почти касались друг друга, в борьбе за солнце выбрасывая свои ветви на самых макушках и в борьбе за воду сплетаясь корнями, вгрызающимися в скальный грунт. Огромные лиственницы в некоторых местах угрожающе свешивались над дорогой, каким-то чудом удерживая оголёнными, узловатыми, как гигантские мышцы, корнями, свои многотонные стволы. Голо и безжизненно выглядела тайга, малозакрытая снегом, только кое-где в распадках радовал зеленью редкий ельник.

«Ничего, терпимо»,—думал Голышев, через какое-то время, тасуя людей в кузове, пересаживая ближе к теплу тех, кто сидел по бортам и сзади. Подчинялись спокойно, с пониманием уступая тёплые места замёрзшим товарищам. Ждали первой остановки, подшучивая над теми, кто начинал ёрзать от желания поскорее отлить. Богатый русский язык использовался на все двести процентов, и настроение было весёлое. Казалось, едут в кузове друзья закадычные, знавшие друг дружку с пелёнок, слегка хмельные, после свадьбы из другой деревни домой. Вот машина остановится, и все разбредутся по своим дворам, то тут, то там продолжая бесшабашное гулянье и веселье. В широкой, поросшей ерником и прочим мелким кустарником мари машины остановились. Конвоиры вылезли из кабин и, отстегнув затянутые сзади брезентовые полога, дали долгожданную команду:

— По нужде, до ветру выходь!

Заключённые высыпались из кузовов и, охая от удовольствия, орошали мёрзлую землю. И только теперь конвоиры и шофёры, увидев физиономии своих пассажиров, не выдержали и, нарушив все инструкции и уставы, хохотали до слёз. Макушев, проходя вдоль всей колонны, увидев эту картину, всё больше хмурился. Не к добру это веселье. При его приближении смех смолкал, но, то и дело взрывался за спиной. Дав указание кипятить чай, лейтенант, собрав старших машин, приказал выделить людей ломать ерник, тонкий кустарник красного цвета.

— По две хороших вязанки в каждую машину. Ясно, черномазые?—не удержавшись, пошутил он.

Через час колонна двинулась в путь. Макушев хотел успеть перевалить Становой хребет засветло, но, к сожалению, уже на первом подъёме головная машина, проскочив наледь, чуть надломила лёд, зато вторая ухнулась задним мостом и мёртво села, перегородив дорогу.

«Началось! Дохохотались»,—невесело подумал лейтенант и, выпрыгнув на ходу из притормозившей машины, побежал к застрявшей.

Следом идущие машины, тормозя и останавливаясь на снежном накате, начинали неуправляемо и беспомощно сползать вниз. Конвоиры, выскакивая на ходу, рискуя попасть под колёса сползающих по наклонной машин, ножами резали ремни брезентов, выпуская из кузовов перепуганных зеков. Подпирая друг друга, машины остановились. Пошли в ход кирки и лопаты, через некоторое время машины, выплёвывая из-под колёс перемолотый с песком и камнем снег, одна за другой поползли в гору. Преодолев подъём, колонна остановилась. Рельеф дороги был таков, что, не разогнавшись на спуске, машина не могла выскочить на следующий подъём, и Макушев, зная это, решил больше не рисковать. Сорок человек с кирками и лопатами, в сопровождении двух конвоиров, уходили по спуску вниз и начинали подсыпать дорогу от подъёма до вершины, затем колонна трогалась, и машины поочерёдно проходили дистанцию полтора-два километра.

Потом уходила на дорогу следующая группа заключённых. Голышев дважды со своей двадцаткой выходил на дорогу и с остервенением лупил киркой по придорожным скальным выступам, добывая грунт для подсыпки.

— Ничего, терпимо, мужики, прорвёмся,—подбадривал он уставших и промёрзших на ветру людей, вернувшись в родной кузов к буржуйке.—В шахте, бывало, по две смены рубили уголёк. Жара, пыль, дышать нечем, а здесь красота, воздух чистый и прохладно.

— Да уж, прохладно, коченеем от той прохлады.

— А ты шевелись шустрей.

— Дак, шевелись не шевелись, спина мокрая, а руки как грабли, пальцев не чую.

— Слышь, ссать захочешь, мочись на руки, не брезгуй, отогреешь махом, а потом снежком, снежком, гореть будут!

— Ну-ка, советчик, отсядь от меня, то-то я чую, от тебя несёт.

Согреваясь горячим чаем и солёными шутками, как-то незаметно прошли Становой хребет, и колонна шла уже без остановок.

Предвкушая скорый конец первого перегона, Макушев расслабился, а напрасно. Смеркалось. Мороз крепчал. Искрами мелькал в свете фар мелкий снег. В широкой мари между сопками водитель резко затормозил, но поздно. В сумерках он не сразу заметил, как хорошо различимая дорога вдруг закончилась, и перед его машиной оказалась ровная гладь, слегка переметаемая снежными волнами.

— Газуй!— заорал Макушев водителю.— Может, проскочим!

Машина рванулась вперёд, но угадать направление дороги было невозможно. Метров через сто грузовик, ломая ледяную корку наледи, ушёл передними колёсами с дорожной насыпи и, провалившись, заглох. Следом шедшие машины встали, окутанные паром вырвавшейся из-подо льда воды, заливавшей раскалённые глушители. Какое-то время все сидели в машинах и ждали. Ждали конвоиры и водители, ждали заключённые, ждали какого-то чуда. Но чудес не бывает, и зычный голос Макушева, забравшегося на кабину и оравшего оттуда, вывел людей из оцепенения. Все понимали, что придётся выходить из машин и в ледяной по колено воде вытаскивать головную, а затем выводить и все остальные машины, прощупывая насыпь дороги впереди машин. Секущий лица мелкий колючий снег, обжигающий холод ледяной воды, сжимающий твоё тело и проникающий болью в твой мозг, мат и крики конвоиров, руководивших с подножек машин людьми, всё это запомнилось Ивану отрывками. Уже теперь, пытаясь согреться в кузове машины, он видел лица других людей. Никто не шутил, промокшие насквозь люди начинали молча, тихо замерзать. Гревшая раньше буржуйка не спасала, пропитанные водой ватники и валенки просто-напросто костенели на людях, и сжавшийся в комок, пытаясь сохранить тепло, человек через десять-пятнадцать минут уже не мог встать и распрямиться. Войлок валенок, пропитанный водой, превращался в лёд, и ступни ног, даже в сухих сменных портянках замерзали до потери чувствительности. Чай, который Голышев постоянно грел, наливая в кружку по очереди, по глотку передавали по машине, тоже уже не спасал. Многие не могли удержать кружку в руках, просто даже взять её в руки.

До Тупика оставались немногим более десяти километров, и Макушев гнал колонну, прекрасно понимая, что любая остановка в пути сейчас будет стоить многим жизни. Через час колонна въехала в посёлок, и два бревенчатых барака приняли этапируемых.

— Сутки на просушку одежды и отдых,— распорядился Макушев, уходя из бараков. На душе у него скребли кошки — проклятые пять процентов! «Двести ртов, каждому по пятьдесят грамм для согрева, это уже десять литров спирта, а где его взять?» — соображал Макушев по дороге к поселковому руководству. Несмотря на поздний час, окна в конторе были освещены. Председатель поссовета, седой, болезненного вида мужчина, Волохов Иван Прокопьевич, был давним знакомым Макушева. В одной сотне они когда-то воевали в гражданскую. Волохов, получив тяжёлое ранение в этих местах, остался на излечение, а потом, пригретый одной из солдатских вдов, тут и осел. Тем более, что большевистская партия поручила ему и доверила как проверенному в боях, закалённому большевику руководство этим посёлком. Увидев на пороге Макушева, Иван Прокопьевич искренне обрадовался.

— Ну, здравствуй, дорогой. Как добрался? Ждал ещё вчера, рыбки приготовил, строганинкой побалую. Пошли в мою половину.

Волохов жил уже много лет один прямо в конторе.

— Иван, сначала баньку, промёрз как собака. Дорогу перекрыло на Волчьем ручье, кое-как прошли.

— Хорошо, банька второй день тебя поджидает, да не только банька,— ухмыльнулся Волохов.— Давай, венички вон прихвати. Иди, парься, я чуть позже подойду, тоже погрею кости за компанию.

Макушев, хорошо зная хозяйство Волохова, сбросил с себя одежду, в валенках на босу ногу и исподнем, подсвечивая себе керосиновой лампой, пошёл к небольшой рубленой избушке в глубине двора. Банька была рублена хорошо, по-казацки, чистая и уютная мойка с лавкой для отдыха и отдельно парилка.

Пришедший через некоторое время Волохов застал Макушева лежащим на лавке распаренным и довольным. Багровый шрам наискось перечёркивал широкую спину лейтенанта.

— Не побаливает мадьярская отметина?— спросил Волохов, похлопав Степана по жаркой спине.— Прими-ка стопку.

Макушев, отдуваясь, сел, молча выпил, зацепив ладонью из деревянного туеса мёрзлой брусники, высыпал её в рот и, закрыв глаза, застонал от удовольствия.— Ууух, благодать у тебя, Прокопьич.

— Рад стараться, вашбродь!— гаркнув шутя, Волохов нырнул в парную, откуда вырвался клуб пара.

Да, сильно сдал Иван, глядя на спину Волохова, думал Макушев. А какой казачина был. Вот на этой, теперь костлявой, изуродованной ранами, спине вытащил он когда-то Макушева, порубленного матёрым венгерским кавалеристом. Позже, простреленный из карабина в упор, Волохов остался без правой лопатки, половину которой, раздробив, вынесла из его тела пуля. Но это было намного позже. А тогда, тогда они молодые, ещё безусые казаки, как на живого Бога смотрели на своего атамана. Готовы были в огонь и воду броситься, выполняя его приказ. Сызмальства в седле, к шестнадцати годам они отменно владели пикой и шашкой, неплохо стреляли из коротких кавалерийских карабинов. В грохоте и сумятице революций и гражданской войны трудно было разобраться, кто враг, кто не враг, но воспитанные уважать старших и подчиняться воле командира, они в составе своей сотни рубили всех, кто вставал на их пути. Святая вера в правоту атамана была

у них в крови и кровью скреплена. Зимой 1919 года в составе полуторатысячного отряда они несколько месяцев преследовали так называемый интернациональный венгерский полк. Следы полка затерялись в районе станций Ксентьевская-Могоча. Железная дорога, захваченная войсками адмирала Колчака, сковала манёвренность венгров, и они ушли. Ушли быстро и скрытно, растворившись в забайкальской тайге. Они были уверены в том, что легче найти иголку в стоге сена, чем обнаружить их в той бездорожной глухомани, куда они забрались. Но тайга не любит чужаков, она имеет свои глаза и уши. Охотник орочон, имени которого Степан не помнил, в чьи охотничьи угодья, не ведая того, забрели, укрываясь от преследования, венгры, наткнулся на их лагерь. Озабоченный вмешательством в его промысловые дела, он вышел из тайги и рассказал об увиденном родичам. Война, шедшая в России, почти не задевала ничего в ней не понимавшее коренное население. Охотники и оленеводы племени орочон занимались своим нехитрым промыслом так же, как это делали на протяжении веков. Грамоты никто не знал, газет в тех краях никогда не было, пушнину скупали и выменивали приезжавшие купцы, которые политическим просвещением не занимались.

Родоплеменные устои были настолько сильны, что мнение шаманов и старейшин было обязательным и единственным законом жизни таёжных кочевников. Однако, в семье, как говорят, не без урода. Родичи передали ему совет от старейшин: сохранить в тайне место, где встал на зимовку полк венгров. Старики рассудили так: вооружённые люди вреда не причинили, тихо пришли, придёт время,— тихо уйдут. Старики знали, что другие вооружённые люди их ищут, но они не хотели, чтобы на земле их предков проливалась людская кровь. Однако тот охотник, встретив казачий разъезд, за обещанное вознаграждение рассказал, а потом и провёл глухой ночью казачьи сотни охотничьими тропами прямо к лагерю венгров. Река Олёкма, на берегу которой были безжалостно порублены застигнутые врасплох несколько тысяч красных венгров, никогда до и никогда после не слышала столько людской боли и не принимала в себя столько людской крови, как в ту страшную ночь. Волохов и Макушев в том ночном бою, не тратя по приказу атамана патронов, рубили шашками, как капусту, головы метавшихся в панике людей. Сопротивления оказано почти не было, однако пленных не брали. К утру всё было кончено, но охотничий кураж охватил Степана, когда он увидел нескольких уходящих в тайгу всадников и кинулся в погоню. Волохов на две сотни метров отстал от Макушева, когда тот нагнал остановившихся и повернувших к нему врагов. Сверкнули клинки, и увернувшийся от удара Макушева венгр ловко рубанул проскочившего казака, навсегда оставив о себе память на его спине. Два выстрела из-за скалы — и Волохов через голову рухнувшего замертво коня скатился в снег. Очнувшись от удара, Волохов увидел на снегу под скалой распластанное тело друга. Макушев лежал на животе и стонал. «Слава Богу, жив!» — обрадовался Иван и с опаской стал осматриваться вокруг. Около скалы никого не было.

— Ушли, сволочи!

Далеко внизу, на берегу, слышались лошадиный топот и крики людей. Никто не увидел их смелой погони, понял Иван. Никто их и не хватится в этой суматохе сейчас. «Уйдут ведь!» — Волохов вскочил на ноги и тут же рухнул от острой боли. Когда сознание вернулось к нему, было тихо, только поскрипывали над головой вековые сосны. Макушев всё так же лежал под скалой. Теперь хорошо было видно, что шинель на спине рассечена и пропитана кровью. Волохов ощупал себя. Неестественно вывернутая ступня левой ноги сильно болела. Других ран, не считая ушибов, не было. Преодолев два десятка метров ползком, Волохов добрался до Макушева.

— Степан, я сейчас,— переворачивая его на бок, приговаривал Волохов.— Только не умирай, держись, браток.

Рана была большая, от плеча до поясницы, но не глубокая. Вскользь полоснул клинок, не прорубил кости. Потеряв много крови, Макушев дышал, но не приходил в сознание. Волохов, разорвав всё, что было из белья, как мог, перевязал Макушева. Срезав ремни с седла, перетянул несколько раз прямо поверх шинели его спину и, превозмогая боль в ноге, потащил его вниз, к реке, к лагерю. Он полз, матерясь и проклиная всё на свете, до крови закусывая губы, когда его вывернутая ступня, цепляясь за корни и камни, невыносимой болью била в голову, парализуя всё тело. Нужно было доползти, дотащить Степана до лагеря, там были землянки, там можно было спастись и выжить. И он дополз и дотащил. То, что он увидел на берегу Олёкмы, было ужасно.

Иван Волохов, не раз бывавший в сабельных атаках и повидавший смерть врага, никогда не был на месте такого кровавого побоища. Он тащил своего раненого товарища между ещё не остывших трупов людей, лёгкий морозец лишь слегка покрыл инеем волосы, ресницы незакрытых глаз. Открытые страшные раны от сабельных ударов ещё кровоточили, в некоторых местах кровь собралась в огромные лужи и парила. Волохову стало плохо, его тошнило, его выворачивало наизнанку. Тяжёлый запах смерти и ужаса как бы висел в воздухе и комом вставал в горле, не давая дышать.

Стараясь не глядеть по сторонам, Волохов, раздвигая ещё податливые тела, освободил вход в одну из землянок и, втащив туда Макушева, упал без сил.

Хорошо протопленная землянка сохранила тепло. Через какое-то время Волохов, придя в себя, разжёг печку, благо, сухие дрова были по-хозяйски сложены под лежаком, и зажёг уцелевшую керосиновую лампу. Просторная землянка на десять человек, добротные топчаны и железная печка, чисто выметенный земляной пол — всё говорило о том, что устраивались здесь надолго и основательно. В брошенном вещмешке Волохов нашёл шило и толстые нитки для починки обуви да конской упряжи. Вот этими нитками и зашил Иван кровоточащую спину Степана, обработав рану самогоном, поделив последний глоток по-братски

с другом. Перебинтованный чистыми бинтами, на которые ушли две простыни, Степан спал. Только теперь Иван, с трудом и болью сняв сапог, занялся своей ступней. Неестественно вывернутая в сторону, она распухла. «Да, не ходок»,—с горечью подумал Иван, не зная, что предпринять. Устроив поудобнее больную ногу, он сидел у открытой печки и смотрел, как языки огня сначала ласково облизывают поленья, а потом, фыркая и стреляя от удовольствия, начинают сжирать их, превращая живое, наполненное смолой и силой дерево, в ничто, в угли и пепел.

Почему их бросили? Почему отряд так быстро ушёл? Почему и зачем порубили столько безоружного народа? Ведь он видел, как, выскакивая из землянок, полуодетые люди падали на колени и поднимали руки. В горячке ночной атаки он тоже рубил врага и только сейчас, вспоминая и осознавая увиденное, задумался. Ему показалось, что сегодняшней ночью он страшно согрешил. Душа была не на месте, она горела огнём и обугливалась, как эти поленья в печи. Только горящие поленья согревали, давали живительное тепло, а его душа, сгорая, оставляла в нём холод. Холод и страх. Ему стало вдруг страшно: а что если оставшиеся в живых, ведь кто-то же ушёл, вернутся? Вернутся и найдут, непременно найдут их, и непременно порвут их на куски за ту жестокость, которую они сотворили. Он вдруг понял, что если их найдут, он не будет сопротивляться и молить о пощаде. Он заслуживал смерть, и он её достойно примет.

Его горькие думы прервал очнувшийся Степан.

— Воды, дай воды,—слабо простонал он и открыл глаза. Долго и жадно глотая воду, поднесённую к его потрескавшимся губам, Степан внимательно смотрел на Волохова.—Иван, это ты? Господи, что с тобой, ты же весь белый. Где мы?

— Чёрт меня понёс за ними,—сокрушался Макушев, выслушав рассказ Ивана,—теперь из-за меня пропадём.

— Знаешь, Степан, мы уже пропали. За что мы льём кровушку свою и чужую? За родную землю и волю, так у нас её никто не отнимал. Германца за тридевять земель отсель отбили. Большевики землю мужикам отдали, так и у нас не забирают. Власть свою ставят, так царь-батюшка отрёкся. Порядок на земле должон быть, да и какая разница, на кого горбатить, а вот кровушку проливать больше не хочу. Не по-казацки—безоружных бить, не по-казацки—раненых бросать! Покойников порубанных воронью оставили, видано ли дело! Всегда хоронили после сечи и своих, и чужих. Не Бог с нами, Степа, сейчас, а прав ты, чёрт нас за собой ведёт.

Степан молча слушал. Выходит, Иван, спасший ему жизнь друг, теперь прав был, теперь ещё и душу его спасал. Промолчал Степан, закрыв глаза, сделал вид, что задремал. Думал: а ну, как наши вернутся? С такими помыслами не то что атаман, сотенный, прознав, шкуру нагайкой сдерёт, а то и просто шлёпнут, как осенью большевистского агитатора в Нерчинске шлёпнули. Запутались они, запачкались в крови по уши. И кто её разберёт, эту правду? Только согласен он с Иваном—не по-казацки стали воевать. Жар застилал Степану глаза и, проваливаясь в беспамятство, он прошептал: «Не по-казацки».

Остаток дня и ночь Степан то приходил в себя, то терял сознание и метался в бреду. Иван, забыв про сон и усталость, ухаживал за ним и только к утру уснул. Гортанные крики и голоса разбудили Ивана, в лагере кто-то был. Иван приподнялся на лежаке, и в это время дверь в землянку открылась. В светлом проёме Иван увидел что-то мохнатое и неуклюжее, однако это мохнатое шагнуло внутрь и оказалось человеком. Присмотревшись в сумраке землянки, небольшого роста человек в оленьих одеждах, увидев лежавших, быстро развернулся и с криками на непонятном Ивану языке выскочил. Несколько минут было тихо. Иван с замершим сердцем лежал, не зная, что делать. Не свои, не чужие—орочоны. Дверь землянки открылась, и в неё осторожно вошли несколько человек. Один из них, подойдя ближе к Ивану, заговорил.

— Большой беда случись, большой горе. Орочоны не воюй, орочоны—охотники, зверь добывай, мех добывай, орочоны с русскими дружат, орочоны нет убивать людей.—Стоявшие за ним люди согласно кивали головами.

— Мы вам помогай, здэсь одни помирай, злые люди приходил, много ваш товарищ помирай, ой много.—С этими словами он повернулся, что-то коротко сказал своим и вышел.

Осторожно, на руках, орочоны вынесли казаков и, укутав в меха, уложили в нарты. Краем глаза Иван заметил, что орочоны стаскивают трупы погибших в землянки и засыпают их. Над головами людей на ветвях деревьев черным-черно сидело, а ещё больше кружило в небе слетевшееся вороньё.

Пришедший в себя Степан, совсем не понимая происходящего, спросил, увидев лежащего рядом Ивана.

— Вань, что случилось? Куда нас везут, кто?

— Тихо, Стёпа, это орочоны. Они приняли нас за уцелевших красных. Куда везут, не знаю, но, думаю, вреда не будет. Хотели бы убить, бросили бы там,—ответил Волохов.

Прямо в нартах их напоили каким-то горьким отваром, пахнущим мёдом, и они скоро уснули…

— Ух, хорош парок!—вывалился из парилки Волохов, прервав воспоминания Макушева.—Наливай ещё по маленькой, да пойдём вечерять.

— Давай, Вань, за дружбу,—поднял гранёный стаканчик Макушев.

— Давай, Степан, за дружбу,—серьёзно глянув в глаза Макушеву, сказал тост Волохов и опрокинул в себя чуть мутноватый первач.

Обсохнув, чистые и посвежевшие, друзья вернулись в половину Волохова.

— Вот это стол!—ахнул с порога Степан, увидев угощенья. Тут было и жареное мясо, и солёные груздочки, и квашеная капуста, и отварная картошка. Толстыми ломтями нарезанная солёная тайменина и копчёный ленок. Украшением стола между грибочками и дымящейся с мороза брусникой, стоял, отпотевая, стеклянный, ещё царских времён штоф с самогоном.

— Кто ж так расстарался, а, Прокопыч? — спросил Макушев, сбрасывая полушубок с плеч. — Никак, у тебя хозяйка завелась справная?

Иван, улыбнувшись, ответил:

— Да я не против бы такой хозяйки, да, видно, по-другому бабёнка сохнет. — Марья, да где ты, объявись, наконец! — крикнул он в комнаты.

— Да иду, иду уже, Иван Прокопьевич! — отозвался звонкий голос. В комнату вошла статная, высокая молодая женщина, её миловидное лицо тронул румянец. Не глядя на Степана, она проскользнула в прихожую и появилась вновь с миской строганины.

— Знакомься, Мария, это мой старинный приятель Степан Петрович Макушев. Вот, проездом, так сказать.

Макушев, вглядываясь в лицо женщины, представился:

— Степан.

Что-то неуловимо знакомое было в её лице, взгляде.

— Где я вас видел? Мы были знакомы?

— Нет, мы знакомы и не знакомы, — смущённо ответила женщина. — Вы меня видели много раз, и я вас тоже, только это было давно, — совсем раскрасневшись и смутившись, ответила она. Степан вопросительно повернулся к Ивану. Иван хитро улыбался, разливая самогон.

— Ну, Иван, не томи душу, где я мог такую красавицу видеть и сейчас не признать?

Мария рассмеялась так заразительно и звонко, будто сотни бубенчиков рассыпались в горнице и наполнили её радостным возбуждением. Рассмеялись все. Утирая слёзы, Иван сказал:

— Неужто не признаёшь, Степан? Вот, помучайся пока. Мария, пусть потомится Петрович? Или подсказать?

— Не может быть! Машенька, вот это да! — только и мог промолвить Макушев, не веря своим глазам.

— Иван, это же Машенька! Мария, Мария! Какая Мария, когда это же Машенька! — орал, хохоча, Макушев.

Опрокинув табуретку, Макушев выскочил из-за стола, и Мария, не успев опомниться, оказалась на его руках, а Макушев хохотал и кружил её по комнате.

Через какое-то время весёлая и довольная компания мирно сидела за столом, с удовольствием вкушая под рюмочку приготовленные умелыми руками Марии кушанья.

Степан, взволнованный такой неожиданной встречей, не отводил глаз от Марии. Та, чувствуя такое внимание, вспыхивала румянцем и отводила глаза.

Милая улыбка на её лице будоражила Макушева, ему было приятно, что Мария как-то по-особому ухаживала за ним за столом. Вовремя и незаметно она старалась подложить ему что-нибудь вкусное, лишний раз прикоснуться к нему, как бы нечаянно слегка прижаться. Каждое такое прикосновение или нечаянно пойманный взгляд Марии обжигал Степана и притягивал к ней.

Слегка хмельные и сытые Волохов и Макушев, отсев от стола ближе к печи, закурили, и Волохов низким приятным голосом тихо запел.

— Ни-ичто в по-о-олюшке не колы-ы-шется, — пристроившись в лад, чуть выше тоном, Макушев поддержал. Мария, присев на пол и облокотившись на колени Макушева, тоже чистым красивым голосом вошла в песню. И эта старинная казацкая песня полилась, как полноводная река, переливаясь и падая на порогах, затихая в заводях, тая в своих глубинах огромную жизненную силу. Казаки пели тихо и проникновенно. Святое чувство родства душ пьянило и объединяло сердца. Им казалось, что в их голосах слышны голоса их отцов и дедов, они улетали своими истосковавшимися душами вместе с песней в то чистое и светлое прошлое, святое и безвозвратно утраченное.

Осторожный стук в дверь прервал песню. Сердито нахмурившись, Волохов разрешил войти.

— Прошу извинить, Иван Прокопьевич, тут начальник конвоя лейтенант Макушев?

— Здесь. Проходи, Семёнов, что случилось? — услышав голос сержанта, ответил Макушев.

— Товарищ лейтенант, разрешите доложить? — встав по стойке смирно, чётко обратился Семёнов.

— Докладывай.

Оказавшись случайными свидетелями доклада, Иван и Мария сделали вид, что как бы ничего и не слышали, однако то радостно-праздничное настроение с уходом сержанта Семёнова както исчезло. Мария хлопотала у стола, заваривая крепкий чай и расставляя чашки, мужчины молча, сидели и курили.

— Степан, тебе не надоело арестантов возить? — нарушил молчание Иван, — нам здесь, в Тупике, — взглянув на Марию, — уполномоченный нужен. Мог бы по своим каналам посодействовать.

— Нет, Ваня, это не по мне. Так я на службе, приказано доставить заключённых — доставил, прикажут отпустить — отпущу, а уполномоченный — тот сажать должен, это разные вещи.

— Ну, как знаешь, а то у нас уполномоченный, Яшка Кривоглазов, спился совсем. До начальства далеко, а про Бога он не ведает, творит, что хочет, сволота. Недавно из Могочи вернулся, целую неделю пил. Жена его приходила, плакалась: «Сидит пьяный за столом с револьвером в руке, барабан крутит и щелкает себе в висок. Долдонит одно и то же: «Где мне взять врагов народа?!». Пришёл к нему, спрашиваю: «Ты чего, Яков, жену, детей пугаешь? Оружием балуешь, чай, не игрушка, у башки крутить». Знаешь, что он мне сказал? «Здоровье, — говорит, у меня подкосило, боли головные, не сплю ночами, видно, контузия сказывается. Пора мне уходить на пенсию, пособи по старой дружбе, Прокопыч». Я, конечно, пообещал, кто его знает. Только, как мне кажется, здоров он, как бык. Напуган он чем-то, что ли, но мне не открылся.

— Иван, ты поостерегись за него хлопотать. Кто он тебе, сват, брат? В стране сейчас обострение классовой борьбы, вражеская агентура, троцкисты, вредители всех мастей. Ты слышал, сколько на Удоганлаг вожу?! Туда ведь дорога, сам знаешь, только в одну сторону. У вашего опера не здоровье подкосило, а башку. Ты же сам чуешь, проверят его по здоровью, признают, что симуляция, дезертирство и, как говорится, со всеми вытекающими

отсюда последствиями. Из нашей системы сейчас уйти добровольно нельзя, мы — карающий меч трудового народа, а если проще, назвался груздем — полезай в короб.

— Степан Петрович, Иван Прокопьевич, прошу к столу, чай наливаю, — позвала Мария.

— Чай, это хорошо. Однако, Машенька, налей-ка нам ещё по чарочке, — попросил Волохов.

Усевшись за стол, мужчины выпили. Мария, за чью красоту был поднят тост, засобиралась домой. Макушев вызвался проводить.

— Хорошо, — улыбнувшись, согласилась Мария, и они ушли.

Крепкий мороз пощипывал щёки и перехватывал дыхание, однако они медленно шли по тёмным проулкам посёлка, ничего не говоря друг другу. Только у дома, остановившись и глядя Макушеву прямо в глаза, Мария повелительно сказала:

— Мороз-то какой, Степан Петрович, зайдите, пока не согреетесь, не отпущу.

Два барака, куда для ночлега загнали заключённых, могли вместить этих людей и согреть, но спать пришлось по очереди. Голышев не спал в эту ночь вообще, не пришлось.

Как старший в машине он позаботился, чтобы все высушили одежду, получил пайки и справедливо поделил хлеб. Многие его товарищи по несчастью сильно упали духом, узнав, что до лагеря добираться ещё минимум двое суток. Ещё двое суток такой дороги выдержат не все, понимал Иван. Сильно простыл и кашлял худощавый парень, нужно было как-то помочь.

Барак был заперт, и Ивану пришлось долго стучать в двери, пока не услышал шум открываемого запора.

— Какого дьявола надо? — один из конвоиров ткнул Ивана в грудь стволом карабина.

— Врач нужен. Одному из заключённых нужна медицинская помощь, — сказал Иван.

— Ещё больные есть? — громко крикнул высокий рыжий конвоир. — Всем чахоточным собраться у выхода, поведём на больничку.

Через несколько минут шесть человек, подошедшие к выходу, в сопровождении конвойных ушли. Двери барака закрылись. Иван уже хотел лечь спать, место ему ближе к печи определилось как-то само, но двери снова открылись и тот же рыжий конвоир, увидев Ивана, скомандовал:

— Давай тоже на выход!

Иван быстро оделся и вышел из барака. Довольно крепкий мороз сразу перехватил дыхание.

Их привели к бревенчатому дому, в котором отдыхали конвоиры. У крыльца прохаживался Семёнов.

— Значит так, Голышев, ты назначаешься лечащим врачом, вот у крыльца лекарства от всех болезней — пилы и топоры. Курс лечения такой — четверо пилят, один колет, двое носят.

— Свистунов, — окликнул он рыжего конвоира, — проследи, чтобы никто не нарушал курса лечения и через два часа выздоровевших отправишь в барак, больным продолжишь курс лечения до полного выздоровления. — Довольный своим остроумием, Семёнов, пожелав на прощание всем скорейшего выздоровления, ушёл в дом.

Всю ночь, по два часа, заключённые двуручными пилами пилили дрова, кололи их и складывали в поленницы. К утру Голышева, который, чтобы не замёрзнуть, не выпускал из рук колуна, наконец, сменили и он, злой и уставший, упал на нары. «Сволочи, какие сволочи!» — думал Иван, вспоминая лица довольных охранников, остривших и хохотавших, когда заключённые из первой шестёрки, кашляя и обливаясь потом, пилили и таскали, чуть не падая, тяжёлые листвяжные поленья. Иван отчётливо понял, что ни его жизнь и здоровье, ни жизни других, находящихся здесь заключённых, уже не представляют никакой ценности.

Всю дорогу до Тупика он обдумывал возможности побега. Выпрыгнуть на ходу из машины незамеченным было невозможно. Конвоиры сидели в кабинах идущих следом машин. Можно было попытаться уйти в ночной суматохе, когда вытаскивали провалившуюся в наледь машину. Но далеко ли он ушёл бы в промокшей одежде, даже если бы смог незаметно оторваться? Нет, бежать нужно будет на следующем перегоне. Дальше, со слов охраны, населённых пунктов уже не будет, а значит, не будет и связи. Если он сможет оторваться и сбежать, колонна пойдёт дальше, и искать его никто не будет, пока этап не дойдёт до лагеря. Это минимум двое-трое суток, за это время можно уйти далеко. Нужно готовиться. Продукты, спички, одежда — нужно быть максимально готовым в тот момент, когда появится возможность. Вырваться, вырваться, во что бы то ни стало, пока он здоров, пока есть силы. С этой мыслью он жил ещё сутки, не воспринимая уже ничего, что не касалось его замысла.

Не спал эту ночь и Макушев. Войдя в дом Марии, он задержался у входа, долго пытался повесить на гвоздь свой полушубок, у которого как на грех оторвалась вешалка.

Потом с полки несколько раз сваливалась шапка, потом долго не снимались унты, потом… Потом что-то горячее и нежное прижалось к его спине, и он замер от неожиданно нахлынувшего чувства. Осторожно повернувшись, он обнял и прижал к себе гибкое и податливое тело Марии. Она крепко обнимала Степана, их губы нашли друг друга, и долгий, бесконечно долгий, нежный поцелуй забрал у них остатки ощущений реальности. Дальше всё происходило как во сне, сумасшедшем сне. Не прекращая объятий и поцелуев, они умудрились, раздеваясь, сбрасывая и срывая с себя одежды, добраться до постели и упали в неё уже совершенно нагие. От бешеного желания Степана просто колотило и подкидывало вместе с обвившей его тело руками и ногами Марией. Казалось, они слились в единое целое, горячее и родное обоим. Безумство страсти завладело не только их телами, но и душами. И эти души слились и, переплетаясь в нежном танце любви, взлетали ввысь, не зная границ и пространства. Они потерялись во времени, и только взрывы плотских чувств возвращали их души в мокрые и горячие тела, обессиленные

и счастливые, чтобы вновь наполнить их силой и страстью и вновь взмыть в неведомое доселе обоим огромное до бесконечности и короткое, как вспышка молнии, счастье мужчины и женщины.

Утро наступило слишком рано. Макушев лежал на спине. Прижавшись к его груди щекой и обняв рукой, спала Мария. Её длинные тёмно-русые волосы, рассыпавшись по груди Степана тяжёлой волной, холодили тело. «Мария, Машенька»,— нежно подумал Макушев, осторожно, чтобы не разбудить, погладил волосы женщины…

Много лет назад, в году, наверное, двадцать втором, он, очередной раз раненный, отлёживался в госпитале в Чите. Там и увидел он в первый раз смешливую угловатую девочку-подростка Машеньку. Она помогала бабушке, работавшей там санитаркой. Весёлый детский смех перемещался вместе с бабушкиным ведром и шваброй из палаты в палату. Раненые бойцы ждали и радовались её появлению. Чем могли, угощали девочку. Многие видели в ней черты своих детей, таких же шаловливых и непослушных, весёлых и задорных. Степан, в то время ещё совсем молодой, был ранен в ногу легко, навылет. В августе в госпиталь привезли около сотни раненых, в то время были сильные бои, добивали остатки отчаянно сопротивлявшихся белогвардейцев адмирала Колчака, расстрелянного в Иркутске. Легкораненых разобрали, кто мог, по домам работники госпиталя. Так Степан и оказался в доме бабушки Глаши, той самой санитарки, чья внучка сейчас лежала на его груди. Там, у Глафиры Андреевны Павловой, нашёл его бывший в Чите проездом Волохов. Потом Волохов, бывая в Чите по работе, всегда останавливался в этом уютном доме недалеко от станции, подружившись с его приветливыми и простыми хозяевами. Родители Машеньки погибли, когда ей было два года, и она их совсем не помнила. Волохов как-то незаметно для себя привык к этой девчушке, даже скучал по ней и каждый раз, приезжая в Читу, обязательно вёз ей гостинцы. Так незаметно Иван Волохов стал для Машеньки «дядя Ваня», и она с восторгом с разбегу прыгала ему на шею, едва он переступал порог их дома.

Степан почти два месяца прожил здесь, выздоравливая, и, обещав навещать по возможности, снова закрутился в боевом лихолетье. Слава Богу, ранений больше не было, да и род службы его изменился, не получилось как-то навестить в близкое время. А потом забылось это обещание, вытесненное разными жизненными и служебными обстоятельствами. Но тёплая благодарность всегда оставалась в душе Степана к этим людям. Как за родным сыном, ухаживала за ним Глафира Андреевна. Машенька не отходила от него, выполняла все просьбы, не давая вставать с постели. Как настоящая медсестра дежурила у его изголовья, когда он спал. Невдомёк тогда было Степану, что этот подросток, эта маленькая девочка, навсегда запомнит его лицо. Влюбившись в красивого молодого казака, она будет мечтать о нём всю свою жизнь. Окончив школу, Мария пошла на курсы медсестёр при госпитале и, наверное, девичья мечта угасла бы, на неё заглядывались и пытались ухаживать многие интересные мужчины, если бы не Волохов. Как-то около года назад, приехав на партактив в Читу, он, как всегда, зашёл вечером к Павловым. Глафира Андреевна накрыла стол, и они сидели вдвоём, обсуждая житейские темы, вспоминая двадцатые годы. Иван помянул о Степане, который вот уже год как служит в Могоче и частенько проездом бывает у него в Тупике. Волохов передал от него привет хозяйке. Мария была на работе и не увиделась с Волоховым, но услышав о Степане от бабушки, вспыхнула ярким румянцем. Всё понимавшую бабушку долго уговаривать не пришлось.

Мария уже на следующий день сидела в приёмной райкома комсомола. Просьба направить её по комсомольской линии на работу медсестрой в посёлок Тупик вызвала одобрение и поддержку молодого энергичного секретаря. Но больницы или госпиталя в Тупике не было, поэтому Мария получила направление на фельдшерские курсы. Шесть месяцев для неё, окрылённой мечтой о встрече со Степаном, пролетели незаметно. Получив свидетельство и направление на работу фельдшером в Тупик, она как снег на голову объявилась у Волохова.

Иван был удивлён и, конечно, несказанно рад этому, с медициной в Тупике было плохо. В эту таёжную глухомань добровольно никто бы не поехал. Был ссыльный доктор, да сам хворал непрерывно. Волохов обеспечил Марию жильём и кабинет для приёма больных выделил. Заботился о ней, как мог. И только спустя какое-то время понял причину приезда Марии.

Она несколько раз спрашивала о Степане. Когда Иван рассказывал, где и кем служит Макушев, Мария внимательно и спокойно слушала. Но, когда сказал о том, что Макушев, как и он, до сих пор одинок, она изменилась в лице и, как-то сразу похорошев, вдруг стала с ним прощаться. Поцеловав его в щёку, стремительно убежала. На столе остался недопитый чай и забытые варежки Марии.

Макушев осторожно, не разбудив сладко спавшую, ставшую ему такой родной и близкой женщину, встал, оделся и, оставив на столе записку, ушёл. Не заходя к Волохову, почему-то стесняясь, он сразу направился к баракам.

Сержант Семёнов, встретив начальника, доложил, что всё в порядке, и они вместе вошли в первый барак. Барак встретил их сырым спёртым воздухом и надрывным кашлем заключённых. Печи топились, и кругом было развешано подсыхающее бельё.

— Семёнов, через час больных собрать у выхода,—распорядился Макушев и вышел из барака. Во втором бараке творилось то же самое.

— Семёнов, лично проверь, чтобы все просушили бельё и одежду! Сейчас семь часов, в двенадцать часов доложить о готовности этапа к погрузке и движению. Больных к восьми приведёшь к поссовету, там их фельдшер осмотрит. Я—у Волохова. Всё ясно?

— Так точно, товарищ лейтенант!—козырнув, ответил Семёнов и, сделав «кругом», зашагал к прогревавшим машины водителям.

Около восьми часов запыхавшийся Семёнов, улыбаясь, докладывал Макушеву о том, что больных нет, все здоровы, так как по его команде никто на лечение не вышел.

— Ты что, Семёнов? Как никто не вышел? Почему не вышел?

Семёнов, продолжая улыбаться, пояснил:

— Так, товарищ лейтенант, мы ж их всю ночь «лечили» на дровах, как обычно, вот все и выздоровели, никаких жалоб на самочувствие.

— Что?!—глухим помертвевшим голосом спросил Макушев.—Кто приказал? Кто приказал, я спрашиваю?

— Так, товарищ лейтенант,—улыбка начала сползать с лица Семёнова.—Я ж это, как обычно, трудовое воспитание врагов народа, так сказать. Вы же раньше…

— Молчать!—заорал Макушев, багровея.—Семёнов, немедленно в бараки и всех, кто плохо себя чувствует, температурит, веди сюда, немедленно. Ты всё понял, Семёнов?

— Так точно!—Семёнов почти бегом направился в сторону бараков.

Стоявшие на крыльце поссовета Волохов и Мария что-то оживлённо обсуждали и ничего не поняли из разговора Макушева со своим подчинённым.

— Сейчас приведут заключённых. Машенька, посмотри, если у кого что серьёзно, ну там, воспалительный процесс или ещё какая беда, скажешь мне потом. Им ничего говорить не нужно, просто осмотр и всё. Договорились?—улыбнувшись, спросил Макушев.

— Есть!—улыбнувшись в ответ, ответила Мария.—Степан, только будь рядом, а то мне что-то страшновато, никогда заключённых не видела.

Семёнов, вернувшись к баракам, злой из-за того, что почему-то не угодил начальству, оторвался на своих подчинённых. Больше всех досталось Свистунову, попавшемуся на глаза первым. За неопрятный внешний вид, за нестроевой шаг, за упавшую поленницу дров и вообще за то, что он рыжый. После этого он отправил его найти Голышева и тех шестерых, которых вечером «лечили» первыми.

— Голышев их знает наверное, выполняй!

— Голышев, давай своих вчерашних больных на выход!—заорал Свистунов, войдя в барак.

— Все здоровы,—ответил вставший ему навстречу Голышев.

— Твою мать! Там фельдшер ждёт, давай быстро, а то сейчас всех на мороз выгоню,—продолжал орать Свистунов.

— Лечение дело добровольное, передай большой спасиб начальнику за заботу!—с издёвкой раздалось из дальнего угла барака.

— Кто! Кто там пасть открыл? Забыли, где находитесь, вражины! Вы у меня сейчас поговорите! Вы у меня сейчас с…ть кипятком будете! А ну, всем встать! В две шеренги стройся!

— Ладно,—вмешался Голышев,—мужики, может, правда фельдшер. Выходи, кто занемог.

Через несколько минут около десятка человек под конвоем увели. Голышеву, который помогал идти одному из сильно ослабших, пришлось идти вместе с ними.

Вот она, свобода, думалось Голышеву, всего несколько шагов за колючую проволоку, и ты идёшь по заснеженной улочке мирно живущего посёлка. Вот идут женщины, наверное, спешат на работу, вон ребятишки гурьбой выкатились со двора и рассыпались по дороге, гоняясь друг за дружкой. Этот мир почему-то существует независимо от тебя и сотен таких, как ты. Ещё недавно ты ощущал себя частицей этого мира, ещё недавно…

Флаг, красный флаг нашей Родины чуть колышется на ветру. В кумачовом убранстве портреты великих вождей. Весёлые и радостные лица ребят из его бригады, все с красными бантами на груди, колонна за колонной, под революционные марши—мимо трибун. Ура, ура! Да здравствует великий Ленин! Ура! Да здравствует великий Сталин! Ура! Ура! Страна, огромная страна живёт единой жизнью и единой целью. Миллионы людей, объединённые единой волей, создают мощное государство, окружённое со всех сторон капиталистическими хищниками, готовыми воспользоваться любой слабостью, любой оплошностью, чтобы напасть и разорвать этот оплот свободы и справедливости на земле. Смерть врагам народа! Ура! Ура!.. И вот теперь он, Иван Голышев, враг народа! Идущие с ним рядом тоже враги народа. И почему-то Ивану стыдно шагать вот так, под конвоем, под взглядами этих остановившихся на обочине женщин. Хочется крикнуть, объяснить, что это ошибка, он не враг, он такой же, как все, хороший, рабочий парень, и вернуться в этот мир… Никогда, никогда, Иван понял, этот мир уже не будет для него родным. Мир, в котором осталось счастливое прошлое, стал чужим и враждебным. Он стал другим, ощетинился зубами штыков и колючей проволокой, он охраняет себя от таких, как Иван. Да, прав был покойный Гоголев. Один человек не может изменить мир. Чтобы жить в нём, он должен подчиниться его законам, приспособиться, тогда спокойная жизнь и добропорядочность обеспечены. Но если человек не может принять эти законы и не в состоянии приспосабливаться, значит, он непременно, рано или поздно, станет этому миру враждебен. Вопрос только в одном: для кого создаётся этот мир и это государство? Если для самого себя, тогда понятно. А если для людей, в нём живущих, тогда почему люди должны приспосабливаться под этот мир? Почему от него требовали на допросах говорить неправду? Почему та правда, рассказанная им, не была услышана, точно не нужна? Она не устраивала, не подходила, она была неприемлема, а потому враждебна.

— Голышев, давай этого доходягу в первую очередь,—услышал Иван и почти на руках внёс в медпункт обессилевшего заключённого.

Марии действительно не приходилось раньше не только оказывать медпомощь заключённым, она раньше их просто никогда не видела. Слышала и читала о врагах народа, представляла себе их злобными и агрессивными, хитрыми и изворотливыми агентами иностранных разведок или трусливыми предателями. И вот она их увидела.

В кабинет медпункта вошёл молодой высокий парень с открытым и симпатичным лицом, на руках он внёс больного и, аккуратно уложив его на кушетку, молча, встал лицом к стене рядом с вошедшим конвоиром.

Голышев, повернувшись к стене лицом, не ожидал такой удачи: буквально перед его носом оказалась географическая карта. Он не слышал и не видел ничего вокруг, его глаза запоминали населённые пункты, реки, озёра, дороги района. Он закрыл глаза и опустил голову, заставил свой мозг запомнить увиденное, ещё раз взглянул на карту и обернулся на окрик: «Выноси! Носилок здесь нет».

Мария была расстроена. Заключённый, которого она осмотрела первым, худощавый мужчина лет двадцати пяти, требовал срочной госпитализации, дыхание затруднено, лёгкие практически не прослушивались, температура около сорока. Она как обычно села писать направление на лечение в стационар. В это время вошёл Макушев.

— Мария, ничего писать не нужно, я же тебе говорил,— сказал Степан, глядя ей в глаза.— Пойми, дорогая, это заключённые. Что с этим?

— Степан, его нужно срочно в госпиталь, скорее всего острое воспаление лёгких,— ответила Мария.

— Сколько он протянет без госпиталя?

— Не знаю, может неделю, но ему нужен покой и уход, лечение, пойми, он же может умереть!

— Машенька, пойми, я обязан доставить их всех в лагерь, там есть санчасть, там ему окажут помощь. Мне нужно, чтобы он доехал, желательно живой.

— Боже, что я могу, Степан Петрович, это же человек. Может, оставить его пока здесь, а на обратном пути увезёте в Могочу, там больница?

Степан пожалел, что обратился к Марии с просьбой осмотреть больных, но уже ничего не поделаешь, и он тоном, не допускающим возражений, сказал:

— Мария, таблетки, порошки, пилюли, это всё, что можно, ничего другого нельзя, всё. Не я их судьбу решаю. Не обижайся, время такое.— Степан как можно мягче, с сожалением посмотрел на её расстроенное лицо и вышел.

После медосмотра, в кабинете Волохова, Мария рассказывала ему, что четверо больны серьёзно и требуют срочной медицинской помощи. У остальных различной степени тяжести простудные заболевания. Без анализов и обследования установить точный диагноз она не может, но лекарства от простуды приготовила.

— Это хоть как-то поможет, я здесь всё расписала на пакетиках,— закончила Мария, протягивая свёрток Макушеву.

— Машенька, через пару часов мы отправляемся, нет времени, а мне так много хочется тебе сказать. Через пять, шесть дней буду ехать назад. На сутки остановлюсь у тебя, дождёшься?

— Степан, возвращайся скорей,— Мария прижалась к Макушеву. Целуя её в губы, он почувствовал солёный вкус её слёз.

— Ну что ты, родная,— прошептал Степан,— не на войну же ухожу, скоро свидимся.

Ровно в двенадцать колонна выехала из посёлка. Отсюда дорог никуда больше не было. Тупик — он и есть тупик. Буржуйки в машинах протопили заранее, да и мороз ослаб, так что в кузовах было более-менее тепло. Голышев, уютно устроившись в углу кузова, ближе к кабине не так трясло, обдумывал варианты побега.

Он приготовился как мог: спички, склянка с медвежьим жиром, полбуханки хлеба и пять луковиц лежали у него в мешке со сменным бельём. В последний момент перед побегом он прихватит из кузова кружку и топор, тогда сам чёрт ему не брат. Только бы уйти. Перед отъездом начальник конвоя, этот здоровенный лейтенант, ещё раз объяснил на перекличке, что любая попытка побега с этапа бессмысленна. Кругом непроходимая тайга, и если кого не догонит его пуля, того, замёрзшего, сожрут волки. Это почему-то не пугало Голышева. Наоборот, раз непроходимая тайга, то не догонят и не найдут. Раз нет населённых пунктов, то и людей нет, а люди опаснее для беглеца, чем волки. Замёрзнуть он не боялся вообще — спички у него были.

Так рассуждал никогда не видевший тайги двадцатилетний шахтёрский парень. Там, где он вырос, небольшие берёзовые рощи считались лесом, а в основном — поросшие ковылем и татарником степи да заросшие камышом заболоченные низины озёр расстилались от горизонта до горизонта. Терриконы родных шахт, как египетские пирамиды, издалека были видны отчаянным юным следопытам, совершавшим походы на природу. Только этот пионерский опыт да оставшиеся в памяти инструкции из книжицы в коричневом переплёте с барельефом вождя «Юному сталинцу» — вот всё, чем располагал решившийся на побег Голышев. Ему ещё только предстояло узнать, что лейтенант Макушев был абсолютно прав.

Часа через три пути колонна остановилась, у одной из машин была небольшая поломка. Зеки, выпущенные из машин, под надзором конвоиров справили нужду и разминали затёкшие от долгого сидения ноги и спины. Иван, выпрыгнув из машины, огляделся. Вокруг, насколько хватало зрения, расстилалась однообразная местность. Невысокие сопки, покрытые лесом, с почти голыми вершинами, снега было совсем мало. Потоптавшись вокруг машины, разминаясь, Голышев заметил, что не все конвоиры вышли из кабин. Однако бежать днём возможности не было, всё просматривалось, как на ладони. Заметив недалеко от машины кустарник ерника, Голышев направился к нему, но тут же услышал окрик:

— Стой, куда попёр, скотина! Стрелять буду!— клацнувший затвор карабина более чем убедительно доказывал Ивану намерения охраны. Замерев на полушаге, Иван повернулся и увидел, что на него смотрят стволы карабинов трёх конвоиров. Да, эти своё дело знают.

— Да я ерника на растопку наломать, гражданин начальник, разрешите? Вон, кусты рядом,— как бы извиняясь, сделав испуганное выражение на лице, прокричал Голышев.

— Назад, к машине! Лечь на землю! Встать! Лечь! Встать! Лечь! Встать!

Раз двадцать выполнив эти упражнения, Голышев вместе со всеми по команде забрался в кузов. Ловя на себе сочувственные взгляды заключённых, Иван, как только машина тронулась, громко сказал:

— Нас дерут, а мы крепчаем! — Все расхохотались.

Часа через два снова остановка. Выталкивали застрявшую машину, и опять Голышев не нашёл возможности ускользнуть из поля зрения охраны. Было уже довольно темно, но как назло, луна в чистом небе хорошо освещала широкий распадок между сопками.

Вот ёлки-палки, кусал губы Иван, если так дальше пойдёт, ничего у него не получится. Он вспоминал карту: чем дальше на север, тем меньше у него шансов выйти к железной дороге. Он рассчитывал тайгой, напрямую, добраться до «железки», затем товарняком незаметно доехать до родных мест. А там… Он не знал, что он будет делать там, да и не задумывался об этом. Ему просто хотелось увидеть своих родных, обнять и успокоить мать, а там — будь что будет.

Машины, напряжённо рыча моторами, медленно поднимались в гору. В склоне сопки, наверное, ещё при царе-батюшке прорубили этот подъём, больше похожий на широкую тропу. Едва вмещаясь по ширине, машины карабкались вверх. То и дело останавливались, чтобы убрать с дороги упавшие камни или повалившиеся деревья. Но с этим справлялись зеки из головной машины. После небольшого перевала машины пошли вниз, скорость возросла, и в кузове неимоверно трясло. Особенно плохо было сидящим в середине, не за что ухватиться. Хватались друг за друга, вместе подлетали на ухабах, вместе и приземлялись тощими задницами на доски ящиков. Было уже далеко за полночь. Иван, просунув руку за стойку тента, согнул её в локте и, зафиксировав, таким образом, своё тело, попытался уснуть.

Сидевший в кабине зиса конвоир Свистунов настолько заболтал водителя своими рассказами о похождениях на женском фронте, что тот с облегчением вздохнул, когда рыжий захрапел, угомонившись. Имея достаточный опыт вождения, машину он вёл уверенно и спокойно, стараясь не обращать внимания на крутой обрыв справа, по самой кромке которого шла машина. Машина шла легко, под гору. Дорога, огибая сопку, медленно уходила влево. Автоматически ориентируясь на габаритные огни впереди идущей машины, подруливая влево, водитель что-то насвистывал. Чуть притормозив на ухабе, он не слышал хруста лопнувшей рулевой тяги и только почувствовав, как ослабла баранка руля и увидев, что габаритные огни впереди идущей машины резко пошли в сторону, а свет его фар провалился в темноту, он ударил по тормозам. Машинально вращая руль в левую сторону и, потеряв от испуга голос, он пытался остановить грузовик, но было поздно. По инерции, не слушаясь руля, машина передними колёсами ушла под откос. Водитель, отброшенный ударом, уже не мог тормозить и, набирая скорость, подпрыгивая на выступах, грузовик неуправляемо понёсся вниз. При первом же сильном ударе в кузове сорвало и опрокинуло буржуйку. Вывалившиеся из неё угли и горящие поленья жгли метавшихся в панике людей, рвущихся из кузова. Загоревшийся брезент тента осветил страшную картину происходящего. Заключённые выпрыгивали из кузова и, кувыркаясь, катились вслед за машиной. Ударившись о крупный валун, машина перевернулась набок и, уже вся объятая пламенем, перекатываясь, ломая на своём пути мелкие деревья, упала с небольшого обрыва у основания сопки. Прогремел сильный взрыв, и столб пламени взметнулся вверх.

Всё это произошло очень быстро. Макушев в головной машине ничего этого не видел, и только взрыв и вспышка пламени где-то внизу, под сопкой, заставили его остановить колонну. Возвращаясь назад, он издали увидел остановившиеся машины и людей, стоявших и лежавших около машин. В свете фар мелькали фигуры конвоиров и заключённых. Вытащив пистолет, чертыхаясь, Макушев бегом побежал к месту аварии.

Сержант Семёнов, ехавший в хвосте колонны, встретил лейтенанта и доложил о случившемся. Из-под откоса выбирались заключённые, многие были в крови, снизу доносились крики о помощи. Было темно, только блики пламени догоравшей внизу машины выхватывали из темноты склон сопки и фигуры карабкающихся по нему людей.

— Кто из конвоя был в машине? — спросил Макушев.

— Свистунов, — ответил Семёнов.

— Где он?

— Наверное, внизу, товарищ лейтенант. Если уцелел, вылезет.

— Нужно организовать группу поиска. Семёнов, ты — старший, возьми четверых, фонари и спускайтесь к машине, — приказал Макушев.

Когда машина, вдруг накренившись, ринулась вниз, Иван дремал. Он не сразу понял, что произошло, а когда сообразил, вцепился руками в стойку тента, пытаясь удержаться на уходящем из-под ног, подпрыгивающем полу. Людей катало и кидало по кузову, пока кто-то не заорал, что нужно прыгать из машины. Тогда все разом, отталкивая друг друга, падая и наступая на упавших, кинулись к заднему борту. В этот момент сорвало буржуйку, дым, огонь, крик — всё смешалось. Люди, как сумасшедшие, выпрыгивали за борт, где их жёстко встречала каменная осыпь. Прыгающая и разбрасывающая посредине кузова огонь, раскалённая буржуйка не давала возможности Ивану сразу проскочить к выходу. Он, мёртво вцепившись в борт, медлил, выбирая момент для броска. Загоревшийся брезент и сильный удар вдруг рванувшейся к нему буржуйки, боль ожогов — последнее, что запомнилось ему.

Голышев очнулся уже на земле. Внизу, метрах в тридцати, сильно горела разбитая машина. Вверху он увидел свет фар остановившихся машин и фигуры двигающихся на склоне людей. Ощупав себя, Иван убедился, что цел, сильно пекло лицо да несколько болезненных ушибов. «Как я выскочил из машины?» — пытался вспомнить Иван и не мог.

Он стал перекатываться по склону вниз и в сторону от горящей машины. «Только бы не заметили, только бы не заметили!». Сердце лихорадочно билось в груди. У подножия сопки был обрыв, и Иван свалился в него. Здесь его уже не могли увидеть сверху, и он побежал вниз по распадку. Несколько раз, наткнувшись в темноте на препятствия, падал. Задохнувшись от бега, Голышев остановился, прижавшись спиной к дереву. Он стоял, закрыв глаза, и боялся их открыть. Боялся, что открыв их, проснётся в бараке, что произошедшее с ним сейчас — это всего лишь сон. Однако это была явь. Где-то вдалеке виднелось зарево пожара, слышались людские голоса, рокотали моторы машин. Он ушёл. Его душа ликовала, — он сбежал, и его не скоро хватятся. Как хорошо, радовался Иван, его вещмешок у него за плечами, он специально не снимал его всю дорогу. Теперь нужно уйти как можно дальше, до рассвета нужно раствориться в тайге. На рассвете его начнут искать. Превозмогая боль и усталость, не обращая внимания на холод, Иван шёл и шёл, всё дальше и дальше углубляясь в тайгу. К рассвету он остановился и обессилено упал на мох в корнях какого-то огромного дерева. На рассвете затих ветер и пошёл снег. Не было слышно ничего и никого. Стояла такая тишина, что было слышно, как с лёгким шуршанием снежинки ложатся на замёрзший мох и камни, укрывая их тонким пушистым покрывалом. Тишина успокаивала и убаюкивала Ивана, и он забылся.

Поисковая группа, направленная к машине, вернулась часа через два. На обратном пути они помогли выбраться двоим зекам с повреждёнными ногами, тела ещё двоих погибших заключённых, раздавленных машиной, оставили на месте. Сержант Семёнов положил перед Макушевым в обгоревшей кобуре револьвер Свистунова.

— Вот всё, что можно было оттуда взять. Водитель и он, — имея в виду хозяина револьвера, — сгорели в кабине. Тела изуродованы, сам видел, машина вверх колёсами, ещё горит. Что будем делать, товарищ лейтенант?

Уцелевшие и раненые заключённые стояли у края обрыва.

— Посчитай, Семёнов, сколько здесь, сколько там осталось, разбираться будем потом. Распредели их по машинам, и трогаем. На обратном пути заберём наших из машины, — распорядился Макушев. В этой ситуации он не мог поступить иначе. — Горючего в машинах не так уж много, нужно двигаться вперёд, и так потеряли часа три, — рассуждал он. Погибших заберём на обратном пути, что им станет теперь на морозе, возить туда-обратно глупо. — Его думы прервал Семёнов.

— Товарищ лейтенант, в наличии семнадцать человек и два трупа внизу, всего девятнадцать, одного не хватает. Кажется, старшего группы, Голышева, думаю, он сгорел в кузове. Один из заключённых видел, как его буржуйкой придавило.

— Ты же осматривал машину, Семёнов!

— Осматривал, но там ни черта толком не разглядишь, горит, всё кувырком, живых нет точно.

— Ты уверен, Семёнов?

— Уверен, — убедительно подтвердил сержант.

— Ну нет, так нет, на обратном пути убедимся. По машинам! — Макушев, прыгнув на подножку одной из машин, дал команду, и машины двинулись.

Проводив Макушева, Мария дождалась Волохова. Они сидели в его кабинете вдвоём, пили чай. Мария рассказывала о своих впечатлениях, ведь она осматривала «врагов народа».

— Какие-то они не похожие на врагов, дядя Ваня. Простые люди, как у нас в депо парни работают. Один вообще худющий, и глаза как у ребёнка, такой и воробья не обидит. Больные они, куда их везут в такой холод, уму непостижимо, — сокрушалась она.

— Ты вот что, Мария, забудь о них и никому больше не рассказывай. Договорились? — серьёзно сказал Волохов. — Враги они, иначе бы их не арестовали, время такое.

Неожиданный сильный удар в окно заставил обоих вздрогнуть.

— Что это было? — Мария подскочила к слегка подёрнутому морозцем стеклу и увидела под окном кругами ходящего по земле чёрного ворона, он волочил одно крыло и открывал беззвучно клюв. Подскочившая откуда-то лайка схватила его и потащила по улице.

— Ворон в окно ударился, надо же. Ладно, дядя Ваня, пойду я к себе, сегодня с Гули должны больного привезти. Вечером приходите, чайку попьём. — Мария ушла.

У Волохова что-то защемило в груди. «Ох, не к добру это, птица в окно — к несчастью, да ещё и ворон». В одном здании помещалась вся советская и партийная власть округа. А тут ещё из Читы судью прислали, отдельный кабинет требует и зал для заседаний. Где взять? Смех и грех, думал про себя Волохов, кого здесь судить? Раз в год какой-нибудь мужик свою бабу погоняет, вот и все дела. Все друг друга знают, тихо живут люди, спокойно делают каждый своё дело.

Да, каждый делал своё дело, хотел делать своё дело и новый судья Щипачёв, а ему не давали. Сколько ни обращался он к Волохову, председателю Совета, о выделении для осуществления социалистического правосудия помещения, а результата нет. Разговаривал с участковым об усилении работы по выявлению вредительства в народном хозяйстве, так тот вообще его послал. Месяц назад написал он письмо руководству в Читу, в котором с партийной прямотой изложил свою точку зрения на происходящие в Тупике безобразия, на полное отсутствие борьбы с врагами народа, которые окопались здесь, в тихом месте, и вредят, как могут. Местные же органы власти попустительствуют этому, чем нарушают требования партии и лично вождя народа товарища Сталина. Он, как бывший рабочий-истопник, то есть истинный пролетарий, не может спокойно смотреть на эти безобразия и просит направить сюда компетентную партийную комиссию для наведения должного порядка.

Его письмо возымело действие. Комиссия приехала без предупреждения и сразу приступила к работе. В течение суток было арестовано

девятнадцать человек, первым арестовали Волохова. К зданию подъехали две грузовые машины, из которых вышли несколько мужчин в штатском и около взвода энкавэдешников в форме и с оружием. Бесцеремонно вломившись в кабинет Волохова, ничего не объясняя, сбили с ног и, обезоружив, усадили на стул. За его столом по-хозяйски расположился моложавый чернявый мужчина с гладко прилизанными редкими волосами на голове.

— Ну что, Волохов, очухался? Не удалось тебе Советскую власть обмануть, не удалось. Вылезло наружу твоё белоказачье нутро, как ты его ни маскировал. Сколько волка ни корми — он всё равно в лес глядит. Я тебя хорошо помню, гад, — пристально вглядываясь в разбитое лицо Волохова, с ненавистью говорил чернявый.

Волохов поднял голову, вгляделся в говорившего:

— Зато я что-то не припомню, чтобы с такой мразью знаком был. Я — член партии с двадцатого первого года, и ты ответишь перед партией и Советской властью за это беззаконие.

— Не помнишь, сволочь, а я тебе напомню. Я тебе напомню девятнадцатый год, это ведь ты, белобандитская морда, зверствовал в Нерзаводе вместе со своим атаманом.

— То, что я по молодости воевал на стороне белоказачества, партии известно, и давно отмыта та вина моей пролитой за Советскую власть кровью, мне партбилет лично комиссар полка вручал, понял ты? А тебя я не знаю и знать не хочу.

— Вот, вот, твой бывший комиссар полка Хлебников арестован и расстрелян как враг народа месяц назад, — улыбаясь, произнёс медленно, с расстановкой чернявый. — А со мной тебе придётся долго общаться, потому как, если жить хочешь, многое должен рассказать. На многие интересующие нас вопросы ответить обязан. Может, и меня по ходу дела вспомнишь.

— Увести арестованного! — приказал чернявый, и конвоиры, не церемонясь, вытолкали Волохова из кабинета. Ни в этот, ни на следующий день его никто не допрашивал.

Особисты занимались допросами вредителей и врагов народа, выявленных и арестованных в Тупике. Волохова заперли в одном из кабинетов, где он и провёл двое суток под охраной. Из окна был виден кусок двора, по которому день и ночь под конвоем приводили людей. Почти всех он знал. Мария, приносившая Волохову поесть, умудрилась в хлебе передать записку, из которой он узнал, что арестованы почти все руководители организаций и должностные лица округа. Она дождётся Степана и всё ему расскажет, он, по её мнению, поможет Волохову. «Глупенькая, — думал Иван, ей надо уносить ноги отсюда». Иван надеялся, что у Степана хватит ума не ввязываться в эти дела…

При следующей передаче он успел ей сказать при часовом, чтобы она обязательно навестила бабушку, надо побеспокоиться о её здоровье. Поймёт она или нет то, что он хотел сказать, думал Иван, переживая за Марию. Мария, конечно, поняла, но твёрдо решила дождаться Степана здесь. Тем более, что она, как фельдшер, не вызывая подозрений у особистов, продолжала ходить на работу и принимать больных в маленьком кабинете, расположенном в том же здании, но в другом конце коридора, по которому на допросы водили арестованных. Она действительно могла ничего не опасаться, она была новенькая и приехала по направлению обкома комсомола. Она считала, что происходит какое-то недоразумение, которое скоро закончится, и, разобравшись, Волохова и многих других, в общем-то, незнакомых ей людей, отпустят. Макушев вернётся и поможет Волохову, он же знает его как честного человека, он же сам служит в НКВД. Однако через два дня после ареста Волохова и ещё несколько человек под конвоем увезли в Читу.

Голышев проснулся от холода. Над его головой покачивались ветви деревьев, небо было закрыто тучами, шёл густой снег. Он вскочил на ноги, приплясывая на месте, чтобы согреться, обдумывал, как идти дальше. Он был правее зимника и, если идти по прямой, примерно в километрах двухстах от железной дороги. Тридцать километров в день, это значит примерно семь дней пути, но это по прямой, а по прямой не получится, значит, — дней десять. Так рассуждая, Иван вытащил хлеб и разломал его на десять примерно равных частей. Не богато, но ничего, выдюжу, успокаивал он себя. Главное, он вырвался, он свободен. Не рискуя разжигать костёр, вдруг его ищут, примерно определив направление на юг, Голышев пошёл. Начался первый день его пути.

Вожак уже который раз за зиму вёл стаю в каменную долину. Малоснежная зима сделала тяжёлой для волков охоту на изюбрей и сохатых, которые легко уходили от погони в скалы, недоступные для хищников. Там, на отстоях, волки по несколько суток караулили добычу. Но добыча, отдохнув в безопасности и набравшись сил, стремительным рывком уходила, и голодная стая не могла её догнать. В каменной долине они найдут пищу, как это было уже много раз. За этой пищей не нужно гнаться, сбивая в кровь лапы об острые камни, рисковать своей шкурой, пытаясь украсть оленей из стойбища орочонов. Эта пища ждала их каждый раз, когда они приходили туда, этой пищей были тела мёртвых людей. Волки не любят мертвечины, им больше по вкусу брызги горячей крови разрываемой жертвы и ещё бьющиеся в конвульсиях в их клыках куски живого мяса, но голод меняет правила даже волчьей жизни. Вожак ещё ночью слышал шум моторов проходящей колонны грузовиков, а сегодня он отчётливо чуял ненавистный запах сгоревшего бензина. Поэтому он грозно рыкнул на двух молодых волков, бросившихся было по свежему следу кабана и заставил их вернуться. Волчья стая второй день шла к долине, чтобы успеть туда вовремя, утолить голод ещё тёплым мясом людей. Успеть, чтобы их сородичи с другой стороны становика не перехватили добычу, как это уже бывало. Из распадка, к которому утром вышла стая, несло острым запахом гари и чем-то ещё, сильно привлёкшим волков. Уже не обращая

внимания на вожака, стая бросилась вперёд. Через некоторое время всё было кончено. Утолившие голод волки, уютно устроившись в мягком, свежевыпавшем снегу, залегли. К вечеру вожак поднял стаю и повёл в долину — волка ноги кормят.

Голышев шёл без остановок несколько часов, снег прекратился, небо постепенно очистилось, похолодало. Уже не боясь быть замеченным, он, наломав сушняка, разжёг костёр. Огромный, в два человеческих роста, выворотень прикрывал его от поднявшегося лёгкого хиуса и, довольно удобно устроившись, Иван грелся, то и дело подкладывая в костёр ветки. Не так уж много удалось ему пройти за эти несколько часов. Выпавший снег сильно мешал, особенно при подъёме на сопку, валенки скользили, и Иван несколько раз падал. Поднявшись на вершину, он огляделся и не увидел ничего, кроме ровных гряд нескончаемых лесистых холмов от горизонта до горизонта. Эти огромные просторы не были обжиты, и нигде Голышев не заметил даже признаков жизни людей. Это одновременно и радовало, и пугало его. Да, ему стало как-то не по себе, когда он почувствовал своё одиночество в этом пространстве. С трудом преодолев голец, сплошь заросший и опутанный стелющимися ветвями кедрового стланника, идти по которому было просто невозможно, Иван понял, что поговорка «Умный в гору не пойдёт» придумана не напрасно. Очень хотелось пить, снег совсем не утолял жажды. Теперь, сидя у костра, он заметил и ещё одно неприятное обстоятельство: войлок на подошвах его валенок был изодран об острые камни, и было ясно, что ещё немного, и он останется без обуви. Нужно было что-то предпринимать. Что он мог сделать, не имея в руках ничего, даже ножа? Идти дальше в такой обуви нельзя, это верная гибель. Вернуться назад к зимнику, пока недалеко ушёл? Наверняка колонна ушла, а в разбитой машине что-то да осталось. Топор, чайник не сгорели же, может ещё что, рассуждал Иван. Да, нужно вернуться, принял наконец он решение и пошёл назад по своим следам. Как ему показалось, путь назад оказался длинней. Может, сказывалась усталость, может, потому, что ему пришлось искать свой след, в некоторых местах засыпанный снегом. К месту своей первой остановки он пришёл затемно и обессилено повалился. Но лежать было нельзя, мороз крепчал, нужен был костёр, и Иван стал собирать валежник. Выбрать удобное место в темноте уже не удалось. Надрав как можно больше мха, он устроил себе какое-то подобие постели и разжёг огонь. Спать ему практически не пришлось, усталость сковывала и закрывались глаза, но холод, проникая через одежду, леденил тело, и ему постоянно приходилось подкидывать в костёр быстро сгорающие ветки сушняка. У костра в такой мороз не поспишь. Приходилось контролировать своё тело. Повернувшись к огню одним боком и согревая его, Иван чувствовал, как постепенно замерзает другая половина тела. Причём он чувствовал, как замерзает определённая группа мышц, достаточно было чуть сменить положение тела, и эти мышцы согревались, но другие начинали замерзать. Промучившись так всю ночь, он, наконец, дождался рассвета. Съеденные всухомятку хлеб и луковица практически не утолили голода. Надеясь скоро выйти к зимнику, Иван как можно быстрее пошёл, согреваясь на ходу. После ночных страхов, а они были, настроение у Голышева, несмотря на самочувствие, поднялось.

Часа через полтора он вышел к распадку и стал по нему подниматься вверх. Выпавший накануне снег скрыл все следы, и Иван шёл, ориентируясь по солнцу, предполагая, что направление верное. По времени он должен был уже выйти к месту, но распадок всё уходил и уходил вверх. Идти в подъём было тяжело, едкий пот заливал глаза и вызывал сильную боль в ранах обожжённого лица. Только поднявшись по распадку на перевал и увидев перед собой спуск, Иван понял, что он ошибся. Это был не тот распадок. Нужно вернуться вниз и искать верный путь. Немного отдохнув, Иван пошёл назад вниз. Он предполагал, что раньше, чем нужно, свернул с сопки и не дошёл до того подъёма, который был ему нужен. Спустившись, он стал обходить сопку слева, надеясь найти подъём. Как жаль, что человек, приобретя благодаря достижениям своего разума так много полезных вещей, утратил дарованные ему когда-то природой острое чутьё и слух. Если бы Иван ими обладал, он давно бы понял, что сгоревшая машина и зимник, так ему нужные, находятся гораздо дальше и в стороне от того склона, по которому он сейчас карабкался в надежде их отыскать. К вечеру Иван, обессиленный бесконечными поисками, голодный и промёрзший, окончательно заблудившийся, сидел под небольшой скалой. Рано наступавшие сумерки и длинная, нескончаемо длинная ночь ожидали беглеца. Голышев, потеряв надежду на то, что он сегодня найдёт то место, решил подготовиться к ночлегу. Необходимо было сделать укрытие, шалаш, что угодно, где можно было бы, обогревшись, выспаться. Пока не стемнело, Иван стал искать удобное место и, обходя скалу, заметил небольшую ровную площадку, прикрытую от ветра. Спустившись на неё, он стал сооружать что-то вроде очага, подтаскивая от скалы куски камня. Очередной камень долго ему не поддавался, и только применив как рычаг валявшуюся рядом крепкую сухую ветку, он выдавил камень из- под другого, более тяжёлого валуна. Едва этот камень высвободился, как валун шатнулся и медленно съехал в сторону, открыв отверстие в скале.

Иван не верил своим глазам. Перед ним был вход в небольшую пещеру, вернее лаз, поскольку только на четвереньках смог пролезть внутрь. Чуть дальше лаз расширялся и заканчивался небольшим продолговатым помещением. Зажигая негнущимися пальцами спички, освещая пещеру, Голышев плакал от радости. Он был спасён, по крайней мере, от мороза он был спасён. Натаскав побольше мха и сухих веток, Иван ближе к входу развёл небольшой костёр и уже скоро почувствовал, что лютый холод вытесняется из его убежища, оно наполняется живительным теплом. Он долго, как ему показалось, поддерживал костёр, нагревая

пещеру. Когда стало тепло, усталость и сон победили его. Впервые за двое суток он уснул. Впервые за много ночей ему снился сон. Ему приснилось, что его, ещё совсем мальчишку, мать моет в корыте. Она молода и весела, льёт воду ему на голову, а он хохочет и брызгается водой. Прозрачная тёплая вода льётся и струится по его телу, и вот он уже плывёт в каком-то озере, видит берег и стремится к нему. Там, на берегу, мать зовёт, а его всё дальше уносит течение, и вода становится все горячей и горячей, она уже обжигает его и не даёт дышать. Иван проснулся. Костёр давно погас, и в пещере было прохладно, очень хотелось пить. Нос был заложен и сильно болело горло. Он привстал и, чувствуя сильную слабость, с трудом вылез из своего убежища. Были сумерки, Иван не знал, утро это или вечер. Натаскав побольше дров, он снял шапку, набрав в неё снега, вернулся в пещеру. Небольшой костёр сразу загорелся от тонких веток ерника, найденного Иваном поблизости. Подкрепившись хлебом и луком, он таял в ладони снег и слизывал его языком. Жар, болезненный жар расползался по его телу, его то знобило, то бросало в пот. Сознание уходило, и он, медленно погружаясь в небытие, снова плыл и плыл к берегу, к матери, и снова просыпался от удушья. Замерзая, он выползал за дровами и снегом, ни на что другое у него сил уже не было. Сколько прошло времени, он не осознавал. Закончился хлеб и медвежий жир, заканчивались и силы.

Трясясь в автозаке по дороге в Могочу, Волохов ни с кем из арестованных не разговаривал. Впрочем, никто не разговаривал. Все друг друга хорошо знали, каждый думал о своём и о себе. Думал о своём и Волохов. Что могло стать причиной его ареста? Неужели то прошлое, о котором он уже забыл, которое даже у него стёрлось из памяти, заслонённое другими событиями жизни? Да, он воевал с красными, но ведь воевали тысячи людей, не разобравшись сразу, кто для них враг. Он же разобрался, он добровольно вступил в отряд красноармейцев и чистосердечно признался в своём прошлом. Да в этом отряде было больше половины казаков, ушедших из белых банд. И его тогда приняли и доверили оружие, и он не хуже других воевал за Советскую власть. В партию его принимали в ходе боевых действий. Только тяжёлое ранение выбило его из седла. Где он мог видеть этого чернявого следователя? Тысяча девятьсот девятнадцатый год. Волохов стал вспоминать события тех лет… В Нерчинск их отряд пришёл осенью, в сентябре, ночью, и встал на отдых, а через день они ушли. Всё, что он помнил, так это то, что хорошо отоспался на сеновале. В городке были белые войска адмирала Колчака, и никаких боевых действий не велось. Ни о каких зверствах, как выразился чернявый, он не знает, тем более никакого участия в них принимать не мог.

Что-то тут не то, думал Волохов. Ничего, в Чите разберутся. Его мысли переключились на Макушева, Марию. Волохов по-хорошему завидовал своему другу. Он был старше его на полтора года и всегда заботился о нём, как о младшем брате. Надо же, радовался он, как его разом Мария стреножила. Иван видел, как сияли её глаза, когда Степан говорил с ней. Да и Степан, мотаясь по службе столько лет, не мог встретить себе по душе женщину. Отшучивался на вопросы Ивана: «Жениххаться не умею». Видно, до этого просто ни одна не зацепила казацкого сердца, а эта смогла. И жениххаться не пришлось. Само собой всё сложилось, как будто так и должно было быть. Просто она ждала и знала своего избранного, он пришёл и понял, что именно она ему и нужна. Всё-таки хорошо жизнь устроена. Сложно, но хорошо, с теплотой в душе о них думал Волохов. Да, а ведь всё могло сложиться иначе в их судьбе. Если бы тогда в девятнадцатом, при разгроме мадьяр на берегу Олёкмы, они не были бы ранены и не попали бы к орочонам, а ушли вместе с белоказаками. Получается, так и сгинули бы наверняка в какой-нибудь сече или в маньчжурских степях, куда ушли остатки банд разбитых белоказаков. Слава Богу, всё сложилось иначе, вспоминал Волохов…

Как долго они были в пути и как оказались в стойбище орочонов, Иван не помнил. Только проснулся он в тёплом чуме, где заботливые руки пожилой орочонки напоили его тёплым оленьим молоком. Она же, осмотрев ногу, вправила ступню, заставив его покривиться от боли и, наложив тугую повязку, велела лежать. Со Степаном было хуже, он потерял много крови и шёл на поправку медленно. А Иван уже через неделю начал ходить, с интересом наблюдая за жизнью этого диковинного для него народа. Их хорошо кормили и не беспокоили ничем. В стойбище были одни женщины, и он уже не раз замечал игривые взгляды укутанных в меха желтолицых молодух. Ухаживала за ними одна и та же пожилая женщина. Она не знала русского языка и обходилась с ними жестами, которые были очень красноречивы и понятны. Однажды, когда Степан уже окреп и на его щеках появился румянец, она привела в чум молодую девушку и положила её рядом со Степаном, очень доходчиво показав, что от него требуется. Ошарашенный Степан, несмотря на ещё болевшую рану, взлетел на ноги и, весь красный как рак пулей выскочил из чума. Хохоча и смущаясь одновременно, Иван долго объяснял этой женщине, что они христиане и не могут просто так, без родительского благословения, жениться. Как ему показалось, несмотря на эти объяснения, женщины обиделись, причём обе. Прошли не менее двух месяцев, когда в стойбище приехали на собаках и оленях много мужчин, привезли одного связанного по рукам и ногам. Впервые за всё это время к ним пришли и с ними заговорили мужчины. Наверное, как понял Иван, это было что-то вроде казацкого круга. В большой юрте собрались старики, туда же пригласили войти и их. Под удары бубна и причитания шамана в юрту ввели связанного орочона. В юрте с него сняли верёвки, и он испуганно стоял в центре круга. Не зная языка, Иван понял, что вершится суд, старики что-то гневно говорили в адрес стоявшего перед ними мужчины, и тот содрогался от бросаемых в него реплик. Затем все опустили

головы, и только шаман, выкрикивая какие-то вопли, потрясая бубном, вытеснил этого испуганного, пятившегося от него человека на улицу. Один из стариков встал из круга и молча, вышел вслед за изгнанным. На этом всё закончилось, и их, нечего не понимающих, отвели в чум. Пришедший мужчина объяснил, что они видели, как изгнали из рода человека и его семью. Это он, нарушив запрет старейших, выдал людей, скрывавшихся на берегу реки. Это по его вине на землю их предков пролилось столько человеческой крови, и он за это наказан. Теперь навсегда он и его семья изгнаны из рода, и никто и никогда не окажет ему помощи, никто и никогда с ним уже не заговорит, никто и никогда не возьмёт в жены его дочерей и не отдаст замуж дочерей его сыновьям. Он должен уйти с родовых пастбищ и никогда не возвращаться в эти места. Таков был приговор и проклятье старейшин рода, не подчиниться ему нельзя было никому. Эти оленеводы и охотники свято чтили свои родовые законы независимо от менявшейся власти. По окончательному выздоровлению их привезли к железной дороге, и они несколько дней, безоружные и пешие, добирались до Читы. Вот тогда-то, окунувшись в жизнь, они увидели близко, а не мимолётом из седла коня, всю ту беду, которая царила тогда в глубине России. Как-то, ожидая на маленькой станции поезд, расположившись перекусить на траве, в кустах около небольшого перрона, они увидели остановившийся воинский эшелон. Из штабного вагона вышли несколько офицеров, из него же был выброшен на землю избитый, истекающий кровью мужчина. Руки его были стянуты колючей проволокой за спиной, голая спина и грудь сплошь кровоточили ранами.

— К стенке эту красную сволочь,—скомандовал один из офицеров. В это время из вагона вышла ещё одна группа офицеров, это были японцы. Волоком, подтащив избитого к стене деревянного вокзального помещения, не обращая никакого внимания на то, что на перроне было много женщин и детей, вышедших к поезду в надежде уехать и ставших невольными свидетелями происходящего, офицеры из револьверов расстреляли этого человека. Японцы, стоявшие отдельной группой и видевшие расстрел, о чём-то громко говорили, то и дело с их стороны раздавался смех. Свисток паровоза—и состав ушёл, оставив после себя на перроне тело растерзанного, расстрелянного человека и окурки дорогих папирос. Люди, бывшие на перроне, окружили тело, Степан с Иваном тоже подошли.

— Колчаковцы, палачи, продали Россию японцам!—сказал пожилой крестьянин.

— Антихристы, убивцы,—причитали старушки и женщины, вытирая слёзы. Подошедший работник станции, высокий седовласый мужчина в форменной одежде, перевернув тело, долго не мог освободить руки от впившейся в них колючей проволоки. Он делал это молча, только желваки играли на его лице.

— Помогите,—взглянув на Ивана, попросил железнодорожник.

— Надо похоронить по-людски, за правое дело Богу душу человек отдал.

Могилку выкопали прямо за станцией, под деревьями. «Ни имени, ни фамилии, но человек был, видно, правильный»,—подумал тогда Иван. Холёные лица улыбающихся офицеров долго ещё не уходили из его памяти, не забылась и фраза одного из них при расстреле: «Что, каналья, жить хочешь, наверно? Нет, не жить тебе. И до Ленина твоего доберёмся, и до ваших рабоче-крестьянских депутатов. Захлебнётесь в своей крови, быдло!».

Только один офицер, высокий, со сросшимися бровями капитан, не вытащил револьвера.

— Господа, я не палач,—сказал он, уходя в вагон. Он не повернулся, услышав выстрелы, и никак не отреагировал, хотя наверняка слышал, как один из стрелявших громко сказал:

— Павлов, вы чистоплюй.

Ни Иван, ни Степан ничего не понимали в политике, не понимали они по большому счёту и того, что происходило в России, но эта сцена жестокости помогла им сделать выбор, и они его сделали, поклявшись друг другу, что встанут на сторону красных, как только такая возможность представится.

Макушев довёл колонну до Удоганлага и сдал заключённых начальнику лагеря. В долине, где была ночёвка, осталось три трупа замёрзших ночью зека. Как всегда, их оттащили в сторону от сараев и, закидав снегом, бросили. Что он мог сделать, ничего.

Возвращаясь назад, они остановились на том перевале, чтобы забрать трупы конвоира и водителя. Картину, которую Макушев увидел на месте аварии, вспомнить без содрогания, потом не мог. В клочья разодранная одежда и растасканные по склону и вокруг машины белые человеческие кости. Сложив в мешки останки, валявшиеся в снегу около сгоревшей машины, Макушев погнал колонну в Тупик. Он торопился, он знал, что там ждёт его Мария. Степан серьёзно и твёрдо принял решение. Всё, покончено с холостяцкой жизнью, непременно женюсь и заберу Марию в Могочу. Там, какая-никакая, а комната с кухней ему давно выделена. Жить можно, детей рожать. Мария такая милая, такая желанная, думал в дороге Макушев, то и дело, торопя водителя головной машины. В его жизни было немало женщин, он мужик видный, и они редко проходили мимо, если была возможность задержаться. Но это всё было не то, не чувствовал он желания прижаться к той, в чьей постели утром просыпался. Может быть, и влюблялись в него женщины, и готовы были на всё ради него, но он не мог себя заставить любить. Он узнал, что это такое, только теперь, внезапно и быстро очарованный и захваченный Марией в плен.

Глубокой ночью колонна въехала в посёлок. Макушев, отдав необходимые распоряжения, отправился к Марии. Она спала, но проснулась сразу, едва Степан осторожно постучал. Открыв дверь, Мария, прямо на крыльце кинулась Степану на шею. Он внёс её, выскочившую босиком и в ночнушке, в дом, горячо целуя в заспанные губы, глаза, крепко прижимая к себе её горячее, невесомое в его руках, тело. Только утром, налюбившись

всласть и дав Степану немного поспать, Мария приготовила завтрак и разбудила его. Степан, валяясь в постели, пробовал капризничать, приманивая к себе Марию. Мария, одевшись, присела к нему на кровать и, ласково обхватив его лицо ладонями, долго-долго смотрела ему в глаза, а потом тихо сказала:
— Стёпа, Ивана Прокопьевича арестовали.— В её глазах заблестели слёзы. Сонное, благодушно-расслабленное состояние, в котором пребывал Макушев, слетело с него.
— Не может быть!— только и смог он проговорить, натягивая на тело гимнастёрку.— Как это было? Кто?— засыпал вопросами Марию, неспешно одеваясь.
— Арестовали пять дней назад, три дня, как увезли в Читу. Многих арестовали, Степан. Я ничего не понимаю, мне страшно,— прижавшись к нему, расплакалась Мария.
— Я за тебя боюсь, Степан. Иван успел сказать мне, чтобы ты не ввязывался, а я срочно уезжала к бабушке.
— Почему не уехала?— строго спросил Степан.
— А кто бы тебе всё рассказал?— вопросом на вопрос ответила Мария, утирая слёзы. Позавтракав, Степан оделся.
— Вот что, Машенька, жди дома, я сейчас выясню всё у участкового и вернусь, он-то должен что-то знать.
— Не ходи, Степан, участкового забрали тоже. Люди говорят, когда с Читы приехали и начали людей хватать, уполномоченный на коня и в ночь ускакал куда-то, через день дома его нашли пьянющего. А арестовали его ещё через день, когда особисты вернулись из Гули. Оказывается, он предупредил там всех мужиков, и те в тайгу на охоту ушли. Особисты приехали, а забирать некого, все на охоте, вот ни с чем и вернулись. Так они сразу Кривоглазова и взяли. Люди говорят, били его сильно, прямо дома и били.
— Да. Ну и дела здесь творятся. Тогда вот что, Мария, прошу тебя, отпросись в отпуск, ну, бабушка заболела, придумай что-нибудь и собирай вещи, часа через три-четыре выезжаем. Я забираю тебя с собой. В общем, выходи за меня,— смутившись, закончил Степан.

Её звали Ошана, это ласковое имя ей дала мать. Отец, пропадавший по несколько месяцев в тайге, увидел её впервые, когда она уже ползала по юрте, познавая окружающий мир. Она была седьмая дочь в древнем эвенкийском роду орочонов. Родители были счастливы рождению ещё одной дочери, дочери— это богатство, говорили старики. Самая младшая, она была любимицей своего деда Такдыгана, который любил рассказывать смышлёной и приветливой внучке легенды оленьего народа. Когда-то давно, в молодости, а ему было уже много больше ста лет, он считался сонингом— предводителем воинов. Он дружил с легендарным Болтоно и даже, говорили, побеждал его в борьбе лёжа. Сам Такдыган о себе не рассказывал, он был очень скромен в оценке своих подвигов и успехов. Он гордился, что ветви его рода в далёком прошлом переплетались с ветвями рода самого Гантимура. Ошана, находясь под его постоянной опекой и вниманием, росла в атмосфере героических легенд и сказаний. В своих мечтах она невольно превращалась в девушку-воина, подругу и жену прекрасного смелого сонинга. Такдыган смог передать ей великую любовь и уважение к своему народу и его обычаям, многие его потаённые знания она впитала в себя в раннем детстве, не понимая тогда их ценнейшего значения.

В орочонских, испокон веков кочующих по тайге семьях, весь тяжёлый на стойбище труд лежал на женских плечах. Мужчины занимались промыслом— охота, рыбная ловля, олени. Женщина следовала за мужем, разбирая и собирая чумы и юрты, перевозя всё своё нехитрое хозяйство и детей. Мужчина, погрузив на оленя самое необходимое, налегке уходил на новые оленьи пастбища и, занимаясь там своими промысловыми делами, ожидал семью. Так было всегда, и ничто не менялось в жизни кочевого народа. С детских лет девочки учились у матери всем премудростям и к замужеству были полностью подготовлены к самостоятельной жизни. Замуж выходили рано. С детства бойкая и уверенная в себе, Ошана была выдана замуж в пятнадцать лет. Её мужем стал весёлый и бесшабашный Ульфар из рода Агинкагир, который отдал за неё родичам пятнадцать оленей, много беличьих и собольих шкурок и большой медный казан. С небольшим оленьим стадом они ушли кочевать по бесконечным тундрам севернее Тунгира и Олёкмы. Пока не было детей, отдав на выпас кочующим поблизости родичам Ульфара оленей, они охотились вместе, добывая соболя и белку, били изюбрей и сохатых, поднимали из берлог медведей. Их родичи были довольны. Свято соблюдая нимат, обычай отдавать добытое на охоте мясо и шкуры всем, кто живёт на стойбище, они пользовались всеобщим уважением. Как только Ошана почувствовала в себе признаки новой жизни, они с Ульфаром покинули родичей и ушли в кочевье одни. Горе посетило их стойбище весной, когда она родила мёртвого мальчика. Родичи, проведав про беду, навестили её и помогли пережить случившееся. Приехавший с ними Такдыган так и остался у любимой внучки доживать свой век. Ульфар сильно изменился и стал сторониться Ошаны, наверное, виня её в смерти ребёнка. Ошана, почувствовав это, страдала, виня себя. Старый Такдыган смог убедить Ошану в том, что не она причина случившейся беды. Он поведал ей предание о том, что злой рок преследовал род Акангиров уже много лет, убивая мальчиков, не давая ему продолжиться. Однажды, увлёкшись пляской вокруг холма на берегу реки Уд, они взяли в круг собаку. Не хватало одного человека, чтобы сомкнуть круг, и плясали, пока не разорвали её. Это не понравилась духам тайги, и они с тех пор обрекли род Акангиров на вымирание.

Ульфар много охотился и месяцами пропадал в таёжных увалах, добывая соболя. Шкурки сдавал русским скупщикам, к которым выезжал после сезона, привозил необходимое и снова пропадал на долгое время. Отношения между ними, благодаря

терпению и стараниям Ошаны, несколько улучшились, но Ульфар всё чаше надолго уезжал.

Ошана редко виделась с родственниками, заезжавшими иногда в их стойбище. Каждая такая встреча была праздником. В одну из таких встреч она узнала, что русский царь уже не правит в России, что много людей с оружием бродит по тайге и нужно дальше уходить от дорог и посёлков.

Вернувшийся после долгого отсутствия Ульфар рассказывал, что новая жизнь скоро наступит для людей. Богатых не будет, все будут равные и счастливые, у всех будет много оленей и настоящих ружей. Он рассказывал про железную дорогу, по ней быстро бегают железные, огнедышащие олени, которые возят много людей и товары. Он привёз с собой в стеклянных бутылках прозрачную жидкость и целых десять дней не выходил из юрты. Он делал из бутылки несколько глотков, а потом долго пел весёлые песни и засыпал. Просыпаясь, он снова глотал эту жидкость, и всё повторялось сначала. Это очень не нравилось старому Такдыгану, но он молчал. Ошана знала обычаи предков, согласно которым мужчина, не достигший сорока лет, не имел права употреблять хмельные напитки, она вежливо сказала об этом Ульфару. Ульфар никак не отреагировал на замечание, сказав, что прошло время поклонения предкам, и он будет жить вольно и свободно. Услышавший это старик обиделся и перестал разговаривать с Ульфаром. Потом Ульфар уехал добывать соболя, и несколько месяцев его не было. Ошана сотни раз одна меняла пастбища, перегоняя оленей, всё дальше уходя в тайгу. Старый Такдыган, чем мог, помогал внучке в нелёгкой кочевой жизни.

Однажды Такдыган, сказав Ошане, что скоро вернётся, собрался и уехал верхом на олене. Вернулся он через несколько дней и не один. С ним был Ульфар. Ульфар был растерян и напуган, он упал в чуме на лежанку и молчал. Молчал и вошедший следом Такдыган. Ошана пыталась выведать у мужчин, что случилось, и не смогла этого сделать. Они молчали.

На следующее утро Такдыган сказал внучке, чтобы она начала готовиться к большой кочёвке, пояснив, что уходить предстоит далеко, за становик, туда, где нет людей и нет дорог. Так нужно для её мужа, так необходимо для их семьи.

Такдыган узнал от родичей, какой непростительный проступок совершил Ульфар. Это он за обещанную ему винтовку и патроны, вывел таёжной тропой казаков к лагерю скрывавшихся на Олёкме, у переката, красных мадьяр. Это по его вине пролилась кровь застигнутых врасплох, по-воровски убитых спавших людей. Даже зверя спящего никогда не убьёт настоящий охотник орочон.

Не было прощения Ульфару. Такдыган был согласен со страшным наказанием, которое определил ему на сухлене, собрании старейших мужчин, нюнгэ, вождь рода.

Такдыган тоже должен был оставить его семью, но входил в число старейших, и с согласия нюнгэ остался в изгнанной семье по праву родства. Он любил свою внучку и хотел закончить свою жизнь у неё на руках. Он понимал, что Ошана любит своего пустоголового, как он думал, мужа, и не уйдёт от него, бросив в беде.

Несмотря ни на что, он надеялся, что Ошана ещё родит ему правнука, которому он сможет передать все знания и навыки, которые приобрёл за свою долгую жизнь. Поэтому он вернулся в стойбище. Поэтому и уводил сейчас Ульфара и его жену далеко, за становой хребет, в те труднодоступные места, где кочевал когда-то в молодости и куда давно не уходили люди его рода.

С тех пор минуло семнадцать лет. За эти годы, кочуя вдали от людей, Ошана родила Ульфару двух дочерей. Ульфар лет через шесть после изгнания погиб на охоте. Подвела заработанная предательством винтовка, дала осечку в момент, когда растревоженный в берлоге медведь выскочил и, ослеплённый на мгновение светом, встал на дыбы, а в следующее мгновенье уже рвал подмятого Ульфара, не успевшего схватить в руки надёжную в руках умелого охотника пальму. Такдыган добил медведя пикой и привёз Ошане и её дочерям тело погибшего. С тех пор они кочевали вчетвером, подраставшие дочки Ошаны были отрадой и любовью старого, но никак не хотевшего умирать Такдыгана. Что происходило в стране, по бескрайним просторам тайги которой они столько лет кочевали, не знали. Изредка за солью и другими припасами Такдыган уходил к людям и, возвращаясь, рассказывал, что они не должны возвращаться, они ещё не прощены их народом. Более того, Такдыган знал ещё и то, что власть, пришедшая и установившаяся после долгой неразберихи и войны, искала того, кто предал тогда интернациональный отряд, и лучше было оставаться подальше от этой власти.

Ошана пристрастилась к охоте и добывала много пушнины, перенимая приёмы, которыми владел Такдыган. Вскоре она самостоятельно могла добыть даже медведя, взяв его на пику и убивая ударом остро отточенной пальмы. Такдыган знал многих, и его знали многие, он находил возможность менять меха на нужные в тайге товары.

Этой зимой, в середине января, он, погрузив вьюк на одного оленя и сев верхом на другого, отправился по одному ему известным тропам обменять добытые Ошаной меха на товар. Такдыган слышал, что с некоторых пор все охотники обязаны были сдавать меха только заготовителям, поставленным нынешней властью, и не имели права продать добытое куда-то ещё. Что личные семейные оленьи стада объединяют в общие, а орочонов заставляют жить оседло, в посёлках. Что управлять родами власти назначают молодых, а зачастую и вообще инородцев. Уважаемые старейшины и шаманы изгоняются и всячески притесняются. Детей орочон и других эвенков, разрывая связь поколений, принуждают жить отдельно от родичей. Сердце болело у старика за гибнущий народ.

Поэтому он хотел сохранить свою семью, а он всегда считал Ошану и её дочек своей семьёй, в неприкосновенности, как частицу своего самобытного народа. Поэтому Такдыган был осторожен. Обмен мехов на товар он производил в тайге.

В небольшой пещере он оставлял свой товар и, кочуя неподалёку, ждал, когда привезут в обмен необходимые ему вещи. Его дальний родственник Пётр Андреев, охотясь в тех местах, по уговору забирал его меха и как свои сдавал. Уже много лет они, практически не встречаясь, совершали такой обмен, ни разу не нарушив своего слова. Вот и в этот раз Такдыган ехал к той потаённой пещерке, стараясь успеть до темноты.

Присутствие чужака Такдыган почувствовал уже давно, именно почувствовал, а не увидел или услышал. Едва уловимые запахи, обломанные веточки кустарника и сбитый мох указывали на то, что недавно здесь был человек, совсем недалеко от его тайника. Причём не эвенк, русский, мужчина выше среднего роста, в плохой обуви и одежде, скорее всего, не знающий тайги. Привязав оленей в укрытом месте, Такдыган осторожно приблизился к скале, в основании которой была пещера. Лёгкий дымок, выходящий из лаза, был едва заметен. Сняв с плеча на всякий случай винтовку, Такдыган подошёл к входу и по-русски окликнул:

— Эй, человек, выходи, знакомиться будем.

Ему никто не ответил. Он окликнул ещё несколько раз, и опять ему в ответ была тишина. Тогда он, положив оружие, осторожно полез в лаз. Прогоревший у входа костерок не освещал пещеры, и Такдыган не сразу разглядел свернувшегося в калачик человека. Он был неподвижен, но жив. Тяжело, с хрипом дыша, замерзающий человек через слегка открытые глаза смотрел на Такдыгана.

— Кто ты?

Запёкшиеся губы человека еле слышно прошептали:

— Иван Голышев.

— Ван… гол…—услышал старый охотник.—Ну, Вангол, так Вангол,—сказал Такдыган, собирая остатки веток и мусора, чтобы разжечь погасший костёр. Его не смутило это странное имя. Он понимал, что человек случайно остался жив, приди он позже на несколько часов, и—всё, тот бы просто замёрз. Старый охотник знал, что случайностей в этой жизни не бывает. Значит, духам тайги так было нужно, чтобы он нашёл и спас этого человека. Не случайно, значит, решил он ехать этим разом на двух оленях, всё не случайно, всё в этой жизни продумано и предрешено заранее. Согрев и напоив Вангола отваром из трав, всегда имевшихся у Такдыгана с собой, он прибрал в пещере, перенёс в неё меха и, поставив на место камень, загораживавший вход, не мешкая, отправился в обратный путь. Вангол, немного пришедший в себя, с трудом держался на олене, но не упал ни разу. Мёртвой хваткой, вцепившись в шерсть на шее, он полулежал на нём. Иван действительно плохо понимал, что с ним происходит. Последние несколько суток он провёл в бредовом жару и сейчас не понимал ещё, явь это или продолжение бреда. Он тупо повиновался появившемуся человеку, почему-то всецело ему доверяя, собрал всю силу воли, чтобы удерживаться на животном, которое осторожно несло его. Куда, зачем и почему? Эти вопросы просто не приходили на ум Ивану, его мозг просто фиксировал происходящее с ним как бы со стороны, давая необходимые команды мышцам рук и ног. Верховые олени, в отличие от лошадей, всегда бегут ровно и не трясут своих седоков. На лошади Иван бы не удержался, да и не прошла бы лошадь теми тропами, которыми Такдыган вёл свой небольшой караван. Он решил вернуться сразу, ждать обмена было невозможно, его находка, Вангол, не выдержал бы несколько ночёвок в тайге. Такдыган понимал, что оставляет на долгое время своё стойбище без соли и боеприпаса, но спасти жизнь человека он посчитал важнее. На остановках осторожно укладывал на оленью шкуру больного, укрывал его и согревал своими целебными отварами. Вангол был настолько слаб, что самостоятельно уже не мог встать. Распухшее, покрытое струпьями от ран лицо, не позволяло Такдыгану определить возраст Вангола. Но руки, руки рассказали старику о том, что его спасённый молод и силён. То, что он беглый заключённый, Тактыган понял ещё в пещерке, увидев его одежду. Нужно было спешить, и охотник вёл свой небольшой караван, останавливаясь только для отдыха и кормёжки оленей. К полудню четвёртого дня пути они приехали к стойбищу, где их встречали радостная Ошана и две её весёлые дочери. Увидев необычный груз, ничего не спрашивая у старика, Ошана с дочками сняли потерявшего сознание Вангола с оленя, на руках перенесли в чум. Там с него сняли всю одежду и немедленно сожгли. Не отходившая от Вангола Ошана вечером увидела, что ему становится хуже. Он задыхался, кашель душил его и, обливаясь потом, он на глазах слабел. Широко открытые глаза Вангола уже ни на что не реагировали, они смотрели куда-то в одну точку и медленно угасали. Он умирал. Такдыган, отдохнувший с дороги, сидел у костра и что-то нашёптывая, раскачивался в ритме одного ему слышимого шаманского бубна, он призывал доброго духа тайги Сэвэки.

Затем, быстро собравшись, взяв аркан и пальму, вышел из чума. Опытному орочону не трудно было быстро отыскать в стаде молодую важенку и набросить на неё аркан. Зарезав важенку, он сам освежевал тушу и, сняв свежую шкуру, вернулся в чум. Ошана видела такое впервые в жизни. Такдыган, расстелив окровавленную шкуру оленихи мехом вниз, уложил на неё обнажённое и почти бездыханное тело Вангола и, обернув полностью, укутал его. Получившийся меховой кокон он стянул поверху кожаными ремешками.

— Сейчас всё решает великий Сэвэки,—многозначительно произнёс он, ответив на немой вопрос Ошаны. Сев у костра, стал, покачиваясь, что-то нашёптывать и напевать.

Так прошло около шести часов. Ошана и её дочери, девочки десяти и двенадцати лет не спали, завороженно смотрели на происходящее. Они видели, как крупные капли пота катились по лицу их старого деда, как он, медленно покачиваясь, иногда замирал, и из его горла вырывались нечеловеческие звуки. Кокон, в котором было упрятано тело больного, лежал неподвижно, и ничто не говорило о том, что внутри ещё жив человек. Первые лучи

солнца осветили макушку чума. Такдыган замолчал и тяжело поднялся на ноги.

— Наверное, я плохой шаман, Сэвэки не услышал меня,— сказал старик, подходя к кокону. Он протянул руку, чтобы развязать ремень, и вдруг мех шевельнулся, из его глубины раздался стон.

— Он жив, он не умер, ты великий шаман, дедушка!— кричала Ошана, помогая старику развязывать ремни, стягивавшие шкуру.

— Да, он не умер, он родился,— сказал старый охотник, обтирая от крови и жира горячее тело Вангола.

— Теперь у меня есть правнук, Вангол, он будет великим сонингом,— тихо произнёс старик.— Внучки, принесите снега.

В четыре руки Ошана и Такдыган снегом растирали голое тело Вангола, пока кожа не покраснела, затем его, как маленького ребенка, укутали в куски ткани и меховые одеяла. Напоенный густым тёплым оленьим молоком, он уснул и спал почти двое суток под присмотром дочек Ошаны.

— Пока Вангол не встанет на ноги, будем стоять здесь,— решил Такдыган, и Ошана с ним согласилась. Пастбище было ещё хорошим, и корма оленям хватит.

Ошана любила и уважала своего деда, а после того чуда, что он совершил с Ванголом, вернув его к жизни, она поверила в безграничные возможности Такдыгана. Она слышала и от него и от других старых людей в детстве много красивых и правдоподобных легенд о сонингах, но, повзрослев, относилась к ним, как к сказкам. Теперь, услышав из уст старика слова о будущем Вангола, она поверила в реальность замысла старого охотника. Она поверила в то, что духовная сила, сконцентрированная в старике, его связь с духами тайги и терпение способны изменить жизнь этого беглого. Превратить его, больного и беспомощного, в сильного и мужественного война, дать ему такое знание природы и мира, о котором он даже не догадывается. Сделать его сыном тайги и её бережливым защитником и хозяином. Мало кто мог удостоится такой чести и такой судьбы, но Вангол, этот молодой русский парень, был избран добрым духом тайги и предназначен своей новой судьбе. Так считал Такдыган, этому верила Ошана.

Старший майор Битц был в приподнятом настроении, всё у него складывалось хорошо. Недавно уехал бывший у него с проверкой один из замов начальника Главного управления принудительных работ. Он увозил с собой в Москву результаты проверки, согласно которым лагерь содержится в полном соответствии с требованиями партии и правительства, политической ситуации и законности. А он, начальник пересыльного лагеря, старший майор Битц, заслуживает поощрения. Его лагерь признан образцовым по зоне Восточной Сибири и Дальнему Востоку. Пройдёт какое-то время, и он получит повышение по службе и, наверняка, прощай, Могоча, эта таёжная дыра. Пора, пора уже ему служить где-нибудь в крупном городе или, всякое может быть, рассуждал он, и в столице. Дух захватывало от перспектив, о которых намекнул, уезжая, заместитель начальника главупра. Теперь главное— никаких ЧП. Всё должно быть так, как должно быть. Он стоял у окна своего кабинета и наблюдал, как на площадке начальник караула производит развод. Чёткий строевой шаг, безупречная выправка, образцовый порядок— это его заслуга. Ему даже взгрустнулось. Жаль будет покидать этот лагерь, здесь он полный хозяин. Но, увы, пора расти, как сказал проверяющий.

Из-за поворота на площадку въезжали машины Удоганского спецэтапа. Битц отметил про себя, что конвой вернулся на сутки раньше. «Молодец, Макушев»,— увидев вылезшего из головной машины лейтенанта, подумал Битц, этого возьму с собой, не откажут.

Макушев, войдя в кабинет, строго по уставу начал рапортовать о выполнении поставленной задачи. Битц, сидя в кресле, внимательно выслушал доклад и, пригласив лейтенанта сесть, подытожил.

— Степан Петрович, то, что не вылез за пять процентов, благодарю, а вот за потерю машины и личного состава придётся отвечать. Напишешь рапорт на моё имя, в котором подробно изложишь обстоятельства происшествия и принятые тобой меры. Останки водителя и конвоира похоронить, как положено, с воинскими почестями на Могочинском кладбище. Родным отправим письма о гибели при выполнении служебного долга. На этом всё, Макушев, выполняйте. И ещё: проинструктируйте свою команду, чтобы о происшествии не болтали языками.

— Уже сделано, товарищ старший майор. Разрешите идти?— Макушев выложил на стол начальника личные дела погибших зеков, оружие конвоира Свистунова и вышел из кабинета.

Да, подпортил картину Макушев, думал Битц. Хорошо хоть проверяющий уже уехал, а то, как говорится в русской пословице, «ложка дёгтя бочку мёда портит». Битц, совершенно не заинтересованный в огласке происшествия, не стал писать рапорт по инстанциям, решив замять это на время. А время работало сейчас на него. Потом, когда его судьба уже будет решена, в Москве, он пустит документы по инстанциям. Просто он проводил служебное расследование, скрупулёзно выясняя причины и условия, повлёкшие происшествие. На это потребовалось чуть больше положенного времени, вот и всё. За усердие в его системе не наказывают, это он знал твёрдо. Придвинув к себе личные дела, привезённые Макушевым, он, даже не открывая папки, на обложках поставил резолюции, отправляющие их в архив. С этого момента эти люди перестали существовать вообще. С этого момента перестал существовать и заключённый Иван Романович Голышев. Он погиб в автокатастрофе и захоронен на кладбище пересыльного лагеря в городе Могоча Читинской области. Но об этом даже не нужно было никому сообщать. Он был осуждён без права переписки.

Через месяц Битц сдавал дела, он был повышен в звании и переведён на Украину.

Степан Макушев добился перевода Марии в Могочу, и теперь у них был медовый месяц. Битц перед

отъездом навестил молодожёнов и был несказанно удивлён красотой и молодостью Марии. Непременно Макушева заберу к себе, решил он, нагло разглядывая смутившуюся под его взглядом женщину.

— Степан, мне так не понравился твой начальник,—сказала Мария после того, как Битц, галантно раскланявшись, поцеловал ей руку и ушёл.— Какой-то он мерзкий!

— Забудь, лапушка моя, мы его больше не увидим,—обняв жену за плечи, успокоил Степан. Он не знал, что как раз в этом он ошибался.

Все попытки Степана выяснить, где Волохов и что с ним происходит, ни к чему не привели. У него не было таких связей, а Битц, к которому он обратился за помощью, и слушать не стал, сославшись на срочные дела. Однако дал понять, что в его же интересах забыть Волохова и нигде больше не упоминать его имени. Время было такое: чтобы сохранить себя, дети отрекались от родителей, жёны от мужей, брат предавал брата.

Но Макушев не мог забыть своего друга, не показацки это, не по-мужски. Мария, считавшая, что своим счастьем обязана Ивану, целиком разделяла точку зрения мужа. Нужно было что-то делать, искать Волохова и добиваться справедливости.

Волохов тем временем сидел в одиночной камере Читинской тюрьмы. Его долго не допрашивали, как будто забыв о его существовании. Утешало лишь то, что он был одинок. Так уж сложилась жизнь. Получив несколько тяжёлых ранений, он был демобилизован из Красной Армии, но в родные места не вернулся. Не хотел встречать родственников и знакомых, знал, что многие из них, воюя под другими знаменами, сложили свои головы, немало порубив своей и чужой родни. Потянуло его подальше от знакомых людей, поближе к природе. Так и занесло в Тупик, где, встретив одинокую женщину, у неё и остался. Недолгим было семейное счастье. Она умерла в тридцатом. Он, поседевший ещё в молодости, сильно сдал здоровьем и о женитьбе больше не помышлял, целиком отдаваясь работе, которую ему поручила партия. Перебирая события своей жизни, Волохов никак не мог вспомнить личность того чернявого следователя, допрашивавшего его в Тупике. Да и не должен был вспомнить, потому что в действительности никогда его не видел раньше.

Старший следователь особого отдела нквд Гладышев тоже никогда раньше не встречался с Волоховым. Он просто применил свой излюбленный приём. Поверхностно зная по личному делу прошлое арестованного, он обрушивал на него какое-нибудь нелепое обвинение, якобы совершённое в прошлом. Человек начинал оправдываться, приводить какие-то факты и аргументы своей невиновности, называл имена и фамилии людей, обязательно где-то был неточен или даже врал. Из этого потока информации Гладышев искусно вылавливал для себя всё необходимое, чтобы потом предъявить обвинение ни в чём неповинному человеку. Как правило, этот приём срабатывал, и он мастерски им пользовался. В случае с Волоховым получилась осечка, он не называл фамилий и не врал, крепким орешком показался Гладышеву, и поэтому теперь следователь скрупулёзно собирал на него информацию. С его точки зрения, судьба Волохова была уже предрешена. Достаточно было фактов, что он служил в банде атамана Семёнова, зверствовавшего в Забайкалье. Был в хороших отношениях с комбригом Хлебниковым, недавно расстрелянным за участие в преступной группировке Блюхера. Одного этого с лихвой хватит, но Гладышев хотел сломать этого человека, заставить его каяться в грехах и предавать других. Ему нужна была преступная группа вредителей, раскрыв которую он смог бы проявить свои недюжинные способности преданного делу партии чекиста. Он убеждённо считал, что необходимо очистить партию и страну от примкнувших к ней и замаскировавшихся до времени врагов. Для этого все средства были допустимы и хороши. Великая цель, поставленная перед ним вождём и учителем, товарищем Сталиным, оправдывала всё.

Допрашивая врагов народа, арестованных в посёлке Тупик, он получал информацию о Волохове. Как ни странно, даже припёртые к стенке фактами вредители, ничего, что было нужно Гладышеву, не говорили и не подтверждали о Волохове. Это ещё больше злило следователя и вызывало ненависть к Волохову. «Как законспирировался, вражина,—с негодованием думал о нём Гладышев.—Ничего, расколем и тебя. Дай время».

Безусловно, Гладышеву стал известен круг лиц, с кем Волохов был хорошо знаком и поддерживал отношения. Фамилия Макушева как его единственного близкого друга, всплыла недавно, и Гладышев стал наводить о нём справки. Личное дело Макушева, истребованное им, было безупречным. В отличие от Ивана Волохова, Степан умолчал в своё время о своих боевых делах в составе белоказацких войск. Так получилось даже не по его вине, а потом его просто никто не спрашивал об этом. Направив отдельное поручение о допросе Макушева в особый отдел по месту его службы, он ждал ответа. Ответа долго не было, и Гладышев только спустя месяц узнал, что лейтенант Макушев откомандирован по новому месту службы куда-то на Украину. Направлять новые запросы уже не было времени. Гладышев решил заканчивать дело Волохова по имеющимся материалам. Их было предостаточно. Волохов получил десять лет принудительных работ и ушёл этапом.

Нет конца и нет края великой сибирской тайги. Начинаясь с отрогов Уральских гор, раскинулась она на тысячи вёрст до самого Тихого океана. Безлюдная и дикая природа лишь чуть была освоена по берегам крупных рек и озёр, да живой нитью протянулась цивилизация железной дорогой. Где-то там электричество приводило в движение станки и машины, выплавлялся металл, строились корабли и самолёты, из репродукторов лилась музыка и на экранах открывшихся кинотеатров «великий немой», обретя голос, завладел умами и сердцами тысяч людей. А здесь, как и тысячи лет назад, скованная в эту пору крепкими морозами, тайга дремала, укрывшись мягким снежным одеялом, сохраняя и сберегая до поры гигантские запасы

жизненной энергии. Сюда, в труднодоступные, потаённые таёжные углы ещё десятки, а может и сотни лет не ступит нога цивилизации, раздавив, не задумываясь, кованым сапогом, какое-нибудь великое творение природы, вроде обыкновенного муравья. Здесь тихо журчат скованные льдом, кристально чистые воды сибирских ручьёв и рек, вода которых, облагороженная золотым песком, имеет такие целебные свойства, о которых и мечтать не может великий индийский Ганг, берущий своё начало в залежах серебряной руды. В одном из таких таёжных районов, размером примерно с половину Франции, и кочевала уже много лет волею судьбы оторванная от людей семья Ошаны под покровительством мудрого Такдыгана.

Только по прошествии трёх недель Иван начал понимать, где он и что с ним произошло. Эти три недели его организм боролся с болезнью, и только сейчас он почувствовал, что слабость проходит. Он стал набираться сил. Появился интерес к тому, что его окружает.

Когда-то в школе преподаватель по географии рассказывал о чуть ли не первобытных народах, населяющих Крайний Север. Тогда Ивану это не было интересно, и он ничего не запомнил из школьного материала, разве лишь только то, что эти народы разводили оленей и занимались охотой. Теперь ему стало не просто интересно. Оказавшись в орочонском чуме, оставшись в живых благодаря заботе и уходу этих людей, он почувствовал желание и необходимость узнать и понять их. Его прошлая жизнь—а была ли она?—отошла куда-то на задний план. Он с удивлением обнаружил, что существует другая, особенная и совсем непохожая на его прежнюю, очень интересная жизнь, которой живут окружающие его люди. Его не беспокоили вопросами, за ним ухаживали, кормили и лечили, как родного сына. Он привык к добрым рукам этой уже немолодой орочонской женщины с ласковым именем Ошана, к суровому, изрезанному морщинами лицу старого охотника, с необычным и трудно произносимым именем Такдыган, к весёлым и симпатичным девочкам-подросткам, дочкам Ошаны. Постепенно он начал понимать, что мир, в котором он оказался, полон тайн и загадок, которые зачастую ставили его в тупик. Например, он очень смущался и чувствовал себя неловко, когда ещё очень слабый, пытался по малой нужде отказаться от помощи Ошаны, но вынужден был мочиться в приносимый ею кожаный мешок. Этот мешок выносили на мороз и вновь, по нужде, приносили к его лежанке. Он не понимал, почему мешок вместе с содержимым замораживали, а не опрастывали, и был ошеломлён, когда Такдыган объяснил ему, что и он, и все делают это для оленей. Оленям необходима соль, которую приходится покупать и завозить, если рядом нет природных солонцов. Оказывается, даже если есть соль, содержимое этих мешков является лакомством для оленей, а уж если нет соли, то это единственное средство для их подкормки.

Как только Иван встал на ноги, стойбище свернули, началась кочёвка к новым пастбищам. За время вынужденной стоянки олени сильно выбили ягель в округе, и Такдыган опасался потерять эти выпаса на несколько лет. На новом месте Иван перешёл жить в чум Такдыгана. Здесь его называли Ванголом, и своё имя он мог услышать, только произнося его сам. Он пытался объяснить Такдыгану, как его зовут, но это было бесполезно. Старик упирал палец ему в грудь и говорил:

— Иван умер, ты Вангол, сын оленихи и доброго духа тайги Сэвэки.

Иван смеялся и не соглашался со стариком, считая его слова чудачеством, но постепенно привык к новому имени и уже спокойно отзывался на него. Такдыган приглядывался к Ванголу. Поправляясь, Вангол стал охотно помогать ему и Ошане по хозяйству. У него, как правило, ничего не получалось, он ничего не умел, но было видно, что хотел научиться, и постепенно начинало получаться. Ошана и Такдыган неплохо говорили на русском языке, но специально старались в общении с Ванголом говорить на своём, вольно или невольно заставляя Вангола осваивать язык эвенков. Главными же его учителями стали дочери Ошаны. Долгими вечерами все собирались в чуме старика и слушали его рассказы. Потом, когда Такдыган ложился отдыхать, наступала очередь Вангола, и он рассказывал о жизни русских людей, об исторических событиях, в общем, обо всём, что знал, чувствуя их живой и неподдельный интерес ко всему. Девочки впитывали в себя его знания, как губка влагу, и Вангол впервые в жизни понял и пожалел, что, оказывается, так мало сам знает. Вангол кусочками угля на натянутой оленьей шкуре написал буквы алфавита, и с этого дня все, Ошана, её дочери и даже Такдыган стали учениками русского языка. Одновременно они обучали его своему. Вот бы Гоголева сюда, думал он, с теплотой вспоминая своего вагонного наставника. Ладно сшитая Ошаной одежда была тёплой и удобной. Вангол чувствовал себя здоровым и просил Ошану взять его на охоту, но получал отказ. Такдыган объяснил ему, что он не может идти на охоту, он не знает тайги и не чувствует её. Он должен окрепнуть, стать здоровым и сильным, должен научиться видеть и слышать.

— Я здоров, у меня хорошее зрение и слух!—говорил старику Вангол.

— Это тебе так кажется,—возражал охотник.— Догони оленя.

— Его нельзя догнать,—говорил Вангол.

— Можно,—возражал упрямо старик.

— Кто сможет догнать оленя?—спрашивал Вангол.

— Ты сможешь,—отвечал Такдыган, тыкая его пальцем в лоб.

Как-то наедине Тагдыган спросил Вангола, за что его лишили свободы. Вангол всё подробно рассказал, Такдыган долго молчал и думал, поглядывая на Вангола. Потом встал и, похлопав его по плечу, сказал:

— Ты хороший человек. Я мог ошибиться, Сэвэки ошибиться не мог. Если ты согласен, как сойдут снега, мы пойдём к чистому камню, там дух Сэвэки очистит твоё тело от болезней и даст тебе силу. Он откроет тебе глаза и прочистит уши и нос, он снимет оковы с твоих ног.

Вангол хотел улыбнуться словам старика, но что-то остановило его, и он, внимательно выслушав, ответил на языке эвенков о своем почтении духу тайги и согласии.

Так незаметно, в кочёвках и переходах, долгих серьёзных беседах с Такдыганом и весёлых вечерах в обществе детей и Ошаны, пролетела зима и наступила весна.

Удивительна сила живой природы. Ещё вчера скованные ледяным холодом сопки казались безжизненными, трудно было себе представить, что они могут ожить. Сегодня, пригретые солнечными лучами склоны, едва почернев проплешинами, очистившимися от снега, загорелись багровыми пятнами цветущего багульника. Безмолвные накануне боры наполнились звуками птиц и шорохами зверей, на таёжных полянах, по склонам сопок, вышли на свет и раскрылись ему удивительно нежные, покрытые тонкими волосками, голубые и жёлтые подснежники. Зашумели и заиграли на солнце весёлые ручейки, сливаясь в затейливо изогнутые между сопок русла лесных речушек, на берегу которых, собираясь огромными стаями, лесные птицы, склевывали песок и мелкую гальку. Проснувшиеся, худые и голодные медведи, расчёсывая слежавшуюся за зиму шкуру, купались в воде, гоняясь за крупным тайменем или хариусом, в изобилии шедшем вверх по течению на нерест. Серебряный березняк в прозрачных рощицах, дружно покрывшись мелкими клейкими листочками, от каждого дуновения ветерка что-то тайное шепчет его обитателям, дурманя голову своим тонким ароматом весны.

Ванголу не доводилось раньше видеть такой красоты, а может, и, скорее всего, он её просто не замечал, как это свойственно большинству людей, утративших свою связь с природой. После очередного перехода Такдыган сказал Ванголу, чтобы он готовился к пути.

— Выйдем завтра на рассвете, через два дня будем на месте.

Вангол, согласно кивнув головой, упал на шкуры. Трудно ему давались уроки оленевода. Сегодня он бессчётное количество раз учился ловить арканом оленей. То, что двенадцатилетняя девочка с лёгкостью проделывала в считанные минуты, Вангол не мог сделать, как ни старался. Только взмокнув и пробегав за оленями полдня, он сумел заарканить одного из них и под общее одобрение и похвалы сквозь смех подтащил трёхлетку оленя к чуму.

— Вот на нём и поедешь,— сказал Такдыган, заходя в чум.

Утром чуть свет они, собранные в дорогу Ошаной, уехали из стойбища. Сытые, отдохнувшие олени бежали быстро и ровно, и скоро стойбище исчезло из вида, затерявшись в кажущемся однообразии таёжного ландшафта. Вангол удивлялся: как ориентируется старик, уверенно ведущий оленя без каких-либо троп или знаков на деревьях или скалах? Такдыган рассказал ему, что он один раз был в том месте, куда его ведёт, и был там лет семьдесят назад. Однако к середине второго дня пути они подъехали к скалистым сопкам и стали подниматься на одну из них по едва заметной тропе. Бордово-красного цвета скалы на склоне сопки, похожие на клыки гигантских чудовищ, окружённые свежей зеленью молодой лиственной хвои, в лучах заходящего солнца создавали фантастический пейзаж, от которого у Вангола захватывало дух. У подножия одной из них они устроили привал. Вангол, как всегда, стал собирать сушняк для костра, но старик сказал ему, чтобы он этого не делал.

— Здесь нельзя жечь огонь. Переночуем без костра,— сказал он, расстилая небольшую оленью шкуру и укладываясь спать. Хотя по ночам было ещё прохладно, они прекрасно выспались, укутавшись в шкуры. Оставив оленей у скалы, в лучах утреннего солнца они поднялись вверх ещё на пару сотен метров и оказались перед плоской и почти абсолютно ровной каменной площадкой, как бы зажатой между скал. Посредине площадки, кое-где по трещинам поросшей коричневым мелким мхом, стоял, как бы вырастая из неё, почти правильной формы восьмиугольный камень. Он был абсолютно чёрного цвета и матово поблёскивал в солнечных лучах. Вангол ничего подобного не ожидал увидеть, про себя надеясь, что старик приведёт к какому-нибудь каменному идолу и заставит ему поклониться или что-нибудь подобное, к чему он приготовился и из уважения к Такдыгану проделал бы. Однако всё оказалось совсем не так, и Ванголу стало слегка страшновато. Когда солнце стало подходить к зениту, сидевший на площадке Такдыган встал и велел Ванголу быстро раздеться догола. Затем, взяв его за руку и что-то невнятно нашёптывая, старик медленно, по спирали, стал подводить Вангола к камню. Сделав примерно два оборота вокруг, приблизились к камню. Такдыган подсадил Вангола и велел ему лечь на камень спиной, раздвинул руки и ноги и как можно плотнее прижаться к камню. Вангол всё сделал, как говорил старик. Последнее, что он запомнил, было лицо старика, который, сняв головной убор и вознеся руки к небу, что-то быстро-быстро говорил. Редкие седые волосы старого охотника шаром стояли у него на голове, и каждый волосок был подобен натянутой струне, которую не мог покачнуть даже ветерок, задувавший сюда из расщелины. Ванголу, лежащему голым на камне, вдруг стало тепло и спокойно, и он уснул. Через какое-то время сознание вернулось к нему. Подняв голову, он увидел Такдыгана, стоявшего у края площадки. Заметив движение, старик замахал ему рукой и позвал к себе. Вангол вскочил на ноги и, спрыгнув с камня, подошёл к старику. Он не знал и не понимал, что с ним произошло, но то, что реально случилось что-то очень важное, чувствовал. Такдыган внимательно смотрел в глаза Вангола, и под этим взглядом Вангол опустился на колени и склонил голову перед старцем. Старик погладил его по голове и велел вставать и одеваться.

— Это место священно, и о нём не знает никто. Даже я не смог бы его отыскать раньше положенного срока. И теперь, когда мы уйдём отсюда, мы забудем дорогу обратно. Я — уже навсегда. А ты,

Вангол, когда придёт твоё время, приведёшь сюда своего ученика. Пора возвращаться домой, Вангол,—сказал Такдыган, подавая Ванголу одежду.

Спускаясь по склону к оставленным оленям, Вангол почувствовал в себе что-то новое, он вдруг услышал множество звуков, ранее не слышанных им. Он почувствовал запахи трав и цветов и, остановившись от неожиданности, как вкопанный стал озираться вокруг, топчась на одном месте. Прислонившись спиной к дереву, он почувствовал или услышал, как в глубине ствола текут соки, а в коре ворочаются, прогрызая её, личинки короедов. Ошеломлённый и изумлённый происходящим, он пришёл в себя только тогда, когда услышал, как давно спустившийся на площадку у скалы Такдыган, окликнул его.

Перед Ванголом открывался новый мир во всём его могуществе и многообразии, трепетной нежности и многоцветии, искромётности мгновений жизни и смерти. Такдыган внимательно следил за его поведением и довольно улыбался, когда Вангол, как мальчишка, радовался неведомым до сего дня открытиям. Довольно скоро они вернулись в стойбище и были, как всегда, радостно встречены его обитателями.

После всего пережитого Ванголу казалось теперь, что он оказался на совершенно незнакомой ему планете, где так же, как и на земле, светило солнце и мерцали звезды, но всё остальное изменилось, приобрело иной смысл. С каждой ранее знакомой вещью или предметом он вынужден был как бы знакомиться вновь. Его мучили сотни вопросов, о которых он раньше и не задумывался. Такдыган терпеливо отвечал ему. Но однажды, Такдыган отказался отвечать на очередной вопрос.

— Для чего? Почему? Ты сам всё это знаешь, Вангол, тебе просто это нужно вспомнить, не ленись, вспоминай,—сказал Такдыган, отдавая в руки Вангола свой охотничий лук и колчан со стрелами.

— Из чего сделан лук? Вспоминай, Вангол! Из чего сделаны стрелы, чьих птиц перья в их оперении? Вспоминай! Ты знаешь, ты должен вспомнить! Ну!

Вангол, уже не удивляясь услышанному, взял в руки лук, вытащил стрелу, внимательно оглядел её и вдруг отчётливо понял или вспомнил, что и вправду всё хорошо знает.

— Лук трёхслойный, выточен из сердцевины лиственницы, стрелы выстроганы из колотой берёзы, оперенье из перьев дятла,—проговорил Вангол, сам себе удивляясь.

— Молодец, правильно. Видишь, ты всё сам знаешь, а мучаешь меня, старика,—улыбаясь, сказал Такдыган, а потом уже серьёзно продолжил:

— Ты не только многое теперь знаешь, ты многое теперь умеешь, тебе только нужно заставить себя вспомнить. Многое тебе сейчас не по силам, но это поправимо. Теперь тебе нужно тренировать своё тело, сделать его сильным и выносливым. Тренируя тело, ты закалишь дух, и когда ты будешь готов к новым знаниям и умениям, они сами будут приходить к тебе. Не думай, что это легко и просто. Ты сейчас, как слабая птица на сильном ветру. Забилась меж ветвей и сидит, стоит ей хоть на миг высунуться из укрытия, её унесёт и разобьёт о скалы. Не обижайся, Вангол, но рано или поздно тебе придётся покинуть укрытие и выйти против ветра, и ты должен быть к этому готов. Забудь всё, чем ты жил до сегодняшнего дня, забудь на время, откуда ты и как сюда попал. Ты—Вангол, сын оленихи, твой дом—тайга, добрый дух которой—твой отец и покровитель. Он избрал меня твоим учителем и наставником.

После всего, что было у чистого камня, Вангол не мог не верить словам старика, он сам чувствовал в себе желание и готовность следовать его требованиям и советам. С этого разговора его жизнь изменилась. Такдыган каждый день определял, чем будет заниматься Вангол и не отходил от него. Сначала он учил его правильно дышать и ходить, практически не уставая. Любимая присказка старика: «Устал идти—пробегись» применялась стариком повсеместно, чем бы Вангол ни занимался. Старик заставлял его всё делать до полного изнеможения, выдавливая из него вместе с потом и кровью свойственные человеку лень и жалость к самому себе. Постепенно, месяц за месяцем, наращивая нагрузки, Вангол стал лучше и лучше их переносить, получая от этого даже какое-то удовольствие. Такдыган был настойчив и спокоен, он готовил здоровье и тело Вангола по какой-то одному ему известной системе, чередуя десятки видов упражнений в движении с неподвижными позами самого причудливого вида. Всё это должно было сопровождаться правильным дыханием, за которым старик внимательно следил. К концу лета Вангол сильно окреп и возмужал, в его движениях появилась лёгкость и уверенность. Органы чувств давали ему огромную информацию об окружающем мире, теперь он без труда мог ориентироваться на местности. Как бы далеко не уходил в тайгу от стойбища, всегда чётко знал не только правильное направление движения, но и пространственно мог определить своё местонахождение относительно других предметов и людей, невидимых им. Например, один раз взглянув, он мог запомнить количество и расположение чёрных и белых бисерных бусинок на украшениях Ошаны. Его с измальства здоровый организм избавился от несвойственных оленьему народу простудных заболеваний, и к осени Вангол, не боясь простуды, часами бродил по колено, а то и по пояс в холодных водах небольших речек, охотясь за крупным тайменем. С осени Такдыган стал обучать его обращению с луком. Стрельба из тугого орочонского лука стала ежедневным многочасовым занятием Вангола. С места, стоя и сидя, в прыжке и на бегу, по неподвижной и движущейся цели, на скаку с оленя и в падении с него—всё это под руководством Такдыгана, а иногда и Ошаны, в совершенстве владевшей этим искусством, осваивал Вангол. Охотничий лук в умелых руках опытного охотника был грозным оружием. Ошана с сорока шагов, с разворота, практически мгновенно отпуская тетиву, попадала стрелой без промахов в цель размером с куриное яйцо. Остро отточенный железный наконечник стрелы, выпущенной с такого расстояния, вонзался в твёрдую листвяжную

плаху почти на два сантиметра. Такдыган рассказывал, что в молодости он мог, выпустив вверх одну стрелу, вторым выстрелом переломить её, падающую, на землю.

— Сейчас я не смогу уже так стрелять, но ты, Вангол, сможешь,—говорил старик. Вангол ему верил, и эта вера помогала поверить в себя, в свои силы, которые сейчас стали казаться ему безграничными. Впрочем, так оно и есть, в любом человеке заложены безграничные возможности. Беда в том, что не всякий может их открыть в себе, и тем более использовать. Вангол же, поддерживаемый огромной силой духа Такдыгана, делал поистине невозможное. Он за несколько дней осваивал навыки, которые многим орочонам не давались годами, вызывая уважение и восхищение со стороны Ошаны и похвалу старца. Старшая дочь Ошаны, двенадцатилетняя Тинга вообще последнее время не сводила с Вангола глаз. Она увязывалась за ним везде и старалась быть рядом. Лёгкая и неутомимая, она не отставала от него, невольно участвуя в его ежедневных подъёмах бегом на близлежащие сопки. Приносила стрелы во время занятий с луком, таскала на верёвке движущуюся мишень и очень переживала, если у Вангола что-то не получалось. Вангол часто сажал её себе на плечи и по несколько часов катал на себе, уходя в тайгу. Она показывала Ванголу травы и цветы, которые полезны для здоровья, они собирали грибы и ягоды, в изобилии произрастающие вокруг. Их дружеские отношения ни у кого не вызывали опасений. Напротив, Ошана радовалась, втайне рассчитывая на то, что дружба может их связать более прочно, что Вангол может в будущем взять Тингу себе в жёны.

В орочонских родах, согласно обычаям, девушки были вольны в выборе друзей и могли до замужества ночевать в чуме возможного избранника. Если они впоследствии переставали встречаться, в этом никто не видел ничего плохого, просто девушка выходила на призывную песню другого юноши и, если желала этого, оставалась ночевать у него. Это приветствовалось родичами. В большинстве случаев родители жениха тогда засылали сватов, когда видели, что невеста уже беременна, то есть данный брак гарантирует продолжение рода. Ванголу была симпатична эта любознательная девчонка с чёрными, как уголь, озорными раскосыми глазами, но он считал её подростком и относился к ней по-братски. Иногда вечерами, слушая истории Такдыгана, он сажал её себе на колени и осторожно расчёсывал ей волосы костяным старинным гребнем, а потом заплетал десятки косичек. Такое внимание и заботу Ошана не видела никогда в семьях своих соплеменников. Вангол своим появлением и жизнью в семье внёс в неё много нового и необычного. Не только он учился у них, но и они много полезного перенимали от него. Он каждое утро, ещё больной, просил принести ему воды, мыл голову и умывался. Ошана спросила его, зачем он это делает, у орочон не принято мыть голову вообще. Они стеснялись своего голого тела и практически не мыли его, не знали они и что такое мыло. Вангол объяснил, шутя, что так он избавляется от ночных злых духов, мешающих видеть хорошие сны, отгоняет их. Попробовав один раз вымыть голову,—видно, ей приснился дурной сон,—Ошана через некоторое время вновь помыла её перед сном. Летом, останавливаясь около воды, Ошана стала мыться сама и мыть дочерей. Водные процедуры понравились им. Однажды, бродя по таёжным увалам, Вангол обратил внимание на чёрные каменные осыпи. Подобравшись к ним, он взял в руки один из камней и был несказанно удивлён—это был уголь. Осмотрев место, он обнаружил выходящие на поверхность пласты угля толщиной до двух-трёх метров. Набрав полную суму, Вангол принёс уголь в стойбище. Ошана и Такдыган были очень довольны, когда в костры-дымовухи подбрасывали уголь. Он разгорался, долго и жарко горел, стало значительно легче их поддерживать. Дым этих костров был единственным укрытием для оленей от бича тайги—кровососущих насекомых, которые тучей нападали на животных, не давая им спокойно пастись. Несколько дней на оленях Вангол и Тинга возили уголь к стойбищу, создавая запас топлива на зиму. Так в постоянных тренировках, повседневной работе текли дни, и Вангол незаметно для себя перешагнул свой день рождения, 21 августа ему исполнился двадцать один год. Но он не знал чисел дней, в тайге в этом необходимости не было, как не было и дней недели, выходных и праздников.

Близилась осень с её холодными, дождливыми месяцами, когда жизнь в тайге замирала, тяжёлые низкие облака затягивали небо и делали короче и без того уменьшающийся световой день. Такдыган и Ошана готовили снасти к последней осенней рыбалке, Вангол помогал. Интересно было видеть, как из тонкого конского волоса в руках Ошаны получалась плетёная прочная нить для уды. Как Такдыган, используя медвежью шерсть, пёрышки птиц и смолу, мастерил обманки на хариуса. Ванголу поручали более грубую работу, но не менее ответственную. Он затачивал наконечники стрел, пик и пальм, под руководством старика почти месяц он занимался изготовлением своего лука и стрел к нему. Когда лук был готов, чтобы привыкнуть к нему, Вангол каждый день не менее трёхсот раз стрелял из него по мишеням. И только когда в присутствии Ошаны и Такдыгана, в три секунды послав три стрелы в брошенную вверх Тингой мишень, он с сорока шагов всеми стрелами поразил её, Такдыган сказал, что Вангол научился стрелять. Но хороший стрелок из лука ещё не охотник, и Ванголу пришлось изучать приёмы владения пикой и пальмой. На это ушло много времени, и только выпавший первый снег прервал интенсивные тренировки. Такдыган взял с собой на охоту Вангола. Первый снег для Такдыгана был как открытая книга, он читал следы зверей и птиц, и Вангол жадно впитывал в себя эти знания, эти тайны старого охотника прочно входили в его память.

Умение двигаться беззвучно и маскироваться в условиях таёжной охоты, которыми старик владел в совершенстве, позволяли им незамеченными

подходить к чуткому и осторожному зверю на расстояние выстрела. Вернулись они скоро, ведя в поводу нагруженных мясом убитого изюбря оленей. Сердце изюбря и его печень, согласно обычаю, они съели в тайге, поджарив на костре. Небольшой хвост изюбря Такдыган, аккуратно вырезав, завернул в тряпицу и отдал по возвращению Ошане. Огромные ветвистые рога украсили их чум. Ошана с дочерьми, разделав мясо, сушили и коптили его особым способом, получая тонкие полосы очень вкусного и не портящегося продукта. Ошана была довольна, она рассказала Ванголу, что мясо изюбря самое ценное и полезное.

Хвост, который ей отдал старик, она подсушит и приготовит из него снадобье для Вангола, оно придаёт силы и снимает усталость, обостряет зрение и слух, несколько капель этого снадобья позволят Ванголу при необходимости не спать несколько дней, двигаясь по тайге, совершенно при этом не нуждаясь в отдыхе. Она не сказала Ванголу лишь о том, что снадобье делает мужчину неистощимым любовником.

Вангол часто задумывался о своей необычной судьбе, скучал по родным, оставшимся где-то там, в другом мире. Он не знал, ищут его или нет. Удачно сложившиеся обстоятельства при побеге давали ему основания предполагать, что его могли посчитать погибшим в аварии. И даже не обнаружив его останков, теперь-то он отчётливо осознавал это, вполне обоснованно могли посчитать погибшим в тайге. Но уверенности ни в чём не было. Он старался не думать о своём будущем, целиком вживаясь в свою нынешнюю жизнь. То, что уготовила ему судьба, он, как и всякий человек, не знал. Но то, что стал ощущать себя совсем другим, было более чем очевидно. Он сам поражался иногда своим способностям, а потом привыкал к ним и уже не обращал внимания. Например на то, что, заметив вдалеке на деревьях выводок тетеревов, без труда мог, слегка прищурившись, приблизить их зрительно и детально рассмотреть каждое перышко в красивом оперении. Никакой бинокль или зрительная труба не смогли бы дать такого чёткого эффекта. Нечто подобное происходило и ночью. Если ему нужно было рассмотреть что-то, он начинал видеть это, почти как при дневном свете. Более того, рассматривая что-нибудь у себя на ладони, он мог, разглядывая, как бы увеличивать предмет до огромных размеров. Теперь обычный муравей, попав на ладонь Ванголу, становился для него предметом исследования и познания. Он начинал понимать, что размеры и объёмы окружающего мира относительны. Небольшая песчинка, прилипшая к ладони, оказывалась целым миром, населённым живыми организмами, подчиняющимися всеобщим законам жизни на земле и влияющими на весь мир. Разглядывая царапину на руке, он видел, какие процессы происходят в живых тканях при заживлении этой небольшой ранки, и начал понимать, как заставить эти процессы ускориться. Он, каким-то ему самому неведомым образом давал команду, тысячи мельчайших микроорганизмов бросались к месту повреждения и заживляли его. Иногда ему казалось, что он начнёт понимать то, что хочет Такдыган сказать, ещё до того, как тот произнесёт фразу вслух. Ради интереса, он иногда стал опережать действиями просьбы старика, чем очень удивлял его. Эта игра увлекла Вангола в общении с Тингой. Тинга загадывала какое-нибудь желание или прятала что-нибудь. Вангол, лишь поглядев в её сторону, разгадывал желание или называл потаённое место. Получалось, что он читал чужие мысли. Более того, в играх с Тингой он мысленно мог попросить её что-либо сделать и она, понимая без слов, выполняла его просьбу. Для Такдыгана такие способности, открывавшиеся в Ванголе, были неожиданны. Сам он ими не обладал и, решив, что духи тайги благосклонны к Ванголу, наделяя такими сверхъестественными силами, с ещё большим терпением и усердием принялся за его обучение.

Теперь Такдыган с Ванголом пропадали по несколько дней в тайге. Они охотились, ставили кулемы на соболя и пасти на лисиц, Такдыган, обучая Вангола охоте, в основном приучал его к жизни в зимних таёжных условиях. И зима пришла, пришла как-то сразу, сорвав ветрами пожухший лист с деревьев, тут же вморозила его в лёд быстро замерзающих рек. Не церемонясь, ударили крепкие морозы, превратив в ледяные бусы ярко-красными брызгами разбросанную в изобилии по болотистым участкам клюкву. Перелётный северный гусь, садясь в сумерках на зеркальную гладь почти застывших озёр, сбивался в огромные стаи на небольших пятачках, где, благодаря работе их лап и крыльев, вода ещё не замёрзла. Морозный воздух был чист и свеж, наконец-то исчезла наполнявшая его летом непрерывным гудением мелкая крылатая нечисть, мошка и гнус.

Тем временем другая, прожорливая и кровожадная, коричневая нечисть, расползаясь по Европе, всё ближе и ближе подступала к границам Советского Союза. Забрав всю полноту власти, энергичный и уверенный в себе Адольф Шикльгрубер смог убедить нацию в её превосходстве над всем миром. Национал-социалистическая партия, руководимая им, смогла в кратчайшие исторические сроки заставить работать на свою политику всю экономическую и финансовую мощь не только Германии, но и практически всей Европы. Причём для этого Гитлеру не пришлось уничтожать десятки тысяч и миллионов своих сограждан. Напротив, в Германию устремились сотни тысяч этнических немцев со всего земного шара. Военно-экономическая мощь Германии, поверженной в первой мировой войне, как феникс, возродилась из пепла, почти удесятерив свой потенциал благодаря не столько мощным экономическим вливаниям заинтересованных политических сил, сколько самоотверженному труду немецких рабочих и инженеров. Новые виды вооружения и техники, железная дисциплина и истинное сплочение народа вокруг лидера нации — всё это, умноженное на военное искусство немецких полководцев, позволили Германии в считанные месяцы ставить на колени раздираемые политическими распрями и дипломатическими

интригами европейские страны. Страна, давшая миру Гёте и Шиллера, казалось, потеряла разум, как в наркотическом опьянении следуя каждому слову своего фюрера. Немецкие женщины испытывали оргазм только от его речей и готовы были рожать и рожать солдат для его непобедимых армий. Хлеба и зрелищ требовал народ, опьянённый речами Геббельса, и он их сполна получал. Подростки, вступая в Гитлерюгенд, получали от своих воспитателей такой заряд национал-патриотической гордости, что забивали во дворах и на улицах почти до смерти своих сверстников-евреев, ещё не успевших покинуть фатерлянд. Распадались тысячи браков, настоящий немец не мог иметь жену нечистых кровей, и настоящая немка не имела права рожать полукровок. Это сумасшествие, охватившее великую страну, предопределяло ход истории, реки крови должны были пролиться на грешную землю, и многие люди чувствовали приближение этой страшной беды.

В далёкой забайкальской тайге, отрезанный от всего цивилизованного мира, старый неграмотный охотник, понятия не имевший о существовании на земле фашизма и арийской расы, сидя в чуме и глядя в огонь костра, сказал:

— Вангол, скоро на земле начнётся большая война, много, очень много твоих братьев и сестёр умрут, умрут их неродившиеся дети, и эта беда скажется на многих поколениях выживших.

— Как ты можешь об этом знать?—спросил с недоверием Вангол.

— Об этом мне говорят звёзды, ты ещё очень молод, и тебе непонятен их язык. Звёзды знают многое, и высшая мудрость исходит от них. Великие духи зажигают в небе звёзды, чтобы люди не могли сбиться с правильного пути. Только они неизменны, всё остальное на земле меняется каждый миг. Они не вмешиваются в земную жизнь, но могут подсказать в ней верный путь. Тот, кто слушает и понимает звёзды, тот управляет своей дорогой, владеет своей судьбой.—Такдыган задумался и прикрыл глаза. В его памяти проплывали картины далёкого прошлого. Его изрезанное тысячами морщин неподвижное лицо, освещаемое пламенем костра, было спокойно и сосредоточенно. Ванголу казалось, что именно сейчас старик слушает шёпот звёзд.

— Когда это случится?

— Не сейчас, ещё не скоро, ещё много времени, через два или три года.

— Такдыган, это мало времени, это очень мало времени. Скажи, можно ли что-нибудь изменить?—Вангол не сомневался в словах охотника.

— Один человек изменить что-либо в этом мире не в силах. То, что сказали звёзды, уже предрешено и будет. Но даже один человек, зная о том, что будет, может многое. Он не может остановить падающую со скалы глыбу камня, но он может разбудить спящих под скалой людей и увести их.—Такдыган, взглянув на Вангола, видя его горящие глаза, улыбнулся.

— Ты, оказывается, ещё совсем мальчишка. Вижу, в тебе загорелось желание спасти этот мир. Я тоже был таким, это проходит.

Такдыган вытащил откуда-то из глубины чума кожаный свёрток и подал Ванголу. Вангол осторожно развернул его и увидел десяток обоюдоострых, похожих на лезвия кинжалов, железных заточек без рукоятей.

— Нужно заточить их так остро, чтобы даже лёгкое касание к ним приводило к порезу,—сказал старик, подавая Ванголу тонкий камень для работы. Вангол не стал спрашивать, для чего служит это оружие, и принялся за дело. Через несколько дней, когда клинки были тщательно отточены и отшлифованы Ванголом, они собрались и вышли в тайгу. На привале старик рассказал, что они идут на волков, следы которых всё чаще появлялись у стойбища и беспокоили его.

— Волки могут напасть на стадо и порезать оленей, мы нападём на них первыми,—сказал старик.

— Почему ты не сказал раньше? Нужно было взять винтовку, стая большая, я насчитал только матёрых около двадцати, Такдыган, мы не сможем,—возмущаясь и возражая старику, Вангол пытался дать ему понять, что он не трусит, а просто реально рассчитывает силы. Выслушав разгорячившегося Вангола, старик, поднимаясь, спокойно ответил:

— Нам не придётся в них стрелять.

Это удивило Вангола, но он не стал ни о чём расспрашивать, так как Такдыган лёгким быстрым шагом уже спускался по склону сопки.

Спустившись в распадок, они увидели следы волчьего перехода и через какое-то время вышли к месту лёжки стаи. Здесь, в густом ельнике, стая отдыхала. Вангол издалека почувствовал терпкий запах волчьей шерсти, дав знак об этом старику. Одобрительно хмыкнув, старик показал ему, что нужно делать. Вангол на уровне своей щиколотки тихо срезал молодые деревца берёз и ёлок и расщеплял пеньки на две части. Старик вставлял острые клинки в расщепленные пеньки и крепко стягивал ременными петлями. Получился двойной круг невысоких пеньков с торчащими в разные стороны остриями ножей. В центре этого круга Такдыган разбросал принесённые с собой куски оленины. Каждый нож он осторожно обмазал оленьим жиром и насадил на него тонкие ломтики мяса. Затем охотники осторожно замели свои следы и ушли в сопку. Удаляясь, старик несколько раз прокричал криком раненой оленихи. Поднявшись выше, они удобно устроились в ветвях раскидистой сосны, стали наблюдать. Место было выбрано удачно. После полудня серые силуэты волков чётко обозначились на опушке ельника. Стая действительно была большой, десять или двенадцать крупных самцов вёл за собой вожак. Цепочкой, след в след, выходили волки из распадка. Вангол, присмотревшись, хорошо видел их жёлтые беспощадные глаза. Поджарые животы говорили о том, что стая голодна и вышла на поиск добычи. Вожак уже метров на пятьдесят удалился от ельника, а из него всё выходили и выходили молодые волки и волчицы. Даже Такдыган обеспокоенно заворочался в ветвях, видя такое количество смертельно опасных хищников. Если стая свернёт в сторону перевала, она через два-три часа выйдет к стойбищу Ошаны. Переменившийся ветер, как назло, относил запах

приманки в сторону от стаи, и волки, следуя за вожаком, уходили левее, к перевалу. Нужно было принимать какое-то решение. Если сейчас они поднимут шум, волки всё равно уйдут к стойбищу и догнать их будет невозможно. Оставалось одно: выйти и, показав себя, как бы бросить им вызов. Два лука и две пальмы-секиры, на примерно метровых рукоятках,—оружие, с которым они были. Если стая кинется на них, шансов спастись или победить практически нет. Но выбора не было, Вангол ничего не спрашивал у старика, он прочитал его мысли и стал спускаться с дерева вниз. Страха не было, он понимал, что если волки порежут оленей, они не смогут выжить в тайге. Два старых волкодава, бывшие с оленями, только смогут предупредить Ошану о нападении и будут разорваны в клочья. Жаль, что хитрость Такдыгана не удалась, пронеслось в мозгу у Вангола, когда он, спрыгнув на землю, схватил лук с колчаном стрел и уже кинулся было вниз по склону. Что-то вдруг остановило его, он почувствовал: что-то произошло. Старик, спускавшийся с дерева, тоже замер в ветвях и поднял руку. Вангол замер на месте. А случилось вот что.

Следовавший в хвосте стаи молодняк, годовалые молодые волки, резвясь и гоняясь друг за дружкой, немного оторвались от уходящей стаи и вдруг, благодаря на мгновение затихшему ветру, хватанули запах свежей оленины в воздухе. Насторожившись, они на мгновение замерли, вытянув длинные шеи и нюхая воздух. Секунда и они, издав глухой рык, кинулись в сторону западни. Стая остановилась, как по команде, волки повернули головы в сторону прыжками бегущих молодых волков, затем сорвалась с места и кинулась следом. Опытный вожак, оказавшись сзади, уже не управлял обезумевшей от пьянящего запаха крови стаей. Успевшие первыми к наживе волки, не соблюдая строгой волчьей иерархии, по праву первых стали рвать оставленную центре оленью требуху, вырывая её друг у друга. Подоспевшая стая кинулась к добыче, и началась дикая свалка. Вангол, вернувшийся на дерево, с ужасом наблюдал, как волки, хватая куски мяса с лезвий, ранили себя, в свалках и борьбе напарывались на острые жала и, почуяв кровь, начинали рвать друг друга. Страшные клыки одних рвали в клочья пораненных собратьев, тут же сами победители становились добычей других, более сильных и дерзких. Подоспевший вожак, ощетинившись, встал перед безумно дерущейся стаей, его страшный оскал и рык остановил молодых волчиц, следовавших за ним. Через несколько минут всё было кончено. Вожак уводил несколько волчиц и молодых щенков от места побоища. Несколько сильно раненых зверей отползали в сторону ельника. Насытившиеся свежей кровью три крупных волка, уцелевшие в резне, уходили по распадку в сторону охотников, не рискуя присоединиться к свирепому вожаку, уходившему с волчицами. Быстро спустившись с дерева, Вангол и Такдыган кинулись к распадку, наперерез уходившим волкам. Две стрелы, выпущенные на бегу Ванголом, заставили упасть пронзённых в шею зверей. Третий волк, пробитый стрелами старика, крутился на месте, пытаясь схватить зубами торчащие из туловища стрелы, но ударом пальмы, рассёкшей ему голову, был добит. Вангол, впервые принявший участие в такой охоте, весь дрожал от возбуждения. Всего они насчитали двадцать два убитых волка. Уже возвращаясь, они услышали несколько винтовочных выстрелов со стороны стойбища.

Поздно вечером, нагруженные снятыми шкурами, они вернулись к Ошане. Расстроенная Ошана показала им на трупы зарезанных волками собак. Оленей вожак стаи не тронул, обойдя стойбище, но убил увязавшихся за ним в погоню старых волкодавов. Собаки, почуяв приближавшихся волков, с лаем кинулись навстречу. Ошана, несколько раз выстрелила в воздух, отпугивая зверей. Собаки, самоотверженно кинувшиеся навстречу стае, стали преследовать уходивших волков и погибли. Вангол хорошо запомнил морду вожака, он смог рассмотреть её в момент ярости, когда зверь понял ошибку стаи, попавшей в ловушку, но ничего уже не мог сделать. Он метался между молодыми волчицами, роняющими в снег слюну, и убивающей себя стаей. Его свирепый и бесстрашный взгляд, ослепительно белые клыки и рваное ухо часто отчётливо вспоминались Ванголу. Он почему-то думал, что их встреча ещё не последняя. Вангол восхищался охотничьей хитростью Такдыгана, настолько тот хорошо знал и использовал повадки зверя.

— Многие люди живут по волчьим законам, Вангол,—сказал как-то ему старик,—человек, радующийся чужому горю или злобно завидующий чьей-то удаче, подобен волку, хладнокровно и расчётливо убивающему раненого собрата. Если ты встретил человека, который не может открыто смотреть тебе в глаза, будь настороже, возможно в его душе живёт волк, не доверяй ему, такой человек всегда сможет предать и бросить тебя в беде.

— У нас говорят, чтобы человека узнать, надо с ним пуд соли съесть,—сказал Вангол.

— Это правильно, но не всегда человеку дано такое большое время, шаманы говорят: глаза—зеркало души. Загляни в глаза, и увидишь, что у человека на душе.

Вангол вспомнил глаза того судьи, что зачитывал ему приговор, в тех глазах была пустота.

В глазах у Волохова следователь Гладышев так и не увидел ни страха, ни отчаяния, ни мольбы о пощаде. Волохову не давали спать уже четвёртые сутки, допрашивали и били, но результатов не было, лютую ненависть видел в глазах у Волохова Гладышев. Так они и расстались. И теперь Волохов, осуждённый к десяти годам, ехал в теплушке вместе с сотней таких же, как он, арестантов куда-то на Колыму. Эшелон ночью остановился в Могоче, и Волохов через небольшое зарешёченное окно вагона пытался что-нибудь разглядеть. Где-то здесь, в Могоче, оставался его верный друг Степан Макушев, скорее всего, и Мария здесь. Если бы они знали! Так хотелось Ивану ещё раз увидеть родные лица. Просто увидеть и убедиться, что всё у них хорошо. На перроне было пусто, только

старый железнодорожник, проходя мимо вагонов, постукивая своим молоточком, на секунду остановился у окошка, откуда смотрел Волохов. Встретившись глазами, эти люди в долю секунды рассказали друг другу всё, о чём болели их души. Эшелон тронулся, увозя Волохова, в деповской курилке сидел старый железнодорожник, глотая вместе с дымом едкой папиросы горькие мужские слёзы. В каком-то таком же эшелоне ехал в лагеря его сын, дома слегла от горя его старуха, а невестка, оставив им внука, уехала в Читу искать правду, да уже который месяц как пропала. Ни письма, ни вестей. Заоравший ни с того ни с сего репродуктор на станции заставил старика подняться, прибывал очередной литерный эшелон на восток. «Сколько же их идёт, пол-России уже вывезли»,—сокрушался про себя старик, вагон за вагоном обходя поезд и прислушиваясь к звуку ударов своего молоточка. Звук должен быть чистым и звонким, иначе беда…

Месяцем раньше с этого же перрона Степан и Мария уезжали к новому месту службы старшего лейтенанта Макушева. Майор Битц всегда выполнял свои желания и добился перевода Макушева к себе. Не знал ни Битц, ни Макушев, что этот скорый переезд спас их обоих. Они просто выпали из поля зрения особистов в период наиболее активной чистки рядов нквд. На новом месте Битц принимал дела начальника лагеря из рук единственного уцелевшего из всей лагерной администрации начальника отряда. Его предшественник, замы и все начальники служб были недавно арестованы. Вакансий было много, и в Главупре ему не отказали в быстром переводе Макушева. Сейчас, сидя в своём кабинете, он под звуки песни из нового фильма «Трактористы», лившейся из настенного радио, как всегда внимательно изучал личные дела подчинённых. На новом месте нужно было вновь создавать свою систему. Битц хорошо знал своё дело и тщательно подбирал людей, комплектуя команду по главному принципу, принципу личной преданности. Ему было не так важно, почему этот человек предан, страх или авторитет начальника тому причиной, главное, чтобы он был от него зависим и беспрекословно выполнял его волю. Макушев по прибытии был назначен начальником комендатуры лагеря, в лагерную медчасть была оформлена и его молодая жена. Битц до конца не доверял вообще никому, таков был его характер. На Макушева он мог положиться как на ответственного и исполнительного офицера, не сомневаясь в его личной преданности. Обоснованно считая Макушева человеком простым и прямолинейным, Битц был уверен в его порядочности. Людьми такого склада характера ему было легко управлять. Сделав однажды добро такому человеку, Битц мог рассчитывать на как бы пожизненную эксплуатацию. Главное, чтобы человек не сомневался в его принципиальности и справедливости. Эти простаки почему-то упорно верят в существование таких понятий в отношениях между людьми. И жизнь их ничему не учит, удивлялся Битц. Сто раз обманутый и одураченный, человек всё равно верит в то, что хороших людей на земле больше и есть какая-то справедливость, и она всё равно восторжествует. Нет, Битц был умнее, он предпочитал другой жизненный принцип. Хочешь жить—умей вертеться. Умей вовремя покорно склонить голову и вовремя укусить, а схватив, держать мёртвой хваткой. Тут уж не до принципов, выживает сильнейший, Битц был убеждён. Он был умён, в этом была его главная сила. Чтобы выжить в предлагаемых жизнью обстоятельствах, ему хватало ума тщательно свой ум маскировать.

Его нынешнее начальство, мягко говоря, не блистало образованностью и не жаловало подчинённых, умеющих писать без ошибок. Зато лагерь был забит грамотными и образованными людьми. Их письма в судебные и партийные органы пачками ложились на стол начальника лагеря. Это были письма людей, наивно полагавших, что их где-то услышат и кто-то справедливый, вмешавшись в их судьбу, исправит допущенную в отношении них ошибку. Они клялись в своей честности и преданности, обещали добросовестным трудом доказать свою невиновность и непричастность к тем врагам народа, которых справедливо карал меч социалистического правосудия. Писали жалобы и прошения, конечно, не все, но писали и на что-то надеялись многие. Им было невдомёк, что в стране работала страшная мясорубка, что под прикрытием надуманных, благородных идей, в стране во всю правил закон волков. Страх пропитал сознание и души простых людей, он вселился в их жилища и залез под одеяла их постелей. Он заставлял людей вздрагивать от каждого ночного стука в дверь или скрипа тормозов остановившейся машины. Повальные аресты в армии и на флоте, безжалостное клеймение и уничтожение сотен видных и ещё недавно прославляемых государством людей, ежедневные списки выявленных и арестованных «врагов народа» в центральных и местных газетах—всё это обрушивалось на головы оболваненного народа под звуки бравурных гимнов и маршей в честь вождя и любимого всем народом учителя, товарища Сталина.

Писатели и поэты, восторгаясь скромностью и простотой вождя, писали о нём стихи и прозу, песни о любимом вожде пели пионеры и школьники, солдаты и матросы чеканили под них строевой шаг. Песни лились из репродукторов в коммунальных квартирах и бараках рабочих, колхозных клубах и цехах заводов. Ни один народ так не любил и не прославлял своего вождя. Его нельзя было не любить, не любить его было опасно для жизни. Для жизни любого человека, невзирая на возраст и заслуги, чин и звание, родственные отношения и привязанности, невзирая ни на что. Он это доказал, и это вросло в сознание абсолютного большинства. Но не всех.

Битцу было интересно, а с некоторых пор стало необходимо изучать дела тех, кто пытался хоть както бороться с тем насилием, которое происходило в стране. Такие дела ему попадались исключительно редко. Во-первых, потому что абсолютное большинство людей, действительно представлявших угрозу власти, расстреливались, и их дела ложились

в секретные архивы. Во-вторых, потому что в огромной массе дел даже такому опытному специалисту, как он, очень трудно было найти дела не мнимых, а настоящих врагов власти. Не народа, как было выгодно их называть коммунистам, а именно—врагов власти коммунистов. Из тысяч прошедших через его руки дел он не мог похвастаться и десятком таких. Недавно ему повезло, кажется, он натолкнулся на такое дело, вернее не дело, дело было обычным стандартным полуфабрикатом, он натолкнулся на человека, мыслящего человека. Один из его сексотов перехватил письмо, которое сейчас читал Битц. В нём были стихи.

Всё стало ясно,
мы переродились!
Смешенье крови в замкнутой среде.
С рожденья до седых волос
мы с чем-то воевали, бились,
а оказалось—не разобрались в самих себе!
Не разобравшись, мазали, чернили!
Без долгих разговоров под расстрел,
А оказалось, заживо мы гнили!
Не стало мудрецов, сбежали, кто успел!
Какая горькая судьбина!
От чистоты души народ
скотине вечно подставляет спину!
Сидит подлец на подлеце
и лозунги орёт!
А бедный наш народ везёт
И думает, хоть тяжко под ярмом,
но движемся вперёд!
Эй, барин-секретарь,
поправь подпругу, жмёт.
Сказали, сделали, и вновь по кругу.
В глаза уж друг не смотрит другу.
А колея всё глубже, всё тесней!
Уж ноги без обувки поднимаем,
Поверив в то, что сверху им видней,
Молчим и тащим воз, не понимая,
что гибнет русская земля, сгорая!
Мы не живём, а тихо вымираем!

Да, за такие стихи автору помажут зелёнкой лоб, это точно, думал Битц, решая, что делать. Он обязан был дать этому материалу ход, и тогда заключённого Егора Ивановича Прохорова, осуждённого за вредительство инженера-железнодорожника, особисты увезут из лагеря, и он уже наверняка никогда о нём не услышит. Так он и сделает, но не сейчас. Интеллектуалу Битцу хотелось увидеть этого человека и поговорить с ним. Изучая лицо заключённого по фотографии в деле, он увидел твёрдую волю, ум, решительный и мужественный характер Прохорова. Вызвав дежурного офицера, Битц дал распоряжение после ужина доставить к нему заключённого Прохорова. Около семи часов вечера в кабинет начальника лагеря вошёл высокий, широкоплечий мужчина с открытым взглядом серо-голубых глаз. Коротко остриженные волосы его были какого-то неопределённого тёмно-серого цвета, седина забелила виски. Грубовато слепленное лицо скрашивал широкий выпуклый лоб и крепкий, чуть выступающий, подбородок. Тёмные круги под глазами и опущенные уголки тонких губ говорили об усталости.

— Заключённый Прохоров доставлен по вашему приказанию,—доложил дежурный и, подчиняясь жесту Битца, вышел из кабинета, тихо закрыв за собой дверь.

— Ну, здравствуй, Прохоров, присаживайся, вот папиросы, кури.

Битц, встав из-за стола, показал Прохорову на стул и положил пачку папирос на стол.

— Спасибо, гражданин начальник, но я не курю, а присесть можно, целый день на ногах. Слушаю вас, гражданин начальник, зачем меня вызвали?—глядя прямо перед собой, спросил Прохоров.

— Мне понравились твои стихи, Егор Иванович, вот решил лично с тобой познакомиться, люблю поэзию. Давно пишите?

— Что-то вы спутали, гражданин начальник, какие стихи в зоне можно написать, это к блатным вам нужно, там такие шедевры выдают, вся зона плачет.

— Спасибо, я поинтересуюсь и их талантами, только твои стихи мне почему-то больше по душе, Прохоров. Какие аллегории, а? Смешенье крови, Прохоров, это когда брат сестру и детки дауны? Интересно, кого ты скотиной считаешь? Или ещё: это кто те подлецы, что лозунги орут? Хочешь, расшифрую так, как это сделают в особом отделе ГПУ? В этом тексте клеветнически излагается и оскверняется руководящая и направляющая роль коммунистической партии и её вождя, лично товарища Сталина. Авторство установлено будет мгновенно, даже без почерковедческой экспертизы. Вот взгляни,—положив перед ним лист со стихотворением из письма, Битц внимательно посмотрел в глаза заключённого. Прохоров не читая, отодвинул от себя лист бумаги и, встретившись глазами с Битцем, произнёс.

— Вам не стыдно читать чужие письма, гражданин начальник?

— Стыдно, Прохоров, но служба обязывает.—Битц закурил.

— Хочу понять, Прохоров, ты ведь умный и грамотный человек, зачем это тебе? Неужели ты считаешь, что вот такими стихами ты можешь что-то изменить? Разбудить эту безмозглую массу рабов, добровольно и радостно идущих с песней в бездну? Тебе сидеть ещё восемь лет, ну и сидел бы тихо, освободившись в сорок восемь лет, ещё можно будет пожить.

— Зачем?

— Что зачем?

— Зачем жить, гражданин начальник, если кругом ложь?—Прохоров, взглянув на майорские петлицы начальника, продолжил:—Вы, гражданин начальник, серьёзно что-то хотите услышать и понять или просто решили поиграть со мной перед дальней дорогой? Разве вам мало того, что написано на этой бумаге? Мне кажется, на вышку уже потянет, поэтому ничего нового я вам уже не скажу.

— Ты прав, Прохоров, твоей писанины достаточно для вынесения тебе смертного приговора, но эта бумага пока лежит у меня на столе, и я

действительно хочу понять мотивы твоих действий. Объясни, на что ты рассчитываешь.
— Хорошо, поговорим. Терять мне, собственно, нечего. Скажи честно, майор, кроме уголовников, в лагере все остальные действительно враги народа? Не отвечай, я сам скажу. Если это так, то все, кто ещё ходят на свободе, просто ждут своей очереди сюда. Причём, и те, кто сажает и стережёт, тоже в этой очереди, и ты, майор, в ней, и твой нарком. Вне очереди только тот, кто определяет, что сегодня — плохо, а что — хорошо. То, что сегодня хорошо, завтра покажется ему плохо, и в очередь встанут ещё тысячи людей, делающих сегодняшнее «хорошо». Это же очевидно, это же происходит у всех на глазах, и все молчат. Кто-то, майор, должен говорить, если он считает себя человеком, а не рабом. Эти стихи — маленькая капля в море людской ненависти, которая накапливается, как вода в горном озере, сдерживаемая плотиной из страха, колючей проволоки и штыков. Я убежден, что придёт время, и эта плотина не выдержит, и тогда каждая такая капелька будет оценена потомками по достоинству. Сколько ты собираешься прожить, майор, что ты расскажешь своим внукам? Как гробил в лагере врагов народа? Уверен, к тому времени, если ты сумеешь сам избежать лагерей, ценности изменятся. Тебе придётся как-то объяснять им, почему тебе пришлось быть исполнителем преступной воли хозяина. Как ты это будешь делать, поймут ли тебя, подаст ли тебе руку честный человек, рождённый твоими детьми, или со стыдом отвернётся? Так или иначе, мы все отвечаем за грехи своих отцов и дедов. — Прохоров замолчал, опустив голову.

Молчал и Битц, пауза затянулась, за окном слышались окрики конвоиров и лай овчарок.
— Ну что ж, поговорили, спасибо за откровенность, Прохоров. На сегодня всё. Я подумаю, что с тобой делать, ещё побеседуем. Шум насчёт письма в бараке не поднимай, иначе его содержание пойдёт к особистам. Ты понял меня, Прохоров? — майор, взглянув на понуро сидевшего зека, нажал кнопку вызова конвоя.
— Увести, — распорядился Битц. — Найдите мне старшего лейтенанта Макушева, пусть срочно зайдёт.

Когда дверь закрылась, Битц вытащил носовой платок и вытер лоб, он почему-то вспотел, хотя в кабинете было довольно прохладно. Да, поговорили, думал он, а ведь прав этот инженер, крутилось в мозгу майора. Испугавшись одной этой мысли, Битц закрыл лицо руками. Раздался стук в дверь, и она открылась.
— Разрешите войти, товарищ майор? — В дверях стоял Макушев, как всегда подтянут и в хорошем настроении.
— Заходи, Степан, дело есть. Дверь закрой поплотнее, присаживайся. В десятом отряде есть такой заключённый, фамилия Горбатко. Нужно, чтобы сегодня блатные узнали, что он стукач. Так оно и есть, он мой кадр, но мне нужно, чтобы его сегодня же ночью убрали. Поручить операм не могу, Степан, дело деликатное, нас с тобой касается. Вопросы есть? — Битц посмотрел на Макушева. Макушев, впервые получивший от начальника такое задание, озадаченно почёсывал затылок.
— Надо, так надо, сделаю, товарищ майор. Недавно случайно подкоп обнаружили, чечены из своего барака рыли. Придётся пустить слух, что нам Горбатко помог. Чёрные его не простят, бараки рядом, думаю, утром мы его с пером в боку найдём. Разрешите идти? — Макушев встал.
— Подожди, Степан. Как там Мария? Не скучает по Забайкалью? Надо бы новоселье твоё обмыть, чего не приглашаешь, старший лейтенант?
— Так ещё только въехали, немного устроимся и милости прошу, товарищ майор, будем рады. — Степан, козырнув майору, вышел из кабинета.

Степан ненавидел стукачей и с лёгкой душой сдал Горбатко блатным, как бы случайно проговорившись о его заслугах при заключённых. На утренней проверке Горбатко не досчитались, его нашли ближе к обеду за котельной в кучах шлака. Горло было перерезано острой бритвой одним движением.

Битц остро отточенным карандашом вычеркнул его из своего списка «продажных душ».

После обеда в кабинет Битца привели Прохорова. Отпустив конвоиров, начальник колонии подошёл к Прохорову вплотную, они примерно были одного роста, и тихим голосом сказал:
— Что ж ты, голубчик, так меня подставил? Я же предупредил тебя, не шуметь насчёт нашего разговора, а ты моего агента под перо поставил. Только ты знал, что Горбатко на меня пашет, письмецо на волю кинуть он тебе обещал, а оно у меня, Прохоров. Нехорошо получилось.
— Гражданин начальник, не пойму, зачем вам на меня убийство вешать, вы же знаете, не моих это рук дело.
— Может, и не твоих, но с твоей подачи, тут сам понимаешь, всё сходится. Присаживайся, Прохоров, чай пить будем.
— Спасибо, начальник, но…
— Никаких но, садись и пей чай, пей чай и думай, что с твоей женой и сыном будет, если твои стихи в ход пойдут. За сексота не переживай, кроме тебя и меня никто его смерть с твоим письмом не свяжет, возьму грех на душу, забуду. Да только ты помни мою забывчивость.
— Зря стараешься, начальник, я масть менять не собирался, шей, что хочешь, можешь и стукача своего на меня списать, возьму. Семь бед — один ответ, только не плети паутину, на тебя работать не стану, как ни крути. — Прохоров продолжал стоять. Битц тем временем наливал крепкий чай в кружки и, выслушав его, ещё раз повторил: — Садись, Прохоров, пей чай, ты мне в сексотах не нужен.
— Тогда что вам от меня нужно?
— Ничего, кроме того, чтобы ты просто выпил горячего крепкого чайку и согрелся, а потом поговорим по душам.

Битц, придвинул к себе кружку чая и стал прихлёбывать бодрящий напиток. Прохорову ничего не оставалось, как сесть к столу и присоединиться к чаепитию. Со стороны показалось бы, что сидят за столом два хороших товарища и пьют чай, тихо беседуя о делах житейских.

Так же тихо сидели и пили крепкий чай в каптёрке одного из бараков трое зеков. Один из них, крепкого телосложения, высокого роста, сутулый, с большой шишковатой головой и потому кажущимися маленькими, глубоко спрятанными в глазницы, серыми глазами, был вор-«медвежатник» по кличке Фрол. Второй, небольшого роста крепыш с курчавой головой и слегка раскосыми, карими глазами, неоднократно судимый за грабежи и убийство, козырный парень по кличке Татарин. Во главе компании сидел русоволосый, сероглазый, среднего роста крепко сбитый мужчина, он был обнажён по пояс и явно был в каптёрке хозяином. На его широкой, поросшей курчавыми рыжеватыми волосами груди красовалась трёхглавая церковь, плечи украшали звёзды и эполеты, во всю спину раскинул свои крылья летящий орёл. Это был широко известный в уголовном мире авторитетный вор в законе по кличке Москва. Недавно он пришёл этапом и теперь, освоившись, принимал лагерь, оставшийся без смотрящего. Его предшественника, крепкого законника Седого недавно зарезали в столовой, зарезали тихо, заточка мастерским ударом вошла со спины точно в сердце, там и осталась, обломанная резким движением убийцы. Седой смог только туманящимся взглядом обвести сидевших рядом за столом и попытался обернуться, но не смог, ничком упал грудью и головой на стол. Никто сразу не понял, что произошло. Среди бела дня, на глазах у братвы кто-то из проходивших мимо смог незаметно убрать смотрящего по лагерю.

Как это могло случиться? На этот непростой вопрос и пытались ответить Москве близкие убитому Фрол и Татарин.

— Расслабились, братишки, расслабились, такую лажу допустили.— Выслушав их, заговорил Москва:— Не мокрушника нужно искать, он никуда не денется,— причину. Кто-то под себя подмять лагерь хочет, руку подняли на законника втихую, любой честный пацан на сходняке мог поднять вопрос, если на Седом что-то было. Ясно, это не личная месть. Здесь надо думать, пацаны, думать. Какого чёрта Седой в столовке делал? С какой поры в лагере законник за один стол с мужиками садиться стал? Что, шестёрок нету харч принести, или западло это стало здесь?

— Нет, Москва, зона не ску́рвилась, Седой всё правильно вёл, и законы соблюдались. Мужики рот стали открывать, пайкой не довольны стали, вот Седой и решил постоловаться вместе с ними, проверить, любил он сам всё смотреть. Пока, говорил, сам не пощупаю, не поверю, что кто-то законную пайку режет.

— Ну и что? Пощупал?

— Не успел, его в этот день и завалили.

— Татарин, а ты где был?— Москва пристально посмотрел на него.

— На разборке. Фраер один рамсы попутал, пришлось слегка поучить,— ответил Татарин, не выпуская изо рта папиросу.

— Вот что, Фрол, займись столовкой, что да как. Татарин, опроси братву, кто что видел, слышал, вечером соберёмся. Мне помозговать надо. Слышал, хозяин в лагере новый, немец, братва говорит, из Сибири, надо и про него проведать, чем дышит.

Москва встал, набросив на себя меховую душегрейку, вышел следом за Фролом в барак.

— Так на чём мы остановились прошлый раз, Егор Иванович?— Допив чай, спросил Битц Прохорова. Тот, отставив кружку, взглянул в глаза начальника колонии и, видно, не увидев в них и намёка на издёвку, покачал головой.

— Чего неймётся-то тебе, майор, неужели задумался, неужели зацепило тебя моей правдой? Ты здесь хозяин, в твоей власти судить и миловать, так принимай решение, мне за такие посиделки с тобой ответ в бараке держать придётся, сам знаешь, кто в лагере правит.

Альберт Генрихович, слушая Прохорова, карандашом что-то нарисовал на листе бумаги и когда тот замолчал, придвинул ему этот лист.

— Есть хорошая русская сказка про богатыря, который стоял на распутье, выбирай сам, Прохоров.

Битц встал из-за стола и, закурив папиросу, стал медленно прохаживаться по кабинету. На листе бумаги Прохоров увидел что-то вроде схемы, в центре— кружок, в котором была вписана его фамилия. Стрелочка влево упиралась в кружок с надписью ГПУ и дальше холмик с крестом.

Стрелочка вниз упиралась в кружок с надписью «секретный сотрудник» и дальше холмик с крестом. Стрелочка вправо упиралась в кружок с надписью «Битц» и дальше стоял большой вопросительный знак.

— Я думал, у меня есть только два варианта. Чтобы сделать выбор, вы должны объяснить мне значение третьего.— Прохоров внимательно смотрел на Битца, продолжавшего прохаживаться по кабинету.

— Если я разъясню значение третьего варианта, а ты, Прохоров, не согласишься, то единственным вариантом для тебя останется четвёртый— пуля в голове при попытке побега через пять минут после того, как ты выйдешь из моего кабинета. Из этой схемы тебе ясно, что ты волен выбрать ГПУ, после чего тебя расстреляют, но имей в виду, заберут и тех, кому адресовано было письмо, и твоих родных тоже, это первое. Можешь выбрать долю сексота, рано или поздно, если тебя не зарежут, ты сам наденешь на себя петлю, поверь, я в этом уверен, это второе. Значит, я тебе предлагаю что-то другое, не связанное с НКВД. Единственное, что я могу тебе сказать сейчас, это то, что твоя совесть перед твоими внуками будет чиста при выборе третьего варианта. Так что выбирай, Прохоров, даю тебе на раздумье сутки. Но эти сутки ты проведёшь один, в карцере.— Битц вызвал конвой и, дав необходимое распоряжение по Прохорову, вызвал к себе Макушева.

После отбоя Фрол и Татарин сидели в каптёрке у смотрящего, попивая чифи́рь, Фрол тихо рассказывал.

— С месяц назад, когда заваруха была, всех начальников под белы ручки на правило увезли, в лагере сменили начпрода. Новый старлей откуда-то с Кавказа, Давлаев, поменял всех поваров и служек,

все чёрные, бля! Они, суки, пайку мужикам резать стали, чёрные в седьмом бараке жируют. Седого, сквозь зубы, уважали, на рожон не лезли, а как Давлаев появился, борзеть стали. Без предъяв, без спроса недавно мужика зарезали. Опера затаскали, а мы и впрямь не в курсах, в общем беспредел пошёл. Татарин, что там Гнилой базарил, выкладывай.

Татарин, играя желваками на скулах, затянулся и, погасив папиросу, сказал:

— Всё одно к одному, видели чёрных в столовке, выскакивали через кухню, когда шухер по Седому поднялся, Гнилой в мусорке ковырялся, успел присесть, они его не видели. Веры старому пидору на разборке всяко не будет, а так всё ясно, кажись, Москва. Глушить надо сук за Седого.

— Сколько чёрных в лагере, под кем ходят?—спросил Москва.

— Душ триста в двух бараках, ходят под Ашотом, погоняло у него Казбек,—ответил Фрол.

— Татарин, вызови его на разговор завтра в обед, в столовой,—сказал Москва.

— О чём говорить, Москва, всё ясненько и так, резать их надо всех.

— Не ори, Татарин, я зоны не зря топчу, надо до конца разобраться, ты его спокойно, вежливо пригласи, скажи, Москва пришёл, познакомиться хочет с братвой. Пока никаких предъяв, понял меня?

— Понял. Сделаю, как ты сказал.—Татарин, пожелав доброй ночи, вышел.

— Фрол, собери десяток надёжных людей, сядьте перед встречей так, чтобы из их барака ни одна мышь незамеченной не проскочила. Увидишь, если сразу толпой пойдут, дашь знать. И валите к столовой, прямо сейчас поставь на догляд. Я всё должен знать и днём и ночью, кто с ними дела имеет.

Отправив Фрола, Москва, не раздеваясь, прилёг на кровать, приглушил керосиновую лампу и задумался. Много повидал на своем веку Виктор Вианорович Смолин, больше четверти века по лагерям да ещё по царским тюрьмам. Это была его жизнь, он не представлял себе другой, да и не хотел что-либо менять в ней. Вот уже десяток лет, как он «коронован» на питерском общаке и не раз приходилось ему решать непростые лагерные споры. Последние годы весь гнев праведный по лагерям обрушился на новую категорию зека, «врагов народа», а их, матёрых уголовничков, как бы и перестали прессовать по-чёрному. По крайней мере, без особой нужды не ломали законников и не мешали жить по воровским законам. Были случаи, когда в лагерях тупоголовые опера с хозяином пытались натравить уголовку на политических, но где он присматривал за братвой, этого не случилось. Москва считал любое сотрудничество с операми и хозяином недопустимым для честных воров и всякий раз разгадывал их замыслы. Сейчас он думал о том, не дело ли рук хозяина—убийство Седого. Подставить чёрных под ножи для каких-то своих целей? Не может быть, он только вошёл в лагерь, его и в лицо-то толком никто не видел. Всё началось при старом хозяине или этот новый начпрод, действительно, своим кавказским братьям поддержку пообещал, те и стали крыльями бить от восторга. Ладно, утро вечера мудреней. Смолин затушил лампу и лёг спать. Он всегда быстро и крепко засыпал, но спал ровно столько, сколько сам себе назначал. Проснуться в полшестого, сказал сам себе Москва, и провалился в сон.

Лагерь спал, спали заключённые в бараках, спали охранявшие их собаки в вольерах, не спали только вертухаи, часовые на вышках, да дежурный офицер боролся со сном в дежурке, то и дело, накручивая ручку полевого телефона и донимая по очереди часовых на вышках. Прожектора ровным неподвижным светом освещали пятиметровый коридор между двумя рядами колючей проволоки и четырёхметровым забором, отгораживающим один мир от другого. Трудно было понять, в каком из этих миров жилось легче и спокойней человеку.

Не спали ещё двое: в карцере ворочался на деревянных нарах Прохоров, никак не находя себе удобную позу, а может быть, потому, что он, пытаясь логически всё осмыслить, никак не мог понять, что предлагает ему начальник лагеря. В какую игру он собирается с ним играть? Может, послать его и дело с концом? Он представил себе, как люди в штатском ночью разбудят его жену, и она, прижав к себе ребёнка, будет с ужасом смотреть, как они переворачивают всё вверх тормашками, обыскивая их комнату в коммунальной квартире. Как придут к его школьному другу и ещё ко многим, кого он знал и любил. Нет, это не выход. Лучше просто пулю в лоб при попытке побега, если третий вариант для него будет неприемлем. Приняв решение, Прохоров успокоился и уснул, чтобы утром, проснувшись, ещё раз на свежую голову попытаться разгадать игру Битца.

Не спал и Битц. Он принял решение, и теперь боялся допустить ошибку, уж очень велика была степень риска в его игре. Он ещё и ещё раз просматривал дело Прохорова, внимательно вглядываясь в его фото, искал и не находил даже малейшего признака, который оправдал бы его опасения. Нет, он не ошибался, Прохоров подходит для его целей как нельзя лучше. А задачи у майора были очень серьёзные и долговременные, и поставлены они ему были в Москве, когда он, ожидая назначения, ненадолго заехал к жене. Они с Вероникой жили врозь уже много лет. Юная революционерка, влюбившаяся когда-то в Битца, помотавшись с ним по лагерям, забеременев, уехала рожать к матери в столицу, где и осталась. Редкие её приезды всегда были праздником в первые дни и заканчивались лёгкой ссорой, после чего она уезжала, и только несколько месяцев спустя приходило её первое письмо, в котором она великодушно прощала своего «котика» и писала о своей любви к нему, обещая уже скоро снова приехать.

Так повторялось из года в год, и они оба привыкли так жить, их это устраивало. Единственным святым связующим звеном для них был сын, которого они оба боготворили. Вероника как безумно любящая мать посвятила себя ребёнку, на время оставив даже свои мечты о всеобщей мировой революции. Нигде не работая, она ходила на курсы иностранных языков при Московском университете, и после

нескольких лет упорных занятий овладела в совершенстве немецким и французским языками. Её брат, один из помощников грозного наркома внутренних дел, помог устроиться Веронике на работу в Наркоминдел переводчицей, а вскоре она стала секретарём аналитического отдела по западной прессе. Её основной работой было постоянное ознакомление с публикациями в большей части зарубежных эмигрантских изданий и прочей литературой антисоветского толка, привозимой и присылаемой посольствами из стран Европы, их анализ. Во время первой чистки рядов партии она уцелела благодаря поддержке влиятельного брата. Вторая чистка унесла, как листья с дерева осенью порывом ветра, большинство старых, проверенных ранее сотрудников Наркомата. Однако Веронику не тронули. Её брат перед самыми грозными арестами как-то странно погиб. Официально сообщили, что авиакатастрофа унесла из жизни преданного делу Ленина и Сталина большевика П. В. Ионина. Тело хоронили в закрытом гробу, и похороны были очень скромными. Как раз в это время приехал её муж, на похоронах он не присутствовал, не успел. На поминки, устроенные в доме матери, из сослуживцев Петра почему-то никто не пришёл. Так они и помянули его втроём: мать, Вероника и прямо с вокзала приехавший Альберт. Битц, обрадованный переводом в центральную Россию, возможностью чаще видеть жену и сына, не ожидал попасть на поминки, и, конечно, встреча получилась печальной. Но горе как-то сблизило их, и они, уехав к себе, долго не могли наговориться. Ночью Альберт ласкал жену, и она, как в молодости, отдавалась ему самозабвенно и неистово. На следующий день у Вероники был выходной, они его провели вместе, разговаривая о дальнейшей жизни. Сын Игорь, курсант военного училища, был на учениях и, к сожалению, не смог увидеть отца. Но, наверное, это было и хорошо, никто не мешал тому серьёзному разговору, который произошёл у них вечером. Вера действительно была рада приезду мужа, он был единственным человеком, с которым она могла поговорить, рассказать ему, о чём болела душа, ничего не опасаясь. В редкие встречи с братом она пыталась заговорить с ним, но брат был замкнут и не шёл на разговор, если речь заходила о чём-либо, связанном с политикой, хотя раньше они вечерами дискутировали на эти темы. Последняя их встреча насторожила Веру, Пётр был расстроен и растерян. Он говорил, что ей нужно быть крайне осторожной, никому не доверять и вообще лучше ни с кем не общаться. На вопросы о том, что случилось, махнув рукой, сказал.

— Случилось не сейчас, случилось уже давно и исправить уже нельзя, теперь нужно уцелеть.

Вера не верила своим ушам. Это говорил её брат, ленинец с дореволюционным партийным стажем. Она много думала в последние месяцы, и вот теперь, когда приехал Альберт, она выплеснула свои мысли, буквально повергнув его в шок. Она была истинной большевичкой ленинской закалки, и то, что происходило в стране в последнее время, сначала просто не понимала. Но у неё хватило ума не задавать вопросов на партийных собраниях, она интуитивно чувствовала опасность. Читая огромное количество зарубежной прессы, она стала невольно анализировать события политической жизни страны и то, как на них реагируют буржуазные соседи. Чем больше она анализировала, тем больше у неё возникало вопросов, ответы на которые ей никто бы сейчас не дал, тем яснее она стала видеть реальную действительность. Ей становилось страшно, она увидела настоящее и начинала предвидеть будущее. И от этого светлое прошлое, которым она жила и гордилась, ради которого пролилось, как ей казалось тогда оправданно, так много крови, те идеалы свободы и братства, ради достижения которых были уничтожены миллионы, всё это рухнуло в небытие. Она видела причину и понимала своё бессилие. Теперь она знала точно, почему лучшие люди покидают родину, почему оборвали свои жизни выдающиеся поэты и писатели, почему сами стрелялись соратники Ленина, а тысячи других честных людей исчезали по ночам. Нет ничего страшнее разочарования в том, чему была посвящена жизнь. Нет, рассудок не покинул её в эти минуты, она решила бороться и об этом своём решении она сказала только одному человеку, своему мужу, Альберту Генриховичу Битцу. Он никогда не был идеалистом и в партию вступил из чисто практических соображений, он не был русским и судьба этой страны не задевала его сердца, всё это Вера знала давно. Но ещё она знала, что Альберт безумно любит её и сына, ради них пойдёт на всё, и она не ошиблась. Далёкий от политики, службист и карьерист, Битц сразу понял, что на карту поставлена судьба их семьи, и Вере нужна его помощь и поддержка. Он всецело ей доверял, особенно в вопросах политики, да и то, что творилось вокруг, свидетельствовало о её правоте. Он, как и она, пока не видел никакого выхода, оставалось, сохраняя лояльность режиму, в случае личной опасности, готовиться к самым решительным действиям. Оба понимали, есть здравомыслящие люди, которые понимают преступность сталинской политики, но как их найти? Как в обстановке тотальной слежки и всеобщей слепоты увидеть честного человека, чтобы можно было довериться ему? Эту задачу и взял на себя Битц, он был специалистом по людским душам. Прохоров был первым, кому он поверил и которому завтра должен был открыть свои замыслы, потому и не спалось начальнику лагеря в уютной кровати, перина которой хранила запах тела его любимой жены.

Ровно в полшестого Москва открыл глаза. Резко сбросив с себя одеяло, он в одних трусах вышел из барака на улицу и, уминая выпавший ночью мягкий снежок голыми ступнями ног, чуть отойдя от барака, стал обтирать тело снегом. Тело наливалось бодрящей силой. Закончив ежедневную процедуру, он, не спеша, вернулся к себе в каптёрку и до красноты растёрся жёстким шерстяным полотенцем. Вертухаи на вышке каждое утро видели, как этот до синевы в наколках зек ровно в полшестого выходил и совершал свой моцион, хоть часы по нему

сверяй, да часы, правда, были не у всех. Сразу после утренней проверки и завтрака бригады потянулись из лагеря на работы в каменные карьеры, крики команд и лай овчарок стихли, когда в каптёрку заскочил Татарин.
— Слушай, старый, Казбек хочет встретить тебя у себя в бараке, говорит, согласно законам гостеприимства, он ждёт тебя в своём доме сегодня после ужина, просит не обижаться и принять приглашение. В столовке, говорит, ушей много, разговор на сквозняк выйдет. Короче, замануха, Москва, на своей территории он хозяин, идти туда нельзя.
— Он на это и рассчитывает, что я не пойду. Если не пойду, значит, уже подозреваю его в чём-то, значит, насторожится, и его трудно будет потом взять, если он ссучился. А так его прикиды правильные, гостей в доме встречают,— ответил Москва.— Только встретимся мы до обеда, передай, времени у меня мало, дела после ужина важные, так что приду через пару часов, пусть встречает.
— Понял. Кого с собой возьмёшь?
— Ты пойдёшь и Фрол, пару пацанов у входа оставите. Спокойно, Татарин, Казбек не дурак, сразу в бутылку не полезет, понтовать будет, а до дела не дойдёт. Не готов он будет. Если что и готовит, то к вечеру, а мы сейчас придём с дружеским визитом. Скажи, ответа Москва ждать не велел, его дом в моей хате только комната, приду посмотреть, как там честные пацаны живут.

Не успел Татарин выйти, как пришёл Фрол.
— Москва, с утра в седьмом дважды Давлаев был, люди мои видели, как Казбек гонцов в столовку посылал после ухода Татарина. И ещё, неделю назад шестьдесят заточек с промзоны мужики пронесли в барак чёрным, на хлеб и чай меняли, видно, заказал Казбек.
— Да, есть о чём поговорить. Фрол пойдёшь со мной в седьмой. Казбек, правда, на ужин пригласил, а мы на полдник пожалуем. Как думаешь, не обидится? Татарин, дуй в седьмой, обрадуй Ашотика.— Москва, погасил папиросу и спросил Фрола:— Что по хозяину люди говорят?
— Да, кое-что удалось узнать, он из забайкальской пересылки, только дела принял и знакомится со своими, бараки ещё не обходил, политических дёргает на допросы, вчера одного в карцер упёк. В общем, темно пока, не проявился никак. После обхода, может, кто из бродяг его вспомнит.
— Ладно. Давлаева он притащил с собой?
— Нет, этот орёл намного раньше прибыл.
— Хорошо что так, значит, хозяин, может, и не в курсах. Ну что, пора навестить Казбека, идём, Фрол. Татарин с пацанами должен у шестого барака ждать.

Накинув телогрейки, они вышли из своего барака и пошагали в сторону шестого, где, присев на корточки, ожидали их несколько человек. Татарина среди них не было, но братва поняла, кто идёт рядом с Фролом, и все поднялись при их приближении. Остановившись, Москва поприветствовал всех и спросил:
— Уважаемые, где здесь остановка трамвая до центрального рынка?— Дружный хохот был ему ответом.
— Зачем тебе рынок, Москва?— подыграл кто-то из стоявших.
— Да по южным фруктам соскучился, уже забыл, какая на вкус мякоть у кавказских персиков.— Смех умолк и кто-то серьёзно ответил:
— Гнилые на местном рынке персики, Москва.
— Ну, братва, я проверю, если гниль завелась, в сортир опустим, чтобы воздух не портили.
— Москва, встречи не будет, седьмой барак вертухаи шмонают,— сказал подбежавший Татарин и, оглянувшись, добавил:— С чего бы это? Обычно шмон с политических начинали и по порядку, весь лагерь знал, когда, в какой барак вертухаи нагрянут, а тут ни с того, ни с сего.
— Не хочет Казбек разговора, вот что я думаю. Заказал он шмон через Давлаева. Видно, и впрямь гнилые персики, братва. Что ж, сегодня после отбоя соберём сходняк, будем решать, что делать.

В обед в лагере произошла большая драка в столовой. Одна из бригад, пришедшая с карьера, отказалась есть баланду из воды и картошки. На шум, поднятый мужиками, из кухни вышли несколько чеченцев, один из них нагло заявил, что мясо должны кушать настоящие джигиты, а баранам мясо не положено. Метко брошенный кем-то из мужиков табурет сбил с ног говорившего, и началась свалка. Подоспевшие конвоиры и надзиратели растащили дерущихся, только применив оружие.

Битц, прибывший на место, увидел около сотни зеков, лежащих на земле под дулами винтовок взвода охраны, и выслушал доклад начальника отряда о причинах происшествия. Не говоря ни слова, Битц сразу же прошёл на кухню, где повар прямо из бака зачерпнул и предъявил ему порцию наваристого мясного супа. Тут же начпрод лагеря Давлаев доложил, что он лично снимал пробу перед обедом и не понимает причины отказа заключённых от пищи. Но обмануть Битца не удалось, из кухни он вышел к столовую и хоть там всё было перевернуто, в одной из мисок сохранились остатки того варева, что стало причиной драки. Видно, вывернуть в общий котёл мясное варево повара успели, а тут промашка вышла, и новый хозяин это понял. Битц не торопился принимать решения, он всегда хорошо продумывал каждый свой шаг. Он прекрасно понял, что из себя представляет старший лейтенант Давлаев, лишь взглянул в его слегка подёрнутые поволокой наглые, блестящие глаза. Он обратил внимание и на то, что работники кухни все на одно лицо, чернобровые красавцы с орлиными носами.

Личное дело начпрода ещё не побывало у него на столе, поэтому он просто приказал ему впредь лично контролировать раздачу пищи. Битц не стал выявлять виновников побоища, он опять же спокойно дал указание Давлаеву сменить весь персонал кухни и не позже, чем через сутки, доложить об исполнении приказа. Бригаду, устроившую бузу, приказал накормить и отправить на работы без разборок. В этот день заключённые лагеря впервые за долгое время нормально пообедали. Среди зеков о хозяине прошла молва как о нормальном мужике. Даже Москва оценил

спокойные и решительные действия Битца. Грамотно развёл, умный мужик.

В кабинете Битца ждала срочная телефонограмма: «Прибыть сегодня Киев Управление восьми часам совещание». Битц срочно вызвал Макушева и уже на ходу сказал ему:
— Степан, в карцере заключённый Прохоров, проследи, чтобы его нормально покормили и скажи ему, что разговор придётся продолжить завтра, я срочно выезжаю в Киев на совещание. Завтра к вечеру буду. Остаёшься за меня. Привет супруге.

Не дав Макушеву ничего сказать в ответ, Битц быстро пошёл к ожидавшей его полуторке. «До Киева не меньше пяти часов пути, к восьми успею»,— думал Битц, трясясь в кабине грузовика. Выглянувшее из-за туч солнце ослепительно ярко светило с высоких небес, освещая бескрайние украинские степи. За время службы в Забайкалье Битц отвык от того, что горизонт можно видеть так далеко, и он с любопытством осматривал проплывавшие мимо заснеженные пейзажи. Настроение у него было хорошее, и он, закуривая, угощал папиросой и водителя, вольнонаемного украинского парня Сергея, который не умолкая, рассказывал Битцу о местных достопримечательностях.

В своём бараке бушевал Казбек, он был недоволен раскладом и, собрав своих бойцов, именем Аллаха пообещал наказать тех, кто пролил кровь его братьев. В столовой в ходе драки им здорово досталось, один джигит с проломленной головой лежал в коме в лагерной больничке. Вечером, после ужина, несколько человек из взбунтовавшейся бригады были сильно избиты, а один пропал. Обо всём этом сразу стало известно Москве, и после отбоя, когда на сходняк собрались воры и бродяги из всех бараков, было принято единогласное решение — мочить всех чёрных.

Около четырёх часов утра к двум баракам, в которых спали люди Казбека, стянулось около четырёх сотен вооружённых заточками и ножами зеков. По плану, разработанному Москвой, по две сотни самых отчаянных и надёжных людей должны были под руководством Фрола и Татарина по-тихому с обоих концов войти в бараки. Убрав дежурных или охрану, если она будет, быстро занять центральный проход и одновременно начинать своё дело. Всем идти с закатанными по локоть рукавами. Спящих заточками бить в ухо, тогда умирают без звука, ножами резать шеи, зажимая рот. Нужно всё сделать по возможности тихо. Москва в седьмой барак пойдёт за Казбеком сам, он должен остаться живым, сходняк принял решение его опустить.

Когда наступило утро, продрогшие на вышке часовые как всегда в полшестого увидели вышедшего в одних трусах на снег заключённого Смолина, который с удовольствием, обеими руками сыпля на себя пригоршнями хрустящий от морозца снег, обтирался им. Присев несколько раз, он не спеша отправился обратно в барак. В лагере в эти последние перед подъёмом минуты было тихо и спокойно. Через какое-то время прозвучал ревун, и бараки наполнились шумом и гамом проснувшейся людской массы. Только в двух бараках стояла поистине мёртвая тишина. На выходе из седьмого барака в луже крови ползал и что-то невнятно причитал голый мужчина, его безумные глаза были полны ужаса, перебитый нос, выбитые передние зубы и разорванные губы делали его лицо почти неузнаваемым. Мало кто смог бы признать в нём в этот момент гордого сына гор Ашота по кличке Казбек. Теперь у него было новое погоняло — Машка. На следующий день он повесился.

Такого случая в истории лагерей России ещё не было. Массовое убийство почти трёхсот человек, совершённое настолько организованно и дерзко, что обнаружено оно было только утром, два барака трупов и ни одного свидетеля столь страшного по своей бесчеловечности преступления. Кровавые разборки в лагерях были обычным делом, и администрация в них особенно не вмешивалась, потому что найти виновных, как правило, было невозможно. Круговая порука, существовавшая в преступной среде, была прочной гарантией существования воровских законов, по которым жили заключённые. Как правило, обладая достаточной оперативной информацией, администрация лагерей хорошо знала преступную иерархию своих подопечных и в случае необходимости находила рычаги управления ими. Макушев утром по телефону звонил в управление, чтобы найти там Битца и доложить о случившемся. Но дежурный по управлению не посмел вызвать того с совещания, вёл его новый заместитель начальника Главупра Нефёдов, прибывший самолётом из Москвы. Только в двенадцать дня сам Битц дозвонился до лагеря и услышал от Макушева доклад о случившемся. Первая мысль мелькнула у него в голове: его ждёт разжалование и трибунал. Он решил немедленно доложить о случившемся начальнику управления. Тот, занятый приёмом высокого начальства, отмахнулся от Битца, подошедшего к нему с докладом о чрезвычайном происшествии в лагере. Битц успел сказать, что ночью в лагере была резня между группировками и есть жертвы, на что тот ответил:
— Езжай и разберись на месте у себя, потом доложишь, позже, письменно.

С тяжёлым сердцем возвращался он в лагерь, дорога показалась нескончаемо длинной. Однообразный ландшафт за окном уже не интересовал Битца, его мысли были заняты одним: как выйти из ситуации. Он вспоминал совещание, посвящённое укреплению законности и усилению требовательности к работникам пенитенциарной системы, новый нарком требовал усилить борьбу за чистоту рядов НКВД как передового отряда советского народа, стоящего на страже социалистического правопорядка. Да, думал Битц, чистка продолжится, и эта резня в лагере может стоить ему головы.

Тем временем Макушев, организовав работу столовой и кухни, вся обслуга которых полегла ночью в бараках, выводил отряды на работы в карьер. Часть бригад занимались подготовкой

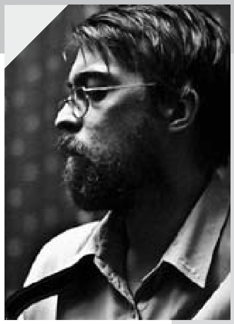
к захоронению погибших, копали несколько длинных траншей, тюкая ломиками промёрзшую землю. Метавшийся по лагерю, серый от ненависти и гнева, которые он не мог скрыть, старший лейтенант Давлаев отказался выполнить приказ Макушева руководить работами по очистке бараков и в обед куда-то исчез. Трупы из бараков выносили и укладывали рядами на снег, двести семьдесят два человека с ножевыми и колотыми ранениями в основном в голову и шею насчитал Макушев. Такого побоища он не видел со времён гражданской войны. Самое главное, что в лагере было тихо и спокойно, как будто этой ночью ничего не произошло. На утренней проверке Макушев сам обходил ряды построенных перед бараками заключённых, пытаясь заметить следы ранений или крови на одежде. Безрезультатно. Создавалось такое впечатление, что никто ничего даже не слышал, заключённые делали удивлённые лица и божились, что ничего не знают, так как спокойно ночью спали у себя на нарах. Макушев решил ничего до приезда начальника не предпринимать. Бараки были оцеплены комендантским взводом. Единственный живой заключённый, обнаруженный в седьмом бараке, был явно не в себе, его поместили в санпункте, приставив охрану.

К ужину вернулся начальник лагеря. Осмотрев место происшествия и выслушав доклад Макушева, Битц распорядился доставить ему в кабинет осуждённого Смолина. О чём говорили несколько часов начальник колонии и смотрящий лагеря, осталось тайной, только на следующий день старший лейтенант Давлаев подал рапорт с просьбой о переводе его из лагеря. Битц составил подробную служебную записку о случившемся в лагере инциденте и спецпочтой отправил в Киев. Там судьба Битца была решена одним росчерком пера — «В архив», такую резолюцию поставил на документе начальник управления.

«В этом лагере был полный бардак, для того и поставили туда Битца, чтобы навёл порядок. А за эти грехи отвечать должен был его предшественник Феоктистов, да негодяй уже расстрелян. В архив».

Так рассудил новый замнаркома, выслушав доклад начальника управления. Битц напрасно ожидал приезда следственной группы или начальства. Не до того было в управлении, не до него, а уж тем более не до погибших заключённых. В системе шла большая реорганизация, новый нарком Лаврентий Павлович Берия брал власть в свои умелые руки. Узнав о решении руководства, Битц, воспрянув духом, с удвоенной энергией взялся за работу. Его репутация должна быть идеальной, это было крайне необходимо для него, его семьи, для реализации поставленной цели.

Прохоров, отсидевший трое суток в карцере, зла на начальника лагеря не имел, отоспался, нары днём у него не убирали, кормили его полной пайкой, отдохнул от работ и, в общем, выглядел значительно лучше. У него было время хорошо подумать, и он принял предложенный Битцем третий вариант, теперь он ждал, что ему скажет хозяин. Битц вызвал его вечером, и у них был долгий разговор.



Артём Яковлев

Кавказский дневник

Путевые заметки

Часть 2: Северный Кавказ—Азербайджан—Грузия—Армения—Турция—Абхазия—Украина.

III. Северный Кавказ

Поезд Москва—Кисловодск

Поезд до Минвод был заполнен под завязку. В моём купе были заняты все места. Я помещался наверху. Подо мной обитал какой-то московский мажор. Вихрастый, лет пятидесяти худой мужик, он всё время был закупорен в наушники плеера и никак себя не проявил.

Напротив меня на верхнем сидении валялась жаждущая тётка. Ещё не доехав до курорта, она уже жаждала курортного романа. С тоской и голодом она глядела в окно—в ростовскую ночь. И всё вертела в руках сигарету, водила по ней пальцами. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Просто иллюстрация к Фрейду.

Наконец, в купе был полковник. Уже второй в череде моих попутчиков. И, надо сказать, не последний. Этот полковник был примечателен двумя вещами. Во-первых, общался он исключительно с помощью одного странного слова «эм». Даже вместо приветствия, войдя в купе, он сказал:

—Эм.

И было непонятно—то ли он кашлянул, то ли промычал что-то про себя. На всякий случай мы все сказали «здравствуйте». Даже мажор в наушниках сказал.

А во-вторых, ночью полковник побил мировой рекорд по громкости храпа. Мне даже приснился про него сон.

Сон был такой: полковник будто бы проснулся и извинился перед нами:

—Простите, что я так громко храплю. Эм,—сказал он,—эм.

И даже по-японски поклонился нам до земли. А затем будто бы сказал, что у него есть специальное разрешение на храп. Так что мы не сможем жаловаться на него.

Мы, впрочем, и не собирались. Что уж поделать, если он такое громкоспящее существо? Так до утра и слушали его рулады.

Кисловодск

Поезд от Ростова до Минвод идёт одну ночь. В шесть утра по местному мы уже прибыли в курортный район.

Нелишне знать, что весь этот участок—от Минвод до Кисловодска—есть на самом деле один город. Официально все местные пункты—Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск—считаются отдельными и самостоятельными. В реальности же они—самые обычные микрорайоны. В единой общей системе, которая так и называется—Кавказские минеральные воды, КМВ.

Когда вы едете в КМВ, экономически правильно брать билет до самого первого из этих городов—Минвод. А дальше уже стоит ехать городским транспортом.

Электричка имени Арно Рубика

Основной вид сообщения между городками—электричка. При малейшем навыке езды в ней вы научитесь экономить деньги и на любую поездку тратить не более десяти рублей. Ходят электрички часто (обычно не реже, чем раз в полчаса)

Внимания заслуживают продавцы в электричках. Наряду с обычной мурой—всяческими эскимо, носками и непромокаемыми плащами «Геракл» (почему Геракл? наверное, потому, что они рвутся от малейшего прикосновения;—чувствуешь себя не меньше, как Гераклом)—здесь торгуют, например, схемами сборки кубика Рубика, а также эксклюзивным сибирским (!) методом лечения керосином.

И метод, и кубиковая схема набраны в программе Notepad, напечатаны на струйнике, со слепыми неразборчивыми местами. Как говорится, премудрость требует жертв.

Интерьеры

Минеральные курортные городки разделены чётко на две части—курортную и жилую. Так в жилом доме—есть гостиная, а есть спальня.

Бабки на охоте

Лучший город для того, чтобы снимать комнату,—Ессентуки. Он наименее богат достопримечательностями и потому является самым неизбалованным в ценовом плане. Также неплохо снимать комнату в Минводах. Худшие варианты—раскрученные Пятигорск и Кисловодск. Туда можно соваться только человеку, искушённому в торговле.

Я, например, сдуру докатился сразу до Кисловодска, а далее, по природной лени, уже выбирал комнату в самом этом городке. Комнату в любом городке, к слову, снять очень просто. Местные бабки и дедки живут как раз за счёт туристов. Они выходят к каждому поезду, как на работу.

Даже при самой зверской торговле не удалось опустить цену ниже 400 рублей за сутки. А вот в Ессентуках встречаются варианты вдвое дешевле. Правда и номер попался классный—в самом центре города, с душем, с кроватью площадью в пол-Лихтенштейна и даже с бонусом—каким-то фэншуйским веером на стене.

Идеальный шум

Метрах в десяти от моего «отеля» текла речушка. Назывался этот вольный кавказский поток вполне по-русски: Берёзовая. Никаких берёз там и в помине не было, а сама река была настоящий Терек—бурная, узкая. Только черкешенок с кувшинами и не хватало.

Круглые сутки река издавала очаровательный шум. Под него превосходно спится. В городе его совсем не замечаешь, и лишь уехав из Кисловодска, я отметил вдруг его отсутствие и даже заскучал по нему. Вот самая лучшая feature—она не докучает тебе, но скоро становится привычна и любима.

И другие реки

Кроме Берёзовой, в Кисловодске протекают ещё Ольховка, Белая и Подкумок (который позднее меняет пол и начинает называться Кума). Всё это маленькие речушки, которые в Сибири даже на карту бы не попали. Здесь, однако, они считаются весьма уважаемыми потоками—солидно плещутся, пенятся. Одним словом, ведут себя с достоинством. На Курортном бульваре есть скромная, но гордая табличка. На ней прочерчена риска и указано, что—вот, мол, до этого уровня доходила вода в Берёзовой во время половодья несколько лет назад. Уровень, прямо скажем, немаленький. В центре города воды было почти по пояс.

Потому, несмотря на невеликость, местные реки интересны и уютны. Очень приятно сидеть летним днём на берегу такой Ольховки.

Чанахи

В Кисловодске полезно «знать места». Их могут тебе объяснить только аборигены. «Места»—это, например, дешёвый ресторан (а лучше столовка—кисловодцы очень любят питаться в столовках, и еда в них неплохая), магазинчики сувениров и прочее. Не зная мест, ты умножаешь расходы минимум вдвое. А то и просто приписываешь к ним лишний нолик.

Тётка, которая сдала мне комнату, показала пару таких мест. В одном из них я приобрёл первый свой кавказский завтрак. Был он таков—вполне сносная солянка (это, вообще, образец блюда, которое весьма трудно испортить), а также некое «чанахи». Это оказались куски баранины с овощами в горшочке. Непонятно, чем это блюдо принципиально отличается от известного азу, а также—почему всю эту экзотику подают обязательно в горшочке.

Переход «Засуха»

Около вокзала в Кисловодске есть подземный переход. После любого дождя его заливает водой, так что он работает только во время засухи. В остальной период года там расположено озеро.

Пару раз хотел было спуститься и обозреть этот пещерный водоём вблизи. Но всегда меня предупреждали:
—Не ходите туда! Обходите! Там затоплено!—словно бы там располагалась какая-то Ниагара.

Советчики

Кисловодцы вообще очень любят советовать. Страсть их к услугам часто переходит в назойливость. Нельзя просто подойти к афише и читать её—немедленно тебе советуют купить (либо наоборот—«ни в коем случае не покупать»). Нельзя даже вовсе встать посреди улицы—думают, что ты потерялся. Боишься иногда просто глядеть по сторонам.

Aegrocratia

Самая же главная каста в городе—диабетики. А также почечники, язвенники и прочая больная братия. Для них здесь всё.

Здоровые люди согнаны в резервации, либо скрываются. Для маскировки они вынуждены также глотать нарзан и гулять пешком.

В любом магазине продаются диетические товары. Это, впрочем, и неплохо.

Более того,—Кисловодску как-то удаётся не скатиться к атмосфере этакой богадельни. Наоборот, здесь царит здоровый, хотя и несколько пресный, по-европейски размеренный дух.

По ночам не громыхают байки, не дерутся пьяные мужики. Не ломятся в твой номер проститутки. Днём с огнём не сыщешь холодного пива. Везде дорожки с перильцами, куда ни плюнь—санаторий или профилакторий.

Всё не как у людей, одним словом.

Коварство улиц

В Кисловодске крайне трудно ориентироваться. Даже детальнейшая карта, которую я купил (1:25 000), постоянно ставила меня в тупик. Старый город в этом отношении схож с узбекской махаллёй. Всё в нём перепутано; неширокие, узкие и узчайшие улочки намешаны, как спагетти в тарелке. Иная улица может быть шириной едва в метр. А пропустишь её—и хоп!—уже прошёл нужный поворот. Так, например, я и не отыскал городскую мечеть и ЦУМ—два здания, к которым имел пристрастный интерес.

Кое-как нашёл я дорогу в курортный центр города, где находились музей и галерея.

Музей заповедей казачества

Вход в Кисловодский музей стоит 50 рублей. Вполне себе божеские деньги.

Расположен музей в здании какой-то старинной крепости и довольно богат экспонатами.

В нём водится великолепная вещь—«заповеди казачества». Я даже переписал эти заповеди себе в блокнотик:

1. Честь, доброе имя казака дороже жизни, бесчестие—страшнее смерти.
2. Казаки—братья: все равны в правах.
3. Казак—воин. Без дисциплины нет ни казака, ни казачества. Воля, сила духа твоя—в Вере.
4. По тебе судят обо всём казачестве.
5. Служи народу, а не вождям.

6. Держи слово. В нём твоя честь.
7. Чти старших.
8. Держись обычаев народа, веры предков.
9. Погибай, а товарища выручай.
10. Будь трудолюбив, не бездействуй.
11. Береги семью, будь ей примером.
12. В бедах казачества ищи вину в себе.

Несмотря на определённую напыщенность, эти заповеди примечательны и верны. Если бы нынешние казаки в самом деле жили по ним — какой бы хороший народ был! Их существование тогда бы имело смысл, а не ограничивалось петушистым похаживанием в папахах.

Музейные тётки с подозрением смотрели, как я записываю эти заповеди себе в блокнот. Сдуру я ещё спросил у них — откуда взялись такие заповеди?

Они не знали, но немедленно начали звонить чуть ли не в Москву. В Пятигорск и Ставрополь точно звонили. Я уж был не рад, что задал такой вопрос, и смущённо утёк дальше — в зал современного быта.

Там через десять минут отыскал меня какой-то взмыленный мужик и сообщил радостно, что — они выяснили! Они не дрогнули и поставили на уши всех историков Ставропольского края.

— Эти заповеди — из казачьей энциклопедии! — доложил мужик. И разве что честь не отдал.

Я ответил, что теперь моя жизнь не прошла зря. Но он не отставал и всё смотрел на меня. Как рядовой на прапорщика. Как кореец на портрет Ким Ир Сена. Как группа «Стрелки» — на клип Мадонны.

В общем, пришлось вытащить блокнот и крупными буквами (чтобы было видно) вывести в нём «*Казачья энциклопедия*». Только тогда мужик остался доволен и солидно ушёл. На его место субституировалась худая бабка, села на стул и стала за мной привычно и спокойно наблюдать — как бы я не спёр ихние ржавые самовары и потрескавшиеся сапоги.

В Кисловодском музее есть также стенд о Солженицыне. Он считается уроженцем города. Интересно, что в Ростове Солженицына тоже считают земляком. Александр Исаевич — просто Гомер какой-то.

В целом Кисловодский музей интересен. Жалко лишь, что мала в нём дорусская, средневековая экспозиция — едва четыре стенда.

Но и из них узнал новую для себя вещь. У аланов, оказывается, существовал обычай деформации головы. С детства ребёнку искусственно удлиняли череп. Так что иногда можно было встретить людей, у которых лоб был размером в локоть. Эта тенденция сохранялась до 8–9 века нашей эры.

Галерея Ярошенко

А вот другая примечательность — художественная галерея Кисловодска. Примечательна она, прежде всего, своим расположением. А именно тем, что вместо залов здесь — отдельные домики. Они якобы остались в неприкосновенном виде со времён самого Ярошенко.

Первый из домиков — как раз дом-музей Ярошенко, автора картины «Курсистка». Причём самой этой картины в музее-то и нет. Другие известные работы автора — «Всюду жизнь» и «Кочегар» — представлены репродукциями. Хранительница спёрла всю вину на наглых москвичей — мол, Третьяковка забрала оригиналы.

«Кочегар», впрочем, и в репродукции очень силён. А вот «Всюду жизнь» страдает излишней декларативностью. На всякий случай напомню сюжет этой картины: это где из зарешеченного окна переселенческого вагона высовывается семья. Мамаша, папаша, маленький детищька, старый дедун и т. д., а внизу, под окном, голуби едят крошки.

Если же кто забыл сюжет картины «Кочегар», то извольте. Дам справку и для вас — на картине этой изображён в полный рост кочегар.

Ярошенко вообще производит двоякое впечатление. Это, с одной стороны, художник старательный в деталях. С другой — напротив, он имеет полное наплевательство к фону и часто толком вырисовывает лишь центральных персонажей картины. Есть у него и одна странная работа «В монастыре» — особо не примечательный этюд, рисованный во время богослужения. Приглядевшись, однако, можно заметить странную вещь — монахи на картине изображены все… в масках.

Галерея обставлена так, чтобы картины нельзя было толком разглядеть. На лучших местах для осмотра стоит какой-нибудь шкаф. Или пианино. Или хотя бы стулья понаставлены. Ходишь вокруг них, как лоцман среди коралловых рифов.

В остальных домиках находятся залы местных художников. Среди экспонатов самый известный — работа Максимова «Всё в прошлом» (две бабуськи в капорах сидят в усадьбе и вспоминают былое). С удивлением узнал, что Максимов был, оказывается, первым русским tirageur — эту свою картину он повторил более 20 (!) раз.

В одной из комнат музея некая расфуфыренная тётка прививала кисловодским школьникам азы эстетического воспитания. Проходя мимо двери, я услышал кусок этой пламенной проповеди. Он был таков:

— Вы не умеете себя вести! Вас в Третьяковку не пустили бы никогда! Даже и не мечтайте об этом.

В открытый кусочек двери были видны внимательные лица школьников. Несмотря на столь трагическое предсказание, они довольно вежливо слушали прорицательства тётки. Некоторые даже записывали.

Южный храм ленинизма

Прямо в центре города начинается курортный парк. Хорошее место, своими отдельными тропочками оно напоминает наши «Столбы». Разница только в пресловутой курортной специфике — все

эти спортивные поджарые старушки, стаканы с минералкой, перильца, армяне… По парку течёт речка Ольховка. Кое-где она упакована в каменную набережную, а местами протекает вольно. Можно в ней даже с удовольствием купаться.

В парке водятся некоторые незначительные достопримечательности. Это Зеркальный пруд (обычный небольшой прудик, скромный и закиданный монетками), узорчатые мостики, небольшие водные каналы и гроты-беседки (к сожалению, уединиться в них никак нельзя, и в некоторых даже доходит до бреда—устраивается очередь: «Вы посидели пять минут, дайте теперь мы посидим, посекретничаем»)

Далее в горах водятся «Серые камни» и «Красные камни». Серые камни полностью соответствуют своему названию—это обычные округлые холмики высотой метров до десяти. На них с удовольствием лазит ребятня. И только-то.

Красные камни—вещь поинтереснее. Это столбовые выступы в холмах цветом à la американская сьерра. Удачно кому-то пришла в голову мысль сделать в них алтарь Ленина. Это красное святилище смотрится до того органично, что до сих пор не испорчено ни автографами, ни граффити, ни прочим мусорным искусством.

Голый мужик в городе

По сибирским меркам в начале мая тут уже жара. Я снял футболку и стал фурором Кисловодского парка—единственный мужик с голым торсом. Местные пялятся на меня, словно я хожу без трусов. Особенно мужики! Сравнивают, видимо, чей живот меньше. Дети всех возрастов, увидев меня, считают своим долгом закричать:
—Голый дядя! Голый дядя!

На весу

Главный аттракцион Кисловодска—канатная дорога, самая длинная в Европе, и одна из длиннейших в мире. Поездка на ней длится чуть не полчаса и оставляет мало с чем сравнимое, волшебное впечатление.

Мужики, которые проектировали эту дорогу, постарались уложить в маршрут максимум видов—и тайга, и поле с гигантскими цветочными фигурами, и скалистые обрывы. Плюс по дороге вагончик кое-где взмывает, а иногда опадает, как на американских горках. Одним словом, достойное дело. Хотя бы ради этой канатки в Кисловодске стоит побывать.

Приводит канатка на высшую точку города. Большинство товарищей тут и останавливаются. Кушают шашлыки и любуются панорамой. Кстати, это отнюдь не безопасно. Метрах в десяти от пешеходной дорожки стоят вежливые знаки «осторожно, обрыв». И там за ними действительно нехилый обрыв метров на двести. По ночам я бы тут не решился резвиться. Вдалеке виден Эльбрус. Поначалу его легко спутать с облаком. Потому многие даже поначалу его не замечают.

Эльбрус

Эльбрус совершенно неправдоподобен.

Он высок, чёрно-бел. На него даже как-то неинтересно смотреть. Кажется, что это—постер.

Тем не менее, это есть настоящий, заснеженный Кавказ. Тот самый, о котором Чюрлёнис сочинил своё лучшее стихотворение—из одной строчки:
—Представьте себе—я видел Кавказ!

Смотровая площадка «no cars admitted»

Можно пройти от смотровой площадки дальше на юг—к Кавказу. Сначала встречаются базы отдыха, потом они прекращаются. Дорога начинает резко подниматься. Однако, опять же, по сибирским меркам это поднятие весьма невелико. Бывалый столбист проскакал бы его не запыхавшись. Средним шагом на него уходит около получаса.

В итоге дорожка привела на какую-то странную горку, с которой открывалась уже совершенно новая панорама. Кисловодск вовсе исчез позади, зато Большой Кавказ был виден весь—от Эльбруса налево шли новые и новые хребты. Белые, с чёрными мазками обрывов и обветренных склонов. Далеко на востоке можно было заметить Дыхтау.

Я передал Большому Кавказу привет от Сибири. Посидел немного на скале, на холодном ветру, и пошёл назад, в городскую жару.

Чёрно-белый рай

Днём главное место Кисловодска—ах!—шахматный ряд за Нарзанной галерееей. Все отпускники, все мозги Кисловодска собираются здесь.

Никаких борделей, ночных клубов, драг-битв. Матч в шахматы! На время! Сериями по сотне партий—до полного изнеможения! Вот наиболее действенная сублимация всего и вся.

Шахматный ряд просто раскалён от страсти.

Простота кулинарии

Вечером в Кисловодске появляется ещё одно популярное место. Это точка на курортном бульваре (главная пешеходная улица Кисловодска)—открытое кафе в самом его нижнем конце. Демократичное и не слишком богатое по выбору,—оно, однако, не приют люмпенов, а именно самое народное место.

Несмотря на упомянутую бедность ассортимента здесь хотя бы продают холодное пиво (в Кисловодске это сильная редкость), а также есть оригинальный вариант демократической еды—сосиски с горчицей. С очень хорошей горчицей. Острой, не приторной, не сладкой. Это простейшее блюдо пользуется в городе большой популярностью.

И в самом деле. Оказывается—пиво с сосисками… В Кисловодске. В открытом кафе…

Это вещь, читатель. Это—вещь!

Пятигорск

Пятигорск растёкся, как мороженое, вокруг горы Машук. Эта гора знаменита тем, что у её подножия на дуэли погиб Лермонтов.

В путеводителе высота Машука указана—993 метра. Странно, что никто не додумался ещё построить на вершине семиметровую башенку. Дескать, граждане, посмотрите на мир с высоты ровно в километр!

Место, где застрелили поэта, ничем особенным не примечательно. Путешественнику особо и незачем его посещать. Это обычная поляна с тупым бетонно-мемориальным антуражем.

Зато невдалеке от этой поляны, на перекрёстке улиц Калинина и 26 стрелковой дивизии (!), можно видеть жёлтое высотное здание. На вершине его скрывается большой портрет Ленина. Кажется, что автор пытался сделать своё творение как можно более незаметным. «Скромный Ленин» — одна из примечательностей Пятигорска. Интересно, что с вершины Машука она не видна.

На Машук пешком можно забраться довольно легко, несмотря на пресловутый километр высоты. Займёт это едва час времени. По дороге вам встретятся несколько странных достопримечательностей.

Во-первых, это некая «Поляна песен». Это действительно поляна с высокой сценой под открытым небом. По утрам поджарые бабки делают там зарядку.

Во-вторых, «Ворота Солнца». Это просто рукодельная псевдо-циклопическая постройка. Иными словами, куча камней, и посередине — дырка. Здесь принято фотографироваться, ездить сюда во время свадеб и всячески пьянствовать. Ничего интересного.

А вот чуть ниже этих «ворот» стоит высокий камень с такой вот надписью:

«Этот камень был перенесён сюда в 1980 году в честь столетия Кавказского минераловедческого общества». Перенесён он был на гору Машук с какой-то другой горы под названием «Острая».

Наводит на размышления этот камень. О самом этом Кавказском обществе, и о том, как пришла в голову мысль — перевезти булыжник с одной горы на другую. Хочется узнать, какие ещё великие деяния за сто лет совершила эта достойная организация.

«Провал» — самая разрекламированная примечательность Машука и Пятигорска вообще.

Тут надо отметить, что правильно он называется «Провалъ». На этом настаивает вывеска на входе. Это пещера, в глубине которой горит фонарь и налита небольшая лужа голубоватой водички. Вглубь пещеры ведёт пригласительный и обманчиво ласковый тоннельчик, однако сама лужа огорожена (!) железной решёткой (говорят, потому, что кто-то залез в воду и умудрился в ней утонуть).

Потому главная суть любования Провалъ'ом — обоняние запаха тухлых яиц, который источает лужа. Прямо над лужей пещера поднимается вверх, и над самим озерцом в потолке есть отверстие. До того, как в скале продолбили тоннель, сюда попадали именно через эту дыру.

К одной из стен, конечно же, прилепили икону. Покровителем лужи был избран некий святой Пантелеймон.

Если выйти из пещеры и спуститься чуть ниже, можно видеть место, где из Провалъ'а вытекает ручеёк. Это место никак не огорожено и широкой публике неизвестно. Можно спуститься к самой воде и даже в ней немного побрызгаться, если вдруг появится такое желание. От поверхности воды идёт пар, но сама она не горячая, а тепловатая, градусов в сорок. Голубоватый цвет и непрерывное журчание наводят на ассоциацию со стерильной финской ванной.

Ещё один туристический лже-артефакт — некая беседка под названием «Эолова арфа». Считается, что некогда внутри неё стояли трубы, и при ветре они издавали «звук» (именно на таком единственном числе настаивает сопроводительная табличка — странно даже, что не написали для солидности «звукъ»).

Однако с годами трубы поизносились и играли всё тише и тише. Наконец, настал момент, когда «звук» вообще перестал рождаться.

Пятигорцы, впрочем, выкрутились из положения. Трубы выдрали с корнем и бросили прямо тут же под горой. А в беседке поставили памятную табличку и магнитофон. Так что теперь «эолова арфа» — это никакая не музыка ветра, читатель. Твои сведения устарели! Это — беседка с диском Юры Шатунова, друг мой. Не более и не менее.

Из-за Машука Пятигорску прилепили курортный статус. А такой статус требует зрелищ. Потому туристам преподносится всякая чепуха — лужа с водичкой, лесная поляна и т. д. На самом же деле, кроме Машука, реальных достопримечательностей здесь и нет. И ничего в этом нет ужасного. Нужно просто не ждать их от Пятигорска, а понимать его, как он есть — тихий, милый южный городок.

На Машуке, как и в Кисловодске, есть канатная дорога. Она не такая, как в Красноярске, — по воздуху там ползают не кресла, а один небольшой вагончик, типа трамвая. Поездка на нём в одну сторону стоит сто рублей.

Машуковская канатка не блещет посещаемостью. Я проехал в кабине два раза и, на пути вверх, был единственным пассажиром в кабине. Со мной ехал только мужик-кондуктор. Он следил, чтобы я не выпал. Мужик сказал также, что это просто сегодня такой «антипик»[1], а обычно народу бывает больше.

Компания, которая продаёт билеты на канатку, называется ОАО «Тепло» (!).

Примечание для мухлёжников — на обратном пути билеты не проверяют. Спокойно можете проехать бесплатно. Я так и сделал. Мужик-контролёр безразличен и даже чуть презрителен к туристам. Его бы воля, — наверное, даже Путина бы в кабину не пустил. Какие уж тут билеты…

Путь на канатке короток (едва в три минуты), но увлекателен. Особенно хорошо приоткрыть окошко и смотреть вниз, на деревья. Их верхушки проходят к дну вагончика очень близко.

Машук

На вершине Машука нет никаких пафосных достопримечательностей. Здесь лишь вяло продают шаурму да предлагают полетать на параплане.

1. © машуковский кондуктор, 2009

Тем не менее, Машук оправдывает свою славу, а заодно и всю незаслуженную славу Пятигорска. Ибо с его вершины открывается одна из лучших природных картин в географии человечества.

Машук стоит посреди прямой равнины. Как ферзь на шахматной доске. Вершина его очень невелика, и потому с неё можно разом смотреть чуть не на все 360 градусов. Таким образом, получается, что, стоя на земле, ты обозреваешь всю землю вокруг с высоты птичьего полёта.

В этом есть особенность Машука.

На юге видны склоны гор Юца и Джуца—жёлто-зелёные и сине-зелёные. На севере находится другая знаменитая гора Пятигорска—Бештау. На ней никаких дуэлей не было. Зато жили первобытные люди. В местных пещерах от них осталось великое множество автографов. На Бештау приятно смотреть в любое время дня—эта гора, действительно, примечательна и выгодна для наблюдения. Вершина Бештау постоянно скрыта в облаках.

В хорошую погоду к югу виден Эльбрус. Впрочем, в тот день, когда я поднимался на Машук, Эльбрус скромничал.

Если смотреть вниз с самолёта—земля выглядит плоской, непохожей и неживой. С крыши здания—она не так обширна и разноцветна. Машук же—идеальная площадка для того, чтобы стоять и смотреть на пространство вокруг. В словаре ощущений статью «Наблюдение» нужно иллюстрировать с помощью этой горы. На Машуке вполне можно провести несколько часов без скуки.

Я наблюдал карту, миниатюра которой лежала у меня в кармане. И тучи, и голубое небо, и жёлтые поля, и серые горы, и городки и шрамики рек—всё было в ней.

Гиро

Спустившись наконец с горы, я пошёл болтаться по городу и обнаружил вкуснейшую вещь под названием «гиро». Причём, в отличие от странного «чанахи», она была куплена в обычном уличном павильончике.

Составлен гиро по широко распространённому принципу еды-компота. В булочку пихают курицу, огурцы, картошечку, салат. Тем не менее, какая-то неуловимая деталь делает эту еду неповторимой. Позднее я прочитал, что это национальное греческое блюдо и называется в оригинале «гирос». Ныне же оно растеклось по всему Причерноморью. Жаль, что его не знают пока в Сибири.

Поначалу я думал, что это после Машука у меня разыгрался аппетит, и потому незнакомый гиро показался таким вкусным. Однако и позже я специально покупал его—в Махачкале, в Тбилиси, в Трабзоне. И гиро проходил испытание.

Он был прекрасен везде.

Улица Крайнего

В Пятигорске есть улица Крайнего. Естественно, я пошёл по ней погулять. Это, знаете, не каждый день ведь удаётся найти крайнего—да причём целую улицу. Как оказалось, улица очень даже ничего. Ведь именно там было найдено гиро.

Самая нужная служба

В центре Пятигорска есть офис. Его занимает организация вот с таким вот названием:

«Служба по заполнению бланков»

Совсем они, видимо, обленились там в Пятигорске—даже бланк не могут заполнить.

Ессентуки

Вот город, центр которого расположен в парке. Причём не географически, а по сути. Кроме парка, в Ессентуках смотреть совершенно нечего.

Сам же парк тих, удобен для прогулок. Даже летом в нём царит сыроватая, осенняя атмосфера.

Кисловодский парк—жаркий, южный, там много света, и даже зимой он блестит на солнце. Пятигорский парк у подножия Машука—сумрачнее и плотнее. Как шевелюра негра, деревья кажутся резными, какими-то даже курчавыми.

Ессентуки же—более северный парк. С реминисценциями из Москвы, из Петербурга. Что-то в нём декадентское, времён модерна, времён символизма.

Красивее всего этот парк в дождь. Встречаются в нём открытые античные павильоны с колоннадами. В них хорошо заходить в пасмурную погоду.

В Ессентуках я видел над парком двойную радугу.

Минералка

Схема минерального потребления в Курортных городках проста. Прямо посреди улицы или где-нибудь в лесу стоят особые павильоны со свободным входом. Внедряешься в эти павильоны и видишь краники. Купив стаканчик (или принеся его с собой), можно ходить по городу и пить себе минералку прямо из источника.

Минералка бывает трёх типов—холодная, тёплая и горячая. Ради удовольствия можно пить только холодную воду. Горячий и особенно тёплый нарзан—вещи не для сибирского желудка.

Кроме температуры, вода отличается также, естественно, составом. Так, в Кисловодске главное здание в городе (которое даже так и называется—Нарзанная галерея) включает в себя источники сразу нескольких типов минералки. Что-то там про сульфаты, какие-то доломиты… Я этого, конечно, не запомнил. Один из них отвратителен, другой вполне даже приемлем для употребления. Кажется, сульфат.

Кавказцы

К вечеру с улиц курортных городков исчезают армяне. Зато активизируются прочие горцы. Несмотря на близость Большого Кавказа, их здесь не больше, чем у нас. Главное отличие лишь в том, что здесь есть их женщины, что в Сибири редкость.

Ведь кавказцы, как гномы, своих женщин скрывают.

Курортные городки—кавказское место в плане музыки. Стритменов тут нет. Единственный уличный музыкант, кого я встретил—была флейтистка в Ессентуковском парке. Она играла под дождём, и играла великолепно, не в пример большинству стритменов мира.

Осетия

Кабарда

Кабарду я проехал на удивление быстро. Залез в поезд и проспал её просто-напросто.

Ностальгический поезд выживания

Кстати, пара слов о поезде Ростов—Махачкала. Это есть самый грязный и безразличный поезд за всю историю человечества. Это не жалоба, отнюдь нет. Просто констатация факта. В подобном поезде при желании можно найти даже особый шик. Это ведь как бы специализированный маршрут—этакое путешествие в совок.

Проводник запирается в своём купе и спит. Иногда его вовсе нет. В вагонах невыносимо жарко. Грязные туалеты. Нет воды, зато в коридорах носятся толпы орущих детей.

В соседнем купе едут арбузы—штук сорок. Некоторые из них протекают. Некоторые просто—попахивают.

Из моей поездной коллекции разве что рейс Астана—Петропавловск может отчасти сравниться с этим поездом.

Так что если тебе попадутся билеты на этот поезд, читатель,—будь готов к экзотике совка. Научи себя ценить её и радоваться ей. Иначе ты можешь не дожить до станции назначения.

Хорошо или плохо, но центром Северного Кавказа является Чечня. Так набрано в голове русского путешественника—и ничего с этим не поделаешь.

Потому Осетия есть, во многом, преддверие Чечни.

Уже в Моздоке заметна повышенная активность милиции. Приехав в город, на вокзале ты проходишь паспортный контроль. Впрочем, русских и европейцев почти не досматривают. Что парадоксально, я тоже спокойно проходил пост в обоих направлениях—это я-то! с моей ваххабитской бородой! С рюкзаком (что в Бурятии и на Кубани, например, есть уже само по себе посягательство на теракт). Притом, забегая вперёд, нужно отметить, что у чеченцев так же часто можно встретить русоволосых и рыжебородых мужчин.

Моздокские пограничники питают зато нездоровый интерес к чемоданам. Их здесь осматривают чуть ли не с микроскопом.

Христианская приверженность осетин никак не чувствуется. Все ходят в тюбетейках. Женщины—в платках. Церквей нигде не видно. Не видно, впрочем, и мечетей (хотя часть осетин—сунниты).

На юге заметны двуцветные горы. Ближние—тёмные. Дальние—светлые.

Мне сказали, что самая высокая среди белых гор—это Казбек. Однако, сомнительно, чтобы его было видно с такого (километров около сотни) расстояния.

У этих белых дальних вершин Кавказа толком нельзя разглядеть очертания. Верхушки постоянно меняют форму, растут, отрываются и улетают в небо. Это облака.

Моздок невелик. Это главная транзитная точка Осетии, но с основной территори республики она соединяется тонким коридором.

В городе очень мало русских. Зато много крапивы. Совсем нет высотных зданий. В целом же—обычный такой городишко-деревня.

Чечня

Когда началась Чечня, пассажиры в поезде сразу прилипли к окнам. Наверное, ожидали, что сейчас там начнут показывать боевик. За окном, однако же, была спокойная такая, вяловатая даже степь, и ничего в ней интересного.

Нашлись вскоре и военные приметы. Однако их было немного—блокпост на въезде (камуфляжники, верёвочный шлагбаум да два БТР)—и всё. В остальном всё тихо.

Так что через несколько минут толпа от окон вернулась обратно—к кефиру, сухарикам и сканвордам.

От границы Чечни до Гудермеса поезд идёт чуть не полдня. И это на участок чуть более сотни километров в длину.

Всё дело в том, что в Чечне поезд делает частые остановки. Электричек ведь нет—поэтому поезд здесь выполняет роль электрички.

Пассажиров, однако, что-то не видно. Наверное, внутричеченские туры не очень популярны здесь.

В Моздоке я прочитал, что по Чечне поезд едет в сопровождении специального милицейского вагона. Немедленно отправившись на поиски этого мистического вагона, я его, конечно, не обнаружил. Скорее всего, объявление написали для успокоения особо трусливых пассажиров. Хотя уж, если ты такой трусливый,—езжай в объезд через Астрахань.

Выходя из поезда в Гудермесе, я вновь не обнаружил мифического вагона. Возможно, он прицепился к нам этак по-ковбойски, на ходу. А потом так же ненавязчиво отцепился.

На станциях встречается много русских (мы едем всё же по северным районам). Часто можно наблюдать парный флаг—чеченский и рядом российский. Такое характерно для Башкирии. Но даже в Башкортостане самостийность прёт больше—в Чечне нет такого настойчивого двуязычия. Все названия пишутся по-русски, никаких аляповатых переводов на местное наречие (например Еловка—«Елофкъ») не встретишь.

У каждого автопереезда дежурит, тем не менее, танк. И стоит солдат в полной экипировке. Также обязательно возле каждой остановочной платформы отдыхает парочка БТРов.

Начиная от станции Терек и до Гудермеса можно видеть, как около дорожного полотна солдаты роют в земле какие-то окопы.

Самый настоящий фронт находится на переправе через Терек. Уже за километр до реки вдоль полотна начинаются массированные редуты—множество траншей, заграждения из мешков, колючая проволока.

Гудермес — неофициальная столица Чечни — внешне совершенно тих и апатичен.

В отличие от Минвод, здесь в мае стоит уже полная жара. По путям чеченки гоняют коз. Работает даже какой-то завод. Выглядит это так — около решётчатого забора покуривают смуглые южане, а позади них дымит труба. Эту картинку словно бы специально соорудили для поезда. Как иллюстрацию — мол, у нас в Чечне всё о'кей: даже заводы действуют.

В Гудермесе Рамзан Кадыров ласково смотрит на тебя с каждой стены. Часто добавляется и бонус — портреты Кадырова-старшего. Тут уже с несколько элегической интонацией. Часто бывают даже прямые кладбищенские реминисценции вроде субтитров «Помним. Скорбим». В маленьком местном парке таких скорбных портретов целая грибница.

На вокзале менты осматривают пассажиров (как и в Осетии) на предмет их гражданской сознательности. По перрону гуляют чернобородые мужики и проницательно смотрят вам в глаза.

Следы былой войны тщательно прилизаны. Или хотя бы прикрыты. У меня не было цели забираться в Чечню глубоко. Поэтому я обнаружил лишь косвенные признаки гражданской заварухи. Например, полное отсутствие граффити. Чеченские заборы, гаражи, стены — пока что лишены всех интригующих надписей типа «Здесь были Стёпа М. и Петя Ж.». Интересно даже, сколько времени продержится эта чистота.

Другой признак недавней войны — очень мало уличных продавцов. Лишь на центральной улице Гудермеса две тётки продают чебуреки. Бизнес у них идёт вяло — не наскребли за день сдачу даже со ста рублей. Интереса ради нацедил у себя из карманов четвертак и таки приобрёл сей местный деликатес. Оказался он сухим и твёрдым, как лист картона. Так я и скрипел зубами об свой чебурек. Минут сорок. А все вокруг на это смотрели.

Вообще чеченской кухни в природе не существует. Она представлена традиционными чебуреками, почмаками и прочей поджаренной ерундой. Пива здесь тоже не делают. Одним словом, гурману в Чечне делать нечего. Да гурман сюда и не поедет.

Зато есть отдельное понятие «чеченский сервис». Например, вместо душа в гостинице — просто дырка в полу возле унитаза. Никаких тебе занавесок, никакой ванны. Просто встаёшь в углу санузла, и на тебя сверху льётся вода. Притом горячая вода идёт лишь несколько минут. Потом надо подождать. Видимо, она накапливается в каком-то таинственном баллоне, скрытом от глаз, и там нагревается.

На кроватях под простынями постелена клеёнка. Ночью она имеет свойство скорбно скрипеть под твоим телом.

С одной стороны, можно сказать, что такой сервис соответствует цене. С другой — и в дорогих гостиницах бывает не лучше. И, как известно, цена и обслуживание кореллируют отнюдь не всегда. Думается, причина тут — скорее в уже упомянутой простоте местного этикета. Ведь если призадуматься — что такое душ? Сверху — кран, снизу — дырка. Между ними — находишься ты. Вот и всё.

А здесь именно так и есть.

Ниже. Ниже.

А вот ещё одна особенность — кавказская речь. Здесь слушают не только слова, но и тембр твоего голоса. В частности, серьёзным, деловым тоном считается самый низкий регистр. Все стараются говорить басом. Высокими голосами, как считается, разговаривают только дети и женщины. Иными словами, говорить обычным тоном на Кавказе неправильно. Это всё равно, что пищать, например.

Поэтому все стараются говорить как можно ниже, включая девушек и грудных младенцев. А так как чеченки часто выглядят совершенно по-русски (голубоглазые широколицые блондинки), то бывает очень неожиданно услышать от такой дамы глухое, низкое, экающее:

— Здравствуйтэ.

По улицам чеченских городов сейчас ходить можно свободно. Если, конечно, не шарахаться от каждой тени. Дагестанцы, которые ехали со мной в вагоне, сказали:

— В Чечне сейчас нормально. В Дагестане бывает гораздо хуже.

В то самое время, пока я гулял по Гудермесу, в тридцати километрах отсюда, в Грозном, произошёл теракт. В нём погибло четыре человека.

Дагестан

Вне всех морей

Интересная особенность приморских исламских городов заключается в том, что они как-то от моря всегда отгораживаются.

Обычно приморский город можно узнать по любому кадру. Если даже вас высадить с завязанными глазами где-нибудь посреди Владивостока — вы не узнаете место, но сразу будет понятно, что здесь недалеко море. Потому что в портовом городе есть что-то особенное.

Совершенно другая картина в Махачкале, Баку, Трабзоне. Они, наоборот, всячески от моря отделены, и словно делают вид, что к морю не имеют никакого отношения. Заборы, автотрассы, загадочные вовсе какие-то изгороди — никак до моря не доберёшься.

В Махачкале, например, город отделён от Каспийского моря полосой железной дороги. В каком-то смысле, это и хорошо — на подъезде к вокзалу едешь прямо по берегу Каспия. У меня, в частности, это была первая встреча с ним.

Получается, жители как будто бы договорились с морем: «Мы — сами по себе, ты — тоже». Наверное, поэтому арабы и не открыли Америку. Как-то им было не до моря. У них и корабли, как известно — корабли пустыни.

Я подумал, что в подобном поведении не стоит искать какой-то гидрофобии или пренебрежения

к водной стихии. Скорее наоборот — видимо, мусульмане понимают, что море слишком обширно и величественно, и предпочитают как бы постоянно держать его за скобками. Зато они никогда не привыкают к нему, и оно всегда остаётся для них новым и интересным.

Поэтому если кто-то скажет вам, что Махачкала — приморский город, знайте, что это неправда. Махачкала вовсе не стоит на море. Она просто *рядом* с ним. Но не более того.

Махачкала

Столица Дагестана мне очень понравилась. Наверное, потому, что уже долгое время я ездил по мелким городкам (Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Моздок, Гудермес — всё это явно не мегаполисы). А тут хоть какой-то урбанизм.

Но главная причина всё же иная. Махачкала — истинно восточный город. Без обычной кавказской непредсказуемости на грани с истерикой. Без этого постоянного надрыва.

В Кабарде и Чечне в воздухе витает всё же определённая доля напряжённости. Потому что иногда непонятно, что может южанин выкинуть в следующий момент. В Махачкале же чувствуешь себя спокойно. Неожиданности могут быть и тут, но тут они какие-то — нормальные, по-другому не скажешь. Без всех этих жеманных горских выкрутасов.

Дагестанцы — необычайно простой и приятный в общении народ. Иллюстративен хотя бы такой пример — на центральных улицах машины уступают друг другу дорогу (!). Более того — спокойно пропускают пешеходов. Где ещё вы такое видели?

Сотовая столица вселенной

Самое популярное здание в Махачкале — салон сотовой связи. Здесь их не менее тысячи. Создаётся впечатление, что центр мировой торговли подержанными сотиками находится именно в этом городе. А вот великолепное название одного из сотовых салонов: «На грани связи». Даже както и теряешься — что именно они имели в виду?

Чуду́

Главное местное блюдо называется «чуду́». Это хычин с перцем, картошкой, сыром и ещё чем-то. Очередное блюдо из разряда «еда-компот». Неплохое, но ничего особенного.

Продаётся тут и моё пятигорское открытие — гиро. На мой взгляд, гиро гораздо вкуснее, однако дагестанцев можно похвалить за патриотизм — они в массе своей отдают предпочтение как раз чуду.

Дагестанский этикет

Оригинален дагестанский этикет — еду здесь берут руками. Что в магазине, что в кафе. Не в том смысле, что голой лапой едят, нет. Имеется в виду полное пренебрежение к салфеткам, замасленным бумажкам и прочим условным прокладкам.

То же самое чуду повар будет готовить в стиле полного натурализма — возьмёт спокойно мясо. Голыми руками. Порежет его. Затем также руками — картошку, перчик и т. д. Никаких тебе вилочек-палочек.

Мне даже стало жалко, что нет со мной какой-нибудь жеманной девки. Такой бы тут поднялся визг: дезинфекция! микробы! кошмар!

Зато и честно — ведь любая колбаса в супермаркете также сделана руками. Кто её только не полапал. И в суперэлитном ресторане повар тоже готовит именно своими конечностями. А не стерильными щипчиками.

А вот ещё другая особенность дагестанского этикета — но уже совсем обратного знака: здесь категорически не принято есть на людях.

Открытых кафе очень мало. Даже в магазинах еду не только заворачивают, но и специально предлагают чёрный пакет — чтобы не было видно, что вы несёте. Классический дагестанский супермаркет — единственный в мире, где предпочитают чёрные пакеты.

Мужчины на улицах Махачкалы все — все! — одеты как Бувайсар Сайтиев. Это означает — тренировочный костюм и кроссовки. И фигуры у всех тоже похожи на Сайтиева. Создаётся впечатление, что каждый дагестанец занимается вольной борьбой.

Наоборот, среди женщин на улицах города — в основном русские. Неужели дагестанки сидят по домам?

Каспийская ночь

Ночью по Махачкале гулять очень приятно и рекомендуется всем путешественникам. Как и любой исламский город, вечерами Махачкала спокойна, уютна. Будто по детсаду идёшь.

Русский вечер — он всегда немного отчаянный. Если уж гулять — так гулять. С дебошем. С приключениями. Чтобы проснуться непонятно где. Чтобы утром было что вспоминать. И даже так — чтобы утром вообще, в принципе: вспоминать. Долго и мучительно. А что было-то? Что было? Ничего не помню…

Дагестанская ночь как-то потише. Словно люди уже всё себе давно доказали. Как будто они собрались и сразу договорились: «Мол, мы могли бы тоже нажраться и пострелять из автоматов; но давайте сегодня просто посидим и попьём чай».

Каспийское утро: где-то часа в четыре, на рассвете, с площади слышится пронзительный и грустный голос. Необычайно чистый, сильный голос, и мелодия столь же проста и очень печальна.

Поначалу я и не понял, что это именно такое. Лишь через несколько секунд я сообразил, что это был призыв на намаз.

Позднее, в Турции, я узнал, что там часто такой призыв (для него есть специальный термин — «азан») идёт в записи. Однако бывает, что при мечети есть специальный товарищ, в обязанности которого единственно и входит звать мусульман на молитву. Главные качества такого товарища — естественно, сильный и красивый голос.

Интересно, как было в Махачкале — запись или живой человек? Идти посреди ночи искать мечеть

как-то не хотелось. Так вопрос и остался не выясненным.

В любом случае, азан слушается восхитительно. Это настоящий городской фолк, ничем не хуже православного колокольного перезвона и церковного пения.

Сон: Элеутутсия

В Махачкалинской гостинице мне привиделась какая-то просто глобальная сонная феерия. Поначалу сон был про некоего деда и его внучку. Они ехали в такси. Это была древняя серая «Волга», и в ней имелась странная особенность—во время поездки пассажирам давали рюмку водки.

Так дед выпил её раз, потом делал как-то особенно язык, и из-за этой особенности языка рюмка вновь оказывалась полной.

Девочка удивилась, а дед показал, что может повторить трюк ещё раз. И создал водку по третьему заходу, а потом и по четвёртому. Правда, в последнем случае водка далась деду с трудом. Она оказалась красноватой, с примесью крови.

Затем дед и девочка поехали себе дальше. А оказалось, что следовали они не много не мало на встречу сил добра и зла (!). Причём водочный дед был—за добро.

Силы же зла жаловались, что в нашем мире они обделены. Вроде как добро их дискриминирует. Я, смотря этот сон со стороны, удивился категоричности Злодеев. Чего это они вдруг так уверены? Потом я подумал и согласился с ними—ведь нормой у нас, в самом деле, является именно добро, а не наоборот. Потому наш мир—добрый.

Выяснилось, что по оригинальному замыслу в мире должна была создаться и зона абсолютного зла—Элеутутсия. То есть там нормой было бы зло. Но почему-то она не возникла.

Вот силы зла и настаивали, что, мол, надо бы эту Элеутутсию всё-таки создать. Мы посетили территорию, на которой должна была возникнуть Элеутутсия. А эта территория как раз и находилась где-то в Махачкале, на берегу Каспия.

Я глядел на Элеутутсию и не видел ничего особенного. Выходило, что мир зла ничем не отличался от нашего. По крайней мере, на первый взгляд.

Дербент

Рано утром сел я на поезд Махачкала—Баку, но вышел не на границе, а чуть пораньше, в Дербенте.

Причин тому было две. Во-первых, Дербент официально носит звание самого древнего города Российской Федерации. Во-вторых, учитывая нынешнюю демаркацию, это также и самый южный город современной России. Как такое не поглядеть?

В Дербенте главные достопримечательности такие: одноимённый коньяк и древняя крепость. У меня была пара часов до электрички на границу (неплохо звучит, правда?—«электричка на границу»), однако я предпочёл провести их на берегу Каспийского моря, а крепость поглядел совсем бегло.

Эта Дербентская крепость ещё раз подтвердила мои соображения о том, что известные достопримечательности лучше обходить стороной. Конечно, было интересно постоять на границе Арабского халифата и сказать себе: «Здесь пять тысяч лет назад уже был город».

В принципе, я так и сделал. Но этих впечатлений хватило секунд на пять. И главное, что от таких мыслей ничего—ни в судьбе Дербента, ни в моей—не изменилось. А рядом ещё забралась на городскую лестницу какая-то первая экскурсия. Радостная крашеная тётка завопила на весь город:
—Ку-ка-ре-ку!

И мужик в капитанской фуражке немедленно её сфотографировал.

А я пошёл к морю.

Каспийское море

Каспий бывает зелёным, бывает синим—в любом случае тон его полный, густой, как и нужно для красок мира. Нет на свете моря более полноцветного.

Дружелюбный, бескрайний, Каспий столь же холоден, как Енисей. И так же этот холод не мешает почувствовать его тепло.

Нет других морей столь же открытых (а я видел их—уже немало). И пусть не заикается никто, что Каспий не море, а лишь озеро. Скажите это тем, кто мраморную лужу Геллеспонта называет морем.

На дербентском берегу Каспия находился какой-то санаторий. Около него сидели рядком человек пять и медитировали. Я отошёл от них подальше по пустынному берегу.

Каспий дружелюбно плескался рядом со мной, как весёлый пёс.

Мимо пронёсся взмыленный утренний марафонец.

Я разделся и вошёл в воду. Хотя я видел море вчера вечером, в Махачкале, только здесь, на рассвете в Дербенте, я мог по-настоящему приветствовать его.
—Каспий-йо-о-о-о!—донеслось откуда-то издалека. Как будто кто-то звал море к себе. Как будто кто-то пел песню.—Каспий-йо-о-о-о!

Каспий легко толкался в мою грудь волнами. Дно его было песчаным, с мелкими камушками. Под ногами оно чуть подавалось и пружинило. Нет моря лучше для купания, чем Каспий. Математический Азов и блестящее Черноморье—не таковы. У них нет этой приветливости, готовности идти знакомиться, готовности дружить и играть с тобой до самого вечера.

У меня, правда, не было времени до самого вечера. Я вышел из воды и сел сушиться на брёвнышко на пляже. Волны подбегали к моим кроссовкам и окружали их полукругом. На песке оставался полумесяц.

Летали над морем чайки.

Возле санатория утренние йогины встали и раскинули руки. У них начиналась гимнастика:
—Каспий-о!—медленно и громко выдохнул один из них. В тёмном тренировочном костюме, худощавый, он смотрел на море, как и все его товарищи. Одинокий голос понёсся над берегом, и все мы наблюдали, как он уходит вдаль, над водой, и там теряется. Людей было много, а Каспий один. Но он находил внимание и терпение выслушать каждого.

Самур. Граница.

Приграничные проверки начинаются уже в поезде Махачкала—Баку. По вагонам начинают ходить зелёные мундиры. Русских обычно не беспокоят. Больше всех достаётся азербайджанцам.

Рядом со мной ехала как раз парочка бакинских аборигенов—подросток и толстый дядька. Мы, в Сибири, как-то уже привыкли, что азербайджанцы работают таксистами или продают мандарины. Иного не дано. Поначалу я так и подумал про толстого дядьку. Уж больно он был типичный—расплывчатый, загорелый. Хорошо его было представить, как он стоит в расстёгнутой рубашке где-нибудь на Крас тэц, потеет, отдувается, впахивает прохожим свои цитрусовые. А на самом деле он оказался главврачом какой-то больницы. То ли уфимской, то ли челябинской.

Мундиры вручили ему декларацию и заорали, чтобы он быстрее доставал свой багаж. Вернее, поначалу они спокойно это ему сказали. Просто он провинился. Он в это время спал (было пять часов утра). Тогда на него заорали. Азербайджанец проснулся и тоже поначалу было против них заартачился:

— А чего вы кричите?—сказал он.

Но те сказали ему, чтобы он немедленно стал поспокойнее. И даже угрожать ему не стали. Просто внушительно так порекомендовали.

И пришлось ему вываливать все свои чемоданы на стол. Мундиры сердито поворошили их, но, так как главврач даже продуктов не вёз, они не нашли ничего криминального и строго ушли. С оскорблённым видом.

Их можно понять—главврач вёл себя очень неправильно. Мало того, что он имел наглость спать в пять утра. Он ещё и пытался выкобениваться. А потом оказалось, что его не в чем обвинить. Естественно, что мундиры были просто возмущены такой непоследовательностью.

От Дербента прямо до границы идёт электричка. Всё это время вдоль дороги тянутся дербентские пригороды. Где-то за час электричка добирается от города до приграничного посёлка Белиджи и пересекает рубежную речку Самур.

Самур—это довольно длинная и очень странная река. Это даже, по сути, не река, а несколько ручейков, которые просто рядом текут. Потому Самур можно не просто перейти вброд, но даже и ног не замочить—перепрыгиваешь ручейки по одному, и всё. Видимо, лишь ранней весной Самур взбрыкивает и заполняет всю долину. Однако в мае он уже был скромен и уж тем более роль границы никак не мог выполнять.

Когда электричка остановилась, все с неимоверной скоростью вылезли из неё и побежали из вагонов куда-то вниз, по дорожной насыпи. Я подумал, что, вероятно, в лучших советских традициях, граница сейчас закроется на обед, и надо ломиться туда побыстрее. Потому я тоже быстро-быстро за всеми побежал, и увидел, что внизу почему-то никакой границы нет, а проходит обычная просёлочная дорога, да на ней стоят с десяток потрёпанных Жигулей.

Рядом со мной гулко бежал какой-то зелёный мундир.

— А где граница-то?—спросил я у него на бегу.

Мундир, не прекращая своих легкоатлетических упражнений, сделал мне знак следовать за ним.

Вместе мы подбежали к одной из машин и резво в неё сели. Там мундир отдышался и сказал, что нас сейчас доставят прямо к таможне.

Так и оказалось. Причём таможня находилась метрах едва в двухстах. Впрочем, и такси стоило немного—по двадцать рублей с носа.

Всё дело в том, что когда строили железную дорогу, мало кому в голову приходила мысль, что когда-нибудь здесь окажется граница. Поэтому, когда она всё-таки появилась, то её провели как раз между двумя остановочными платформами (ближе причём к той из них, которая получилась с русской стороны). Иными словами, граница оказалась прямо посреди поля.

Этой особенностью и воспользовались местные сельчане. За небольшую эту плату они катаются от платформы до границы. И обратно. Так граница приносит пользу.

Мундир показал мне пальцем вперёд. Там находилось деревянное здание, похожее на разросшийся сельский толчок. Это и была граница между Россией и Азербайджаном.

Сам же мундир взял налево и скрылся в зарослях колючей проволоки. Там, сквозь беспорядочно намотанные колючие витки, просматривалась избушка и какие-то возле неё странные сооружения. Видимо, это были *позиции*. Они были созданы на случай коварного нападения азербайджанцев.

Я подумал мельком о том, каков размер гарнизона в *позициях*. Возможно, виденный мною мундир составлял пятьдесят, а то и сто процентов от общей численности пограничных войск. Впрочем, точно выяснить это так и не удалось. Тайна осталась неразгаданной.

Как выяснилось, суть стремительного бега эмигрантов из дверей электрички заключалась в желании занять очередь впереди всех. Навидавшись российских погранпереходов, я приготовился было к затяжному окапыванию в очереди, но обнаружил, что она продвигается удивительно быстро. К заветному окошечку я подошёл всего минуты за две.

Здесь, конечно, надо упомянуть то, что народу впереди меня было немного—едва человек десять. И все были с лёгким багажом, ибо основные мешочные орды остались позади. Они паковались в такси.

Русский таможенник оказался полностью индифферентен. На мой рюкзак он даже не взглянул, быстро посмотрел паспорт и отпустил меня за границу.

Далее я попал на асфальтированную дорожку, в конце которой стояло ещё одно здание. Рядом с дорожкой росли кусты. За ними виднелся какой-то ручеёк. Солнце уже встало. Хотелось спуститься к этому ручейку и в нейтральной зоне, на бережочке—посидеть. Это же очень интересно и приятно—сидеть вне всех государств.

Я заметил, что один солдат так и сделал. Он как раз сидел на берегу и стирал в ручейке какие-то тряпки. Рядом с ним вольготно возлежала собачка. Для пущей интриги солдат оделся так, что по нему было непонятно, к какой из пограничных армий он принадлежит. Возможно, это вообще был дезертир.

Самое же интересное, что дальше, за ручейком, по нейтральной территории вовсе начинался какой-то огород. Я представил даже себе, как некая дербентская бабка собирается утром на дачу:

— Ну, поеду за границу — картошки накопаю…

На азербайджанской таможне очередь была побольше и двигалась медленнее. Со мной тут же все познакомились. Я успел показать свою суперкнигу. Все посмотрели в ней мою фотографию. Взамен меня снабдили информацией о моём будущем.

Я узнал, что за границей начинается городок Ялама, однако до него надо идти пешком чуть ли не час, а лучше — опять-таки — взять такси. Наверное, Ялама есть деревня с самым высоким уровнем таксистов на душу населения.

Также я узнал, что азербайджанские пограничники потребуют с меня взятку. И азербайджанские милиционеры тоже все поголовно взяточники. Или даже так — самые взяточные взяточники в мире. Гораздо взяточнее русских, хотя это и сложно представить.

Кстати, и в Интернете также об этом свойстве азербайджанской полиции писали многие. Потому я внутренне начал было тревожиться и совершенно зря — ни разу никакой милиционер ко мне не полез за взяткой. Нигде меня не задерживали и ни в какие камеры пыток не сажали.

Тем более, что у меня ведь было оружие — железнодорожная ксива.

А действенность её в Азербайджане, как мы позже узнаем, оказалась просто запредельной.

Южные пограничники пропустили меня также довольно быстро. Единственное, что они потребовали от меня — показать суперкнигу. Слух о ней опередил очередь и распространился по ней, словно космическая чума. Так что на таможенный пост я прибыл уже в ранге знаменитости.

Я даже мысленно порадовался, что так и не встретил в Ростове редактора Карена — иначе ведь суперкнига была бы подарена ему и не облегчала мне жизнь.

Насладившись видом моей рожи в книге и во всяких ракурсах сравнив её с оригиналом (я даже очки снял), таможенники поняли, что теперь и им надо показать свою удаль. Некоторое время они размышляли. Потом нерешительно спросили, что у меня в рюкзаке. Я нахально ограничился словесным описанием.

— Тут одежда. Тут документы. Тут карты.

Даже открывать замок не стал:

Азербайджанцы, впрочем, не настаивали. Они подумали, наверное, что такая теперь новая мода — верить на слово.

Лишь самый старший из них нерешительно вякнул:

— А что за карты?

Я рассказал, что коллекционирую карты, и в каждом городе, где бываю, обязательно покупаю карту — на память. Даже (так и быть!) расстегнул застёжки на рюкзаке и показал им первую попавшуюся карту (это оказалась Махачкала). Азербайджанцы рассматривали её с таким видом, словно там были изображены окрестности Юпитера. Особенно их потрясло, когда они обнаружили на карте футбольный стадион. Лица их выражали гордость за прогресс человечества.

Я же вдруг вспомнил, что в той же пачке карт лежит и мой блокнот. И в этом самом блокноте мы с моим ростовским знакомым Рафаэлем всю обложку исписали армянскими буквами. И если вдруг южане полезут рыться в картах дальше, то обязательно обнаружат следы этих наших упражнений. И у меня немедленно возникнут проблемы самого глобального масштаба. Ведь Азербайджан и Армения до сих пор воюют из-за Карабаха.

Вот интересная особенность путешествий по Кавказу. Без курса политинформации туристу приходится здесь туго.

Впрочем, таможенников Махачкала полностью удовлетворила. Они облазили носами весь город (включая рекламу медицинского центра доктора Канаевой), и, видимо, остались полностью удовлетворены.

В мой паспорт шмякнулся зелёный штамп, и путешественник Яковлев весело побежал за границу.

IV. Азербайджан

Этимология

Несколько лет назад в Азербайджане перешли на латиницу. Едучи по местным дорогам, очень мило и поучительно смотреть на такие, например, названия, как «Khutor», «Ol'hovka» или «Krasnaya Sloboda». Встречаются здесь очаровательные кентавры вроде «Udullu Vtoroe», после которых становится даже интересно, что такое «Удуллу». Искренне порадовали также посёлочки «Baeda» и «Tupoi» на трассе Махачкала — Баку. Хотя вполне может быть, что я неточно прочитал названия — ехали мы довольно быстро.

Кстати, город Баку на самом деле вовсе не Баку, а Бакы. Точнее, даже, так — «Baki». Азербайджанцы, впрочем, очень уклончиво отвечают на вопрос об истинном имени своей столицы. Я не раз у них спрашивал:

— Как же всё-таки правильно — Баку? Баки? Бакы?

Обычно мне отвечали таким странным образом — что, вообще-то, правильно говорить «Бакы», но так как я из России, то мне *можно* говорить Баку. То есть, это такой экспортный вариант. А если я начинал углубляться в этимологические дебри, то азербайджанцы обычно говорили вовсе так:

— Да нам, вообще-то, всё равно.

Думается, это абсолютно верный подход.

В классическую латиницу в Азербайджане привнесли всего одну новую букву. Это буква «ə» («е перевёрнутое»). Ввели её потому, что без неё,

вроде как, совсем никуда. И в самом деле,—это самая популярная азербайджанская буква.

Она есть в названии страны—«Azərbaycan». В президентской фамилии «Əliyev». И так далее. Читать её правильно нужно как нечто среднее между «а» и «э».

Ялама: начало цивилизации

Как только я вошёл в Азербайджан, ко мне сразу подошёл человек. Он хотел изменить моё мировоззрение в корне. Суть его проповеди содержала, вкратце, два пункта.

Во-первых, я должен был немедленно поменять рубли на азербайджанские манаты, причём прямо сейчас и именно у него.

Во-вторых, я должен был так же немедленно нанять этого мужика и его машину и доехать на нём до деревни Ялама за двадцать манат.

К счастью, я заблаговременно поглядел в Интернете обменный курс и знал, что один манат стоит сорок пять рублей. Также я знал, что до Ямалы прямым ходом три километра, и тариф в двадцать манат (или, что то же самое, тысяча рублей) мягко говоря, преувеличен.

Потому я совершил чудовищное злодеяние и отверг все предложения смуглого мужика. С лицом, выражавшим все оттенки мировой скорби, он поплёлся за мной. Его заунывный голос призывал меня одуматься и предсказывал в противном случае страшнейшие кары—что я буду обманут, что я попадусь грабителям, что не доберусь, наконец, никогда до Яламы и буду вечно блуждать в пустыне (да-да, где-то возле границы, по мнению проповедника, скрывается бескрайняя пустыня!).

В таком апокалиптическом антураже я прошёл свои первые азербайджанские метры. Впрочем, через несколько минут мой первый азербайджанский друг разочаровался во мне и рысью поскакал обратно к таможне в поисках кандидатуры посговорчивее.

Я же прошёл через табор местных таксистов (кстати, самый обширный во всём Азербайджане). Здесь цены были более разумными—до Яламы можно было доехать за сумму от 2 до 4 AZM (90–180 рублей). Мне, однако, и такой тариф казался завышенным, и я пошёл себе дальше.

Пройдя таксовый табор, я встал у обочины. И первая же попутная машина (был это древнейший синий «Москвич») радостно остановилась, и безо всяких тарифов водитель повёз меня в Яламу.

Рыночный миф об азербайджанцах заставляет нас всегда ждать от них—тарифов. В России азербайджанцы считаются неким исключением из кавказских народов. Расхожие кавказские мифы—гостеприимство, добродушие, бессребренничество—не распространяются на них. Азербайджанцы считаются этакими кавказскими евреями, озабоченными только денежной стороной дела (также часто такой образ складывается об армянах).

Всё это, господа, есть полная чушь.

В Азербайджане автостоп невероятно лёгок. Машины останавливаются по первому твоему мановению. Жители страны гостеприимны, хлебосольны и всегда доброжелательны. Большинство их по-доброму относятся к русским. Хотя думают о нас, так же, как мы о них,—русских часто считают сутяжным, расчётливым народцем, который все отношения поверяет рублями.

Ведь с тех пор, как между Россией и Азербайджаном есть граница, русский и азербайджанец встречаются только на базаре.

Но и сломать эту традицию легко. Делов-то немного—лишь выйти с базара.

Тимур

Водителя «Москвича» звали Тимур. На границе он встречал своего сына. Тот был на заработках в России.

И вот этот самый Тимур—представитель, как вы помните, самой скаредной и негостеприимной нации—почему-то не только не взял с меня ни рубля. Доехав до дома, он высадил сына, которого не видел несколько лет, и повёз меня—человека, которого видел первый раз в жизни,—на центральную площадь города. Там мы пошли в центральный магазин, в служебный ход, к какой-то тётке (которая была, как оказалось, главным обменным пунктом). Поменяли рубли на манаты по самому выгодному курсу (1 к 42-м).

Затем этот Тимур повёл меня обратно на центральную площадь, нашёл там таксистов, которые могли бы довезти меня до райцентра, начал с ними бешено торговаться.

Разругался с таксистами.

Остановил местного милиционера, который случайно попался под руку. Всучил меня этому милиционеру. Договорился о цене.

Разругался с милиционером.

Я не зря учил турецкий язык, и мог потому понимать хотя бы цифры, которыми они перекидывались; милиционер просил сначала пять манат. Тимур давал один. Тот просил три. Потом два.

На том, наконец, сошлись.

Быстро Тимур затолкал меня в машину к азерскому менту (пока тот не одумался) и помахал ручкой на прощание. Я даже не нашёлся, чем отблагодарить его. Денег он не просто не взял. Он и вёл себя, как настоящий человек. Которому и предложить-то деньги было обидно. Он просто помогал мне.

Потому я поблагодарил его тоже просто и по Правде. Я сказал ему «спасибо».

Не более, и не менее.

Сервис милиционера Фарида

Я бы, конечно, и без Тимура уехал из Ямалы. Остановив попутку, например. Просто было неудобно объяснять это всё Тимуру—он ведь тратил на меня своё время, договариваясь с местными таксистами (и обнаружив лучшего из них—неожиданно—в лице туземного мента). Так что за два маната (90 рублей) я поехал на менте.

Звали мента Фарид. Внешне он представлял собой некий гибрид Фернанделя и Юрия Никулина. Или, другими словами—лицо у него было круглое, как блин, и на блине этом кто-то проковырял глаза, нос и рот. Рот же постоянно улыбался.

Фарид был единственным человеком в Азербайджане, который постоянно думал о деньгах. Ещё когда только мы трогались с места, он уже спрашивал, есть ли у меня манаты. Я сказал, что манаты есть, и что я в курсе насчёт того, о какой цене они договорились с Тимуром. Фарид заметно огорчился этому факту.

Подумав, он решил разнообразить беседу:

— А сколько у тебя манатов? — спросил он.

Я откровенно показал ему те деньги, которые мне наменял Тимур в продуктовом магазине.

— Это на тысячу рублей? — уточнил Фарид. Некоторое время после этого он занимался подсчётами. Его брови сходились и расходились, как костяшки счётов. Наконец, он удивлённо сказал:

— Всё правильно. Даже не обманули.

Затем добавил:

— Если ты дашь мне все эти деньги, я отвезу тебя до самого Баку. Прямо сейчас.

И поглядел на меня с неподдельной радостью. Я тоже посмотрел на него с благодарностью и умилением, но отчего-то не захотел ехать прямо в Баку. Это очень сильно удивило Фарида. Ещё больше он был поражён, когда я отказался ехать с ним в соседнее село за свежими и самыми лучшими в стране персиками. И очень дешёвыми, естественно.

Минут через десять мы приехали в райцентр Худат. На местном автовокзале теснились в рядок жёлтые газели. Одна из них как раз была до Баку, и стоила почему-то не тысячу рублей, а в пять раз меньше (4 маната).

Я отдал своему шоферу две назначенные бумажки. Он помусолил их, проверяя, не положил ли я, случайно, пару лишних банкнот. Напоследок Фарид сделал последнюю попытку приручить мои денежки:

— За два маната я тебя в этот автобус посажу с полным сервисом.

— Как это?

— Занесу тебе чемодан, дверь закрою за тобой аккуратно. Хороший сервис.

Предложение Фарида было необычайно соблазнительно. Где ещё можно добиться, чтобы мент потаскал твой рюкзак, да ещё и ласково посадил тебя в машину? С другой стороны, Фарид назначил немалую цену за то, чтобы хлопнуть автобусной дверью. Так что я решил уж его не баловать, и сам затащил свои шмотки в газель. И даже дверь сам за собой закрыл.

Автодорога Xudat—Baki

Всего пути от границы до столицы в Азербайджане — чуть больше двухсот километров. Этот путь мы проделали довольно быстро.

В дороге я развлекался тем, что считал экскаваторы. Сбился на второй сотне. Казалось, их согнали сюда со всего Кавказа. Возникало даже впечатление, что к моему приезду азербайджанцы вдруг решили починить все дороги.

Самая популярная вывеска на азербайджанском придорожье — «Moika». Оно и понятно — в экскаваторной пыли чистым не поездишь. А вот совершенно необъясним другой популярный слоган — Lepka. «Лепок» этих по дороге на Баку штук шесть. Не иначе, как популярнейшее развлечение сезона.

Также по дороге вы встретите важнейший туристический объект новейшей истории Азербайджана — мавзолей Гейдара Алиева.

Баку / Baki

Баку — единственный большой город в стране. А заодно — крупнейший город Кавказа. Сюда ведут, естественно, все местные дороги. Соответственно, мимо Баку в Азербайджане не проедешь. Я, впрочем, и не собирался.

Дрессированный общественный транспорт

В Баку есть метро, но назначение его совершенно непонятно. В России тоже есть такое непонятное метро — в Самаре. Только Самарское метро бегает с окраины на окраину, а Бакинское — из центра в центр.

Поэтому здесь принято ездить на автобусах. Причём они сильно мутировали в сторону такси, ибо останавливаются по первому взмаху руки. Официальные автобусные остановки существуют, но обычно остаются пустыми.

Характерный Бакинский автобус — это упитанный такой бегемот, который степенно едет вдоль обочины и тормозит через каждые десять метров. После чего в него запрыгивает очередной пассажир. Иногда водитель даже двери не закрывает.

При всём том перемещаются автобусы необычайно быстро. Добавим сюда ещё отсутствие пробок (в исламских городах как-то умеют с ними справляться). Так и выходит, что от окраины до центра можно добраться едва за полчаса.

Близость моря позволяет Баку не сгореть от жары. Поэтому на улицах тут редко встречаются арыки — в отличие от Средней Азии, где они выполняют как раз функцию кондиционера.

Песочный город

Центр города — несколько параллельных прямых улиц, почти как и у нас в Красноярске. Здесь сконцентрированы и все главные туристические примечательности. Главная из них — старая крепость. Это небольшое и тесное нагромождение каменистых кварталов, общим размером с нашу Предмостную площадь. Полтора века назад здесь жил Бакинский шах. Его дворец занимал половину территории. Ещё четверть приходилась под усыпальницу его предков, а на оставшихся метрах помещались ещё тринадцать тысяч человек (именно таково было население старого города)

Пешком старую крепость можно обойти очень быстро — чуть не за десять минут. Однако делать этого не следует. Место это достойно более медленного внимания.

В каменном городе почти нет растений, однако стены домов дают много тени, и улицы прохладны. Камень здесь имеет светлый цвет, и дома кажутся оттого песочными, похожими даже на печенье. Эта песочная игрушечность очень привлекательна.

Лестницы в крепости необычайно круты — иногда ступеньки чуть не до метра высотой. Окна же в домах, наоборот, узки, так что иногда и руку не просунешь. Да и всё равно на каждом окне ромбовая решётка.

Хотя сам Баку стоит на относительно ровном месте, крепость почему-то скачет сверху вниз необъяснимым образом. На сто метров попадаются перепады в три этажа. И обратно.

Набережная Азербайджана

Единственное место, где Баку соприкасается с Каспийским морем — это официальная набережная. Я бы так и посоветовал её назвать. Набережная Азербайджана.

Здесь находится дворец президента. Как и полагается, он напыщен, обладает пафосными башенками и глуповатым металлическим забором.

Однако бакинский вечер может преобразить и его. В лучах подсветки (как же дворцу без подсветки?) он приобретает этакое лазурное свечение. Становится даже приятно думать — вот, мол, я стою на набережной, а где-то там в кабинете работает президент. Вот около Кремля не очень-то думаешь о том, что кто-то там работает или не работает. Скорее уж о том, кто лежит. А на Набережной Азербайджана — думаешь. В этом достоинство Бакинского вечера.

В отличие от расхожего стереотипа, в Азербайджане (да и вообще в большинстве южных стран) очень спокойно, и улицы отнюдь не полны ворами, попрошайками и пищевыми отходами. По Баку можно без опасений гулять ночью.

И пресловутый фундаментализм в Баку тоже не ощущается. Мечети встречаются не чаще, чем православные и даже католические храмы. Девушки ходят себе в мини-юбках, а отнюдь не в парандже. Разве что пьяных не видно. Так это только и к лучшему. Зато — на меня опасливо косятся, когда я пишу в блокнот. Это дурной знак — значит, цензура тут ещё хуже, чем у нас, и водятся стукачи.

Бакинский вечер

А вот вам для примера вечерние развлечения бакинцев.

Качели. Неплохо, да?

Гонки на игрушечных картах! Комната смеха (где вы в России в последний раз видели комнату смеха?!) И так далее.

Лишь пивнушка невдалеке от вокзала показывает этот приятный игрушечный народ таким, как он есть. Без некоторого детсадовского антуража.

Руки в Баку моют после еды, ибо многое (салат, например) едят руками.

На сто рублей можно обожраться до неприличия. Я вот потратил три AZM на двойную порцию котлет (котлеты на развес! до сих пор где-то есть такое на свете!) с картофельным пюре и с двойным пивом.

Vogzal

«Вокзал» по-азербайджански будет «vogzal».

Железнодорожный Бакинский вокзал, в лучших традициях — на ремонте. Последних года два. Огромный, с низким потолком кассовый зал полон всякой строительной дребедени. Кое-где в нём не работают лампы. Из полумрака оскаливаются пробитые стены. Кажется даже, что недавно сюда попала пара-тройка авиабомб.

Об электронном расписании поездов на vogzal'е, конечно, не может быть и речи. Более того — здесь даже обычного расписания нет.

Единственный экземпляр такового есть в справочной кабинке. Там сидели две черноокие тётки. У них было чёткое распределение. Первая ничего не понимала по-русски, и, соответственно, отвечала за работу с резидентами. Вторая знала русский и, как бонус, умела считать по-английски до десяти (но не далее — слово hundred для неё уже загадка).

Справочницы работают с вами неохотно, а видя, что вы ещё и не знаете язык, вовсе перестают отвечать на вопросы. Это называется «азиатская вежливость второго сорта». Степень и знак её напрямую зависят от уровня вашей внешней респектабельности. В России такая избирательная вежливость тоже весьма распространена.

Лучший способ справиться с глупой справочницей — просто выхватить у неё из рук расписание. Я так и сделал. Отгороженная кабиночным стеклом, тётка ничем не могла мне помешать и просто угрожающе верещала там у себя внутри. Тем временем я изучил расписание и переписал нужные поезда себе в блокнот.

Однако это оказалась только первая часть.

В кассе обнаружилось, что на нужное мне грузинское направление сегодня билетов нет. Как и на все остальные. И билеты хоть куда-нибудь есть только на послезавтра.

Нехватка билетов — хроническая проблема для большинства стран зарубежной Азии. У них попросту не хватает вагонов. Решают проблему по-разному. Где-то продают билеты по жесточайшим квотам, а где-то возят людей вместо вагонов на открытых платформах и в цистернах. В Азербайджане пока до цистерн не додумались. Поэтому всем путешественникам свои места рекомендуется выкупать заранее. Или доставать по блату.

Блата у меня не было. И лишних суток тоже.

Зато у меня была суперкнига. С ней я и потопал к начальнику вокзала. Дежурно мы поулыбались, я показал свой портрет в суперкниге, а начальник позвонил насчёт чая. Затем я подал ему своё удостоверение и спросил, нельзя ли в честь железнодорожной солидарности и человеческого интернационализма взять и как-то всё быстренько с билетами устроить.

Начальник вокзала поглядел на печать в удостоверении, увидел, что она заграничная, и резко потерял всякий интерес к моей личности. Более того, он обнаружил на своём столе важнейшие бумаги и немедленно погрузился в их изучение. А также внезапно забыл русский язык. Одним словом, включил избирательную вежливость.

Но у меня тоже было своё секретное оружие. Специальное бронебойное оружие, созданное

по магической формуле «клин клином», и предназначенное специально для подобных случаев. В данном случае — «буквоедство — буквоедством».

Причём с начальником Бакинского вокзала не пришлось даже полностью разворачивать диспозицию. Оказалось достаточно следующих подготовительных действий: открыть блокнот и сказать:

— Хорошо, будем разговаривать по-другому. Давайте-ка я запишу вашу фамилию.

Начальник некоторое время размышлял, стоит ли открывать сию важнейшую тайну. Потом он всё-таки открыл рот и постарался как можно невнятнее пробурчать, как его зовут. Вышло что-то вроде: «Чарма-Лупа». Я старательно записал эти сведения на клетчатую страничку.

Видимо, оборона у Чарма-Лупы была не из сильнейших. Так что она сразу дала сбой. Не успел я точку поставить, как в комнате появился какой-то седоватый вертлявый мужичок и немедленно стал куда-то звонить насчёт билетов. А заодно и припоздавший чай принесли.

И через пять минут шёл я из логова Чарма-Лупы в восемнадцатую кассу, где уже «обо всём знали» и продали мне билет на другой конец страны — до Гянджи.

Кстати, стоил он сущие копейки. Два этих города разделяет около четырёхсот километров. И сколько, думаете, я заплатил? Три с половиной маната (150 рублей). Причём два из них — был обязательный сбор за бельё, а сам билет выходил в пересчёте на русские деньги — чуть более полтинника. Так и выходит, что азербайджанская железная дорога — самая дешёвая в мире.

Всю страну можно проехать за копейки. Пусть и азербайджанские.

Поезд Баку—Акстафа

Азербайджанские поезда от русских отличаются лишь немногими незначительными деталями. Например, на местных локомотивах можно встретить надписи сразу на трёх алфавитах — местной латинице, русской кириллице и грузинской виноградной вязи.

Проводник в вагонах — царь и бог. Беспокоить его не полагается. За бельём дисциплинированные пассажиры ходят сами. Чай тоже делают сами, и даже титан, кажется самостоятельно растапливают.

Я, впрочем, за бельём не ходил. Ибо ещё до отправления я стал местной вагонной знаменитостью. Видимо, русские — да ещё из Сибири — здесь встречаются нечасто. Соседние парни сбегали за моим подушечным комплектом и долго выбирали самый лучший (он, впрочем, оказался таким же серым, как и остальные). Соседи снизу посоветовали положить рюкзак к ним в рундук — чтобы не украли ночью. Воровать у меня в рюкзаке (кроме суперкниги) было особо нечего, но я всё равно их послушался.

Забытый русский язык

К слову, о русском языке. Ходят упорные слухи, что бывшие страны соцлагеря тщательно стараются забыть русский. Это, конечно, полная ерунда. Однако старики действительно говорят по-русски лучше молодых. Это объясняется просто — ведь в советское время у них было гораздо больше практики. Молодые, как правило, знают язык на том же уровне, как средний россиянин знает английский. Иными словами, хочет говорить, но не может. Впрочем, пару простых фраз склеить сумеет и он.

Русский остаётся здесь главным интернациональным языком. В приграничных районах Грузии и Азербайджана почти все надписи на русском. Пока вы находитесь там, вполне может сложиться впечатление, что Союз до сих пор существует.

Совершенно в Закавказье не котируется английский. Не говоря уж о немецком и прочих, менее распространённых, наречиях.

Волшебную силу зато имеет знание арабского, или хотя бы умение писать арабской вязью. Азербайджанцы в массе своей — такие же мусульмане, как и русские — православные. То есть искренне верят, но сами толком не знают, во что. И виньетки арабского письма для них — уже не просто буквы, но более символ. Если вы сумеете написать азербайджанцу его собственное имя арабскими буквами — он будет чувствовать себя вашим сердечным должником.

Фронт-за-горой

Гянджа известна была в Советском Союзе под именем Кировабад. Известен он прежде всего, тем, что отсюда родом был великий поэт Низами. В остальном же это самый обычный виноградный городок. В последние десятилетия, впрочем, Гянджа обрела неожиданно другой статус. Внезапно этот город посреди Азербайджана оказался вдруг приграничным и даже прифронтовым.

Когда на перроне Гянджи выходишь из поезда, то сразу можно видеть далёкий хребет Карабаха. Там и проходит уже двадцать лет призрачная граница, а реально — фронт. Несмотря на то, что на всех картах Нагорный Карабах окрашен зелёным цветом Азербайджана, уже двадцать лет, как эта территория фактически занята Арменией.

От Гянджи до грузинской границы около ста пятидесяти километров. На всей этой территории неофициально существует военное положение. Мои вагонные знакомцы помогли мне сесть в автобус до городка с многоэтажным названием (сами азербайджанцы называют его по-русски — «Krasny Most» или даже проще — «Granitza»).

Водитель предложил мне на всякий случай лечь на заднее сиденье и прикрыться багажом остальных пассажиров. Мотивируется это тем, что я не похож на азербайджанца. Полицейские не будут разбираться — в лучшем случае высадят с рейса и посадят в кутузку. А это минимум неделя в тюрьме — пока будут посылать всякие дурацкие запросы в Баку, и обратно будут идти ответы и отписки…

— И это в лучшем случае, — солидно сказал водитель. Пассажиры в автобусе согласно и печально кивали:

— Полицейские у нас дураки, — проговорил некий старик, — им проще его застрелить, чем возиться.

— Полицейские не только у вас дураки, — ответил я, — но ведь на армянина я тоже не похож.

Уповая на авось и на интернациональную азиатскую безалаберность, мы стали трястись по кошмарным местным дорогам. Экскаваторы, которые согнали к Каспию, дойдут сюда ещё нескоро.

Лишь в самом приграничном городке Газах нас ненадолго останавливали на шмон. До Армении меньше пяти километров; её загораживал от нас небольшой холмик. Печально на нём чернели какие-то развалины. Думается, впрочем, это не свидетельства былых военных разборок, а, скорее, какой-то бывший сарай, осевший от собственной дряхлости.

Пятнистый боец поднял шлагбаум, и, нисколько не интересуясь нашими багажными личностями, махнул рукой — «Проезжайте!». Моя загорелая физиономия тоже особого внимания не удостоилась.

Мы поехали дальше. Мой друг из поезда вышел в какой-то пограничной деревеньке. Рядом со мной остались только водитель и некий подросток. Путаясь в словах и падежах, он начал что-то мне рассказывать.

На таможне повторился традиционный уже ритуал — показываю загранпаспорт, суперкнигу, своё железнодорожное удостоверение. Вновь смотреть мою фотографию собирается весь боесостав таможни, все местные мигранты и даже задержанный сопливый контрабандист. Азербайджанцы на всякий случай интересуются: «Артём — это не армянская ли фамилия?». Однако я как бы не понимаю намёков. Деньги не достаю. Тогда просят снять очки.

— Вроде не похож? — говорят они друг другу и показывают на фотографию. — Уши какие-то другие.

И смотрят на меня. Я по-прежнему не понимаю намёков.

— А ещё одной такой книги нет у тебя? — спрашивает таможенник.

Нету у меня ещё одной книги. А может быть, я им эту хочу подарить? Нет, почему-то не хочу. Она мне очень нужна. Я везу её в Грузию, вручать в правительство, в самый важный кабинет. И в Азербайджане у вас уже одну такую подарил. Тоже министру.

Ну, раз министру… Тогда ладно.

Разочарованно отпускают меня в Грузию.

v. Грузия

Храми и Мтквари

Вблизи границы протекала река. Судя по её внешнему виду, она и должна была числиться главной кавказской артерией и гордо называться Курá.

Вид у реки был такой: бурное широкое русло и песочного цвета вода. Глубиной река была едва ли в один метр. Впрочем, кавказской реке особой глубины и не требуется. Она другими гордится достижениями.

Я спросил у пограничника:

— Это река Кура?

Однако пограничник сказал, что это никакая не Кура, а Храм. И действительно, когда я позже проезжал по мосту через неё, то в самом деле обнаружил надпись по-грузински — «Храми».

Храми течёт по южной Грузии и впадает в Куру приблизительно в паре километров от того места, где я покинул Азербайджан.

А собственно реки «Кура» в Закавказье не существует. Грузины зовут её Мтквари, азербайджанцы — Кюр. «Кура» — это турецкое название.

Почему-то грузины не купаются в Куре / Мтквари. Или делают это как-то очень скромно, чтобы я не видел. Также над Курой не стоят сердитые мужики с удочками. Зато и покрышки не плавают вперемежку с пластиковыми бутылками. А это уже само по себе неплохо.

Грузинский Duty-free: *утраченные иллюзии*

Нейтральная полоса между Грузией и Азербайджаном продолжается около полукилометра. Водятся там животные двух типов: дальнобойщики и пчёлы. И те, и другие многочисленны, сонливы и апатичны. Для путешественника безвредны.

Возле грузинской таможни стоит стеклянный магазинчик duty-free. Пожелав приобрести там халявное, свободное от пошлин пиво, я впервые присмотрелся к нейтральным ценникам. Оказалось, что ценники эти нисколько не дешевле своих государственных аналогов. Соответственно, никакой выгоды от этого duty-free не существовало.

Было, однако неудобно уйти без покупок. Так бывает иногда в большом супермаркете. Если ты проходишь с пустыми руками мимо кассы, все смотрят на тебя с недоумением, возмущением и даже некоторой горечью.

— Как это ты ничего не купил? Не задержать ли тебя на всякий случай?

Так и здесь два грузина за прилавком столь предупредительно и жалобно на меня смотрели, что пришлось купить-таки бутылку какого-то барахла.

Волшебный таможенный корректор

Выйдя из разочарованного магазина, я прошёл в застеклённый тамбур и попал в очередь на таможню.

Здесь должна была решиться главная интрига — пустят ли меня в Грузию. Это был весьма сомнительный вопрос. Грузин, например, в Россию не пускали. А русских в Грузию — только с визой. Визу же надо было получать в Москве, в посольстве, которое не работало.

Грузинская виза, читатель, — это особый разговор. Когда ты читаешь эти строки, наверняка ситуация с этими визами уже изменилась, ибо она меняется, бывает, каждый день.

Весной 2009 года схема была такой: над грузинским посольством в Москве висел швейцарский флаг. И называлось всё это «зона грузинских интересов при посольстве Швейцарии». Ибо официально Тбилиси и Москва дипломатических отношений не имели.

Внутри зоны сидели всё те же работники консульства, которые по привычке продолжали ходить на работу. И, как бы нехотя, вели свои визовые дела. Для москвичей виза в Грузию стоила 35 долларов. Всем остальным визу вообще не давали,

и говорили — езжайте спокойно, на границе вам всё нормально устроят.

И в самом деле, на границе всё нормально устроилось. Вопреки ожиданиям. Мне дали анкетку, и я около часа её заполнял (а точнее, по складам разбирал грузинские буквы — это оказалось занятие увлекательное и совсем не сложное). Никто эту анкету особо не смотрит. Главное, на всякий случай приготовить адрес внутри Грузии — куда вы, вроде как, едете. Я солидно написал адрес управления грузинской железной дороги. Он у меня был заранее приготовлен.

Оттенок несерьёзности был заметен сразу — в таможенном окошке сидели две женщины. В Азербайджане такое представить было бы невозможно. Даже в России — с трудом. «Пограничница» — у нас даже слова такого нет.

Дамы прекрасно знают русский. Правда, ко всем обращаются на «ты». Это, однако, не пренебрежение, а чуть ли не официальный порядок. Своему начальнику они тоже тыкают. И президенту, наверное. Если бы он вдруг тут оказался.

Кстати, везде на таможне висят угрожающие плакаты от президента. Саакашвили лично гарантирует всем взяточникам и коррупционерам три года заключения. По-грузински и по-английски. На русском угроза не прописана. Видимо, для нас есть в этом плане поблажки.

Фотографирование и вклейка визы заняли около трёх минут. Затем меня отправили в кассу оплачивать две эти трудоёмкие операции. Оказалось, правда, что с приближением к обетованной грузинской земле цены растут. Виза стоила уже не 35 долларов, а 60.

— Можно рублями, — сказал мужик в кассе (вот интересная гендерная инверсия грузинской таможни — женщины-охранники и мужчина-кассир) — с вас две тысячи ровно.

Округлость этой цифры зародила у меня некоторые сомнения относительно принятого на таможне курса. Однако я послушно подал ему две синих бумажки. Грузин необычайно долго с ними возился. Наверное, пересчитывал.

Чтобы тоже как-то участвовать в процессе, я завязал с мужиком разговор. Я сказал:

— А в Турцию говорят, всего двадцать долларов виза.

И грузин охотно откликнулся. Он поднял нос от своей кассы и с интересом сказал:

— В Турцию едешь?

Я ответил, что и в Турцию тоже.

— Чего тогда транзитную визу не взял? — спросил мужик.

— А зачем её брать? — спросил я у мужика.

— Затем, что она стоит дешевле.

— Насколько дешевле?

Мужик задумался.

— Главное, чтобы он сейчас не завис, — подумал я. — Если уж две бумажки полчаса укладывал…

Однако мужик довольно быстро провёл калькуляцию и сказал мне:

— В десять раз.

Я спросил:

— Как это?

Нет, даже так:

— *Как это?!*

Подумав, что устарелая счётная машина мужика где-то допустила сбой.

Однако всё это оказалось правдой. В пограничном законодательстве Грузии действительно есть потаённая и никому не известная «транзитная виза». Она даётся на три дня (обычная виза — на месяц), и стоит всего 10 местных денег (или, что то же самое, 200 рублей).

Вот, читатель, тебе заметка о пользе бесед с таможенниками! Это люди, разговор с которыми приносит и эстетический, и финансовый эффект.

— Так сделай же мне эту волшебную визу! — грозно сказал я.

— Но тебе уже обычную визу поставили, — сказал мужик. Ненадолго он задумался, а затем вдруг вышел из кассы и запер её на ключ.

— Пошли.

И мы пошли в комнату, где мне ставили визу. Там кассир стал шумно беседовать с тёткой. Говорили они по-грузински. Я ничего не понимал, конечно. Тётка показала ему страницу в моём паспорте, где блестела стереонаклейкой моя новенькая грузинская виза. Мужик решительно сказал какую-то короткую фразу. Я снова не понял и лишь по его жесту смог угадать её приблизительный смысл:

— Вырви нахрен эту страницу, и всё.

Я начал уже готовить речь в защиту моего паспорта. Однако тётка сделал проще.

Ты думаешь, она нашла какую-то уловку, читатель? Думаешь, она, ради дружбы наших народов, шмякнула мне вторую, правильную визу?

Ты ошибаешься, читатель. Она поступила проще.

Она взяла корректор, и замазала на визе циферку ноль. Была виза на тридцать дней, стала — на три.

Вот так в Грузии решаются дипломатические проблемы.

В визе название страны соединилось с моей фамилией. Получилось в итоге Geoiakovlev.

Обнаружилось, правда, что для транзитной визы официально требуется подтверждение — билет, турпутёвка или прочая дребедень, из которой становится ясно, что вы, и в самом деле, в страну заехали ненадолго. У меня такого подтверждения не было.

— Фигня, — сказал мужик (он даже другое слово использовал; хотя с таким же окончанием и даже таким же количеством букв).

Тётка подтвердила его слова. Она сказала то же самое слово. С тем же окончанием, и с тем же количеством букв.

Настоящее

Грузины, подобно любому народу, окружены легендами и стереотипами. И мало есть наций, которые имели бы большее право на такие легенды.

Но я искал основную черту, которая могла бы объяснить все остальные. Я нашёл эту черту.

Грузины — настоящая нация.

Не в смысле «настоящее» — то, что на самом деле, а «настоящее» — то, что происходит сейчас.

Вот грузины существуют сейчас.

По-другому и не скажешь. Подходящего слова нет в русском языке. Есть слово «сиюминутный». Но оно пренебрежительно. Хотя грузины и сиюминутны — они редко заботятся о завтрашнем дне.

Можно сказать «сегодняшний». Но это слишком сухо. От него пахнет ежедневной газетой. И одновременно какой-то горделивостью: все остальные — не сегодняшние. Вчерашние. Устарели.

А тут не то.

Именно «настоящие».

Есть нации прошлого. У которых всё уже было. И это неплохо — быть на пенсии истории. Как евреи, с их Торой и регламентированным до каждого вздоха талмудическим бытом. Как португальцы, некогда граждане главной державы мира, а ныне спокойный, улыбчивый народ. Солнце, пляж, берег океана.

Есть нации будущего. Которые всё строят будущее. Вроде русских. Или вьетнамцев. И это тоже неплохо.

А вот грузины живут в настоящем. Это ещё круче. Это жизнь в квадрате.

Поэтому Грузия и не дала миру великих путешественников и первооткрывателей. Великих пророков и предсказателей. Зато дала планете специалистов в гораздо более важном деле. Мастеров жизни. И не одного — несколько миллионов.

Специалист по жизни знает цену секундам. Дыхание удерживает его на плаву времени, как пловца на волне. Ему не нужны календари и хроники, ежедневники и расписания. Под его взглядом мир начинает дышать глубже. Секунды тикают, капают и осыпаются — в страницы газет, в учебники истории. Складываются в годы. Но они уходят из настоящего и перестают быть живыми. А специалист по жизни двигается во времени дальше — оживлять новые секунды.

Вот эта черта и заставляет грузина существовать.

Ею определяется и направляется грузинская жизнь, этой настоящестью. Она — причина.

Гостеприимство, импульсивность, любвеобилие, открытость и прочие грузинские качества — лишь её следствия.

Тотальный обмен валюты

Менять деньги в Грузии можно где угодно. Вас не обманут.

Я, например, заранее поглядел курс в Интернете. И был во всеоружии, когда приступил к поискам обменника валюты. Только вот обменника почему-то нигде не было. Я спросил у встречной бабки:

— Где здесь можно рубли поменять?

Бабка торговала какой-то рыбой. И семечками, кажется. Она сказала:

— Ну, давай, я тебе поменяю.

И поменяла. По вполне официальному курсу. Он, кстати, очень прост — 20 к одному. Пятьдесят лари на тысячу рублей.

Перевод денег

Один лари состоит из ста тетри. Тетри переводится как «серебро». «Лари» переводится ещё более логично — «деньги».

Автобус любопытства

Машин для автостопа возле таможни не было. Орды дальнобоев в нейтральной зоне почему-то зависли на границе.

Зато был удивительно дешёвый автобус до Тбилиси за 4 лари, который отправлялся через 15 минут. В него я и забрался, и сразу же туда залезли ещё человек пять грузин и стали с интересом спрашивать, кто я такой и откуда. Не то, что им было нечем заняться. Нет. Но они же были *из настоящего*. Они не могли пропустить мимо столь любопытный кусок жизни.

Нация перекура

Вообще нет такой мелочи, на которую грузин не был бы рад отвлечься. Любая чепуха — летящий голубь, синяя машина, кудрявая девушка, ослик на дороге, красная машина, ребятишки с мячом — обязательный повод прервать работу и посудачить. Или, хотя бы понаблюдать за этим. Желательно лёжа. А лучше всего — закусывая и выпивая при этом.

Скажу более — я не видел ни разу в Грузии, чтобы кто-то там работал.

Завитушки

Так вот я залез в «Газель», и сразу туда пришли все местные грузины. Человек двадцать. Или сорок. Или сто.

Немедленно по рукам пошла моя суперкнига. Кроме того, грузины узнали, как живут люди в Красноярске и где вообще этот Красноярск находится. Нашёлся один грузин, который бывал в Красноярске. И даже жил там. На улице Семафорной.

Я, в свою очередь, узнал, что в Грузии русских по-прежнему любят. И, несмотря на наши правительственные нелады из-за Осетии, Абхазии и вообще по всем возможным вопросам, проблем в стране у меня не будет.

Заодно я разобрался чуть более плотно в местном алфавите.

Грузинское письмо доставляет неожиданное, особое, чуть не физическое удовольствие при чтении и написании. Вызвано ли это округлой, плавной формой букв, или их особой архетипичностью, но — писать по-грузински очень приятно.

Однако разобраться в грузинском нагромождении согласных бывает сложновато. Здесь три буквы «к», есть пара «т», «ч», «ц» и прочих, столь же странных для русского уха звуков.

Самое главное, что я выяснил, — неправильно говорить «чача». Нет в Грузии такого напитка. Верно говорить «тьятья».

Запомни и ты эти важнейшие сведения, читатель.

Магистраль номер один

Посидев некоторое время вместе со мной, грузины вылезли и отправились обратно работать. То есть загорать на травке.

Человек пять, однако, от скуки решили прокатиться до столицы, плюс ещё залезли какие-то

две толстых азербайджанки. Таким составом мы и поехали в Тбилиси.

По дороге мы проехали один большой город — Рустави (куча девятиэтажек в горной долине) и несколько маленьких. Путь наш пролегал по трассе с названием M1. Позднее выяснилось, что в столь гордом именовании был законный повод. Все остальные дороги в Грузии — не более чем горные тропинки. Они кошмарны, и лишь M1 позволяет держать постоянно не 20 и не 30 км/ч, а хотя бы вдвое-втрое больше.

По дороге я ощутил снова то особое дыхание, которое так свойственно воздуху Грузии и не встречается больше нигде. Эта солнечная, чуть сонная атмосфера, с плотным воздухом, с зелёными лужайками на склонах гор — украшает Грузию сильнее всех возможных красот.

Только здесь кажется естественным валяться прямо на обочине дороги, с кувшином молока и лавашом, подперев голову кулаком, скрывшись от солнца широкой кепкой. Ничего не делать и чувствовать даже — невозможность того, чтобы хоть кто-то здесь был чем-то занят.

Кроме Сибири, я не видел других мест, о которых можно было бы сказать — «очарованная земля». Лишь Грузия была такова.

Это не какая-то святая территория, и не та, конечно, аляповатая размалёванная картинка, с чабанами, горцами, баранами и песенным рёвом, которую так любят представлять туристы.

Это, скорее, большой такой детский сад. Идёшь по нему, и он не кончается.

Совершенно не представляю, чтобы грузины могли воевать с кем-нибудь.

И как мы можем воевать с ними и что-то делить. Грузин стоит оставить в покое, и, более того, беречь от возможных врагов и неурядиц. Пусть РФ, США, КНР, НАТО, ОБСЕ и прочие идиотские аббревиатуры выясняют отношения между собой и занимаются своим важнейшими и никчёмными делами. Грузии не до этого.

Это страна под небом. Идёшь по ней, и она не кончается.

Тбилиси

Тбилиси по размеру чуть превосходит Красноярск. Это длинный и узкий город вокруг реки Мктвари, и совершенно непонятно, как тбилисцы умудрились до сих пор не превратить его в одну длиннющую пробку.

Из окна

Автобус наш ехал до железнодорожного вокзала. По дороге мы проехали большую часть Тбилиси. Причём оказалось, что главная улица города была ещё и перекрыта. Там уже месяц шла революция.

Как раз в это время в стране было введено чрезвычайное положение. Оппозиция требовала отставки президента и каждую неделю давала ему решительный и последний ультиматум. Содержание очередного ультиматума разнообразием не блистало. Саакашвили предлагалось в 24 часа уйти в отставку. Иначе — всё. Всем капут.

Саакашвили, однако, ни разу не ушёл в отставку. Он лишь подтянул к городу войска.

Оппозиция решила строить баррикады и выводить людей на улицу. Как раз с главного проспекта — имени Руставели — и начали. Там постоянно околачивались толпы народу, шли митинги. Заодно понастроили каких-то клеток. Считалось, что это символ полицейского режима Саакашвили. Повстанцам предлагалось селиться в этих клетках.

Вот из-за этих клеток мы и ехали по какой-то второстепенной линии.

Было, однако, незаметно, что в стране установлено военное положение и вообще происходит какая-то революция. Люди ходили себе спокойно с авоськами и сумками, машины ездили и гудели. Никаких тебе окровавленных комиссаров, никаких пулемётчиков за баррикадами.

Водитель мне сказал, что в девяностых, когда в стране была гражданская война, всё выглядело точно так же. То есть существовали какие-то кварталы, за которые шли сражения, но остальной город жил себе спокойно. И на войну эту даже иногда ходили смотреть, как на экскурсию.

— Может, и сейчас так будет, — сказал водитель.

Самому ему было всё равно.

Хрущоба upgraded

Тбилиси богат необычными зданиями, сравнительно широкими улицами, примечательными деталями. При всём том этот город нельзя назвать разнообразным. Все его примечательности чем-то схожи. В этом, наверное, можно углядеть особый тбилисский стиль.

Зато типовые панельные хрубощы в Тбилиси очень оригинальны. Грузины навострились их самодеятельно расширять. Делается это очень просто — на первом этаже берут и захватывают весь газон под окнами. Огораживают кирпичным заборчиком, сверху ставят на балках бетонный потолок. Получается такой гипертрофированный балкон. Жители второго этажа, не будь дураки, захватывают в своё распоряжение уже этот самый потолок. Тоже огораживают и надстраивают крышу. В свою очередь, эту крышу используют жильцы с третьего этажа. И так далее, до самого верха.

В итоге к каждой квартире добавляется нехилый бонус квадратов в двадцать. На некоторые такие балконы проведены свет и отопление.

Остановить Россию

Среди уличных граффити виден отблеск осетинского конфликта: чёрные буквы «Stop Russia».

Вокзал: такие разные двери

Тбилисский вокзал — один из самых идиотских в мире. Не стоит, наверное, уже и писать о том, что там шёл ремонт. Это и так понятно. Главная же его глупость в том, что на каждый этаж у него отдельный вход. И с совершенно разных точек.

Я пошёл сначала на первый этаж. Оказалось, однако, что он отдан на откуп злобным капиталистам. Причём не простым — здесь находился ювелирный супермаркет (!), совмещённый с какой-то биржей. Или даже ювелирная биржа.

Чисто кавказская деталь: вылизанные стенды с драгоценностями, а у входа — на скрипучей табуретке охранник с автоматом.

На втором этаже находится собственно зал ожидания, и здесь же кассы. Зал весьма невелик — в нём помещается от силы человек сорок.

Старые и новые поезда

Раз уж я оказался на вокзале, решено было узнать расписание поездов в сторону Чёрного моря. И вот я нашёл кое-как кассу, и там мне рассказали, что поезда Тбилиси — Батуми ходят как раз вечером. Есть билеты плацкарт, есть купе, есть новое купе и люкс.

Плацкарт — это понятно, что такое. Купе — это то же, что и русское купе, но в «старом» вагоне.

— В очень старом… — сказала кассирша, — …вагоне.

С этаким сомнением на слове «вагон». Словно бы она искала, но не нашла подходящего слова.

«Новое купе» — это как раз обычное купе. А люкс из него получается добавлением телевизора.

— А зачем телевизор, если поезд ночью идёт? — спросил я.

— Не знаю, — ответила тётка. — у нас никто в люксах этих не ездит.

В целом же все эти градации стоили довольно по-божески. В Батуми можно было попасть от 200 рублей и выше.

Грузинская топография

Карта Тбилиси, которую я купил, отличается тем же самым топографическим идиотизмом. На ней не обозначены вокзалы, гостиницы и прочие объекты, совершенно не нужные для путешественников. Зато на ней отмечены все тбилисские аптеки. Стадионы. Посольство Латвии! Все местные кладбища. А также цирк и зоопарк.

В недоумении я вернулся опять в справку и спросил, не помогут ли они мне сориентироваться:

— Вот карта, но я не могу понять, где я нахожусь.

Кассирша ловко выкрутилась:

— Я в картах слабо разбираюсь. Идите к начальнику вокзала.

Так я попал к начальнику вокзала. Мне на них в Закавказье отчётливо везло.

Начальник, впрочем, обретался недалеко. Он скромно сидел в соседнем окошечке и пил кофий. Он долго крутил карту в руках и, наконец, внезапно вовсе выбежал с ней ко мне в зал ожидания. Видимо, чтобы было удобнее изучать.

— Это карта чего? — спросил он.

— Тбилиси, — осторожно сказал я.

Начальник успокоился.

— Так, — сказал он, — а где %$%$%$?

Он произнёс название какого-то района, который я впервые слышал.

— Понятия не имею, — ответил я, — но могу показать, где посольство Латвии.

Это ему не помогло.

— И реку могу показать.

— Где река?! — он снова ожил.

— Вот, — я провёл пальцем по голубой полосе.

И тут начальник вокзала сумел меня поразить. Он сказал такую фразу:

— Какая большая река.

Я стал подозревать, что кто-то из нас не в себе. Стараясь не выводить начальника из терпения, я вежливо спросил:

— А мы далеко от реки?

Но начальник не слушал меня. Он рылся глазами в карте и всё на ней что-то искал.

— А где вокзал-то железнодорожный? — спросил он наконец.

— Вот это я и пытаюсь выяснить, — ответил я.

Тогда он сказал:

— Стой тут.

И пошёл за помощью.

Я не стал дожидаться тех светил картографии, этих страноведческих Голиафов и картографических Эйнштейнов, которых он должен был привести.

Я сбежал.

Фургон хранения

На вокзальной площади находилась станция метро. По ней я и определился. Слава богу, хотя бы станции метро тупая карта сочла нужным упомянуть.

Там же обнаружилась, к слову, самая дешёвая в мире камера хранения.

Она стоит 1 лари, то есть 20 рублей. Эта камера хранения частная. Она располагается в каком-то дряхлом фургончике. Владелец, вместо квитанции, даёт вам проклеенную бумажку. Тем не менее, получая этот шутовской жетон, чувствуешь, что твои вещи находятся в абсолютной безопасности.

Так что я сдал свои шмотки в камеру и пошёл в метро.

Ведь у меня в Тбилиси было *дело*.

Вахтанг в розыске

Дело заключалось отнюдь не в том, чтобы найти грузинских коллег-железнодорожников.

Суть его была следующая. В Тбилиси жил отец моего красноярского приятеля Вахтанга. И вот я должен был зайти к нему и узнать, как у него дела, а заодно тот, вероятно, помог бы мне вписаться где-нибудь на ночь.

Ситуация осложнялась лишь тем, что Вахтанг уехал из Тбилиси чуть не двадцать лет назад, ещё малышом. И с тех пор ничего не знал о том, как живёт его отец.

Так что был в моём деле некий поисково-розыскной оттенок. Как в передаче «Жди меня».

Массив Дигоми

Мне надо было доехать до станции метро «Дидубе», а затем направиться в какой-то Дигомский массив, да ещё и в шестой блок.

Удивительно, но на карте был и массив, и даже блок. Видимо, это считались важные места. Не хуже Латвии и кладбищ.

Перед станцией «Дидубе» метро неожиданно выскочило на поверхность. Выйдя на остановке, я попал сразу же на большой рынок и где-то полчаса

по нему бродил. Далее зашёл в некое кафе и стал дегустировать местную кухню. Там же была мною совершена большая глупость. Вместо того, чтобы записывать названия блюд самому, я попросил официантку сделать это в моём блокноте. В итоге, читатель, я не могу тебе рассказать, что это такое я там ел. Ибо она написала мне на страничке какие-то очередные %$%$%$%! Да ещё, в попытке энтузиазма, попыталась перевести это на русский, мешая латиницу с кириллицей.

Вообще, раз затронули грузинскую кухню, давайте уж сразу с ней закончим. Резюме тут состоит из двух пунктов:

1. Главное национальное блюдо — хачапури.
2. В Красноярске хачапури готовят абсолютно так же и ничуть не хуже, чем в Тбилиси.

Есть, правда, хачапури особенные — длинные, овальные, которые сверху залиты яйцом. Сами грузины, кажется, относятся к ним с недоверием.

Все же остальные грузинские деликатесы путешественника удивить вряд ли смогут. Это либо бесчисленные вариации сыро-фасольных пирожков (от исключительно сырных хачапури до исключительно фасольных лобиани), либо опять же бесчисленные луко-мясные поделки à la шашлык.

В гастрономическом плане я, собственно, искал в Грузии совсем другую вещь — вино. Чтобы потом провезти его контрабандой в Россию.

По поводу контрабанды, кстати, оказалось, что всё уже придумали до нас. А именно — есть магазины, где бутылочное грузинское вино продают под псевдонимом «Азербайджанское вино». Якобы оно возделывалось у самой границы с Грузией и, видимо, «впитало» всё, что надо.

Дом отца Вахтанга был как раз примером апгрейженной пятиэтажки (см. выше) с самодельными балконами. Правда, сам Вахтанг-старший обитал здесь очень давно. В квартире его никто не открывал, а соседи сказали, что он давно уже переехал.

Не везло мне со вписками в этом путешествии.

Ну, что поделать. Я пошёл гулять пешком обратно до вокзала, и там нашёл у некоей бабки комнату. Она просила 25-30 лари. Именно так, через дефис. Договорились на двадцати.

В ожидании, пока бабка закончит свои торговые дела, побрёл шататься по городу.

А вот как я спрашивал у тбилисцев дорогу. Мне надо было попасть в Авлабари. Со священной целью купить грузинское вино и провезти его контрабандой в Россию.

И вот я спрашиваю у дядьки, как проехать на Авлабари. Он отвечает:
— Это надо ехать через улицу Мелкишвили. Знаешь такую?
— Да, — говорю, — я только что оттуда пришёл.
— …Потом на Руставели…

Тут вмешивается совершенно посторонний зевака, которому стало любопытно:
— Руставели перекрыта, он не сможет проехать на Руставели.
— В самом деле, — вспоминает первый советчик, — она же перекрыта. Ты не сможешь туда попасть, на эту улицу.

Я это прекрасно знаю.
— Мне не надо на улицу Руставели, — говорю я, — мне надо в Авлабари.
— Так это гораздо дальше, чем Руставели, — говорит первый грузин.
— Это надо через улицу Мелкишвили, — говорит второй.
— Но там же дальше перекрыто, — снова говорит первый, — на Руставели.
— А зачем ему на Руставели? — спрашивает второй. — Вам разве на Руставели?
— Нет, — говорю я.
— Вот именно, — подытоживает второй, — а я говорю про улицу Мелкишвили.
— Улицу Мелкишвили? — уточняет первый.
— Да, — отвечает второй, — улицу Мелкишвили.

И тогда первый говорит:
— Так вот же она!

Испытание кириллицей

Больше всего меня интересовал в Тбилиси, конечно, тот самый проспект Руставели, где шла гражданская война. Так что я первым делом направился туда.

Специально для придания остроты на мне была надета майка с надписью «Российские железные дороги». Но грузины выдержали испытание и на коварную майку никакого внимания не обращали.

Клетка и жизнь в ней

Проспект Руставели оказался неширокой улочкой со старыми домами, очень схожей с нашим главным проспектом Мира.

Отличался он только тем, что всю проезжую часть загораживали пресловутые клетки. Это были кабинки, сделанные из арматуры и полиэтилена. Внутри каждой клетки стояли кровать и тумбочка. Некоторые клетки были заселены. Кое-где бесплатно раздавали чай и какую-то малосъедобную бурду. Я обнаружил даже клетку, которая была заперта, — видимо, обитатель не на шутку освоился в своём новом домике.

Я зашёл в клетку с надписью 167, чтобы почувствовать себя революционером, и некоторое время в ней полежал. Внутри было на удивление спокойно. Где-то неподалёку лопотали что-то обличительное в мегафон. Казалось, это работает радио. За стенами клетки постоянно ходили люди. Это были гуляющие тбилисцы, наслаждавшиеся променадом.

В клетке уютно можно было жить вместо гостиницы. Жалко лишь, что душа не было.

Завитушки в акустике

Выйдя из клетки, я пошёл дальше и добрёл, наконец, до митинга. Люди толклись возле какого-то дома с широкой лестницей. В уголке этой лестнице находился звуковой пульт. Рядом с ним стоял неприметный мужик и орал в мегафон. За ним сидел звукооператор, очень длинный, — даже сидя

на стуле, он был ростом выше болтуна. С шеи у него свисал столь же длинный серо-голубой шарф. За колонками скрывалась небольшая группа людей. Это были звёзды и кометы грузинской политики, ораторы, которые тоже хотели поговорить с народом в порядке живой очереди.

Некоторое время послушав грузинскую речь, я сделал вывод, что в акустическом варианте она сильно уступает самой себе, только письменной. Это интересная особенность — грузинская речь обычна на слух, но красива в записи.

Книжный развал имени И. В. Сталина

Чуть ниже по дороге как раз находился склад туземной письменности — большой книжный развал. Он развалился на парапете какого-то высохшего фонтана. Книги там были разложены на три кучки — русские, грузинские и все остальные. Ценовой разброс был очень невелик и состоял всего из двух вариаций: один лари и два лари.

Грузинскую литературу я, понятное дело, оценить не мог (разве что по каллиграфическому критерию), но и русская была богата по ассортименту. Удивляло обилие изданий сталинской поры. Возможно, это был такой специальный тематический день.

Вечнотекущий сверху ручей

Позднее вечером, возвращаясь в свою (то есть бабкину) комнату, я обнаружил интересный обрыв над Мтквари. Он был примечателен тем, что с него струился какой-то вечнотекущий ручей. Попытка обойти обрыв и забраться на него сверху оказалась неудачной. Ибо на пути водился вежливый (редкая порода) охранник. Он принял меня за какого-то дальнего иностранца.

— Stop! Stop mister! Can not go here! — сказал он.

— Why? — спросил я.

Однако редкий охранник исчерпал запас своих английских слов. Он сказал:

— Потому что там живёт президент.

Ну, раз такое дело — что уж? Не стал я беспокоить Михаила Николозовича. Пусть живёт.

Открывай / Закрывай

Комната у бабки оказалась неплохая, хотя и шумная. Постоянно эти грузины за стеной чего-то гомонили. Всю ночь. К тому же по коридору клацала когтями некая странная собака. Но она хотя бы не лаяла, а только рычала.

Самым же странным приспособлением оказался местный душ.

Впрочем, бабка честно предупредила:

— Если будут проблемы, закрывай кран, а потом открывай, — сказала она.

Против такой инструкции возразить было нечего. Тем более, что я вообще слабо представлял, какие могут проблемы возникнуть в ванной комнате.

Однако они возникли. Как только я успел голову намылить. Когда кончилась горячая вода.

Дело же было вот в чём. Долгое время (а может быть, и до сих пор) в Тбилиси были проблемы с водой. Поэтому у многих стоят собственные бойлеры. Видимо, у бабки водился как раз такой бойлер, и был он невелик. Ибо хватало его минуты на две.

Бабка, видимо, ждала за дверью. Как только вода кончилась, она заорала:

— Закрывай!

А потом сразу:

— Открывай!

Я послушно закрыл и открыл кран. Но ничего не поменялось. Возможно, дело было в том, что бабку было плохо слышно. У меня же лилась вода. Да ещё шампунь по ушам стекал.

Вдруг над краном стала мигать какая-то красная лампочка. Я подумал, что это и есть секретный выключатель, и стал искать кнопку, чтобы нажать. Кнопки не было, зато покосилась вешалка, и с неё упало полотенце. Вдобавок прибежала клацающая собака и стала рычать под дверью.

Скоро все были заняты делом. Я выжимал полотенце. Бабка орала: «Открывай! Закрывай!». Собака рычала. Горячая вода всё не появлялась.

Вечер удался.

VI. Армения и снова Грузия

— Как проехать в Армению, бабка? — спросил я утром.

Бабка не знала.

Она полезла в дебри своей квартиры и разбудила какого-то милиционера. Откуда он там взялся, я понятия не имел. Наверное, ночью пришёл. Спал милиционер прямо в форме.

Он объяснил мне, что надо ехать на какой-то южный тбилисский автовокзал и даже написал его название в блокноте. На дикой смеси русских и латинских букв.

Кое-как я туда попал на автобусе и сразу же внедрился в маршрутку до Ванадзора, второго по величине армянского города. Билет, для любителей финансовой статистики, был очень недорог — чуть более двухсот рублей.

Армения в моих планах была проходным пунктом. Всего на денёк. Я даже думал поначалу рюкзак в фургоне хранения оставить и ехать туда налегке — руки в карманах. И деньги даже не поменял. Они мне там особо и не понадобились.

Гора в осаде

Армения на карте напоминает эскимо на палочке. Причём это эскимо накренилось влево, и скоро оно упадёт. По площади Армения очень невелика. Если встать в самой её геометрической середине, то, если бы не горы, легко бы осматривались все четыре границы.

С боков страну подпирают Азербайджан и Турция — две враждебные страны. Потому попасть в Армению можно только с верхнего, северного края эскимо — из Грузии.

Или самолётом. Но это уже вариант для целенаправленных путешественников.

Страстная тишина дорог

Самый крупный грузино-армянский переход — Садахло. Там есть относительно нормальная дорога, но зато и вечная автомобильная очередь. Чтобы

сэкономить своё время, я выбрал более тихий путь — через Болниси.

Машин там в самом деле не водилось, и скоро стало ясно, почему. Ехали мы от силы тридцать километров в час. Больше на такой дороге выжать было невозможно. Автобус трясло, словно он катился по позвонкам ископаемых динозавров. Или по бесконечным и поперечным рельсам. Или словно его колёса были квадратными.

— Wэ-э-э! — грузины вокруг меня взлетали на очередном холмике.

— Оп! — и падали обратно.

Я тоже вместе с ними.

На самом заднем сидении лежал водитель-дублёр. Он каким-то образом умудрялся спать. Однако на особо долгих взлётах он, кажется, тоже вопил со всеми вместе:

— Wэ-э-э!

Сила русского языка

Шофёр общался с пассажирами. В основном разговор представлял собой его собственный монолог на грузинском.

Прислушавшись к этому монологу, я выяснил, что в грузинском языке нет ругательств. Ибо матерился шофёр только по-русски. Можно было гордиться мощью и проникающей силой нашего языка. Кроме матов, я мог разобрать только одно слово: «Саакашвили».

Иногда маты сопровождали это слово, иногда оно употреблялось и без них. Так и не удалось выяснить, одобрял ли шофёр своего президента или нет.

Проехали мы Болниси, очень небольшой городок. Он считается грузинской прародиной — здесь самая древняя их церковь (выглядит ничем не древнее остальных местных церквей) и самая древняя надпись на грузинском языке (таковой я вообще не нашёл).

Дальше за окном совершенно неожиданно возник вдруг хвойный лес. Он заселял крутые склоны гор. Внизу текла речушка. На противоположной вершине мелькали безымянные почтенные руины.

Шпиён

На грузинской погранзаставе почётную службу несла драная собака в ошейнике. Людей там никого не было. Наверное, все обедали.

Тем не менее, все вышли из автобуса, и побрели к тёмному ларёчку. В ларёчке было непрозрачное бронированое окно, а в нём — дырка. Туда мы все по очереди совали свои паспорта, и — о магия Кавказа! — обратно они вылезали уже с поставленным грузинским штампом.

Впрочем, рядом с дыркой помаргивала красным встроенная фотокамера. «Цивилизация добралась и сюда» — сигнализировала она.

У одной из автобусных бабок я заметил паспорт ещё советского образца — с молотками и колосьями. В него тоже шмякнулся штамп. Советский Союз здесь вполне котировался.

Армянская граница казалась помноголюдней. Играли в нарды люди в маскхалатах. Понатыкано было везде колючей проволоки. Прямо у самой границы водилось некое спортивное поле. Видимо, на нём крепили интернациональную дружбу.

Порядок прохождения этой таможни был несколько иной. Тут наличествовала оптимизированная технология. Водитель собрал у всех паспорта и полез с ними в будку. Вскоре он выбрался обратно и раздал всем уже проштампованные документы.

— Кроме тебя, — неожиданно он сказал мне, — Ты иди в будку.

Удивлённо я побрёл знакомиться с армянскими пограничниками. Они как раз заканчивали трапезу. Видимо, я у них был вместо десерта.

— С какими целями вы посещали Азербайджан? — спросил самый толстый и главный пограничник, — не отпирайтесь. У нас есть доказательства.

Он сказал это с таким видом, словно я, как минимум, взорвал пару небоскрёбов. Вероятно, в Армении посещение соседнего государство считается не меньшим преступлением.

Кстати, упомянутые доказательства были — просто-напросто азербайджанский штамп в моём паспорте. Который я не очень-то и скрывал.

Я стал объяснять пограничникам, что в Армению мимо Грузии не попадёшь. В Грузию, минуя Азербайджан, тоже не попадёшь. И что я не шпион, а просто еду поглядеть, как у них люди живут в Армении.

Со стороны это походило на детскую сказку, где король посылал за коровьим маслом, корова посылала к портному, портной к цирюльнику, и так далее.

Армяне внимательно меня слушали. Параллельно они переваривали пищу. Я подумывал уже о том, что пора доставать суперкнигу, когда они, наконец, вынесли свой вердикт:

— Хорошо, идите в автобус, — сказал толстый, — нам надо посовещаться.

Раз такое серьёзное дело, пошёл я в автобус. Причём, побывав в будке, я обрёл некий ореол диссидента. Публика стала относиться ко мне с неожиданным участием. Все начали спрашивать меня, откуда я еду в Армению, расписывать главные местные примечательности, рассказывать, где мне обязательно стоит побывать.

Так красноярцы советуют туристам — Столбы, ГЭС, краеведческий музей, Покровскую гору и прочие места, где они сами никогда не бывают.

Во время заминки к автобусу подошёл также некий человек в лохмотьях. Наверное, это был местный дворник. Или пастух. Или просто сумасшедший. Он долго смотрел на меня сквозь стекло автобуса.

Совещались пограничники недолго. Вскоре шофёра опять вызвали в будку, и, наконец, он принёс с собой мой драгоценный паспорт, и в нём — долгожданный армянский штамп.

Шифер мира

Для описания армянского пейзажа придумана отличная банальность — «Крыша мира».

В данном случае это не штампованная метафора, но, наоборот, лучший образ.

На Северном Кавказе горы где-то постоянно в стороне. Вроде фотообоев. Всем уже приелась их красота. Никто не обращает на них внимания.

В Азербайджане горы — вовсе какое-то недоразумение. Все они кажутся невысокими, плавными холмиками. Вершина очередного такого холмика — лишь небольшой бугорок среди подобных же кургузых кочек.

Совсем другое дело Грузия. Горы здесь высоки, и вся жизнь собрана в узких долинах меж ними. Как в длинном коридоре, меж высоких отвесных стен, лежат грузинские города и деревни.

И, наконец, Армения. Как логичное завершение этого высотного процесса, выглядит её пейзаж. Здесь уже все живут как раз на вершинах, и сама страна — есть бесконечные каменистые вершины. Грузины живут вокруг гор и смотрят на них снизу вверх. Армяне живут на горах и смотрят вокруг сверху вниз. Речные долины и частые узкие ущелья — не более, чем трещины на этой пустой горной крыше.

Склоны армянских гор почти обнажены. Растёт тут лишь низкая травка. В остальном же они все усыпаны белым каменным крошевом. Кажется иногда, что на земле разложен длинными, бесконечными битыми рядами — шифер.

Алфавит

Среди встреченных городков неожиданно сверкают русские названия. Какие-то Петровки, Ореховки или что-то подобное.

Обилие русских надписей. Кое-где они даже не дублированы на армянский язык.

Единственный текст на латинице выложен камнями на горе: выпукло блестит на склоне «Jesus».

Армянские тексты разобрать сложнее, чем грузинские. Здесь отличаются прописные и строчные буквы. А самое же главное — большинство знаков чрезвычайно схожи друг с другом.

По сути, любая армянская буква — это крючок. Крючок влево, крючок вправо, два крючка, три крючка. И так сорок разных знаков. Любой текст поначалу читается, как сплошное заикание: «Цццпц». Пытаюсь специально не смотреть на кириллическую расшифровку и разбирать туземные названия. Удаётся это крайне редко.

Ташир: тёмный цвет

Первый крупный городок имеет вполне интернациональное название Ташир. Здесь впервые начинают встречаться дома крайне странной расцветки. Не цветастой, не ажурной, как мы представляем себе кавказскую экзотику. Наоборот. Здесь в чести мрачная, совсем неожиданная и гнетущая для непривычного глаза окраска.

Дома пепельного цвета. Чёрные пятиэтажки. Дома цвета сырого мяса (?!). Серые здания в тёмную решётку. И прочие оттенки, которыми в России никогда не пришло бы в голову размалевать жилой дом.

Эта палитра придаёт армянскому городу особый оттенок. Что-то траурное. Либо безумное.

Трещины

Иная боковая улица вдруг прерывается трещиной. Это — наследство землетрясения 1988 года.

Самые узкие трещины можно перепрыгнуть, самые широкие распахнуты более, чем на сотню метров. Засыпать их невозможно — слишком уж они глубоки. Создать мост трудно. Часто в этом и нет особого смысла. Земля здесь сама проводит свои границы.

Некоторое время мы ехали вдоль одного, очень длинного разлома в земле. В ширину он достигал нескольких десятков метров. Видно, как земля по краям его вспучилась, осыпается потихоньку, как внутренность бисквита. На той стороне разлома стоит чей-то дом. Окна его выходят прямо на пропасть. Можно плевать прямо в ад.

Вдоль обрыва в глупой безмятежности гуляют козы.

1990

После землетрясения прошло двадцать лет. Этого никак нельзя заметить. Все эти обрушенные дома, бесчисленные земляные рвы, слепые окошки в хижинах… Кажется, что после катастрофы прошло года два. А значит, тут сейчас 1990 год.

В дальнейшем я только убеждался в верности этого предположения. Русские надписи. Русские деньги. Русские паспорта. Советская попса в автобусных приёмниках. (именно советская — «Электроклуб» (!), «Ласковый май» (!!!), «Комбинация», и прочие реликты эпохи).

СССР невидимо продолжается от России в Армению, через новодельные границы и блокпосты. Он ускользает от них незамеченным. Люди иногда и забывают, что вот уже двадцать лет он считается призраком.

Ты можешь возразить мне, читатель:

— А разве любая русская деревня не застыла так же в прошлом веке? И большинство провинциальных городков, со всеми своими жителями?

Мне не останется ничего, как согласиться. Стоит подумать даже: а так ли это плохо — застыть во времени?

Ванадзор

В советское время Ванадзор назывался Кировакан. Некогда он считался вторым городом Армении.

Упомянутым землетрясением город был разрушен в большей своей части. Восстанавливать его решили почему-то совсем в другом месте. Так получилось вместо Ванадзора два города — старый внизу и новый наверху. Их разделяет какая-то сотня метров по горизонтали и столько же по вертикали.

Верхняя часть предназначена под жильё. В нижней располагается всяческая официалка. В том числе и железнодорожный вокзал, совмещённый с автобусным.

Русскоматерящийся шофёр туда нас и привёз. Я пошёл смотреть город.

Главные примечательности Ванадзора оказались любезно собранными на привокзальной площади. Это была, во-первых, православная церковь. Она не разрушилась при землетрясении и поэтому считается невероятной реликвией. Во-вторых, это памятник человеку по фамилии Саркисян (что то же самое, как у нас—Иванов)

В остальном Ванадзор напоминает окраину какого-то промышленного мегаполиса. Вспомни, читатель, нашу улицу Калинина—вот тебе и картина всего города. На главной улице собраны шиномонтажки и утопающие в пыли шашлычные. За стенами домов начинаются маленькие дворики. Они, как старый шкаф с инструментами, полны мусором и ободранными деревянными постройками. Далее начинаются горы. Постройки лезут на склоны, но невысоко. Так город кончается.

По случаю воскресенья ничего не работает. Рубли поменять негде, да оно и не нужно—их нормально принимают в любом магазине. Лишь позднее, почти на самом выезде из Армении, я купил себе немного местной валюты. Чтоб хотя бы на неё поглядеть.

В местных кафе понятия не имеют о таких «исконно армянских блюдах», как азу и шаурма. Главное национальное яство, читатель, есть—«хаш». По-русски говоря, просто суп.

Есть, впрочем, ещё одна вещь, без которой еда не обходится. Это лаваш. Тот самый армянский, очень тонкий, пятнистый лаваш. Вот уникальное предложение национальной кухни.

Так оцени же прелести глобализации, читатель! Пойди и купи этот лаваш в любом красноярском супермаркете!

Нет преград армянскому пассажиру

Вокзал Ванадзора велик и пуст. Как ни странно, он даже не ремонтируется. За окошком спит кассирша. Широкая и полногрудая тётка, она развалилась в кресле, накрыла лицо газеткой. Кудрявые чёрные волосы свисают, как парик Луи Четырнадцатого.

На всю стену протянулась ещё одна советская ностальгия—схема железных дорог Союза. От условного Еревана отходят линии. На Украину, в Прибалтику. В Якутию и на Чукотку даже. Неважно, что там нет железной дороги,—армянский пассажир должен был знать, что в его воле поехать в любую точку Союза.

Посмотрев на расписание, я понял, что в настоящее время изменилось совсем немногое. Армянский пассажир по-прежнему может ехать в любую точку Союза. Главное, чтобы она находилась на трассе Ереван—Тбилиси. Ибо других рейсов в Ванадзоре не водится.

Местный трафик состоит не просто из единственного рейса, но даже из единственного поезда. Ереван-Тбилиси катается весьма размеренно. С расстановкой. Один день едет туда, другой—обратно.

Я бы тоже покатался на этом поезде, но он как-то не совпал с моими биоритмами. Когда я шлялся по Ванадзору, он как раз подбирался в район Тбилиси. Пришлось бы ждать его двое суток.

— А электричек нету у вас?—спросил я в сторону Луи Четырнадцатого.

Кассирша проснулась и сняла газетку со своего лица.

— Нет,—сказала она,—уже давно нету электричек. Возле Еревана есть электрички.

И с пустыми глазами злобно села бодрствовать за своим окошечком. Я бы тоже разозлился на её месте. Пришёл тут какой-то, за двое суток до поезда, билет не купил, спрашивает про всякую ерунду.

Из вежливости я ещё побродил по вокзалу. Висела где-то в уголке табличка с логотипом РЖД и надписью «Южно-кавказская железная дорога». Проворные русские империалисты успели вновь пробраться сюда.

На стенде «Информация» висел единственный листок с неким правовым ликбезом. Он начинался очень странно: «Учтите, что вы совершаете уголовно наказуемое действие». И дальше шло перечисление различных мошенничеств и наказаний, которыми они премируются. Видимо, листок предназначался начинающим мошенникам.

На автобусной станции было гораздо оживлённее. Там даже водилась очередь из желающих уехать в Ереван. Некоторые были с узлами—словно проводилось плановое переселение народов. Несмотря на то, что от Ванадзора до столицы всего сто километров, автобус тратит на это расстояние четыре часа.

Возможно, усталость путешествий набросилась на меня. Либо же высокое, но тоскливое однообразие Армении так повлияло. В общем, я решил не ездить в Ереван, а направиться обратно в Тбилиси и далее—в Турцию.

Конечно, жалко было оставлять Горную Столицу в стороне. Однако висел над моей головой оскаленный, щёлкающий никелированными клыками зверь.

Зверь, который прекращает праздники и отменяет свидания. Он рушит планы и сокращает возможности. Отбирает у одних лето, у других свободу. Одно имя его наводит тоску. Чиновники стараются не думать о нём. Секретарши боятся его. Даже непробиваемые вахтёры и кассирши супермаркетов, эти нимфы мегаполиса—и те повинуются ему.

Этот зверь всесилен. Имя ему—Конец отпуска.

Садахло

Армянские дороги являются одной из главных достопримечательностей страны. Они выполнены в полном презрении к высоте. Такая дорога вьётся, бывает, на самой грани обрыва, и никаких столбиков, заборчиков и прочих символических оградок на ней нету. Армянская дорога не нуждается в ложных вежливых знаках и честно ведёт тебя над пропастью.

Выезд из Армении оказался полной противоположностью въезду. Если на Дманиси царили пустота и послеобеденная нега, здесь—на главной армянской погранзаставе Садахло / Баграташен стояла немалая пробка дальнобойщиков. Вокруг

сверкало бронестекло, мигали всяческие цифровые индикаторы, светились курсы валют, блеяла на армянском реклама местного ресторанчика.

Опять же, в отличие от Дманиси, армяне пропустили меня беспрепятственно. А вот грузины решили побюрократить. Они принимали только лари. У меня же были с собой евро, рубли и впопыхах обменянная тысяча армянских драм. Для оплаты визы пришлось бежать обратно в Армению, к мигающему валютнику.

На этом, однако, злоключения не закончились. Как оказалось, мне попалась самая тупая таможенная смена в истории независимой республики Грузия. Эта смена понятия не имела о том, что такое транзитная виза. Справедливости ради, я и сам ещё вчера утром о такой визе не слышал. Но я ведь — и не работал грузинским пограничником.

Грузины стали рыться в своём справочнике насчёт транзитных виз и ничего не нашли. Пришлось доставать суперкнигу и повторять заученный ритуал. Показал свою фотографию, своё удостоверение. Снова все выбежали и столпились вокруг нас. На шум появился даже местный кгбшник (или как там у них этот комитет называется). Его явление оказалось полезным:

— Да, такая виза есть, — сказал он, — посмотрите главу «Визы» у себя в инструкции.

Грузины послушно стали смотреть эту главу. До этого же они искали совсем в другом месте.

Транзитная виза тут же нашлась. Однако пунктуальные грузины стали требовать у меня документ, который бы доказывал, что я покину их страну в течение троих суток.

— Такой документ выдать невозможно, — сказал я, — я еду в Турцию. А у вас поезда туда не ходят. Самолёты не летают. Что я вам должен предоставить?

Грузины не знали. Вдобавок я накормил их важной бумажкой (она была изготовлена специально для таких случаев в Красноярске, и гласила, что «Такой-то едет по важнейшим делам в такие-то страны; просим оказывать всяческое содействие»)

— Видите, — напирал я, — «всяческое содействие». А вы шьёте препоны.

— У нас могут быть проблемы, — извинялись грузины, — если вы просрочите визу.

— Это у меня будут проблемы, — говорил я. — если я просрочу свою визу. Вы-то здесь при чём?

Грузины виновато кивали в сторону, где висел плакат с Саакашвили. Президент лично обещал всем по три года тюрьмы за пособничество коррупции.

— Если б не этот чёртов плакат, — словно бы говорили виноватые взгляды таможенников, — мы бы давно стрясли с тебя взятку в обмен на твою ненаглядную визу. А так ничего не поделаешь.

А тут ещё какой-то мусорщик привёл свой аргумент:

— Если Ви железнодорожник, так Ви и надо было сюда ехать по железной дороге, — сказал он.

Плюнул я, заплатил за обычную визу и пошёл на рентген.

— Так и не дали вам транзитную визу? — участливо спросил гэбист, который стоял там же.

Я покачал головой. Гэбист сочувственно цокнул языком. Даже проверять меня не стал.

В Садахло когда-то имел место автобусный геноцид. Междугородних автобусов тут более не существует. Они проиграли борьбу за выживание. Теперь здесь водятся только таксисты.

Но не пользуйся их услугами, читатель! Помни, что на свете есть автостоп.

Так и я, выйдя в Грузию, встал на обочину и стал дожидаться попутчика.

И вторая же машина притормозила рядом со мной. Так я познакомился с Суро.

Суро (сквозь Грузию)

В машине сидел широколицый лысый мужик.

— До Тбилиси? — спросил я.

— Давай, — сказал он.

Звали его, если полностью, Сурен. Или, если по нормальному, Суро. Он был гражданином Болгарии и туда, собственно, и ехал. В Армении же он был в гостях у сестры.

Как ты уже понял, читатель, в этом путешествии мне везло на армян. На встречи с ними (вспомни Ростовскую ночь) и на невстречи тоже (см. Карен).

Кавказ решил восстановить справедливость.

Чтобы уравновесить чашу моих впечатлений, он добавил в армянскую копилку ещё одного представителя. Я не знал ещё тогда, что появление Сурена было своеобразным противовесам предыдущим армянским главам этого дневника — всем этим сумбурным, бестолковым эпизодам. Портрет Армении в моих глазах получался слишком тёмным, хаотичным, легковесным.

И Кавказ добавил в него Сурена, как новую краску, чтобы тона портрета стали более верными. В эту финальную ретушь он использовал самые нужные оттенки — иногда даже несочетаемые. Смешливую серьёзность. Легкомысленную неповоротливость. Крайнюю расчётливость и предельную искренность.

— Ты не можешь писать эту картину лишь своими впечатлениями, — сказал Кавказ. — Я дорисую свой портрет самостоятельно.

Сурен родился в СССР. Он продолжал помнить русский язык. Лишь иногда в его речи булькали болгаризмы.

Он уехал из Армении, но, в сотнях километров от неё, так же чувствовал себя на родине. Судьба армян, столь близкая другому распылённому народу — евреям — была в нём собрана. Как попурри сжимает песни в одну сплошную дорожку, так его жизнь была словно спрессованным житием. Коллективной фотографией, которая схлопнулась, сжалась и оказалась в итоге — его круглое улыбающееся лицо.

Сурен работал в какой-то торговой фирме. Он сказал мне, чем занималась эта фирма, и я немедленно забыл, чем. Он жил в маленьком болгарском городке, в сотне километров от моря. Там у него была гражданская болгарская жена и свой небольшой домик.

Так мальчик выходит погулять из дома и строит во дворе дороги и тоннели из песка. Ограниченные

деревянными краями песочницы, его приключения разноцветны и очерчены лишь воображением. Но при всём том он помнит, что дом рядом, что в любой момент можно покинуть двор и вернуться обратно, с уличного солнца в каменную прохладу комнат.

И Суро, спустившись с крыши мира, словно жил в постоянной близости дома. Границы, языки, денежные номиналы и километры магистралей — все эти препятствия не могли оградить его от большого чувства, что дом рядом. Перебравшись в другую часть света, он всё так же остался мальчиком, который лишь вышел погулять за дверь Армении, спустился во двор с родной крыши мира.

Сначала я думал добраться с ним лишь до Тбилиси и потом залезть в батумский поезд. Но Суро сказал мне:
— Так я как раз еду через Батуми. Тебе куда вообще надо?
— В Трабзон.
— Ну и поехали в Трабзон. Мне по дороге.

Люди, которые мешают жить

У него была гигантская чёрная машина, внутри которой легко можно было играть в футбол. Из-за размеров этой машины на каждой границе ему приходилось торчать по нескольку часов и платить огромные пошлины.
— Что за народ такой — пограничники? — спросил он у меня, — какие-то они все дураки.
— Это везде так, — ответил я, — но есть ведь ещё бухгалтерши. Они, как правило, доставляют гораздо больше проблем.
— Верно, — сказал он.

Подумав, добавил:
— И налоговые инспекторы.
— И вахтёры на проходной, — сказал я.

Логистика урбанизма

Тбилиси мы проехали под моим штурманством. Здесь как раз пригодилось урбанистическое правило Минимального Достаточного Исследования:
— За день ты можешь облазить город так, чтобы свободно ориентироваться в нём.

Никто не требует мельчайшего знания всех районов и проулков. Но всегда полезно представлять общую структуру города и главные кости его скелета, проспекты и площади, на которых он держится.

Так моё вчерашнее путешествие по Тбилиси дало мне знакомых — шапочных, но доброжелательных: Дигоми, Руставели, Авлабари.

По ним мы и проехали, ни разу не спросив дорогу у туземцев. Вы помните, тем более, что особого толку в этом нет.

Музыка шин

— Музыку будешь слушать? — спросил Сурен.
— Конечно, — сказал я. — Что у тебя есть?
— У меня куча всего есть.

Он вытащил из бардачку уйму дисков.
— Какую музыку любишь?

Я сказал:
— Если не шансон, то любую. Есть армянская музыка?
— Есть где-то.

И Сурен полез за армянской музыкой куда-то на самое дно своего бардачка. Ибо большинство дисков у него были — как раз русский шансон.

Вот интернациональное искусство, объединяющее страны! Вот музыка, которая минует телевидение и рекламу, но гундосит из любого ларька. Легко сказать, что слушатели не умеют выбирать. Что их вкусы примитивны. Но это неправда. Своими корявыми лапами шансон касается каких-то струн в людях. И люди начинают звучать в ответ. Что же нужно ещё от музыки?

Из вежливости мы послушали всё-таки некие армянские фольклорные завывания. Но я понял, что, в самом деле, автомобильная музыка должна быть другой.

Хотя и трудно придумать что-то лучшее спокойных и грустных армянских песен. Все эти Yaman, нанизанные на одну неизменную ноту, печальные и продолжительные. Они напоминают полёт птицы в небе, за которым следишь глазами — длинный и непрерывный, как изогнутая линия.

Однако под шуршание шин должен быть другой звукоряд.
— Хорошо. Включай что-нибудь посовременнее.

Сурен радостно врубил умцу. Под косолапый перестук мы покатили дальше.

Мы проехали Мцхету, Гори. Начались разнообразные деревенские поля. Мне было интересно посмотреть на Южную Осетию. Я даже предложил Суро завернуть туда на часок, однако он резонно ответил, что тогда мы можем не успеть до ночи на таможню.
— Тогда с утра мы попадём в такую… — он поискал слово и решил остановиться на эвфемизме, — в такую очередь…

Осетии пришлось спасовать перед «очередью». Мы лишь поглядели на неё краем глаза.

Фронт по правому борту

Позже я посмотрел по карте и увидел, что в один момент мы проезжали менее, чем в километре от демаркационной линии. Так что я не был в Южной Осетии, но совершенно точно видел хотя бы её кусок.

Странно, но, в отличие от военных орд в Чечне и Карабахе, тут не чувствовалось совершенно никаких боевых примет. Мы спокойно проехали в километре от линии, за которой стояли гарнизоны чужого, враждебного государства — и даже не заметили этого. Представляю, какой бы шухер стоял в аналогичных условиях где-нибудь в Азербайджане. А в России нас, наверное, и вовсе бы на эту дорогу не пустили.
— Дуйте в объезд, — сказали бы, — пока мы вам не навешали.

Наверное, объяснение здесь и в миниатюрности Грузии — она настолько мала и стиснута горами, что на всю страну даже и нет объезда. Но, думается, главное дело было в грузинском чувстве настоящего — в их понимании того, что цвет земли

на карте мира никак не стоит пристального и постоянного внимания.

Было приятно думать о том, что большинство людей разделяет эту позицию. Что по обе стороны пунктирной линии люди не начали считать друг друга врагами. Значит, они — кроме совсем уж откровенных дураков — отделили себя от грызущихся держав, этих разноцветных кусков одной географической карты. Этих маленьких областей, которым тесно на одном листе бумаги, которые дерутся за квадратные сантиметры и миллиметры.

И кто бы ни был из них прав, мне стало в очередной раз стыдно — за мой, российский кусок карты. Он больше любого другого в атласе, но по-прежнему ненасытен, и всей своей бумажной тяжестью давит своих соседей, толкается и ругается за малейший клочок территории, за градусы, минуты и секунды земли — лишь бы округлиться, стать ещё толще и когда-нибудь, в своё время, тухло лопнуть.

Мы остановились поужинать как раз на повороте в осетинскую столицу Цхинвали. Ужин у нас был дорожный — хачапури и минеральная вода. Мы вышли из машины и смотрели по сторонам.

Суро смотрел на дорожную разметку, а я — на север, на Цхинвал. Оттуда текла некая речка и уходила в сторону от нас. Само течение её оставалось невидно, его лишь обозначали приречные деревца. Далеко вдали речка делала поворот и скрывалась за горным отрогом.

Линия русско-грузинского фронта была совершенно незаметна.

Улица Грузия

В наступающих сумерках Грузия походит на бесконечную светящуюся улицу.

Посёлки здесь не кончаются никогда. Если выехать из Тбилиси, то ни единого мгновения до самого моря ты не окажешься в пустоте. Грузия тянется вдоль дороги, как бесконечная деревня. Границы посёлков совершенно незаметны, они сменяют друг друга, и лишь белые таблички обозначают эту смену. Часто в посёлках бывает всего одна улица — за рядом придорожных домиков тянутся поля, или, сразу же, резко начинаются горы.

— Это очень непривычно на сибирскую мерку, — сказал я, — у нас даже на главном тракте между городами огромные промежутки, в десятки километров тайги.

Суро цокнул языком. Это сравнение, видимо, потрясло его.

— Не могу даже такого представить, — ответил он.

В сумерках на улице Грузия часто встречаются странные объекты. Это огромные светящиеся кресты.

В темноте мы никак не могли разглядеть, что это за вещи. Наконец, около одного такого креста мы остановились, и увидели, что это обычный деревянный крест, увешанный лампочками. Видимо, он обозначал, что где-то рядом есть церковь.

Или просто нас охранял.

Тотальное гостеприимство

Суро сказал:

— А то, хочешь, поехали в Болгарию?

Суро обитал в болгарском городе Шумен. До побережья Чёрного моря от порога его дома было около восьмидесяти километров, полтора часа езды. То есть, по болгарским меркам, очень далеко.

— Турцию проедем за день, всю Турцию. В Стамбуле ночуем. Послезавтра мы в Болгарии.

— У меня нет болгарской визы, Сурен.

— Подай в Стамбуле документы. Сколько времени она делается?

— Понятия не имею.

— Лучше тогда ехать через Анкару. Там точно есть все посольства. Ну, хорошо, давай поедем тогда в Анкару.

В Сурене словно бы ехали два человека. Один предлагал идею, а второй не соглашался. Тогда первый приводил аргументы и убеждал второго. Так они соглашались друг с другом и вновь сливались в единое целое.

— Я бы поехал в Анкару, — сказал я, — и в Стамбул. И в Болгарию.

— И на море, — подсказал Сурен.

— И на море. Но, наверное, не в этот раз, Сурен.

А тут как раз мы въехали в тоннель. Антураж приобрёл оттенок футуристического детектива.

— Подумай, Тёма, — сказал Сурен, — ты же любишь по странам ездить. А в Болгарии тепло. Там красивые женщины. Там яркое солнце.

Сурен был примером тотального, классического гостеприимства. Есть люди с избирательной щедростью. Они предлагают добро напоказ, легко, зная, что ты откажешься. Но Сурен был не таков. Он предлагал мне поехать к нему в гости искренне. Он никак не мог знать, что я откажусь. Он вообще меня знал всего пару часов.

— Путешествовать я люблю, — ответил я, — но есть всяческие звери и существа, которые препятствуют поездке в Болгарию. Конец Отпуска, например. Или жена. Может, лучше поехали к нам в Красноярск?

Сурен, однако, отказался. После моих давешних слов Сибирь представлялась ему неким огромным, пустым полем. Этаким космическим пространством. Какой был интерес ехать в эту бесконечную, звёздную пустоту?

Болгарская география

— Я знаю несколько городов в Болгарии, — сказал я, чтобы продолжить географическую тему, — Пло́вдив, например. Ру́се. Варна.

— Варна рядом с Шу́меном. Когда приедешь ко мне в гости, поедем в Варну. Не в сам город. В Албену. Знаешь Албену?

— Нет, — ответил я. — но я знаю ещё Бургас. И Ивайловград.

— Был ещё Михайловград, — сказал Суро.

— И что с ним стало?

— Его переименовали.

— Во что?

— В Монтану.

Я удивился.
— Это же штат в Америке.
Сурен весело ответил:
— Сам понять не могу.
И развёл руками, так что мы чуть в кювет не улетели.
Проехали Сурами. Этот городок был чуть более похож на город — с каменными домишками, с перекрёстками. Знаменитая Сурамская крепость застенчиво пряталась из виду.
— Ещё какие города в Болгарии знаешь? — спросил Сурен.
— Да всё, вроде. Софию ещё только.
Он покачал головой.
— Не люблю Софию почему-то.
— А что в ней плохого?
— Какой-то такой серый город.
— Шумен лучше?
— Шумен меньше.
Помолчали.
— А Ереван лучше?
— Хо! — ответил он. — Конечно! Там же есть метро.
Как ни странно, этот аргумент полностью убедил меня в его правоте.

Рио́ни

В сумерках мы подъехали к Кутаиси. Необычайно широкой и шумной показалась нам Риони. Мы даже остановились на мосту и немножко посмотрели с него вниз.

Вот настоящая река Грузии. Столь короткая на карте, что, кажется, даже не успевает толком и начаться, как уже пора впадать в море. В морщинах грузинских долин Риони кажется необычайно широкой. Она короче, чем Мтквари, но смотрится гораздо мощнее.

Трудно здесь вообразить себе, что реки вообще могут быть больше, чем Риони.

Вечерний интернационализм

Возле Самтре́дии мы немного запутались. Дорожные указатели в Грузии не менее запутанны, чем советы туземцев. Потому пришлось устроить им очную ставку и спрашивать дорогу.

Мы остановились у заправки. Все стоявшие там водители, увидев наши болгарские номера, посчитали своим долгом подойти и поздороваться с нами.

Они пожелали нам удачного пути на английском и русском языках. А также что-то цветисто сказали по-грузински. Вероятно, то же самое.

Батуми

Вскоре мы подъехали к морю и стали двигаться вдоль побережья. В спустившейся ночи было совершенно, впрочем, не разобрать, где там Чёрное море, а где небо.

Несколько изменился антураж улицы Грузия. Замелькали отели и санатории. Вместо бесконечной деревни начался бесконечный курорт.

Совершенно незаметно в этом курортном проспекте начинается Батуми. Правильнее называть Батуми не городом, а проспектом. Это просто длинный проспект на побережье.

Великий пограничный рекорд

На окраине Батуми находится микрорайон Са́рпи (такой же городок-проспект). Туда-то мы и прибрели.

Оказалось, мы очень правильно сделали, что приехали на таможню ночью. Поступай так же, читатель, и пограничные очереди минуют тебя.

Возле входа на границу на стоянке смирно посапывали несколько сотен машин. Все они были готовы ринуться в бой завтра утром, с восходом солнца. Владельцы этих машин опрометчиво дрыхли в окрестных отелях и кемпингах.

Мы же рванули напрямик, в электрическую надпись «Enter», и скоро уже внедрились в переходную зону.

А я заодно установил нетленный рекорд, за сутки с небольшим побывав на всех четырёх работающих погранпереходах Грузии.

— А чего транзитную визу не взял? — спросил грузинский таможенник, глядя в мой паспорт.
— У своих коллег в Садахло спросите, — ответил я.
— Ну и дураки же там в Садахло, — сказал он.
И закрыл мою грузинскую визу:
— Счастливого пути.
— Маглобт, — сказал я и покинул Грузию.

VII. Турция

Таможенный пункт «Ребус»

Невидимая граница Союза в Батуми ощущается резко. Как только попадаешь в Турцию, все немедленно перестают понимать русский. Тот невидимый, неожиданный и приятный лингвистический бонус, который ты имеешь в Азербайджане, Армении и Грузии, исчезает.

Конечно, турки знают самые важные русские слова. «Нельзя», например. Или «Давай деньги». Уже и это считается неплохим лингвистическим уровнем. Тем более, что остальным иностранцам приходится гораздо хуже. На английском, немецком и прочих кяфирских наречиях турки вообще ни слова не говорят.

На входе в таможню первым делом нас зачем-то рассадили. Суро удручённо покатил давать очередную взятку за свой автомобиль. Я же, как пассажир, пошёл в пешую очередь. Она двигалась небывало быстро. Мой черёд подошёл едва через десять секунд.

На контроле сидели два турка — перед турникетом и после него. Первый знал по-русски слово «Виза», а второй — «До свидания». Этого запаса им с лихвой хватало. Тем более, обязанности были невелики — поглядеть в твой паспорт и махнуть рукой себе за спину. Типа, мол, иди — где-то там плати за въездную визу.
Я спросил было:
— А куда идти?
Но их словарный запас уже был исчерпан. Турки никак не могли мне помочь и лишь снова ткнули пальцем вдаль, где исчезали в ночи пограничные турецкие интерьеры.

Чтобы впустить тебя в гости, Турция задаёт тебе несложный ребус. Задание его — найти в недрах

таможни визовый пункт и заплатить за штемпель в паспорте. Это логичный квест, и ты принимаешь его с пониманием.

Однако несдавшие ребус — вынуждены надолго остаться вне всех государств, на нейтральной территории. И пребывать здесь до тех пор, пока не придёт человек, говорящий одновременно по-турецки и по-русски. Лишь этот маг и полубог поможет второгодникам, и, в конце концов, выведет их к их цели — в Турцию.

Крыса в лабиринте

Ночью внутренности турецкого пограничного поста выглядели какой-то заброшенной инопланетной фабрикой. Или недоделанной компьютерной игрой. Везде было пусто, с высоты светили абстрактные белые прожекторы. Вывески на турецком складывались в совершенно непонятные слова.

Специально для таких случаев в сибирском поезде, на верхней полке, я учил турецкий язык. Однако здесь прилежно запомненные слова оказались непригодными. Никто не требовал с меня «beyanname» (декларацию), не спешил радостно сказать «bavullarinizi kapatabilirsiniz» (можете закрыть чемодан), или, хотя бы «naradan gidilmez» («сюда нельзя»). Даже гордо выученный счёт от нуля до миллиона тут пригодиться не мог.

Площадь погранзаставы приблизительно соответствовала городу-государству Ватикан. За полчаса я её всю выучил. Я знал, где пункт осмотра автомобилей, где duty-free, где штрафная стоянка для подозрительных грузовиков. Я нашёл закрытый буфет, я нашёл даже самую главную точку — выход с таможни. Лишь только одной сволочной надписи «Гише» (касса) я нигде не нашёл. Всяческих «Dur» (стой!), «Kapalı» (закрыто) и зеркальных пар «çekiniz/itiniz» (тяни/толкай) было предостаточно. В изобилии водился не требующий перевода «Tuvalet»

Ребус оказался не так прост.

Немногочисленные люди внутри таможни ничем не могли мне помочь. Я вернулся к таможенникам, но от них, тем более, не было проку. Второй только радостно сообщил мне в очередной раз:

— До свидания!

В жизни не встречал человека, который прощался бы с людьми с таким удовольствием.

Пришлось начать новый тотальный обход таможни. На этот раз я ломился в каждую дверь. Наконец, в каком-то закутке смог-таки найти ненаглядное моё «gişe». Эти люди, наверное, специально так хорошо спрятались — чтобы плату за визу люди отдавали им с радостью и облегчением. Действительно, вот единственная касса мира, куда вы отдаёте деньги с удовольствием.

Труд под запретом

Турецкая виза выглядит невзрачно. Это квадратик едва с две почтовых марки. На нём нарисованы какие-то древние развалины, а для интересующихся в углу приписано «Киликия». Вроде как и подпись, и, в то же время, понятнее совсем не стало.

Поверх киликийских руин на двух языках сообщается, что виза даёт право многократного посещения Турции (можно выходить подышать), действительна в течение 90 дней. Наконец, текст категорически предписывает следующее:

«Пока вы находитесь в Турции по этой визе, вам запрещено работать»

Понятно теперь, почему все в Турции вынуждены шастать по клубам и валяться на пляже. Люди, может быть, и приезжают потрудиться, покорпеть над приумножением местного ВВП. А им — ничего подобного! Извольте на пляж!

Метис Георгий

«Виза» и «До свидания» с умилением поставили мне в паспорт «Giriş» (входной штемпель), и я пошёл искать Сурена.

Он как раз в это время стоял посреди таможенного Ватикана, а напротив него стоял высокий тощий паренёк. И оба они друг на друга сильно орали. Было непонятно — ругаются ли они, либо, наоборот, необычайно радуются встрече друг с другом. Я пошёл к ним, вспоминая на всякий случай, где у меня лежит ножик.

— Вот и ты, — обрадовался Суро, — знакомься, это Георгий.

Георгий с готовностью пожал мне руку.

— Вроде друзья, — с облегчением подумал я.

Парочка продолжала свою беседу. Говорили они по-русски, но я долго ничего не мог понять — так громко они орали.

— Я для души работаю. Десять. Себе нисколько не беру, — кричал Георгий, — Мамой клянусь!

— Кому ты рассказываешь? Договаривались на пять. — отвечал Сурен.

— Я только ментам отдам десять. Не в убыток же себе?

— Какие десять ментам?

— Всё ментам отдам. Себе нисколько не оставляю. Мамой клянусь!

Я понял, вскоре, что Сурен не стал справляться с трудностями пограничного ребуса и нанял себе «помогая». Это и был Георгий.

Мама у Георгия была грузинка, а отец турок. Так он сам о себе сказал, и больше о нём мы ничего не узнали. На вид ему было лет семнадцать. Ростом он был почти в два метра, а шириной вдесятеро меньше. Его одежда состояла из какого-то чёрного хитона, как у Мцыри. Разговаривая, Георгий сильно размахивал руками, его хитон развевался на ветру. Казалось, что куски хитона иногда отрываются и исчезают в темноте — такой он был чёрный.

Перейдя из грузинской таможни в турецкую, Георгий неожиданно для Сурена вдвое подорожал. Об этом у них и был сейчас разговор.

— Договаривались как? На пять? На пять! — говорил Сурен. Он знал, как нужно вести себя с помогаями. — Вот тебе держи — пять.

— А ментам отдать? Мне твои деньги не нужны! Я бесплатно работаю! Десять давай для ментов.

И повторялось снова — «клянусь мамой», «для души», «кому ты рассказываешь?». Потихоньку мы продрейфовали к суреновой машине, сели в неё и даже тихонько поехали. Георгий шёл рядом с машиной, цеплялся ногтями за стекло:

— Забери свои деньги,— и совал их обратно Сурену,— Георгию не надо денег. Я ментам свои собственные деньги отдам, раз так.
— По хорошему тебе говорю — бери пять,— говорил Сурен.
— Не надо пять. Менты пять не возьмут.
— Да какие менты? Кому ты тут будешь платить? За что?
— Менты с меня деньги берут. Мамой клянусь.
— Ладно.

Дал ему Сурен десять евро. Тут же Георгий замолк, перестал развеваться своим хитоном перед оконным стеклом. Деловито помахал нам рукой. Исчез.

И вот мы въехали, наконец, в Турцию.
— Удачно прошли. Всего за час,— сказал Суро,— Теперь рванём.

И мы рванули.

Турция ночью

Грузия ночью — как нескончаемая улица. Турция ночью — как сон, как бесконечная витрина. Турецкие приморские городки состоят из одной улицы, которая есть широкая автомагистраль. По одну её руку — Черноё море, по другую — сразу же начинаются крутые высокие горы. На склоны этих гор забираются огоньки домов, светятся единой блестящей сетью. Она кажется иногда совсем вертикальной. И так ты, километр за километром, едешь словно по грани огромного кристалла, по краешку витрины.

Главная улица этих городов течёт под колёсами нашей машины. Она кажется чрезвычайно широкой и до невозможности гладкой.

Я таких дорог ни разу в жизни не видел. Может быть, в гниющей Европе или блистательной Америке эти ровные магистрали и считаются обычным делом. В Азии же больше нигде нельзя встретить такой ровной, лоснящейся поверхности. Она кажется резиновой в своей гладкости. Чувствуешь иногда, как асфальт даже прогибается под колёсами машины. По такой дороге приятно ехать.

Как на улицах мегаполиса встречаются указатели с названиями проспектов и площадей, так тут на местных указателях сменяли друг друга города. Между ними не было совершенно никакого перерыва. Так же слева блестела витрина Турции, светились отели, клубы, фонари, вывески, окна, окна, окна, фигуры и просто электрические гирлянды между домами. Так же справа была, наоборот, горизонтальная и тёмная плоскость — Чёрное море.

Само понятие «город» было тут совершенной формальностью. Все эти «Ризе», «Хопа», «Араклы», «Сюрмене» никак не отличались меж собой. Мы пролетали их за минуту, и Трабзон с каждой секундой становился ближе.

Лишь в одном месте, где-то посреди этой бесконечной набережной, мы остановились на пару минут, чтобы зайти в турецкий магазин. Там мы купили, по безалкогольной водительской традиции, какую-то минералку и съели оставшиеся у Сурена хачапури.

Затем я перепрыгнул через дорожный парапет и подошёл по камням к самому берегу — здороваться с Чёрным морем.

Чёрное море

Мне повезло, что впервые я увидел это море ночью. И тот, кто давал ему имя, видимо, так же впервые вышел на берег в темноте. Когда это море действительно Чёрное.

В этом бесцветном названии скрывается и самая главная особенность. Как Азов монотонен, как полноцветен Каспий, так Чёрное море, наоборот, меняет свою окраску каждый день. Как парики, как косметику, как маникюр.

Позже, днём, в Трабзоне, это море было двуцветным. У берега оно жёлто-зелёное, а дальше становится густо-зелёным. Появляются в нём барашки.

Ещё позже посреди Черноморья, с корабля, я обнаружил в его воде большую густую синеву. Однако синева эта нисколько не романтична, а, более того, навевает даже мысли о каком-то синтетическом шампуне.

Чёрное море разнообразно. Потому оно так шумно, крикливо известно. Потому и вся наша страна, пренебрегая другими берегами, летом скапливается всем своим телом тут — в Сочи, в Ялте, в Одессе, в Варне.

Но это и беда для моря — ты никак не можешь остаться с ним наедине. Всегда кажется, что кто-то стоит за спиной. Чаще же — кто-то болтается в воде прямо перед твоим носом. Или рядом, на песке,— выпирает из купальника всеми своими округлостями.

Лишь ночью, когда море вновь становится Чёрным, ты можешь почувствовать себя здесь в одиночестве. В этом особенность и прелесть Чёрного моря.

Суперкнига обретает хозяина

Ночь ещё даже не кончилась, а мы уже прибыли в Трабзон.

Начался он совершенно прозаически — ехали мы по Турецкому витринному проспекту, и, прямо посреди города вдруг видим табличку: «Trabzon».
— Ну и где ты тут будешь высаживаться? — недоумённо спросил Суро.
— Без понятия,— ответил я.

По-прежнему мимо нас неслись ночные турецкие окна и фонари. Длилось в стороне Чёрное море. Было абсолютно неясно, где нужно выходить. Где тут, в Трабзоне, всё начинается?
— Я что-то начал за тебя беспокоиться,— сказал Суро.— Мне кажется, тебе не стоит тут выходить. Тут же ничего не понятно.
— И что же делать?
— Поедем в Болгарию. Поживёшь у меня. Съездим на море. Найдём тебе хорошую болгарскую девчонку.

Некоторое время я даже склонялся к этому предложению. Но потом я понял, что в этом случае придётся оставаться в Болгарии навсегда. Ибо домой я никак бы уже не попал.

Так что в итоге мы всё же остановились где-то посередине Вселенной, в произвольной точке

Трабзона. Суро стал запихивать мне в рюкзак остатки своих хачапури — чтобы я хотя бы до вечера тут дотянул. Также он пытался сунуть мне в руку пару банкнот:

— И запиши мой телефон. Позвонишь мне обязательно, когда приедешь домой.

Как потом оказалось, он всё же ухитрился засунуть мне в карман пять долларов. Я их, конечно, тратить не стал, а сохранил на память.

Также мы обменялись с Суреном сувенирами. Он подарил мне солнечный фонарик:

— Это единственная вещь, которую выпускает промышленность Армении, — сказал он торжественно.

Ну, а что мне было ему подарить? Я пошарился мысленно по своему рюкзаку и понял, что Суперкнига, наконец, обретёт сегодня хозяина.

Она была, конечно, очень дорогой предмет — зря, что ли, я столько её пёр? Она пересекла со мной пять границ, видела Енисей, Волгу, Дон и три моря, побывала в руках бесчисленных таможенников и железнодорожников.

Но Суро, думается, оказался как раз достоин её. Он столько сделал для нас с Суперкнигой, а кроме того, стал завершающим мазком в портрете Кавказа. Так что я подумал — они составят отличную пару: Сурен и Суперкнига.

И вот на берегу Чёрного моря одна из целей моей поездки была достигнута — Суперкнига обрела хозяина. На этом мелодраматическом фоне мы и расстались. Сурен и Суперкнига поехали в Болгарию, а я помахал им рукой и остался посреди Вселенной на берегу Чёрного моря.

Трабзон

Поиски человека

Первым делом я решил выяснить точку отсчёта — место, откуда идут паромы в Россию. Иными словами, найти порт.

Это оказалось несложно. Трабзонский порт находился прямо под носом. И дело было не в том, что я удачно высадился, а просто он длится по трабзонской набережной километров на пятнадцать. Сложно было найти остановку вдали от него.

Однако по местному времени был ещё шестой час утра. Вопили с минаретов тоскливые муэдзины, призывая ортодоксов на утренний намаз. Все остальные нормальные люди ещё спали.

Я пошёл искать какую-нибудь живую душу.

Береговая коммуникация

Наконец, в портовой стене обнаружилось некое окошко, а за ним сидел охранник.

Я задал ему свой тщательно приготовленный вопрос:

— Нереде гемилер Сочи-а гитйорлар? (Где тут у вас, гражданин, водятся пароходы в Россию?)

Как и ожидалось, он ничего не понял.

Тем не менее, он открыл рот и несколько минут убедительно и вдумчиво мне что-то рассказывал. Я кивал головой и пытался понять хоть слово.

Здесь впервые я встретился с турецкой моделью коммуникации.

Турки никогда, по-видимому, не воспринимают иностранцев всерьёз. Они не могут поверить, что иностранец может не знать турецкого. По их мнению, иностранец лишь зачем-то притворяется. Либо же он глуховатый. Или тупой. Поэтому ему надо всё повторить несколько раз или пересказать другими словами.

Все ушли на намаз

Так и упомянутый охранник с готовностью читал мне какой-то доклад в пять часов утра, а я ни слова не понимал, чего он рассказывает. Удалось уловить лишь фразу «юз метре» (сто метров), что не могло не обнадёживать.

Также охранник часто прикладывал руки к ушам и махал ими. Я подумал сначала, что он изображает некую обезьяну, и лишь позднее сообразил, что он говорил про молитву. Дескать, контора закрыта — все ушли на намаз.

Сказал охраннику «спасибо» («тешеккюр эдрим»). Он ничего не понял, но тоже что-то сказал.

Пошёл в указанном направлении.

Через сто метров пейзаж ничуть не изменился. И через километр тоже. По-прежнему тянулась стена порта, и никаких в ней не было просветов, а по другую сторону дороги находились всяческие магазины. Все они были закрыты.

В итоге я плюнул на эту портовую контору и отправился смотреть город. Рюкзак у меня после избавления от суперкниги стал весить вдвое меньше. Утро было тёплое. Трабзонцы ещё спали и не знали, что я уже к ним приехал.

Город на стене

Как и любой город, Трабзон делится на витрину и трущобы. Витрина стандартна — она декоративна, многоэтажна. Тут пальмы, резные ступеньки, фигурные окошки. Рекламки, конторки, банки.

Трущобы интереснее гораздо. Они начинаются, когда уходишь от моря вверх по склону горы. В Трабзоне, вероятно, нет автобусов, а если и есть, то смысла в них мало. В городе фактически есть только продольные горизонтальные улицы. А соединяют меж собой их крутейшие улочки-лестницы. Уклон их достигает часто 45 градусов и даже более того. На машине такую улицу проехать невозможно. Потому эти улицы часто не асфальтируют, а так и оставляют лесенками. Там же, где предполагается всё же вертикальное автомобильное сообщение, доблестные турки специально шершавят и раскалывают асфальт — чтобы колёса не скользили.

Между проспектами и лесенками как раз и втискиваются дома. Понаставлены они безо всякого порядка — бывает, идёшь по вполне респектабельной такой авеню, а тут же тебе — бац! — какой-нибудь сарайчик без окон.

Иные дома достигают невиданной узости. Бывает здание шириной едва в метр. Думаешь — что же там внутри стен?

Стоит отметить обилие решёток на окнах. В России даже на первых этажах столько не увидишь. Здесь же каждый этаж можно считать первым — запрыгнуть можно абсолютно на любой балкон.

Поэтому на них устраиваются иногда целые баррикады—стальные решётки, фанерные загородки, ржавые велосипедные цепи, обломки каких-то панцирей и эмалированные тазы… Совершенно непонятно, для чего нужен такой балкон и что можно на нём делать.

Совершенно, наоборот, доступны двери. Иной дом вовсе не закрывается, а висит вместо двери шерстяное одеяло. И так не в какой-нибудь халупе, а на входе во вполне приличный особняк.

Тут же у трёхэтажного особняка прямо на улице может быть «tuvalet». Как правило, это сооружение тоже без двери, а, опять же, с шерстяной занавеской. Часто под «tuvalet» даже не делают отдельного строения, а просто отгораживают часть дворика. Дескать, тут все свои, стесняться нечего.

На крышах домов гуляют гуси.

Среди домов и домиков встречается иногда какая-нибудь местная знаменитость. Древняя мечеть, например, у которой скоро юбилей в пятьсот лет. Одновременно эта мечеть ещё и мавзолей некоей шахини, которая была матерью султана Селима Злого.

Здесь же водится памятник султану Сулейману Великолепному. Он родился в Трабзоне и провёл здесь детство. Именно при Сулеймане турецкая империя достигла высшего могущества—янычары расположились на трёх континентах, от Вены до Тегерана, от Дагестана до Атлантики.

Некоторое время я сидел на лавочке возле султана и проникался местной древностью. История накрутила достаточно на эти горы и на этот город.

Есть столицы, знаменитые своими империями, как Рим, Москва и Каракорум. А есть города на рубежах империй. История их менее известна, зато более разнообразна.

Трабзон видел Турецкую империю и Российскую империю. Арабский халифат, Великую Персию. Византию, Античный Рим. Царицу Тамару, Комнинов и Чингизидов. Тут бывали крестоносцы и аргонавты. Воины Ксенофонта именно тут закричали своё «Таласса!». Самый древний герой мира, Гильгамеш, прошёл здесь в поисках бессмертия, а Ной должен был проплывать мимо на своём ковчеге.

Кажется, время по-разному течёт на различных концах земли. В сибирской степи оно растекается и колеблется, так что год уходит за годом, не всегда можно их отличить, и на расстоянии всё—века, страны, люди—сливаются в мерную единообразную пелену.

Здесь же, на узкой полоске земли, герои, солдаты и пророки проходили по извилистой тропе между морем и каменной горной стеной. Кажется, все они нацарапали на скале свои имена.

Пока я пропитывался духом времени, потихоньку стали открываться лавки. Там я купил знаменитый трабзонский хлеб. Чем уж он так знаменит, я не понял—обычный себе хлеб.

Рассвет не приходит в Трабзон. Здесь постепенно светлеет, и лишь к середине дня солнце появляется из-за гор прямо над головами людей. Из ночи город вступает прямо в полдень.

Интересно было вскарабкаться на самую вершину горной стены—а что там за ней? Оказалось, там, как это обычно и бывает,—лишь ещё одна, очередная горная стена вдалеке.

Также в утреннем свете были различимы некие древние руины. Немного по ним полазил и обнаружил уже современный артефакт—гигантские à la Hollywood буквы TRABZON—выложенные на стене.

Чуть далее расположен футбольный стадион. Играть на вершине горы—чисто турецкая изюминка. Ударил слишком сильно—и беги за мячом вниз до самого моря.

Продавцы в турецких лавках обязательно здороваются за руку. Сам же местный магазин напоминает оптовый склад—все товары свалены в кучу. Никаких холодильников—ходи сам выбирай, что тебе надо.

В лавках принято торговаться. Обычно, когда продавец видит, что ты по-турецки не умеешь (то есть убогий человек, по его мнению) сам сбавляет цену.

Злые улицы и чёрные дороги

Главная площадь Трабзона называется вполне в украинском стиле—Майдан (Meidani). Там растёт небольшой парк, и располагается tourist information center—прекрасная организация, где понимают по-английски и имеют nice map of Trabzon especially for you.

Из этой nice map я узнал, что главное шоссе Турции назвается Devlet karayolu—государственная чёрная (?!) дорога. А также что таинственные развалины на вершине—это некий греческий монастырь Kizlari monastyri. И что неприметный домик в двух шагах от меня—это местная трабзонская мэрия.

Чуть вверх от Мейдани начинается главная улица города—проспект Селима Злого. На этой улице водятся многоэтажные, но необычайно тесные супермаркеты, а также ходит трамвайчик. Там же протекает главная трабзонская река—какой-то безымянный горный ручеёк.

Ещё один примечательный проспект—улица Эрзурум. В какой-то момент, не подрассчитав, она превращается в гигантский виадук и нависает над остальным городом на двадцать-тридцать метров. Я не знал об этом, сдуру забрался на неё и потом еле слез.

Цена, которая падала

Когда в городе окончательно посветлело, я спустился обратно к порту и обнаружил там целую русскоязычную улицу. Вся она была заклеена расписаниями паромов и зазывательными рекламами. От ста долларов и выше они обещали доставить меня в Россию. Тут же невдалеке был таможенный пост. Для совсем отчаявшихся была пояснительная стрелочка «Сочи»—и указатель в сторону турникета. Рядом водилась будка, откуда можно

было позвонить за границу и даже в космос, на орбитальную станцию.

Перед тем, как внедриться в первый офис, я тщательно изучил самоучитель. Я был готов ко всему. Даже фразу «геми баты» (корабль утонул) выучил. Оказалось, впрочем, что в офисах кое-как понимали русский. По крайней мере, слово «Sotchi» могли распознать.

Обнаружилось также, что расписание сделано специально для меня. Как раз сегодня в порту водился гигантский пароход «Beşyildiz».

В первом офисе мне предложили («Срочно! Последний шанс!») отдельную каюту за сотню евро. Во втором цена волшебным образом упала вдвое, а в третьем в сервис вошло ещё трёхразовое питание.

Билет же я купил в четвёртом офисе. Это была просторная бежевая контора со странной архитектурой. Она состояла из единственного зала. Где-то в его недрах уходила винтовая лесенка на второй этаж, а в самом центре помещения почему-то располагался tuvalet. Вполне европейский, к счастью, безо всяких там шерстяных занавесочек. Однако это его гордое позиционирование всё же заставляло недоумевать.

За столиком у окошка сидел важный толстый директор в очках и сандалиях, и рядом с ним ободранный бородатый толмач. Толмач сторговался со мной на общую сумму в 25 долларов. В пять раз ниже первоначальной — обязательно сбивай цену в Турции, читатель!

Как назло, вся моя мелочь была истрачена на экмейи (трабзонский хлеб) и türkiye bira. Пришлось совать ему сто евро для размена. Толмач развернулся и дал эту сотню очкастому директору — оказалось, что директор был всего лишь дядя на побегушках. Дядя послушно встал и на стучащих своих сандалиях неторопливо учапал куда-то разменивать эти сто евро.

Делал он это полтора часа. За это время я успел осмотреть внутренности tuvaleta, сходить в местную турецкую кухню и в Интернет-кафе. Также я посетил межпланетную телефонную будку, где состоялся очень странный разговор.

Я спросил у кассира:

— Вы понимаете по-русски?

— Да, — кивнул кассир.

Тогда я спросил:

— Сколько стоит минута разговора с Россией?

Кассир же вдруг неожиданно напрягся и с искренним интересом спросил:

— Ну и сколько?

Видимо, он сам терялся в догадках.

В обоюдном недоумении мы расстались.

Лайнер «Beşyildiz»

Своих ущербных познаний в турецком мне хватило, чтобы перевести «Beşyildiz» как «Пятизвёздочный».

«Бешйылдиз» был и на самом деле вовсе не паром, а скорее огромный левиафан. В нём помещались каюты на тысячу пассажиров, а недавно его ещё водили на процедуры, после чего он вернулся покрашенным и тотально белым. Лишь на верхней, четвёртой палубе на трубе намалёвана была какая-то чёрная загогулина.

Как самый большой черноморский корабль, «Beşyildiz» предназначался под всяческие официальные визиты. В Трабзонском порту он был известен, как лайнер, на котором возили президента Медведева. Эту легенду о Медведеве мне сообщали все — и толмачи в офисах, и таможенники, и немногочисленные пассажиры «Beşyildiz»'а. Словно бы мифическое пребывание Медведева добавляло кораблю какой-то дополнительный статус.

Как раз в этот день «Beşyildiz» отправлялся в свой первый послеремонтный рейс. Это был «пустой» рейс — считалось, что корабль просто перегоняют в Сочи. Однако втихую на лайнер всё же продавали билеты, и вполне официальные — со всякими там печатями и страховками. В трюм же нагрузили помидоры.

Медведев на этот раз почему-то не появился.

Посадка на корабль была объявлена в два часа пополудни. Отправились мы, однако, ближе к вечеру. На все четыре палубы в корабле оказалось около десятка пассажиров. Можно было занимать любую каюту, и все мы, конечно, расселились в лучших номерах.

Флаг над «Beşyildiz»'ом развевался турецкий, инструкции внутри были на хорватском (?), а команда была набрана из великой морской державы — Молдавии. Водился на корабле и единственный турок. Это был повар.

Поначалу он скромно прятался у себя в каюте, надеясь, что пассажиры окажутся стеснительными и не станут требовать с него обед. Однако его надежды не оправдались.

У пассажиров пустого рейса была ещё одна чудесная привилегия — можно было шастать по всему кораблю. Молдавская команда, видимо, и сама ещё слабо ориентировалась в местных лабиринтах. Никто меня не шугал, везде пускали и даже вежливо улыбались.

Пользуясь полным попустительством команды, я облазил весь «Beşyildiz» — его кинотеатр, бассейн, конференц-зал, капитанский пункт, все четыре палубы, какой-то странный склад сеток.

Матросы, галдя, таскали по палубе некие толстые канаты. Путались в них нещадно, запинались. Посмотрев этих бравых ребят в действии, я понял — такая шатия-братия вряд ли кого-то в бурю спасёт.

Что ж, Тёма сам себя спасёт! Он и резиновую лодку предусмотрительно себе приметил.

С корабля можно было разглядеть внутренности порта. Кроме «Beşyildiz», других крупных кораблей тут не было. Водилась только какая-то катерная мелочь.

В самом углу акватории устало отмокал какой-то древний крейсер. Наверное, он должен был доблестно защищать Трабзон в случае внезапной атаки.

Пассажиры на лайнере были:

— пожилой армянин Фарид. Прославился своими поисками водки в корабельном буфете. Несмотря на всю его доблесть, водки там не обнаружилось;
— грузинский торговец мандаринами;
— два мотоциклиста — из Воронежа и из Москвы. Оба ездили в Иран, оба там в Иране поломались и кое-как дотрухали до Трабзона;
— милиционер из Кутаиси. С собой он вёз особые, «батумские» хачапури. Они отличаются тем, что сверху в них налито яйцо. Получается этакий бутерброд с омлетом;
— некая парочка. Эти сразу удалились в каюту, и мы их не видели.

Оказалось, что даже бывалые не предусмотрели необходимости пронести на корабль пиво. Достать его оказалось непросто — ведь на корабле мы уже считались за пределами страны. В наших паспортах стоял выездной штамп.

В итоге в Турцию был отправлен таможенный лейтенантик. Споро и послушно он поскакал в ближайший магазин и припёр оттуда целую пивную россыпь — от норманнского Sköll до измирской Margoda.

Около семи вечера помидоры, наконец, закончили грузиться, и наш корабль отчалил.

Некоторое время все мы стояли на палубе и смотрели на удаляющийся Трабзон. Я ожидал, когда начнётся традиционна качка. Она почему-то не начиналась.

Во время плавания на корабле делать нечего. Качка, хоть и крайне невелика, но читать не позволяет. Иных развлечений нет.

Остаётся только, пока светло, смотреть на море. Зрелище это довольно увлекательно. Не своей псевдоромантичностью, а близким плесканием волн.

На палубе, впрочем, оставаться было довольно опасно. Иногда туда заливалась поперечная волна. Казалось — очень легко можно свалиться за борт. Бравые молдаванские моряки вряд ли заметили бы этот факт. Потому все вскоре вернулись в буфет, а затем разошлись по каютам.

Остался на палубе лишь торговец мандаринами. Он курил и рассказывал историю своей жизни. И, хотя, в конце концов, рядом не осталось ни единого слушателя, это совсем не волновало его.

VIII. Сочи / Абхазия

Было очень интересно, какие сны придут ко мне посреди моря. Оказалось, однако, что ничего интересного я во сне не увидел. Бесконечные морские волны заполнили сон без остатка.

Рано утром мы уже колыхались в русских территориальных водах. «Beşyildiz» снизил скорость и солидно катился в виду берега. Вскоре завиднелись огни. Это был Сочи.

За кораблём следовали дельфины.

По прибытии в Россию еда в корабельном буфете внезапно стала платной. У улыбчивого турецкого повара так же неожиданно прорезался русский язык. Более того — в недрах буфета обнаружилась водка. Армянин обрадовался и завис там надолго.

Остальные паковали вещи.

Впускать нас на родину решили почему-то через трюм.

В теплоход вошли около десятка мундирных чинов. Они отправились выискивать контрабанду. Я тем временем от скуки считал помидоры.

Их получалось неожиданно много. Если брать на ящик по десять-пятнадцать штук, по шестьдесят четыре ящика на небольшую секцию, по двадцать секций в ряд и по пять в высоту. И так — на долгие, долгие ряды на весь трюм.

С нами ехали сто миллионов помидоров!

Сочи

Первое встреченное в России существо — обезьяна.

Около морского вокзала Сочи парни выставляют обезьянку в мундире таможенника.

Что ж — это отличное приветствие!

Сочинцы в солнечный этот день панически боятся простуды. Ходят закутанные. В автобусах тётки требуют закрыть окна. Задраить форточки!

В самом деле — май на дворе. Лето далеко.

Железнодорожный вокзал Сочи, как и полагается, на ремонте. Большей частью он закрыт.

То же самое я видел уже — в Ростове, Махачкале, Баку, Тбилиси. Лишь одни Минводы апатично стоят вне этого строительно-монтажного ряда.

А на ночь этот вокзал ещё и закрывается. Пассажиры скромно жмутся на привокзальных скамейках. Под пальмами.

Что делать?

А вот объявление, расклеенное по всему городу:

Смена полюсов и великий вселенский квантовый скачок

Что должен знать каждый человек о периоде перестройки Планеты в новый режим существования?

А также:
— что происходит с планетой в огненную эпоху;
— что происходит с человеком и его здоровьем;
— какие изменения происходят с Солнцем и Солнечной системой;
— что делать?

На эти и другие вопросы ответит «Учение Синтеза».

Не удержался и своровал одно такое объявление себе в рюкзак. Для желающих узнать, что же именно надо делать, могу даже приложить телефон. 8 918 799 93 76. Звоните, пожалуйста.

Чтобы завершить свою заграничную эпопею, прямо с морского вокзала Сочи я отправился в Абхазию. По местным меркам — это всё равно, что на дачу съездить.

Билеты за границу продаются на автовокзале. Можно поехать прямо в Сухум, можно только до границы, на Адлерском автобусе.

До Адлера билет стоит 40 рублей, до границы — 45.

Пенсионный дедок рядом со мной сердится на цены:

— Зачем эту прибавку платить в пять рублей ни за что?

— А что — от Адлера до границы недалеко? — спросил я.

— Да пять метров. За метр — по рублю.

Я взял слова этого деда на заметку. А зря — дед ничего не соображал в географии. Он перепутал метры с километрами. Вечером ему, наверное, здорово икалось.

Птеродактили над городом

Где-то посреди пути пассажиры вдруг прилипли носами к правому стеклу.

— Вон он! Вон летит! — забормотали с разных сторон.

Я сидел как раз с правой стороны, под самым сочинским солнцем. Я ехал и не понимал, зачем все так неожиданно переполошились.

— Да не он это совсем! Это орёл, — слышалось сзади. И тут же кто-то перебивал:

— Никакой не орёл! Не бывает таких больших орлов!

Лишь пятирублёвый дед гордо объяснил мне всё. Дед рассказал, что какой-то умелец соорудил летающую модель птеродактиля в полный рост.

Модель эта летала над курортными городками на высоте нескольких десятков метров. Тут же, конечно, она стала местной знаменитостью.

Начинали уже ходить про неё слухи. Что птеродактиль рекламирует Сочинскую олимпиаду. Что на нём летает какой-то маленький мальчик. Что птеродактиль умеет воровать с балконов вещи. Что, наконец, никакого птеродактиля нет, а вместо него летают склеенные (!) голуби. Они, мол, попали где-то в гудрон и слиплись между собой.

Я внимательно стал смотреть в небо над городом. Там, действительно, мельтешили какие-то точки. Однако нельзя было толком разобрать — птеродактиль ли это, или какая-то иная приморская фауна.

В это время водитель тоже не выдержал и остановил автобус. Он лёг своим пузом на приборную панель и стал, оскалившись, щуриться в окно:

— Ну, где он там? — спрашивал он. — Хоть раз среди дня его посмотреть. Вечно только по вечерам летает…

Дед ткнул ткнул пальцем в стекло:

— Вон он!

Но понятнее не стало. С таким же успехом он мог указывать водителю Северный полюс. Птеродактиль, видимо, в совершенство владел искусством маскировки.

На всякий случай водитель достал мобильник и щёлкнул фотоаппаратом в указанном направлении. Многие пассажиры сделали так же.

Наверное, самым популярным снимком этих дней в Сочи был как раз такой — фотография грязного автобусного стекла. Её показывали приятелям, подружкам и родственникам всех мастей. И те, затаив дыхание, пытались разобрать на мелком окошечке монитора это воздушное курортное ископаемое — Pterodactyl Sotchius.

Наконец всем надоело искать птеродактиля. Мы поехали дальше.

Сочи закончился, но, как и везде на Черноморье, границы города были совершенно незаметны. Проехали Мацесту, Хосту, посёлочек со странным названием «Известия». Все они выглядели, как и должны были выглядеть — сонными санаторными деревнями.

Начался затем Адлер и гигантская пробка в нём. Обогнув её какими-то задворками, мы прибыли, наконец, в Псоу, в место, где посреди длинного курортного города Сочи пролегала зачем-то государственная граница.

Абхазия

Все республики СССР до конца ещё не поняли свою независимость и что делать с ней. Абхазия в этом ряду — самый нелепый образец.

С этой страной всё ясно уже на границе. Это единственное государство в мире, куда можно попасть только через базар. У Абхазии единственный работающий погранпереход, и начинается он на рынке Псоу. Всю дорогу до контроля вы продираетесь через шапки, сувениры и слащавый местный шансон.

Очень длинный таможенный переход. По нему надо идти минут двадцать, по узкому зелёному коридору. Коридор имеет свойства сложенного резинового шланга — он поворачивает то в одну, то сразу в другую сторону. Иногда в нём попадаются люди. Это таможенники — но они ничего не делают. Или торговцы — но они уже не торгуют (это в часто дня). Валяются везде сумрачные, таинственные артефакты — пыльные весы, ржавые ящики, двери (куда тут могут быть двери? В другое колено того же коридора?).

В конце пути я нашёл, наконец, рентгеновскую арку и с облегчением прошёл через неё.

Арка запищала. Пограничники оторопело смотрели на меня:

— Зачем вы это сделали? — спросила одна тётка.

— Я думал, через это полагается проходить, — сказал я.

Она раздражённо махнула рукой:

— Идите просто так.

И я пошёл в Абхазию просто так, со всеми своими металлическими частицами — ключами, интернациональными деньгами и складным ножичком.

На выходе из России ставят оранжевый штамп. Стало интересно, почему у России — именно оранжевый штамп? Чем обусловлен этот выбор?

Абхазы же даже штампа не ставят. Вместо этого на входе в страну продают холодный квас. Я купил. Хороший квас.

Дорога и приморские виды традиционны и уже привычны. То ли вкус у меня за время путешествия приелся, то ли, действительно, тут нет чего-то своего, особенного.

Нота эксклюзивности — повсеместные следы войны. Плакаты, которые рекламируют ордена

(что это за ордена, которые надо рекламировать?). Памятники погибшим за независимость.

Высотные дома все в оружейных дырах. Непонятно, почему их до сих пор не снесли. С Гагры, Сухума и прочих городов эти горелые здания немедленно срывают всю курортную негу. Непонятно, как тут работают санатории? Что за отдых может быть на таких руинах?

Сухум

Из всех горячих точек Сухум кажется единственной не остывшей. В отличие от Чечни, Тбилиси и карабахских окрестностей здесь не отполировали следов былой войны. Не хватило денег, либо же специально это всё оставлено в неизменном виде.

Повсюду в городе обгоревшие дома, выбитые стёкла, выпавшие куски стен, заросшие паутиной проёмы. Железнодорожная линия заросла травой и плющом до самых верхушек столбов.

При том железнодорожный вокзал Сухума работает. Там висит расписание, анонсирующее электричку Сухуми—Адлер, которая ходит-де по нечётным дням. Это при том, что на границе железнодорожный мост через Псоу окутан колючей проволокой, как сахарной ватой. Никакой поезд не прорвётся через эту сеть.

Местная сухумская легенда—что где-то в городе есть дом траура. Там до сих пор в квартире погибшей семьи лежат одежды людей, и работает телевизор. Утром его включают, на ночь—выключают. И больше никто не заходит в дом, чтобы не тревожить духи умерших.

На Сухумском рынке есть рикши. В местном варианте—из переделанных носильных тележек. Есть и обычные носильщики. Обычное их состояние в Сухуме—сон в собственной своей носильной телеге.

Изыск местной архитектуры—балкон с цементной решёткой. Узкие и длинные плашки отгораживают лоджию от остального мира. Свет проникает сквозь них скудно, равно как и ветер. Потому такой балкон свою вентиляционную роль вряд ли может выполнить.

—Зато не жарко,—могут сказать архитекторы.

Узникам Петропавловской крепости, вероятно, преподносили такое же утешение.

Резонатор

На абхазском рынке я купил и удивительный сувенир. Шкатулочка, а внутри неё вложены два изумрудных шарика. Если потрогать их, они отзываются хрустящим металлическим звоном.

—Что это такое?

Продавщица выдаёт в ответ традиционную неразборчивую тарабарщину. Кое-как в переводе с её русского можно понять, что это особенная игрушка-резонатор. Считается, что если ты открываешь шкатулку в хорошем настроении, то шарики звенят весело. Если в грустном—звенят тоскливо.

Я немедленно купил этот таинственный резонатор. Даже если тётка наплела чего-то из головы, такая версия стоит того, чтобы приобрести.

Звенящие шарики и сейчас стоят у меня дома. Это настоящий сувенир. Не бестолковая фитюлька, которая пылится на полочке, но особая, чуть загадочная вещь. Шкатулка хранит моё впечатление, мою память об этой несуразной, маленькой, печальной стране.

Снова Сочи

Уезжали из Сухума целые орды. Набился полный автобус. Потом автобус не завёлся. Его подцепили к маленькому грузовику на верёвочку, и грузовик его покатал кругами по привокзальной площади, пока он, наконец, не затарахтел нормально. Выяснилось, что в Сухуме это нормальная практика.

Впрочем, дальше автобус, как ни странно, исправно штурмовал горы и перевалы.

На выходе из Абхазии меня вновь атаковала местная эстрада. Я не ошибся—кто-то специально включал одну и ту же песню на бесконечный повтор. Я бесстрашно пошёл в эпицентр воплей и обнаружил там полноватую крашеную девчушку.

—Это чего такое у тебя играет?—спросил я.

Она меланхолично подала мне диск. На обложке указано было совершенно неизвестное мне имя—Руслан Набиев. Знай и ты, читатель, эту звезду погранперехода.

От границы, памятуя заветы экономного дедка, решил прогуляться пешком до Адлера. Однако Адлер оказался отнюдь не в пяти метрах. За два часа им и не пахло. Автостоп на сочинской трассе тоже был мёртвый—тормозились одни таксисты.

В итоге плюнул на этот Адлер, добрался на автобусе до Сочи и валялся до ночи на пляже.

Смотреть в Сочи совершенно нечего. Кроме птеродактиля, конечно.

Местные жители не только разделяют, но и активно пропагандируют эту точку зрения. Здесь царит, более того, даже какое-то особое самоуничижение:

—У нас не только нечего смотреть! У нас и к олимпиаде ничего не строится! Всё разворовали.

Говорится это с некоей даже гордостью.

Сочинские сны

На приморском вечернем сочинском ветерке я задремал. Мне приснилось, что двое людей берут прохожих и уводят их в следующий день.

IX. Возвращение

Путешествие заканчивалось. Впереди было ещё четыре тысячи километров—до дома. Я сел в Туапсинскую электричку и начал усиленно сокращать эти километры.

Беседа

В черноморской электричке разговаривали две бабки.

— С тех пор, как я уехала к сыну в Бостон, первый раз выбралась на родину,— говорила одна.— Ностальгия, всё-таки.
— В Бостоне есть море? — спрашивала вторая бабка.
— Какое ещё море, вы что? Там Атлантический океан.
— Тёплый океан? Купаться можно в нём?
— Тёплый, не тёплый — не знаю. А вот пальмы растут.

Помолчали. За окном электрички поворачивалось Чёрное море. По берегу расползались ранние рыбаки.
— С этой недели можно начинать высаживать топинамбур,— сказала туземная бабка.— Лунный календарь благоприятствует.
— Лунный календарь устарел,— ответила американская бабка.— Вы замечайте, главное, чтобы семена не были генно модифицированы. Это самое страшное.
— На семенах не пишут, вроде бы, про такое.
— Это можно по жукам узнать. Если колорадский жук ест картошку — значит, она не генно модифицированная. Жук-то, он понимает.
— Так он всю картошку ж может съесть.
— И пусть ест. Зато будете знать, что у вас картошка была нормальная.

Помолчали. Туземная бабка продолжила тему:
— Я от вредителей посыпаю кварцевым витамином. А жуков колорадских у нас тут нет вообще.
— Тогда лучше не сажайте. Я у себя только цветы сажаю.
— У нас тоже цветы есть на огороде. Две клумбы.
— Особенно полезны каллы. Они понижают холестерин.
— Кактусы тоже полезны. От радиации.
— Помилуйте! — Американская бабка махнула рукой,— в Чёрном море такой сероводород… Тут никакие кактусы вам не помогут. В здешней экологии единственная вещь помогает…

И она стала ожидать уточняющего вопроса. Туземная бабка из вежливости задала уточняющий вопрос:
— Какая вещь?

И американка изволила открыть свой секрет:
— Регулярное промывание желудка. Даже в Бостоне я раз в неделю себе устраиваю промывание.
— Да,— согласилась аборигенка,— у нас когда-то профессор комнату снимал. Он тоже прочищал желудок. По методе йогов. Глотал ленту от детского банта — полтора метра в длину. Почти до самого конца, только фитюлька изо рта торчала. А потом всё назад вытягивал.

И с вызовом посмотрела на американку. Та, однако, парировала мгновенно. В этом турнире современных суеверий она собиралась стать победителем:
— Среди йогов полно шарлатанов. Тут лучшее средство — традиционное. Даже в евангелии есть притча про это. К Иисусу пришёл больной и пожаловался на запор. Так Иисус не стал читать никаких заклинаний и молитв. Он взял пустую тыкву, наполнил водой и сделал больному… как это по русски…

Американка ждала, что ей подскажут слово «клизма». Однако так этого и не случилось.
— В общем, и спас больного. Тот обратился в христианство и тоже проповедовал это учение по всему миру.
— По мне, так лучше всяких клизм тщательно пережёвывать пищу. По шестнадцать жевательных движений с каждой стороны челюсти. Так и зубы здоровее будут.
— Тут, главное, аккуратно выбирайте нить для чистки зубов. Не всякая подходит.
— Да мне пока зубной пасты хватает.
— Вы что? От зубной пасты случается рак.

Помолчали.

Солнце потихоньку красило берег в оранжевый цвет. Поднималось утро. За окном начались пригороды Туапсе. Бабки тихо смотрели в окошко.
— А сколько сейчас у нас в городе автобусы стоят? — спросила вдруг американка.
— Пятнадцать,— ответила туземная бабка.
— Дорого,— вздохнула тихо американка.
— Дорого,— согласилась собеседница.

Электричка с шипением въехала на туапсинский вокзал. Бабки, кряхтя, поднялись с лавочки и пошли к выходу.

Туапсе́

Туапсе — обычный небольшой городок, с ничтожными приметами курортного капитализма. Фонарная площадь, летние кафе — в остальном никак нельзя заметить, что это участок санаторного рая.

Единственная интересность — там продают *искренние* хачапури. Они не из слоёного теста, и потому называют их честно — «пирожки с сыром».

Краснодар

Краснодар лидирует по показателю придирчивости и назойливости ментов. Я находился в городе три часа и четырежды попал под осмотр. Это даже несмотря на то, что я свой рюкзак сдал в камеру хранения. Соответственно, взрывчатые вещества прятать было негде. Но я всё равно был подозрителен. Я был чужак. Менты слетались на меня, как грифы на падаль.

Недостаточно оказалось здесь и обычного приёма показать свою железнодорожную ксиву. Всё равно менты обшаривали носом весь мой паспорт. Ничего незаконного так и не нашли. Итоговая претензия одного из них носила скорее моральный характер:
— А почему паспорт у вас без обложки? Почему не бережёте свои документы?

И с такой злобой мент спросил меня об этом, что даже стало приятно за свой паспорт. Вот как о нём заботятся в Краснодаре!

Мента же стало жалко. Если б знал — взял бы специально для него свою единственную контрабанду — грузинско-азербайджанское вино.

Зато свобода нравов в Краснодаре необычайна. На улице Суворовской, прямо на улице проститутка делает некоему гражданину минет. Парочка символически прикрыта от чужих глаз дверцей машины. Суворовская — это почти центр города.

В городе есть предприятие со странным названием — станкостроительный завод седин. Делают ли там седые станки, либо работают исключительно пенсионеры — осталось неясным. Зайти осмотреть эту достопримечательность я не решился.

В дк Железнодорожников находится богатый книжный развал, который обладает очень странным временем работы. Он закрылся сразу, как только я пришёл. Было это ровно в 16 часов 25 минут.

Кавказская

От Краснодара путь лежал в Волгоград с пересадкой на узловой станции Кавказской. Примечательна она своим кассовым залом.

На потолке там выложены мозаикой две самые широкобёдрые женщины мира. Впечатление от их массивного таза ещё увеличивает перспектива — головы обеих дам кажутся едва в десятую часть бёдер. Одна женщина держит над головой сноп, вторая — то ли окорок, то ли гроздь винограда. Художник для виду нацепил на обеих колхозные косынки. Но этим никого не обманешь — сразу видно, что перед нами две языческие богини. Скорее всего, это Деметра и Артемида либо Персефона. Странно — как такой откровенный жреческий изыск мог появиться и уцелеть в советское время (а также выдержать двадцать лет нынешней православной экспансии)

В той же мифологической традиции выдержано и оформление остальных залов станции. Например, питьевой фонтанчик сделан в виде античной росписи с изображением стилизованного аквариума.

В зале ожидания стоят мягкие лавки. На них удобно спать (смотрительница зала только лишь и занимается пресечением этого). За лавками, за непременными пальмами в глубине зала, как гипсовый забытый Дионис, стоит — Ленин.

В столовой станции Кавказская я приобрёл ужин, а заодно бесплатный сеанс русской речи. Болтливые официантки за полчаса создали своими языками несколько гигабайт информационного ветра.

Я так отвык от этой болтовни, от приятных понятных русских слов. Это обрамление трапезы было лучше всякой музыки.

Ещё одна узловая станция — Котельничи, где любой поезд стоит по часу. Несмотря на свой узловой статус, это есть лишь обычная деревня.

У вокзала надпись стеснительно запрещает торговлю съестными припасами и пуховыми шалями (?). Стоит ли говорить, что именно эти товары здесь и продаются?

Особо много здесь рыбы. В любом виде — вяленая, жареная, копчёная, сушёная, икра, посол. Это мировая столица рыбной перронной торговли.

Волгоград

Рукопожатие рек

Первая примета Волгограда — Волгодонский канал. С виду обычная речка, крайне невеликая. Но и Кубань с Доном у нас сошли бы за мелкие реки, едва ли не ручейки.

Понять особенность Волгодона можно, лишь увидев вдалеке шлюз. Поднимался в нём катер. Через узкую полосу канала здоровались друг с другом реки.

В Волгограде находится самый удручающий вокзал страны. Всё в нём как-то не так. Нелепые лестницы, перегороженные посередине какими-то колоннами, постоянно закрытые выходы, бледные мозаики с румяными колхозниками, тюремные краски камеры хранения, потный зал ожидания…

Контур города

И сам город кажется столь же неустроенным. Словно все его здания набросали на время. Потом, потом — расстелят настоящие проспекты, и начнётся правильный Волгоград. Сейчас же он только намечен контуром.

Однако это замечание — не упрёк Волгограду. Ведь эта его неустроенность — свидетельство беспонтовости. Это город — без понтов.

Они тут не нужны совсем.

Волгоград даёт понять путешественнику, что уже занял своё место в истории. Ему незачем красоваться и наводить на себя лоск. Пока в России ценится память отечественной войны, Волгоград останется её памятником. Существование города в остальное время (в том числе и сейчас) — не более чем дополнительное и необязательное обрамление.

Волгоградский краеведческий музей подтверждает собой этот принцип. Всё в нём хаотично, и лишь доказывает незначимость любой истории этого города. Ибо у него нет истории. Он застыл в одном времени. Более того — в его нынешнем состоянии Волгоград не имеет будущего. Он сам давно уже (шестьдесят лет) живёт в этом будущем, но всё его нынешнее существование фантомно.

Исторические экспозиции в музее перепутаны до восхищения. Из зала археологии попадаешь прямо в комнату второй мировой войны. В зале Средневековья сарматы скачут прямо в Золотую орду. Хазары, тюрки, половцы — их словно и не было. И чувствуется, что здесь они никому и не интересны.

У Поволжья есть лишь одна небольшая историческая симпатия — время ранних Романовых. Потому комната XVI–XIX веков — самая любопытная. Это не зал, а именно комната. Но тем и лучше — её невеликость добавляет уюта.

Здесь есть шапка и посох Петра I. Это самые что ни на есть обычные палка и рваная шерстяная тряпка. Вот это царь! Ему мундиры незачем — он и без обёртки был разноцветен.

Тут же и посмертная маска Петра. По ней видно, что основные романовские черты — глаза навыкате, бульдожий прикус — пришли к ним вовсе не от немецких Гольштейн-Готторпов. Интересно также, что современный наш президент Медведев обладает обликом типичного Романова. В семейной портретной галерее он смотрелся бы крайне органично.

Наконец, в комнате есть портрет Пугачёва. Это не только его единственное прижизненное изображение. Примечательно оно и тем, что нарисовано поверх другого портрета—Екатерины II. Возможно, в ту пору с холстами была напряжёнка.

Художник лишь закрасил лицо императрицы, но оставил почему-то глаза (либо же их специально потом расчистили), потому у Пугачёва в шапке проглядывает сейчас второе лицо. Если глядеть внимательно, можно различить под краской косу Екатерины, её бюст и орден на груди.

Полюс

Главным местом Волгограда остаётся Мамаев курган. Без всякого сомнения, это один из сильнейших храмов человечества. Речь не идёт о значении самой Сталинградской битвы в истории. А в том, что в Сталинграде война обнажилась до скелета—правда против не-правды. Создателям мемориала удалось превзойти память о войне как столкновении государств. Они смогли сделать памятник, в котором нет наций, стран, народов.

Ценность этого места—именно как точки отсчёта. Как полюса правды—где можно сказать себе: «Вот тут, в этом месте было так, что правда победила». В этом его сила и значение. Потому это не памятник, а именно храм. Он претендует на абсолютную святость.

Это чувствуется и в том, что на обширных каменных пространствах кургана нет ни единого граффити (а сколько простора, казалось бы).

Думается также о том, какова будет дальнейшая история этого памятника. Ведь история длится. Будет ли он со временем забыт и останется стоять уже под другим названием, с другими цветами и легендами? Или его разберут люди, которым он станет уже безразличен?

Можно оспаривать планетарную значимость Мамаева кургана. Несомненно, однако, он имеет первостепенную ценность для России как отдельной страны. Это одно из немногих волшебных мест—именно для этого конкретного государства. Сейчас Мамаев курган—одно из её оснований, может быть, даже самое значимое. Если эта страна хочет сохраниться в звании мировой империи, она должна поддерживать свой храм в должном состоянии. И наоборот—запустение Мамаева кургана с необходимостью будет главным индикатором близящегося конца России как единого и исторического государства.

Самара

Самара, Самара вновь…

В отличие от Волгограда—вот город с будущим. Улицы, где—словно Волга в своё русло—меж домов вливается жизнь. Эта жизнь пока не пропиталась временем, не приобрела его терпкость. Но когда придёт момент, Самара будет столицей большого края. Или городом ещё неизвестной святыни, или рулевой кабиной на целый материк.

Самара ждёт свою судьбу.

Под тихим солнцем

Мне очень нравится этот город.

Прекрасны привокзальные улочки Самары. Тихие, пыльные. Они напоминают нашу качинскую слободу. Можно встретить здесь каменные строения с глухими кирпичными дворами и деревянные, падающие заборы. И тихие трамваи. Они не громыхают, как у нас. Рельсы их уложены мягко.

Солнце в Самаре не раскалено. На любой улице найдётся от него тень.

Поезда на грани сна

Мне нравится даже нелепый, перекрученный самарский вокзал, самый высокий в стране. Когда едет поезд, все кресла в зале ожидания дрожат. Кажется поначалу, что это твоя галлюцинация. Ведь так же бывает, когда засыпаешь—твоё тело иногда словно внезапно куда-то падает.

Когда проходит поезд, самарский вокзал колеблется на грани сна.

Дорожный книжник

Невдалеке от вокзала в Самаре есть чудесная книжная лавка. Называется она почему-то «Транспортная книга», но по сути представляет собой хороший букинистический магазин.

Стоит посетить его также для беседы с хозяином. Это крайне разговорчивая, бурлящая своей говорливостью и приятная личность.

Ещё одна примечательность Самары—статуя Чапаева с исчезающей тачанкой. Дело в том, что эта тачанка была сделана, в отличие от остальной скульптурной группы, из металла. Потому её постоянно воровали.

Я зашёл на площадь Чапаева, дабы поглядеть на это динамическое произведение. Свидетельствую: на середину мая 2009 года очередная версия тачанки была на месте.

Лишь одно неприятное впечатление оставила Самара, перед самым отъездом. Оно было таким.

Я стоял у входа на вокзал. Откуда-то с перекрёстка вывернула вдруг и полилась ближе чёрная людская стая. В лад друг другу орали голоса. Громыхал барабан. Он нарушал звуки речи и делал слова непонятными. Сливались в шуршащую массу чёрные куртки. Только солнце блестело в застёжках и вспыхивало иногда искоркой в этом тёмном ряду.

Поначалу этих парней можно было принять за футбольную фан-группу «Крыльев Советов». Лишь когда они подошли ближе, стало можно разобрать нелепую речёвку:

«Россия! для русских!
Россия! Ты—сила!»

и стало понятно, кто это.

А я как раз стоял олицетворением заграничного гниющего глобализма—с импортной колой и пакетом картошки фри в руках (любимой моей, макдональдсовской—в Самаре есть Макдональдс, у самого вокзала). Я решил ни за что не сходить с их пути и не опускать глаз. Впрочем, гоповская толпа близоруко не заметила меня и, громыхая, полилась в темень вокзала.

Охранники завернули их назад. Там как раз приехала дежурная машина. Но милиция, которая столь любит окоротить нарушителей (пьют пиво на улице? Прекратить! Человек с бородой? С рюкзаком?! Проверить немедленно!) почему-то стояла в нерешительности.

Принято у нас называть фашистов подонками. И нелюдьми. И мразью. Но это были не звери и не мразь, а вполне себе обычные ребята. Только разве средний уровень длинноволосости у них был понижен. И так же случайно большинство из них могло быть сегодня в иной тусовке—любого цвета, любой цели. Лишь позже, если потакать их речёвкам, позволить им развиться дальше—они смогут нарушить стерженёк внутри себя, станут хвалиться своими черносотенными успехами, гордиться своим злом. Пока же это—не так.

Закончился же коричневый марш следующим образом. Рядом со мной стоял пожухлый человечек в пиджаке. Он позвонил куда-то («начальник какого-то там департамента»—гулко прозвучало из трубки—даже я услышал), а затем подошёл к ментам, и сказал им пару слов. Видимо, разрешительных.

Тут же черноробые стражи покатились вниз, по пешеходному мосту, к нацистам, сминая их в недра дежурной машины. Скоро вся эта смешанная группа уехала в часть, писать протокол.

Всё успокоилось.

Уфа

И вот последняя остановка перед возвращением домой, в Сибирь. Собственно, Уфа уже отчасти и есть Сибирь.

Рядом с городом протекает Агидель, она же Белая река. Вся Уфа укладывается в одну узорчатую излучину этой реки.

Однако, как многие исламские города, Уфа отгораживается от воды. Самая выгодная часть города—набережная—отодвинута куда-то за рельсовое полотно. Её, этой набережной, даже и вовсе нет. Увидеть течение Агидели можно лишь с высокого холма в центре города.

Вокзал, примечательный надписью «Өфө», больше не интересен ничем. Это целиком совочное произведение.

По российской традиции, на вокзале идёт вечный ремонт. Перестройка ограничивается, по сути, лишь тем, что сверху добавится лишь пузатый купол, да по стенам домажут арабесок. Аляповатая мозаика есть уже в кассовом зале и сейчас. Нет никакой возможности понять, что именно она изображает.

Для этого приземистого здания удивительно высоким и пустым кажется зал ожидания. Приятно находиться в нём. Даже твоё дыхание обладает здесь эхом.

Тут же интересное изобретение сферы контроля—билеты на электричку проверяют не в вагоне и даже не на перроне—прямо на вокзале. Бывает, лишь для того, чтобы прорваться к табло с расписанием, ты должен дважды продемонстрировать свою избранность: «Да не на электричку я—вот мой плацкарт».

Башкиры в целом—наименее красивый народ. Даже молодые девушки (казашки, например, красивы именно молодостью) имеют какой-то болезненный румянец. На этом фоне и русские кажутся какими-то подвядшими, что ли.

Возможно, чтобы оценить башкирский стандарт красоты, надо привыкнуть к нему. В любом случае, он специфичен.

Башкирский драмтеатр—совершенно резиновое по виду здание. Он раздут, и кажется, что вот-вот спустится. Рядом стадион «Динамо»—тоже приземистый и пузатый. Но он не резиновый, скорее картонный.

Вездесущий

Наверное, нет в России города, где не побывал Ярослав Гашек, и где в честь этого не прилепили мемориальную доску.

Смотреть запрещено

Совершенно где-то на задворках стоит президентская администрация. То есть, по существу-то в центре, в лучшем месте—на набережной Агидели. Но в Уфе это считается задворки: река, драные газоны, земляные дороги, деревянные трущобы внизу, прямо на виду президентского окна. Зато лишь отсюда и открывается лучший вид на Агидель и окрестности.

Однако заходить на эту площадь отчего-то нельзя. Это предел охранительства. То, что нельзя войти в президентский дворец, мы уже привыкли (хотя в Казани, кажется, можно и это). В Уфе же запрещено даже смотреть на дворец. Видимо, взгляды плебеев разрушают ауру этого почтенного заведения.

Выпускное море

Близится школьный последний звонок. Вокруг бродят скованные тинейджеры в пиджачках, полувзрослые девушки в своих нарочито детских фартучках, бросают короткие взгляды—не смотрит ли кто на них.

Я пришёл на главную уфимскую гору, с памятником Салавату Юлаеву, и разлилось вокруг меня это выпускное юношеское море. С шампанским, с сигаретами и шариками. Со смущёнными улыбками и фотографиями во всех возможных сочетаниях. С одинокими мамашами и накрашенными учительницами. С глубокими вырезами на девических платьях, открывающими совсем не так и не то. С нелепыми пышными причёсками. С букетами и фужерами и открыточками на память. Со стеснительным, но столь обнадёженным ожиданием—что же будет дальше. И в то же время с грустью, с неожиданной грустью в сердце.

На этом выпускном фоне я думал о нас с тобой и о нашей маленькой дочери.

Что скоро и она вырастет и тоже пойдёт в школу. Годы пройдут быстро, как рука перелистывает страницы. И тоже у неё будет выпускной.

Мы купим ей красивое платье и подарки. Чтобы она была лучшей из всех, самой красивой — и не только для нас.

У детей своя жизнь. И мы не будем мешать ей в этот день. Но мы станем с тобой незаметно смотреть — чтобы никто нашу девочку не обижал. Чтобы ей было весело, и нисколько, нисколько не грустно.

Тогда мир отзовётся на наше пожелание и придёт к ней добром. Жизнь продолжит разворачиваться перед ней, красить дни в новые краски, в невиданные никем ещё узоры.

И мы с тобой тоже отражаемся в этих узорах. В глазах нашей дочери мы отражаемся, и уже тем самым наши жизни оправдываются. Ведь отчасти мы живём для неё — не правда ли? А значит, ей повезло — нашей с тобой Вишенке.

Я дописал эти слова, закрыл блокнот и пошёл — через выпускное море, через солнечную предвечернюю Уфу — к вокзалу, к поезду, который повезёт меня домой.

Последние строчки возвращения

И через два дня я приехал, наконец, домой.

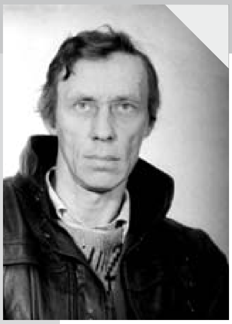
Путешествие кончилось, и кавказский дневник был окончен.

Красноярск снова встретил дождём. Как обычно, когда приезжаю из дальнего путешествия, город стесняется моего обновлённого взгляда.

Я же понимал его смущение, дал ему высохнуть, приготовиться, и вышел уже в свой — сизый, дымчатый, прохладный, но не холодный ничуть, — свой родной город.

Положение о литературной премии им. Игнатия Рождественского

1. Премия учреждена ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения «День и ночь» в ознаменование 100-летия со дня рождения выдающегося русского поэта-сибиряка И. Д. Рождественского и присуждается редакционной коллегией журнала, в которую входят эксперты — профессиональные писатели и литературные критики — за лучшее стихотворение, посвящённое Сибири, созданное на русском языке и ранее не публиковавшееся.
2. Рассматривается *одно* стихотворение одного автора.
3. Объём стихотворения — не менее 8 и не более 40 строк.
4. Формальные ограничения стиля, направления, художественной манеры не предусмотрены.
5. Место проживания автора не имеет значения.
6. Конкурс рукописей проводится по двум возрастным категориям: авторы с 12 до 18 лет; авторы старше 18 лет.
7. *Крайний срок подачи рукописей — 10 ноября 2010 г.* Рукописи принимаются *только в электронном виде* по адресам dinmarket@mail.ru, kras_spr@mail.ru и mn.savv@mail.ru. К рукописи необходимо приложить краткую биографическую справку и точную контактную информацию.
8. Председателем жюри является главный редактор журнала «День и ночь», организующий работу жюри и церемонию награждения лауреатов.
9. Размер премии не фиксирован и не разглашается до момента вручения; лауреат получает эксклюзивный диплом и право на публикацию победившего стихотворения в изданиях, осуществляемых ООО «Редакция журнала для семейного чтения «День и ночь» (очередные номера журнала, коллективные сборники, антологии и т. п.)
10. Сроки проведения конкурса. Первый этап: с момента опубликования данного Положения до 10 ноября 2010 г. — формирование короткого списка претендентов. Второй этап: ноябрь — декабрь 2010 г.: определение лауреатов, проведение церемонии награждения.
11. Приглашаем к сотрудничеству граждан и организации, заинтересованных в привлечении внимания к своей благотворительной деятельности!



Виктор Коврижных

Вспашка зяби

Летят журавли над простором ковыльным,
протяжно заплачут, и душу мою
прострелит ознобом, как дробью навылет,
и в ранах ненастья ветра запоют.

Покажется, будто в закатное пламя
дух скорби осенней бредёт, одинок.
И смотрит пастух на закат, будто в память,
задумчиво гладя собаку у ног.

«Всё тленно,—подумаешь,—в память и в землю…»
Сквозит на ветвях паутин седина.
Умом понимаешь, душа не приемлет,
как будто бы знала бессмертье она…

…и этих туч насупленный свинец,
и этот куст, подёрнутый багрянцем,
необходимы, как Новокузнецк,
в соединенье времени с пространством.

Природа вся—в ответах на вопрос.
Налево—холм, направо—лес окрестный.
А здесь полынь заполнила откос…
Она—полынь—здесь более уместна.

И Новый Человек, спустившись вниз,
прозреет дух сурового простора,
Он не захочет, но построит Коммунизм
по чертежам и памяткам Христовым.

Отринет Он престижный цвет знамён
и постулаты зодчества былого.
Пространство продиктует ход времён
и вещих песен титульное Слово.

Была вначале Музыка. Потом
грядущее откликнулось в былом.
Где Слово стало смыслом и судьбою
Вселенная вместилась в звукоряд.
Назад вернулся отражённый взгляд:
трава зелёная—зелёною травою.

Я думал, всё на свете объяснимо.
Но в сумерках взошла иная даль.
И новый Бог своё услышал имя
в минуте, не внесённой в Календарь.

Из тайны, отражённой человеком,
приходит миг, который станет веком

Осенний закат. Вспашка зяби

По жнивью борозда, как стрела на пределе
в натянутом луке долины.
Прольются глаза в направление цели,
откликнется клёкот былинный.

Как будто уже за холмами крадётся
ордынская дикая воля!
И гарью запахнет, и кровью нальётся
закат над простуженным полем.

Озябнет душа от предчувствия встречи
с тревогой полей куликовых.
И сумрак вечерний ложится на плечи
печалью досель незнакомой.

И лишь самолёт, как глагол перспективы,
строкой обозначив приметы,
летит из заката стрелой реактивной
до самого сердца рассвета.

Сирота

В доме без света один третий день.
(Провод обрезали за неуплату)
Бродит за окнами страшная тень,
боязно даже заплакать.

Невыносим беспросветный свинец
над синевой беззащитных глазёнок.
Пьянствует мама опять, а отец
снова на нарах казённых.

Сядет в пальто на худую кровать
и—оживают на стенах картины:
сладкие булочки стряпает мать,
велосипед с магазинной витрины.

Мебель убогую не утаит
робкое пламя свечного огарка.
Кажется руки отсохнут мои
если приду в этот дом без подарка!..

Не отмолчаться, не вымолить грех,
светит окошко в ночи, как иконка.
Ветром сиротства погашенный смех.
Дай Бог вам неба с глазами ребёнка.

Николай Переяслов

Под млечною рекой

Ноктюрн

Ночная Москва — как огромный кроссворд из горящих
и аспидно-чёрных — *погашенных* — окон домов.
Налево пойдёшь — ненадёжную радость обрящешь,
направо пойдёшь — потеряешь навеки любовь.

А прямо по курсу — наткнёшься на сотни вопросов,
ответы к которым таятся за дымкою лет.
Решишь хоть один, и считай, ты уже — Ломоносов,
и можешь сложить про себя триумфальный куплет.

Московский кроссворд всё тасует окошек квадраты —
часть окон зажжёт, а другие погасит взамен.
Что нам посулят эти жёлтые яркие карты —
усладу успеха иль горькую горечь измен?

Кто прячется там, за горящими клетками окон?
Какую судьбу в них вписать, чтобы им подошло?..
Ночь мягкою тайной окутала всё, словно кокон,
лишь призрачно светит луна, точно диск НЛО.

Вон там — кто-то молится, кто-то корпит над стихами,
там — кто-то читает Пелевина, тихо плюясь.
А там — кто-то меряет комнату нервно шагами,
браня за свои неудачи соседей и власть.

Вон женская тень в жёлтой раме окна, а над нею —
склонилась мужская, в объятья её заключив…
Разгаданный мною, мой город тихонько темнеет,
заполненных клеточек-окон огни отключив.

Над кромками крыш высь источенный плед развевает,
прожжённые звёздами вольно раскинув края.
И полночь зевает… зевает… зевает… зевает…
И вот уж — уснула устало столица моя!..

По мере того, как с секундами перетекали
мгновения вечера в ночи звенящий хрусталь —
все те, кто с утра себя числили по вертикали,
вписали себя в многоспальную горизонталь.

Затихли во мраке гудящих моторов раскаты,
недавние боли снесло ветерком во «вчера».
И я возвращаюсь домой, кем-то свыше разгадан
и в клетки кроссворда записанный им до утра.

И сладостный сон овевает меня собой, будто
на свете не стало ни войн, ни болезней, ни ссор.
И падают звёзды с небес, как незримые буквы,
кому-то на завтра готовя судьбу, как кроссворд…

Надежда

1.

Дороги разбрелись,
как раки, во все стороны.
В тумане даль и близь.
В тумане смерть и жизнь.
Лишь сотрясают высь
картавым криком вороны.

2.

Ещё не то, чтоб крах,
но всё, что можно, продано.
В кино гремит пиф-паф.
Везде царит пих-трах.
Страна лежит распахнутая
на семи ветрах,
и это — моя Родина?..

3.

Не в том сегодня суть,
кто зло завёл, как «ходики».
Над всем есть высший Суд.
Меня ж томит, как зуд,
надежда, что спасут
мою страну — угодники.

4.

Допив, как алкоголь,
своей судьбы сливовицу,
мы вдруг поймём сквозь боль,
что этой жизни соль,
как на ноге мозоль —
болит, пока не вскроется.

5.

Под Млечною рекой
бродя в тоске отчаянной,
не пой за упокой
полночному молчанию.
Храни в душе покой
и эту жизнь тоской —
не отрави нечаянно…

Снегопад 2 марта 2010 года

Сегодня снова выпал снег.
(Хотя всё шло к теплу, казалось…)
И, как во сне, мысль о весне
опять на клочья расползалась.

Мечталось: звонкая капель
забарабанит в землю гулко!
Но снова ветер, как кобель,
гоняет снег по переулку.

И снова дворники скоблят
асфальт дворов рукой умелой.
И, как щенки, вокруг скулят
авто, буксуя в каше белой…

Откуда столько у зимы
взялось снегов в её поклаже?
Как будто оказались мы —
на грандиозной распродаже.

Греби сугробы задарма!
Лепи снеговика скорее!
Последней щедростью зима
нас веселит, морозом грея.

Уже недолго ей царить
на светлых мартовских страницах.
Но щедрым снегом одарить
ещё успеет всех сторицей.

Мети, метель! Гуляй, пурга,
врываясь в щели подворотен.
В тебе не вижу я врага,
хотя твой бунт — антинароден.

Как лихо бы ни пировал
мороз, вернув себя на царство,
но на заведомый провал
обречено его бунтарство.

И, как фрегат, что сел на мель
и там недвижным остаётся,
он сядет в лужу — и апрель
над ним в охотку посмеётся…

Но нам — всё пофиг! Мы плывём
сквозь белый омут снегопада.
Мы в этих прихотях — живём,
и нам иных погод не надо!

Когда б весенней вьюги злость
сменилась ясной высью синей,
то как бы это всё звалось
моею Родиной — Россией?

Словно иголки остриё,
сидит в груди у нас до смерти
непредсказуемость её,
как шифр в заклеенном конверте.

Но чтобы этот шифр извлечь
и стала Родина понятна,
придётся нам в могилу лечь.
А из неё — не встать обратно.

Так пусть, мир делая белей,
снег простынёй висит с карнизов.
Нам Родина — ещё милей,
из-за таких своих сюрпризов…

Однако…

Михаилу Леонтьеву

1.

Век рядится в ангелов белые ризы. Однако —
всем виден отчётливо дьявольский хвост из-под фрака.
Кадят всюду ладан и в звонницы бьют во всю прыть,
но запаха серы — не скрыть.

2.

Мы к миру привязаны, крепче, чем к будке собака,
хотя этот мир стал зловонней давно, чем клоака,
и в нём — коль не драка, то рушатся горы Спитака,
и ход Зодиака грозит попалить всё огнём…
(Однако — живём.)

3.

Мы вышли из СССР, как из чрева барака,
едва не ослепнув в момент после долгого мрака.
Нас ветер свободы в мгновение вдруг закружил
и стало дерьмом всё, чем каждый вчера дорожил.

4.

Сейчас не понять — то ли сладко там было, то ль гадко,
но душу томит и гнетёт той эпохи загадка.
И хоть там порой не хватало и хлеба куска,
однако на сердце — и ныне о днях тех тоска.

5.

Нас снова настырно пугают: «Он, бачь, яка кака!» —
и тычут дрожащей рукой в направленье Ирака.
Однако Ирак надоел уж, незнаемо как,
и всем так охота увидеть планету без драк.
(Но будет ли подан нам свыше счастливый тот знак?..)

6.

Над зимней Москвой небеса нависают металлом
и нет окончания жёсткой, колючей пурге.
Однако для счастья и надо-то, в общем, так мало —
крупицу любви да немного тепла в очаге.
(Ещё бы — с удачею быть на короткой ноге…)

7.

Но век беспощаден к героям, что мыслят инако,
и их не спасёт даже самый маститый Плевако, —
как пасть волкодлака, вгрызается в них глобализм…
(Однако — цинизм!)

8.

Ну где ж тот гуляка, в ком спрятался храбрый рубака,
что злу мировому под нос сунет дулю — мол, на-ка?! —
и США-забияка, упав враскоряку, замрут
и жить поклянутся, ценя только честность и труд…
(Однако — соврут.)

9.

Но, как Одиссея звала сквозь туманы Итака,
нас манит судьба обещанием дивного знака,
волшебного злака суля навалить в закрома,
чтоб нас не пугала в ревущем грядущем зима
и жизнь была чудной, как строчки стихов Пастернака.

10.

Однако…

Сон

Детство. Прообраз желанного рая.
Снится мне сладкое время твоё…
Кошка лежит. И котята, играя,
носятся весело возле неё.

Кошка прикрыла глаза, но, как нянька,
чутко за глупым потомством следит.
В комнате я и сестра моя Танька,
вон она, на табуретке сидит,

делает в тонкой тетрадке уроки
да поминутно бросает свой взгляд
в угол — на серыньких и белобоких,
и разношерстно-пятнистых котят…

…А за окном, наметая сугробы,
колко позёмка скребёт по стеклу.
Надо родиться героями, чтобы
выбежать в эту метельную мглу.

Мы и сидим в теплоте, у окошка,
где на печи тихо чайник шипит,
а возле печки — котята и кошка…

(Кошка устала и, кажется, спит.)

Танька решает задачки упрямо,
я же буравлю метельную мглу,
где растворилась, оставив нас, мама,
выйдя с утра в магазин на углу.

Он ведь не дальше полутора улиц,
как говорится — всего в двух шагах.
Что же она до сих пор не вернулась?
Может, тропу потеряла в снегах?

«Мама!» — шепчу я. И в кольцах метели —
вдруг проявился родной силуэт…
«Ф-фух! Ну и снег! Добрела еле-еле!
Долго стояла за сладким в отделе,
но принесла вам в награду конфет».

Вот она — за ожидание плата!
Мы разрываем обёртки скорей…
…Тихо пищат возле печки котята.
Капает с валенок снег у дверей.

Нескучный сад

О, Москва, как грехи отпусти,
допусти до заветной услады —
насладиться твоим Дебюсси
в долгих свистах Нескучного сада!

Я люблю этот белый триптих
протяженностей, сроков, явлений.
Мне не нужно поблажек твоих —
этих кратких твоих потеплений.

Будь, что будет! В холодных ветрах —
больше правды, чем в струях капелей!
Ничего, что лишь снег на ветвях.
Сад — не умер. Дождёмся апреля…

На фоне кризиса

Стансы

1.

На фоне кризиса снимается семейство
с насиженного места — и в столицу
переезжает, чтоб с элитой слиться
и выживать с банкирами совместно.

2.

На фоне кризиса снимается семейство
на разных студиях в томительной массовке.
Им очень нравятся московские тусовки,
где можно видеть «звёзды» по соседству.

3.

На фоне кризиса снимается семейство
с квартирной очереди, не урвав ни метра.
(Лафа закончилась. Бесплатный сыр — химера!
Всё лишь за деньги ныне повсеместно.)

4.

На фоне кризиса снимается семейство
на общий снимок, где ещё все вместе —
и мать, и сын с мечтою о невесте,
и дед, и внук, что только входит в детство.

5.

На фоне кризиса снимается семейство
рукой Господнею с Отчизны, полной горя,
как рыбаки — средь штормового моря
с полуразбитого ударами плавсредства.

6.

На фоне кризиса снимается семейство
и, словно птицы в направленье юга,
держась любовью крепко друг за друга,
уходит ввысь от боли и злодейства.

7.

На фоне кризиса снимается семейство…

Над часовней Бориса и Глеба —
клочья туч, как растрёпанный мех,
и такое тяжёлое небо —
точно братоубийственный грех.

А внутри — золотое сиянье
(будто в рай кто-то дверь приоткрыл!)
и чуть слышимое — как дыханье —
трепетание ангельских крыл…

Слава Богу, что вновь возродился
хоть ещё один иконостас!
Слава Богу, что к нам возвратился
Святый Дух, опекающий нас…

Лиса

…После Тарусы — вновь пошли леса:
зелёные, густые, точно шуба.
Тут всё растёт — от сосен и до дуба!
А вон — гуляет рыжая лиса.

Плутовка и не думает бежать!
У ней, видать, уже вошло в привычку
встречать тут поезд или электричку.
Ну чем они ей могут помешать?

Пылает шёрстка рыжая, как флаг,
не опасаясь вражьей закулисы…
Земля моя! Храни себя в веках!
Пусть живы будут и леса и лисы.

Пускай порой — хотя б со стороны! —
всем, кто спешит домой иль, может, в гости,
хотя б на миг окажутся видны
улыбка лисья или лисий хвостик.

В своей душе — мы дети до седин,
нам не хватает радости и ласки,
а лес с лисой выносят из глубин
прошедших лет —
воспоминанье сказки…

Живи, кума! Воруй на фермах кур!
Пускай твой запах бесит пустолаек.
Бог создал лис на свете — не для шкур,
им белый снег под ноги подстилая.

Мир красотой наполнен, чтоб душа —
не разучилась радоваться чуду…
Беги, кума… Ах, как ты хороша!
Так и пальнул дуплетом бы в паскуду!

Первый снег

(утро 8 декабря 2009 года)

Мир за ночь стал другим. Сады рукой стопалой
встречают над собой весёлые снега.
Земля — белым-бела. Как будто не ступала
ещё нигде ничья проворная нога.

Мир за ночь стал другим. Стерильным, чистым, строгим.
Безгрешным, как дитя. Наивным, как фольклор.
Оленьим стадом — нет! — чудовищем сторогим
леса летят, звеня, в фарфоровый простор.

Не стой на их пути! Иначе, не заметив,
пространство на скаку копытами круша,
затопчут в слепоте — и улетит за ветром,
как пар из их ноздрей, беспечная душа.

Как отыскать ей путь? Здесь всё так незнакомо.
Мир за ночь стал другим — как ватман, что готов,
чтоб кто-то прочертил на нём пунктир до дома
спешащею строкой прерывистых следов.

Мир за ночь стал другим. Всё то, что было чёрным —
взорвалось белизной, когда настал рассвет!
Земля, дома, сады — всё излучало свет
и ластилось к ногам слепым щенком покорным.

Всё утонуло вдруг в сиянии слепящем.
Казалось, больше нет ни горя, ни разлук.
Мир за ночь стал другим — без войн, смертей и мук,
лишь белый снег — да свет, столбом над ним стоящий.

Куда ни посмотри — такая чистота,
что рвутся слёзы в мир, как рифмы с губ поэта.
Как будто мир лежит за пазухой Христа,
и там — нет ни-че-го, кроме *любви* и *света*…

Дарья Верязова

Жизнь—это дело привычки

Ах, какая осень к нам брела с востока,
Выгибая травы, навевая сон.
По ночам гудели трубы водостока,
И на тротуарах оседала соль.

Тряс плечами город—голый и упругий,
Словно только-только вылез из реки.
И шептали листья, и просились в руки,
В утренние мысли, в линию строки.

И сентябрь, до крови руки изувечив,
В рыжие одежды сопки нарядил.
Мне казалось, будет осень бесконечной,
Мне казалось, будет что-то впереди.

…Не оставляй—не надо!—на потом,
Поговори со мной, мне очень нужно!

Как безнадёжно опостылел дом,
За стенами Гоморра и Содом,
Переметнулось солнце за кордон,
И с каждым утром комната всё уже.

…Поговори об этом и о том—
О ерунде и о еде на ужин.
Торчу на мелководье, как атолл
(Что означает: просто села в лужу).
Включи будильник, заведи мотор!
Мне надо эту тишину нарушить!

Но я молчу, и ты—с закрытым ртом.
Бросаю хлеб, и воробьи гуртом,
Летят к окну, толкаясь неуклюже.
И в октябре мне дышится с трудом—
Я не живу, я покрываюсь льдом.
И невозможно выбраться наружу.

Весна сквозь улицы продета,
Сугробы истекают ржавью.
И раскрасневшиеся дети
Целуются за гаражами.

И небо, жёлтое к востоку,
По-стариковски морщит кожу.
Ползут наружу из-за стёкол
Цветы, затворники и кошки.

И ровно в полночь бьются с треском
Горшки, сердца, надежды, трубы.
Как близок май! Упруго, веско
Весна вздымает занавеску
И рвётся в губы.

Апрель

Денису Шагиняну

1.

Ты—оттепель. Ты сходишь, не спросив,
На волосы, на сгорбленные спины,
На тишину, на клёны и осины.
И потому-то светел и красив.

И монолит сугробов поборов,
Ты прорастаешь—яростный и грешный—
Крапивным жаром, запахом черешни,
Бессмертием мальчишеских дворов.

И катится вода, хрусталь, алмаз,
И солнце широко и полногрудо.
Душа моя, не жди беды, покуда
Апрель зеленоглаз!

2.

С ума сойти, но не понять,
Зачем, Апрель, ты на меня
Такой похожий?

Зачем так залихватски зол,
Зачем ты пахнешь бирюзой
И нервной дрожью?

Рассвет на всех углах трубит,
Как истины твои грубы
И непреложны.

Мне дышится едва ль на треть,
Мне снова не с кем умереть
В один и тот же…

3.

Я тебя жду, как большого добра,
Жду, как прерванная игра
Ждёт во дворе детей,
Жду, как пустая перчатка—руки,
Как артритные старики—
«Чтоб, наконец, теплей».

Так безотчётно расплаты ждут:
Бедный—денег, богач—нужду,
Шабаша—тишина.
Время колечками вверх, как дым.
Ждёт холодной воды кадык,
И забулдыгу—жена.

Как безмятежности до утра,
Как известий с рукой у рта,
Чтоб отвести беду.
Солнца мясистого, как хурма…

Чёртов апрель, не своди с ума!
Я и сама сойду.

Мокнет декабрь под нелепым дождём. И лучше
Не признаваться, какая тоска. До кучи
Он просыпается ночью: тяжёл, всклокочен…
Видишь, отец, твоя непутёвая дочка
Шмыгает носом и скоро дойдёт до ручки.

Как далеко Москва — на другой планете!
Видишь, отец, ей бы замуж, а после — дети,
Слышишь, встаёт среди ночи запить икоту.
Ты ей пошлёшь рейтузы к новому году,
Строго накажешь, чтоб не ходила раздетой —
Хоть не мороз, а, того и гляди, продует.
Чтоб обязательно летом приехала в гости —
Малость отъесться, а то ведь кожа да кости.
Чтоб наконец перестала маяться дурью!

Она говорит: будут деньги, тогда и можно,
И прекрати талдычить одно и то же.
Вовсе не кожа да кости, а буквы да строчки!

Видишь, отец, ты когда-то придумал дочку.
Я на неё с каждым годом всё меньше похожа.

Дороги пахнут. Горячей резиной пахнут,
Ветром сквозь окна, чьим-то немытым пахом,
Хлором, «Диором», фильтрами сигарет.
И по бокам разваленной снежной папахой,
Которая старше меня на тысячу лет.

Поезд несётся, бодро вращает осью,
Мимо деревьев, вставших несметным войском,
Мимо людей в бессмысленных городах.
И лампа в стекле качается, как авоська
У расхрапевшейся женоподобной в ногах.

А за стеной соседи галдят по-птичьи,
Мокро целуют, сжигают мосты и спички.
— Можно? — Садитесь. — А кто это? — Дед Пихто!
Если не думать, жизнь — это дело привычки,
Если забыть про запах — самое то.

Бездомовник

Бездомовником брожу по земле.
На сугробах ворожу по зиме,
Ухмыляется зимовый оскал.
Разлетайся, разлетайся, тоска!

Знамы были и костры и кресты.
Были люди, как собаки, просты:
Нам бы, нищим, хоть кусочек любви —
Вот и радость. Что ж не ловишь? Лови!

Разлетайся, разлетайся, тоска!
Кто нас по миру, убогих, таскал?
Что от дома? Только память в золе…
Бездомовником брожу по земле

Гагарин

маме

Мне снится предельно ясно,
я будто всю жизнь в угаре:
над миром летит Гагарин,
распластанный, будто ястреб,

теряя болты и гайки,
дымный чертя след.
А мама зовётся Галкой,
ей одиннадцать лет.

Серым туманом испачканы
апрельские небеса.
У мамы тонкие пальчики
и чёлочка на глаза.

Мама растит косы
и сочинения пишет,
а мир, по-детски притихший,
уставился в чёрный космос.

И маме под утро снится,
что воздух пропитан гарью,
а в небе летит Гагарин,
как перелётная птица.

Наталья Бельченко

Ненасытный воздух покаянья

И снова—находка к находке,
По листику, по колоску.
Зажато пространство в щепотке,
Чтоб не возвратиться в тоску.

В одном из дворов на качелях
Ты тянешься к свету окна,
А яр—как разъевшая берег
Во всё поле зренья волна.

Отбросит ли память швартовы,
Причалит ли новая боль—
Слова под рукой, и готовы
Низаться, как гайки на болт.

Чтоб не опустеть до макушки,
Не вытечь без права долить,
Расставь стиховые ловушки
Во всю свою беличью прыть!

Днём город навис над ярами—
А ночью по горло они,
И ужас, поужинав нами,
Уже доедает огни.

Но, пойманный собственной тенью
За самый последний рукав,
Вернёшься в любовь и спасенье,
Пока никому не солгав.

Ладонь в кулак сжимать нельзя—
Ведь в ней ещё синица.
Не зря даны тебе глаза—
Чтоб с журавлём проститься.

Пока вполглаза наблюдал—
Глядела вечность в оба,
И вот пробила твой металл
Аж до утробы проба.

Но любящие всех простят
Прощёным воскресеньем,
Откроется начальный взгляд,
С которым не был виноват,—
И нынешний заменим.

На коньках бесконечно кружится
на расчищенном сном пятачке,
как в окно залетевшая птица,
школьный мальчик с секретом в зрачке.

Недопонятым мамой секретом,
преломляющим как-то не так
март морозный и озеро это,
Позняки, и познанье, и мрак.

На железном листе энтропии
нас возьмётся поджаривать страх.
Вот и выясним, кто мы такие,
почему мы ютимся во снах,

от которых к последней постели
есть тропинка по вешнему льду.
И иные добраться успели,
а иные пока ни гугу…

Ничего надёжнее утраты
Нет, и ближе—точки болевой.
Мы всегда в потерях виноваты,
С этим оставаться не впервой.

Сердце бьётся не до первой крови,
Времени ответив невпопад,
Обрывается на полуслове,
И тогда бессмертные молчат.

Тени по губам нас узнавали…
Отдыхал загробный пилигрим,
И его хранило на привале
Всё, что мы в молитвах говорим.

В ненасытный воздух покаянья
Прошлое бросалось вперебой.
Буковки—церковные славяне—
Тихо шли дорогой горловой

Сквозь Псалтирь, околицами боли,
С утренними свечками утрат.
Чуя знак в молитве как в пароле,
Дух того, с кем смертные молчат.

Бродяга-беглец

До новой развилки добраться,
Поставить на нечет иль чёт,
А дальше дорога сквозь пальцы
Глядит на того, кто идёт.

Бродяге немножечко едко,
Как если б он бросил своих
И совести чёрная метка
Глаза залепила на миг.

Да он ведь и вправду их бросил,
Чтоб воле остаться одной
Средь голых языческих сосен
На влажной поляне грибной.

Но счастлив—до тяжкого часа,
Когда на развилке опять
Того, кто резвился и мчался,
Воротит с души выбирать.

Спартанский мальчик из окна
Смотрел за город, в буераки;
Пейзаж был копией руна,
Которое найдёт не всякий.
Лисёнка прятать, помнить дом,
И знать, что будут Фермопилы,
И через воздух напролом
Земную тягу что есть силы
Нести внутри, налиться всклянь
Тем, что отчаянье смешало,
И быть в молитвенную рань
Всего лишь в шаге от начала.

Налипание мокрого снега

Исподний снег, на всех делённый,
собрался в закутке одном.
Берёзы били в нём поклоны,
а люди захмелели в нём.

Всей толщею изнемогая,
снег продышал окошко в нас,
и тень застрявшего трамвая
по рельсам кисточкой прошлась.

Деревья плакали, надтреснув,
и ветры плакали по ним.
А божества продели бездну в
другую, чтоб дойти двоим.

Зарёванное, кочевое
бессмертие—всего лишь лаз,
который продышали двое,
спасённые на этот раз.

По обе стороны реки
Мы наше время тянем сами,
И здесь не в помощь две руки,
А можно лишь—двумя сердцами
Свой город охватив извне:
Так даже память поддаётся.
Не сумасшедшие вполне,
Но посвящённые в юродство
Быть и рекою, и горой,
И потропинно, и поводно
Идём, хоть временем порой
Нам перехватывает горло.

Наталья Елизарова

Когда родством полна душа…

«Бесполезно пускаться в разврат, в преисподнюю, в бездну
бесполезно спускаться и в звёздное небо кричать»
Е. Исаева

Бесполезно бежать от тяжёлых назойливых мыслей,
Они носятся роем, как будто почуяли кровь.
Бесполезны стихи и нежнейшие старые письма.
Стал тяжёлым уют и каким-то беспомощным кров.
Улыбаться чужим тяжело, а своим тяжелее.
И пойти бы в разнос, только тело остыло уже.
Ничего не забыть, не понять, не забыть и не склеить.
Бесполезно метаться. Последний и точный туше.

Пожалуй, любви нет, а я долго верила
В эти сивые бредни церковно-марксистские.
Построить дом, родить сына, вырастить дерево,
И тихо питать очаг со своими близкими.
А в доме мечется ветер — не может вылететь.
Единственный сын растёт — чтоб ни шага в сторону!
А в дедушкином саду все деревья сломаны,
И новые яблони просто некому вырастить.
Всё, вроде, по схеме общей, без отклонения.
Ну, если не сын, а дочь — это тоже здорово.
А всё живое в памяти замуровано.
Оно не впишется в графики, к сожалению.

Это озеро-море создано кем-то свыше,
Как всё остальное в природе, — по спецзаказу.
Я кричу «красота какая», а ты не слышишь,
И куда ни глянь вокруг — сколько видно глазу,
Необъятный простор воды, и лесов, и неба.
Катер мчит и прыгает: волны-кочки.
Брызги. Ветер. Свист. Обидно так и нелепо,
Эту радость со мною ты разделить не хочешь.
Не умею маслом, акрилом, тушью,
Не вместить величие в объективы,
Не хватает слов… Ты меня не слушай.
Мне б и целой вечности не хватило…

Стать пластилином, липнуть к твоим рукам,
Нет, нехорошее, неподходящее слово.
Словно заноза быть, ходить по пятам.
Я не готова, нет, я не готова.
Так не учили, учили беречь свою честь.
Новое платье гордыни, стыда и печали.
Я прогневила небо? Господи, чем?
Небо не отвечает.

Если на небе есть рай и ад,
Если когда-нибудь нас простят,
То обязательно разрешат
Свидания и передачи.
И я примчусь к тебе, как вчера,
И будем вместе уже до утра.
И ты не скажешь: «Ну, мне пора», —
И я уже не заплачу.

А песнь моя почти что ни о чём —
Как пирожки по выходным печём,
Потом по будням — с чаем доедаем.
А песнь моя доступна и ясна,
Стоит в лесу берёза и сосна,
И кто из них роднее — мы не знаем.

Отняли или не уберёг.
Спрятал за печку бы, в дверь — замки.
Если бы каждого слышал Бог,
Были бы наши шаги легки.
Только попросишь соломки — на,
Сам расстилай, шевелись, спеши.
Только какого ж ещё рожна?
Водки стопарь. За помин души.
Чтоб не ругали, чтоб любовь — навек.
Мне верилось ещё, что человек
Быть счастлив может. Экая наивность.

И падала в пустую полынью,
и подо льдом, бескровная, лежала,
И снилось поле, словно я бежала,
Румяно-босоногая, — к ручью.
Там бился ключ, прозрачная вода
Сбегала по камням в густую траву,
И взрослые, конечно, были правы.
Я — не права. Малы мои года.
И я смотрела в пустоту небес,
В бескрайнее, бездонное, глухое,
И думалось — да что же я такое?
И что мы все? И что мы значим — без?..
И я тогда о пустяках молилась,
Чтоб не ругали, чтоб любовь — навек.
Мне верилось ещё, что человек
Быть счастлив может. Экая наивность.

Рустам Карапетьян

И вот получается так…

Тарелка выскользнула луною
Из рук уставших. Осколки—брызгами.
Вздохнула: «к счастью». А сердце ноет.
И мысли—слипшимися огрызками.
А за окном дождик землю штопает,
А за окном целый день ненастье.
А тут ещё и тарелка, чтоб её.
И надо верить, что это к счастью.

Словно одетая в чистый свет,
В белый шифон, газ.
И до вопроса уже ответ
Там, в глубине глаз.
Я подступаю к тебе, несмел,
Переступив круг.
Столько сказать я тебе хотел,
И не могу вдруг.
Ты улыбнёшься—скользнёт звезда,
Вниз по щеке след.
Я и желание загадал:
Чтоб на двоих—Свет.

Тот, кто смотрит подолгу на небо—
Ищет Бога на небе.
Тот, кто долго смотрит в себя—
Ищет Бога в себе.
Бог—мастак прятаться, впрочем,
Мы научились прятать.
Но послушай—где-то поблизости
Кто-то шепчет: «Ку-ку».

Какая пристальная ночь!
Стряхнув кристаллики жемчужин,
Лакает пёс луну из лужи
И смутно ковыляет прочь.
Дрожит встревожено вода,
Она простилась и простила.
Но всё, что рядом с нею было,
В ней остаётся навсегда:
На дне чернеют небеса,
Дрожит над ними мир бумажный,
И силуэт хромого пса,
Всё пьёт луну, давясь от жажды.

Даёт не каждому Всевышний
Прожить, танцуя на краю,
Десятки, сотни разных жизней,
До капли исчерпав свою.
И этот жребий—не награда,
А крест, которому цена:
Блаженство рая, муки ада
И жизнь короткая одна.

Получается так:
Я открываю глаза,
Вбираю в лёгкие темень,
Скатываюсь с дивана,
И начинаю ползти
По направлению к свету,
Текущему из-под дверей.
Потом зажмуриваю глаза
И выползаю наружу.
Всё. Я проснулся.

Ещё получается так:
Я выключаю свет,
И, щупая спёртый воздух,
Пробираюсь к дивану,
Вскарабкиваюсь на него
И из последних сил
Желаю «Спокойной ночи»
Всем тем, кто меня услышит.
Потом закрываю глаза.
Всё. Я уснул.

И вот получается так:
Я открываю глаза,
Вбираю в лёгкие солнце,
И истошно ору.
Потом начинаю расти.
Потом начинаю мужать,
Потом начинаю стареть,
Потом начинаю дряхлеть.
Потом закрываю глаза.
Всё. Я умер.

Получается так.

Нина Горланова

Из ранних рассказов

Родные люди

«Здравствуйте, дорогие наши: сынок Саша, сноха Света и внуки! Сообщаем, что получили вашу открытку, за что большое спасибо.

Саша, наши дела: сентябрь начался с именин, но с именинами закончили, и я купила 17 ящиков помидор и назакрывала много банок. Погода в Казахстане нынче холодная, у отца была пневмония, а у меня ноги болят и диабет. Пришлите ксилит, сорбит и шоколад лечебный. И чаю индийского. Нет уже никаких сил—хочется индийского. Витенька учится, а вечерами моет машину. Пусть моет, всё ему достанется. Вот и все новости. Ты, сынок, напиши, что тебе послать на день рождения, ведь скоро у тебя 25 лет. Я послала вам две посылки с яйцами, пишите, как дошли. На этот раз пересыпала солодом, должны дойти. Целуем дорогих внучат. Мама, папа, Витя».

«Здравствуйте, мама, папа, Витенька! Получили ваше письмо. Саша, как всегда, не может собраться ответить, и я вот села написать несколько слов о нашей жизни. Всё, в общем, по-старому: я пишу диссертацию, Саша учится, получает стипендию, дети часто болеют. Осень у нас тоже очень холодная, все стены в общежитии сырые. Посылку вам пошлю со своей стипендии, это 12 октября. Аспирантам дают раз в месяц. Пока же денег нет. Ваши посылки дошли: яйца все до одного разбились, больше не посылайте, пожалуйста. До Урала ведь очень далеко, они не доходят. А на день рождения Саши пошлите майку и трусы (если хотите)—у него всё бельё кончается. Целуем, желаем здоровья. Ваша сноха Света».

«Здравствуйте, дети наши: сынок Саша, сноха Света и внуки! Света, куда вы деваете деньги, ведь майки и трусы продаются в каждом магазине! Надо уметь вести хозяйство и экономить. Мы тоже жили самостоятельно и с родителей ничего не имели, а майки и трусы у нас всегда были свои, а вы всё хотите иметь готовое. Но у вас это не выйдет. Не нужно было заводить сразу второго ребёнка, если нет средств. Это раньше говорили: Бог даст роток, даст и кусок, а нынче жизнь трудная, на это не надо рассчитывать, вот! Надо самим всё заработать. Посылку получили, спасибо, особенно за чай. Сынок Саша, поздравляем тебя с днём рождения, желаем счастья и закончить университет. Целуем. Мама, папа, Витя».

«Здравствуйте, сынок наш Саша, сноха Света и внучата! Три месяца почти нет от вас писем, и я уже в расстрое—что случилось там? Саша, наверно, Света не даёт тебе писать нам, а вот вырастут у неё дети и не будут писать, тогда узнает, как это сладко. Наверное, мамочке своей пишет и ездит к ней каждое лето, а нам ни слова. Родные люди вот какие нынче, ничего не ценят. Такого ей подарили сыночка, а она думает только о себе. Сообщаем, что у нас всё хорошо, обзаборили дом, купили Вите дублёнку и сапоги. К новому году зарежем второго поросёночка и пошлём вам посылочку с мясом. А сейчас ещё не дойдёт, может испортиться из-за оттепели. Целуем, папа, мама, Витя».

«Здравствуйте, сынок наш Саша, сноха Света и внуки наши! Мы получили ответ из деканата, что сын уже полгода не учится на дневном отделении, а перевёлся на заочное. Что же ты, сыночек, не написал нам об этом—о такой беде! Наверно, Света не даёт тебе учиться! Сама выучилась и теперь думает только о себе, о других заботиться её не приучили совсем. Я вот напишу письмо её родителям, пусть знают, какую вырастили дочь хорошую. Выходила бы замуж за своего курсника, а то вышла на четыре года моложе и ещё не даёт ему учиться. У нас всё по-старому: отец болеет, пошлите хоть килограмм конфет на ксилите и чаю индийского. Я без него совсем не могу. А ты, сынок, напиши, что тебе купить на день рождения. Ведь скоро у тебя день рождения, 26 лет. Целуем, посылаем две посылки яиц, мама, папа, Витя».

«Здравствуйте, мама, папа, Витенька! Получили ваши посылки, сразу заплатили штраф, 25 рублей, потому что они текут и пахнут так, что многие почтовые работницы заболели в тот день. К нам даже пришли домой, чтобы Саша получил скорее и унёс с почты. Больше, пожалуйста, не высылайте нам яиц, мы вас умоляем. Дела наши идут вперёд: я обсудила свою работу успешно, теперь буду делать беловой вариант и защищаться, Саша перешёл на последний курс. На день рождения ему пришлите брюки, пусть самые дешёвые, но импортные, потому что они практичнее, на дольше хватит, а то у него единственные разошлись. Целуем, желаем здоровья, шлём чай, ксилит и конфеты на сорбите».

«Здравствуйте, сыночек Саша, сноха Света и наши внучата! Получили ваше письмо, и пишет Света, чтобы мы купили импортные. Мы купим брюки, но такие, какие мы хотим, а не какие вы хотите. А то вы много захотели. Вот посылаем за 17 рублей хорошие брюки—не знаем только, подойдут или нет в заду, у тебя ведь, Саша, там узко. А Света привыкла получать от своих родителей помощь,

заработать не умеет, всё бы ей готовое. С нами этот фокус не пройдёт. Пишите, как дошли брюки, спасибо за чай, конфеты. Целуем, мама, папа, Витя».

«Здравствуйте, сынок наш Саша, сноха Света и внучата! Получили обратно брюки, которые не подошли, конечно, жаль, но ничего, отец здесь износит на огороде. Дел нынче много: держим двух поросят, телёнка, двадцать уток, пятьдесят четыре гуся. Витя пошёл в десятый класс! Мы купили ему мотоцикл «Урал». На этом целуем, мама, папа, Витя».

«Саша, Света, прилетайте на первое мая, провожаем маму на пенсию тчк. Витя».

«Дорогая мама! Поздравляем вас с выходом на пенсию! Желаем здоровья и долгих лет жизни! К сожалению, приехать никак не сможем, дети ещё малы, да и денег нет. Ведь Саша зарабатывает сто рублей, а у меня стипендия 60 рублей, так что если бы не помощь моей мамы, мы бы вообще не смогли выучиться. Сейчас Саша на дипломе, в академическом отпуске, а за все эти четыре месяца ему заплатят после защиты, летом, поэтому даже на дорогу ему одному мы выкроить не смогли. Но вы не подумайте, что мы считаем деньги главным в жизни, совсем нет, главное, что мы живём дружно. Остальное, не так уж важно. На этом прощаюсь, сноха Света».

«Здравствуйте, дорогой сынок Саша, сноха и внуки! Саша, получили мы от Светы письмо, что нет денег приехать! Это, наверно, она тебя не отпустила, а мы бы денег на обратную дорогу дали! Вот вырастут у неё дети, не будут к ней приезжать, тогда она узнает, как это сладко для матери! Она-то себя ставит куда! Учёная! А внутри-то она кто? Мы-то знаем… У нас всё по-старому, Витя готовится к экзаменам, поедет поступать к вам в университет, пусть Света ему поможет на географический устроиться. Ведь она какое-то соотношение имеет к экзаменам, я слышала. На этом прощаюсь, высылаю вам две посылки с яйцами. Мама, папа, Витя».

«Завесть»

Он сбросил собаку с балкона пятого этажа. Она упала в глубокую лужу — сразу захлебнулась. Это была не лужа даже, а рытвина с водой, оставшаяся от ремонта канализации.

Валерка в темноте не видел, но по звуку всё вмиг понял, побежал вниз. Если бы не побежал, может, сбросил бы убийцу собаки, пока тот не ушёл с балкона. А что, как-нибудь да перетолкнул бы его через перила, жеребца! Мысль об этом заставила замедлить шаги, а потом пригвоздила к лестничной площадке, словно столбняк какой-то напал. Чтобы заставить себя сдвинуться, Валерка размахнулся и врезал кулаком в окно — медленно выступила кровь. Пошёл спускаться дальше, как-то спокойно думая о том, что в свои пятнадцать лет уже достаёт до высокого окна на площадке. Кровь разогналась и полилась обильно, руке стало жарко, но боль ещё не началась. Потом её будет много.

Валерка вытащил собаку, взял её на руки и даже присел от непосильной ноши — так тяжела была она, а ещё час назад он играл с нею. И не замечал никакого веса…

От усталости и бессилия злость снова хлестнула его, Валерка оглянулся на свой балкон и закричал:
— А твой гроб я бы нёс и нёс без устали! Я бы нёс его!

Но на балконе никого не было. И тут пришла боль, которая сразу отрезвила. Понял: нужно похоронить собаку. Снова по лестнице вверх — домой. А тот пьяно ревел на кухне, размазывая слёзы. Валерка подошёл и стал вытирать свою окровавленную руку об его раскисшую морду, тот ловил губами его руку, чтобы поцеловать, а может быть — и укусить. Валерка отдёрнулся, принялся лихорадочно искать лопатку на балконе. Тот вывалился следом, хрипло шептал:
— Ну, ударь меня, я тварь, заслужил…
— Заткнись! Если бы не мать, сейчас лопаткой этой — и всё!
— Ах ты — гадёныш! Ты ведь гадёныш! А вырастешь — г-га-а-ад!

Валерка понял: сегодня он всё доведёт до конца, больше так нельзя. А пока — похоронить, обязательно похоронить. Кое-как завязал руку и снова вниз. Начал лихорадочно копать, — вырыл настоящую могилу. Земля была сырая, тяжёлая, но легко поддавалась — всё-таки недавно разрыхлена экскаватором. Снова стал представлять, как мог бы зарыть его здесь вместо собаки; рука болела уже сильно, и представлять своего врага мёртвым было хорошо.

Когда всё кончил, взял горсть мокрого песку и понёс домой: «В морду ему сейчас, в глаза, на память».

Тот встретил его ласковой улыбкой:
— Валера! Валера! Любаше ни слова, прошу тебя! Не нужно огорчать!

Валерка посмотрел на часы, стоящие на холодильнике, уже без пятнадцати двенадцать. Можно начинать, пусть она застанет самый разгар, чтобы уже поздно было их мирить.
— Ах ты, собачий палач, фашист, хуже фашиста! — закричал он, распаляя себя, потом ткнул руку с песком ему в зубы и отскочил.

Тот плюнул, выпустил очередь мата вперемежку с песком. Валерка захохотал:
— Прочисти песочком свои белые зубки, ещё белее будут! На пасту-то не зарабатываешь!

Эти слова он приготовил заранее — когда поднимался… До прихода матери оставалось минут семь. Обычно тот выбегал навстречу — проявлял заботу. Но сейчас встретить не успеет.

Вдруг тот рухнул на пол, и Валерка, опешив, отскочил. Тот пополз, стал, целовать грязные Валеркины туфли и умолял:
— Ну, избей меня — пусти кровь, только, ей ни слова! Ты же знаешь, как я её люблю!

Валерка пнул его ногой, перешагнул и оказался в кухне. Там он закричал:

— Нет, врёшь, я и кровь пущу, и тебя выдам! Я тебя сегодня отсюда выпну, тварь, не будешь ты здесь жир нагуливать, жеребец!

Он задыхался. На глаза лезло много тяжёлых и острых предметов: сечка, утятница, мясорубка, нож. Вспомнил, что мясорубкой сожитель проломил прошлой зимой матери голову. Наконец хлопнула входная дверь.

— Опять? — устало спросила мать, перешагивая через своего ненаглядного и полагая, что он просто пьян — как обычно.

Тот поднял голову и застонал — надрывно, душераздирающе. Люба кинулась к нему:

— Ты чего? Господи! Чего!

— Ох, Любочка! Что я наделал! Что я, милая, наделал! Я себя погубил! Гони ты меня, любимая моя девочка…

Валерка решил, что пора.

— Если ты будешь слушать его, я уйду из дому.

Люба поникла, поняла: история прежняя.

— Ну, что — что вы опять не поделили? Одно и то же!

— Он собаку убил.

— Какую собаку? Откуда взялась собака? Я с работы, устала, спать хочу, не мели ерунду. А ты вставай, разлёгся.

— Любочка, он ведь правду… Я её убил, я её с балкона сбросил! Но ты пойми: я всё вымыл, убрал, а он эту грязную дворняжку. Говорю: убирай её или я выброшу, он не убирает… — и опять надрывно застонал, выжимая редкие слёзы.

— Ну, знаешь! Терпела я! Всё, хватит, насиделся на моей шее! На глазах у ребёнка…

— Любочка, завтра уйду, сам понимаю, уйду. Ночью не гони, милая!

— Мама, пусть уйдёт сейчас.

— Утром! — умолял он.

— Сейчас! — крикнул Валерка.

Люба переводила взгляд с одного на другого, потом подошла к плите, автоматически зажгла газ, но чайник так и не поставила: сын схватил мясорубку. Встала между ними:

— С ума сошёл? Что я — разорваться между вами должна, а?

Опустилась на табуретку, смотрела на огонь. Газ горел, жадно глотая воздух, от этого в кухне становилось особенно напряжённо. Любины слёзы у огня быстро высохли, но она не заметила этого, продолжала вытирать их тыльной стороной ладони. И это чуть не сломило Валерку. Ведь ни у кого из его друзей нет такой красивой матери. Зато у всех есть отцы, а он своего едва помнит, тот начал пить, и матери пришлось его выгнать. Отчима помнил хорошо: как напевал, как потом загулял и ушёл от них, мать плакала. Этот — третий — появился два года назад и сразу не понравился Валерке. Новый отец был моложе матери на десять лет, правда, рядом с нею он выглядел старше. Он всё выспрашивал её, выведывал о своих предшественниках. А сам быстро набирал их недостатки и перещеголял всех, вместе взятых: начал пить, избивать мать, досаждая ей тем, что не ночевал, бросил работу. Когда бывал дома, то наводил идеальный порядок, а потом сам же спьяну его разрушал.

— Ладно, пусть остаётся, — угрюмо буркнул Валерка и отвернулся к стене.

Он ждал, что скажет мать — может, одумается. Выгонит всё-таки. Но она сразу повеселела:

— Ох, напугали вы меня! Давайте чай пить и спать. Спать.

— Я на балконе лягу, — пробубнил Валерка, пряча от матери лицо, на котором опять начался тик. Все скандалы кончались теперь этим противным тиком, но матери он ничего не говорил. Ей всё равно не до него. Вон как обрадовалась, что сын уходит на балкон. Быстро сунула два стёганых одеяла и бельё. Даже не постелила, как раньше бывало. Валерка вспомнил собаку, посмотрел вниз — голова закружилась. Он лёг. Услышал ласковый голос матери, потом её смех, мелкая дрожь прошла по всему его телу. Брезгливо представил, как она сейчас ложится под одеяло к этому убийце. Никогда раньше не представлял ничего такого. Почувствовал какую-то необъяснимую свободу воображать, а потом — свободу вообще, словно ничего запретного в мире не осталось для него. Всё можно, всё разрешено. Но чувство свободы, этой «всевозможности» не давало радости. Наоборот: хотелось плакать, рыдать, выть. Резко поднялся и долго стоял, глядя в пустое небо.

В ту ли, в следующую ли ночь, а может, через месяц — всё лето стояла жара, и Валерка, к радости матери, спал на балконе, увидел он внизу братьев Кобловых: Витьку с Колькой. Они были известны как главари одной компании «Ковбои». Витька после восьмого класса уже год как отсидел в колонии, пришёл весь в наколках, нигде не учился, не работал. Колька учился с Валеркой в параллельном классе — в восьмом «А». Экзамены сдал кое-как, в девятый ему идти смысла не было.

Валерка окликнул их. Потом часто думал, зачем он сделал это. Ведь знал же, видел, что несут что-то тяжёлое. Чувствовал даже — не нужно показываться, но было так невыносимо лежать одному, представлять мать вместе с тем, думать о мести.

— Эй, ковбои. Куда это вы?

— Чижов? Валерка? А ну, спустись! — позвал Колька.

Оказалось, украли мотоцикл. Отвинтили всё, что можно было отвинтить, и унесли. Уговорили Валерку взять на хранение, мол, кладовка у них всё равно пустует.

Любаша собрала все оставшиеся носильные вещи сына и подняла их на антресоль — за ненадобностью в ближайшие полтора года, пока тот в колонии. В кармане его пиджака она нашла блокнот, в котором были записаны разные песни и стихи:

Засверкали ножи — кровь лилася рекою.
Лучше смерть от ножа, чем позор для ковбоя…

Сначала увидела ошибки, много ошибок, даже «позор» написано с мягким знаком — чему их только в школе учат! Сама она закончила техникум, писала грамотно. Потом перечитала стихи, и до неё дошёл их смысл, страшная романтика

неценности жизни. Поняла, что этому научили его в той хулиганской компании, у Кобловых. Затянули они Валерку в свои сети…

Основное место в блокноте занимала поэма под названием «Завесть». «Зависть, что ли?» — подумала Люба и стала читать:

Что только не делала завесть:
Убевала, сводила с ума.
Вот, пожалуй, быль есть одна…

И дальше про то, какая жила славная девочка, конечно, её любил самый лучший парень, но завистники всё разрушили, нашёлся злодей, который…

Прочитала до конца, где Галка гибнет под колёсами машины — не смогла она всё пережить… довели, подстроили.

Что такое зависть? Кому от этого плохо? Вот Люба всю жизнь завидовала тем женщинам, которые имели хороших мужей, большие квартиры, а не такие однокомнатные «хрущёвки», как у них с Валеркой: всё, что можно, совмещено, только ещё пол с потолком не совсем… Привести зимой мужика и то нельзя. А так хочется пожить, просто пожить, без надрыва и скандала, поносить красивые вещи, которые на ней будут особенно хороши. Но нет, всю жизнь не везло — и потому всю жизнь завидовала. Ну и что? Кому от этого стало хуже? Что-то никто не умер, не бросился под машину.

Из колонии Валерка вернулся в конце мая. Мать жила одна, была весёлая: она только что подала заявление об уходе с прежней работы (стаж по вредности выработала). В квартире он видел перемены: мать купила новый диван, говорила, что купит к нему кресло. Но особенно нравились Валерке, что она перекрасила волосы — стали карие глаза рифмоваться с золотыми завитками волос… Мать с годами становилась всё лучше: и одевалась она в тон своей золотой гамме, в общем — здорово! Он вышел на балкон, потянулся и крикнул:

— Балдоха шпарит!

— Чего-чего?

Люба не поняла. Даже странно — он настолько привык к этому языку, что не сразу смог перевести:

— Ну, солнце шпарит, тепло…

Мать покачала головой. Потом ему пришлось многие слова пояснять. Однако к концу дня у него уже хватало нормальных слов, и они говорили обо всём, как раньше. Об её сожителе Валерка не спрашивал, но мать сама рассказала, как он избил её в новогоднюю ночь, а потом Любины братья избили его и спустили с лестницы.

«Жаль, что не с балкона», — подумал Валерка, но злости не было.

Мать возбуждённо говорила о планах на лето: она собиралась устроиться воспитательницей в пионерлагере от своего же завода — в Геленджике. Начальником там уже много лет работал её брат, и он сам предложил для Валерки ставку инструктора по плаванию.

Валерка кивал и раздевался ко сну. Когда он остался в одних трусах, Люба вся сжалась. Бледное тело сына оказалось испещрено буквами и мелкими рисунками.

Она не могла больше ничего говорить и поторопилась лечь. Валерка быстро уснул, ему приснилась аптека, в которой он продаёт средства не только от болезней, но и от всевозможных человеческих недостатков и слабостей. Он чувствовал себя на месте, ему было весело и хорошо. И пришёл к нему Васька-Резина и Колька-Кобел, и он дал им по маленькой таблеточке, а они даже спасибо не сказали, схватили, побежали.

Потом пришёл сам Иван Иванович, которого в колонии Валерка так боялся, но сейчас он улыбнулся, даже обнял слегка своего бывшего колониста и сказал:

— Ошибался я. Ты, Чижов, — человек! Всё нормально.

Когда проснулся, матери уже не было, только на столе стояла перерытая коробка из-под леденцов, в которой она держала лекарства. Пахло валерьянкой и ещё чем-то мятным.

Он закрыл коробку, вышел на кухню покурить. На столе лежала записка: «Придёт Зоя. Скажи ей так: мама вечером позвонит». Валерка ничего не понял, почему Зоя не знает, что мать на работе. Но на всякий случай пошёл и оделся, чтобы открыть дверь в приличном виде — из всех подруг матери Зою он отличал за ласковость и за то, что она никогда не ставила ему в пример своих сыновей.

Когда открыл на звонок дверь, перед ним стоял не кто иной, как сам Колька Коблов. «Сон в руку», — подумал Валерка, обрадовавшись почему-то. От матери он знал, что Кобел уже вернулся домой, досрочно. Было о чём поговорить. Но только-только начали, как пришла Зоя. Она была не одна, а с незнакомым Валерке майором. То, что спутник — военный, всё и решило, штатского он бы не впустил. Когда вышли на улицу, Колька вычурно, незнакомо для Валерки, выругался и спросил:

— Баруха?

— Нет, — буркнул Валерка, надеясь, что Колька отстанет.

— Я и то смотрю — не похожа. Замужем?

— Ну, замужем, тебе-то что?! — крикнул Валерка и сквозь зубы добавил: — Своего сына небось из квартиры не выгонит.

Естественно, что захотелось взять чего-нибудь, деньги были. Но почему кончили дракой во дворе туберкулёзного диспансера, недалеко от дома, Валерка вспомнить не мог. Утром на другой день он сходил туда, но не помогло — ничего не вспомнилось. Сел писать письмо Ваське-Резине, который ещё оставался у Ивана Ивановича и которому Валерка обещал «черкнуть».

«…Вчира Колька Кобел выбил мне в драке зуб, но зуб тот я сигодня нашёл на том же месте, — писал он. — Больше сообщать не знаю что».

Почему-то ему расхотелось уезжать из родного города. Нет-нет, никуда он не поедет, только матери пока не нужно говорить. Он верно рассчитал, что лучше всего сбежать по дороге, вернуться мать не захочет, не откажется от лета у моря, а он свободно проведёт здесь три месяца, отдохнёт. Ну а в конце августа, когда стукнет семнадцать, видно будет. О работе думать пока не хотелось. О будущем не загадывал.

Когда мать прислала первую телеграмму: «Немедленно приезжай, не выдержит сердце», он решил переждать с недельку и в случае чего действительно поехать-таки к ней. Но вторая телеграмма оказалась уже спокойнее: «Сообщила отцу, переедет на лето к тебе. Веди себя хорошо. Мама». Он закружился было по комнате, но опомнился—отца видеть не очень-то хотелось, какое-то чувство брезгливости осталось от детства, хотя и помнил-то его плохо. И вот он пришёл—отец, родитель—сморщенный, худой, испитый до дыр в памяти. Забывал смывать за собой в туалете и вообще про всё забывал. Валерка раздражался, кричал, тряс отца, заставлял убирать, тот что-то отвечал нечленораздельно.

Потом, однако, притерпелся. К отцу зачастил один его знакомец, бывший художник, интересно рассказывал. Валерка сколотил свою компанию—при наличии квартиры это оказалось просто. Девчонки появились. Стало весело. Мать два раза присылала деньги, потом перестала. Пришла в письме фотография: она в купальнике, загорелая, счастливая, совсем молодая. Валерка чувствовал: напротив кто-то стоит, стоит и смотрит на неё. В тот же день они с отцом продали два её зимних трикотажных платья, недорого просили, получили и того меньше, хватило этих денег всего на неделю.

Приехала мать совсем грустная и без денег. Сказала, что её обокрали, но по всему было видно, что дело как-то связано с любовным романом. Устроила скандал из-за платьев и пальто (его тоже продали), но тут удалось всё свалить на отца. Началась волынка с устройством на работу: всюду напоминали, что он сидел, так что и ходить было неохота. Дядья, братья матери, настаивали, чтобы он шёл на завод, а на завод ему не хотелось.

Друзей Валеркиных мать в дом не пускала:

—Приятели больно подозрительные!

—Какой я—такие и друзья,—бросал он в ответ.

Люба прямо не знала, что и думать. Если ударить сына, так он ведь и сдачи может дать—вон какой огромный вырос. Ждать от него всего можно. Раньше при ней хоть не сквернословил, а теперь ничего и никого не стесняется. С другой стороны, она видела, что теперь таких, как её сын, много.

Перед ноябрьскими праздниками вся летняя Валеркина компания собралась на лавочке, возле дома. У двоих оказались деньги. Купили пива, добавили портвейна. Потом взяли ещё, решили выпить тут же, во дворе магазина. Пробка не поддавалась, а протолкнуть внутрь—бутылку уже не примут. Валерка решил постучать по дереву, чтобы пробка вышла, силы не рассчитал, а тут ещё собака вертелась под ногами—в общем, разбил бутылку на мелкие кусочки. Всё вино на собаку и вылилось.

—У-у, сука! Это ты виновата!—заорал Валерка, пиная собачий бок.

Кобел схватил её за хвост, держал, а Валерка продолжал пинать, пока не увидел на ней кровь. Они ушли, а она осталась лежать.

В ту ночь Валерка дома не ночевал, а на другой день курьер Любе принёс повестку—её вызывал следователь.

Андрей Дёмкин

Васька

Васька жил на первом этаже клиники госпитальной хирургии, что на Боткинской улице, той самой, что была основана знаменитым хирургом Пироговым ещё в 1841 году. В память об основателе клиники на втором этаже имелась его крашеная в яркую бронзу гипсовая статуя, а за спиной статуи, в аудитории с лёгким ажурным амфитеатром скамей, на стене висели настоящие литографические камни, на которых были гравированы изображения из анатомического атласа, составленного Пироговым.

Впрочем, в аудиторию Васька заходил редко, хотя в неё прямо из курсантского гардероба на первом этаже вела отдельная лестница. Но, в самом деле, что может быть интересно коту в холодной — с метлахской плиткой на полу и железными переплётами скамеек — аудитории? Да, Васька был именно котом. Обычным, впрочем, немного крупнее обычного, рыжим полосатым котом с разорванным в какой-то битве левым ухом. Первый этаж и подвал клиники для Васьки были намного интереснее. Вероятно, ещё и потому, что контракт, безмолвно заключённый между начальником клиники и Васькой, содержал пункт о том, что Ваське дозволялось отлавливать серых хвостатых зверьков в подвале и, вдобавок, иметь гарантированную плошку остатков еды из кухни на первом этаже. Ваське запрещалось показываться на людях в дневное время и строго-настрого воспрещалось, даже ночью, подниматься на второй этаж клиники. Новый начальник принял Ваську вместе с клиникой от предыдущего начальника. А тот и сам уже не мог сказать, когда именно здесь появился кот.

Васька иногда мог поиграть с очередным солдатиком из бывших больных, оставленным в клинике в добровольное «рабство», что всяко было для солдатика приятнее, чем несение повседневной службы в части. Солдатику дозволялось аккуратно почёсывать Ваську между ушей и, если настроение у кота было благодушным, то и по спинке носа, которым Васька поддевал солдатскую руку, требуя продолжения ласки. Кое-кто мог попытаться быть фамильярным с ним и пытаться, следуя словам известной песни, запустить руку куда не следовало, например, в «меховой живот». Но Васька никогда не царапал и не кусал обидчиков. Он, вырываясь из плена, смотрел на солдатика долгим и протяжным взглядом и уходил. Больше к нему он никогда не подходил, и солдат вынужден был нести свою ночную службу, не скрашенную тихим раскатистым мурчанием кота. Впрочем, все знали, что кот фамильярности не выносит, и старались быть с ним настолько уважительно на равных, насколько это может быть в отношениях человека с котом.

Однажды, после ночной вахты, у одного из новых солдатиков под глазом было обнаружено изрядное красное пятно, вскоре зацветшее всеми положенными цветами «синяка». Вначале все подумали о том, что ночью «молодого» пытались поучить солдатики-«старожилы» клиники, но оперативно проведённое расследование показало, что они были не причём. Что, впрочем, было и не удивительно — кто же хотел нарушать дисциплину, чтобы досрочно вернуться из госпитального «курорта» в свою часть? Сам же солдатик долго и упорно молчал о причине появления синяка под глазом, но впоследствии он признался в том, что произошло. Потом, в течение месяца или двух, ординаторы со смехом пересказывали в лицах сцену, когда стоя перед ответственным офицером солдатик наконец признался:

— А меня кот ударил!

— Как, кот — он бы тебе глаз выцарапал?

— А он без когтей, я держал его на руках, а он ка-а-ак размахнётся, д-а-а как ударит кулаком…

— Постой, кто — кулаком? Кот — кулаком?

— Ну да — кот! Он ка-а-к размахнётся…

О том, за что его ударил Васька, солдатик так и не рассказал.

Больные покидали клинику по-разному. Кому-то выпадала счастливая доля уходить после лечения и больше никогда не возвращаться, кто-то был вынужден становиться частым гостем, чтоб продлить годы или месяцы жизни, а кто-то покидал клинику вместе и со всем белым светом навсегда. Васька, обитавший на первом этаже, знал, что таких людей, ещё пахнувших живыми, но уже не таких тёплых, как они, вывозили на каталке через старую заднюю дверь, во двор, где их грузили в машину, почти такую же, как и ту, на которой привозили больных в клинику, только гораздо более тёмного цвета — как старая пожухлая трава осенью в старинном парке через дорогу, куда пробраться можно было только ночью, когда по дороге, разделявшей парк и клинику, переставали проноситься машины.

Виноградов теперь был частым гостем в клинике. Операция за операцией лишь оттягивали приближение последней черты, но все: и врачи, и сам Виноградов, — продолжали бороться за его жизнь. Врачи — потому что таково призвание этих людей — выступать ходатаями перед высшими силами за жизнь человека, выполняя свои сложные

многодневные ритуалы. Сам Виноградов боролся за жизнь, потому что научился радоваться каждому новому свету дня, порции пресной каши или просто успешному походу в туалет. Всего несколько лет назад он думал, что такие простые радости не стоят его внимания, что настоящая радость может быть только результатом чего-то по-настоящему большого, а обычные дни лишь пролистываются, не оставаясь в памяти, как когда-то в детстве, когда дни вели счёт разграфлёнными страничками дневника. Эти графы с записями домашних заданий, отметками были чем-то ненастоящим. Настоящим был лишь день полной, своей собственной жизни, который остался за пределами строчек — в дневнике в каждой неделе было лишь шесть дней.

Почти бесконечным праздником были каникулы, особенно летние. Казалось, что жизнь в деревне, за городом, и есть та самая настоящая жизнь. Жизнь со свежим утренним воздухом, пением птиц, запахом дерева, разогретого солнцем, шелестом листвы на ветру. Жизнь со взглядами вдаль, когда ты можешь перебираться взором от крыши старой часовенки к пышным шапкам сосен за речкой и далее по полоскам полей, вплоть до горизонта, пройдя который, можно было начать наслаждаться постоянной игрой рвущихся ветром облаков. Можно было лечь на спину и смотреть, смотреть, впитывать в себя и пронзительную лазурь высокого летнего неба и ослепительную белизну облаков.

Пролетело школьное время, казавшееся тогда столетием. Прошло время военного училища, когда жизнь текла лишь в увольнениях и во время отпусков, а после наступило время службы. Всё время казалось, что настоящая жизнь вот-вот должна наступить: или после женитьбы и рождения сына, или после получения второго просвета на погонах, или после защиты диссертации и назначения на преподавательскую должность в училище. Однако любое новое достижение вскоре — через месяц, два или через год — всё равно становилось для Виноградова обыденностью.

Однажды, уже уволившись в запас на шестом десятке, Виноградов с удивлением понял, что из всей прошедшей жизни его память удивительным образом согревают лишь совсем незначительные моменты. Это были такие мимолётные ощущения, как тепло от серого в мелкую белую крапинку валуна, разогретого солнцем, на который удалось прилечь после марш-броска, или вкус лесной земляники, которую надо было вложить в лиловый цветок колокольчика и так и съесть.

Было и множество других приятных мелочей, при воспоминании о которых по телу разливалось тепло и становилось легко на душе. Другие же «настоящие» большие воспоминания — как ни странно были совершенно холодными, такими, как например, чьи-то чужие воспоминания, прочитанные в книге. Как странно всё изменилось с годами…

Теперь же взгляду Виноградова был доступен лишь побелённый извёсткой потолок в палате, с разбегающимися в разные стороны, как русла рек на карте местности, трещинками, да край окна, где можно было, если повезёт в хмурую петербургскую погоду, увидеть яркий кусочек неба. Опускать глаза ниже совсем не хотелось. Реальность мира ниже напоминала Виноградову о том, что поезд его жизни, говоря языком военного железнодорожника, уже вскоре прибудет на свою конечную станцию, где состав, скорее всего, будет полностью расформирован.

Большую часть времени, если краешек неба в окне был сер от облачной мглы, Виноградов лежал с закрытыми глазами. Так, если смотреть сквозь опущенные веки на лампочку, можно было рассматривать движения маленьких тёмных точек, на красном фоне век — небольшое, а всё же развлечение. Сил смотреть телевизор или слушать радио уже не было. Каждый посторонний звук, каждое новое движение вокруг вызывало странный особый вид боли — не ту, что ощущаешь в теле и к которой уже привык — а где-то глубоко внутри головы.

Однажды Виноградов проснулся среди ночи от нового странного звука. Точнее, это был даже не звук, а что-то среднее между звуком и глубокой низкой вибрацией, которая была ощутима всем телом. Виноградов не спешил открывать глаза. Когда почти все его чувства выбрались из-под глухой пелены сна, он ощутил ещё и какую-то тяжесть в области груди. Точнее даже не в груди, а на груди. Что-то увесистое прижимало его грудную клетку сверху и при этом очень приятно вибрировало. Виноградов решил открыть глаза. В палате никогда не было темно ночью. В осеннее и зимнее время её освещали снаружи уличные фонари, а в весеннее или летнее время — акварельные краски светлых ночей. Открыв глаза, Виноградов увидел прямо перед собой два выпуклых больших блестящих глаза. Вслед за глазами из пелены сна постепенно проступили очертания широкой морды с пышными усами и округлыми ушками, одно из которых просвечивало насквозь острым треугольным клинышком — словно метка на ухе у породистой коровы. Так и есть — на груди Виноградова лежал, аккуратно подобрав под себя лапки, большой рыжий кот с зелёными глазищами. Увидев, что Виноградов открыл глаза, кот прикрыл свои, но не до конца — а так, чтобы от них остались две раскосые щёлочки, и продолжил мурчать как ни в чём не бывало. Хотя Виноградов и был уже достаточно слаб, но тяжесть кота не показалась ему обременительной, а даже наоборот, приятной. Такой приятной, как это бывало в детстве, когда тебя накрывали тяжёлым стёганым одеялом, и ты умиротворённо проваливался в сон под его ватной тяжестью. Кот спокойно возлежал на редких невысоких волнах дыхания Виноградова и словно не обращал на него никакого внимания. Тяжесть и тепло от тельца кота были совершенно новым приятным ощущением. И уж тем более новым ощущением были глубокие вибрации мурчания. Они были настолько сильны, что вскоре поглотили все чувства Виноградова. Вскоре он, следуя

их ритму, забылся глубоким сном, больше не просыпаясь до самого утра, что было в последнее время совсем необычным делом. С утра Виноградов почувствовал в теле непривычную лёгкость, почти как раньше, когда он был ещё здоров и ночной сон приносил желанное полное обновление.

Через пару ночей дежурная сестра заметила, что Васька по ночам поднимается на второй этаж и спит на груди у больного Виноградова. Несколько дней ночные походы Васьки оставались неизвестными для врачей. Но однажды дежурный врач, заглянув ночью в палату, увидел кота на груди у больного. Врач хотел было снять кота, но рыжий зверёк словно прирос к телу Виноградова—такой неподъёмной тяжестью он показался для врача. Начальник отделения, которому было доложено о ночном визитёре, рассудил, что в данной ситуации, учитывая жизненный прогноз Виноградова, не стоит препятствовать визитам кота, тем более что кот посещает его только ночью—и то на непродолжительное время и, по словам врача, положительно влияет на эмоциональный настрой больного.

Интересно, почему кот выбрал его в друзья? Виноградов задумался. Он никогда не увлекался кошками. В детстве ему всегда больше хотелось завести собаку, которой, впрочем, у него так никогда и не было. Кошки—они всегда представлялись либо живыми мягкими игрушками для девчонок, либо абсолютно недоступными для общения самостоятельными существами, живущими рядом с человеком своей особой параллельной жизнью.

Чем же он угодил этому коту? Всё, что он мог дать ему—лишь немного почесать его за ухом или под челюстью да погладить по голове. Ясно, что такие ласки кот мог получить от кого угодно, если он вообще нуждался в них. Общение? Трудно было назвать это общением. Было видно, что кот всё время остаётся сам по себе, что мысли его находятся где-то глубоко внутри или, скорее всего, где-то совсем далеко. Даже в те ночи, когда мучительные спазмы сжимали живот изнутри, и кот, словно чувствуя боль Виноградова издалека, прибегал и устраивался делать массаж передними лапами через тонкое одеяло, отчего его когти слегка касались кожи живота, невозможно было сказать, что невидимая дистанция между ним и котом исчезала. Нет, всё так же кот был совершенно отстранён, и даже иногда мог оттолкнуть его руку когтистой лапой, когда Виноградов пытался его погладить.

Но однажды в их отношениях что-то изменилось. В то утро, когда Виноградов открыл глаза, он впервые увидел своего кота при свете дня. Кот лежал на его груди, и, казалось, не думал уходить. Когда он увидел, что человек открыл глаза, кот отрывисто муркнул, и, потянувшись головой к лицу Виноградова, старательно его обнюхал. Виноградов погладил кота по голове. Кот довольно заурчал и, привстав, стал сильно тереться мордой о лицо человека. После он встал, сложился дугой, потянулся, затем размял одну заднюю лапу, потом другую и, тяжело ступая по одеялу, перешёл в ноги больного, где и устроился, подобрав под себя лапы.

— Ну, ты и наглец, Васька,—изумилась постовая сестра, зайдя в палату,—А ну брысь отсюда! Вот врач увидит—тебе задаст, да и мне тоже,—она подтолкнула кота с кровати. Васька от толчка спрыгнул с кровати, но не ушёл, а забрался в дальний угол, под тумбочку. Но, как только сестра ушла, кот выбрался из своего укрытия, забрался на грудь Виноградова и стал довольно урчать.

Позже пришёл врач, посмотрел на больного, покачал головой, глядя на кота, но сгонять его не стал.

Виноградов опустил кисть руки на спину животному. Ладонь и пальцы погрузились в густой, очень приятный на ощупь шелковистый мех. Он стал тихонько, лишь одним указательным пальцем поглаживать кота вдоль спины. Кот довольно замурчал, а после неожиданно повернулся на бок, и, обхватив руку Виноградова передними лапами, стал её тихонько покусывать. Больно не было. Когтей кот не выпускал, лишь прижимая кожу руки мягкими тёплыми подушечками своих лап. Вдоволь наигравшись с рукой, кот развернулся спиной к больному и стал пошевеливать хвостом, так что кончик пушистого хвоста задевал Виноградову кончик носа. Неожиданно в его памяти всплыло размытое воспоминание из далёкого-далёкого детства, когда мать играла с ним, лежащим в кровати, щекоча кончик носа, щёки и ушки чем-то пушистым, похожим на меховую кисточку.

От этого воспоминания стало очень тепло и хорошо на душе. Перед глазами стали проходить другие сцены из жизни, которые становились всё ярче и явнее, как будто Виноградов и в самом деле переживал их заново. Что-то было особенно приятное, за кое-что другое становилось невыносимо стыдно. Вспомнив несколько особенно трогательных моментов, Виноградов почувствовал, что из углов его глаз потекли вниз маленькие капельки влаги, щекоча сухую кожу на скулах. Через мгновение он ощутил, что плотный шершавый язычок старательно вылизывает его слёзы. Виноградов сделал над собой усилие, поднял обе руки и прижал к себе кота—сильно-сильно, насколько позволяли его ослабевшие руки, как в детстве ребёнок прижимается к матери или к любимой мягкой игрушке, чтобы выразить всю глубину охватившись его чувств.

Кот вылежал некоторое время в объятиях, а после, пятясь назад, выбрался из тесных объятий и спрыгнул с кровати на пол.

— Ну вот, ушёл мой дружок,—только и успел подумать Виноградов, прежде чем ощутил, что кто-то стягивает с него одеяло. Он повернул голову. Кот встал на задние лапы и, выпустив когти, зацепив край пододеяльника, тянул его на себя. Потом он запустил лапу под одеяло и стал, мяукая, поддевать ногу старика когтями, словно выцарапывая его из-под одеяла.

— Ты что, дурашек, хочешь, чтобы я встал?—спросил Виноградов у кота.—Слаб я уже, иди, гуляй сам.

Однако кот продолжал мяукать, то возвращаясь к постели больного, то отходя в сторону двери и оглядываясь, словно проверяя, идёт ли человек за ним. Неожиданно старик ощутил, что привычная тяжесть и ватность тела стала исчезать.

Он осторожно поднял одну руку перед собой, ещё выше — Ого! — получилось! Поднял вторую руку — обе руки взмыли над головой, как раньше, когда он в молодости потягивался с утра в кровати. Виноградов подтянул к себе ноги и неожиданно понял, что может самостоятельно присесть в кровати. — Это было так здорово! Он ощупал себя руками — казалось, что мышцы вновь обрели прежнюю силу, конечно, не такую, как в молодости, но, кажется, вполне достаточную для того, чтобы спустить ноги с кровати. Виноградов осторожно, помогая себе руками, спустил одну ногу вниз, затем вторую.

Кот, довольно урча, тут же подошёл к нему и стал тереться о его ноги, захватывая их крючком своего вытянутого вверх хвоста. Было видно, что он радуется успехам своего друга.

— Ты думаешь, я смогу встать? — обратился Виноградов к Ваське, хотя и сам уже был уверен, что сможет не только встать, но и даже пройти — как минимум до двери в палате, а там уж — как повезёт.

Кот вновь направился к двери, оглядываясь на человека. Старик опустил ноги в тапочки, которые уже давно стояли без дела под кроватью, и встал на ноги. Стою! И смогу идти! — Он был уверен в этом. Надо одеться… Он взял с вешалки госпитальный халат, накинул его на себя и подпоясался кушаком. Вперёд! Виноградов осторожно сделал несколько шагов к двери. Его не шатало, и ноги слушались его вполне уверенно. А о болях в животе он уже и думать забыл.

Маленькими шажками он подошёл к двери, осторожно приоткрыл её. Кот сразу выскользнул наружу. За дверью текла обычная госпитальная жизнь: сестра беседовала с врачом у поста; сновали туда-сюда курсанты; кого-то везли на процедуры в кресле-каталке.

«Как здорово!» — подумалось Виноградову, — «Я могу ходить! Представляете, ходить! Сам!». Он открыл дверь и сделал шаг в коридор клиники. Потом другой, третий — а после считать шаги уже не было смысла, он смог уверенно шагать по коридору. Боже, какая это радость! Какое тихое наслаждение — ходить! Так может быть… Может, и в туалет удастся сходить, как раньше?

Однако в туалет он не пошёл, хотя и был уверен, что всё у него получится естественным образом. Кот вновь потёрся о его ноги и пошёл вперёд — мимо поста — к центральному вестибюлю клиники, всё время оглядываясь, проверяя, идёт ли человек за ним. Виноградов нерешительно шагнул вслед за ним — всё-таки впереди пост — что скажет сестра? Но, как ни странно, сестра взглянула на него совершенно равнодушно, так, словно он не был уже почти месяц лежачим больным, а был обычным ходячим, гуляющим себе преспокойно по коридору. Может быть, взглянула она даже излишне равнодушно — как бы сквозь него. Но какая тебе разница, если ты можешь вновь ходить сам, как на тебя смотрит постовая сестра.

Толкнув стеклянную дверь в вестибюль, где стоял крашенный бронзовой краской памятник, Виноградов пропустил вперёд кота. Тот, гордо задрав хвост, прошествовал вперёд и свернул налево, мимо кабинета помощника начальника клиники к лестнице, ведущий вниз на первый этаж.

Удастся или нет спуститься вниз по лестнице, Виноградов уже не сомневался. Для страховки он, правда, придерживался за широченные перила парадной лестницы. Внизу, в центральном вестибюле кот, встав на задние лапы, стал старательно царапать дубовую дверь тамбура, ведущего к двери на улицу.

Это уже было слишком! Больным выход на улицу был строго-настрого запрещён. Виноградов подошёл к двери и взял кота на руки. Кот замурчал ещё в воздухе, пока старик поднимал его на вытянутых руках. Когда Васька устроился на плече, Виноградов хотел было повернуться и отнести его обратно. Однако… что значит для человека, пролежавшего месяц в палате, выйти на свежий воздух, на улицу, тем более, что там, за стенами уже, кажется, наступила весна. Виноградов огляделся по сторонам. Никто на него не смотрел. Бабка-гардеробщица, судя по звукам, смотрела телевизор в своём закутке, а на бельведере второго этажа никого видно не было. Эх, была не была! Старик потянул ручку двери на себя, и массивная дверь поддалась его усилиям. Он открыл и входную дверь, и вышел на улицу. Кот, сидя на руках, стал усиленно втягивать носом воздух. Действительно, после больничных запахов было к чему принюхаться: весна уже вступила в свои права, и молодая зелень дарила городу пьянящий радостный аромат. Особенно хороши были огромные старые липы в парке через дорогу. А, семь бед — один ответ! Подобрав полы халата, Виноградов покрепче прижал к себе кота, дождался, когда поток машин на Боткинской улице спадёт, и быстрым, насколько это возможно, шагом перешёл улицу. По счастью, калитка в парк была открыта. Виноградов проскользнул в неё, прошёл мимо будки с собакой, которая не преминула обдать их с котом заливистым лаем. Васька, впрочем, даже ухом не повёл. Пройдя немного вперёд, Виноградов опустил кота на свежую траву газона. Кот деловито обнюхал все травинки в округе и стал грызть какой-то стебелёк.

Виноградов поднял голову. Как он соскучился по этому вечному виду: огромная масса свежей листвы, шумящая под лёгким весенним ветерком, и высокое чистое голубое небо. Как же мало надо для настоящего счастья!

Они пошли вдоль главной аллеи парка. Слева, в небольшом пруду бил фонтан, справа, в глубине парка виднелся старинный бронзовый памятник. Навстречу то и дело попадались спешащие курсанты и степенно шествующие военные врачи. Казалось, никто не был удивлён видом гуляющего больного с котом. В самом деле, если человек может выгуливать свою собаку, то почему бы ему не выгулять своего кота.

Виноградов никогда не был в этих местах. Там — за парком — должны были быть ещё клиники академии, а за ними — набережная Невы. Ему нестерпимо захотелось посмотреть на большую воду. Кот по-прежнему шёл с ним рядом, как собака на прогулке. Вот Васька! Поплутав немного

во дворах клиник, Виноградов обнаружил, что выйти на набережную можно, лишь пройдя одну из клиник насквозь, мимо приёмного отделения. Он поднял кота с земли, распахнул халат и спрятал его у себя за пазухой. Поднявшись на несколько ступенек вверх, он быстро прошёл через вестибюль клиники и, спустившись по широкой мраморной лестнице, распахнул дубовые двери и оказался на набережной.

Он ожидал увидеть поток машин на набережной, тянущийся от Литейного моста к гостинице «Санкт Петербург», но к своему удивлению не обнаружил ни моста, ни самой гранитной набережной, ни тем более машин. Погода также сменилась — небо заволокло тучами, и поднялся ветер. К удивлению старика, вместо набережной, вдоль всей клиники шёл длинный бревенчатый пирс, у которого чуть поодаль стоял небольшой парусник. На том месте, где должна была быть гостиница, шумели невские волны. Не было видно ни крейсера Авроры, ни Нахимовского училища, ни купола Исаакиевского собора. Только шпиль Петропавловской крепости одиноко вздымался вдали.

— Что, милой, заплутал? — впервые за всё время его приключения с котом кто-то обратился к Виноградову. Внизу, из-за края пирса выглядывал мужичок и улыбался, глядя на него. Виноградов подошёл к краю. На воде, в небольшой лодке стоял осанистый мужичок в одежде, похожей на больничный халат Виноградова, но почему-то в лаптях.

— Что, милой, заплутал? — ещё раз повторил мужичок — Так ты не пужайся, спускайся ко мне — я тебя на тот берег перевезу. Мне уж не впервой — сколько при морской гошпитале при перевозе служу.

— Да зачем мне на тот берег-то? — спросил его Виноградов. — Да и не один я — а с котом. Вот он у меня.

Виноградов почему-то подумал, что очень важно показать мужичку в лодке кота. Он распахнул ворот и выпустил зверя на бревенчатый помост. Васька вначале изогнул спину, потянулся, размявшись, и вдруг, взурчав, прыгнул прямо в лодку. Мужичок погладил кота.

— Вот, видишь, кот твой уже здесь, так и ты давай не зевай — спускайся, а я тебе руку подам.

Да уж, каким бы странным ни было всё происходящее, сегодняшний день показал, что интуиции кота определённо можно было доверять. С помощью мужичка Виноградов устроился в лодке на корме. Кот расположился рядом. Старик положил на кота сверху руку — на Неве волнение — как бы не улетел кот за борт.

Кто бы мог подумать, что с воды Нева покажется такой широкой. Мужичок всё грёб и грёб, пересекая реку наискосок — таким сильным было течение. Ближе к тому берегу лодка попала в туман. Туман был такой густой, что «морская гошпиталь» совершенно скрылась из виду.

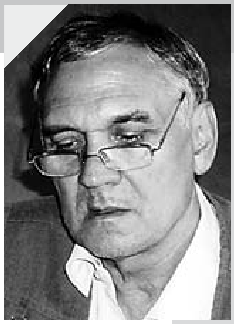
— Ну вот, теперь уже скоро, — произнёс мужичок, которому, видно, были известны одному ему ведомые приметы. И действительно, туман вскоре расступился, и совсем неподалёку показался залитый солнцем берег. Удивительно, как быстро меняется на Неве погода. Впрочем, приглядевшись, Виноградов понял, что тот берег принадлежит вовсе не Неве. Это был берег той старой реки из детства, где на небольшом косогоре стоял дом его бабушки, где он проводил самые счастливые месяцы в детстве. Кот приподнялся, спрыгнул на дно лодки и, проскочив под ногами гребца, устроился на носу.

— А ну, приглядись, милой, — произнёс мужичок, не оборачиваясь. — Поди, уже встречают тебя.

Уже не задумываясь о том, как мужичок мог об этом знать, Виноградов привстал и приложил руку ко лбу, закрывая глаза от яркого солнечного света. Его сердце забилось часто-часто: с берега приветственно махала рукой его любимая бабушка, рядом стоял улыбающийся дед и ещё много-много людей, которых Виноградов не смог бы назвать по именам, но определённо знал, что это были не чужие ему люди…

На отделении, где лежал Виноградов, было непривычно тихо. Дверь в его палату была открыта. Около койки Виноградова стояли его лечащий врач и начальник отделения и ординаторы, а сёстры сгрудились у двери.

Врач аккуратно отвёл в сторону одну ещё мягкую руку Виноградова, затем другую, и осторожно приподнял с его груди безвольно обмякшее рыжее пушистое тельце. Он поднёс мордочку кота к уху, словно ещё раз хотел проверить, не будет ли слышно дыхание. Обернувшись, он секунду-другую помедлил, не зная, что делать дальше. Затем решительно шагнул ко второй, свободной койке в палате и, уложив Ваську поверх одеяла, накрыл его белым вафельным полотенцем.



Анатолий Грешилов

Осень цвета перванш

Однажды

«Расту»,—подумала Ульяна, без усилий уложив подбородок на подоконник. Шилом ткнула в крашеное дерево. Из отверстия вереницей устремились крохотные светлые муравьи. Это было неожиданно и необъяснимо, но слёзы появились на ресницах совсем по другой причине. Мать, поливавшая за окном грядки, увидела, как она трёт кулачками глаза:

— Улька, ты чего?

— Лето кончится, скоро в первый класс, а я читать не умею. Борька—как я, а читает. В киношном журнале показывали козла, который буквы знает.

— Для того и идут в школу, чтобы научиться читать и писать и вообще всему. Дениска тоже не умел.

Вечером она слышала, как мать смешно рассказывала об этом отцу и посмеивалась. Отец почему-то не смеялся:

— Крохотка, когда будешь писать письмо матери, пожалуйста, не пиши слово «малыш» с мягким знаком.

О близости реки известила лазурная стрекоза, норовившая присесть на толстый конец удилища Дениски, топавшего впереди сестры и Борьки на правах третьеклассника и вожака. Загадочные создания с перламутровыми глазищами удивляют и пугают Ульяну. Откуда они прилетают и где зимуют? Наверное, как перелётные птицы, в жарких странах. Перед лугом, по обычаю, присели на лавочке у деревянного забора с глубоко вырезанным на серой калитке контуром набирающего высоту истребителя. По близкой автостраде Москва—Симферополь, построенной недавно пленными немцами, катили редкие в ранний час машины. Зажмурившись, по очереди угадывали на слух марку. Вот простучал пулемётом трофейный мотоцикл БМВ или «Цундапп», натужно простонал автобус—коломбина, проблеял ещё редкий «козлик» *(ГАЗ-69)* с надписью «Проба», похожий на курносого Борьку. Знакомо прошамкала полуторка, недовольно прогундосил заокеанский «Студер». Радовали высокие трели красавицы «Победы».

— Клёвая легковушка.

Представительское чёрное авто съехало с бетона и, минуя высоченные тополя у обочин, тяжело проследовало по параллельной грунтовке вдоль палисадников пригородного села Красное.

— А ЗИМ шикарнее. Когда вырасту, куплю себе ЗИМ!

Следом катила такая же машина, с вертикальным радиатором и широкой горизонтальной решёткой. Третья остановилась на дороге.

Неслышно приоткрылась толстая дверь замершего шестиметрового лимузина с «мутноватыми» стёклами, выпуская старичка в мятом светлом костюме. Поглаживая ладонью поясницу, он прогнул спину, покрутил головой. Что-то неуловимо знакомое в зачёсанных назад волосах над низким лбом с широкими глубокими морщинами.

Ну, конечно же! Это тот самый, усатый грузин, чистильщик обуви из кукольной фанерной будочки в сквере между строящимся кинотеатром «Родина» и пекарней в бывшем женском монастыре. Но что за дела? Как он оказался в такой роскошной карете? И где забыл свой грязный фартук. Ульяне даже почудился гуталиновый запах.

В тишине, будто провели гвоздём по стеклу, взвизгнула калитка.

Сзади кто-то больно ткнул в шею:

— Встать, встать! Это же… Здравствуйте, товарищ Сталин!

Старичок ухмыльнулся:

— Гамарджоба,—и кивнул ладошкой задней машине, приоткрывшаяся дверь которой, тут же захлопнулась.

— Полный кворум, дэтэй вижу, отца вижу, соседку вижу, а цоли *(жена)* нэ вижу.

— Да они тут все, разрешите…

Мужик в красной майке метнулся во двор, откуда послышалось:

— Да говорю же тебе, дура… сам…

— Ну, Парфен, да ты после вчерашнего не проспался, что ли.

Старик зевнул, прикрыв рот. Потирая шею, медленно вышагивал в пятнистой тени щелястого забора по угодливо стелящейся мураве. Повертел длинную папиросу и бросил её. Нет, гуталином не пахло. Этот усач был гораздо старше чистильщика. Почти седой, на лице в круглых ямочках плохо выбритые мелкие волосяные островки и пятна, как у соседской старушки, бабы Шуры.

— На что ловитэ, дэтишки? Рэкомэндую на нимф. Нэ знаэтэ? Это личинки стрэкоз.

Ульяна почесала затылок через косынку:

— А разве они прилетают не из Африки?

— Нэт дэвочка, из рэки. Года четырэ под водой тараканом, а потом мэтаморфоз и короткий полёт в одно красноэ лэто. Как зовут?

— Ульяна. Я ещё не всё знаю, пока и читать не умею.

— Самолёт кто изобразил? Похож на ышака *(истребитель И-16)*, а?

— Разрешите доложить. Вот жена. Ещё вот квартирантки из деревни на своих харчах, в педучилище поступают. Одна вот, другая в нужнике.

Самолёт? Это сын. Вырезал перед отправкой, как чувствовал…
— Мой сын тоже лэтун, знаэш?

Успевший надеть серую полосатую рубаху и калоши на босу ногу, неопределённо покивал загорелым шишковатым лицом. Ещё редкие в это раннее утро прохожие замедляли шаг, глазея на диковинную кавалькаду. Некоторые останавливались поодаль, не решаясь подойти ближе. Не заглушая дальние паровозные свистки, завыл, нарастая, басовитый гудок цементного завода. Следом котельного и ещё чей-то, и ещё…
— Всэм на работу собираться пора. А я совсэм лэнивый стал. Вот рэшил, поэду отпуск в Мацэста. Сюда вагоном, далшe вот…
— Может вам кваску домашнего, с дороги-то — голосом детсадовской няньки в присутствии родителей, пропела, рельефная на застенчивом утреннем солнце, хозяйка, недоверчиво разглядывая раннего невзрачного гостя. Женским глазом, мгновенно отметив вставные зубы, простоту костюмного полотна «коломянки» и изношенность ворота шёлковой рубашки — Пампушка, то бишь Катя, принеси на полотенце.
— Прошу Вас в хату или хотя бы во двор. Там у меня хозяйство, огород, жизнь налаживается. Картошка, сало, огурцы. Всё своё, опять же — послабления от государства…
— Вэрно, главное в государствэ — нива. Совсэм скоро нэ будут пэрвоочэрэдными заботами мыло, кэросин, спички, сол. И у меня хозяйство нэмалое, с золотым запасом двэ тысячи пятьсот тонн. Вопрос: кому пэрэдать? Приэмники пигмэи, слабы и бэзпэрспэктивны, нанэсут кучу мусора на мою могилу… А государство — эдынствэнный корабль, дающий тэчь на самом вэрху.

Слушатели потупились, невольно разглядывая козьи катышки на песке с норкой муравьиного льва, следы велосипедных шин и чужие штиблеты.
— У нас Страна Совэтов, а потому совэтую вам, товарищ Порфэн: купитэ рыбакам удочки из бамбука, он лэгче арэшника. Хорошо бы Ульянэ буквы знат к сэнтябрю, а когда писать научится, пусть мнэ письмо пришлёт. Бэз ошибок. Обитают ли раки в вашэй рэкэ?

Не дождавшись ответа от пребывающих в ступоре и сожалея, что разочаровал явными признаками сенильности (старения), шумнув носом и коротко махнув правой рукой, странный гость зашагал напрямик к шоссе, сбивая едва увеличенными каблуками пуховые головки раскрывшихся поутру одуванчиков, и пал в бежевое нутро третьей машины с работающим мотором. Откуда-то появившийся ловкий военный в светлой гимнастёрке скомандовал:
— Быстро ваши фамилии, имена, да быстрей же! Теперь вы, почему фамилии разные, разве не одна семья? Так-с, адрес, номер школы…
— Дяденька, мы в школу в первый класс только в этом году поступим.
— Предостерегаю! Никому ни словом, ни намёком. В угол поставлю. Всем ясно? Кстати, раков тут ловите? Нате вот.

Сыпанул на лавку пёструю горсть гостинцев, глотнул квасу, коснулся локтя ещё не умывавшейся Катьки с розовым следом от подушки на щеке:
— Я на лодочке плыву
И во сне кувшинки рву.
— Дила мшвидобиса Кеке *(доброе утро Екатерина).*

Квартирантка ойкнула и уронила стакан, а нагнувшись и полотенце. Бликующий ЗИС-115С с противотуманной фарой и без передних номеров, утробно урча, мягко рванул с места вдогонку за отъехавшими машинами, побуждая безымянную шавку пуститься в короткую погоню.

Первый утренний ветерок шевельнул кроны тополей, унося прохладу. Запоздало и виновато лязгнул цепью Трезор, обычно неистово предупреждавший хозяев о появлении у калитки чужака.
— Братцы, что же это было? Может, у меня, как у Федьки, белая горячка. Это непостижимо. Я — и Генералиссимус! Теперь все зовите меня Порфэн!

Голос няньки, но уже в отсутствии родителей:
— Не психуй, Шухов. Тпру! Не дитя малое. И думать нечего. Киношники это были, артисты. Клавка говорила, кино снимают в городе. На мотоциклетах и пижонских машинах ездют, пьяные. Её, говорит, тоже засняли. Артистка! И этот, точно, был подшофе.
— А зачем ему фамилии?
— А чтобы знать, кому заплатить. Клавка сказала — кого снимают ещё и деньги плотют. А ты-то, простак: «Здравствуйте, товарищ Сталин! Разрешите доложить!». Ты бы ещё громче орал! Да за такое… Молись, чтоб соседи не слышали.
— Не знаю, не знаю. Мордоворот наказал воды в рот набрать. Если что, я пьяный был, ничего не помню. Вы, шпингалеты, тоже ни гу-гу.

Впуская женщин, просипела вздорная калитка:
«Сссовсем ссвихнулись… ссуета…»
Рукомойник спросонья:
«Дойка, дойка? Дам, дам!»
Денис помахали удочками:
— И правда тяжёлые. А пущай всё это будет нашей тайной.
— Не врёте, пескари?
— Мы будущие пионеры, а они не брешут.
— Если мне бамбуковую купить, буду молчать, как Мальчиш-Кибальчиш.
— И я, и я, как, как…
— Партизанка?
— Во!
— Откуда вы только взялись, карапеты. И конфеты ещё ихние… Как их… эээ… раковая шейка. То-то они всё про раков спрашивали…
— Борька из самой Москвы, он его, наверное, настоящего видел.

Столичный гость поковырял засохшую корочку на содранной коленке:
— Ну не из самой, но там недалеко. Пошли на речку. Не Сталин это был. Тот красивый и двухметрового роста.
— Выше Ленина?
— Конечно, выше, кино видела?
— Длиннее вратаря «Цементника»?

Пугая прытких кузнечиков, мелкими шажками сбежали к реке по утрамбованной крутой тропинке, вихляющей вдоль осоки и пышных кустов, поблёскивающих серебристыми, с нижней стороны, продолговатыми листочками.

— А я думаю, это просто какой-нибудь заграничный турист вышел прогуляться. Я когда долго ехал в автобусе с бабой Розой, очень пукнуть хотел, еле-еле дождался остановки.

— Это потому, что ты, Борька, просто пердило. Так и звать будем. На что ловим?

Борис извлёк поднятую под забором папиросу:

— Гер-це-го-ви-на Ф-лор. Мор-ша-н-ск. Пробовал я такие, кислятина.

Ульяна хлопнула брата по спине:

— Комар. Я на стрекоз ловить не буду. Вообще больше удить не хочется.

— Мда, для клёва поздновато. Жор у рыбы кончился, и черви вглубь ушли. Давайте вырежем чё-нибудь на дереве. На память, а то твой кавалер скоро уедет.

Через неделю о том утреннем происшествии напоминали только новая калитка и ярко зелёный забор усадьбы Парфена Шухова — подарок белгородских властей, да тротуар вдоль него из чёрного лоснящегося и пахучего асфальта, как на восстановленной улице имени Ленина. А ещё закладки из конфетных обёрток в Катькиных учебниках за седьмой класс и проникновенный радиобаритон:

Чуть седой, как серебряный тополь,
Он стоит, принимая парад.
Сколько стоил ему Севастополь?
Сколько стоил ему Сталинград!

Дружная троица, утвердив на податливой коре сговорчивого тополя свои инициалы — ДУБ, ничего не помнила уже к вечеру, потому, что один детский день, пожалуй, длиннее взрослой недели.

В суматохе куда-то подевалась старая резная доска. Быть может, взмыл в родную стихию тот лобастый ястребок из детства, чтобы через годы иногда являться то парящей птицей, то летучей мышью на звёздном фоне, а то и каким-нибудь невиданным порхающим насекомым.

Ульяна долго собиралась написать письмо, боялась наделать много ошибок. А когда решилась, было уже поздно.

Борис ныне весьма уважаемый человек, известен как собиратель разных…(слово забыл). А, артефактов! Хвастает, что обладает уникальными предметами известных людей. Не ту ли папироску имеет он ввиду? Не знаю, есть ли в этом моя вина, но собратья по увлечению между собой кличут его Пер… Да вы его знаете.

Осень цвета перванш

Так сложилось. Сезон грузовой навигации в этом году для электромеханика буксира «Капитан Пановик» закончился раньше обычного, месяца через полтора после июльского парада флотилии в День речника. Вернувшись из Подтёсово и не решаясь приступить к давно планируемому мелкому ремонту квартиры, Яков выкрасил входную дверь эмалью корпоративного синего цвета и собрался несколько дней провести у стариков в Уяре.

Поздним утром с объёмистой сумкой шагал на остановку, предвкушая скорую, ещё засветло, встречу с медовой бронзой уличных тополей, давно зарубцевавших его инициалы, и «говорящими» ступенями резного крыльца трёхоконного домика. Остановился и заговорил о чудной погоде с Кларой Корольковой из соседней новостройки, чей фаллический силуэт лишил спальню в его «двушке» мягкого восточного солнца. «Королева Шантеклара», как он величал про себя яркогубую председательшу правления кондоминиума «Ковчег», предложила заглянуть к ней на посошок, наверное, неожиданно для себя самой.

От янтарной перцовки заурядное угловое гнёздышко до самой «альпийской» форточки «панорамного» окна переполнилось байками о круглогодичной военно-морской и сезонной, с мая по октябрь, речной службе. О давних грёзах курсанта учебной роты речного училища о частной яхте на Лазурном побережье близ Ниццы. Креплёный херес, из дорожного багажа, побудил допытываться у хозяйки, кто надоумил её хранить бриллианты на люстре под видом обычных хрустальных подвесок. А позже просить левую лапу у Серого Волка, неведомо куда уносящего на глянцевом постере Ивана-царевича с Еленой Прекрасной. Настенный коврик из уярского детства был той же картиной Васнецова, памятной от стреловидных травинок до узорных нюансов чёрной рукавицы витязя.

Вот уже несколько дней рейсовые автобусы исправно следуют, строго по расписанию, московским трактом в восточном направлении. К щемящей пустоши осенних огородов на берегах Уярки в городе тополей. Без Якова. А Серый Волк всё буравит ревнивым оком «морского волка», обучающего подругу Своду военно-морской сигнализации взмахами воображаемых флажков и традиционному ответу моряков на адмиральское приветствие буквами русской семафорной азбуки НХТ («наш хер твёрд»). Красивым рукам Клары нравится семафорить и репетовать, да всё ещё смешит нарочитый вопль речника, изредка возмущающий тишь гостеприимной гавани:

— Где я?! Кто я?! А какая ваша фамилия?!

«Королева» увлечена фотографией и накопила с десяток альбомов. Третий день гость не устаёт разглядывать яркие фотки её недавнего тура по шенгенской Европе, а заодно и фотосессию обожаемого котёнка. Испытывая неприязнь к кошкам, пнул его пару раз, мимоходом.

Вечером задумался Яков над очередным сообщением жене. Пожалуй, завтра пора «возвращаться» из Уяра. К термобигудям, варящимся по утрам в старой кастрюле, хилой загогулине «денежного дерева» на кухонном подоконнике и ремонтной суете. Скоро у дочки тринадцатилетие, а вот точную дату запамятовал. Хотел попугать домашних и отправить что-то вроде: «Вышли 250 телеграфом столуется ли ещё Евстигнеев».

Прочёл Кларе. Справедливо усомнившись, что реминисценция будет понята, она предложила отправить: «Завтра буду!»

После пугающе оптимистичных новостей местных каналов о сроках предстоящего отопительного сезона решил вынести переполненное громоздкое мусорное ведро.
— Иго… Тьфу ты! Яша!
— Я за него.
— Там прохладно. Вот, накинь.
— Что за хламида?
— Мой старенький плащ. Из прошлой жизни. Кажется, цвет назывался — перванш!
— С королевского плечика? Мезальянс, говоришь? Да он ещё и с капюшоном.
— На своих домочадцев не нарвись, пилигрим! А щетину-то отрастил.
— В таком наряде не опознают, да и темно уж. Прав Нахимов — моряк не должен жениться. Вернусь — побреюсь.

У порога выяснилось, что котёнок помочился в кроссовки, пришлось обуть какие-то жмущие полусапожки из кладовки.

Ночной, непостижимый и мистичный, левобережный бриз Великой реки, какой бывает только в начале учебного года, принял его, заворожил и понёс на сиренево-голубых фалдах к циклопическим контейнерам дворовой мусорки.

Вытряхнул ведро, о железо звякнуло стекло. С бетонной стенки зыкнула неразличимая птица, и, будто по её команде, через дорогу вихляво метнулась кошка.

Зря сложила всё в одно ведро, есть же отдельный бак для стекла. А в Германии, она говорит, даже предусмотрены отдельные ёмкости для стёкол разного цвета!

Не за горами зима. Представились занесённые снегом слипы и зимующие в затоне Подтёсово речные трудяги. Интересно, каково сейчас на Лазурном побережье и как там поступают с отходами? В глубокой отрешённой задумчивости о несовершенстве отечественных систем мусороудаления, забывшись, рассеянно вошёл в родной подъезд. Поднялся на второй этаж, досадуя на соседей, втихаря прикармливающих бродячих шавок прямо на лестнице. У свежевыкрашенной синей двери рефлекторно потянулся к кнопке, привычно намереваясь послать четыре давно условленных звонка: короткий, длинный, короткий, длинный… Буква «Я» по коду Морзе. Но дверь вдруг распахнулась, явив на пороге дочку-именинницу, провожающую толпу гомонящих гостей.
— О, ма! Папа приехал из Уяра! Какой смешной!

Виль Мустафин

Истоки печали

17 сентября — год со дня ухода из жизни Виля Салаховича Мустафина, выдающегося поэта, жившего в Казани и созидавшего поэзию на русском языке. Светлая память!

*

Одиссей, Одиссей…
Не имеющий сердца — не плачет…
И не слышит вестей
от сирен — ослеплённый удачей…

Проплывай, проплывай,
привязавшись к столбу добровольно, —
не познавший — не знай,
как душе перевязанной больно.

Не услышавший песнь,
не услышит призывной печали, —
как израненный лес
к топору свои веточки тянет!..

На погибель свою
обрекаю безвинное тело:
над могилой стою
и молю, чтоб Сирена запела…

*

Далёкой, чу́дною эпохой
повеяло от лёгких слов, —
и музыка грудного вздоха
ко мне сошла из давних снов.

И распахнулся звёздный ло́скут,
впустив тебя в мои края,
куда закрыт свободный доступ
любым изыскам бытия,

где клоунада — словно кожа,
где грим наложен на зрачки,
где даже смерть на смех похожа,
и все подпилены крючки…

И в этой келье скомороха
ты появилась — как дитя, —
забытую улыбку вдоха
своим явленьем воплотя…

*

Пришёл я…
Ты меня прости
за то, что поздно…
Что — после —
стих меня настиг
твой…
Слишком — после…

Что я не клял свою судьбу
за долгий прочерк.
Я знал:
ты есть!..
— И знал:
не бу-
дет прочих…

Григорий Найда

«Чистосердечно раскаиваюсь…»

Теорема Самохвалова

«А за окошком месяц май, месяц май, месяц май!..»—тихо радуется Венькин приёмник голосом Гарика Сукачёва.

Май… Май—это преддверие лета. Май—это время, когда природа просыпается после долгой зимней спячки, несмело расправляет зелёные клейкие листочки, пускает первые тоненькие побеги травы. Май—это яркое солнце, это цветы и ощущение приближающегося долгого праздника. Короче, май—это здорово! И я хорошо понимаю радостного Гарика…

Вот только за моим окошком—сентябрь… Серый, унылый, промозглый сентябрь… И брызжет мелкий, противный холодный дождик…

— Назовите, пожалуйста, фамилию, имя и отчество…—я опять провожу допрос.

— Свои, что ли?!..—почему-то удивляется свидетель.

Ну, положим, свои я и сам знаю. Александр Николаевич Литовец. Лейтенант юстиции, следователь следственного отдела Аэропортовского РОВД города Красногорска. И, кстати, эти данные я уже вписал в «шапку» протокола допроса.

— Ваши, ваши!—я стараюсь говорить доброжелательно, ничем не выдавать своего раздражения. Ведь, по большому счёту, этот парень вовсе не причём. Просто погода настраивает на минорный лад…

А вообще свидетель, что сидит сейчас передо мною, заслуживает, как минимум, уважения. В наше время с таким если и приходится сталкиваться, то крайне редко…

…История стара, как мир. На остановке общественного транспорта, когда одни покидают автобус, другие спешат занять освободившиеся места, в лёгкой толчее из рук женщины вырвали сумочку. В просторечье это называется «рывком». Схватил—и бежать. Ну, а по закону—грабёж. Открытое похищение чужого имущества.

Потерпевшую—растрёпанную перепуганную женщину лет сорока пяти—я уже допросил. Выслушал бесконечные стоны и охи, насмотрелся на бегущие по круглым бледным щекам слёзы… Тоже понятно и объяснимо. Нет, не только пережитый недавно испуг. У неё, крановщицы с медеплавильного, в этой сумочке была месячная зарплата. По нынешним временам, весьма и весьма немалая.

Причём эти деньги уже были ею расписаны заранее. Столько-то—на оплату жилья и электричества, столько-то—внучке на конфетки… Себе—на продукты, мужу—на пиво, котику—на «Вискас». М-да… А теперь вот получается, что котик «пролетел». Не будет ему вкусной импортной жрачки. Не на что её покупать.

Кстати, за прошедшее лето этот случай—третий. Кто-то старательно «долбит» именно работниц медеплавильного. Разумеется, женщин. Сумочку ведь очень просто вырвать из рук, даже самых цепких. А вот попробуйте вырвать из кармана мужика кошелёк! Особенно, если учесть, что медеплавильщики—народ физически крепкий и дружный. И попади грабитель в их натруженные руки… Мне даже страшно представить, что с ним сделают.

Грабежи совершаются в день выдачи зарплаты. Почему-то на медеплавильном деньги не переводят в банк, а придерживаются старой схемы. Ну, наличные, общественные кассиры, суета и ожидание праздника… Скорее всего, грабитель имеет какое-то отношение к заводу… Но только «вычислить» его в многотысячном коллективе невозможно. Да и не обязательно ему там работать самому. Папа, мама, брат, сестра… Просто хороший приятель—и тот может стать источником информации, даже не подозревая об этом.

И остаётся только лишь одно. Надеяться. Надеяться на то, что рано или поздно грабитель допустит ошибку, «проколется». И вот тогда… Тогда он ответит за всё.

Кстати, он уже сегодня был близок к провалу. Когда он выхватил сумочку и бросился во дворы, вот этот сидящий сейчас передо мной свидетель, как сказали бы писатели прошлых лет, «благородный юноша, преисполненный всяческих достоинств», рванулся было за ним, крикнув потерпевшей: «Сейчас я его!». Между прочим, единственный из тех, кто в тот момент был на остановке.

Но только смертельно испуганная женщина вцепилась в него клещом. «Ой, миленький, ой, не надо! Ой, он тебя убьёт-зарежет-застрелит!» Не пустила. Держалась за него, как утопающий за спасательный круг.

Случайно оказавшийся рядом наряд вневедомственной охраны, заметив какую-то непонятную возню, взял обоих на борт патрульной машины, проскочили по дворам… Но грабитель успел скрыться. Тогда их привезли в отдел и теперь я оформляю уголовное дело, которому, боюсь, суждено будет оставаться нераскрытым очень и очень долго. Если не всегда…

— Работаете, учитесь?..—очередной вопрос свидетелю.

— Учусь…—«благородный юноша» скромно потупился.

— И где же?..—какой-то он вялый… Каждое слово приходится вытягивать чуть ли не клещами…

— Четвёртый курс юридического факультета…— вон оно что! Коллега, можно сказать! Теперь мне становится понятен его порыв…

От соседнего стола вкусно пахнет кофе. Веник Медведев, мой напарник, сегодня выходной. И за его столом обосновался Костя Самохвалов, старший опер нашего сектора. Костя только что из отпуска — на юг ездил, счастливчик! И теперь с утра сидит, читает уголовные дела. Знакомится с обстановкой, с тем, что произошло в период его отсутствия на секторе. Да кофеёк прихлёбывает…

— Где проживаете?..— ещё один вопрос из серии обязательных.

Молодой человек, запинаясь, называет адрес. Ого! Да он живёт на другом конце города! Можно сказать, на другом конце географии! И каким же ветром его занесло в наш район?!.. Хотя… Не так уж это и важно. Для дела не имеет особого значения.

— Вы предупреждаетесь об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, а также за дачу заведомо ложных показаний!— скороговоркой произношу привычную формулу. После чего предлагаю свидетелю расписаться. Здесь… И вот здесь…

Молодой человек расписывается… И тут вдруг раздаётся Костин голос:

— Коллега, а каким ветром тебя в наш район забросило?..

Свидетель вздрагивает и немного растерянно смотрит сначала на меня, потом — на Костю.

Я тоже смотрю на опера, подпустив во взгляд немного укоризны. Не надо вмешиваться в допрос! Время тянуть… Скорее закончить формальности да отпустить парня. И — по кофе…

Только оперативник не обращает внимания на мой красноречивый взгляд. Он вообще на меня не смотрит — всё его внимание сосредоточенно на свидетеле. На губах играет лёгкая доброжелательная улыбка… Но глаза — серьёзны. А между бровей залегла складка, выдающая усиленную работу мысли, озабоченность чем-то, чего я пока не понимаю. Не вижу…

— Н-ну…— запинаясь, начинает свидетель.— Я… Я приехал… В магазин! «Спортлэнд»!

— Спортом занимаетесь?— переключаю внимание допрашиваемого на себя.

— Да,— кивает он.

— И каким видом?

— Греко-римская борьба…— признаётся малый.

Ну да. Высокий, широкоплечий, шея-пирамида, сильные запястья… Красивый парень. Однокурсницы, наверное, без ума от него…

— Понятно… Разряд?..— вообще-то мой вопрос никакого отношения к делу не имеет. Просто позволяю себе полюбопытствовать.

— Кандидат в мастера спорта…— можно считать, что грабителю сегодня крупно повезло. И не только с деньгами…

— Расскажите, что сегодня произошло на остановке общественного транспорта?— перехожу я к делу.

— Ну…— свидетель начинает рассказ. Я его почти и не слушаю — все подробности мне уже известны со слов потерпевшей. Так что даже если слова начинающего юриста в чём-то и расходятся с её показаниями, то эти противоречия не существенны. И не стоит обращать на них внимание. Каждый очевидец видит общую картину происходящего по-своему. Вроде как и событие одно, а вот рассказы о нём уже отличаются.

Между делом бросаю короткий взгляд в сторону Кости. Он по-прежнему чем-то озабочен. И с непонятным мне ожесточением роется в стопке дел. Причём дела эти не «свежие», а старые. Те, что возбуждались ещё до его отпуска.

— …Тётка эта…— рассказывает свидетель. Сейчас он уже не запинается, не путается, речь его течёт легко и свободно, уверенно.

Почему-то меня коробит это грубое слово — «тётка».

— Потерпевшая…— поправляю я его.

— Ну да!— легко соглашается он.— Потерпевшая! Вцепилась в меня — и не отпускает! А тут менты… То есть, сотрудники милиции подъехали…

На «ментов» я как раз и не обижаюсь. «Менты» — они ведь тоже разные бывают… Есть те, что непременно «поганые». Я и сам с такими встречался. Доводилось… А есть — просто «менты». Те, для кого это даже не профессия, а образ жизни, призвание… Хроническая болезнь, в конце концов. Как те, киношные — «Прорвёмся, опера!» Или — как Костя…

— Вот так всё и получилось…— свидетель сокрушённо разводит руками.

— Хорошо,— допрос близится к завершению. Остаётся самая малость…— Расскажите теперь, как выглядел преступник. И во что он был одет…

Почему-то этот простой вопрос опять повергает студента в некое подобие шока. Он бледнеет. Взгляд упирается куда-то в потолок. Интересно, что он там такого мог увидеть?..

— Ну-у… М-м-м…— невнятно мычит он.— Дело в том, э-э-э… Я его только со спины… Да.

— Ну, опишите, как он выглядел со спины…— я говорю мягким, почти ласковым тоном. Все странности поведения свидетеля — единственного свидетеля!— можно списать на «отходняк». Бывает, знаете ли… В горячке, не задумываясь о последствиях, бросился за преступником. А вот теперь вспоминает и понимает — а ведь и правда. Мог бы быть и нож… Или — что другое… И терять тому гаду, собственно, нечего… Как минимум одно тяжкое преступление он уже совершил. А где одно, там и…

— Ну-у…— свидетель упорно смотрит в какую-то точку на потолке.— Невысокий такой…

Я старательно заношу его слова в протокол. Вообще-то потерпевшая говорила — высокий… Вот только тут уже всё зависит, как ты смотришь — снизу-вверх или сверху-вниз. Лилипутам и Брюс Ли гигантом покажется, не то что какой-то Гулливер.

— Чернявый такой…— продолжает студент «считывать» с потолка приметы.— Возможно, таджик или узбек…

Странно… Потерпевшая говорила — блондин… Светло-русый… Хотя… Чёрт его знает… У обоих было всего лишь несколько секунд…

— Да, скорее всего, таджик! — уже увереннее повторяет свидетель. — Раскосый такой, нос с горбинкой… И волос вьётся слегка…

Он пальцем крутит возле собственного уха, изображая завитки причёски преступника.

Я добросовестно вношу всё это в протокол.

— Плотный… — и в этот момент в допрос снова «вписывается» Костя:

— Так на каком курсе ты, говоришь, учишься, коллега?..

— На четвёртом… — вопрос заставляет свидетеля отвлечься от созерцания трещин на потолке моего кабинета. Теперь он с недоумение и даже какой-то обидой, что ли, смотрит на Костю. — А что?

— Да так… — отвечает тот, демонстрируя в дружелюбном оскале золотые «фиксы». — На платном, поди?..

— На «бюджете»… — свидетель скромно опускает глаза долу.

— Это — хорошо! — ликует Костя, выбираясь из-за Венькиного стола. И по лицу опера я никак не могу понять — то ли он говорит серьёзно, то ли шутит… — Если бы ты знал, коллега, как нам не хватает высокообразованных, юридически грамотных специалистов! За такими, как ты — будущее нашей милиции! Да что там какой-то милиции — всей страны!

Опер обращается уже ко мне:

— Александр Николаевич, я отлучусь на пару минут… Дела не убирайте…

— Хорошо, Константин Борисович… — несколько растерянно отвечаю я.

А ещё бы не растеряться! Проходя мимо моего стола, Костя очень естественным, непринуждённым жестом кладёт поверх протокола допроса лист бумаги. На листе, «летящим» почерком — две строчки. «Тяни время! Не отпускай ни под каким видом! Я скоро буду!»

Честно говоря, я не совсем понимаю, что сейчас происходит в моём кабинете. Точнее, не понимаю вообще. Ничего.

Но не пытаюсь остановить Костю. Я верю ему… И точно знаю — он никогда и ничего не делает просто так. Значит, будем тянуть время…

Допрос продолжается. Теперь уже я не тороплю свидетеля, позволяю ему искать ответы на каждый свой вопрос на потолке и в дальнем углу кабинета.

Минут пятнадцать уходит на то, чтобы полностью, очень подробно, реконструировать приметы преступника. Сидящий напротив молодой человек постепенно вспоминает и косой шрам на массивном подбородке, и блеснувший в оскале золотой зуб в выступающей нижней челюсти, и низкий скошенный лоб… Много чего вспоминает.

А я вместо того, чтобы сосредоточиться на допросе, напряжённо думаю о том, что же заметил Костя. Что-то такое, очень важное, значительное. Имеющее непосредственное отношение к этому делу. И что, в то же время, упустил я. Следователь.

— Ну, ладно… — все вопросы заданы, все ответы получены… Все ходы, как говорили классики соцреализма, записаны. А Кости всё нет и нет…

Я начинаю медленно, нарочито вдумчиво пересчитывать только что составленный протокол. И чем дальше я читаю, тем сильнее становится ощущение какой-то неправильности, неестественности происходящего. Кажется, я близок к тому, чтобы понять Костю… Но только мысль не успевает сформироваться окончательно — дверь с громким стуком открывается и в мой кабинет врывается женщина. И я, и свидетель непроизвольно вздрагиваем и смотрим на неё.

— А… Следователь… Медведкин?.. — спрашивает она, остановившись на пороге. Причём обращается не ко мне, а к свидетелю. — Это здесь?

— Это здесь, — отвечаю я. — Но не Медведкин — Медведев. Он выходной сегодня. А что вы хотели?

— Выходной? Как жалко! — гостья по-прежнему не смотрит на меня — её взгляд прикован к свидетелю. Ну, да я уже говорил — красивый парень. И она тоже — очень даже ничего… Лет двадцать пять, отличная фигура. Лицо… Не красавица в полном смысле этого слова. Но миленькая.

— Так что вы хотели? — повторяю я вопрос.

— Да так… Ничего. — Странная гостья разворачивается и покидает кабинет, аккуратно прикрыв за собой дверь.

Пожав плечами, я передаю протокол допроса студенту:

— Прочитайте… Всё ли записано правильно?

Дверь кабинета снова отворяется. Вернулась странная посетительница?.. Нет, это Костя.

Опер выглядит довольным. Больше того — на его лице выражение полного блаженства. Сейчас он очень похож на кота, наконец-то дорвавшегося до хозяйских запасов сметаны.

— Вы закончили? — спрашивает опер.

— Почти… — отвечаю я. И обращаюсь к свидетелю, закончившему чтение: — Всё верно?..

— Да, — говорит тот.

— Тогда… Вот здесь… «С моих слов записано правильно, мной прочитано…»

Молодой человек послушно пишет, после чего украшает протокол допроса солидной «министерской» подписью.

— Я могу идти?.. — как-то опасливо спрашивает свидетель.

Смотрю на Костю.

— Позвольте, я вас провожу, коллега! — тот буквально бросается к студенту, почти обнимает его. — Вы знаете, в наше многотрудное время… Гражданское мужество!.. Эх, если бы все так!..

Последняя фраза доносится уже из коридора.

Я только качаю головой — никогда Костю таким не видел. Рассыпается мелким бесом перед студентиком… Причём тон — откровенно насмешливый. Ёрнический. Что-то здесь не так. Но что?!

И я возвращаюсь к протоколу допроса. Перечитываю его ещё и ещё, пытаясь понять, что же всё-таки в нём не так, как должно быть… Ощущение неправильности только усиливается, но… Неожиданная посетительница сбила с мысли. Наверное, напугала эту самую мысль и она теперь никак не желает возвращаться. Хоть тресни!

Костя приходит минут через двадцать. Он по-прежнему доволен жизнью и собой — мурлычет негромко какой-то попсовый мотивчик, прищёлкивая в такт пальцами.

— Ну, как?..—спрашиваю я не без ехидства.—Проводил?..

Я сейчас крайне зол. Наверное, причина моей злости—в Костиной улыбочке, в его хорошем настроении. В том, что он сумел увидеть то, чего не разглядел я. Короче, злюсь на себя.

— Проводил…—опер насмешливо смотрит на меня. И эта насмешка буквально выводит меня из себя. Но только следующая фраза оперативника повергает в смятение:

— До самой камеры проводил,—спокойно продолжает он.—И даже дверь за ним лично закрыл.

— До какой камеры?!..—растерянно спрашиваю я. И, понимая, что вопрос, по меньшей мере, дурацкий, меняю формулировку:—Почему?!..

— Потому, потому что мы—пилоты!..—довольно напевает Костя. И ничего не объясняет, зараза такая!

Стоя перед моим столом и запустив руки глубоко в карманы джинсов, он чуть покачивается с пятки на носок.

— А-а-а!—понимаю я.—Проходит по какому-то из старых дел!

Если так, то мне простительно. У меня в производстве этих дел—более пятидесяти. И это только за текущий год! А ещё дела прошлых лет… И все—нераскрытые. Я—следователь-«темнушник», как у нас говорят. То есть, занимаюсь делами, которые совершены в условиях неочевидности, когда подозреваемый не установлен.

— Нет!—качает головой Костя. Он сейчас откровенно наслаждается происходящим. Развлекается. Вот же гад!

— Хорошо, сдаюсь!—откинувшись на спинку стула, я поднимаю руки.—Рассказывайте, Холмс! Ход ваших мыслей мне совершенно непонятен!

— Ну, это элементарно, Ватсон!—оперативник вынимает изо рта воображаемую трубку и помахивает ей в воздухе.—Они—«подельники».

— Кто?!—всё ещё не понимаю я. Точнее, понимаю—просто это не укладывается в моей голове. Не «вписывается» в ту картину происшествия, что нарисовало мне воображение.

— Непосредственно грабитель—и этот,—Костя небрежно кивает куда-то за плечо.—Так называемый свидетель.

— Не понимаю…—признаюсь я.

— Сейчас объясню,—Костя становится серьёзным.—Я ведь тоже не сразу сообразил…

Он берёт стул у стенки, ставит его напротив стола—спинкой ко мне—и усаживается на него верхом.

— Понимаешь, первый звонок—это неестественное поведение…—начинает опер.—У человека хватило характера и решительности не задумываясь броситься вдогонку за преступником. А на допросе ведёт себя, как красна девица—смущается, краснеет, бледнеет, запинается…

— Ну, это не показатель!—запальчиво парирую я.—Нервничал человек, впервые оказался в такой обстановке…

— Вообще-то по окончании третьего курса на юрфаке проводится ознакомительная практика…—глядя поверх моей головы, негромко произносит Костя. И мне нечего на это возразить…—Но это—ерунда! Просто привлекло внимание и я стал прислушиваться к вашему разговору… И сразу же—второй звонок!

— Это какой же?!

— Скажи, Саня, вот если бы тебе понадобилось купить что-нибудь из спортивного инвентаря, ты бы куда пошёл?—хитровато прищурившись, спрашивает опер.

— В магазин!—отвечаю не задумываясь.

— В какой?!—быстро уточняет Костя.

— Да в тот, что к дому ближе!

— Вот!—Костя назидательно поднимает вверх указательный палец.—Ты бы не поехал через весь город, а пошёл туда, где тебе было бы удобнее!

— Ну, если бы мне нужен был конкретный магазин…—я вспоминаю показания свидетеля.

— «Спортлайн»—это не один магазин. Это—сеть. По всему городу,—напоминает мне Костя.

Я молчу. Опер опять прав. Рекламу—«Стань чемпионом со «Спортлайн»—в нашем городе можно увидеть буквально на каждом углу и по всем каналам телевидения.

— И намного проще,—продолжает развивать свою мысль Костя,—ему было бы заехать в какой-нибудь из «центровых» торгово-развлекательных комплексов. Я ведь прикинул—он таких проехал по пути на нашу окраину как минимум три… И в каждом есть филиал «Спортлайна». Но только он поехал к нам! Да ещё и одну остановку не доехал… Такая рассеянность сама по себе подозрительна, согласись…

— М-да…—я могу лишь сокрушённо покачать головой.

— Были ещё нюансы,—добивает меня Костя.—Почему он назвал потерпевшую так пренебрежительно—«тётка»? Он, юрист, который уже может писать в анкетах «эн высшее»?.. Не «потерпевшая», не «пострадавшая», а—«тётка»?.. Эта путаница в приметах преступника… Да, кстати, я ведь не зря спросил, как он учится! Третий курс—это общая криминалистика. В том числе и описание внешности человека по методу словесного портрета. А тут… Видел со спины, лица не разглядел, но при этом понял, что таджик. Не среднеазиат, не монголоид, а именно таджик!

— Но какова его роль в деле?!—то, что мне сейчас говорит оперативник, звучит, конечно, убедительно…—Мотив?! Я не понимаю…

— Ну, это он сам расскажет,—спокойно отвечает Костя.—Часика полтора «парашу» понюхает, «тёрки» зековские послушает—и расскажет. Никуда не денется. Но я думаю, в его задачу входило увести возможную погоню в сторону. Своего рода подстраховка исполнителя…

— Это как?..

— Ну, исполнитель вырывает сумочку и бросается во дворы. За первым же углом поворачивает, предположим, направо. А этот, бросаясь, якобы, в погоню, за тем же углом поворачивает налево…

— И что?!

— Понимаешь, Саня, человек—животное стадное… Вполне возможно, что рядом с местом происшествия окажется ещё пара-тройка человек,

занимающих активную жизненную позицию. Ну, которые тоже бросятся в погоню. Так вот, наш парень будет впереди планеты всей… И остальные будут бежать не за преступником — за лидером в этой гонке… А тот ещё время от времени будет покрикивать что-нибудь типа: «Стоять-бояться, я тебя всё равно догоню!». Вроде как видит «жульмана» и даже вот-вот схватит. Исполнитель же в это время за ближайшим углом спокойно выпотрошит сумочку, избавится от улик, внесёт незначительные изменения во внешность… И уедет с той же самой остановки!

— И всё-таки прямых доказательств его участия в преступлении нет, — это говорю даже не я — моё упрямство. Ведь я же тоже видел всё это! Но только не обратил внимания… Не придал значения… Пустил мимо ушей… «Прокололся»… Да безразлично, как это будет называться! «Лоханулся» я! Не выполнил прямых своих обязанностей — устранить все возможные противоречия и несоответствия в показаниях участников процесса!

— Есть, — широко улыбается Костя. — Есть, Саня! Только это надо будет оформить…

— Что — оформить?!

— Саня, у нас ведь ещё два «тёмных» дела… — сообщает мне оперативник. — При аналогичных обстоятельствах… Помнишь?..

— Помню…

— Так вот, я их поднял и посмотрел… — Костя выдерживает паузу.

— И что ты там увидел?

— Во всех случаях находился кто-то, кто первым бросался в погоню за преступником… И что самое интересное — примет этого человека нет ни в одном деле! Выезжали Веник и Ниночка Волк. Но им обоим не пришло в голову уточнять приметы того, кто оказался на нашей стороне!

Мне бы тоже не пришло… А зачем?.. Чтобы найти потом и вручить Почётную грамоту?.. Или пожать мужественную руку?.. Глупо… Мы ищем преступников… А этот ведь не преступник… Свой, нашенский, юный, блин, друг милиции, дзержинец!

Вот только «юный дзержинец» отбегал подальше, прекращал «погоню» и спокойно уходил. И никто его не останавливал! Ну, упустил преступника… Так он и не обязан его ловить! Для этого, вообще-то, мы с Костей есть.

— Ну, раз нет примет, то как ты можешь утверждать, что во всех случаях был один и тот же человек?.. — делаю я последнюю попытку разбить аргументы своего оппонента.

Костя широко и довольно улыбается:

— Скажите, Александр Николаевич, к вам во время допроса заходила странная девушка?..

— Ну, заходила…

— Это потерпевшая по второму грабежу. Технолог с медеплавильного… Она уверенно опознала нашего клиента. Я думаю, опознают его и по первому. Там ещё и парочка свидетелей была… Я, кстати, дал команду… Внизу Марик с ребятами опознание готовят. Ну, понятых, «подсадных»… Запротоколируем всё, оформим…

Я молча перевариваю всё то, что услышал. Получается, что этот «благородный юноша» ездил в наш район специально для того, чтобы погоняться, побегать за грабителями. Хобби у него такое. Причём точно знал, где и когда произойдёт очередной грабёж… Ясновидящий?.. Да уж нет… «Это — фантастика, сынок…».

Действительно, какие-то случайные совпадения исключены… И Костя в очередной раз оказался прав. Но…

— Слушай… — начинаю я. — Скажи…

Я стараюсь говорить спокойно, но у меня не получается. Сам чувствую, как в голосе прорывается какая-то детская обида. И ничего не могу с этим поделать. Мне действительно обидно до слёз.

Теперь, после того, как Костя мне всё «разжевал», я понимаю, что именно смущало меня во время допроса… Но почему я не придал этому того же значения, что и оперативник?!..

Этот вопрос — хотя он и не имеет никакого отношения к делу — я задаю Косте.

Опер на мгновение задумался. Потом, встряхнув головой, начинает:

— Понимаешь, Саня… Даже не знаю, как тебе объяснить… — он трёт пальцами переносицу.

— Не понимаю! — почти грубо отвечаю я. Для меня это сейчас жизненно важно — знать, где и как я ошибся.

— Видишь ли, и ты, и Ниночка, и Веник… Мы с вами росли в разных условиях. Понимаешь?..

— Нет, — я сейчас предельно откровенен.

— Дело в том… — Костя явно смущён. — Вы хорошие ребята, но… Вы — дома росли, при папе и маме. Я — в детдоме. И для вас тот, кто не является явным противником — уже друг.

— А для тебя?.. — кажется, я действительно начинаю понимать опера…

— Дружбу надо доказать, — очень серьёзно отвечает Костя. — И одной только бестолковой беготни для этого ох как мало! Понимаешь?..

— Да, — понимаю. Теперь — точно понимаю.

Дело не в моей глупости или в лености. Дело в разном отношении к жизни. В элементарной математике. Даже, наверное, в геометрии…

Костя правильно подметил — то, что для нас — аксиома, принимаемое без доказательств утверждение, для Кости — теорема. Дружбу надо доказывать. Каждый день, каждый час, каждую минуту. Всегда.

Эти ребята — грабители-юристы — неплохо всё продумали… Но не до конца. «Благородный юноша», выступающий в качестве отвлекающего фактора, не рассчитывал оказаться в милиции. И не продумал заранее те показания, что нужно будет давать. Два раза ведь «пролазило»?..

Так кто же мог знать, что в третий рядом совершенно случайно окажется наряд вневедомственной охраны?!

И даже в этом случае у них были все шансы «соскочить». Но им не повезло — в моём кабинете оказался Костя. И студент «завалил» предложенный жизнью экзамен — не смог быть убедительным, доказывая «теорему Самохвалова»…

Спор

…Только лишь переступив порог, он картинно, широким жестом, швырнул на пол перед собой сорванную с головы старенькую, изрядно засаленную кепчонку.

— Всё, командир, хватит! — заявил он. — Всё! Признаю — ваш закон! «Явку» пишу, век воли не видать!

— Ещё бы… — Я не удивился и не обрадовался. Я этого ждал.

— Ну, м-мать!.. — У Веника — Веньки Медведева, с которым мы делим этот маленький кабинет — округлились глаза. Он даже немного с места приподнялся.

В принципе, я его понимаю. В смысле, Веника, а не того «пассажира», что привёл мне конвойный сержант. Удивление подаренного мне судьбою соседа по кабинету вполне обоснованно — не каждый день «полосатик» изъявляет желание написать «явку с повинной» — это такой документ, законом предусмотренный. Ну, если безоглядно верить которому, злобный и коварный преступник сам, без ансамбля, изнурённый муками совести добровольно сообщает доблестным правоохранительным органам обо всех совершённых им преступлениях и выражает желание сотрудничать со следствием и судом.

Правда, как правило, перед написанием этого процессуального документа опера из уголовного розыска старательно вбивают руками и ногами в нехорошего человека некие посылы к давно уснувшей совести, чести и… Об уме мы не говорим. Ум — это не из нашего лексикона.

Впрочем, зря я так. Сейчас совершенно другой случай. Никто никого не бил. И даже не ругал матерно. У нас с этим типом было джентльменское соглашение. Мы заключили пари. И я, со своей стороны, выполнил всё то, что обещал. В полном объёме. Теперь его очередь…

— Садись, — я указал ему на место перед столом, напротив. — Вот бумага, вот ручка. Как писать, надеюсь, знаешь?..

— Да уж знаю… — Недовольно протянул он.

Честно говоря, я понимаю его недовольство. И, как это ни парадоксально, в какой-то степени даже сочувствую. Да-да, и не надо удивляться! Такая работа…

Я не люблю потерпевших. Собственно, их, наверное, никто не любит. Почему?.. Не могу сказать про остальных, но лично у меня общение с этими несчастными, по сути, людьми вызывает острый приступ комплекса неполноценности.

Они бестолково суетятся, заглядывают мне в глаза, лихорадочно вспоминают какие-то ненужные подробности… А я… Я внимательно слушаю, киваю, делаю умное лицо, старательно записываю их слова в протокол, точно зная при этом, что всё это — ерунда. Они, насмотревшись «Знатоков», «Ментов» и прочих детективов, верят в меня. Вот, сейчас… Улыбнусь, хлопну в ладоши и всё, чего они только что лишились, вернётся само собой. А я… Я их обманываю. Обманываю их надежды и чаяния, лишаю веры в справедливость и силу закона…

Почему?.. Не буду рассказывать. Долго. Да и вряд ли интересно. Самое последнее дело для мужчины — жаловаться на несправедливость к нему судьбы. Просто из года в год растёт внутреннее недовольство самим собой. И опять же, никто в этом не виноват. В конце концов, я сам выбирал свою работу, а вместе с ней — и судьбу. По тем же «Ментам» и «Знатокам»…

Кстати, позвольте представиться — Александр Николаевич Литовец. Литовец — это фамилия, а не то, о чём вы могли бы подумать. Я ношу звание старшего лейтенанта юстиции и работаю следователем Аэропортовского РОВД славного города Красногорска. Служба моя полностью лишена какой-либо романтики. Ни тебе погонь, ни перестрелок, ни кошмарных кровавых убийств. Гоняться мне не за кем, тем более, что машину я и водить толком не умею. Впрочем, большинство моих «клиентов» — тоже.

Перестрелки… Пистолет, который закреплён за мной в оружейной комнате, я получаю раз в два-три года, в период зачётных стрельб. В остальное время он мне просто ни к чему — я кабинетный работник.

Ну, а убийства милиция вообще не расследует. По закону не положено. Не по тому закону, странному, о котором со знанием дела рассуждают киношные герои, а по настоящему, которым жёстко регламентирован каждый мой шаг, каждое слово и каждое действие в процессе проведения следственных действий.

Вот так… Зато в моём столе — десяток шариковых ручек, столько же запасных стержней, пара наборов фломастеров и много-много бумаги. Это и есть моё оружие. Да ещё Уголовно-процессуальный кодекс, который постоянно лежит под правой рукой. Моя настольная книга. Библия, Коран и Талмуд — три в одном.

Вот и всё, так сказать, вооружение, что приходится мне использовать в своей повседневной деятельности…

— Гражданин следователь, а дайте ещё листок, — попросил «клиент».

Что-то я совсем о нём забыл, однако. Ушёл в себя, в собственные размышления.

Передав чистый лист бумаги сидящему напротив «жулику», я выбрался из-за стола. Прошёлся по кабинету, разминая ноги, склонился над плечом пишущего. «Я, Таталинцев Анатолий Степанович, чистосердечно раскаиваясь в содеянных мною преступлениях, добровольно делаю следующее заявление…»

Хорошо пишет. Грамотно. И почерк разборчивый. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Татаринцев, носящий солидное «погоняло» Татарин, ушёл на свою первую «ходку» в год окончания института. Возможно, приговор был излишне суров… Мне сейчас сложно судить об этом. Я — дитя другого времени.

Мне часто приходится слышать о том, что «зона» меняет людей. Портит. Дескать, уходил хорошим мальчиком и примерным семьянином, а вернулся… Никогда не признавал этого. Мне кажется, «зона», как и армия, просто помогает, способствует тому, что человек открывает своё истинное лицо.

Становится таким, каким он, в сущности, и был от природы. Просто до поры до времени, до того, как попал в экстремальные обстоятельства, успешно скрывал от окружающих эту свою внутреннюю сущность.

Татарин в своей истинной сущности был вором. Не тем, что «в законе», в лимузине и в окружении мордастых телохранителей. А попроще. Если следовать лексике моей клиентуры, мелким «крадуном». Не особенно удачливым, не шибко счастливым в своей воровской жизни… Но, в то же время, не имеющим ни сил, ни желания что-то изменить. Как в том кинофильме: «Украл, выпил, сел… Романтика!»

К пятидесяти двум годам он имел шесть судимостей за кражи, звание «особо опасного рецидивиста», хронический алкоголизм и плохо залеченный туберкулёз. Вот и все достижения его «славного пути»… Ни семьи, ни детей, ни своего угла…

Хотя… Не только это. Есть и ещё кое-что. Но из области нематериального и даже потустороннего для обычного российского обывателя. Татарину всегда, несмотря на довольно-таки субтильное телосложение и негромкий голос, будет обеспечено лучшее место в тюремной «хате», лучший кусок с общего стола, лучшая доля в полученном с воли «греве». Там, за забором, Татарин — авторитет. Там его слово дорогого стоит…

К чему я это?.. Да и сам не знаю, честно говоря. Просто уже не первый год пытаюсь понять этих людей. Что их заставляет раз за разом идти по одной и той же, давно проторённой дороге в никуда?.. Танцевать на граблях?.. Ничему не учиться на ошибках?.. Пытаюсь — и никак не могу.

Зачем мне это надо?.. Тоже интересный вопрос. Понять противника — это ведь не обязательно простить его. Понять противника — значит, победить.

— Слышь, командир, — тихонько сказал Татарин, не поворачивая головы. — Не стой над душой. Я сказал — всё напишу. Я за «базар» отвечаю!

В последней фразе звучит нешуточная гордость за себя, любимого, за то, что верен «блатным» устоям и «понятиям». И я верю ему. Есть вещи, которые даже для них, лишённых чести и совести, остаются принципиальными.

Я отошёл в сторону. Действительно, присутствует в этом подглядывании что-то такое… неприятное. Можно подумать, что я испытываю момент своего триумфа, наслаждаюсь его поражением. Но это далеко не так…

Веник занят — настойчиво ковырял длинным шилом толстую пачку разнокалиберной бумаги, зажатой в специальное приспособление из деревянных реек — станок. Готовил законченное уголовное дело к передаче в суд. Рожица раскраснелась, пыхтел, пыжился… Шило шло туго. Вообще-то наши дамы — а их в следственном отделе большинство — в таких случаях пользуются обычной ручной дрелью-коловоротом с тонким сверлом. Но только мой сосед по кабинету принципиально не желает прибегать к «бабьим штучкам». Доказывает свою мужественность. Интересно, кому? Мне?.. Самому себе?..

— Мылом смажь, — посоветовал я, глядя на мучения коллеги. — Легче пойдёт…

— Без сопливых!.. — не поднимая головы, огрызнулся Венька.

Ну и чёрт с ним! Пусть мучается, мазохист! Я вернулся на своё место. Вообще-то самым правильным было бы допросить Татарина по моему эпизоду… А остальное потом пусть пишет. Всё равно недоказуемо.

Но я понимал — он сейчас возбуждён. Ему необходимо время — совсем немного! — чтобы успокоиться, смириться со своим поражением. Остыть. И я ему это время дал. Основы психологии… А сам начал вспоминать историю своего знакомства с Татарином…

…Мужик — один из столь нелюбимых мною потерпевших — выглядел каким-то потерянным. Всклокоченные волосы, в которые он время от времени запускал широкую и корявую, узловатую пятерню, как будто пытался найти там какие-то особенные, доходчивые и самые верные слова. Ошалелый, дикий взгляд… Торопливо летящая куда-то, невнятная речь:

— И эта, блин, нах, гражданин следователь, такая вот фигня! Ох ты же, Господи! Да как же?! Я же только на минуточку, блин!.. Не, ну надо же так! Вот только отвернулся, блин!..

Разумеется, в протокол я вношу не эти бессвязные высказывания. В моей интерпретации речь «терпилы» выглядит прилично, внятно и вполне доступно восприятию.

Всё в этом деле просто, банально и… Предельно глупо. Приехал человек из далёкого таёжного села. Ему-то самому город этот сто лет не нужен! Он в тайге вырос, она для него — дом родной, мать-кормилица! А город — и шумный, и людный, непонятный, а потому — страшный немного. Чего хорошего-то?!

Но — надо. Здоровье — оно ведь как… Сегодня есть, а завтра — нет его. И жизнь уже не в радость.

А фельдшерица леспромхозовская сказала чётко: «Может быть и рак…». Вот так прямо! Как приговор зачитала…

Конечно, может быть, а может и не быть. Но только как теперь жить, с постоянной мыслью о том, что где-то там, внутри здорового вроде как организма постоянно растёт, ширится и крепнет, сжирая человека заживо, некая враждебная субстанция? Да это и не жизнь уже! Лучше уж к яру, да в Красную головой вниз. Чтобы сразу, без мучений. Или…

Или ехать в областной центр. В Красногорск, в онкологическую клинику. Только там могут точно ответить «да» или «нет».

Вот и поехал. Путь не близкий. Сутки на моторке до райцентра, потом — трое суток в трюме речного теплохода, без белого света, в духоте и портяночной вони. Тяжело, муторно. Но всё равно — событие. Не каждый день и даже не каждый месяц отправляется местный житель в большой город, тем более, в областной центр, славный своим изобилием. В представлении сельчан Красногорск — это такое место, в котором есть всё.

Сказочные чертоги, пещера Аладдина… Земля обетованная.

Вот и тянутся в дом уезжающего гости со всего села. Заходят, присаживаются к столу, покряхтывают солидно. А потом: «Тут такое дело… Есть там, в городе, такая вот штука…» И деньги, любовно, старательно год-полтора откладываемые из кармана тянут. Глаза надеждой светятся. И как тут откажешь?.. Тем более что все здесь — свои. Если не родственники, то друзья-приятели. Все с детства знакомы.

Так что, сойдя с трапа теплохода в речном порту Красногорска, сельский житель не в больницу спешит. Здоровье подождёт — пара-тройка часов всё равно ничего не решают. А сначала — родне, друзьям и соседям угодить. То есть по рынкам, по магазинам… На «отоварку». И уже потом, с сумками, в клинику. На приём…

А там, по коридорам больничным, народа — тьма! Все какие-то испуганные, придавленные, глаза мутные… Снуют по переходам и по лестницам, как муравьи, толпятся у кабинетов, спасения ищут.

Жарко, душно да и запах здесь… Неприятный какой-то. Тоскливый. Не лекарствами пахнет, а болью, страданием человеческим. Так что ничего удивительного в растерянности и робости, охватившими вдруг приезжего, нет.

Однако держится — обратился в регистратуру, взял номерок. Честно выстоял у кабинета полтора часа, пот по лицу размазывая и с сумок глаз не сводя…

А потом — случилось. Сунулся было в кабинет, а сестра — красивая такая, серьёзная, вся в белом, аж глаз режет. Снежная королева. Только злая какая-то. Так вот, сестра эта как закричит:

— Куда с сумками?! Тебе тут что, вокзал?! Или баня какая-то?!

При чём тут баня, приезжий так и не понял. А вот то, что нельзя в стерильную чистоту кабинета врача с сумками — сообразил. Прикрыл дверь, оглянулся торопливо по сторонам…

Мужичок этот — тощенький, невидный такой, точно больной — все эти полтора часа неподалёку сидел, газетку почитывал. Тоже ждал чего-то. Иногда с приезжим переглядывались… Вроде бы и слова сказано не было, а возникло между ними какое-то чувство сопричастности, что ли?.. Братство больных людей… Вот и кинулся приезжий к нему:

— Слышь, эта, братуха, выручи! Присмотри за сумками, пока я там… — кивнул на дверь, за которой Снежная королева осталась. — А я потом…

Что будет «потом», он и сам не знал. Но был уверен в том, что сможет как-то отблагодарить человека за оказанную услугу.

Мужичонка не спеша свернул свою газету, поправил кепочку и негромко сказал:

— Не вопрос! Присмотрю, конечно… Братуха! Давай, иди, лечись…

Надо ли говорить, что через полчаса, когда совсем уже ошарашенный мужик, обстуканный, обслушанный и расспрошенный доктором, с кучей направлений в руках, вышел из кабинета, ни сумок, ни доброжелательного услужливого незнакомца в коридоре не было…

Я слушал эту банальную историю, писал протокол и злился. Принёс чёрт этого колхозника на мою голову! Это же не деревня таёжная, в которую и дорог-то нет, где все друг друга знают и двери домов не запирают! Где никому и в голову не придёт что-то чужое взять! Это — город. Тот самый, в котором мы не всегда знаем имена соседей по лестничной площадке. Тот самый, в котором мы по своей воле отгораживаемся от мира и друг от друга стальными тюремными дверями и решётками на окнах. Тот самый, в котором человек человеку — волк. А этот! Вот уж верно говорят «жулики»: «Лох — это судьба!»

Вот только злился я не столько на него, сколько на себя. Такая вот «кража на доверии» в онкологии далеко не первая. И до сих пор никого мы не нашли. И найти вряд ли сможем — доказательств ноль. А то, что у «братухи» родинка «вот тут»… Так это не доказательство. Ведь никто не видел, как он эти сумки волок.

Но гость нашего города с надеждой заглядывает мне в глаза. Он ведь тоже «Ментов» смотрел… Он верит в меня. Пока ещё верит…

Самое страшное для мужчины — это ощущение собственной беспомощности…

Всё, что я могу — это составить кучу совершенно бесполезных, никому не нужных бумаг. А потом тоненькая папочка уголовного дела займёт своё место в самом дальнем углу моего сейфа, в куче таких же, безнадёжных «темнух». И будет она там лежать, пылиться…

Честно говоря, я, к своему стыду, не знаю сроков, по истечении которых уголовное дело, оставшееся нераскрытым, сдаётся в архив или уничтожается. Что, впрочем, одно и то же.

И, по существу, я тогда выполнял лишнюю, никому не нужную работу. Как мог, успокаивал потерпевшего селянина, обещал направить в аэропорт наряд омона (что бы он там делал?!) и говорил прочие благоглупости. Принято так. Чтобы, значит, сохранить у гражданина остатки веры в силу властей.

Ну, а после того, как горюющий приезжий удалился, проделал все положенные формальности и с чистой совестью, как и собирался, бросил это дело в сейф. Как я думал, навсегда. Однако оно напомнило о себе раньше, чем я ожидал…

Как уже говорилось, приезжему выдали в клинике кучу направлений на сдачу разнообразных анализов. И получалось так, что для того, чтобы все их сдать ему приходилось ежедневно пересекать город по диагонали, с одной окраины на другую, с одного берега Красной — на другой.

А человек не местный, в славном нашем городе впервые, маршрутов автобусов не знает… Вот и получилось так, что сдавал он их больше недели. Другой бы, наверное, на его месте давно бы уже плюнул на это дело и — будь что будет! А вот он — настырный. Потел в очередях, блудил в хитросплетении городских улиц и переулков… Но упрямо сдавал. А как же не сдавать, если самый

настоящий доктор, солидный такой, с усами, сказал: «Сдавайте! А потом—ко мне на приём…»

Вот и пришёл… А там, на том же самом месте и даже, кажется, с той же самой газеткой—старый знакомый! «Братуха»! И родинка—в том же месте!

Не исключено, что будь на месте приезжего городской житель, «братуха» бы вывернулся. Человек авторитетный, поговорил бы «за жизнь», «по понятиям»… Объяснил бы, что «терпила» не прав…

Вот только лесоруб—деревня!—не понимал, что перед ним авторитет. Человек серьёзный и даже в чём-то опасный. Сгрёб гада за шкирку и заорал что было сил:

— Вызывайте милицию!

А когда «братуха» вознамерился высказаться, просто засветил тому в глаз и посоветовал:

— Пасть закрой!

Вот так и состоялось наше с Татарином знакомство…

Как и сейчас, он сидел напротив, через стол. И я не знал, что с ним делать. То, что именно Татарин «замолотил» эту кражу, сомнений не было. Ни у меня, ни у потерпевшего. А вот доказательств—ноль целых хрен десятых.

Ну, проведу я обыск на квартире подозреваемого… А что это даст? Да ничего! Татарин слишком опытен, чтобы у него что-то из похищенного лежало дома. Да и можно ли назвать «домом» двенадцать «квадратов» в «секционке», с разбитой дверью и мутным, никогда не мытым окном? Вряд ли.

Кроме того, сам факт того, что Татарин опять вышел на промысел, говорил прямо и недвусмысленно—украденные у наивного приезжего вещи уже проданы, а деньги—пропиты.

Провести опознание?.. Пусть и косвенное, но доказательство. Но после того как «терпила» сам поймал подозреваемого, опознание уже просто невозможно. Даже незаконно.

Разумеется, и о задержании речи не идёт. Всё равно ведь отпущу… А потом буду прокурору отписываться… За грубое нарушение законности и необоснованное задержание. Оно мне надо? Тем более что совсем скоро мне очередное звание получать.

Конечно, киношные менты нашли бы выход из этой тупиковой ситуации… Но кино—это кино. В жизни всё немного по-другому…

Самое обидное было то, что и сам Татарин всё это прекрасно понимал. Тюремные университеты—они иногда больше настоящих значат… Теория без практики мертва. А у наших противников практики—в избытке.

Но допросить я его всё же был обязан… Поэтому попросил потерпевшего:

— Подождите пока в коридоре. Я вас приглашу.

Бросив напоследок неприязненный взгляд в сторону Татарина, селянин неохотно вышел. Я полез в стол, за бланком протокола допроса.

Татарин, убедившись в том, что дверь за спиной «терпилы» плотно закрылась, немного расслабился. Лицо чуть обмякло, исчез страх из глаз, поза стала более раскованной, вальяжной.

— Слышь, командир,—начал он.—Давай не будем в детство играть. Ты же сам прекрасно знаешь, что ничего вам тут не обломится. Ничего ты мне не докажешь.

И, хотя он был во всём прав, меня покоробила та развязность и уверенность, с какой это было сказано. Это что же получается?! Меня, «государева человека», будет какой-то «зэк» учить?! Что мне делать, а что нет?! Да не будет такого!

Продолжая копаться в столе, я пытался подобрать значительные и весомые слова, чтобы разом поставить наглеца на место. И, как это ни печально, не находил…

«Чёрт с ним!—подумал я, вынимая бланк.—Допрошу—и пусть идёт! А операм скажу, пусть присмотрят… Глядишь, и выкрутят что…»

Подняв голову, я наткнулся глазами на нахальный, самодовольный взгляд подозреваемого.

— Слышь, гражданин следователь,—он растянул бледные губы в глумливой улыбочке.—Я показаний давать не буду. Не могу. Мне этот бугаина колхозный в глаз так засветил!.. Всю башку стряхнул. Ничего не соображаю, круги перед глазами, тошнит…

Он со знанием дела перечислял симптомы сотрясения мозга. А у меня потихонечку росло и крепло какое-то странное чувство. Злость—не злость… Что-то такое, протестное, замешанное на обиде, как на себя, на свою беззубость и беспомощность, так и на державу, которая, защищая права преступника, не думает о правах тех, кто пострадал от их действий.

— Так что отпускай, гражданин начальник!—подвёл Татарин черту своему выступлению.—Или «скорую» вызывай! Плохо мне…

И он скорчил страдальческую физиономию. Но почему-то она не вызвала у меня ни доверия, ни сочувствия. Наоборот—эта грустное и одновременно наглое одутловатое лицо стало той самой последней каплей, которая переполнила чашу моего терпения. И я принял решение. На первый взгляд—безумное. Ну, по крайней мере, меня бы не поняли. Ни Веник, который за соседним столом допрашивал тридцатилетнего разбойника, задержанного с поличным. Ни Татьяна Николаевна Бычкова, наш старший следователь сектора. Ни Ниночка Волк—такая же, как и я, следователь-«темнушница».

Только я сейчас думал не о них. И не о законе. Почему-то мне вдруг вспомнился Высоцкий в роли Жеглова. И его слова: «Вор должен сидеть в тюрьме…»

— «Скорую»?..—расправляя бланк, равнодушно уточнил я.—«Скорую» можно. Чтобы справочку для «ивасей» тебе выписала.

— Какие «иваси», начальник?!—он был удивлён. И обижен. Но не растерян.—За что?!

— За всё, Татаринцев,—ответил я.—за всё хорошее. По-моему, что-то задержался ты на воле…

Он больше не пытался изображать «самого больного в мире человека». Лицо перекосило в злобной гримасе.

— Смотри, начальничек, нарвёшься!—Змеёй зашипел подозреваемый.—Я прокурору такую «телегу» на тебя накачу!.. Не обрадуешься! Ответишь за беспредел!

— Эй, ты! — рыжая Венькина голова поднялась над столом. — Язык-то придержи! А то расчирикался! Ты ещё беспредела не видел!

Мой сосед не знает толком, в чём суть дела и выступает просто из корпоративной солидарности. Сидящий перед ним разбойник тоже «даванул косяка» в сторону оборзевшего собрата. «Наехать» на «следака» — это круто! Прищурился, видимо, пытаясь вспомнить, встречались они где раньше или нет.

— Разумеется, вы можете на меня жаловаться, — теперь я был совершенно спокоен. Оказывается, не так уж много и надо, чтобы прийти в согласие с самим собой! — А пока, гражданин Татаринцев, вы будете задержаны по подозрению в совершении кражи чужого имущества.

— Всё равно выйду через двое суток, начальник! — оскалился Татарин. — А ты огребешь от прокурора! По полной огребешь! Нет у тебя ничего на меня! И не будет!

— Двое суток?! — изобразил удивление я. — Ну, это вряд ли... Лет пять — куда ни шло... При ваших-то заслугах...

— Какая «пятилетка»?! Ты чё мне «грузишь», начальник?! — вскинулся Татарин. — Ты докажи сначала, а потом уже!..

От охватившего его негодования он задохнулся, закашлялся. Откашлявшись, помотал головой, смахнул выступившую слезу. Прохрипел:

— Всё! Больше ни слова не скажу! А за беспредел — ответишь!

— Вы, Татаринцев, сядете, — я подчёркнуто не обращал на него внимания. — Всерьёз и надолго. Это я вам говорю!

— Ты?! — его возмущение зашкалило все разумные пределы. — Да кто ты такой, пацан?! Я тебе в лицо говорю — да, я этого лоха обул! А вот ты!.. Ты — докажи мне это! Замучаешься! Я больше двух дней не просижу, понял?! Я!..

— А если больше? — совершенно спокойно перебил его я.

Честно говоря, я тогда не знал ещё, что и как собираюсь делать. И вообще, зачем с таким упорством пытаюсь отыскать приключений на свою «пятую точку». Но что-то такое, смутное, не оформившееся ещё, мелькнуло в голове.

— Я если больше, Татаринцев? — повторил я. — Что тогда?

— Сколько ты меня по беспределу продержишь?! — Злобился Татарин. — День лишний?! Два?!

— Месяц! — бросил я. — И не по беспределу, а по закону. По нашему суровому, но справедливому закону. И никак иначе...

— Ха! — Татарин в азарте хлопнул себя ладонями по ляжкам. — По закону?! Хрена тебе лысого, начальник! Не получится! Сейчас не тридцать седьмой! Сейчас закон не ваш — наш закон!

— В тридцать седьмом с тобой бы никто и разговаривать не стал, чмо! — опять подал голос Веник. — Отвёл бы тебя сейчас в подвал да вкатил бы пулю в затылок! И всего делов!

— Хорошо, закон — ваш, — не позволил я сойти Татарину со скользкой дорожки, по которой он уже сделал первые шаги. — Так что, если я тебя по этому закону — по вашему! — смогу продержать месяц? Что тогда?

— Ну, если сможешь... — Татарин на мгновение задумался. А потом продолжил не без торжественности: — Тогда я тебе полный «расклад» дам! По всем эпизодам!

— Забожись! — удивительно к месту влез Веник.

Татарин презрительно покосился на моего напарника, усмехнулся. Поддёв ногтем большого пальца правой руки передний зуб, звонко щёлкнул, потом этим же оттопыренным пальцем провёл по собственному горлу и заявил внушительно:

— Гадом буду! Чтоб мне век воли не видать!

— Хорошо. Я слышал тебя. — покосившись в сторону Венькиного разбойника, я добавил: — И не только я...

Татарин тоже покосился в сторону случайного свидетеля. И, уже не для него, а для меня сказал значительно:

— Я, начальник, за «базар» отвечаю!

— Ну, вот и договорились! — подвёл я черту нашему разговору. — Мужик сказал — мужик сделал! А теперь, Татаринцев, поговорим по делу...

— А я, начальник, отказываюсь давать показания! — ухмыляясь, заявил Татарин. — Опускай в «иваси»!

И, уже откровенно хохотнув, закончил:

— Раньше сядешь — раньше выйдешь! — встал со стула, отошёл к двери и, сложив руки за спиной, бросил небрежно: — Вызывай конвойного!

Составив протокол задержания, я вернулся в кабинет. Веник со своим «клиентом» куда-то испарился. Может, на «выводку» отправился, может, ещё на какое-нибудь следственное действие. Оно и к лучшему — мне сейчас надо было побыть одному, подумать, просчитать варианты.

Минут двадцать я рисовал на листе бумаги различные геометрические фигуры. Потом, тяжело вздохнув, встал с места и отправился в кабинет Татьяны Николаевны. Как ни крути, а только в этом деле без неё — никуда...

— ...Ты точно ненормальный, Литовец! — безапелляционным тоном заявила Бычкова, выслушав меня. — Совсем дурак! Ты сам-то хоть понимаешь, о чём просишь?!..

— Понимаю...

— Не понимаешь, Литовец! — продолжала бушевать Татьяна Николаевна.

Она со мной всегда так — только по фамилии. Почему? А кто его знает. Может, фамилия ей моя нравится... Никогда не спрашивал. Да и не об этом, собственно, разговор...

Старшая между тем встала с места, прошлась по кабинету. Спросила, теперь уже немного другим тоном:

— Потерпевший что, Литовец?.. Родственник тебе? Или знакомый?

— Н-нет... — растерянно ответил я.

— И из-за совершенно «левого» мужика-растяпы ты мне такое предлагаешь?! — опять вспылила Бычкова.

Она вообще такая... Эмоциональная, резкая, взрывная. Сказывается спортивная юность — Татьяна Николаевна в своё время играла в волейбол.

«По мастерам». Может и отматерить так, что иному мужику не приснится. Может и в ухо заехать… Разгильдяистый Веник вообще её боится, как огня.

Но и следователь она, что называется, от Бога. Умный, цепкий, хваткий. Я постоянно чему-то учусь у неё. А ещё Татьяна Николаевна заканчивала не высшую следственную школу, как мы с Веником, а юридический факультет Красногорского университета. И среди её знакомых-однокашников многие известные в мире юриспруденции люди. В частности, один из советников губернатора, адвокат из «золотой пятёрки», заместитель начальника следственного управления областного увд… И председатель суда нашего района. С последним Татьяну Николаевну в период беззаботного студенчества связывали даже какие-то романтические отношения. Которые со временем трансформировались в просто дружеские…

— Обокрали его — так сам виноват! — продолжала бушевать Бычкова. — Не фиг хлебалом щёлкать! Приехал, понимаешь, из своего колхоза!..

И вдруг — резкий, необъяснимый переход:

— Литовец, ты что, хочешь мир изменить?.. — Вот эту, последнюю фразу, Бычкова произносит неожиданно тихо и… Мне показалось?! Или на самом деле в её словах прозвучали сочувственные интонации?!

Я настолько растерялся, что не сразу нашёлся, что ответить. Да и какой тут можно дать ответ?..

— Зря, — старшей мой ответ и не нужен. — Может, этот мир и изменится… Но не при нашей жизни.

Татьяна Николаевна возвращается за стол и склоняется над очередным делом — толстенным бумажным «кирпичом», лежащим перед ней.

Я стоял перед ней, не понимая ещё, что она мне ответила. Да?.. Или нет?..

Бычкова подняла голову, посмотрела на меня… Наверное, так могла бы смотреть на дохлую мышь утончённая гимназистка.

— И что ты тут толкаешься, Литовец?! — в обычной своей манере спросила она. — Тебе что, делать нечего?! Иди, работай!

Я направился к двери — уговаривать старшую бесполезно. Не потому, что она упряма… Просто нет у меня весомых, логически обоснованных аргументов. Только эмоции… То, что сама Татьяна Николаевна презрительно называет «соплями».

— Я позвоню… — уже на пороге услышал я слова старшей.

— Спасибо! — развернулся я к Бычковой.

Та неожиданно улыбнулась, подмигнула мне и пробасила голосом Папанова:

— Сядем усе, Козлодоев! — и тут же, смахнув улыбку с лица, рявкнула: — Иди работай! Понабрали бездельников! Куда только Ашот смотрел!..

Она ещё что-то кричала мне вслед, но я уже не слушал. Я торопливо бежал к своему кабинету — мне предстояло ещё о многом договориться с Веником, Ниночкой Волк, участковым Ившиным… Ну, и ещё кое с кем. Мне предстояло немало возни.

Но только, несмотря ни на что, по моему лицу гуляла какая-то неуместная, дурацкая улыбка…

…На следующий день Татарин также отказался от дачи показаний.

— Сам понимаешь, начальник, — нахально ухмылялся он мне в лицо, — моё право! Так что готовься завтра меня отпускать!

Я молча оформлял его отказ — каждый мой шаг во время расследования сопровождается кучей документов.

— А как там «терпила» себя чувствует? — продолжал глумиться «крадун». — Не болеет?

— Здоров, — ответил я. Молчать сейчас было просто глупо. — Домой поехал…

— Правильно! — подхватил Татарин. — Умный мужик — понимает, что дрын ему тут что обломится!

— …Но через месяц приедет, — равнодушно продолжал я.

— Это ещё зачем?! — картинно удивился задержанный.

— Для участия в следственных действиях, — подписывая протокол, сообщил я. — Вы подписывать будете, Татаринцев?..

— Ха! — вызывающе осклабился «жулик» в ответ.

— Понятно… — приписав внизу заполненного бланка «подозреваемый от подписи отказался», я уложил протокол в папку и встал с места: — До завтра!

— Да уж скорее бы! — подмигнул мне Татарин. — Домой охота — помыться, побриться…

В ответ я лишь пожал плечами — сказать мне было нечего…

Утром другого дня, того самого, в который Татарин рассчитывал встретить свою свободу, в нашем с Венькой кабинетике было необыкновенно многолюдно. Мы с Веником — это само собой. Ниночка Волк — она иногда забегала к нам покурить. Татьяна Николаевна, с которой она делила кабинет, табачного дыма не переносила. И ещё две студентки-«педагогини» из общаги через дорогу от райотдела. В этом общежитии мы обычно ищем понятых, когда их участие необходимо.

Короче, яблоку негде упасть. Не удивительно, что Татарин остановился на пороге, подозрительно оглядывая присутствующих. Он явно ожидал с моей стороны какого-то подвоха. И, наверное, не зря…

— Проходите, Татаринцев, присаживайтесь, — предложил я, не поднимая глаз.

Татарин, сохраняя независимый вид, прошёл к моему столу и занял место напротив.

— Вы, Татаринцев, подождите немного, — ровным голосом, не глядя на него, попросил я. — Минут десять. Мне тут кое-что надо срочно сделать… А потом оформим протокол освобождения из ивс…

— Да можно и без протокола, начальник! — Татарин немного расслабился, на физиономии проступила самодовольная улыбочка. Помолчав немного, добавил тихо, вполголоса, можно сказать, интимно: — Всё, спёкся, начальничек? Всё правильно! Молодой ты ещё! Вот лет через пять…

Что будет через пять лет, он так и не сказал. Может, и сам не знал. Просто хотел придать своей личности большую значимость. Этакий матёрый урка…

Я промолчал. Сказать нечего. Как говорят полицейские в американских фильмах, «ноу комментс».

— А вот ещё анекдот! — продолжал Веник прерванный появлением Татарина разговор. — Значит, так…

Анекдот — жутко «бородатый». Как Толстой, который Лев Николаевич. И рассказывал Веник плохо, неумело. Да и перевирал безбожно. Но длинную матерную тираду в конце выдал с нескрываемым удовольствием, громко, от души.

Ниночка загадочно улыбалась и, мечтательно глядя куда-то вверх, пускала колечки дыма. «Педагогини» покраснели и отвернулись, но дружно захихикали… Я краем глаза наблюдал за Татарином. Он возбуждён — как бы не хорохорился, а всё равно, немного боялся, сомневался. Вдруг я действительно, что-нибудь придумаю? А сейчас он уже чувствовал запах свободы… И, глядя на мою унылую физиономию, испытывал момент своего торжества. Можно сказать, триумфа.

— Тоже анекдот… — Ниночка изящно погасила окурок в любезно предложенной Веником пепельнице.

Анекдот тоже старый. И с «картинками». Причём в изложении Ниночки — девушки красивой, яркой, ухоженной — он звучал особенно пикантно. Только она почему-то опять всё путала…

Татарин не выдержал на третьем анекдоте.

— Да не так совсем! — подал он реплику.

— А как? — заинтересованно развернулся к нему Веник.

— А вот так!.. — «жулик» начал рассказывать.

Получалось у него намного лучше, ярче чем у Веника и даже у Ниночки. Артист, что тут скажешь. Такие вот кражи «на доверии» — его «специализация» — требуют от исполнителя некоторых актёрских навыков…

И нет ничего удивительного в том, что концовку анекдота в исполнении Татарина встретил громкий взрыв хохота. Смеялись все — Ниночка, Веник. Даже «педагогини». Все, кроме меня.

— А вот ещё… — поощрённый общим вниманием, Татарин начал очередной анекдот. Разумеется, опять с «картинками» — тоже своего рода вызов властям. Когда он ещё сможет вот так, на равных, совершенно безнаказанно материться в «присутственном месте»?.. Вроде как и мелочь, а всё равно, приятно греет самолюбие «жулика».

— Сейчас вернусь, — негромко сказал я и вышел из кабинета.

— Что, пора? — Вадим Ившин, участковый инспектор, уже ждал в коридоре.

Я молча кивнул — да. Пора.

Вадим шагнул за дверь. Я чуть придержал дверную ручку, оставив небольшую щель и прислушался к происходящему внутри кабинета.

Громкий взрыв хохота — Татарин закончил рассказ длинной матерной фразой. Потом, в наступившей тишине — басок Вадика:

— Слышь, мужик, я не понял — а ты чего материшься?

— Так я это… — растерянный голос Татарина. — Анекдот…

— Ну и что?.. — молодец Вадик! — Теперь можно материться?! Здесь, между прочим, общественное место…

— Так это… Всё же…

— Да ты, мужик, смотрю, совсем оборзел! — возмущение участкового безгранично. — Мало того, что ты выражаешься нецензурной бранью в общественном месте, так ты ещё и на сотрудников милиции наговариваешь?! Будем составлять протокол!

Дальше я слушать не стал — мне надо было ехать в суд…

…Председатель районного суда — солидный мужчина лет сорока — пролистнул материалы административного дела. Протокол, рапорт Вадима, объяснения студенток… Поднял глаза на Татарина, стоящего перед его столом.

— Значит, выражались нецензурной бранью в общественном месте, на замечания не реагировали, пытались оказать неповиновение сотруднику правоохранительных органов?..

— Да какое неповиновение! — пытался что-то объяснить Татарин. — Я и слова плохого не сказал! А что матерился… Так они сами начали!

— Во, ещё и наговаривает! — подал реплику сидящий у стены Ившин.

— Понятно, — кивнул председатель суда. — Значит, вины своей не признаёте, в содеянном не раскаиваетесь?..

Татарин не успел ничего ответить — судья вынес решение:

— Административный арест сроком на пятнадцать суток!

— Я буду жаловаться! — обиженно взвыл «жулик».

— Ваше право, — равнодушным тоном ответил судья. И, уже обращаясь к Вадиму: — Забирайте. Постановление сейчас оформят…

Когда сопровождаемый участковым Татарин покинул кабинет, я вышел из соседней, смежной с залом суда комнаты секретаря.

— Спасибо, Владимир Осипович…

— Собственно, не за что, — рассеяно ответил судья. — Передавай привет Татьяне… Николаевне.

— И это… — я немного помялся, потом спросил напрямую: — У вас не будет неприятностей?

— Ты о чём?! — Судья с удивлением посмотрел на меня.

— Ну, из-за этих суток…

— А, вон что! — усмехнулся Владимир Осипович. — Не будет. Мера, конечно, сейчас непопулярная… Но формально я имею полное право на вынесение такого решения. Так что пусть жалуется!

— Спасибо! — ещё раз поблагодарил я и вышел.

Татарин, пристёгнутый наручниками к запястью Вадика, ждал в коридоре. Увидев меня выходящим из кабинета судьи, вскинулся, оскалился злобно.

— Это беспредел, гражданин начальник! — брызгая слюной, заверещал «жулик». — «Постанова» гнилая!

— Не понял?!.. — «удивился» я. — Вы о чём, Татаринцев?!

— «Сутки»! — орал Татарин. — Это твои «прокладки», гражданин начальник! Я жаловаться буду!

— На что? Вы хотите сказать, что это я силой заставил вас материться?!

— Ты меня подставил! Твои кенты специально анекдоты рассказывали!..

— Послушайте, Татаринцев,— спокойно начал я,— они ведь не просили вас присоединяться к их компании? Они не просили вас рассказывать анекдоты. Это был ваш собственный выбор. Вы ведь могли просто промолчать?..

Вместо ответа «жулик» отвернулся.

— Могли,— ответил я за него.— Но не промолчали. Так что предъявлять претензии вы можете только себе самому.

— Сутки ты выпросил!— упрямо огрызнулся Татарин.— Иначе что бы тебе здесь делать?

— Ну, я, конечно, не обязан перед вами отчитываться…— сказал я.— Но почему вы так уверены, что у меня не может быть каких-то своих дел в суде?.. И вообще… Неужели вы думаете, что я, простой следователь, мог оказать давление на суд?!..

Арестованный горестно махнул свободной рукой и буркнул себе под нос:

— Все вы одним миром мазаны…

— Всё по закону, Татаринцев. По вашему закону! Так что всего доброго!— «не расслышал» я.— Встретимся через пятнадцать суток!..

Пока Татарин «припухал» на казённых харчах в спецприёмнике, я тоже не сидел сложа руки.

Для начала просто заехал к своей старой знакомой, Альбине Колбиной. Мы учились на одном курсе в «вышке». Правда, по окончании она пошла не в следствие, а в паспортно-визовую службу. Оклад чуть поменьше, но и хлопот— тоже. Служебный рост обеспечен— она уже была старшим инспектором областного адресного бюро. И ответственности— никакой… Что, наверное, её больше всего и устраивало.

Впрочем, не буду злословить. В конце концов, каждый сам выбирает, каким путём ему идти. И кто я такой, чтобы осуждать кого-то всего лишь за стремление к покою?.. Тем более что само это знакомство оказалось сейчас весьма кстати.

Купив коробку конфет побольше и подороже, я отправился в адресное бюро. Мне повезло— Альбина оказалась на месте. И даже была рада моему появлению. Или появлению конфет?.. Хотя не суть.

Выпив по кружке чая и поболтав об однокурсниках— кто, где, кем и с кем— я перешёл к делу:

— Слушай, Аля, а как бы мне порыться в твоих массивах?

— Нет ничего проще!— несколько свысока усмехнулась старший инспектор.— Письменный запрос…

Я молча смотрел на неё, стараясь придать своей физиономии по-собачьи преданное выражение.

— Понятно…— на лицо Альбины набежала лёгкая тень.— Ну, можно ещё позвонить дежурному по области и с его разрешения…

Я опять промолчал.

Теперь уже однокашница нахмурилась. Побарабанила пальцами по столу, покосилась в сторону яркой конфетной коробки…

— Ой, Литовец, да иди, копайся!— лицо её разгладилось.— Тоже, нашли военную тайну!

— Спасибо, Алечка!— быстро перегнувшись через стол, я осторожно коснулся губами её приятно пахнущей щеки.— Навеки твой должник!

— Иди уже!— отмахнулась Колбина.

…Огромная комната, вся уставленная ровными рядами несгораемых металлических шкафов. Целый город шкафов, ровные ряды которых образуют проспекты, улицы и переулки. Нечто подобное можно увидеть в какой-нибудь большой библиотеке. Кстати, и тишина здесь такая же. Даже постоянно снующие между шкафами девушки никак её не нарушают. Порхают, как бабочки или как привидения. Кажется, что и пола не касаются, парят над ним. Хотя на самом деле, это всего лишь иллюзия. Просто все они в мягких пушистых тапочках— работа такая…

Одно из самых малоизвестных подразделений паспортно-визовой службы— областное адресное бюро. Про его сотрудников не снимают кинофильмы, не пишут газетных статей, а сотрудники не носят оружия и крайне редко надевают форму. И вообще, большинство работающих здесь девчонок вольнонаёмные. А малоизвестное оно не потому, что окружено завесой строжайшей секретности.. Просто о его существовании знают только специалисты, узкий круг посвящённых. Которые, собственно, и используют возможности этого подразделения в своей повседневной деятельности.

Наверное, каждый из нас, проходя регистрацию по месту жительства, заполнял карточки. Листки убытия и прибытия, четвертушки плохой бумаги, на которых каждый законопослушный гражданин своей собственной рукой оставляет основные сведения о себе. Не думая, кстати, о том, для чего это делается. Просто принято так. Положено.

Забывают о том, что в системе МВД ещё со времён Лаврентия Павловича никакая бумага зря не пишется. И не пропадает бесследно. А листки эти занимают своё место в картотечных ящиках областного адресного бюро. И любой сотрудник милиции, набрав «хитрый», не афишируемый номер телефона, и назвав пароль, может проверить данные того или иного гражданина. Или получить другую необходимую информацию о вызвавшей профессиональный интерес личности.

Иногда, в тех случаях, когда необходимо отработать большое количество народа, девочек не напрягают. Приезжают с письменным запросом— как говорила Альбина— и копаются в пыльных бумажках сами.

Казалось бы, что ничего такого страшного в этом нет. Ну разве будет нормальный человек писать о себе в официальной бумажке какие-то компрометирующие данные?!

Однако наши опера способны творить с массивами КАБа— Красногорского адресного бюро— настоящие чудеса! Где-то что-то услышали, «пробили» по адресному, куда-то скатались, с кем-то поговорили… И вот уже имеют полную картину преступления. И данные на преступника…

Ну, да это ладно. Так, ни к месту и даже не совсем ко времени. У меня здесь— вполне определённая цель и я сразу направился к ящику, на котором приклеена бумажка, на которой аккуратным почерком написано: «*Тата— Тате*».

Выдвинув длинный ящик, в котором одна к одной, как патроны в обойме, были уложены те самые карточки, я начал быстро их перебирать,

время от времени воровато поглядывая в сторону пробегавших мимо девочек. Отобрав несколько штук, присел к стоящему рядом столу. Достал из кожаной папки — постоянной моей спутницы в походах и поездках по городу — чистый листок бумаги.

Быстро выписал данные с карточек на лист, убрал его в папку. Сунулся было к шкафу, чтобы расставить карточки по местам, но одна из пробегавших мимо девушек бросила негромко:

— Оставьте на столе! Я потом сама…

Не стал спорить со специалистом — всё же они намного лучше меня знают, что тут и как нужно делать.

На выходе, прощаясь, махнул рукой Альбине, дверь в крошечный кабинетик которой была открыта. Не знаю, видела она или нет… Я торопливо, не задерживаясь, выскочил за дверь.

Оказавшись на улице, несколько раз глубоко вздохнул, хватая широко открытым ртом пропитанный бензиновыми парами и запахами гудрона воздух. Сунув руку в карман пиджака, пощупал мятую бумажку, которая там лежала. Перевёл дыхание, помотал головой…

Вот же чёрт! Казалось бы, ну что я такого сделал?! Всего лишь сунул в карман одну-единственную карточку. Можно сказать, случайно, по запарке… А ощущение такое, как будто я хранилище госбанка «обнёс» и теперь должен уходить от погони.

Но, так или иначе, а дело было сделано. И карточки Татарина в массивах адресного бюро больше нет… И, скорее всего, никто этого просто не заметит. Что значит одна-единственная бумажка среди миллиона себе подобных?.. Песчинка на морском пляже, пропаже которой никто не удивится. Просто не заметит.

Зачем мне это было надо?.. Ну, можете считать это мелкой пакостью. Хотя… Как сказал когда-то Веник, проявив несвойственное ему глубокомыслие, в нашей работе не бывает мелочей. И то, что я сделал сейчас, было всего лишь небольшой «домашней заготовкой». Как в шахматных матчах мастеров. Неожиданный и вроде бы случайный ход… На разработку которого были потрачены долгие часы…

…В следующий раз с Татарином мы встретились через пятнадцать суток. Он отсидел свой срок административного наказания так, как, собственно, и положено авторитету — «от звонка до звонка». Вообще-то уйти из спецприёмника не составляет большого труда — административно арестованных выводят на «общественно-полезные» работы в город, где их никто толком и не контролирует.

Но на деле Татарина было написано: «Без вывода на работы». И пришлось ему, бедолаге, все пятнадцать суток безвылазно «париться» в душной и не особенно чистой камере. Конечно, ему — не привыкать ни к дверям с запорами, ни к «решкам»… Но только одно дело — в тюремной камере, с санузлом, с обязательным еженедельным выводом в баню, с передачами и отоваркой в ларьке. И другое дело — в спецприёмнике. Заведении, которое не является учреждением пенитенциарной системы и на которое, следовательно, не распространяются решения многочисленных международных конвенций и конференций по правам заключённых.

Так что когда его в очередной доставили к нам в отдел, вид «жулик» имел несколько помятый. Одёжка пообтёрлась, пообшоркалась по «шконкам» спецприёмника. Да и уверенности в глазах и в движениях поубавилось… Теперь в них поселились растерянность и испуг. Даже, я бы сказал, какая-то забитость. Сейчас Татарин внешне ничем не напоминал «жулика», пусть и невысокого полёта, а был больше похож на обычного бомжа, которых полным-полно на городских улицах и помойках. Ну, да оно и к лучшему…

— Подождите здесь, Татаринцев, — попросил я в коридоре, у дверей своего кабинета. — А то пахнет от вас…

Он смущённо отвернулся, не пытаясь протестовать или возмущаться. Подавлен… Для него «зачушкариться» — страшнее смерти. Он сейчас боялся только одного — что его увидит в таком вот состоянии кто-нибудь из старых знакомых. Стоит паинькой, головёнку опустил… А я, уже входя в кабинет, увидел, как в конце коридора появился Вадик Ившин…

Минут через десять на моём столе зазвонил внутренний телефон.

— Литовец?.. — и, не дожидаясь ответа: — Спустись на шесть сек в дежурную часть.

Я не спеша выбрался из-за стола.

— Ты куда? — живо поинтересовался Веник. Его вообще, очень занимало происходящее между мной и Татарином. Но, кроме того, единичного случая с анекдотами, ограничивался ролью стороннего наблюдателя. Даже, несмотря на всю свою словоохотливость, никоим образом, ни словечком не комментирует происходящее.

— Да так… — неопределённо ответил я. Это тот случай, когда хвастаться мне совсем не хочется. Да и нечем. Сомнения, сомнения… Нудно точит где-то глубоко внутри червячок. Я не уверен в том, что всё сделанное мною — правильно. Или порядочно?.. Иногда мне кажется, что я уже зашёл слишком далеко. Можно было бы сказать — заигрался. Вот только для меня происходящее — не игра. Если выражаться языком спецслужб, я уже миновал свою «точку возврата» и обратная дорога для меня закрыта. Так что остаётся мне только одно — идти вперёд.

Это — выражаясь фигурально. На самом же деле я просто спустился в «дежурку».

— Слушай, Литовец, тут такое дело… — начал оперативный дежурный, «вечный капитан» Никодимыч. — Там…

Он небрежно отмахнул большим пальцем правой руки за плечо, в сторону «обезьянника», за решёткой которого виднелась грустная физиономия Татарина.

— …Сидит у меня человечек. Ившин задержал за бродяжничество. Так вот, человечек этот утверждает, что ты его знаешь и что у тебя даже его паспорт есть…

Никодимыч ничего не спрашивал — просто рассказывал. И при этом испытующе смотрел на

меня. Ждал… Для него ведь главное что?.. Отстоять свою суточную смену, при этом постараться не попасть ни под начальственный гнев, ни под прокурорскую проверку… И он ждёт сейчас с моей стороны какого-то подвоха. Хотя… Он ждёт этого подвоха от каждого из тех, кто не принадлежит к дежурной смене, уверенный в том, что все службы милиции созданы лишь для того, чтобы портить ему жизнь в течение дежурных суток.

— Что за человечек? — равнодушным тоном, с ленцой уточнил я.

— Некто Татаринцев… — «оперативный» пытался высмотреть на моём лице отголоски эмоций.

— Да, у меня проходил такой недели две назад подозреваемым, — спокойно ответил я. — Вот только паспорта… Нет, у меня его паспорта нет. Отсидел «сотку», обвинения предъявлено не было… Я его отпустил. Так что ничем помочь не могу!

Казалось бы, я дал исчерпывающий ответ. Но только Никодимыч всё ещё смотрел недоверчиво. Приходилось отдать должное — интуиция, а если точнее, то инстинкт самосохранения развиты у него просто великолепно!

— Всё? — Спросил я у дежурного. — Или ещё что?..

Никодимыч всё ещё медлил с ответом. Думал, сопоставлял… И тут, как нельзя кстати, подошёл помощник дежурного, сержант Хохлов.

— Тут это… — пробурчал помощник. — «Пробил» я, короче, его по адресному…

— Ну и что?! — заинтересовался Никодимыч.

— Так это… Не значится. — развёл руками сержант.

— Ладно, Литовец, — принял решение дежурный. — У меня больше вопросов нет… А ты…

Это уже Хохлову.

— …Справку напиши по проверке. Чтобы всё у нас ровненько было. Будем этого Татаринцева в приёмник-распределитель оформлять…

Перед тем, как покинуть «дежурку», я заметил краем глаза — Татарин за решёткой подавленно опустил голову, обхватив её руками. Кажется, проняло… Плод созрел. И мне теперь остаётся совсем немного подождать, пока он сам свалится в мои руки.

Ждать пришлось даже меньше, чем я ожидал. Минут через двадцать в дверь кто-то поскрёбся.

— Войдите! — крикнул я.

Дверь приоткрылась и в образовавшуюся щель просунулась круглая мордочка Хохлова. Окинув взглядом кабинет, сержант в первую очередь по-приятельски буркнул в сторону Веника:

— Привет! — и потом, обращаясь уже ко мне: — Там это… Ну, Татаринцев… Следователя требует… Что сказать?

— А что тут говорить? Приведи его ко мне…

— Щас, — ответил сержант и исчез.

Минут через двадцать порог моего кабинета переступил Татарин.

— Всё, командир, хватит! — заявил он. — Всё! Признаю — ваш закон! «Явку» пишу, век воли не видать!

И хлопнул потёртой и засаленной за время своего вынужденного путешествия по «ивасям» и спецприёмникам кепчонкой об пол. Впрочем, об это я уже рассказывал…

— …Всё, я закончил! — Татарин шумно выдохнул, положил ручку и откинулся на спинку стула. — Зацени, командир!

Я взял листки, быстро пробежал глазами текст… Практически все кражи, совершённые в онкологическом центре за последние полгода — то есть за то время, что Татарин находится на свободе. Конечно, очень многое, большая часть, недоказуемо. Но вот здесь… И вот здесь… Вполне возможно. Я помню эти дела.

— Слышь, гражданин следователь, — Татарин не дожидается того момента, когда я прочту всё до конца и выскажу своё мнение. Ему это мнение просто неинтересно. — Поговори с операми, пусть меня домой свозят. Ну, там помыться, переодеться… На «кичу» собраться. А я кое-что из вещей отдам…

— Дома хранили?! — удивился я. Неужели с самого начала достаточно было просто провести обыск?! И не пришлось бы прибегать к таким вот трюкам на стыке закона и полного беззакония?!

— Я чё, больной?! — усмехнулся Татарин. И объяснил: — В доме продавал. По соседям. Кому именно — покажу…

— Хорошо, — согласился я. — Пока пошли в «дежурку». Там посидите…

В свой кабинет я вернулся минут через двадцать — понадобилось время, чтобы уговорить Костю Самохвалова, опера с нашего сектора, «скататься» с Татарином к нему «на хату». Поначалу Костя упирался… Но когда узнал о том, сколько на себя «загрузил» Татарин, как-то сразу подобрел и согласился.

— Слушай, Саня… — Веник, стоя у моего стола, вертел в руках явку с повинной Татарина. И лицо коллеги было таким… Задумчивым. — Я, конечно, это… Ничего, в смысле… Но только на фига оно тебе надо?

Теперь наступила моя очередь подумать… А ведь действительно, зачем? Вопрос более чем интересный. И ответа — прямого, ясного, чёткого — у меня нет.

Разве не всё равно — одним нераскрытым преступлением больше, одним меньше? Ведь отпусти я Татарина сразу — и никто бы ни в чём меня не упрекнул.

Формально закон не был бы нарушен. А разве это не главное в нашем деле?..

Наверное, да. Если закрыть глаза шорами из кодексов. Если постоянно бежать по одной узкой, проторённой дорожке, не делая ни шага в сторону. Если вместо живых людей видеть только постановления и протоколы. Если не воспринимать чужую беду как свою. Если не слышать человеческую боль…

Смогу ли я так?.. Наверное, нет. Несмотря ни на что, я ещё сумел сохранить остатки по-детски наивной веры в справедливость. И пусть это понятие не принимается во внимание Законом… Я служу именно ей. И во имя неё.

И ещё одно — ошиблась Татьяна Николаевна. Я вовсе не пытаюсь изменить мир. Просто ищу своё место. И своё предназначение в этом мире.

Олег Димов

Дети длинных ветров

Север отнимает у человека ум. Вы приезжаете сюда заработать денег, живёте год или два и начинаете забывать, зачем приехали. Вас уже устраивает оклеенная газетами комната в щитовом бараке.

Барак стоит на северной окраине посёлка, и его жильцы считают, что живут на побережье, до которого, на самом деле, ещё сотни километров. Но это не имеет значения, потому что между окнами барака и океаном ничего нет, кроме холмистой тундры. Иногда кажется, что северный ветер приносит солоноватый запах моря и шум бьющихся о берег волн. Вы можете увидеть в окно белого медведя, оставившего океан для странствий и заночевавшего на поселковой свалке. Если у вас нет бинокля — он далеко, и не страшен. Вы можете наблюдать долго, как он роется в отбросах из столовой, пока не набегут собаки и Никита с винтовкой. Никита — первостроитель посёлка, охотник, проводник, погонщик ездовых собак. Никите бинокль не нужен, у него — оптика. Он известен тем, что имеет всё самое лучшее: гладко-смолистый, словно слаженный из крыльев ворона, ходкий баркас, убойную винтовку, упряжку неутомимых собак, жену-красавицу и сына-крепыша, отдельную квартиру, пропахшую ружейным маслом, дымом от меховой одежды и спальных мешков.

Длинные ветры с норд-оста выдувают из посёлка легковесный народ, уносят в края чернозёмные и на побережья южных морей. Остающиеся вписаны крайностями натуры в нестандартную жизнь Приполярья. На Большой земле жизни закреплены за этажами, ближайшей булочной, номером автобуса, дачными грядками. Круги дневные, недельные, годовые. Жизнь посёлка не укладывается в круги. Каждый новый день — движение в незнаемое, зависящее от расклада геологических карт, погоды, толщины льда на реках, наличия топлива в баках вездеходов, свободного места в тракторных санях. Любой из живущих в посёлке верит в свою звезду. Звёзды здесь близко, светят как лампадки, холодны и колючи.

Вы можете выпросить у Никиты шкуру убитого им медведя и постелить на полу в своей комнате. Потом вам захочется наклеить на стены обои, повесить оленьи рога, сделать книжную полку, начать писать стихи про Север — и вы пропали. Вы станете одним из тех, кто проклинает Север за то, что не может от него уехать.

Когда я начала ночами писать стихи при свече на подаренной Никитой шкуре, то поняла, что погибаю. В Крыму у меня родители, дом, я там родилась и выросла. Сад, виноградник, за виноградником бахча, море. Я замыслила побег, совсем не догадываясь, как глубоко медвежья шкура вцепилась в мою жизнь и судьбу своими когтистыми лапами. Надо было бы выбросить её собакам, чтоб изорвали, а я подарила Василию, который пришёл меня сватать. Она стала причиной моих несчастий.

Какая женщина скажет о себе правду или искренне похвалит подругу? Я хороша собой — это правда, но когда прохожу по посёлку рядом с подругой, Гюзелью, женой Никиты, чувствую себя болонкой, которую вывели погулять. Видная издалека, как породистая вороная кобылица в степи, Гюзель небрежно трогает землю точёными длинными ногами. А поведёт на какого мужика взглядом больших чёрных глаз — как зуб выдернет: защемит у него сердце. Гюзель — стоматолог. Это она развела меня с мужем в женский день Восьмого марта.

Весной геологи встречают самолёты, чая захватить студента-практиканта, гренадера в брезентовых латах и болотных сапогах — вьючное животное для маршрутов. Мой муж выбирал не по развороту плеч, а по округлости груди, чтобы она гармонировала с округлостью коленей, а цвет глаз — с цветом колготок. После полевого сезона от него ничего не оставалось для меня. Первую половину зимы жил в воспоминаниях лета, насвистывая песенку «Моя студенточка — заря вечерняя», в работе и преферансе по ночам; вторую половину — в мечтах о новой вечерней заре.

Гюзель держала речь восьмого марта в больнице, за столом в окружении белых шапочек-одуванчиков. Разговор шёл о мужиках. Сказала так:
— Я своего Никиту подобрала на свалке народов, потомков созидателей Беломорканала, среди первостроителей посёлка. Я рвала и лечила им зубы, Ленка Стрекоза *им танцевала*. Нас было здесь два человека, остальные все — мужики. Никиту я обласкала, отмыла дезинфекционным раствором, подстригла, забрала из палатки в комнату при санпункте. В смысле девичества досталась ему без кариеса, ни разу не изменила, и вправе требовать от него верности. Если он мне изменит — я его уничтожу, — продолжала Гюзель под одобрительные кивки белых шапочек-одуванчиков. — Отлучу от сына, уволю с работы. Я не вылечу ни одного зуба, не сниму ни одной боли, пока посёлок не изгонит Никиту. Как написано в Евангелии, здесь будет слышен вой и скрежет зубов. Пусть он сдохнет в изгнании — такова будет цена измене. Мой девиз — чистота: на рабочем месте, в полости рта, в семье и поступках. А вот ты, моя подруга, — сказала она мне, — есть преданная

потаскушка для мужа, потому что бываешь у него пятой или седьмой за год.

В её словах была какая-то извращённая логика, добившая моё терпение. Я развелась.

Всегда есть, чем утешиться. Я стала писать стихи и мечтать о мести. Даже из добрых чувств не надо лучшую подругу обзывать потаскушкой и разводить с мужем.

А вскоре меня пришли сватать.

Вася-железный объявился в посёлке с большой водой навигации. Вода сошла, а Вася остался лежать на речной косе, потому что был неподъёмен от выпитого и гаечных ключей в карманах, заржавел по лицу рыжей щетиной. Подобрал его поселковый механик. Опохмелил, дал чем содрать ржавчину с лица, отвёл в баню. Ладный мужик проглянулся — костистый молчун с жилистыми руками. Руки у Васи-железного словно магниты: всякий металл к ним прилипает, отчего железного хлама на улицах посёлка поубавилось, но прибавилось на территории автобазы.

А через месяц, как с конвейера, с эстакады скатился вездеход, собранный Васей-железным. Двигатель его работал на любом топливе, кроме угля и дров. По образцам, при помощи кузнечного молота, напильника и развёртки, Вася-железный изготавливал детали, какие посильны для высокоточных фрезерных станков с программным управлением. Васю оценили и не давали пить, от этого он стал тяготиться мужской силой — испытывал чувство, ранее не знаемое. Поэтому решил жениться.

Домик поселковой радистки Сони стоит на берегу реки, единственным окном развёрнут к посёлку. Соня обычно сидит у окна и смотрит — не идёт ли кто к ней за утешением. Если у кого из мужиков начинает пуржить на душе и валиться работа из рук, идёт к Соне, и она исцеляет человека: глаза у него жизнью начинают светиться, руки работу искать, душа исполняется покоя. Себя и жильё Соня содержит в чистоте, спиртного не пьёт, подарков и денег не принимает, женатых утешением не пользует. Вася лечил душу у Сони и сделал ей предложение.

— Я собственность общественная, — отказала ему Соня. — У меня своя миссия.

Это случилось в ледоход. Вася-железный спустился к реке, сел на галечник. Волны наплёскивали на носки ржавых сапог. Холодный ветер обжигал глаза, рябое лицо. С большого носа срывались прозрачные капельки, падали между острых колен. Василий принимал глоток спирта и подставлял горлышко бутылки под волну, чтоб долила до полной.

Посёлок заволновался: Вася-железный решал свою жизнь. Делегированный повлиять на Соню механик не смог её убедить пойти в жёны к Василию.

— Соня — первая у меня женщина, — признался ему на берегу сорокалетний Вася-железный.

Белые льдины с шелестом наползали одна на другую, рассыпались с хрустальным звоном.

— Вот так я наезжаю на жизнь, а она меня скидывает.

Отброшенные базальтовыми останцами, как что-то ненужное, поперёк реки мостами лежали каменно-тяжёлые тени. Когда допили спирт, механик повёл Васю-железного свататься ко мне, которая мечтала вернуться в Крым, но не с таким подарком, как Василий. Там слишком жаркое солнце и прохладные винные погреба. Я тоже отказала Василию и, зная, как потерявший надежду на счастье нуждается в хоть в каком-то утешении, отдала мужикам медвежью шкуру, которую можно обменять на спирт. Он добавляет вдохновения, а мужикам оно сегодня нужно, потому что решили женить Василия во что бы то ни стало.

В воздушном, белого пуха свитере, в белых носках-самовязках до колен Стрекоза походила на белую тундровую куропатку. Округлым движением широкого рукава — как повела крылом — пригласила в своё гнездо.

Став телом легче северного ветра, Стрекоза редко покидала жильё. Скрывала провалившуюся грудь, свистящие хрипы и сухой кашель, похожий на квохтанье. Тонкая, в белом, в золотистых волосах, рассыпанных по плечам, с нездоровым румянцем на щеках, она входила в эту весну красотой и печалью умирающей в осень берёзы. Коротким было её стрекозиное лето: хореограф и танцовщица, она сгорела на сквозняках клубных подмостков. Огонь безумного сердца сжигает человека. Родись Стрекалова Ленка в начале века — ходила бы по крови, в красной косынке, кожанке, с маузером. Но Ленка родилась, когда идея мировой революции отстоялась. Зато в Октябрьские праздники огонь её советского сердца пылал в кругу костров, нарт, чумов и кумача стягов: в красной косынке и газовом платье она танцевала на вечной мерзлоте. Золотые волосы, как вырвавшееся пламя сердца, обвивали её плечи, искрились, а ноги в бальных туфлях быстро скользили по тундре. Агитбригады… Выборы, первомайки, перегоны на оленьих упряжках от стойбища к стойбищу, от села к селу. Метеостанции, геологические отряды и партии, промёрзшие клубы, палатки. Так Ленка сгорела.

— Ты не железный, Вася, а золотой, — сказала Стрекоза Васе-железному, целуя в ржавую щетину, — но какая из меня невеста, если я всего лишь числюсь в живых.

Механик принёс дров, затопил печь. Ком тепла, зародившийся над плитой, округло рос, тесня сырость в углы. Пар уже не отлетал с дыханием от губ. Стрекоза достала из стола трёхлитровую банку клюквы, початую бутылку спирта.

— У меня больше ничего нет. Как птичка — поклюю и сыта.

Тепло и хмель разобрали Васю-железного. Органная музыка из двух колонок текла торжественными хоралами, вознося запурженную печалью душу до высот, с каких обозрима вся нескладная жизнь. Крупные мужицкие слёзы текли по щетине. Так на полярке плачут новички, если пурга переваливает на вторую неделю, или в ясную ночь, если воспламенится небо северным сиянием. Не музыку, а стихию небесного света выдували органные трубы. Холодно воссияв в небе, он пологом

разделяет космос и землю. Небо, воздух и звуки заморожены так, что не слышен даже шелест самого мороза — тишина небытия, а сияющий полог свивается в черноте небесной сферы и начинает спускаться на вас, разноцветно мерцая, — какое сердце не дрогнет, какая душа не убоится?

— Я протанцевала свою жизнь, — сказала Стрекоза, — и доживаю любовь к Никите, о которой никто не знает: я была так красива и неприступна, что меня боялись спросить. А вам расскажу — вы заспите и забудете.

Мужики слушали историю Ленкиной любви, умно кивали, таращa засыпающие оловянные глаза. Тряхнув головой, механик сказал:

— Мы тебе подарим Никитину шкуру, которую дала нам врачиха. Люби её, как Никиту.

Ленка прилегла на развёрнутую шкуру, слилась белыми одеждами с её мехом. Словно куропатка в снегу.

— Что-то ветер разыгрался, — заметил Василий. — Может, понесёт меня к семейному счастью.

Танец ветра мужики начали от стола к печке. Чудом миновав её, от печки потанцевали к выходу. Невидимая пурга мотала их от одного края улицы к другому, швыряла на заборы, сбивала с ног, они теряли друг друга и снова находили. Им нельзя было ложиться и засыпать, потому что ещё не женили Васю-железного.

Замечая, как всё реже достигают посёлка самолёты, я решила поторопиться с отъездом: не хотелось выходить с семидесятой широты на Транссибирскую магистраль с двумя чемоданами. Но прежде, накануне зимовки, мне надо было провести плановый медицинский осмотр в полевых партиях и отрядах.

Где посёлок скоро найдёт участкового терапевта? Потерпев неудачу в личной жизни, я стала тщательной в работе. Никиту в это же время определили на заготовку оленины и рыбы для столовой. Вася-железный набился к нему в помощники. Так втроём мы оказались на реке.

Никита чёрно-смолистым котлом вычерпывает из баркаса воду. Он высокий, синеглазый, с продолговатым лицом в бороде и рассыпчатых кудрях, раздуваемых ветром, с тонким носом, белозубой улыбкой. Викинг…

Я подтягиваю голяшки болотных сапог, застёгиваю меховую куртку. Вася-железный в ожидании отъезда одиноко сидит на борту полузатонувшей баржи выше причала и кажется её частью. Тоже весь ржавый: рыжий головой и щетиной на лице, в рыжих кирзовых сапогах и одежде, порыжевшей от стирок в бензине. Баржу в посёлке зовут «Весёлым приютом». Летом её захватывают пацаны. Нанырявшись с высокого борта до посинения губ, отогреваются вокруг чугунной печки, устроенной в каюте. В холода здесь встречаются парочки, ночуют приезжие, набегают мужики распить чего-нибудь и посидеть возле печки в ободранных креслах со свалки. Бичами здесь съедена не одна поселковая собака.

— Берегите доктора, — напутствует провожающая нас Гюзель.

Я усаживаюсь в баркас, на мешки с сетями, Василий отвязывает чальный конец. Никита, даже не взглянув на жену, запускает двигатель.

Вода холодная, тёмная, округло бугрится вокруг баркаса, идущего в острие двух пологих волн из-под киля. Ледяной ветер пробрасывает редкие снежинки, тоскливо высвистывает в стволах оружия. Подступая от берегов, реку теснят мрачные базальтовые скалы.

Но недолго оглаживали днищем воду. Увёл нас с фарватера клетчатый макинтош на берегу, призывно машущий руками. Кроша тонкий ледок заберега, баркас с шелестом наехал на мёрзлый песок.

Сидя на чемодане, Стрекоза тонко вибрировала от холода, полы макинтоша трепетали на ветру. К чемодану была приторочена медвежья шкура, свёрнутая в рулон. Никита засунул Ленку — в макинтоше, в варежках, в красных фасонных сапожках — в собачьего меха спальный мешок, завязал тесёмки, сверху укрыл медвежатиной. Вася-железный в кружке развёл глоток спирта чифиром из термоса, влил Стрекозе в рот. Запоблескивали чёрные глаза из глубины мехового кокона: как у пойманного зверька.

— На побережье иду, — обыденно, словно побережье океана было за поворотом, доложила Стрекалова. — Пришло время менять пуанты на белые тапочки. В посёлке мы кладбища не основали. Временщики. А на побережье, в вечной мерзлоте, я хорошо сохранюсь в виде трупа. В музее выставят, как мамонта.

Мы наблюдали вокруг себя движение жизни, сообразное с временем года — осенью. С побережья, встречно нам, шли стада диких оленей в тайгу, где зима мягче, кормистей. На юг шла небом птица, рыба скатывалась из притоков в зимовальные ямы. Всё прозрачней и черней становилась тайга, осыпаясь листом и хвоей, готовая принять снег. Мы же двигались против законов природы — на север, поэтому были чужие всему, с оружием, запасом еды.

Волки скрадывали стада, вспугивали оленей с лежек, в погоне подрезали слабых и больных. Мы, по закону исключённых из правил жизни, брали только лучшее. Поднимали из глубин пудовых тайменей и нерестовых сигов; сброшенная икра пламенем растекалась по полотну сетей. Никита, белозубо скалясь, бросал к плечу приклад винтовки — подламывались ноги у молодого сильного оленя. Жизнь отлетала, как звук выстрела. Гусь ронял на песок голову, медленно подрагивая, распускались крылья, не успевшие опереться на воздух. Мы брали больше, чем могли съесть, брали впрок, на зиму. Наш путь был отмечен на берегах высокими лабазами с мясом и рыбой.

Как волки, тяжелели от парного мяса, оленьих языков, костного мозга. По настоянию Никиты, Стрекоза пила горячую кровь. Из его рук она приняла бы и серную кислоту. От крови или разгоревшейся последней любви в ней появилось подобие жизни. Тёмные глаза оглубились, как нерестовые омуты. Закашлявшись, она отходила в сторону, клюквенки горловой крови орошали снег.

Увачан поджидал нас два дня, покидывая в реку камни: продолговатые, остроугольные, плоские. Когда крики из чума становились особенно громкими, уходил к озёрам. Увачану, в бокарях из оленьего камуса до пахов, в меховой парке-рубашке, холодный ветер не страшен.

— Почему круги на воде, если камень не круглый? — непонимающе спросил нас Увачан. — Я вас поджидаю, чтобы свою жену отдать. Как оленуха, стала толстая, и кричит, как выпь болотная. Я её колотил и мял — всё равно кричит. Время — ловить песца. Она не может ехать на олене — забирайте её.

— Сколько ему может быть лет? — спросила я у Никиты.

— У них три возраста: ребёнок, охотник, старик. Это — охотник.

Чум Увачана словно кратер вулкана: дым и пламя вылетали из его вершины. Опустившись у входа ниже кромки сизой завесы, я увидела жестяную печь без трубы. Над меховой постелью на стебельках боли раскачивались увядающие глаза. Она была девочкой-подростком на седьмом или восьмом месяце беременности. Что-то в ней разладилось.

— Давно кричит? — спросила я Увачана.

— Кричит, кричит… Забирайте. Всех оленей распугала.

Он плохо нас слышал. Для него уже пели по снегу полозья нарт, костисто сшибались рогами олени, предсмертно повизгивал в капкане песец. Зоркими, туго натянутыми от висков глазами, изогнутыми как охотничий лук, он уже видел заходящий на тундру полог полярной ночи, привычную мясоедную жизнь, редкие встречи на тропе кочевий.

Никита приподнял Увачана и так долго тряс на вытянутых руках, что шерсть на меховой одежде эвенка встала дыбом.

Вечером вошли в Тису — правый приток реки, к полночи поднялись до базы бурового отряда. Никита ушёл на разведку. Его движение между зимовий сопровождалось лаем собак: страх перед пришельцем из ночи их озлобил, сбил в стаю. Придушенно стонала жена Увачана. Стрекоза с приоткрытым по-детски ртом смотрела на реку, покрытую серебристой рябью. Василий спал, завернувшись в медвежью шкуру.

Медпункт я развернула в пустующем кабинете начальника партии. Наблюдала жену Увачана, за два дня управилась с медосмотром и прививками. Никита с Василием рыбачили в Тисе.

Из района за роженицей пришёл вертолёт.

— Больную — на борт, экипаж — в столовую! — распорядился врач санавиации.

Жена Увачана забилась в рыданиях:

— Не хочу аборт, хочу рожать!..

Ленка возле столовой кормила хлебом собак. Голова не покрыта, золотые волосы рассыпаны по плечам, в макинтоше, модельных сапожках — балерина… Я не люблю собак, ненавижу кошек, трущихся о ноги.

От Стрекаловой можно было избавиться — отправить в райцентр вертолётом. Но моё предвидение женщины-одиночки, охотницы, угадывающей пути сплетения судеб, осторожно подсказывало не делать этого.

Василий закапризничал, не захотел ехать вниз, где рыбалка хуже. Утром пришёл на берег проводить. Из чайника облил лодочный мотор кипятком, прогрел на холостых оборотах.

Вышли из Тисы — отказал мотор. А вокруг уже не тайга, но ещё не тундра. Болотистая марь в разводах подмерзающих озёр, редкие уродливые лиственницы. Сухой крупчатый снег почти горизонтально летел над водой. Никита ладил мотор, мы с Ленкой ходили по берегу: найти бы дров, сочинить костерок.

— Стихия… — чему-то радуясь, сказала Ленка. Заискивающе спросила: — Вот так у тебя и рождаются стихи?

— Вот так люди замерзают. Ищи дрова.

Она обернулась к далёкому баркасу. Возле краешков раздвинутых в улыбке губ появились две милые ямочки. Сказала:

— Промечтала я Никиту. Ждала, пока построим посёлок, чтоб дом был, куда позвать. А Гюзель его набросила на себя, как повязку на больное место. Закровенилась, присохла.

— Куда ты едешь и чего хочешь от него? — спросила я, выдирая из рыхлого берега не то корень, не то хобот мамонта.

— Ничего не хочу. Рядом побыть. А еду — где расстанемся. Пойду дальше по людской доброте. Когда они чувствуют, что мне от них ничего не надо — только рядом побыть, — они добры, люди. А мне ничего не надо, потому что у ног своих вижу бездну, в которую скоро сходить.

Никита рассказал о прогоревшем поршне. Всё из-за того, что ездил на авиационном бензине.

Поставили палатку. Ночь сошла холодная. Стрекозиного тепла не хватало, чтобы прогреть спальный мешок. Она мёрзла, я слышала её придушенный плач. Её бы зажать в кулачок, согреть дыханием; нам бы лечь с ней вместе, как сёстрам, но нашло на меня вдохновение — от беса. Вдохновение женщины, помнящей обиды.

Я растормошила Никиту, попросила обогреть Стрекозу.

Полупроснулся, полураскрылся. Как мотылёк в пламя, Стрекоза вошла в тепло его спального мешка. Угнездилась между рук, всхлипнула, засыпая. Слились два ровных дыхания.

Безмятежно и сладко, рядом с сыном, спала где-то далёкая Гюзель — моя лучшая подружка.

Утром словно взошли тысячи солнц, и заснеженная тундра лежала сияющим престолом Её Величества Природы.

Горизонты сливались с небом, и невозможно было понять, как далеко это. Тишина слепящего безмолвия сковывала движения, стесняла душу. Мы, беспомощно плывущие серединой тёмной реки, казались лишними здесь.

Олень вышел на берег, неся на блестящих рогах корону солнечного света, долго смотрел на нас печальным взглядом влажных глаз.

Подтаивая, курились тёмные осыпи в берегах, запах талого снега расслаблял сердце и пьянил голову.

Скитом отшельников, забытых Богом и людьми, стояла в излучине база поисковой партии. Туголицые от мяса и рыбы горняки почти на руках вынесли на отлогий берег баркас. Разломили между нами хлеб и не приняли возражений, что мы — не агитбригада. Время забыло их.

В столовой столы под белой бумагой удерживали тяжесть металлической посуды и яств: икры — в тазиках, замороженных пельменей — в тазиках, мяса — в тазиках. А в жёлтого дерева бочке остужалась пенистая брага, выталкивая из хмельных глубин медовую морошку-ягоду. Осталось только печь вспушить растопкой и пламенем, сбросить в крутой кипяток пельмени и придвинуть к столам тяжёлые лавки.

— Вша, она от дикости и тоски заводится, а не от грязи, — убеждал нас начальник партии. — Я отряды из тундры собрал, баню взгрел. На всю зиму уходят мужики в землю, в забой. Возрадовать их надо, укрепить, извести вшу тоски. Песню спойте, лекцию о вреде курения прочитайте. Ну хоть что-то вы можете?

— Будем вникать, — ответственно пообещал Никита.

Обложив ладонями печку, мы набирались в заезжке тепла. Никита нас убеждал выступить.

— Как же ты оторвёшь нас от печки? — спросила я, содрогаясь всем телом, как собака, запущенная с мороза в тепло.

— Есть снадобье — бальзам. — Никита качнул на руке бутылку с густой, шоколадного цвета жидкостью.

Из рук Никиты — и смерть красна. Мы с Ленкой приняли бальзама — чифира пополам со спиртом, — как огонь проглотили. Я сразу вспомнила все свои стихи.

— Я буду танцевать, — сказала Ленка, — сколько мне хватит воздуха.

У неё был узкий таз не рожавшей женщины, сильные ноги. В золотых волосах и чахоточном румянце, она была похожа на горящую свечу.

— Танцуй что-нибудь воздушное, — предложил Никита.

Так случилось в головах наших затмение, потому что были пьяны от голода, спирта и запаха талого снега, расслабившего сердца.

Горнякам, полжизни продышавшим силикозной пылью забоев, я прочитала лекцию о вреде курения.

Сели за столы. Стрекозу усадили на почётное место — у печки, в самодельное кресло, обтянутое оленьей шкурой, ноги укутали пледом. Улыбка не сходила с её лица, а взгляд влюблённо-мерцающих глаз — с Никиты. Я, как самоцвет в тесной оправе, сидела между горняками, горячими, словно только что из забоя. Они половником начерпывали в мою чашку икру, подливали в кружку брагу.

Лысый проходчик по фамилии Заяц прижимался ко мне коленом. Руки у него в ладонях всегда подсогнуты от постоянного держания или горняцкого инструмента, или стакана. Пить Заяц мог неделями, не спать — сутками, работать без роздыху — месяцами. Много раз Заяц пытался улететь на родину, в Минск, в отпуск, к маме. Дальше посёлка уехать не получалось — попадал в истории. Как-то перед вылетом пошёл в баню, где в это время мылся первый секретарь крайкома Уренок, прилетавший в посёлок с инспекцией. Заяц ткнул Уренка пальцем в голый живот, с изумлением сказал, что первый раз видит такого жирного эвенка. Уренок после бани пошёл в милицию, приказал найти и взять в наручники лысого пьяного рабочего. Кто-то успел предупредить Зайца, и когда машина с нарядом приехала в горняцкое общежитие, там все проходчики были пьяные и подстриженные налысо. Ночью Зайца увезли на вездеходе в отряд, чтобы не встретился Уренку.

Однажды запуржило и Зайцу, только что получившему отпускные документы, летящая по ветру бочка сломала ногу. На бочке стояло клеймо: «Анадырьский рыбзавод». Получалось, что бочка — посланец далёкой Чукотки — пролетела над тундрой почти четыре тысячи километров, чтобы нанести увечье Зайцу, который после этого случая стал плохо отзываться о чукчах.

В последний раз в Красноярск его сопроводил Никита: как передовика производства по поручению профкома. У трапа самолёта вручил Зайцу деньги и документы. Задраили люк. При пересчёте на борту оказался лишний пассажир, и когда бортпроводница спросила: «Кто здесь заяц?», — горняк Заяц сказал, что он — Заяц. Так его сняли с рейса. Теперь он собирался с нами выехать в посёлок, чтобы сделать ещё одну попытку побывать на родине.

После третьего ведра браги принесли магнитофон. Расслабленные баней мужики внимали музыке, сигаретному дыму, браге из кружек. Ленку, как сквозняком, вынесло танцевать на середину столовой.

Это был её метельный танец смерти. Вихрь золотых волос над изломом летящих рук, рыдающий плач трубы. Нити невидимого снега пряли с небес, свивались в смерч вокруг натянутого вверх тела. Возжигались и гасли, мелькая, тяжёлые чёрные глаза, факелом металась золотая грива волос.

Забытые в руках сигареты прижигали горнякам пальцы. Всё тише кружение сходящей замети, всё отдалённей медный плач трубы. С бледным лицом в удивлённом изломе бровей, неверно ступая, Ленка опустилась на колени, склонилась к полу… Горлом пошла кровь.

— Это ничего, — шептала Ленка, а сама испуганно улыбалась бледными губами. Никита гладил её вздрагивающие руки.

Я читала стихи, но стихов моих не слышали. Я читала о любви, которой не знала. Я никогда не любила мужа, свою работу, этот бело-мраморный, как глыба льда, Север.

Потом Никита произносил тост.

— Был год, — говорил он, — всеобщего вздорожания всего, кроме человеческих жизней. Заказные убийства стали частыми, как понедельники, а цены на них — дешевле похорон. Когда мой сосед побежал продавать ваучер, чтобы заказать моё убийство — я имел глупость похвалить его жену, — я начал тяготиться жизнью среди людей и двинулся на Дальний Восток проверить, правду

ли говорят, что океан—солёный. В Благовещенске у меня кончились деньги, и я пошёл к океану пешком. Так набрёл на бригаду китайцев, строящих дом, приладился к ним на уборку мусора за рисовую похлёбку. С китайцами жил странствующий монах Цинь Ляо. Мы работали от зари до зари, Ляо от зари до зари тренировался. Он вырастал по утрам из клубка своего тела, гибкого, как у змеи, двигался, переливаясь из одного движения в другое, как переливается вода в каскадах водопада, рассказывая историю маленького человека, идущего сквозь джунгли. Ляо проживал каждый его шаг, исполненный осторожности, страхов и борьбы, являясь то клонящимся на ветру бамбуком, то атакующий змеёй, бесшумно скользящим тигром, убегающей обезьяной.

Китайцы мне объяснили, что у него есть смертельный враг.

Так прошло лето. Мы построили дом. Я спросил Ляо, готов ли он победить врага?

— Нет,—ответил монах.

— Кто твой враг?

— Смерть,—сказал Ляо.—Я тренируюсь, чтобы жить долго.

Никита потянулся кружкой к Ленке:

— За тебя, смеющуюся над смертью.—И поцеловал Ленку в губы.

— А что океан—солёный?—спросила она.

— Дойдём—узнаем. Немного до него осталось.—Никита тряхнул кудрями, шало кося на Ленку синим глазом.

Мужики сдвинули над столом кружки—за океан!

Весь следующий день я вела приём. Никита ладил на берегу мотор. Прибегал в заезжку, где я развернула медпункт, погреться чаем. Ленку мы устроили за стенкой, в радиорубке: там меньше дуло из щелей. Утром сходила её посмотреть. Мои халат и шапочка, стетоскоп на груди её напугали.

— Подумала, что за мной… Если в больницу—оттуда уже не выйду. Лучше попозже. Хорошо было вчера, правда?—Улыбнулась, глядя перед собой большими и чёрными, как полярное небо, глазами.

К полудню пригрело солнце. Снег слепяще искрился, с крыш зимовий ударила капель. Стрекоза в своём клетчатом макинтоше ушла на берег, к Никите. Села на валун, смотрела, как он работает.

На ужин Стрекоза не пошла. Её знобило, особенно зло в этот день бил кашель. Мы принесли из столовой клюквы. Никита остался топить печь, я ушла в заезжку. Через стенку было слышно, как скрипит дверца печи и Никита объясняет Ленке, что её отвезут на метеостанцию, где ждут с побережья катер.

— И мы пойдём домой,—говорил он.—Не люблю возвращаться. Тускло мне в посёлке солнце светит. И звёзды в нём тускло горят.

— Что для тебя семья?—спросила Стрекоза.

— Не знаю. Семья—что дорога, которая ещё не пройдена. Что о ней можно сказать?

Когда Никита пришёл, я сняла с его пальца синюю изоленту, появившуюся днём, обработала рану йодом, забинтовала. От Никиты пахло бензином, железом и водой. Мы сидели рядом: колени в колени. На месте Гюзели я не отпускала бы его далеко от себя. Семейный мужик должен пахнуть домом: кожей шлёпанцев, борщом и кремом после бритья.

— У неё кто-нибудь есть на побережье?—спросила о Стрекозе.

— Подружка в белых тапочках.

Я легла на топчан поверх спальника, на колени бросила меховую куртку. Тусклая лампочка от сквозняка покачивалась на проводе. Однообразно и тоскливо стучал дизель. За стеной кашляла Стрекоза—как колотила в бубен.

— Она не жилец?—спросил Никита.

— Ты сам это сказал. Хочешь спирта? Маешься…

За окном была видна равнина. Её безмолвные снега мерцали под луной и звёздами, разливая бледный свет.

Известность землепроходца обязывала Никиту быть мужественным, работа охотника—жестоким, жизнь возле властной и грубой красавицы Гюзели—скрытным.

А душа-то, оказывается, у него тонкая, сострадающая, чувствительная—широкая душа. И, движимая местью и чутьём хищницы, я подтолкнула его в бездну, в которой погиб не один хороший мужик, и название этой бездне—жалость.

— Если ты мужчина,—сказала я Никите, пойди и простись с ней по-мужски! Она могла бы уехать, вылечиться и долго жить, но оставалась в посёлке, чтобы видеть тебя, слушать рассказы очевидцев о твоих подвигах. Герой с винтовкой…

Никита перестал метаться, присел возле печки на чурку, звякнул чайником. Густой, крутого кипятка чай вливался в кружку с пенистым шипением. Не раздеваясь, я залезла в спальник, с головой накрылась курткой. Уснуть, ничего не видеть и не знать.

Слышала, как надрывно закашлялась Ленка, скрипнула осторожно притворённая дверь. Сходящие шаги по крыльцу… Он не боялся заразиться чахоткой, он не боялся гнева Гюзели.

Эту ночь Никита провёл с Ленкой.

Утром Ленка пришла на берег с рулоном медвежьей шкуры. Обратная дорога была однообразной и скучной. Вместо Ленки с нами ехал горняк Заяц. Я сидела на её месте и куталась в шкуру. Зачем Стрекалова вернула её Никите? Как память о себе или о том, что между ними было на этой шкуре?

В устье Тисы мы забрали поджидавшего нас Василия.

На следующий день после возвращения Гюзель изгнала Никиту из дома.

— Я его выбросила—в чём был,—похвасталась на работе.—Как собаку. С подстилкой—медвежьей шкурой.

Она грязно поносила его по посёлку, и забавно было наблюдать, как из красивой, знающей себе цену женщины, превращается в крикливую бабу. Взяла отпуск, всем объясняя, что ей нужно находиться дома, чтобы караулить сына, которого Никита может украсть.

— Успокоюсь, когда он издохнет!—так она сказала мне, своей лучшей подруге.

Я уволилась с работы, распродала то немногое, что осталось после раздела с мужем, но улетать не спешила. Написала маме, чтобы ждала.

С тем же достоинством, с каким Никита некогда нёс славу первопроходца, понёс бесславие изменника. Гордость не позволяла попроситься на постой к кому-нибудь в семью. Может быть, и не гордость, а привычка поступать нестандартно. Он поселился на барже, разогнав из «Весёлого приюта» бичей. Для Гюзели это было ударом, потому что весь посёлок сразу принял сторону Никиты. Вспоминали, какой он был щедрый и безотказный, всегда готовый прийти на помощь. Многие вообще не понимали: как можно выгнать мужика, который не пьёт? В отместку Гюзель продала его баркас Васе-железному, затяжелевшему от трезвой жизни, а ездовых собак — горняку Зайцу, который ходил по посёлку с дорожной сумкой, называя её кошельком, и покупал всё подряд: проверенный способ пропивания сбережений в рассрочку. Сначала пропиваются оставшиеся от покупок деньги, а потом продаётся и пропивается накупленное. Не имея своего жилья, Никитиных собак Заяц устроил у радистки Сони.

Шло время, к Никите, оставшемуся без баркаса и собак, без снаряжения и оружия, потеряли интерес. Не приглашали на охоты и завозы продуктов в партии, каюрить в отряды. Питался рыбой, пойманной на удочку с баржи. Смирение и бездействие были не в его характере, и, судя по тому, что ничего не предпринимал, чтобы найти работу и поправить жизнь, он дожидался открытия зимника, чтобы уехать.

Однажды набежала ко мне Гюзель, опухшая от слёз. Рыдающе спросила:

— Может, простить?

— Прости, если хочешь быть преданной потаскушкой своего мужа, как ты меня однажды назвала.

Я не хотела её жалеть.

— Чтоб он сдох! — пожелала Гюзель, вылетая в дверь.

Река замёрзла, ветра заметали посёлок, укутанный снегами и полярной ночью. Одеваясь потеплей, я часто гуляла. Доходила до самой реки, где причал, дебаркадер, повыше — баржа… Во дворе Сони выли Никитины собаки, одуревшие от жира и лени. Заяц улетел в отпуск.

Встретила как-то на берегу бывшего мужа: скоренько шагал от домика Сони. Был красив и смел воспоминаниями её мимолётной любви. Потянул меня за пуговицу шубки, ласково спросил:

— Скоро ли север отрыгнёт тебя в сторону Крыма?

Ушёл, напевая про студенточку — зарю вечернюю.

— Чтоб ты сдох, — сказал я ему вслед слова Гюзели.

Никита с берега смотрел на баржу: из её печной трубы и открытой каюты клубами валил дым. Услышал мою вкрадчивую поступь, обернулся. Был он не по погоде в кирзовых сапогах, в телогрейке, узкой в плечах, в истёртом росомашьем малахае, с усталым лицом. Глаза, наполненные слезами, были пронзительно синими.

— Труба прогорела, — объяснил Никита, как будто я могла подумать, что плачет он от несчастий.

Я развернула его лицом к себе, смело спросила:

— Хочешь в тепло, к спирту и моему телу?

Спустился на лёд, по наклонному трапу взошёл на баржу, вернулся с медвежьей шкурой, скрученной в рулон.

Вела его за руку по улицам спящего посёлка. С порога, не раздеваясь, дала ему стакан разведённого спирта, затопила титан, нашла в упакованных к отъезду вещах банное полотенце. Завёрнутый в него Никита вышел из ванной, возвращённый к жизни горячей водой и спиртом, для меня — милее прежнего, потому что теперь он был мой, и мгновенно уснул, разметавшись во всю мою постель. Не заглядывая в его медицинскую карту, я могла себе сказать, что мне достались девяносто килограммов красивого мужика, физически крепкого, рослого, без вредных привычек, если не считать таковой страсть к перемене мест. Истосковавшийся по живому теплу, он потянулся ко мне, когда я прилегла рядом.

Ночь, день и ещё ночь длился праздник нашей встречи. Я рассказывала ему о синем, как его глаза, море, подводной охоте в лагунах, о пароходах, клубнике.

Потом налетела Гюзель со странным вопросом:

— Зачем ты развалила мою семью?

Я вытолкала её из прихожей на крыльцо, ответила:

— Я подобрала его. И ты можешь подобрать моего бывшего мужа, с которым меня развела.

С тем она и ушла, ударив меня по лицу.

Горняк по фамилии Заяц, спустив в городе все деньги и багаж, опохмелившись золотыми часами с руки, встречал в порту самолёт из посёлка, чтобы занять денег на билет в сторону полюса. Естественно, что мы попали в его объятия, жарче крымского солнца, под которое с Никитой ехали.

Против фамилии, Заяц был крупным мужиком, с мощными руками, по-горняцки сутулой спиной, высокой, как тумбочка, грудью и басящим голосом. Его отпускное лицо было напрочь пропитым. По случаю радостной встречи, из трёх окурков, вынутых из кармана, он выбрал самый длинный, пощёлкал зажигалкой, которая не загорелась, попросил у Никиты спички. Пуская из волосатых ноздрей дым, рассматривал нас весёлыми глазами. Но, узнав, что мы уезжаем совсем, загрустил.

— Значит, я не могу занять у вас денег.

Никита отмолчался — своих денег он не имел. Но это было странное молчание: я, вдруг, почувствовала, как он отдаляется от меня, уходит. И чем дольше мы неловко молчали, стоя кружком вокруг моих чемоданов, тем дальше он уходил.

— Жаль, что ты уезжаешь, — сказал Заяц. — Я хотел вернуть тебе собак. Зачем они мне: я или в забое, или в запое.

— А мне зачем в Крыму собаки? — грустно спросил Никита.

— Неприлично жить мужику там, где не нужны ездовые собаки. Что это за гиблое место — Крым? — подивился Заяц.

— Наверное, гиблое, — неохотно согласился Никита.

— И ветры там короткие — полуостров. Где им разгуляться. Не то что у нас, как заметёт, засвистит на неделю-другую! — Заяц ностальгически вздохнул и прикрыл на секунду глаза. — Я нынче все пустые бочки в посёлке соберу, и как запуржит в сторону востока, пущу их по ветру — такие подлецы эти чукчи… Сами первые начали бочками кидаться.

Заяц запустил руку в желтоватый мех медвежьей шкуры, приторoченной к чемодану, вдохновенно предложил:

— Давай, продадим её. На два билета до Енисейска хватит, а там — это же тебе не Крым — по Тунгуске на лыжах уйдём домой. Это будет по закону — продать шкуру. Ты добыл медведя — шкура твоя.

Над нами вспыхивали и гасли ртутные лампы, словно отблески северного сияния. И безлюдный зал под ним был подобен тундре.

— Я тебе дам денег, — торопливо сказала я Зайцу, но мужики, кажется, меня не услышали. Им было не до меня, которой оставалось взять в руки чемоданы и поехать на вокзал.

Сотни людей проходили мимо нас, и я их не знала. Случись, никто не скажет: «Доктор, вы отморозили щёку», — и не разотрёт её варежкой. Мне стало страшно, как подумала, что останусь одна среди чужих, без Никиты и Зайца. Я не знаю законов, по которым здесь живут люди. У каждой земли — свои законы. Я знала законы Севера, иногда их нарушала, но женщинам это делать дозволяется. Если люди там — это мужчины, то женщины стоят в ряду ценностей, которые значимей самой жизни, поэтому им многое прощается. Лишь бы сияли, как звёзды на полярном небе, олицетворяя собой всё самое лучше на Земле: нежность, любовь, доброту…

— Значит, победила тебя эта стервочка, — неизвестно о ком пробасил Заяц, сожалеюще глядя на Никиту, и приобнял меня огромной рукой. И столько в этом жесте было снисходительности, доброты, ласки, какой-то незнаемой мной мудрости, что я прижалась к его боку и разрыдалась.

Не знаю, о чём я плакала. Может быть, жалела себя, может быть, хотела разжалобить Зайца, чтобы не отнимал у меня Никиту. А может быть, я именно тогда поняла, что каждый из нас приписан к своему побережью и что Север — это не то, что лежит за семидесятой широтой, Север — это те, кто живёт там по его законам. Он в них и между ними, где бы они ни встретились.

Наверное, мне уже поздно становиться человеком.

Утешаемая мужиками, я вдоволь наплакалась. Потом спросила:

— Как же мы пойдём на лыжах, если мне надо купить обои, клей… Стерилизатор для поликлиники. Ещё мои чемоданы.

— Не кручинься, — сказал Заяц. — Самые настоящие — это те, кто пробовал уехать, но не смог. А ты даже не человек — женщина-доктор — двойная звезда.

В буфете мы взяли яичницу и тёмное пиво, перекусили. Сдали чемоданы в камеру хранения, устроились в гостиницу. В этот же день купили обои, клей, стерилизатор, три билета до посёлка.

Кажется, я вам говорила, что Север отнимает у человека ум.

Михаил Стрельцов

Храм превращается в плацебо

Сын

— Папа, я хочу помереть,— постучавшись, он стоял на пороге — в одних плавочках, худенький, с торчком волос на макушке.

Взгляд скользнул по его фигуре, хотя какая там фигура — тельце девятилетнего пацана. Но всё же торс! Так обращаешь внимание, когда, вместо пухлого пузанчика, замечаешь в собственном ребёнке прообраз будущего мужчины. Чуток выпирающие рёбра, мускулистый животик. На этот раз извазюканный дорожками, оставшимися от перекладываемых кирпичей. Как подсохшие кровавые рубцы.

Но больше поразило лицо. Можно было запросто, сразу же сказать о нём: обречённая усталость… апатия. Не то! Тусклый, но решительный взгляд. Он твёрдо уверен в том, чего хочет. И это дурацкое слово «помереть»! Устаревшее, несовременное. Но сын прав. Он нашёл выход. За всех нас.

И тут я проснулся. Меня — внутри — колотил озноб. Действительно, если во сне, где ты нервничаешь от того, что нужно срочно куда-то двигаться, а не получается, раздаётся тихий стук в дверь — и ты распахиваешь её с невысказанным, но застывшим на лице «ну чего ещё?!», а на пороге — твой чумазый малыш, который спокойно, даже сонно, говорит: «Папа, я хочу помереть»,— встрепенуться, выпучившись от ужаса,— это нормально.

Большую часть жизни наш мозг скрывает свои возможности. Он меланхолично пережёвывает впечатления, намекая, как ему надоело сортировать все эти разговоры по поводу перевода кого-то в другой отдел, насколько ему наплевать на бесконечное ожидание зарплаты и более того — на твоё необъяснимое желание наконец-то кому-то что-то доказать. Умный мозг тянет спать, обещая выдать во сне что-либо забавное, любопытное. Что-нибудь такое, где ты можешь, играючи, меняться телами, планетами, временем. К примеру, недавно, без каких-либо причин, я был узником сталинского лагеря: причём, то женщиной, то выручающим её мужчиной. Если копнуть — отголосок просмотренного пару недель назад сериала.

Но вдруг — отключив твою бдительность образом мечтающего о смерти сына — мозг перестаёт притворяться и в считанные доли секунды вываливает на тебя мегатонны информации. Потоки воспоминаний и ощущений сильны настолько, что не остаётся места последовательности и хронологии. Обстоятельства давних лет приближаются с жуткой отчётливостью, а какой-нибудь вчерашний разговор проваливается куда-то «в пыль веков». Омерзительно услужливый мозг-официант суетливо подпихивает под нос очередное блюдо: «Это? А, может, это?»

Я давно сам с собой условился, что сны — просто отзвуки былой информации. Есть сны — сюжеты. Подобие компьютерных игр, когда можно изменить направление и попробовать переиграть. Как правило, это сны — одноразовые, тут же забывающиеся. А есть особенные: предсказательные, вызывающие потом «дежа вю» или просто «засланные» кем-то…

…Отчим, с которым ранее и парой откровенных слов не перебросились, приснился бледным, небритым, почему-то в зимней одежде. Было холодно. Мы ехали в переполненной электричке. И тогда я впервые увидел человека, заменившего мне отца,— равным себе. Обычно родители снились существами большими, тёплыми, неприступными, безликими, бесполыми. Всезнающими. Несмотря на то, что сын их перерос на целую голову, женился и всё такое прочее. В этот раз дядя Миша был таким, как есть: седым, унылым стариком с блёклыми, поджатыми губами, морщинами, волосками в ушной раковине. Он повернул непривычно белое лицо и сказал:

— Помнишь, мать отругала тебя за то, что ты, якобы, украл у неё рубль на кино? Это я взял. Меня попросили занять, я не мог отказать… А потом она так на тебя набросилась! Стало стыдно и как-то поздно сознаваться. Я ей сказал потом…

— Ерунда! — во сне я был весёлым и жизнерадостным.

— Можно курить, сын, жрать водку литрами, кобелевать. Но врать — нельзя. Никому и никогда. Прости. И не ври — прошу тебя… А ты знаешь, что я умер?

— Брось, дядь Миш. Мы же едем куда-то. Кстати, куда?

— Ты сейчас выходишь.

— Какая следующая станция?

— Это неважно. Просто выходи. А я еду дальше. Выходи. Этот поезд без остановок. Ну? Быстрее…

Тогда я проснулся в холодном поту, и крик был готов вылететь из горла. Можно хмыкнуть над штампом. Но когда внезапно сознаёшь, что холодный пот — не устоявшееся выражение, а самая, что ни на есть, реальная реальность, причём сейчас и с тобой, страх схватывает ноги, как цемент. Не сомкнул глаз до утра, но и с постели подняться не мог, чтобы поговорить с отцом, теперь уже именно — отцом! — который спал в соседней комнате. Зачем будить старика из-за приснившейся чепухи?.. Молоденькая врачиха на следующее

утро сказала, что смерть наступила в пять утра. Дядя Миша лежал тихий и спокойный, вроде бы даже улыбался, морщины разгладились. Лишь щетина на подбородке, выросшая за ночь, напоминала о сне…

…Раньше, бывая на родине чаще, чем сейчас, я первым делом стремился зайти к брату. Он всегда — с юморком — как-то умудрялся поставить точку в ситуации, которая представлялась мне запутанным клубком неразрешимых проблем, возникших между родственниками за время нашей разлуки. Только с ним, старшим братом, я мог, без церемоний, покуривая за кухонным столом, распить бутылочку и понять, что ничего серьёзного не происходит: кругом обычные склоки и тоска провинциального городишки.

Чтобы подойти к нужному дому, надо спуститься по лестнице к автовокзалу, который находится в низине. Кто не знает, летом лестницу и не найдёт: она обильно зарастает кустарником. Вот именно у этого кустарника во сне я встречаю Наташку — сухопарую дылду с крупным ртом и очками на пол-лица. Она — жена брата, и у них всю жизнь «не лады».

Причём — даже во сне — понимаю, что так оно и есть. Я иду к брату, встречаю Наташку, спрашиваю, дома ли? Ехидно волоча уголки губ, она отвечает: «Дома, конечно. Куда он денется? Похмеляется — за руль нельзя».

Повторяя всё: лестницу, кусты, погоду, Наташкину кривую усмешку, сон, тем не менее, извлекает откуда-то другие слова: «Так он вчера умер. А ты не знал?». Совершенно нелепое сочетание: слышать, что умер брат, и видеть самодовольную ухмылку его нелюбимой жены.

Тогда тот же комок ужаса — до озноба, колотящий и душащий, выбрасывает меня из сновидения. Промаявшись пару часов, поскольку выходной и мороз на улице, под глупейшим предлогом выползаю из дома, бреду до киоска, покупаю телефонную карту, ищу автомат. Жму ромбики цифр из записной книжки, предполагая, как обычно, услышать Наташку с её злобным всхлипом «он на работе!». Но отвечает сам брат, бодрый, по-видимому, раскрасневшийся от каждодневного ритуала — стычки с женой. Азарт ещё дрожит в голосе. И понимаю, что не знаю, как ему сказать… Заикаясь, словно клянча милостыню, после пары общих фраз, сообщаю — как можно небрежнее:

— Короче, тут такая фигня. Ты мне сегодня приснился. Знаешь… так плохо приснился. Не совсем хорошо. Побереги себя, ладно.

И брат, подхватив мою интонацию, переспрашивает: приснился, мол? Ладно, поберегусь. И вновь — с юморочком: «А как вы там?». Сказал, что у него всё в порядке, сегодня после ночной на другую работу — сторожить. Он тогда подрабатывал в магазине. Той же ночью, накурив в комнатке, уснул, отставив форточку открытой. Проснулся в инее и слёг в больницу с двусторонним воспалением лёгких. «Поберёгся»!

Прошло лет семь, в прошлом — развод с Наташкой. Сейчас у него со здоровьем опять не в порядке, так возраст. Живой потому что.

А мой сын хочет «помереть». И мозг услужливо: «Не это? Не из серии ли — «контакты с близкими»?.. Нет, говорю ему мысленно. Конечно — мысленно. Я же не псих — вслух разговаривать с собственным мозгом. Хотя если снится перепачканный кирпичной пылью сынишка, которого выгнал из дома, — почему бы и не псих?

Лукавлю. Но, скрывая волнение, встаю с постели. Если бы кто-то снимал меня на видео, какая-нибудь шпионская организация, то наблюдатель написал бы в своём отчёте: «Проснулся и сразу встал». Фига с два! До момента «сразу встал» официант подсунул мне под нос столько блюд, переварено столько воспоминаний, что голова трещит и хлопает на меня глазами из зеркала. Тело — не торс, а всё это обрюзгшее, помятое тело — на автомате скоблит щетину, варит кофе, собирает себя на работу. А в трескотне контактов, не уставая, мозг подсовывает и подсовывает блюда, ищет ответ.

Как бы сам я с собой ни договаривался, сны из серии «контакты с близкими» да про «дежа вю», — запоминаются навсегда. Входят в тебя, как зубная боль, распространяются, как метастазы, — и ноют, и точат изнутри. Сегодня — и к гадалке ходить не надо — весь день насмарку…

…Когда мне было четырнадцать — приснилось, что болен: очень плохо, муторно, жарко. Лежу на каком-то неудобном и пыльном ложе в незнакомой комнате, по которой, хохоча, бегают голые девки. А парни делают друг другу уколы в руку. Прямо передо мной, ссутулившись, сидит одноклассник Паша, полуголый, курит. Сигаретный дым щиплет глаза, лезет в ноздри, от него задыхаешься. Всё. В принципе ничего особенного. Но картина была до предела ясной, чёткой, логичной. И запомнилась из-за всепоглощающего чувства ужаса, испытанного во сне. Необоснованного и поэтому ещё более страшного. 14 лет! Готовлюсь вступить в комсомол, полон мировоззрения, в лексикон которого слово «наркоман» не входит. Как и в газеты тех лет. Однако, проснувшись, зачем-то написал карандашом на обоях дату — «7 мая».

Через год, когда у Пашки был день рождения, толпой изрядно нагрузились спиртным и познакомились с какими-то девчонками… Шприцев не было. Но была «травка». Девушки не бегали голышом, но непристойно выражались и крепко, взасос целовали, неприятно и вызывающе. Впервые попробовав «травы», я прикорнул на пыльном бабушкином сундуке. Тошнило. Першило. Мутило. А вокруг мчалось веселье. Паша присел рядом и сосредоточенно тушил в пепельнице окурок. В комнате становилось душно, и Паша снял рубашку. Его склонившаяся над пепельницей и оттого горбом вздернувшаяся спина внезапно показалась такой знакомой! В течение нескольких секунд, поражённый сходством реальности и почти позабытого сна, я был буквально парализован необъяснимым ужасом, заставлявшим стучать зубами. Вернувшись домой под утро, я сразу приник к обоям и разобрал дату «7 мая». Ровно через год. День в день. Может, оно и к лучшему. По крайней мере, «траву» отбило навсегда. А Пашка, вскоре вовсю «заторчав», сел на восемь лет…

«Не это? Не это?» «Да отстань! Я на работе». Но и привычные, уже домашние, разговорчики про перевод в другой отдел сегодня раздражают больше обычного. Лицо пока деревянное, но за ним уже — словно слой мрамора. А за ним — треск контактов и выгрызающая нутро тоска.

— Что-то случилось? — внезапно интересуется коллега.

Лицо меня выдало. «Случилось? Да блин ещё как случилось! Я выгнал сына из дома, и он не хочет жить. Как бы спрашивает разрешения! А может… Он просит меня закончить начатое… Избавить его…» Лучше бы меня не трогали!

— Голова болит просто.

— Дать таблетку? — сердобольная женщина.

Нет, я люблю свой коллектив. Нашли же они тогда валерьянку и отпоили меня, когда действительно — «случилось». Сейчас я вспоминаю этот случай усмехаясь. Даже вывел из него ещё одно доказательство пользы курения. А дело было так.

По утрам я отводил сына в детский сад, потому что супруга, вставая даже чуть пораньше, начинала «собираться на работу». Когда мы выходили из дома, она обычно приступала к завершению — накладывала макияж. Процесс подходил к финалу, когда я возвращался из детского сада, чтобы хлебнуть кофе, побриться, накинуть шмотки. И на работу мы выходили вместе. Мне не дано понять пристрастия женщин к штукатурке лица, но, на мой взгляд, жена отдавалась этому самозабвению чересчур долго, при условии, что садик за три квартала. Она объясняла это тем, что работает с людьми и должна выглядеть хорошо. Из чего следовало, что я работаю с крокодилами. И сам, собственно, ещё тот крокодил.

Но в тот день я побрился с вечера, кофе не хотелось. Или проспали. Решил рвануть на работу, не заходя домой. Помню, что опаздывал. Перед светофором нашего оживлённого перекрёстка решил закурить. Ветер нещадно гасил зажигалку, и удалось сделать затяжку, повернувшись спиной к движению машин. Светофор, оказывается, секунд десять давал зелёный. Спохватившись, шагнул по переходу… И глазам не поверил.

Некий джигит, разогнавшись до такой степени, что смена цветового сигнала никак уже не могла повлиять на торможение, решил-таки прибавить скорость и обогнуть выезжавший на перекрёсток поток машин. И первым делом столкнулся с автобусом. Одно время я маньячил бильярдом, но и предположить не мог, что автомобиль может выступить в роли шара. «Москвичонок» гонщика от удара развернулся на сто восемьдесят градусов, проволокся краем по светофору, отрикошетил в дерево, а от него — в стену здания, где я как раз и имею честь состоять на службе. Джигит, к слову, остался жив. Сам видел, как он отряхивал кепочку от осыпавшихся стёкол.

Некоторое время, которого как раз хватило, чтобы занять рабочее место, мне история казалась забавной. Пока я не сообразил, что машину болтало по перекрёстку в каких-то десяти шагах от меня. Тех самых шагах, которые я бы совершил, не задержись на несколько секунд, чтобы прикурить. Меня уже вообще могло бы — не быть в живых! Видимо, так поменялся в лице — не в силах отвечать на расспросы, что сердобольные коллеги побежали за валерьянкой, бормоча что-то про сердечные приступы. А я уже знал, что вряд ли когда брошу курить…

Цитрамон, тем паче, обязывал. Не желая менять подаренную таблетку на рассказы о собственных проблемах, я нырнул на улицу, в курилку. Где-то в переходике между бесконечными дверьми, невероятно живой и реальный, отчётливый, словно за спиной, — в ухо жалом, сверлом, снова — голос: «Папа, я хочу помереть». Даже обернулся. Курить расхотелось, яма в грудной клетке запульсировала, напоминая сонного котёнка, просыпающегося и вытягивающего коготки. Люди называют её — жалостью.

До боли, до судорог мне вновь стало жалко моего белобрысого сынишку, которого я выставил за дверь. Он похож на меня. Рос, как и я, слегка нелюдимым, спокойным, самодостаточным. В породе, что ли, заложено: случись проблема — не бежим плакаться, не наваливаем её на окружающих. Концентрируемся на ней, отстраняемся, если от тебя пока не зависит. Осваиваемся в ситуации и лишь затем принимаем решение. Самое короткое.

После того, как этот шпингалет влез со своим мнением в наш разговор с его матерью, она навскидку крикнула: «Раз такой умный, иди на улицу. И живи, как знаешь!» И я почему-то взвился: «Иди давай! И не приходи, пока мы с мамой всё не решим!».

Стояло лето. В одних плавочках сынишка, уверенно развернувшись, вышел за порог, спустился по ступенькам, уселся у груды битого кирпича и сказал:

— Значит, теперь я здесь буду жить.

После чего молчком, не суетясь, принялся перекладывать кирпичи с явным намерением соорудить из них что-то наподобие дома. «Вот-вот, — снисходительно шипела вслед ему жена. — Строй себе будку. И живи, как собака. А мы тебе будем косточки выносить!»

Сын невозмутимо продолжал сооружать на солнцепёке. У него не очень-то получалось. А наш разговор с его матерью быстро стёк на нет. Только что мы орали друг на друга, пытаясь доказать что-то, высказаться, наконец, по полной, а теперь не знали, о чём говорить. Она просто ушла наверх, в свою комнату. Но вначале захлопнула входную дверь.

Я куда-то торопился. Но продолжал стоять, соображая, что у меня нет никакого жилища с комнатой наверху. Нет двери из дома и трёх ступенек во двор, жутко напоминавший двор провинциального родного городка. И даже не мой собственный, а чужой. Двор дома, где ещё до моего рождения жили родители. Двор двухэтажного барака с печным отоплением. Поэтому и стоят поодаль стайки с углём и дровами. Поэтому и валяются во дворе битые кирпичи — соседи недавно перекладывали печь.

Я догадался было, что вижу сон. Это во сне мы ругались с женщиной, с которой я и не виделся-то

уже года три. Даже по телефону толком не общался. Эх, мама, непутёвые у тебя сыновья! В один год оба развелись.

И когда мой сын был таким, с начинающим формироваться торсом, мы жили в общежитии, на пятом этаже. В комнатке в восемнадцать квадратов. Никаких своих комнат «наверху» и дворов из другого региона. Только свёл в голове концы с концами, а тут стук в дверь. Она распахивается — за ней мой мальчик. Не переступая порога, в перепачканных серых плавках, он говорит…

Закуриваю вторую, дрожь внутри не уходит. На часах — глубоко за «после обеда». Занятия в школе закончились, и мой звонок не помешает ему на уроке. Сотовый телефон. Не надо бегать по морозу: искать карту и автомат. Просто извлечь из памяти аппарата слово «сын» и нажать кнопку. Что сказать? Вряд ли он поймёт мой лепет. Он ещё мал и не классифицировал свои сновидения. А даже если и так, брат же себя не «поберёг»? Хотя, может же отец позвонить сыну? Просто так. Без повода. Среди недели. А не перед выходными, спрашивая: приедет он ко мне или не приедет. Иногда не приезжает. Говорит, мама не пустила. В дневнике замечания по поведению. Я у него вроде кубка. Награда за хорошее поведение. Я для него — наказание. Меня у него отбирают. И тогда внутри мальчонки просыпается свой «котёнок». Только сиамский. Люди зовут его — обида. На маму, на меня, на нас. На то, что мы разошлись.

И тогда он находит внутри себя груду битого кирпича и пытается строить собственный уголок, где не настигнут дождь и снег, где он сможет сам решать, чего хочет.

— Папа, а зачем, вообще, люди живут? Если всё равно умрут — зачем живут? — спросил он у меня на прошлых выходных.

Просто так спросил, мимоходом.

Уф! Сложилось! Ещё до того, как мне ответили, всё стало понятно. На том конце сотовой связи на мои расспросы о школе, о друзьях, о хомяках и велосипеде неохотно и удивлённо отвечал не тот белобрысый мальчик, что сегодня пришёл ко мне во сне. Говорил подросток с прыщиками на лбу, с меня ростом, со стройным, подтянутым телом. Говорил о компьютерных играх, сыпал терминами, среди которых никак не могло затесаться слово «помереть», если только не с ироническим оттенком. Он предпочитает слова «мочкануть» и «скопытиться».

Подлиза-мозг хохотал надо мной, превратившись в озорного прапора, обожающего «подставлять» «салаг». На выходных сын задал вопрос, на который я не ответил, сделав вид, что не услышал. Потому что не знал, как на него ответить. Подсознание швырнуло в сон ситуацию, разбудило котёнка, позволив полдня решать его для себя. Искать ответ. И если бы не эта приставка «по», меряющая время от двора, где рос мой старший брат, когда меня не было, до сотовой связи, я бы попался. Так бы и грыз себя ради банального выкрика: «Как жить?! Да так и жить! Жалеть, обижаться! Ошибаться даже. И грусть над ошибками. Пока у меня не было тебя, я тоже маялся: зачем, для чего?! Но когда появляется тот, кто не сможет сам, без тебя, выжить; тот, за кого ты в ответе, вся эта ерунда уходит! Зачем жить? Да затем, чтобы перестать задавать себе этот дурацкий вопрос!»

Возвращаясь на рабочее место, чтобы узнать, кого всё-таки в какой отдел перевели, я ещё раз условился с собой, что сны — просто отзвуки былой информации. Если только не снятся тараканы. Тараканы — это к деньгам. Проверено.

Цыплёнок табака

Ничего с собой не могу поделать — люблю курицу-гриль. Даже не целую, а тощую прожаренную полутушку. Если хотите — самая что ни на есть мужская холостяцкая еда. Гастрономический изыск бюджетника и алиментщика, занятого подработками и общественной деятельностью. Процесс её покупки и поглощения — не таинство, но уже вроде культа, достойного отдельного повествования. Так-то я не лентяй и обожаю готовить. Во времена популярности «ножек Буша» закупал коробку, забивая обе морозильные камеры. И даже когда не было денег на хлеб, всегда было, чем накормить семью. Я придумал с десяток вариаций запечённых в духовке окорочков. Помнится, приходит дочь из школы: «Папа, у нас сегодня опять курица?». «На этот раз в апельсинах!». Ну, это когда после новогодних праздников апельсины оставались…

Сейчас же, после развода, у меня нет духовки, престарелый холодильник дышит на ладан. При наличии денег можно себя и побаловать. С работы — делаю крюк, поскольку поблизости куры-гриль не производятся. Несу домой горячую, испускающую аппетитные запахи, некормленый желудок урчит в предвкушении. Включаю фильм, ем, насыщаюсь. И даже если отрубят свет, что стало привычным, можно, закрыв глаза, размазывая по нёбу хрустящую корочку, видеть собственные фильмы, из памяти…

Когда Ярмольник показал по телевизору пантомиму про цыплёнка табака, а зал передачи «Вокруг смеха», смеясь, аплодировал, я, наделённый нехилым чувством юмора, растерялся. Не мог понять, почему это смешно. А если что-то неясно, то куда? К родителям. Отчим, сквозь газету наблюдавший за телевизором, попытался мне объяснить, что цыплёнок табака выглядит так, как показал его Ярмольник. Это-то я сообразил. Поскольку предъявленные актёром спортсмены и предметы были похожи.

Запутался. Знал что такое — табак. Отчим курил «Беломор» и вокруг пачки на тумбочке всегда скапливались пахучие крошки. Знал что такое цыплёнок. Но зачем и кому пришло в голову посыпать цыплят табаком? И почему это смешно? Вот этого понять не мог.

Закат брежневской — расцвет черненковской — эпохи в ракурсе продуктовых магазинов провинциального городка представлял собой пару сортов варёных колбас, огромный, с бычью голову, лоснящийся и обыденный шмат жёлтого масла в витрине. Сахар и мука в бумажных пакетах. Донельзя разбавленная сметана, булькающая в бидон. Тощие селёдки в банках. Хлипкие до синевы

куриные тушки, которые мама варила часа два, чтобы они стали мягкими и съедобными. Варёную курицу я терпеть не мог. Сгущёнку нам посылками слали родственники из Канска. Тушёнку — из Гудермеса. Из фруктов и конфет — что успеешь хапнуть под Новый год, отстояв километры очереди. Из лимонадов — «Буратино». В соседнем большом городе спокойно продавались сладкие кукурузные хлопья, иногда, приезжая к родственникам, я набрасывался на лакомство, пока блюдо не пустело.

После школы мы с пацанами гуляли по городу, по людным местам — базарной площадке, у автовокзала. Порой везло: найдёшь одиннадцать копеек. И наградишь себя коржиком и стаканом газировки. А кому очень везло — двадцать копеек: это и беляш, и сок с мякотью.

То есть я просто не мог себе представить, что цыплёнок табака — это такая еда. Поэтому пустился на эксперимент. Стащив у отца папиросу, раскрошил её над коробкой с цыплятами, ожидая, что будет смешно. Но ничего весёлого не случилось. Цыплята так же бестолково носились по коробке, думая, что им принесли пожрать.

В конце апреля мама всегда покупала пару десятков цыплят по 5 копеек за штуку. До середины мая они жили в коробке на балконе. И если принести пшена, то, подскакивая, сбегались в один край коробки, толкая и давя друг друга. Пара-тройка задавленных цыплят — нормальный ежегодный отсев.

Как-то в школе, отвечая на биологии про естественный отбор, я добавил от себя, что Дарвин не совсем прав. Гибнут не только самые больные и слабые, кто не смог пробиться за едой. Но и самые резвые и развитые. И привёл в пример наших цыплят. Чем вызвал дружный смех в классе и заслужил «погоняло» Цыплёнок. Но если и вправду так? Пара-тройка задавленных всегда равнялась паре-тройке ретивых. Они первыми пробовали силу крыльев. Не уследишь — и перемахнули через стенку коробки. Пара прыжков — и вниз с балкона, насмерть. Я и сейчас уверен, что был прав. Поскольку самых сильных, самых задиристых одноклассников, от которых мне доставалось, которые всегда готовы были поднять на смех или звездануть в ухо, уже нет в живых. А я сижу и ем курицу.

Ближе к концу мая мама перевозила окрепших цыплят на дачу, в специальный загончик, и начинала кормить не только пшеном, но и травой. То ли от перемены места, то ли от изменения в пище или от болезней каких куриных, но погибало ещё несколько. То есть миграция — тоже небезопасна. К осени, обычно, от двух первоначальных десятков оставалось восемь-девять голов. Всё лето, оперяясь, они давали яйца, а потом и сами погибали под топором отчима, складируясь в морозилке до Нового года. В тот год, когда этого человека не стало, мне пришлось самому взяться за топор.

Впервые я увидел и попробовал цыплёнка табака в Барнауле, куда мы со старшим братом поехали погостить к родственникам. К слову сказать, из-за того, что у одних дедушки с бабушкой было четверо детей, а у других — шестеро, родственников у меня наблюдается бессчётное количество. Моё преимущество — то, что я последний, поздний ребёнок у самого последнего и позднего из шестерых. Поэтому самый-пресамый младший родственник. Двоюродные сёстры и братья — здоровые, состоявшиеся мужики и тётеньки, имеют жён и мужей, по нескольку детей, которые, будучи моими ровесниками, приходятся мне племянниками.

В Барнауле у нас было два брата, живущих в разных концах города. Мы как раз и поехали, нагостившись у одного, к другому. Сели в трамвай у кинотеатра, заняли свободные места сразу перед открытой задней дверцей и наблюдали, делясь едкими замечаниями, как к трамваю несётся мужчина, будто это последний трамвай в его жизни. Его решительный и стремительный бег, видимо, вызвал уважение у вагоновожатой, потому что трамвай подождал и с шипением закрыл дверцу только, когда мужчина вскочил на ступеньки. Он стоял прямо за нами, тяжело дыша несколько секунд. А потом, ни слова не говоря, с силой толкнул наши головы.

От возмущения я задохнулся, побагровел и брат, но, обернувшись, — мы оба выпучились. В трамвай вбежал ещё один наш двоюродный братка, из Новокузнецка, по папиной ветке. Что Коля делал в Барнауле, я не помню. Очевидно, по каким-то делам приехал. Но, увидев нас, входящих в трамвай, понёсся, как чёрт, чтобы не потерять. Он же не знал, куда мы едем. Да и сотовых тогда не было.

Колю я знал плохо. Только в лицо. Видел редко. Но мой брательник с ним одногодка, поэтому им друг с другом жутко интересно, а я остаюсь в стороне. На полпути вышли из трамвая, потому что Коле в ту сторону ехать-то и не надо было. Решили посидеть где-нибудь, поесть. И увидели кафе «Цыплёнок табака». Принесённая курица была жёсткой, перчённой и невкусной. Но братья под водочку уплетали за обе щёки. Говорили и говорили. А я сидел и смотрел в тарелку. На недоеденного цыплёнка. Переживал разочарование. Когда с пацанами мы, везунчики, покупали коржик и сок, хвастаясь друг перед другом, кто чего ещё ел повкуснее, я, как правило, проигрывал. Да — я не жевал апельсиновых жвачек, не пробовал морепродуктов и красной рыбы; не видел банан и гранат. Показывали — знал, как выглядит варёная кукуруза. А кукурузными палочками из соседнего большого города — не удивишь. Потому спросил однажды, а пробовал ли кто цыплёнка-табака? Никто не пробовал. И я решил, что вырасту, обязательно попробую и всем расскажу.

Но это была невкусная курица. И рассказывать про неё было стыдно.

К слову, мне было четырнадцать, а я и в кафе-то толком не был. Когда проходил под вывеской «Цыплёнок табака», раздевался в гардеробе и, затаив дыхание, чуть ли не на цыпочках выдвигался между тёмно-зелёных штор в почти пустую залу, невольно сравнивал свои ощущения с посещением театра. Так выходила Наташа Ростова на свой первый бал.

С театром, кстати, мне тоже не повезло. С полгода назад активистов от класса наградили билетами, и нас повезли в тот большой город, где в изобилии водились кукурузные палочки. Шефы

выделили транспорт. Им оказался оранжевый «Урал», обычно возивший на смену шахтёров. Небольшая коробка с ограниченным количеством мест. Мы с товарищем, с классической фамилией — Кузнецов, заняли, как нам казалось, наиболее выгодные места — боковое сидение над колесом. Хоть ноги можно было свободно вытянуть. Кстати, Кузнецов появился в городе недавно, жили мы по соседству и частенько просиживали друг у друга за шахматами. Он, в основном, снисходительно выигрывал, владел фотоаппаратом, тощий и высокий настолько, что мне рядом с ним отводилась роль Санчо Пансы.

По случаю выхода в театр мама отгладила мне костюм, перешедший в наследство от брата. Благо я догонял его в росте, но не в ширину, и пиджак чуток болтался, да и рукава опускались до пальцев. Мне даже повязали галстук.

Перед тем, как тронуться, водитель предупредил, что если кого затошнит, то надо постучать в дверь и попросить остановиться. Я ухмыльнулся, поскольку меня никогда не тошнит ни в каком транспорте. Почти всю дорогу мы с Кузнецовым проболтали, не помню о чём. В «Урале» было душновато, я расстегнулся, снял шапку, положил её на колени, а в неё примостили кузнецовский фотоаппарат, который я должен был беречь. В какой-то момент Кузнецов отвернулся к окну, да и я тоже устал говорить, начиная потихоньку скучать в ожидании театра. Внезапно товарищ повернулся — лицо в лицо — замахал рукой в сторону двери, держа другую у рта. Над ней смешно выпучились глаза и раздулись щёки. Он напоминал анекдотичного инопланетянина, и я хотел было ему об этом сообщить. Но в следующую секунду из-под руки Кузнецова полился воняющий поток. Но в шапку не попал, поскольку, памятуя о ценности фотоаппарата, её я успел резко отдёрнуть. И принял от него на колени и на полы пиджака.

Вокруг почти началась суета, но мы тут же подъехали, и обсуждающая нас ребятня с учительницей во главе двинулась к театру. А мы вдвоём, отчитываемые «шефским» водителем, должны были прибирать за собой. Кузнецов возвышался зелёной каланчой, неспособной к телодвижениям. Он только наблюдал, как я водительской лопатой накидываю в салон снег и выгребаю всё оттуда. При помощи снежка кое-как почистил и себя, но гардеробщица настолько пристально оглядывала мой пошедший пятнами костюм, что стало совсем неуютно. Нашедшая нас учительница показала, где туалет, и я долго отмывал одежду у раковины, а ожившая сволочь Кузнецов при этом фотографировал. Через какое-то время он притащил в класс фотоотчет о поездке, притом всё, что он снимал из зала, оказалось размытым и тёмным, зато я рядом с умывальником в некрасивых позах получился отменно.

К началу действия мы опоздали, и спектакль совсем не запомнился, поскольку на всём его протяжении я переживал, что сижу с мокрыми штанинами, и жалел костюм брата. А, может быть, не из-за этого. Там, в театре, разглядывая фальшивое движение людей на сцене, я впервые начал чувствовать нечто, которое никак не мог сформулировать. Но казалось — приходило понимание чего-то такого важного, от которого не уйти и не спрятаться.

Так и сидя с братьями в только что загадочном кафе, рассматривая невкусную курицу на тарелке, я поймал себя на схожем ощущении. И опять никак не мог его ухватить. Оно ускользало, подобно ящерице, оставляя в ладони холодный и склизкий хвост. Только годы спустя, получив высшее, оставив за спиной две попытки кандидатской, прочитав кое-чего в каком-то количестве, я ухватил, поймал юркую ящерку.

В театре, а затем — в Барнауле я впервые ощутил превращение храма в плацебо. Причём самое символичное, что в Барнауле. Не будь этого города, не было бы и меня. Именно здесь почти тридцать лет назад молоденькая ткачиха, недавно приехавшая из алтайской глубинки, и солдат срочной службы, призванный из Сибири, встретились по комсомольской линии. И поженились, когда срок службы отца подошёл к концу. Длинная, сложная и в чём-то романтичная история. С трагическим финалом. Отца не стало, едва мне исполнился год.

Своим же детям я почти не могу рассказать ничего романтичного. С их мамой мы познакомились в библиотеке, куда нагнали старшеклассников из разных школ на встречу с местными поэтами. Мне же было дано особое указание от учительницы — почитать что-то своё, поскольку она была в курсе, что кропаю. Оказалось, поэты проводили поиск молодых талантов и из всей шоблы взяли в студию только троих, кто осмелился выступить. Одна девочка затем как-то быстро перестала посещать литпосиделки, а мы заученно встречались на автовокзале, ехали в другой район, затем провожались, знакомились с компаниями друг друга. Вмешался и пресловутый комсомол, организовав фестиваль эстрадных жанров. Мы просиживали вместе репетиции в ожидании своей очереди. И все номера заучили наизусть. Выступали, заняли первые места: я в художественном чтении, она — в бардовской песне. Ещё год я мотался по всяким подобным фестивалям, а она — поступила в институт. Из доказательств романтичного остался пыльный чемодан, полный писем друг к другу.

Отчего-то в литстудии меня считали перспективным и настойчиво советовали съездить в областной центр на семинар. Поскольку моя девушка училась в том самом областном центре, то идея приглянулась. Захотелось не только переписываться, но и увидеться. Посоветовавшись со знакомым организатором эстрадного фестиваля, что ходил в секретарях горкома комсомола, быстро решил финансовый вопрос. От горкома оформили командировку.

Не хочу сказать, что по итогам семинара меня настойчиво зазывали в областное литобъединение, но схема уже была апробирована и запущена. Я брал у мамы десять рублей на проезд туда-обратно на поезде, в горкоме — командировочный бланк. Ранним утром на перроне встречала любимая, и если у неё не было в институте занятий, чуток прогулявшись, мы шли в обком комсомола,

где раз в месяц собирались дарования со всей области. Если было холодно, болтали на скамейке в предбаннике пару часов под недовольными взглядами сонной вахтёрши. Перед началом занятия приходила ещё более сонная тётенька и по предъявлении паспорта и командировочного бланка шустро выдавала двадцать рублей всем, у кого такие документы были. Десятку потом я возвращал маме, а другую… Чёрт знает, что придёт на ум с такими деньжищами! Эта заветная для любого школьника бумажка—извините, не коржик за восемь копеек. На неё можно упиться лимонада, сходить на футбол после литературного занятия, при условии, что в тот день идёт матч на близстоящем стадионе. Можно сводить девушку в кинотеатр!..

Как раз в один из таких приездов, наслушавшись находившихся на взлёте популярности Цыганкова с Самойленко, я прямиком по Весенней двинул к политехническому. Ещё с час сидел на скамейке, разглядывая важных голубей у ног. Вероятно, даже сочинял что-то. Про голубей. А когда у неё занятия в институте закончились, мы долго бродили закоулками между корпусами, поскольку опоздали на запланированный ранее киносеанс в «Космосе». Можно, конечно было, дождаться другого, но тогда я мог не успеть на поезд со всеми этими милыми провожаниями с поцелуями и прохладными ладошками в моих лапищах.

Вынырнув между корпусами общежитий, слегка озябнув, упёрлись взглядом через дорогу в павильон «Цыплёнок табака». К слову сказать, снаружи он был точной копией барнаульского. Она как-то быстро сообщила, что девчонки из группы нахваливали это заведение, а я с унылым ворчанием посетовал, что пару лет назад пробовал такого цыплёнка и остался недоволен. Как известно, сытый голодному не товарищ.

Имеющий советскую десятку и пропустивший тёмный зал в кинотеатре, где можно тайком обниматься, вряд ли может понять озябшую и полуголодную студентку со стипешкой сорок рублей в месяц. Но против логики не попрёшь, надо перекантоваться где-то ещё с часок, и желательно—в тепле, пока не настанет время ехать на вокзал. Ещё сомневаясь, я оказался у крыльца. Из-за двери потянуло чем-то настолько вкусным, что последняя нерешительность исчезла. Дёрнув массивную ручку, мы вошли… в самое прекрасное место на свете.

Ничего общего с помпезно-ветхим барнаульским кафе. Витражи во все стены. Блеск хромированных перил у раздатки, миниатюрные белые столики и стульчики, благоухание жареного мяса и чего-то ещё—непередаваемого. За раздачей яств полные тётеньки в колпаках. Вроде бы такие, как и везде в общепите, но чуточку другие. Их халаты и колпаки белоснежно сверкают; на лицах вымученно-приветливые улыбки. Обращение вежливое, словно ты для них самый долгожданный клиент. Поэтому не хочется обращать внимание на цены. Как писали в газетах, «кооперативное движение набрало размах», и, наверное, впервые я в чём-то стал согласен с Горбачёвым.

Опять-таки, в отличие от барнаульского, где мы были чуть ли не единственными посетителями, здесь «яблоку негде упасть». Милые улыбчивые женщины с детьми. Солидные подтянутые мужчины в костюмах и галстуках заботливо и солидно обхаживали и женщин, и чад, принося и унося посуду. В длинной очереди мы, уже в нетерпении пританцовывая, смущённо оглядывались, выискивая свободный столик. И как только место освободилось, я лаконично предложил девушке его нам занять. А минут через десять, словно рыцарь букет, нёс прекрасной даме тяжёлый поднос с двумя тарелками и остро пахнущими пиалами с непонятным содержимым, что подсунули в довесок.

Затем я неоднократно пытался приготовить такой же чесночный соус. И пару раз получилось чуть ли не один в один. Хлопот-то! Пара долек чеснока, соль и тёплая вода. Но всё дело, как обычно, в пропорциях… Вначале мы не понимали, что делать с пиалами, исподтишка поглядывая на нарядных посетителей, каждый из которых казался завсегдатаем. Макать! Конечно же! Маслянистая подсоленная водичка затем несколько часов держит на нёбе вкус курицы, словно поел ну вот только что…Половинки скромной цыплячьей тушки исчезли как-то совсем быстро. Уловив тоскливый взгляд напротив, машинально подсчитывая в уме остаток средств в кармане, сообщил, что сам-то как-то наелся, но ей могу предложить ещё порцию. Купил, вновь отстояв в очереди. И когда повторно нёс блюдо—для неё, темнокудрой прелестницы, сидящей спиной к прозрачному витражу, на секунду, на долю секунды почувствовал… И слова-то не подобрать—что! Много лет спустя подобное волнение я ощутил, впервые переступив порог храма. Где всё вроде сложно и непонятно, но в то же время узнаваемо и естественно.

Она кушала и даже что-то пыталась щебетать. А я смотрел над её плечом, над чуточку приподнятым розовым воротником, над склонёнными смоляными прядками—туда, через стекло. На мир. Модный дизайн витражей. В тепле, в уюте, в окружении вкусных запахов и завсегдатаев, наверное, представляешься им, людям, шагающим мимо по мартовской слякоти, успешным и жизнерадостным. Это я-то? Полусельский парнишка с нескладными стишочками, за душой—горстка беззлобных амбиций и рубль с мелочью на всё про всё. Да. Это я.

Это я сижу в уютном кооперативном кафе посреди областного центра, угощаю девушку дорогим блюдом своей мечты и разглядываю площадь, памятник, голубей и скамейки, где непонятно кем ютился всего-то пару часов назад. И именно тогда, в те минуты, когда пространство одновременно развернулось за горизонты, при этом чётко и выверено сжавшись, я извлёк из себя весь имевшийся запас амбиций и послал его в мир, как покати-клубочек, и получил ясный ответ. Обо всём. Возможно, таким же прозрачно-чистым возвращаешься к себе после длительного покаяния и исповеди. Не знаю. Пока по части исповедей и покаяний мне не особенно везло, слишком неуклюже выгляжу в церкви, и она отвечает мне

тем же: её музейные служители напоминают тот неудачный фальшивый спектакль. Хотя, с другой стороны, церковь без служителя — пуста, словно экскурсионный автобус без гида.

Но когда сплелось, смешалось: лёгкая сытость, любимая напротив, розовая кофточка, мир нараспашку, — я увидел свой путь. Судьбу, если угодно. Знание снизошло ниоткуда. Не имея никаких на то оснований, я уже был уверен, что проживу здесь, в областном центре долгие и долгие годы. С этой женщиной напротив. У нас родится двое детей. А большинство из тех поэтов, которым я сегодня с утра заглядывал в рот, когда-нибудь будут бегать за водкой для меня. Нет, я, конечно же, не стану большим писателем и выдающимся поэтом. Никто не станет. Но клубочек уже покатился, и остаётся идти за ним, упорно, пробираясь по бурелому и бросаясь вскачь — по просторным полянкам. Но, в основном, идти в безвестности, в пренебрежении. Просто идти. Нагонять попутчиков и терять их. Потерять и эту женщину, и, возможно, наших детей, и других женщин. Но всё равно идти. До своего места. Оно есть. И никуда не денется, пока я не дойду.

Словно что-то приоткрылось, выпрыгнуло пружинкой чёртика из «Бриллиантовой руки» и никак не хотело залезать обратно. Пока я не увидел, что и моя возлюбленная, отодвинув тарелку, тоже смотрит сквозь и над. И стал думать, как глупо мы выглядим: уставившиеся непонятно куда — лучшая реклама этого заведения: наелись до осоловелых грёз. И разорвал непонятное витание в облаках каким-то глупым вопросиком, мол, вкусно было? На что получил странный ответ:

— Знаешь, давно хотела тебе сказать, — она изменилась: передо мной не студентка, строящая из себя серьёзного и взрослого человека, а больше этого, больше себя — женщина. — Помнишь, когда мы познакомились в библиотеке… Как только села рядом с тобой, то в голове прозвучал голос: «У вас будет двое детей и вы проживёте вместе всю жизнь»… Так странно… И сейчас… Ну что-то типа того же… Что-то почувствовала…

И мы принялись разглядывать друг друга. Както по-новому. Понимая, что ничего не изменить, не исправить, и не стоит менять или исправлять.

Если же мне представится случай поведать нашим деткам что-либо из романтического о нас с мамой, то я мог бы рассказать именно это. И то, что ответил ей:

— А мне показалось, что мы проживём вместе не одну, а несколько жизней…

Вероятно, я даже поверил в то, что произнёс из меня поэт. Тот, из другой жизни. Который достиг своего места. Но без неё. Немного умудрённый и потому косноязычный до лёгкого лукавства.

Как и сейчас. Была! Была у меня возможность им об этом рассказать. Спрашивали даже про истории нашего знакомства и решения пожениться. И я даже заикался о том кафе… Но рассказывал почему-то про другое. Даже не о том, как внезапно начали строить планы над пиалами с чесночным соусом и обглоданными куриными косточками. Какие могли быть планы по поводу семьи у провинциальной безотцовщины?! Какими могли быть мечты в стране, которая готовилась рухнуть в пропасть, что было понятно всем, даже таким оборванцам, как мы? Всем, кроме Горбачёва и Ко. Планы свелись к двум вещам: после школы мне надо тоже поступать в институт в этом областном центре, а не в Томске, как собирался, и — желательно приехать на майские, когда её соседки по комнате разъедутся по домам. И был ещё один план: как можно чаще кушать в этом кафе.

Детям же я рассказывал о поварёнке. Почему-то тогда он мне казался важнее всех наших планов и даже на мгновение приоткрывшегося ведения судьбы. Потому что был смешнее. Каланчой возвышаясь за пухлыми, белоснежными, приветливо-суетливыми пингвиноподобными тётеньками среднего возраста, с непроницаемым вытянутым личиком, он деловито вышагивал, порой пригибаясь, над готовящимися цыплятами. А когда распрямлялся, то курносенький носик его гордо стремился к потолку, удерживая аккуратные кругленькие очочки. Как у Знайки на картинках в детской книжке. Высоченный, почти мультяшный колпак делал и без того высокого поварёнка выше всех в этом кафе: и раздатчиц, и завсегдатаев. Важный, священнодействующий, он словно искоса и свысока наблюдал за всеми сразу. С видом, что ему неважно, насколько все ему благодарны за вкусную курицу. Он был до неприличия молод. А-ля Демьяненко в лучшую пору, снизошедший с экранов и университетов до нас, сирых, чтобы, накормив, облагодетельствовать. И был бы действительно комичен, если бы не обыденный факт — это он готовил самую вкусную курицу, что я когда-либо пробовал. А значит, имел полное право выглядеть как угодно.

Было очень неприлично разглядывать работников общепита, но мы с будущей женой, быстро разобравшись с ближайшими планами на жизнь, исподтишка рассматривали всех, почему-то наперебой хихикая. До поезда оставалось всего ничего, но мы не решались покидать кафе с его поварёнком, занимая такой нужный другим людям столик. Да нам уже не надо было куда-то спешить. Судьба заглянула на запах курицы и всё рассказала.

Кроме одного нюанса. Как и в любом храме, здесь присутствовал маленький и приятный обман. Дело в том, что нам не подавали цыплёнка табака. Нас угощали другим, новым блюдом, название которого ещё не было озвучено не только в нашем мировосприятии, но и в доживающей последние месяцы всей советской стране. Здесь готовили курицу-гриль. После чего, готовую, приплющивали на манер «табака». Естественно, по сравнению с той, барнаульской, курицей, да в придачу с находчивым соусом, по вкусу — небо и земля. И мы прощали этот милый обман, поскольку не знали слова «гриль», и влюбились в молодого новатора.

Мы часто даём себе обещания, которые не в силах сдержать. Нет, само собой, как только я приехал поступать в институт, встретившись, сразу же побежали в «наш» «Цыплёнок табака». А потом, ну как-то с деньгами стало туговато… А потом…снимали утеплённую веранду в частном

доме за ж/д вокзалом. Жена растила животик, в магазинах, даже имея талоны, ничего невозможно было купить, в кинотеатры, наводнённые новыми американскими фильмами,—без очереди не попасть. А где ещё коротать зимние вечера не имеющим ни телевизора, ни радио, ни газет? Со стипендии в выходной—в «Цыплёнок табака». Это стало превращаться из ритуала в рутину. Порции уменьшались при попытке удержания цены. Затем заведение плюнуло на тонкости и целиком окунулось в законы рынка. Так что в последний раз мы зашли, посмотрели ценник и грустно вышли. И поварёнок у плиты, сам недовольный таким поворотом дел, выглядел виноватым и злорадствующим одновременно.

А вскоре мы переехали на другой конец города в семейное общежитие. И, занимая с шести утра очередь у магазина, чтобы купить по «визиткам» причитающиеся в месяц на человека килограмм сахара и муки, бутылку водки и пять пачек сигарет, я и думать забыл о каких бы то ни было цыплятах, тем более—табака. Года через четыре, оказавшись между корпусами политехнического, где мы бродили когда-то с озябшей студенткой, а ныне в поисках здания столовой, в котором, по слухам, в субботу давал представление самодеятельный театр «Ложа», состоявший пока из единственного актёра, некоего Гришковца, не удержался—сделал крюк. Открыл вкусно пахнущую дверь, скользнул взглядом по неунывающему поварёнку и порадовался, что есть в мире нечто неизменное. Заходить не стал—денег не было всерьёз, давно и надолго.

А ещё через год, окончив вуз и шныряя по городу в качестве молодого поднеси-подая в коммерческой фирме, безотчётно готового выложить рублики за вожделенную еду, бодренько рванул на себя дверь «Цыплёнка табака». Но дверь была закрыта. Меняя работы, как носки, так или иначе проходя мимо, уже для проформы дёргал массивную ручку, пока в витрине не появилась обнадёживающая табличка «Ремонт». Случилось—даже работал чуть ли не напротив, через пару домов, и первое время, выскакивая в поисках перекусить, ещё на что-то надеялся, забегая в переулок между площадью и кинотеатром. Но табличка «Ремонт» угнездилась настолько прочно, что, годы спустя казалась неотъемлемым атрибутом окружающей действительности.

Причём, на удивление,—клубочек разматывался по указанной тропинке: у нас родился второй ребёнок, у меня вышла первая книжка, а вызванное этими обстоятельствами чувство ответственности подгребало под себя всё новые и новые работы, переваливая за три-четыре одновременно. А между ними, полусонный робот, что я из себя представлял, вваливался в двери уже родного Союза писателей и извлекал из кармана заработанные купюрки. И поскольку этим жестом ощутимо отличался от большинства имевшихся в многокабинетье писателей и поэтов, они, невзирая на свои заслуги перед читателем и обществом, ретиво скользили к ближайшим ларькам. Отхлебнув сивушного из грязного стакана, побалакав о том, о сём, узнав новости, перекинувшись в шахматишки, я летел на очередную работу. Вскоре обрушившийся дефолт подсократил количество работ и денег, но высвободил массу времени, в которое вмещалось всё больше и больше глотков из знакомого мутного стаканчика.

Дети к тому времени подросли и могли сидеть сами с собой, то есть старшая—с младшим. Жена так же принялась зарабатывать самостоятельно, иногда порхая в длительные командировки. И сложилось как-то, что очередной свой день рождения я отметил именно в Союзе писателей, с размахом так, активно, словно не будет больше никаких дней рождений. Причём вероятность такого исхода на тот момент мне казалась фактически безусловной. Поскольку я отчётливо начал понимать, что Лермонтова в этом возрасте уже похоронили, а я, так и не выскоблившись из «подающего надежды», превращаюсь в лысеющего пьяницу без какой-либо перспективы не то, чтобы на жильё и место в этой жизни, но даже и на публикацию в местном журнале.

И посреди веселья, среди похлопывающих меня по плечу заслуженных мэтров, пивших за мой счёт, я вновь поймал внутри скользкое, навзрыд прохладное ощущение обмана. Причём нашёл явного виновника, обещавшего, да надувшего. При этом хихикающего из-за угла. Под предлогом «покурить» вырвался на свежий воздух. Спешно оставив за спиной могучие двери Союза писателей, прятавшего в своих недрах пьяную мишуру, мельтешение мыльных пузырьков, рванул, не разбирая светофоров, к драмтеатру, вдоль него, по аллее, мимо политехнического… Почему-то казалось, что на этот раз всё получится, совпадёт. Я войду в храм и кину его служке в высоком колпаке «предъяву» за «кидалово по жизни». Ишь! как видения судьбы навеивать—мы тут как тут, а как пустышка выпала—видите ли, «Ремонт»!

Не знаю, сколько я стучал ногой в двери и пытался выцарапать сквозь стекло ненавистную табличку. Вероятно, до тех пор, пока не понял, что сил нет. Ноги отказывались двигаться, и, присев на ступеньки, я курил, с ужасом осознавая, что не знаю, куда идти и стоит ли вообще идти куда-то. На второй сигарете, почти засыпая, поймал за кончик хвоста чёткую до прозрачности мысль, что надо что-то менять. Но ящерка, как всегда, вырвалась без подсказки.

Это сейчас я прикидываю, что в возрасте убиенного Михаила Юрьевича мог бы спокойно перейти в его нынешнее местопребывание, закемарив на февральском крыльце закрытого кафе. Хотя, кто его знает? Чужд я романтике. Скорее всего, чуток протрезвев, двинулся бы я знакомой дорогой к шабашу Союза, поскольку до дома вряд ли уже ходил какой-либо транспорт. Но случилось обыденное, до предела будничное. Меня «приняли» мимо проезжающие менты. Поэтому я склонен верить как раз во вторую версию своих предполагаемых действий. Потому как в «бобике» сразу сконцентрировался на ситуации, закрутил «кубик-рубик» имевшихся в памяти телефонов… Длительное проживание в большом городе обязывает к различным знакомствам, среди которых у меня завёлся

бывший муж подруги нашей с женой общей подруги. Который не раз в совместных застольях рекомендовал обращаться к нему, не последнему сотруднику районного медвытрезвителя, если даже привезут в медвытрезвитель другого района. Не было тогда сотовых, на память приходилось рассчитывать. Не подвела. Как только привезли, попросил позвонить. Напомнил про свой день рожденья, обещал бутылку коньяка, словом, унижался, пока не разрешили. Бывший муж кого-то там ни с того ни сего оказался на рабочем месте, попросил передать трубку дежурному. После чего меня… отпустили!

Ни туда, ни сюда. Посреди ночного города, между домом и Союзом, где меня, вероятно, ещё ждали, без денег и транспорта я шагал под снегопадом, доверяясь ногам. Пьяненький, довольный благополучным разрешением проблемы и одновременно мучимый мыслью, что придётся ставить «пузырь» этому «бывшему мужу». Отчего-то не захотелось его благодарить. Вообще никого. Я не стал серьёзным поэтом. И никто не стал. За что кого-то теперь благодарить? Особенно какого-то там мента из «трезвиловки». И решил его забыть. Но этого мало. Надо было сделать так, чтобы и он меня забыл. Никогда не нашёл…

Умные ноги привели домой. Фактически трезвого и без подарков. Заспанная чернокудрица открыла дверь, чем несказанно удивила. По моим расчётам она ещё дня два должна была быть в командировке. Обнимая её, прижимая к себе, я хотел жарко шепнуть в ушко: «Давай уедем из этого города? Навсегда». И осёкся, внезапно услышав: «Меня на работу зовут. В Красноярск. Потому пораньше и отпустили, чтобы решить… Поедем?».

Никогда тот мент от меня не получит бутылку.

…Въезжая под утро в подзабытый, но до тоски пропитавший поры городишко, отчего-то вспомнил это её «поедем?». Ласковое, вопрошающее. Что же должно было произойти, чтобы это же личико однажды перекосилось безобразной гримасой, это стройное тельце взвилось змеёй, исторгая мат и крики? После чего ледяные слова: «Я не хочу больше жить с тобой». Словно имела право решать, словно не было «Цыплёнка табака», очередей по отоварке «визиток», словно не было ничего — и даже этого, с надеждой, «поедем?»

Город встретил убогой гостиницей, Союзом с теми же лицами, что и девять лет назад, ощущением — словно не уезжал. Но лукавлю, лукавлю… Я другой, и лица другие. Встречаются незнакомые, молодые. А некоторых уже никогда не встретить. Но отмечаешь, узнаёшь что-то в суете. Программа конференции настолько насыщенно-обременительна, что и перекусить некогда. И в краткий промежуток между заседаниями из здания в здание, чуть ли не умоляя, бросаемся к организаторам: «Где поблизости можно поесть?». Амфорный молодой человек, роясь в памяти, как сплёвывает: «Через площадь, направо — «Цыплята табака».

Боже мой! Теперь я понимаю, что такое девять лет. Как я мог забыть?! Бодро указывая коллегам дорогу, щекочу себя смешком, поскольку мне потом — на вокзал, за билетами. Как когда-то, как в первый раз. Как, чёрт его знает, сколько лет назад. А со мной уже нет той женщины, и детей вижу от случая к случаю… Клубочек мотает свою предсказанную нить: я вваливаюсь в долгожданно открытое заведение в компании писателей, что утвердились в литературе, когда меня ещё к детскому саду близко не пускали, к которым и сам пару лет назад постеснялся бы подойти, настолько далеки они от полузабытых снисходительных местных «мэтров». Получается, что и я тоже. Я? Полусельский парнишка с умеренным запасом амбиций? Да, это я вхожу в то самое «Цыплёнок табака» — наряду с именитыми и известными. Можно было и офигеть, если бы не фокус превращения храма в плацебо.

Мы вошли не в тот «Цыплёнок табака». Мы оказали в том же помещении, при том же расположении стойки с блюдами, хотя и видоизменённой до буфетной. Нас встречала неопрятная тётка, словно подачку, вышвыривая на тарелках полусъедобную, по-барнаульски жёсткую курицу. Исчезли в небытии радостные белые стульчики, мамы и дети, папаши в галстуках. За круглыми деревянными столами, накрытыми кумачовыми салфетками, изображавшими скатерти, среди давно немытых витражей сидели бомжеватого вида типчики. По одному за столиком. Перед каждым стаканчик чего-то невразумительно красного, бережно отпиваемого мелкими глоточками. Без какой-либо закуски. Алкаши не общались друг с другом, смирно отбывая свою дозу. На первый взгляд, половина из них уже была бездомной, другая — стремилась к этому.

И мне стало до щемления стыдно, что привёл цвет сибирской литературы в эту, с позволения сказать, «атмосферу». Однако голодному «цвету», кажется, было всё равно. Его обескураживало только отсутствие выбора среди салатов. Курица исчезала. Мы гуртовались у единственного свободного столика с краю, насыщаясь и попутно обсуждая тяготы конференции. Коллеги сокрушались по поводу ещё предстоящего плотного графика и в чём-то завидовали мне, вполне законно сматывающегося с мероприятий за билетами. И не складывалось, никак не складывалось дружелюбного общения и уюта. Попутно звонили на сотовый организаторы, поторапливая и напоминая, но мне всё больше становилось наплевать. Постепенно ускользали разговоры коллег. Откуда-то выскорлупливалась абсурдная связь между «я не хочу с тобой жить» и недобрым взглядом неряшливой тётки за буфетной стойкой. Словно моя бывшая жена оказалась виновата в превращении милого кафе в забегаловку. Или, что более вероятно, это я пинал дверь настолько сильно, что вывернул реальность наизнанку. Я всё пытался уловить движение в проёме служебного входа, ожидая, что вынырнет оттуда белоснежный высокий служитель в очочках, осыплется грязь с витражей, и под крики «розыгрыш» ворвутся к нам все, кого я любил. Друзья, жена, молодые, покончившие с собой поэты, дружелюбно похлопывающие по плечу мэтры, любовницы, дочь с сыном, и — пусть — даже знакомец из медвытрезвителя.

Я так был к этому готов, что когда через секунду ничего не произошло, почувствовал, что могу зажать рот и выпучить глаза, как мультяшный инопланетянин Кузнецов из детства. Поэтому, пробурчав что-то про «покурить», покачиваясь, направился к выходу. И едва не заверещал, как в фильме ужасов, когда один из алкашей почти нежно придержал меня за рукав. Худой, небритый, в толстых линзах, он прошептал: «Мужичок, дай сколько не жалко, а?». От отвращения я дёрнул рукой, вырываясь. Даже хотел сказать что-то обидное. Возможно, дать по морде. Возможно, получить. Уже не важно.

Но он привёл свой последний аргумент. От удивления вытаращившись, автоматически выгребая из кармана на стол, что есть,—пару десяток с мелочью,—я разглядывал его, соображая, что меня изначально взбесило. Прося, он не смотрел на меня. Куда-то мимо. И теперь, шепча: «Благодарю, благодарю»,—шарил мимо денег, торопливо скользя пальцами, словно старый тополь высохшими ветками. Даже за толстыми линзами почти совершенно слепой, сгорбленный, облезлый человечек, сказал: «А я когда-то поваром здесь работал».

Мне внезапно захотелось расстегнуть новёхонькую дублёнку, залезть во внутренний карман белоснежного отутюженного костюма, достать и отдать ему всё, что было с собой на командировку, но я почувствовал спиной, что коллеги и так пристально наблюдают за моими действиями. Или мне показалось. Или тот, кем я стал… кем был всегда… разумно пресёк эти действия, позывом тошноты вызывая на воздух…

Я обречённо курил на тех же ступеньках, что и девять лет назад. И не хотел ничего менять. А, возвращаясь с вокзала в Союз писателей, где после мероприятия ожидался банкет, как обычно, опережающий количеством спиртного закуску, купил по дороге курицу-гриль.

Окурок

— Скажите, метр—это много или мало?

Девушка была почти симпатичной, молодой, не молоденькой, а уже молодой. Я приметил её, подходя к остановке, поскольку становился третьим. По количеству ожидающих можно строить предположения, давно ли ушёл автобус и скоро ли будет следующий. То есть, девушку я приметил не с целью завязать знакомство (хе-хе, не в этот день), а просто как человеческую единицу. Само собой, попутно отметил её молодость и симпатичность по сравнению с полной тётенькой с кудрями и пухлыми пакетами нараспашку. По всему выходило—автобус ушёл недавно.

Между мной и дамами на остановке стояло дерево, вероятно,—тополь. Не знаток в породах деревьев (тем более—в этот день), просто мимоходом зафиксировал: старое, небольшое дерево с искривлением и наклоном в сторону автострады. Собственно, и на дерево-то не похоже—так… растёт, непонятно что, непонятно где. Потому что и остановкой-то назвать было трудно небольшую асфальтовою дорожку в кармане-выемке автомобильного полотна. Ни тебе скамеечки, ни укрытия от дождя. Просто три человека, дерево, а на дереве прибита табличка с обозначением остановки. И если под такой табличкой собрались трое и стоят, рано или поздно автобус должен здесь оказаться, распахнуть двери, убаюкать на свободных—конечно, свободных! в девятом-то часу—сиденьях, отвезти домой, где я мигом, едва раздевшись, рухну спать.

Это был очень длительный и тяжёлый день. Я устал так, что едва стоял на негнущихся ходулях, которые раньше принимал за ноги. До шаблонной буквальности «я их не чувствовал». Так—ощущал, когда передвигались. Ощущение строилось на соприкосновении подошв с асфальтом. Или голова уже отказывалась воспринимать всякую фигню, вроде ощущений. Короче говоря, я стоял на незнакомой убогой остановке и «тупил». Помимо резкого желания немедленно спать, было ясное понимание полного безоговорочного счастья. Да, я устал, но так много сделал сегодня! Всё сделал! И трещащее по швам от усталости тело одновременно казалось лёгким, воспаряющим. Несомненно, этому поспособствовала и бутылочка пива, которая оказалась спасительной в этот ветреный, порывистый, но по-майски тёплый денёк.

Что ни говори, я был осоловело доволен, благодушен и готовился поспать. Как вдруг передо мной возникла эта пигалица и спросила:

— Скажите: метр—это много или мало?

Вообще-то я живу в центре мегаполиса и, передвигаясь, так или иначе попадаю то на соцопросы, то под объективы телекамер; время от времени выгребаю из карманов скомканные листовки и рекламные проспекты. По роду занятий сталкиваюсь с десятками сумасшедших женского пола, решивших, что пишут стихи. В большинстве случаев они начинают знакомство с нестандартных вопросов, щеголяя знаниями биографии Сурикова и Хабенского, цитируя Бродского и Фёдора Илоева (на этом месте может стоять любая фамилия местного поэта, ранее меня ознакомившегося с творчеством этих дам). И тут, подойди ко мне полная кудрявая женщина с таким вопросом, не задумываясь послал бы… к коллеге в литстудию. Поскольку, как правило, лит. сумасшествие—дело возрастное.

Девчушка с её математическим вопросом никак не могла оказаться узнавшей меня поэтессой. Вероятно—соцопросница, решившая скоротать ожидание дополнительным процентом к рабочему дню. И в любой бы другой день я бы с удовольствием ответил ей, какую марку сигарет предпочитаю, какие магазины посещаю и какие фильмы мечтал бы посмотреть. Но сегодня, включив автоматом чиновничий холодок и поставленный дежурный баритон, не предполагающие дальнейшего диалога, ответил чисто по-одесски:

— А почему вас это интересует?

Но нечаянная собеседница внезапно взбодрилась:

— А я решила именно у вас это спросить!

Озадачившись, я задумался над ответом. Но поскольку устал, как собака, и думалка не работала, ответил, как есть:
— Мне кажется, метр — это мало.
— Тогда почему вы не прошли этот метр и не бросили окурок в урну?

На секунду мне стало стыдно, и я даже попытался найти глазами урну, куда я должен был выбросить бычок. Видимо, машинально курил и машинально отщёлкнул. Знаете, в юности у нас было одним из признаков крутизны отщёлкнуть большим пальцем окурок небрежно и нарочито, причём как можно дальше. Въелось, вошло в привычку.

Но урны не было! Остановка, тётка, девушка напротив, дерево справа. Никаких урн! Наоборот! За спиной девушки порывы ветра мотали по асфальту целлофановые пакеты, обёртки из-под «сникерсов», упаковки из-под семечек, старые листья. Мой окурок в этой вакханалии мусора, пожалуй, был самым смирным и незримым. И я хотел было об этом сказать. Но девчушка опередила и произнесла, гордо отвернувшись:
— Загадили город, — внезапно добавив: — На х…

Организм вспомнил, что существуют ощущения, но сделал это зря. Ибо ощущение было такое, словно ударили. Если бы не это её «на х…», я бы извинился, поскольку был не прав. И если бы она, мило улыбаясь, попросила, поднял бы, не задумываясь, свой бычок и бережно водрузил бы туда, куда мне скажут, поскольку был благодушен и до последней секунды — счастлив.

Но девчушка, в два раза моложе меня, отошла на несколько шагов, словно и не было никакого разговора. И мне внезапно захотелось подойти к ней, попросить прощения, поинтересоваться, откуда у неё возникла тяга к чистоте: с субботника, по работе или просто по жизни? Словом, сделать всё, чтобы умиротворённое настроение вернулось.

Я мог бы ей рассказать о конце 80-х, о захудалом райцентре, где рос среди «гопоты», где умение «щёлкать бычком» выручало от тягучего выяснения «ты чьейных будешь?». Я мог бы рассказать, что после долгожданного телефонного звонка от тёщи в полдвенадцатого ночи выпил рюмку водки и лёг спать, заведя будильник на семь утра. О том, что полвторого меня разбудил другой звонок, от жены. Которая слабо прошептала, что лежит в коридоре на сквозняке, и просила ей отдельную палату. О том, как, так и не уснув, я с утра снял деньги и понёсся на другой конец города, муторно и долго выяснял с врачами, что почём, купил палату (в больницах это называют добровольной материальной помощью). С беляшом и пивом дождался во дворе, когда она мне отсигналит по телефону, мол, теперь порядок, но привези мне то, то и то. И поесть чего-нибудь. Как выяснял в приёмной, что ей можно, что нельзя. Как съездил домой, собрал, по дороге купил, отвёз. Встретился с тестем, нанял машину, заехали в магазин, загрузив такси под завязку. Как расставляли с ним всё дома. Как тёща сварила, отвёз горячего, а теперь еду домой, вновь через весь город…

Мы уже сидели в автобусе. Мне досталось свободное место — лицом к салону. Сидевшая напротив, чуть поодаль, девушка, смотрела в окно, делая вид, что ни о чём не спрашивала. Или не в её силах более смотреть на козлов, разбрасывающих окурки. А я сожалел, что так и не подошёл к ней на остановке, не сказал самое главное. И вероятно стоило бы сейчас подсесть и сказать просто:
— Девушка, простите меня. Я так сегодня устал, замотался. Но я больше так не буду. Ведь у меня сегодня родился сын. И я счастлив.

И тогда бы она оторвалась от безучастного рассматривания города, повернулась бы ко мне и резюмировала бы:
— А мне по х…

Поэтому я так и сидел на месте — лицом к салону. Девушка вышла минут через пять. Оказавшись дома, я выпил ещё рюмочку. За то, что обошлось. Что мои в отдельной палате и больше не лежат на сквозняке. Что кроватку, ванночку, коляску, распашонки, конверт и кучу другого из заранее составленного списка я купил и привёз. Жену накормил… Уже засыпая, нащупал зазвонивший телефон:
— У меня молоко слабо идёт! — чуть ли не плакала. — Привези завтра грецкого ореха и томатного сока, хорошо?
— Да, да, хорошо, конечно.
— Вы всё купили?
— Да, да. Только той синей ванны не было. Зелёную купил. Нечего?

Утром, после посещения роддома, я вновь оказался на остановке с прибитым к дереву её обозначением. Курил. И знаете что? Урна оказалась сразу за деревом. Переполненная через край.

Роман Мамонтов

Дважды снаряд не падает

*Где вы, трое славных ребят
из железных ворот ГПУ?*
О. Мандельштам

У каждого — своя весна, и каждый год разная. В городе, например, весна пыльная и душная, на трассе — скользкая, в полях и перелесках — влажная, горькая. У кого-то депрессия наступает, кому-то женщину подавай в трещащей по швам мини-юбке, кто-то поскользнётся на корке льда, и будет потом оправдываться перед травматологом. И только похмелье не имеет времён года, половой принадлежности или погодных аномалий, хотя спорить не берусь: если небо хмурое и в кармане голяк, похмелье будет глубоким и суровым.

До автостоянки метров двести. Мятный «Орбит» несколько разбавил горечь во рту. Утро ясное, под ногами залысины льда, нет-нет да собачий лай переулок зальёт. Ехать надо осторожно, в натяг, без резких ускорений. От вчерашнего пива мутит и подташнивает, хотя выпито не много. «Сегодня тестирование, откосить не получится, — кисло подумал Глеб. — Главное, до института добраться, отсидеть пару часов на лекции, а после двинуть к кассам стадиона». Завтра игра со столичным футбольным клубом. Ключевой матч тура. Фанаты, как клоуны, и чем богаче клуб, тем веселей их наряды. Диалектика русского футбола: больше смеха — дороже билеты. Футбол — театр под открытым небом, только в сектор хороший попасть надо: и шоу насладишься, и здоровым и невредимым домой вернёшься. Фанаты есть фанаты, особенно в апреле. А если дело до файров дойдёт, пожарный наряд свою зарплату на месяц вперёд отработает. Оле-оле-оле! Россия, вперёд!

Два часа лекции показались Глебу сутками, которые прервал долгожданный звонок. Шум улицы знакомо ударил в грудь, сердце забилось ровнее, стало как-то спокойнее. Он купил минералку и с удовольствием отхлебнул. Ехать недолго, стадион почти в центре города. Зябкий ветерок пробежал по салону старой «тойоты». Солнце весело царапнуло капот автомобиля, на секунду ослепило.

Ехать было приятно — на улицах сухо, будто лужи кто выпил, зимний мусор убран, там и тут видны следы валиков уборочных машин. Правда, ещё трава не проклюнулась сквозь промёрзшую корку газонов. И всё замерло в каком-то трепетном ожидании — дворники, пешеходы, витрины, светофоры. Глеб надел чёрные очки и закурил. Он свернул с главной дороги, миновал потускневшую «зебру» и не сразу приметил на обочине бело-синий автомобиль дорожно-патрульной службы. «Чёрт, — вырвалось у него. — Наша служба и опасна и трудна!». Патрульный в салатном жакете повелительно махнул полосатым жезлом. Глеб остановился. Тот хмуро представился и кивнул на машину, где сидел его напарник в таком же жакете, с таким же хмурым и красным лицом, коротко остриженный, с оттопыренной кобурой. Отличие составляло количество звёздочек на погонах: у одного — две, у другого — три.

— Пройдёмте! — повернулся он.

Глеб сел вперёд, по правую руку от тормознувшего его дэпээсника с тремя звёздами. Жезл упал на заднее сидение, к толстой ягодице обладателя двух звёзд.

— Ну-у, Глеб Борисович, — рассматривая удостоверение и принюхиваясь, начал «старший». — Рассказывайте, сколько пили вчера, веселились и всё остальное там.

— Спиртных напитков не употреблял, — сместил акцент на казённый язык Глеб.

— Кхе-кхе… А запах от вас, прямо скажу, не амброзия. Тут «Орбитом» не поможешь. «Холс» надёжнее будет. Практика, понимаете ли.

Глеб промолчал. Он дышал носом, с какой-то призрачной надеждой на ошибку, краем глаза цепляя «старшего».

— Ну что? Отправляем на освидетельствование? А?

— Оформляйте.

«Старший» ухмыльнулся и, предчувствуя удачу, задумчиво посмотрел вдаль, точно батюшка, отпускающий грехи непутёвому чаду.

— М-да, Глеб Борисович, не цените вы ни себя, ни своё время… Пару лет без вождения автомобиля — не шутка!

Заднее сидение заскрипело, зашмыгало и бухнуло:

— Срок, б…! На сухую. Ещё и пятнадцать суток от заката до рассвета!

— Тихо, Седухин. Тихо.

Глеб заёрзал. Подмышкой жалобно ныло, а в животе образовалась какая-то неприятная воронка из протоколов, звёздочек и насморка второго дэпээсника.

— Сколько? — выдохнул Глеб.

— Что сколько?

— Должен я вам.

Заднее сидение отчего-то забулькало и заухало.

— Взятка при исполнении должностных обязанностей?

— Да нет… вознаграждение за труд. Сколько?

— А то вы не знаете?

— Не знаю… Первый раз.

— У-у-у, как всё запущено, Глеб Борисович… Двухзначная цифра. Помимо трёх нулей.
— Что-о?—опешил Глеб.
— Изменения к правилам дорожного движения. Короче, штраф возрастает, а, следовательно…
— Сколько?
— Ты чего?—не выдержал роли батюшки «старший».—Доходит плохо, что ли?
Глеб обречённо повёл плечом.
— Десять!—бухнуло заднее сидение.—А то и больше.
— Может…—начал Глеб.
— Мы не на Поле Чудес с Якубовичем,—завёлся шмыгающий лейтенант.—Сечёшь?
— Секу.
Глеб объяснил, что суммы такой на руках нет, что для него это большие деньги, поэтому придётся съездить до банкомата.
— Как это съездить?—насторожился «старший».—Как это так?
— Пешком далеко.
Дэпээсники вышли из машины, посовещались и решили:
— Десять минут тебе. Права и «пэтээска» остаются у нас. На маршруте могут стоять патрули, с нашего отдела… Надеемся на тебя. Не залети. Иначе объявим в розыск. Ну, типа угона.
Глеб завёл свою развалюху.
Теперь солнце не казалось ему таким ярким и весёлым, как полчаса назад, да и мусора в переулках и на проспекте было куда больше. «Хреново работают коммунальщики»,—обозлился Глеб. У банкомата толпился народ, что опять-таки распалило Глеба. Особенно не понравился ему крайний мужик в распахнутом пальто, кожаной кепке и шарфе под цвет обвисших усов—светлорыжем. «Всё у меня не как у людей,—процедил Глеб.—Взятку и ту спокойно дать не могу». Мужик покосился и заметил:
— Тренироваться надо.
— Не с кем.
— Кто ищет, тот найдёт.
— Угу. Приключений на зад,—отмахнулся Глеб.
Мужик равнодушно отвернулся…
Купюры были новые. Они пленительно шелестели, отсвечивали голограммой и вкусно пахли. Их было бы очень приятно сворачивать и опускать в карман, а потом идти с ними по центральной улице в предвкушении покупки, а потом пригубить коньяка грамм пятьдесят, а потом закусить шоколадом и понять, что люди не такие уж плохие существа. Все братья-сёстры, или наоборот. Но теперь… теперь купюры достанутся другому. Глеб быстро пересчитал сумму и залез в «тойоту». Он вырулил в нужный ряд и понёсся по проспекту, надо успевать—десять минут на исходе. На светофоре он повернул влево, не замечая знак запрета, и очутился перед патрульной машиной с такой же синей полосой, «мигалкой» и человеком в салатном жакете. Короткий взмах полосатого жезла, ленивая походка и блеск кокарды на фуражке. «Это мы уже проходили»,—нервно усмехнулся Глеб, выжимая педаль тормоза.
— Ваши права!
В глазах замелькали комбинации ответов, но ничего утешительного и дельного в голову не приходило. Да и как объяснить дэпээснику, что он уже должен его коллеге, но поскольку денег в кармане не оказалось, требовалось добраться (и как можно скорее) до ближайшего банкомата, там снять их и никем незамеченным вернутся за получением своих документов, а тут казус выходит: проезд под знак «поворот налево запрещён» да прямо в руки нового поста. Лучше не придумаешь.
— Ваши права!—повторил человек с четырьмя звёздами.
Глеб зажмурился: «Четыре звезды—не три, и уж точно не две. Не знаю, как должность, но вляпался я по самые уши. Вот так сходил на футбольчик!».
— Документов нет,—вжал он голову в плечи.
— Как это нет?—округлил глаза капитан.—Издеваешься?
Пришлось объяснять, путано, ломано, жестикулируя. Капитан поправил жезлом фуражку, достал пластик жевательной резинки и отправил её в рот. Зрачки капитана работали, как кукушка старых ходиков: тик-так-тик-так…
— Номер машины помнишь?
— Нет.
— А номер значка?
— Нет.
— Та-ак… Где, говоришь, эти мухоморы торчат?
Глеб ещё раз объяснил местоположение. Капитан сел в бело-синюю машину и заговорил с лысым напарником, искоса поглядывая на Глеба. Потом взял рацию, напарник покачал головой и протянул ему новенький мобильник. Прошло пять минут, в течение которых ухоженное лицо капитана меняло цвет от белого до пунцового, а руки напарника описывали все мыслимые и не мыслимые геометрические фигуры. Телефонный разговор приобретал форму дискуссии, переходящей в бурный аукцион. Диалог—двигатель благополучия. Что сильнее: три звезды или четыре?
Капитан подошёл к Глебу и чуть подался вперёд:
— Слушай, парень,—подмигнул он.—Я думал, что в одну воронку два раза снаряд не падает. Ты исключение или,—он сдвинул фуражку на лоб,—неудачник!
— Вы хотели сказать—лузер?
— Ну, ну. Веселись,—поморщился капитан.
Глеб отвернулся. Ему порядком всё надоело. Он решил предоставить себя воле случая: как будет, так и будет. Даже интересно—каким образом сумма, лежащая в его кармане, поделится на четырёх? Можно принимать ставки. Что победит: геометрия Лобачевского или Евклидового пространство? Жаль, билеты с удачными местами на стадионе уже раскупают. А капитан всё ходил и ходил—взад-вперёд-взад-вперёд. Но вот он резко остановился, увидав знакомый автомобиль с «мигалкой», который повернул под тот же запрещающий знак, что и Глеб. Из остановившегося авто выпрыгнул «старший», хмуро посмотрел на Глеба и прошипел:
— Подвёл ты нас, Глеб Борисович. Подвё-ёл.
Глеб развёл руками. «Началось»,—подумал он, посматривая на капитана. Тот быстрыми шажками

подбежал к обладателю трёх звёзд и, схватив его под локоть, потащил к своему авто.

— Нет, уж, Аким, давай к нам,—отстранился тот.— Прошу! Желание гостя—закон. Кхе-кхе…

Капитан с досады прикусил губу и нехотя плюхнулся на заднее сидение акимовского автомобиля. Глеб проторчал ещё десять минут. До него доносились только кусочки фраз:

— За баклана ценишь…
— Это ж мой клиент, в натуре…
— Тот ещё отморозок…
— В патрульном батальоне…
— Не барнауль, соратник…
— Сочтёмся наличманом…
— Плевал я…

Капитан раздражённо открыл дверь, глубоко вдохнул и направился к себе. Глеб поспешил было за ним, но его окликнули:

— Парень! Заводи свою тачку. Поехали.
— Это как?
— Молча. За нами. И не отставай…

Эскорт из двух автомобилей резво вышел на проспект и покатился к знакомой обочине. Между патрульной машиной и Глебом никто вклиниваться и не думал, обгоны и перестроения шли на почтительном расстоянии, даже какое-то уважение к его персоне чувствовалось. «Ну и дела,—присвистнул Глеб,—точно президент еду, вернее, водитель президента. Так бы и рейвировал всю жизнь без пробок и в почёте. С «мигалкой», чёрт возьми. Фантастика». Но фантастика продолжалась недолго. Они свернули на ту самую злосчастную обочину, где был прерван процесс покупки билетов, постояли несколько секунд, будто оглядываясь—нет ли кого, и медленно въехали во двор к металлическим гаражам у старой хоккейной коробки. Глеб подошёл к бело-синему автомобилю.

— Садись,—кивнул «старший».

Глеб сел. Тот опять кивнул:

— Вот сюда. На консоль.

Глеб положил деньги к рычагу передач.

— Ну, бывай.

Теперь Глеб кивнул головой. Автомобиль дэпэсников плавно тронулся. Сквозь приоткрытое заднее стекло послышалось бульканье:

— Ты это, парень… езжай аккуратно. Без происшествий.

Глеб совершил что-то наподобие книксена и сплюнул:

— Уж как получится.
— Ну, ну… Дело твоё. С Богом, парень. Кхе-кхе…

На учёбу Глеб не пошёл. Билетов уже не достать. Брать у перекупщика—всё равно, что мяч футбольный с арбузом спутать. Друзьям звонить не хочется. Настроение—так себе: ни рыба, ни мясо. Но весна продолжалась, и солнце уверенно шагнуло в зенит. По улице зашуршал тёплый ветер, качнулись трамвайные провода. На рельсах чирикали воробьи. Ветер подхлестнул их, они встрепенулись. Рядом захныкал ребёнок, его принялись утешать, и воробьи опять засуетились, не понимая то ли это ветер, то ли плач тревожит их. Вот и блондинка проплыла, цокая каблуками, с интересом посмотрела на хмурого Глеба. «Странная логика,—подумал он, провожая каблуки блондинки.—Три звезды оказались сильнее четырёх, а значит…—тут он остановился,—а, значит, снаряд и в третий раз может упасть в ту же воронку?». Разворот руля вправо—и «тойота» послушно покатила за кирпичную пятиэтажку. Пикнула сигнализация. Глеб пошарил по карманам. Выудил оттуда мятую купюру, которую незаметно умыкнул из передаваемых денег. Он с долей злорадства усмехнулся, представил лицо «старшего» в момент дележа денег и неровное булькающее дыхание лейтенанта Седухина, и его сакраментальную фразу: «С-сука! Нагнул нас!». И на душе стало легко и спокойно, как после удачно проведённого пенальти—под перекладину, в «девятку». Он вытряхнул из пачки последнюю сигарету, чиркнул зажигалкой и неторопливой походкой направился к магазину с вывеской «Свежее пиво».

Евгений Москвин

Неправильные люди

Таинственный Маевский

Когда я учился в начальной школе, мой ныне покойный дедушка, будучи личностью весьма эксцентричной, любил рассказывать мне разные истории, которые почти полностью являлись плодом его слегка подвинутого воображения. Он был учителем музыки, надевал на занятия фортепьяно красный галстук поверх зелёного свитера, а когда приходила весна, показывая ученикам, «как надо играть Патетическую Бетховена», принимался долбить по клавишам с такой силой, что, по их утверждению, один раз на рояле вылетели пара струн. Ни разу не было случая, чтобы в его рассказах не фигурировал какой-нибудь великий композитор, но правды в них было столько же, сколько в хармсовских — про Пушкина и Гоголя; смысла, пожалуй, чуть побольше, ведь мой дед старался таким образом приобщить меня к музыкальному ремеслу и сделать «продолжателем его начинаний», но, так или иначе, редко когда удавалось ему сочинить что-то по-настоящему глубокомысленное. В результате я честно признаю, что многие его истории давно вылетели у меня из головы, а некоторые никогда не были там и вовсе, ибо частенько, когда он садился не возле меня, а в другой конец комнаты, горбился, сметая своей густой и чёрной, но очень мягкой бородой хлебные крошки со стола, и принимался говорить, я незаметно выскальзывал в коридор, учуяв запах своего любимого лакомства, — на кухне мать вылепливала эчпочмаки, — а затем, машинально доставая из кармана платок, протирал им увлажнившееся от горячего пара лицо.

И всё же один раз деду удалось по-настоящему заинтриговать меня — не могу сказать точно, что такого глубокомысленного было в очередной его байке, но запомнил я её на всю жизнь. Главным действующим лицом её был Сергей Прокофьев, (хотя, как мне представляется, им мог бы быть и Римский-Корсаков, и Бетховен и др.).

Когда мне было десять лет и я учился в третьем классе музыкальной школы, дед как-то принёс домой склеенную марлей розовую хрестоматию с пернатыми жёлтыми страницами — типично библиотечный экземпляр. (Разумеется, дед взялся обучать меня сам, и когда я немного окреп, он стал задавать мне едва ли не по двадцать этюдов Черни в год, и лишь по субботам оставляя в покое и не требуя «двухчасовых занятий за инструментом», отправлялся к своему давнему консерваторскому приятелю Перепёлкину, который ныне был никому неизвестным композитором. От него он возвращался с чернильными губами, покачиваясь и в перепачканной вином рубахе).

— Знаешь какая необыкновенная история приключилась один раз с Прокофьевым? — спросил у меня дед, ставя хрестоматию на пюпитр и с гордостью поворачиваясь от пианино — будто говорил о своём собственном творении.

— Нет, — я сидел на тумбочке, свесив ноги так, что носки сандалий касались паркетного пола.

— Всё верно, откуда тебе знать! А ведь это замечательная история и, поверь мне, чистейшая правда!..

Так он тоже всегда говорил… Вот что он рассказал мне в тот день:

«Чего только не может приключиться с великим гением! Прокофьев занимался музыкой с пяти лет, и к моменту своего поступления в Петербургскую консерваторию написал уже порядочно произведений. Но до определённого момента своей жизни ему казалось, что он ещё очень далёк от совершенства. А что для него было мерой, императивом? Это не пустой вопрос — каждый творец, художник на что-то опирается. Всё дело в том, что как-то в детстве он услышал одно музыкальное произведение, совсем простенькое, (это был марш), но навсегда запавшее ему в душу, до такой даже степени, что каждый раз создавая очередное своё творение, он не мог перебороть в себе неудовлетворённости тем, что, как ему казалось, сколько бы он сил не вложил в него, не суждено ему достигнуть того, что сумел автор марша. А кто был этот человек? Быть может, Прокофьеву следовало изучить его жизнь и ознакомиться с другими произведениями, дабы глубже проникнуть в его творчество? Нет, всё не так просто…

Ему было семь лет, когда *это* случилось. Однажды в конце дня к ним в Сонцовское имение пожаловал некий человек по имени Антон Маевский — отец был в отъезде, а мать пригласила на чай очередного композитора; она часто так делала. Возвращаясь каждый раз в памяти к этому эпизоду своего детства из уже более поздних возрастов, Прокофьев никогда не мог вспомнить, как Маевский прошёл в его комнату, а запечатлел его в памяти только уже стоящим на фоне книжного стеллажа; и казалось, часы на верхней полке на самом деле стоят на плече Маевского. Его печальная, но с коряво и насмешливо разведёнными в стороны руками фигура не отбрасывала тени, — свет, проникавший в комнату из открытого окна, сочился через кусты сирени, росшие перед самым домом; создавалось впечатление, будто именно они являются его источником. На подоконнике возле горшка с папоротником уселся мотылёк…

— Антон, сыграйте ему что-нибудь!.. Хотите чаю?.. — спрашивала мать.

— Не откажусь.
— Сыграйте! — потребовала она во второй раз, — вы же у нас гений, не правда ли?
— Ну… — Маевский смущённо пожал плечами и покачнулся от внезапного порыва ветра, освежившего комнату.
— Ладно-ладно, только не говорите, что я преувеличиваю. Вы гений, как и мой сын. Садитесь за фортепьяно, а я принесу чаю.
— Ну что же, раз твоя мать так считает, посмотрим, на что *ты* способен, — Маевский тряхнул своей густой задымлённой шевелюрой и, сев, осторожно прикоснулся к клавишам, словно сомневался, издадут ли они какой-нибудь звук, или, напротив, думал, что тот окажется слишком громким. Неясный аккорд, дрогнувший в комнате в следующее мгновение, напоминал диссонансы Шёнберга. Тотчас же Маевский обернулся и почему-то пристально посмотрел на Серёжу, словно хотел угадать, произвело ли это впечатление на мальчика. Но тот, не зная, по какой причине, лишь отвёл взгляд в другую сторону — скорее всего, Маевский немного смущал его; тогда Антон развернулся обратно — на нём был костюм, едва ли не фрак, который зашелестел, вторя кустам сирени за окном, — и вдруг заиграл так браво и задорно, что костяшки его пальцев на отлетающих от клавиш руках едва не ударялись о пюпитр. Серёжа резко повернул голову и удивлённо смотрел на спину Маевского, на самом деле не видя её. Марш вдохнул такую бодрость во всё его существо, что мальчик попросту обомлел.

Тарам-там, турум-тум, тарам-там, та-а-ам, ту-
Тарам-там, турум-тум, тарам, та-та-та-та-та-та…

Уверенная ритмическая тема повторилась два раза, после чего её сменила «средняя часть», наполнившая разливистым журчанием почти каждую клавишу пианино. Спина Маевского, до этого напряжённая и сгорбленная, сначала распрямилась, а затем прогнулась назад; запрокинув голову, композитор изучал светозарные прямоугольники света на потолке. Внезапно по ним пробежала неясная продольная тень, и словно стряхивая накопившийся на лице свет, Маевский возбуждённо мотнул головой, после чего опять сгорбился и воинственно «замаршировал» репризой; в этот же самый момент в комнату вошла мать с подносом в руках. Когда она ставила его на стол, звон серебра был заглушён начавшимся в последних тактах крещендо.
— Это вы сочинили? — спросил Серёжа после того, как Маевский взял короткий заключительный аккорд.
— Конечно. Кто же ещё?
— Я уже слышала этот марш, — заявила мать, расставляя чашки по блюдцам; поднимавшийся от них пар ловко уклонялся от ветра, — вы играли его на литвиновском вечере.
— Верно, — подтвердил Маевский.
— Антон, вы настоящий молодчина! Когда-нибудь мой сын тоже сочинит гениальное творение!
— А что говорят в школе? — осведомился Маевский, снова внимательно посматривая на Серёжу, — довольны им?
— Очень довольны! Все в один голос расхваливают его способности.

На это Маевский ответил, что тогда, конечно, и сомневаться не стоит — нужно только продолжать изо дня в день заниматься музыкой и сочинять.
— Марш великолепен! — запоздало воскликнул мальчик и тотчас же замялся, ибо постеснялся собственного выпада; но если бы не стеснение, Серёжа, вероятно, прибавил ещё что-нибудь…

Маевский и мать рассмеялись, а потом она заявила:
— Он так же великолепен, как и прост, — и подала Маевскому чашку, который перед тем, как отпить из неё, сделал короткий кивок.

До конца вечера мальчик так и продолжал завороженно глядеть на Маевского; он запомнил каждую нотку сыгранного марша несмотря на то, что после этого прозвучало ещё множество других композиций, на сей раз бетховенских и шубертовских, а спустя некоторое время его, разумеется, и самого усадили за инструмент, чтобы он «показал, на что способен». Маевский откланялся, нисколько не сомневаясь в Серёжиной одарённости.

Как я уже говорил, этот марш изменил всю жизнь Прокофьева, на доброе десятилетие сделавшись для него эталоном и вызывая вечную неудовлетворённость своими собственными произведениями. Как-то раз это довело его едва ли не до нервного срыва: чем более его учителя и наставники Танеев и Глиэр расхваливали каждое следующее сочинение, тем острее он ощущал своё несовершенство и отдаление от того, что принято называть гениальной простотой. Закончилось всё тем, что после одной очень успешно удавшейся ему сонаты Сергей слёг, а когда начал приходить в себя, мать, — никому, кроме неё, он не позволял теперь входить в его комнату, а всем, кто желал навестить больного, даже своим друзьям, известным композиторам и поклонникам отвечал резким отказом — чувствуя неладное, заставила Сергея рассказать о том, что же его так тяготило. Нужно ещё заметить, он всегда скрывал происходящее, боясь выдать этим неуверенность в своих способностях, а вернее сказать, меньшую уверенность, нежели та, которой обладали его родители. И тут выяснилась поразительная вещь! Его мать совершенно не помнила ни эпизода, произошедшего когда-то у них дома, ни Маевского, ни его гениального марша.
— Ты меня разыгрываешь! Быть такого не может! — воскликнул, наконец, молодой человек. До этого казалось, что Сергей лежал на кровати без сил и ему трудно даже пошевелить рукой, но теперь он с проворством поднялся на локтях и уставился на мать.
— Послушай, от этой болезни в твоей голове, наверное, появились нездоровые фантазии.
— Что?
— Да, да, ничего другого я предположить не могу. Я никогда не слыхала ни о каком Маевском, а то, что ты говоришь, будто этот человек когда-то приходил к нам в дом, чистейшая бессмыслица!
— Почему? — не унимался Сергей.
— Да потому что такого никогда не было, я этого не помню.

— Что же я, по-твоему, сочиняю?—он очень любил свою мать и никогда не повышал на неё голоса, но теперь говорил довольно раздражённо.

Начали вспоминать то время, когда Сергей был ещё мальчиком, тех людей, которых мать приглашала домой, однако это так ни к чему и не привело—Маевский напрочь стёрся из её памяти. Внимательно изучая лицо матери, Сергей видел, что она говорит правду. Да и зачем ей было лгать? Верный способ проверить, действительно ли Маевский не приходил к ним в один из дней, когда отец был в отлучке, это вспомнить, по каким делам тот уезжал,—так, по крайней мере, они с матерью совместят в памяти конкретный день и сумеют убедиться, что их воспоминания не только различны, но и прямо противоречат друг другу. Однако как ни старался Сергей сделать это, все его усилия результата не принесли—отец работал агрономом, управлял имением и часто уезжал на какие-нибудь полевые работы,—видно, и этот раз не был исключением, а значит, оставалось сделать только одно…

Невзирая на материны протесты и не говоря ни слова, Прокофьев поднялся с кровати, подошёл к инструменту и взял первые аккорды марша. Раньше он, если и играл его, то только в одиночестве, ведь более всего мы скрываем свои раны от тех, кто беззаветно предан нам и верит в абсолютную непогрешимость. Мать кинулась за ним, но как только Сергей коснулся пальцами клавиш, застыла вдруг и, уже позабыв о его хандре, лишь заворожено и удивлённо смотрела на своего сына.

— Ты не узнаёшь этой музыки?—осведомился он, обернувшись с загадочной улыбкой и чуть растягивая аккорды.

— Нет… не узнаю… это ты сочинил?

— Да…—этот ответ сам собою сорвался с его губ, а раздумывал он над ним гораздо позже,—…и выходит так, что ещё очень давно сочинил…

— Ты или тот человек, о котором…—всё не унималась мать, но Сергей поспешно оборвал её.

— Забудь о нём,—он опять улыбнулся, и щёки его порозовели,—я верю, что ты никогда не знала Маевского. Верю…

Когда Сергей показал этот марш Глиэру, отреагировал тот уже совершенно иначе, нежели чем всегда. Он не восхитился и даже не улыбнулся, но только серьёзно положил руку на плечо своего ученика и проговорил:

— Теперь в твоём творчестве наступил совершенно новый этап. Я ждал этого…».

— Ты хочешь, чтобы я разучил этот марш?—спросил я деда, когда он закончил свою историю, но это был риторический вопрос, и дед, не произнося ни слова, лишь торжественно водрузил хрестоматию на пюпитр,—Хорошо, я так и сделаю. Обязательно.

— Помни только ещё об одном. После того, как Прокофьев понял, что этот марш на самом деле принадлежал только ему и никому больше, ему не стало лучше. Конечно, он выздоровел, хандра отступила, но я имею в виду его душевное состояние. Он не почувствовал избавления.

— Нет?

— Нет.

— Почему?

— Да потому что тотчас же появилось нечто новое, что опять его угнетало. А если бы не так, то и творить не стоило бы.

(Много позже, когда мне суждено было исполнить дедову волю, стать известным композитором и связать свою жизнь с музыкой… когда я уже по разу в месяц давал собственные концерты, я в полной мере ощутил подлинный смысл этих слов, ибо так никогда и не испытал я удовлетворения, полного и губительного, от которого уже не хотелось бы двигаться куда-то вперёд,—не испытал и благодарю за это Бога!).

— И что это было?—осведомился я.

Дед внезапно смутился.

— Не знаю… вернее, знаю, но расскажу в следующий раз… хватит уже историй на сегодня. Лучше я покажу тебе, как играть марш, а потом наступит твоя очередь…

У меня сохранилась фотография, датированная 2001 годом, на которой я сижу за фортепьяно и играю тот самый прокофьевский марш, а дед, склоняясь надо мной, весь обратился вслух; даже рот его невольно открылся от крайнего внимания, а за стеклом очков—мой дед очень редко надевал очки, и когда я играл марш, как раз и наступал один из таких редких случаев—совсем не видно глаз: мать фотографировала нас против света, стоя возле окна…

…Своей бабушки я никогда не знал—она умерла много лет назад от туберкулёза, и мой дед не забыл боли этой утраты до конца своих дней. Как-то раз в конце одной из своих историй, он сказал мне, что в молодости был очень талантливым композитором, но её смерть навсегда унесла с собой этот талант, «превратив его сердце из камертона в бросовый камень, вроде тех, которые убирают с полей». После этого он направился в ванную, и почти целый час из-за плотно закрытой двери слышались его высокие надрывные рыдания, похожие на заливистый детский смех. На следующий день он надел серый дождевой плащ, плотно стянул голову капюшоном,—тогда на дворе стоял очень пасмурный ноябрь,—и сказал матери, что направляется на местное кладбище, где находилась бабушкина могила. Подойдя чуть позже к окну, я наблюдал, как он под мелко моросящим холодным дождём покупал в цветочной лавке большие красные розы, тщательно отбирая каждую из пластмассового ведрышка и чуть отряхивая листья от капель, прежде чем положить в букет. Плащ блестел от воды, а борода и волосы деда, выбивавшиеся из-под капюшона, промокли насквозь. Мне казалось, что я смотрю на рисунок, почти весь выполненный углём, и лишь в центре пылает акварельный костёр, конвульсируя кровавыми красками жизни.

Неправильные люди

1.

Митя Щекочихин, мальчик лет пятнадцати, сидел на корточках перед дачным участком и объяснял младшему брату Коле, что такое теория относительности.

— Я знаю, тебе ещё только восемь. Многие бы сказали, что тебе рано объяснять теорию относительности. Но смотри, это на самом деле очень просто. Ты ж, небось, сто раз видел, как поезд отходит от платформы. Отъезжает… Вот, смотри,— Митя нарисовал на земле гусеницу и прямоугольник, слева от гусеницы,— это поезд и платформа. А это,— Митя нарисовал ещё левее, нечто, походившее на пламя,— это город за платформой. А это,— он ткнул пальцем в прямоугольник,— это ты стоишь на платформе… и улыбаешься,— ехидно прибавил Митя и скорчил гримасу.

Коля расхихикался.

— Ну всё, всё, хватит, хватит. Так слушай… смотри теперь: поезд трогается,— движение поезда Митя показал ребром ладони,— поезд уехал. Для тебя! Ты стоишь на платформе. Понимаешь?

— Угу.

— А для пассажиров, которые сидят в вагоне… а нет, давай лучше представим, что это ты сидишь в вагоне. Ты не на платформе, а в вагоне теперь. Что ты увидишь? Что это платформа и город уехали, правильно?

Митя и Коля были на проезде не одни. Неподалёку от них играли две девочки, играли совсем не в девчачью игру — «ножички» — только не ножик они втыкали в землю, но гвоздь-сотку… вернее, старались воткнуть — ни разу ещё гвоздь не вошёл в твёрдую землю, но всё время падал и пару раз задел шляпкой пузатый носок бирюзового башмака — той девочки, которую звали Люда. Ей было девять, и у неё была забавная фамилия — Гриб; Люда жила на другом проезде, но чаще приходила играть сюда, неизвестно почему, ведь вторая девочка, как Коля помнил, «вообще жила непонятно где» — это Люда её приводила с собой,— а с Щекочихиными Люда хотя и переговаривалась, но всегда почему-то после этого садились играть порознь. Никто никого не сторонился, просто так было — и всё.

И минут десять назад, когда Люда была ещё дома, мальчики слышали, как с другого проезда донёсся голос Людиного деда, Павла Александровича Гриба:

— Нет, не бери нож, пожалуйста… нет, Люда, я тебе не разрешаю, слышишь меня? Если хочешь в «ножички» играть, то играй гвоздём, пожалуйста! Вон у меня соток сколько под кроватью валяется! Такие, с алюминиевыми плямбами на шляпах, знаешь? Для толя.

Павел Александрович говорил требовательно, но, в то же время, и с «болтливой заботливостью», иначе и не назовёшь, и мальчики смеялись его запрещениям: как же можно играть в ножички гвоздём; он же в землю не воткнётся! А если даже и воткнётся, в каком направлении чертить отвоёванный кусок территории?

Теперь Люда кидала гвоздь в землю с метровой высоты — каждый раз, когда приходила её очередь, она для чего-то вставала в полный рост и складывала ноги по швам,— выходит, «сделать удачный кидок», как говорили ребята в посёлке, не представлялось совсем уже никакой возможности. А как только Люда услышала Митины слова: «…это платформа и город уехали…» — тотчас присела, отставив колени в стороны, как кузнечик, и расхихикалась.

У неё был крупный нос — крупнее, чем требовали остальные черты лица,— и этот смех и то, как она сейчас вытянула шею,— всё это, казалось, подчёркивало внушительный размер носа.

Вторая девочка тоже хихикала.

Гвоздь, в очередной раз не воткнувшись в землю и падая, застрял в бирюзовом шнурке Людиного ботинка. Продолжая смеяться и повторяя Митины слова:

— Платформа и город уехали… хи-хи… хи-хи-хи… — она вдруг вскочила и мотнула одной ногой в сторону.

Гвоздь полетел за подорожники, в канаву. Людин нос чертил в воздухе восьмёрки и загогулины.

— Я не понимаю, я же был на платформе сначала. Почему я теперь в вагоне? — тихо, но вкрадчиво осведомился Коля; ему не особенно был важен ответ — скорее, серьёзная интонация, с которой он задал вопрос — ею он очень гордился. Вот он сидит такой серьёзный и взрослый, слушает теорию относительности и возвышается над этой «носатой» — если не до самых небес, то хотя бы до конька своего дома.

Коля взглянул на блестевший конёк крыши, который от проплывавшего по полуденному солнцу облака приобрёл какой-то зернистый оттенок; на коньке множились неясные лепестки-тени. Коля почувствовал, что где-то в глубине души Люда, конечно, нравится ему, однако, учитывая «носатый нос», это снисходительная симпатия, чувство, вкрадывающееся в тебя только посредством твоей уязвимости, а значит, и обнаруживающее её — по крайней мере, для тебя самого; но главное, что именно для тебя самого. Это чувство, которого нужно, скорее, стыдиться. И всё же было немного приятно.

Он хитро взглянул на Люду; вскинул голову.

— Эй, чё смеёшься-то, а? Я тебя сегодня на торфянке видел. Ты стояла, в струнку вытянувшись,— сообщил Коля.

«Но главное-то что? — мелькнуло в его голове.— Главное то, что это подчёркивало её «носатый нос», эту громадную калошу, которая была как будто приделана к опущенной голове. И эти башмаки, грубые, но бирюзовые,— ноги по швам, а мысы отставлены в разные стороны,— совершенно нелепо,— ну точно герой-мальчуган в каком-нибудь комиксе. И ещё косынка на голове, тоже нелепая, как у старухи или церковной прихожанки; косынка и белесый пучок волос, только один, левее темени выбивается. Люда Гриб, господи ты боже мой…».

Коля, однако, конечно, ничего этого вслух не сказал.

Люда и вторая девочка между тем на оклик Коли никак не отреагировали, а всё не унимались, хихикали, заливисто, по-детски; и Люда повторяла то и дело:

— Город уехал… хи-хи, хи-хи-хи… город… уехал… хи-хи,— и в её смехе Коля узнавал себя; ему становилось неловко, даже стыдно, и по спине азартно бежали мурашки.

2.

Стоял июнь; не слишком жаркий, умеренный, и вечером Коля, выйдя с участка, увидел на другом проезде через ряд сараев и двухэтажных домов Людиного деда.

Павел Александрович Гриб ничего не делал, просто прохаживался перед своим домом, белокирпичным, с многочисленными красными вкраплениями и с белой клетчатой решёткой на окне второго этажа, сцепив короткие руки на увесистом животе; внезапно старик остановился и повернулся к Коле лицом. Стоял так почти целую минуту, а потом вдруг поднял левую руку и помахал—как-то по-женски, открыто, и Коля никак не мог уразуметь, ему это помахал старик или кому-то ещё, потому что «с чего бы это он стал мне махать? Ну да, мы пару дней назад столкнулись в магазине, но всё же… А впрочем, ведь и в магазине я тоже не ожидал, что он…».

Мальчик так и не решался поднять руку и помахать в ответ; ему стало неловко, даже не по себе: «Ну чего он, спрашивается, поднял руку и помахал? Зачем? Он же не на пароходе отчаливает в дальнее плавание. Вот теперь я не знаю, что делать. В ответ помахать? А вдруг это не мне? И если помашу, выйдет глупо. А если он всё-таки мне махал, а я не отвечу, так он обидится».

— Обидится, да,—даже вслух прошептал Коля и вспомнил, что его мать говорила про Гриба:

— Он себе по блату выпросил в военкомате генеральское звание. Совсем уже во!..—мать покрутила пальцем у виска.—Он у нас теперь генерал Гриб. Скоро будет ходить по посёлку в эполетах.

Пока что старик был одет совершенно обычно, по-дачному: ветхая розоватая рубашка, застёгнутая на половину пуговиц, чёрные тренировочные штаны, похожие на подкову; мягкая белая кепка, прикрывавшая седую голову, которая вкупе своей с шеей имела капсульную форму.

И ещё мать говорила:

— Столько связей у человека, а он даже не может свою внучку в нормальную больницу положить, чтобы ей почки вылечили. А на кого ей рассчитывать-то ещё? Мать давно в могиле, а отца она и не знала никогда.

Люду действительно беспокоили почки, но так просто их было не вылечить: в прошлом году её уже клали в больницу, под капельницу, а потом целый месяц пичкали дома различными антибиотиками и обезболивающими—в довесок. В результате Люде стало значительно лучше.

Два дня назад Коля столкнулся с Павлом Александровичем в дверях магазина. Мальчик совершенно не ждал, что за обычным ни к чему не обязывающим приветствием старик заговорит с ним, да ещё и на «вы»:

— Ваша мама, кажется, в музыкальной школе работает, да?

— Ага,—Коле не было забавно от такого уважительного обращения, скорее, странно, даже немного неприятно, потому что старик не шутил и ничего не пародировал. (Во всяком случае, по интонации этого не чувствовалось).

— А кем скажите, пожалуйста?

Коля мялся и думал о том, что у старика светлые глаза.

— Хор преподаёт…—выговорил наконец Коля.

— Вот хорошо, и тебя, значит, тоже,—старик неожиданно перешёл на «ты»,—надо отдать в музыкальную школу. Уверен, в тебе есть какие-то музыкальные способности. Нашей стране как раз творческих людей не хватает. Ты покажи матери свои способности. Спросишь как? Я тебе скажу. Пой по гамме, вот так: «До-ре-ми-фа-соль-ля-си-до». А потом вниз, обратно: «си-ля-соль-фа…»,—Павел Александрович старался напевать, но в результате у него ничего не выходило, он только гудел на одной ноте,—а потом опять вверх пой. Шопен тоже наверняка с этого начинал музыкой заниматься. А вдруг ты новый Шопен, а? Такой же по таланту—как было бы хорошо!

Когда Коля пересказал матери этот эпизод, она заявила:

— Ну совсем старик уже замаразмел! Неудивительно, что он не может свою внучку вылечить! Пой по гамме!..

Коля так и стоял и смотрел на Павла Александровича, не махая в ответ. В конце концов, старик повернулся и как раньше заходил туда-сюда, без дела, только теперь уже сцепив руки за спиной.

«Ну слава Богу. Надеюсь, он решит, что я смотрел всё же не прямо на него и не заметил, как он помахал мне. И не обидится, если это мне было…».

3.

Прошло два месяца, и Коля за это время почти не видел ни Людиного деда, ни самой Люды: после того дня, когда она соткой играла в «ножички», Люда появлялась ещё всего раз или два; и вторая девочка тоже исчезла, так что Митя с Колей решили, что обе просто играют теперь где-то в другом месте; на Людином проезде, может быть.

— А чего она вообще сюда ходила?—сказал както Коля.

Прозвучало это едва ли не с интонацией: «А чего ей вообще здесь делать?»—нет, всё же не с такой интонацией, но всё равно резко, самоуверенно, и Митя некоторое время смотрел на младшего брата как-то странно, почти безо всякого выражения, а затем вдруг лукаво подмигнул:

— А того, что на тебя посмотреть хотела.

— Чё?

Митя захохотал, и Коля, покраснев, накинулся на брата и принялся колотить ему по спине; затем за шею схватил, но тут уж Митя высвободился и сам пошёл в атаку. Они были в доме, сидели на кровати и, в результате, пока возились и смеялись, смяли всю простынь (Коля всё время повторял: «Этот носатый нос? Эти зелёные башмаки? Вот тебе, вот!..»), а потом сидели уже порознь и старались отдышаться, облизывали губы и чуть улыбались друг другу; Коля один раз рассмеялся, но перебороть тяжёлое дыхание не сумел, и, в результате, к его смеху примешался ещё какой-то гортанный звук.

И вдруг Митя сказал:

— Может, она уехала.

— Уехала? С чего бы?
— Ну, не знаю. Уехала и всё. Не все ж сидят на даче целое лето, как мы… я и в следующем году тоже, наверное, не поеду сюда на всё лето,—прибавил Митя.
— Это почему?
— Да дома лучше останусь. Там компьютер.
— Тогда и я с тобой!
— Мама тебе этого не позволит. Она считает, что в твоём возрасте нужно побольше дышать свежим воздухом.

Коля, конечно, приуныл.

— А я думал, ты останешься в городе, чтобы свою теорию относительности изучать,—проговорил он, наконец, язвительно, расстроенно.
— Может, и так. Вполне возможно,—просто согласился Митя и развёл руками—словно бы и не заметил тона младшего брата,—слушай, а можно вопрос?
— Нет.
— Почему ты говоришь «носатый нос»? Это же неграмотно с лексической точки зрения.

А потом, в середине августа Коля вдруг увидел Люду; нет, не сам факт её появления был для него неожиданностью (он слышал, что она приехала),— но то, *как* странно произошла их встреча.

Это было после обеда. Коля всё не выходил на улицу—с самого утра небо затянули плотные, усталые облака, но между тем ни капли дождя так и не выпало, и Коле было неприятно выходить на ветреную улицу; этот сонливый матовый свет, от которого рябило в глазах,—нет уж, лучше было сидеть в доме при закрытых занавесках и смотреть цветной телевизор.

А потом, когда начиналась реклама, Коля неизменно срывался с места и бежал через кухню на второй этаж—белесые и сапфировые блики телевизора сменяло ярко-жёлтое сияние пузатой лампочки в сто ватт. Лампочка лежала возле Митиного колена (на штанину ему налипла добрая сотня опилок), на штабелях вагонки, которыми был завален на высоту едва ли не больше метра весь пол, от южного окна до северного, и в проводе, тянувшемся от патрона к розетке, грязном от осадочной пыли, было столько изломов, что он походил на кардиаграмму. Сидя на деревянных реях, Митя копался в железном чемоданчике, из которого угрожающе торчала громадная отвёртка.

— Что ты делаешь?—в который уже раз спрашивал Коля, но ответ его не очень интересовал; он смотрел на ярко горящую лампочку.

Он понял, что через двадцать лет вспомнит о ней.

— Да мама просила яблоню в саду спилить. Я ножовку ищу и всё никак не могу найти. У нас же их целых три было—куда все подевались… Просто невероятно. И ещё надо бы этот провод протереть.

Митя говорил задумчиво, отрешённо; скорее всего, ему просто хотелось пожить часок-другой среди монтировок и гаечных ключей; подшипников, гвоздей и прокладок для насоса,—раз или два в лето на него всегда находило хозяйственное настроение.

Коля сидел с братом пару минут и думал, что из окон второго этажа улица не кажется такой тяжёлой, матовой; затем спустился вниз. На сей раз, однако, зайдя в комнату, он всего минуту-другую смотрел телевизор—в какой-то момент Коля подался к окну и отдёрнул занавеску (Коля будто бы переборол себя—матовый свет больше не казался ему тяжёлым и неприятным)…

Он увидел Люду.

В первый момент Коля опешил—просто от неожиданности. Девочка стояла прямо против его дома, но смотрела как-то перед собой и, скорее всего, ничего не видела, ушла, что называется, в свои мысли. И выглядело это, конечно, странно.

Всё те же косынка и пузатые, бирюзовые башмаки; всё тот же «носатый нос», «приделанный» к склонённой голове, а спина выпрямлена,—словом, ничего не изменилось, только на талию был повязан тёплый шерстяной платок и ещё белесый пучок волос, выбивавшийся из-под косынки, стал меньше.

В какой-то момент девочка сощурила глаза— опять-таки же не потому, что что-то увидела, но, очевидно, некоему пришедшему ей на ум соображению; затем веки расслабились, и снова Коля угадал в Люде самого себя; ему так же захотелось прищуриться, затем расслабить глаза,—но ни о чём не думать в отличие от неё—словно он был её отражением.

Коля вспомнил обрывки разговора между матерью и Митей, услышанные вчера (сквозь сон— утро выдалось хмурым, серым, как весь сегодняшний день, и ему долго не хотелось вставать, но и лежать тоже было неприятно: постель была сыроватой с ночи, сопрелой, и вялое тело, казалось, от этого ещё больше размякает, и остатки пота на плечах и за ушными раковинами никак не могут высохнуть; Коля спал глубоко, всю ночь, но отдохнувшим себя чувствовал только наполовину).

Голос матери:

— …приехала, да.
— А она уезжала? Ну да, мы с Колькой, впрочем, так и решили,—голос Мити звучал более приглушённо, чем материн.
— Какие вы догадливые! А куда она, спрашивается, делась, если не уехала? Плохо ей, вот чего. В больнице лежала.
— Опять?

Мать понизила голос:

— Да. Только ему не надо говорить об этом, ладно?

Лёжа в кровати, Коля невольно остановил дыхание.

— Хорошо. Не буду. Выходит, она не выздоровела?
— Ну, её опять прихватывало. Уже по два раза в день. Совсем то есть плохо… Боль была адская. А сейчас полегчало, ничего вообще не болит вроде бы, но, говорят, это ненадолго, на почках опухоль какая-то. Пересадку надо делать. А там очередь, и даже если и связи и деньги заплатить, всё равно ждать придётся. Ужас просто… даже неизвестно, чем всё это обернётся.
— В каком смысле? Стершу тоже Людой зовут.
— Но нам-то сколько лет? Мы другое поколение. А где ты Люд найдёшь—в вашем поколении?..—

в голосе матери была такая интонация, словно это последнее обстоятельство — редкое имя — и есть самый главный аргумент, почему Люду нужно отправить на пересадку побыстрее, вне очереди…

Коля опустил занавеску, вскочил и побежал на улицу. Он разом забыл обо всём: теперь его не интересовало ничего, кроме Люды. Но он не осознавал этого до конца и, тем более, не говорил себе ясно, да и вряд ли им двигало какое-то чувство, нет, скорее любопытство… но любопытство странное.

Неизъяснимое.

Когда он вышел, Люды перед домом уже не было, и Коля, поспешив на дорогу, увидел вдалеке только удаляющуюся спину, обмотанную шерстяным платком.

— Люд!..— окликнул он, чувствуя секундный дискомфорт; и ещё почему-то ненатуральность, фальшивость.

Девочка не обернулась. Он снова позвал:

— Люда! — позвал сильнее.

Она и на сей раз не обернулась, только остановилась и чуть повернула голову.

Он видел профиль лица, Люда по-прежнему не смотрела на него; скорее, только косилась назад. Глаз он не различил отсюда. Только нос.

Всё тот же носатый нос.

— Чего?

— Ты ко мне?

— Нет, нет… — Люда покрутила головой и пошла дальше.

Он знал, что она так ответит,— она ответила бы так в любом случае, если бы даже и пришла к нему, но она не могла прийти к нему; она пришла ровно так, как и приходила всегда, и Коля чувствовал даже какие-то странные угрызения совести за то, что он вот так вот выбежал, окликнул. Дело было не в том, что он выдал этим своё любопытство, нет-нет, совсем не в том, а просто ему досаждала нелепость сложившейся ситуации, и эту нелепость создал он. Сам. А не Люда.

Несмотря на то, что она вела себя странно — как всегда,— она была здесь ни при чём.

Совершив нелепую вещь, Коля впервые за восемь лет ругал себя за это не очень сильно, но настойчиво, как делают это взрослые люди; и знал, что ещё будет ругать и дальше. Почему?

Неясно…

«Где я видел её последний раз? — спрашивал себя Коля как во сне и всё вглядывался в удаляющуюся спину.— На торфянке?.. Нет, не на торфянке, ещё позже на проезде видел — она в «ножички» играла гвоздём… и ещё, наверное, видел после… не помню».

Но Коле было гораздо приятнее думать, что именно на торфянке он видел её в последний раз, что именно там она играла в «ножички», пришла туда специально, потому что гвоздь, как она думала, легче втыкается в этот мягкий, удушливый чернозём, который, если захватить горсть, лежал потом на ладони только двумя состояниями: либо солидными чёрными комьями, либо тёмно-серой пылью — среднего не дано. Люда кидала гвоздь, но он всегда попадал в пыль и по-прежнему падал, выбивая из торфа маленькие глухие взрывчики — как от щелчка.

Да, ему было приятнее и спокойнее думать теперь, что, якобы сделав себе это послабление, у Люды всё равно так и не получился ни один «кидок»… а почему не получился? Потому что по-прежнему она бросала неправильно, с высоты метра, слишком выпрямляла ноги, затем, когда приседала, чтобы поднять гвоздь, разводила колени в разные стороны, как кузнечик,— неправильно, всё неправильно!.. Просто потому что она неправильный человек.

И он чувствовал в этом какую-то свою тайную вину.

4.

В следующий раз Коля встретил Люду уже в конце осени. Он приехал на выходные без Мити, с одной матерью — мать всегда совершала в ноябре «контрольный заезд по закрытию сезона»: «печную заслонку проверить, парник закрыть, электросчётчики выключить, дверь запереть на два замка» и пр.

Коля увидел Люду на центральной дороге, когда возвращался из магазина. (И чего ему было идти в магазин, тот был закрыт ещё с конца сентября! Но мать настояла, чтобы он сходил и проверил:

— Поди, поди, а вдруг открыт.

— Да какое открыт, в посёлке сейчас хорошо если треть дачников!

— Не спорь,— сказала мать рассудительно,— сходи и посмотри. Сейчас ведь суббота. И если открыт, я пойду уже сама туда).

Конечно, магазин оказался закрыт, и Коля возвращался, испытывая тайное умиление от того, что оказался прав и что сейчас придёт домой и сообщит матери о своей правоте. Никакого раздражения, что мать настояла и заставила его совершить этот бессмысленный поход, Коля, как ему казалось, теперь не испытывал.

И вот он увидел Люду. В первый момент он даже не узнал её. Куда подевались косынка, бирюзовые башмаки? А все остальные «составляющие» её облика? Она стояла прямо, вытянувшись в струнку? И ноги по швам? Теперь определить это было трудно — на Люде была ярко-жёлтая куртка, похожая на трубу, очень длинная, ниже колен и ещё ниже виднелись два красных квадратика штанин и такого же цвета калоши. Носки в разные стороны расставлены не были.

Вместо косынки голову теперь обильно осыпали рыжеватые колечки волос; густые и жёсткие.

Одной рукой Люда держала за сиденье новый велосипед, красную «Каму», весело сверкавшую многочисленными наклейками, звонком и фарой…

Трудно сказать, почему он это сделал. Скорее всего, он даже не осознавал до конца, что на Люде парик; и он не помнил в этот момент ни единого эпизода из предшествовавших встреч и ни одного ощущения: страха, дискомфорта, симпатии, неприязни,— нет-нет, ничего этого не было. И последняя встреча, когда он совершил ту нелепость (по его тогдашнему впечатлению) — когда, увидев Люду из окна, побежал на улицу и спросил у удалявшейся

спины: «Ты ко мне?»—и этой нелепости он не помнил, хотя должен был бы вспомнить. И тогда это, возможно, уберегло бы его…

Он сделал это без причины, но хладнокровно. Сначала остановился и сказал: «Привет!»

Она ответила:

—Привет.

Он приблизился.

—Давно приехала?—его рука дрогнула.

Люда не ответила и смотрела на него. Он резко выбросил руку вперёд и сорвал парик. Люда, конечно, не была готова к этой атаке, но вцепилась ему в кисть обеими руками, *успела* вцепиться,—видно, потому, что всё время помнила об этом парике; принялась колотить худым кулачком по Колиной руке, и ещё била ногой ему по коленке, брыкалась, нелепо, неуступчиво…

Это было похоже на то, как человек в давке не желает пропускать вперёд стоящего рядом соседа.

Звуки, вырывавшие при борьбе из Людиного рта, были чем-то вроде:

—И-и… и… тк… э-э-э… тк…

Коля не увидел головы без парика, а если и увидел, то потом всё забыл.

Он выпустил парик и отбежал назад; таращился на то, как она, краснея и дрожа всем телом, снова нахлобучивает его на голову, как ушанку. Оправляет конвульсивно дрожащие колечки—так дрожат засохшие листья на ветру.

Нос Люды, казалось, от этих рефлекторных движений (и тела, и сухих колечек) сделался совсем уж огромным.

«Люда Гриб. Гриб,—мелькнуло в голове Коли,—Господи…».

Он будто бы прощения просил про себя; обречённо, но ни о чём не сожалея.

Что она сделала потом? Кажется, вскочила на велосипед—Коля не увидел этого движения до конца, потому что развернулся и помчался как угорелый к своему дому.

Ему казалось, расстояние он преодолел одним прыжком.

Возле дома Коля натолкнулся на мать… нет, не просто натолкнулся—он стукнулся о её грудь, едва ли не с разбега. Он увидел мать только после столкновения.

Отпрянул; выдохнул.

—Что случилось? Что ты сделал?—мать смотрела на него; не просто пристально, но и со странным вызовом.

—Я?..—Коля проглотил слюну.—Ничего.

—Ничего? Так… я всё видела, что ты сделал. Ну-ка пойди и извинись перед Людой.

—Я…

—Ты слышал меня? Или мне тебя за руку отвести, как младенца? Ну-ка пойди и извинись. Иначе я с тобой больше не разговариваю.

—Мама, что с ней такое?..—только теперь он задышал тяжело и часто.

Лицо матери, настойчивое, грозящее, нависало над его лицом.

—Это…—она моргнула глазами,—это тебя не касается.

—Мам!.. Я хочу знать.

—Я сказала: не касается… ну хорошо, я скажу тебе…—мать выдержала паузу,—она очень больна.

—Я знаю,—этот ответ вырвался у Коли совершенно случайно, но, что называется, попал точно в цель: в первую очередь, для самого Коли.

Она очень неправильна—устраивает тебя такой ответ?

Я знаю.

—Знаешь? То есть как это?—мать схватила его за руку.

Как младенца.

Коля принялся что-то мямлить; он и сам не мог понять, что. В конце концов, мать оборвала его:

—Ну всё, хватит, пойди и извинись.

—Я-я… не могу…—он сказал так, но, в то же время, ноги сами понесли его к центральной дороге. Пожалуй, он вообще ничего не соображал! По его глазам молнией резанул поражённый материн взгляд.

И вдруг Коля остановился как в ступоре; секунда, и он понял, что смотрит на другой пролёт. Через ряд сараев и домов он видел Павла Александровича Гриба—снова, как тогда, в июне. И снова старик поднял руку и махнул ему, но, на сей раз, не открыто и по-женски, но со смесью обиды и угрозы—он звал его к себе, чтобы наказать. «Всыпать», как чаще говорят старые люди.

У Коли брызнули слёзы; он юркнул мимо матери на участок (та никак не попыталась воспрепятствовать; Гриба она не увидела).

Вбежав в дом, Коля разревелся в голос. Всё его тело страшно ныло от горя и гулкого испуга; и разомлевало.

5.

На следующий год в середине июня Митя с Колей и мать снова были на даче; мальчики сидели в доме на кровати, и Коля спрашивал у старшего брата, чего это тому взбрело в голову уезжать через неделю, спрашивал довольно обиженно—сразу было ясно, что Коле здесь очень скучно.

—Не через неделю. Через десять дней,—поправил Митя.

—Всё равно! Ты же только три дня назад приехал.

—Мне с компьютером нужно дома разбираться.

—Я тогда с тобой поеду,—заявил Коля решительно.

—Мама не разрешит тебе. Ты же у неё спрашивал уже—она сказала, нет.

—Если мы вдвоём попросим… если ты как-нибудь повлияешь на неё… а лучше просто не уезжай…

—Ну хорошо, я подумаю, ладно.

И вдруг Митя спросил как-то особенно, подоброму и с пониманием:

—Здесь тоскливо, да?

Коля пожал плечами, отстранённо и почти равнодушно.

—Не знаю.

—Ладно. Так. Смотри, что я объяснял тебе…—Митя кивнул на книжку,—на чём я остановился? Здесь,—он провёл пальцем по обложке,—показан тот самый момент, когда лосиха с детёнышем рядом бегут. Когда он ещё не отстаёт. Они бегут относительно сугробов. А сугробы бегут

относительно них. А как двигается детёныш по отношению к лосихе? Как?..
— Ну… тоже бежит.
— Подумай, Коля. Они же бегут с одинаковой скоростью… представь, что ты сидишь верхом на лосихе. Вот тут,— Митя ткнул пальцем,— сидишь и смотришь на детёныша. Он не будет двигаться по отношению к тебе. И лосиха тоже.
— Она же бежит!
— Она бежит относительно сугробов… слушай, мам,— крикнул Митя в другую комнату,— эту книжку нам Гриб, кажется, принёс, да?

Мать, сидя за обеденным столом, посмотрела через отворённую дверь на книжку, которую Митя поднял над головой; некоторая время не отводила взгляда, а потом вдруг не выдержала: отвернулась к окну и разрыдалась.
— Мам… что такое? Что случилось?— Митя спросил испуганно, недоуменно, хотя наверняка всё понимал.

Он подошёл было успокоить её, но она отстранила его руку.
— Не трогай меня ради Бога… пожалуйста, не трогай!— лицо её было пунцовым; открытый рот, уголки которого были смочены слезами, испустил тёплый выдох,— человек на старости лет решил книжку написать. О господи!— она зарыдала ещё сильнее прежнего, встала и быстро вышла из комнаты.

Коля вспомнил, как мать открыла вчера входную дверь, днём, после осторожного стука. Мать боялась чужаков, потому вечно запирала дверь, и когда услышала стук, произнесла неприветливо:
— Кто это?— со значением «кто это ещё там пожаловал!» и вызовом, а потом, подойдя уже, видимо, вплотную к двери, спросила резко:
— Кто?

За дверью, что-то забормотали, но мать сразу узнала голос, и у неё вырвалось: «Ох!». Открыла.
— Это я, я тут принёс вам своё творчество подарить… возьмите, пожалуйста.

Коля узнал голос Павла Александровича Гриба.
— За свои деньги сделал. Хотел ещё посвящение написать, да забыл, а спохватился поздновато— её уже запустили в типографии… тут вот очень интересно сделано, посмотрите…

Старик ещё некоторое время бормотал извиняющимся голосом; потом, видимо, ушёл.

Коля так и не вышел поздороваться; смутился, должно быть, а может, перепугался— он сам не мог понять, но почему-то ему не хотелось выдавать своего присутствия. И он не видел, что́ мать принесла в дом после этого, а сейчас, когда она разрыдалась,— только сейчас он понял: именно эту книжку.

А где был Митя, когда пришёл Гриб? Почему Митя спросил теперь именно так: «эту книжку нам Гриб, кажется, принёс, да?»— словно был почти уверен, но хотел окончательно удостовериться?

Как бы там ни было, если Коля и испытывал какие-то солидарные с матерью чувства, он решил, что теперь, когда она так внезапно разрыдалась и убежала, важно никак на это не реагировать.

Не только вести себя, будто ничего не случилось,— вообще ничего,— но даже и думать и убедить себя— что не случилось. Словно он абсолютно чёрствый человек. Зачем? Он хотел выдерживать линию, которую взял ещё в начале года, в январе. Это самое главное— даже если он взял её совершенно случайно.

А в январе случилось вот что: они с матерью очень долго о чём-то спорили, и он грубил ей; а когда она попыталась навешать ему подзатыльников, начал брыкаться. Такой сильной ссоры у них, кажется, ещё никогда не бывало.

И вдруг мать остановилась и посмотрела на него.
— Ну всё, хватит. Хочешь, я скажу тебе кое-что?
— Что ещё такое?— осведомился он.
— Хочешь? И ты сразу уймёшься.
— А спорим, не уймусь?— он заявил это язвительно, гадливо, но, тем не менее, почувствовал: тут что-то не так— в глазах матери появились сухие колючие искорки. И опять это настойчивое, грозящее лицо, как тогда, когда она требовала, чтобы он извинился перед Людой.

«Ну уж нет, ей ничем меня не усмирить и не удивить»,— и когда мать сказала ему, он и в самом деле ответил:
— Ну и что здесь такого?— но голос невольно повысился; почти до надрывной интонации; дыхание перехватило.

Мать, конечно, поняла, что теперь он только рисуется, что это защитная реакция; она больше ничего не говорила и вышла из комнаты. И он знал, что она почувствовала его страх и печаль, и поклялся разубедить её: нет уж, мол, никаких пустых причитаний.

Но прежде всего, это было его упрямство.

Митя вернулся, сел и взял книжку. Вид у него был озадаченный; он то и дело невесело растягивал губы.

Книжка была альбомного формата, но очень тонкая, глянцевая, с тетрадными скобами и полукружным заглавием: «Четыре сказки для детей»; картинка под заглавием на обложке— репродукция детского рисунка, выполненного цветными мелками: коричневая лосиха с детёнышем среди голубоватых сугробов; у обоих передние палочки-ноги выставлены вперёд и одна задняя тоже, а вторая отставлена назад,— чтобы придать рисунку движение, бег.

Одна из сказок действительно называлась «Лосиха», и Митя прочитал про себя:

«Лосиха бежала долго. Ей было очень трудно среди глубоких сугробов. Она тяжело дышала. А её дочке было ещё труднее. У неё были не такие длинные ноги, как у мамы. Дочка бежала рядом с мамой. А затем начала отставать. Лосиха остановилась. Подождала дочку. И они опять побежали рядом. Но дочка отставала снова и снова. А один раз попала в сугроб. Самый глубокий, какой только был в лесу. Лосиха вернулась, вытащила дочку из сугроба и отряхнула от снега её коричневую шёрстку. Они отдохнули. Отдышались. Потом побежали дальше. И дочка уже больше не отставала от мамы».

Митя закрыл книжку; некоторое время сидел и всё растягивал губы; затем вдруг поднял голову — будто решился на что-то.

— Итак, лосиха бежит относительно сугробов… Глубоких сугробов… ей очень трудно, и она тяжело дышит…

«Ну, эти поправки не очень важны», — мелькнуло в Колиной голове.

— Ты сидишь на лосихе. Так что относительно тебя она неподвижна. Вы двигаетесь вместе с ней, понимаешь? И детёныш тоже неподвижен по отношению к тебе, — Митя снова водил пальцем по обложке; сначала он объяснял неверным голосом, но, в конце концов, выправился, — а что происходит, когда он начинает отставать? Лосиха и детёныш бегут уже с разной скоростью. Это, пожалуй, самый сложный момент. Если ты сидишь на лосихе, тебе будет казаться, что детёныш отдаляется назад. С небольшой скоростью… Потом детёныш увязает в сугробе. Он не двигается относительно сугробов. Лосиха тоже останавливается. Затем бежит в обратном направлении. Конец такой: они побежали дальше, и детёныш уже от лосихи не отставал. То есть они опять не двигаются друг относительно друга. А относительно сугробов бегут с одинаковой скоростью. Понял?

— Не знаю… — Коля нахмурился, — вроде бы. Да, да, думаю, понял, — закивал, наконец, он.

На самом же деле он запутался — совсем.

— Кажется, раньше ты объяснял проще. Год назад, помнишь?

— Да, помню. Всё помню, — Митя отвечал, не глядя на брата.

Выдержал небольшую паузу, затем продолжал:

— Ты про поезд и платформу? — он посмотрел на Колю.

— Угу.

— Да, ты прав, там действительно проще ситуация была. Значительно проще, Коль. Но ты же стал старше на целый год, теперь можно повыше планку взять.

— Ах вот оно что!

Митя слегка улыбнулся, и Коля испытывал печаль и грусть. И именно теперь почему-то ему не хотелось подавлять эти чувства, прятать их от себя.

Как же это глупо — подавлять чувства.

— Ну а ты как думал… Да-да, там платформа не двигалась просто.

— Нет, подожди-ка, как это… двигалась! — удивлённо возразил Коля; он чувствовал облегчение.

— Двигалась — относительно поезда. Да. Но только относительно поезда. И город ещё уезжал.

Следы жизни

Однажды вечером, на берегу по-южному переменчивого моря сидела молодая женщина; облокотившись о ствол высокой пальмы (при каждом новом порыве ветра листья, покачиваясь, вторили развевающемуся платку, повязанному ей на голову), женщина вспоминала мужчин своей жизни — мужчин, которых, она думала, что любила. Вспоминала — и сама удивлялась тому, как странно и безотчётно перекидывались её мысли с одного мужчины на другого, потом на третьего, затем снова на кого-то из первых двух; да, всего мужчин, которых она любила, было трое, но сейчас её сознание вырывало картины прошлого и так умело подстраивало их друг к другу, что сдавалось уже и сознание: «нет-нет, речь идёт об одном человеке», — такой отклик в результате просто не мог не родиться у женщины, и сразу же это заставило её сказать себе: «Это, конечно, означает, что я жду того самого прекрасного принца — как в сказке — воплотившего в себе всё самое хорошее, что только было в этих трёх; тогда я была бы совершенно счастлива… как эта пальма, наверное, когда к ней прикасаются лучи закатного солнца над водой — сейчас она счастлива. Разница в том только, что это было бы долговечнее — не полчаса, но вся оставшаяся жизнь… полчаса длиною во всю оставшуюся жизнь».

Но это было совсем неверное рассуждение: появись когда-нибудь этот мужчина, женщина пропустила бы его подобно тому, как пропускаешь лица случайных прохожих в городском аду. Не то что полчаса — ни единой искры бы не задержалось.

Женщина, однако, не знала этого и не могла знать, не чувствовала и не могла почувствовать — подобно тому, как листья этой пальмы не могли знать или почувствовать, что представляет собою человек, или подобрать название солнцу.

И кто-то, кто увидел бы со стороны чёткую тень этой женщины под тенью пальмы, подумал бы совсем не о том, о чём думала женщина, — о чём-то, совершенно несвязанном с её мыслями, а между тем ещё кому-нибудь захочется верить, что есть такая связь и, более того, отыскать её.

Женщине вспомнилось вдруг, как её второй мужчина любил повторять: «На Бога можно набрести только случайно». Уходя в отпуск каждое лето, он часто отправлялся в горы (море его не удовлетворяло), — поэтому она любила спрашивать его:

— Где же? На вершине?

А он отвечал:

— Нет.

Тут женщина, посмотрев направо, вдоль пляжной полосы, увидела, как со стороны отеля, куполом возвышавшегося над гущей пальм, идёт человек, которого она узнала; это был её приятель и коллега, работавший здесь гидом; вернее сказать, она узнала зелёную майку с чёрными полосами поперёк — он всегда носил эту майку, и как она теперь штормила на ветру — казалось, сейчас вот-вот порвётся! Будто бы через тканевые поры проносилась зыбкая неустроенность всего этого мира!

Когда мужчина подошёл вплотную и остановился, женщина развязала платок на голове и, бросив его к ногам, на остывающий песок, прижала маленьким камешком.

— Ты из отеля?

— Да.

— Что там делается?

Конечно, она спрашивала о туристах, но он ответил ей, чем занимался он сам, только что, в перерыве от работы, — слишком поразило его недавнее открытие, которое он сделал буквально на пустом месте; чувство новое и очень странное,

почти восторг, который не сумело заглушить даже море, своим собственным восторгом, более праздным и бушующее умиротворённым.
— Я смотрел один фильм… вернее, пересматривал… до этого я видел этот фильм совсем маленьким мальчиком, когда ещё не жил здесь… и знаешь, тогда, много лет назад на самой середине фильма начались жуткие помехи, серо-белые, очень густые,— так что ничего вообще нельзя было разобрать, но звук нет, звук не терял чёткости. Фильм мне очень понравился, и я не выключал телевизора, а всё силился представить, что за этими помехами, будто пробирался через дебри к свету, и никак не мог… снова и снова — нет, безрезультатно… и всё же один раз мне удалось, тогда я был в этом уверен, но дело в том, что это произошло, когда я прекратил уже пробираться — не сказать, чтобы я отчаялся, нет, просто успокоился, смирился, что слышу только звук, но ничего к нему не могу приписать… воображением. И вдруг мне всё явилось само собой — на несколько мгновений, не более… я слышал слова, разговаривали двое, мужчина и женщина, и я понял, что они стоят возле отворённого окна; он облокотился на подоконник, подпёр рукой подбородок… и этот свет — их освещал алый закат. Закат, пожалуй, явился мне явственнее всего. Эта картина тогда пронзила меня, как озарение… она и была озарением… С тех пор я не видел этого фильма и давно успел всё забыть… а сегодня включаю, и поверить не могу: вот он идёт, по местному каналу… Я стал смотреть… Я вспоминал, но всё по порядку… И когда подошёл тот самый эпизод, тот разговор мужчины и женщины, я увидел на экране ровно то, что мне явилось много лет назад, представляешь? Всё в точности! Отворённое окно, закат… Мужчина склонился к подоконнику; подпирает рукой подбородок… Я ничего этого не помнил, до самого начала эпизода, а потом… Можешь представить себе моё удивление — я тотчас вспомнил всё! И ещё одно. Сегодня я более глубоко проникся тем, о чём они разговаривали; я усвоил то, чего не усвоил тогда. Женщина собиралась уходить от мужчины, а он не хотел её отпускать,— это я помнил… ему было больно, так я тогда подумал, но только сегодня я сумел проникнуться его болью в полной мере… я ощутил её, как свою собственную… но не просто потому, что увидел картинку,— я поневоле обострил себя тем озарением, из прошлого…

«О чём он там говорит?.. О закате? Наверное, об этом закате…— мелькнуло в голове женщины,— глупость какая! Будто я сама его не вижу…».

И потом ещё одна мысль: «Кажется, он сказал, что хочет прогуляться чуть подальше, к скалистой гряде и попросил составить ему компанию…».

Верно, мужчина действительно завершил свою необычную историю этим предложением.

Они шли молча, словно боясь нарушить шум начинающегося отлива, нарушить каким-нибудь неуместным вопросом; волосы женщины свободно развевались — она так и оставила свой платок на песке, под пальмой.

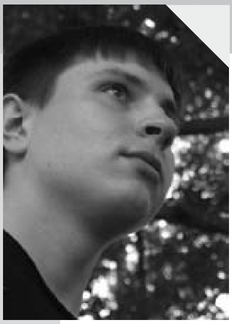
Женщина прервала молчание лишь тогда, когда песок под их ногами сменили плоские каменные глыбы,— и то не с тем, чтобы задать мужчине какой-то вопрос — она резко остановилась и указала на одну из глыб, неправильной треугольной формы.
— Смотри!.. Что это? След! Отпечаток!
— Ничего себе! И правда…
— Это отпечаток ископаемой черепахи.
— Как он мог здесь очутиться?
— Понятия не имею! — она подошла ближе и села на корточки — возле самого камня.
— Туристы редко сюда забредают — и всё же странно, что никто до сих пор не обратил на него внимания.
— Его могло вынести на берег совсем недавно…

Минуту-другую она изучала находку, а потом произнесла:
— Знаешь, в детстве я увлекалась палеонтологией… да и в двадцать лет тоже ещё хотела стать палеонтологом.
— Почему же в результате не стала?
— Ну… турбизнес мне нравился не меньше… и то, и другое одинаково…
— Конечно, только свою жизнь можно охватить, чужую никогда, если ты это имеешь в виду.
— Особенно, если ты сам и придумал эту чужую жизнь,— заметила женщина.
— Точно.

Она выпрямилась; он приобнял её за плечи; они двинулись дальше, но женщина всё оглядывалась назад, на отпечаток, пока треугольная глыба совсем не затерялась среди других глыб. Тогда женщина сказала вдруг:
— Мне кажется, я завтра умру,— это были не пять слов, вызванные эмоциональным всплеском, но, скорее, сам этот всплеск; и море ему вторило.
— Не может быть,— ответил мужчина уверенно; но не улыбнулся.

«Почему он говорит так?» — подумала женщина, и снова ей вспомнились странные слова: на Бога можно набрести только случайно. «Но он-то никогда не знал этих слов, не слышал! А знала я… значит, он так ответил по какой-то другой причине; из своих соображений».

«Не может быть, потому что она заранее так говорит»,— подумал мужчина.



Владимир Тарковский

Безымянные

Правила савантов

1.

А разве нужно что-то говорить—живые мощи
Чёрные нежные как вода скорее галька
На самом дне потока бурлящего проще
Не бывает просто руку вытяни мажет калька
От переписи населения год две тысячи десять
Мы взвесим всех тех кого ещё можно взвесить

2.

Женщина в капюшоне бежевом повернитесь посочувствуйте мне
У меня прозрачная водка осталась на самом дне
Я ел ежевику как тысячи тысяч тел
Морошку и клюкву и я вконец обезумел
Мне подавай теперь собак под соусом песто или
Больше скажу чтобы вконец любили
Пальцы засаленные вытирали вафельными полотенцами
Я тоже хочу называться одним из тех кого называли птенцами
Выпавшими из гнёзд подожжённых мальчиком школьником
Мама тысячи раз я каялся не ударь меня я такой же

3.

Череп на гусиной шее обмотанный бесцветной леской
Как тот одряхлевший савант со странной фамилией Плеска
Савант Плеска кто бы подумать мог говорит по радио
О залежах каменного угля и палладия
Фамилия Господом разгневанная самим
Плеска кто б подумать мог очерченный сажей нимб
От бычка на пепельнице кто б подумать мог
На дне стеклянном окурки и лежит разноцветный Бог…

4.

Третий день под окном собаку чёрную вижу
Прошёл новый год но я ничего не слышу
Сколько ещё сколько ещё лжематерей
Коробятся простыни как перебор полей
И жатва и жатва—полные жернова
Снег выпал так поздно что вряд ли взойдёт трава
Мы били в там-тамы то честно то тили-бом
Я иду на пикник с красным как небо сукном…

Жду состава

Нет небо не сойдёт с ума темно не станет
Я просто вижу дом и холм и что под ним
Дрожит трава саднит земля вершины тают
Но спазм мимический тревожащий слезник

Проходит сам собой я жду состава
Всё жду состава вечность или две
Дрожит вольфрамовая нить как пульс кровавый
В большой и душной чьей-то голове

Нет небо не сойдёт сегодня с рельсов
Ж/д путей, башмачник не проспит
Так фаренгейт идёт на убыль в цельсий
Так цельсий возрастает в менингит

Мозг воспалён но рельсы неподвижны
Задай вопрос и я отвечу всё
В твоих руках: сын плотника всевышний
И даже преждевременный отсчёт

И даже книги мёртвых даже даже
Звон колоколен синтоистский гонг
Иди по шпалам если стало страшно
Лети над ними если полубог

И небо не сойдёт с ума не станет чёрным
Я просто вижу крест и холм и что под ним
Тот создал шторм так пусть рисует волны
Тот создал мель так пусть идёт по ним

Нет небо не сойдёт сойдёт сойдёт…
Нет небо не… оно прозрачным станет
Включили фонари ну вот и всё
Свет холоден — снежинки не растают…

Голос

Есть голос на который нет управы
Есть голос на котором все стоим
Ты мне сказал что жизнь свернёт направо
А голос влево мышцу тянет мним

Неупорядочен казалось бы бесцелен
кричи ори — никто не устоит
то с хрипотцой обрюзгших богаделен
то ветру покорившийся — навзрыд

но тихо вдруг и вверх бегут мурашки
по бледной обескровленной спине
и лоб пульсирующий став мгновенно влажным
передаёт сердцебиенье мне

тук-тук тук-тук ты слышишь это стрелки
ведут тебя по кругу без конца
и амальгама отливая белым
рисует тонкий контур без лица

ты ищешь губы произносишь слово
скажи ещё скажи скажи ещё
есть голос для которого не ново
то ускорять то замедлять свой счёт

зачем стоишь зачем выводишь пальцем
неясный звук как блеклый суицид
во всех дворах горланят постояльцы
но ты прогневан кем-то и забыт

молчи теперь присядь захлопни уши
смотри беззвучно бьют колокола
смотри как тихо вылетают души
в молебне где утрачены слова…

Ангелы и комсомол

Не рассветёт ты же знаешь так хватит курить
Звёзд карамельки сегодня никак не растают
Веришь в то что на небе умеют летать и трубить
И снимаешь бельё и выходишь на берег босая

Поиграем в таро пораздразним кого бы то ни…
Может хоть оплеуха или скуластый профиль
Только к чёрту я тоже я тоже такой как они
И лечу и трублю хотя всем это попросту по фиг

Не рассветёт только брайль поможет прочесть
Кто кому был отцом кто кому сыном
Хватит курить ты уже начинаешь белеть
Скоро ты станешь сплошным сигаретным дымом

Чокнутый пьяный ослепший от брызг дурак
У тебя на плече на холодном солёном скользком
Рассуждаю о том что однажды случится так
Станут ангелы — комсомольцами

Вот тогда станет свет тогда затрубят и впрямь
Станет белобородый с неба бросать агитки:
Встань и иди встань и иди ВСТАНЬ
Из секционного прямо по кафельной плитке…

Безымянные

В чужих подземельях не возвратится откуда
Иисус Христос суперзвезда
и непременно чёрный спутник его Иуда
тени отбрасывают образующие остов креста

они обсуждают на тарабарском наречии
о том какой был плохой актёр прокуратор Рима
Иисус говорит я так устал
белое накидывать на плечи
Иуда говорит я так устал
от чёрного своего грима

Люди знаешь ли не поймут
если мы вот так вот выйдем
Чуть пошатываясь жмурясь
держа друг друга под руки
Иисус спрашивает а что тебе в моём имени?
Иуда спрашивает а что же тогда в моём тебе?

Так безымянные и бродят они
застарелые разминают кости
То урагану названье придумают то цунами
А ночью сквозь щели в полу наблюдают звёзды
С белыми ореолами прекрасными именами

Маргарита Ерёменко

Благословляя и людей, и камни…

Не успел и подумать—с языка сорвалось: «Малыш…»
Удивлённо взглянула: кого бы он так называл?
Это такой обычай—когда по ночам не спишь,
Думать о прошлом. Был и такой сериал.
Зыбкое счастье—прикосновенья ловить,
Словно малька золотого. И—крепко в руке зажать.
Это такой обычай—до холодка любить.
До холодка под сердцем. И—не суметь удержать.

Ты раздвигаешь тёплыми руками
Тугую вату сна и напряженья,
Ты освещаешь солнца угольками
Пустое утро, комнату. И где я
Хожу бессмысленно, перебирая годы,
Там у тебя живут просторно реки,
Ты научился у самой природы
Искать дороги…

А Бог седой, склонясь над письменами,
Ушедший с головой в ветра-цунами,
Он всех зовёт простыми именами,
Благословляя и людей, и камни.

Зацепились одной свечкою в лесу,
Только дождь всё прижимал нас к земле,
Чтобы под прикосновенья уснуть
И тихонько под ладонями тлеть.

И нанизывать любые слова
На кольцо соприкоснувшихся рук;
Чтобы дал Господь часок или два
Постоять с тобой на этом ветру.

…Чудотворное оно дерево
Вот и растёт мается
Вот и болит верою
Вот и живёт кается
Листьями листьями ивами
Тонут плывут лебеди
Врастают в круги синие
Богом своим и деревом
Боком похожим на облако
На простыню белую
Словно стоишь около
И самолёт делаешь.

Я буду марки покупать в киоске,
Пластмассовые синие монеты…
Уже сентябрь срезает листья плоско,
Под снегом спят задумчивые дети,

Растёт трава, перебирая годы,
Идут дожди, пронизывая веки.
Ты носишь мне кефир и бутерброды.
Навеки.

Как ложкой скребут по тарелке,
Так кошки скребут на душе.
Халаты, как белые белки,
На первом живут этаже.
Стеклянно идут в коридоре,
И манную кашу несут,
И хочется сплюнуть от горя
В оранжевый слабенький суп.
Тепла не дают батареи,
И лампочка тускло горит,
И ночью, и днём на аллее
Трёхцветная кошка сидит.

Километры ржавой крошки
Испаряются и тают.
Говоришь—промокли ножки,
Смотришь—ангелы летают.

Бессловесные, незлые,
Чем-то на котят похожи.
А глаза-то—голубые,
А мороз-то—всё по коже.

…и я не увижу когда
он тихо во мне развернётся
живая повьётся вода
как вскрикнет журавль у колодца
и скатится горе с плеча
в худую тоску запахнёшься
в сенях опрокинешь печаль
о старый порог поперхнёшься
ах, вот тебе бог вот порог
дели коли угол под ними
и ясно взойдёт поперёк
и веки поднимет.

Мария Маркова

Не ласточка, не птичье целованье…

Как будто я помню, куда приведёт меня память,
пчела повивальная: плакать и медленно падать.
Терновый мой вестник, хреновый мой провожатый,
надкушенный, звонкий, к щеке опалённой прижатый.
Как будто я знаю на том же—своём—языке,
какая из улиц спускается к самой реке.

Там всё ещё заросли, белые цветники,
ивовые заросли, дымчатые венки.
Полощут бельё, и вода забирает на дно
то ленту, то юбки воздушное полотно.

Одна наклоняется. Икры блестят от воды.
И овод гудит. И вода размывает следы.
Другая под нос напевает, свивает жгуты.
Над ней стрекоза, синева, пустота высоты.
Так просто, как всё, что вокруг происходит всегда—
и овод гудит, и следы размывает вода.

Как будто я вижу, вот тут подглядела случайно,
как падает камень, как щепку уносит, качая.
С корзиной тяжёлой идут, поднимаясь, легки,
неясные тени, забытые старики,
совсем ещё юные, гибкие—не спугни.
Они ведь уверены, что совершенно одни.

Город в снегу

Город полон, город бел, город—гул.
Он проснулся—снежный рой—уже в снегу.

И крупинки схватывая
мраморной рукой,
он стоит на мостике
над своей рекой.

Пешеходы сонные. Голубая тля.
В сумраке овечьем. В маленьких яслях.
В улицах и спальнях. В письменном столе.

Яблочная шкурка
снега на земле.

Выдыхаешь облако. Лепишь наугад.
Карточные домики. Невесомый сад.
Пар идёт из прачечной, и труба дымит.

В яблоке прозрачном
гусеница спит.

Via est vita

Пока в тишине без толку
тихонько гудит юла,
мгновение—это долго,
а вечность уже прошла.

Всё сказано, всё забыто.
Последняя горсть родни.
Где via, там вечно vita.
Попробуй потом сверни.

…и колокол—о ком он,
и слово, что комком,
и птичий лёгкий гомон,
и плачу я тайком.

Внутри блеснуло что-то
и выпало во сне,
как детская икота.
Подумать только, мне

всегда-всегда фартило,
а тут оборвало.
Была такая сила,
как парус, как крыло,—

и вышла, испарилась,
распалась, разошлась.
Мучительная сила.
Пугающая связь.

Холодный воздух ем я,
по улице иду,
нащупывая время
в безвременном аду.

Сейчас, сию минуту,
под этим небом, здесь
я требую не чуда,
но чудо, если есть

та детская икота,
живой язык огня—
о, господи, хоть что-то
ещё внутри меня.

Вечную разлуку не охватишь.
У ворот недосыпает Пётр.
В темноте дитя встаёт с кровати
и к нему по ниточке идёт.

Райский голос, ласковый фонтанчик.
Снятся слёзы падающих вод.
Был он горек, выпитый стаканчик.
Бог увидит и ещё нальёт.

Смертные на чудо уповают,
отрываясь от земли. Она—
тёплая, пахучая, живая—
легче пуха птицы, крепче сна.

В щёлочку заглянешь, замирая,
и лица потом не отвернуть.
Дай нам по чуть-чуть любви и рая,
рая и любви когда-нибудь.

Дерево

Есть в саду моём чёрное дерево.
Я к нему прихожу иногда,
чтобы выреветь горево зверево,
выносимое чувство стыда.

Не растёт, не цветёт это дерево,
облетают его соловьи,
и корнями цепляется дерево
за горячие слёзы мои.

Спас—по яблоки, осень—за смертными,
за больными тоской, как сестра
госпитальная, ах, милосердная,
с серебристым серпом у бедра.

Ей такие, как я, попадаются.
Ей такие, как я, улыбаются.
Осень щерится криво в ответ:
«Как растёт твоё деревце, девица?
Как цветёт твоё тонкое деревце
двадцать семь упоительных лет?..»

Как мне плачется, так и растёт оно.
От большой нелюбви—не растут.
Как живётся мне, так и цветёт оно.
От большой нелюбви—не цветут.

Но тянись, моё деревце тонкое,
в небеси.
Там у ангела, певчего, звонкого,
попроси

ни земли, ни воды, ни воздуха—ничего.

Попроси
от имени
моего.

Всё выдыхаешь временный глагол,
холодный воздух, август, винный сумрак,
где ты прозрачен, выскоблен и гол,
как будто умер.

Наказываешь обернуть листвой,
запомнить так, в рубашке наизнанку,
с высоким лесом, с белой головой,
с бескровной ранкой.

А лес шумит: конический, прямой,
великоватый, гибкий, старомодный,
невыразимый, медленный, живой,
прохладный, плотный.

Лицо поднимешь: где-то высоко—
не ласточка, не птичье целованье—
а, правда, смерть, обнявшая легко
весь мир словами.

Диме Чернышкову

Ничего от нас не останется.
Разве только скрижаль стиха,
потому что слова есть таинство
и прозрачный сосуд греха,
потому что язык, нам вверенный,
на крови, на крови растёт,
потому что мы в чудо верили,
что случится оно вот-вот.

Вот и выросли беспризорники—
мы и кто ещё? выходи!..
Проститутки, поэты, дворники
с детской звёздочкой на груди.
Вот кому—и писать, и маяться,
плакать, падать и биться лбом.

…время, схваченное снимающим
и засвеченное—в любом.

Никита Чубриков

О мужской любви к паровозам

Рассказчик вещает о свойствах пришедшей весны,
О чём-то духовном и страшном, и плавится воск.
Земля порывается встать из сугробов страны,
Страна поднимается вверх сталагмитами слёз.

Страна незнакомо шагает по лесу вперёд,
В заброшенный ров, а точнее, в заброшенность рва.
Рассказчик глотает слова, и рассказчика рвёт—
Такие слова, что способны рассказчиков рвать.

Под плёнкой воды, в углублениях тёмного рва
Рождается слух о недавно пришедшей весне.
Рассказчик почил, но оставил в наследство слова
О некой идущей по лесу незримой стране.

всюду шлагбаумы видно придётся выждать
полдень приходит прожектором перед атакой
может бутылку водки под вечер выжрать
видится берег только бы не итака

в остров пластмассовый биться глазами—в завтра
полдень приходит как гаубица над брестом,
завтра—другой расклад (и другой же автор—
чтобы читатель вернулся на то же место)

Рябь от рыбы, вода расправляет свои плавники,
А в глазах рыбака многозначные красные блики,
Раб работы, всегда и везде гарпуны и крюки,
Песни рыбьего царства, и волны подчас злоязыки.

Языки забытья злонамеренны, в воздухе соль,
А в глазах—пестрота, а во снах—рыбий царь на престоле,
Что-то вызреть должно под водой, как подводная боль,
Как рука океана сжимает запястье моря.

Что-то вызреть должно, так кричит исступлённо прибой,
А рыбак наблюдает, как рыбы стремятся наружу,
Он хотел быть водой, нестареющей, мудрой водой
Забегать на песок и ласкать раскалённую сушу.

Паровоз копотью удобряет Родину,
машинист прорехи в нём заделывает,
они научились через пропасть огненную
прыгать и летать, оставаясь целыми.

Паровоз машинисту желает радости,
машинист в топку бросает смородину,
их душа общая расцветает от гордости,
и они оба обожают Родину.

Машинист паровозу на жену жалуется,
паровоз машиниста жалеет, укачивает.
Их душа общая желает малого—
до звезды долететь, никуда не сворачивая.

Так уставший Штирлиц на обочине, припав к траве,
обнаруживает птенца, найдёныш, не плачь—
у птенца находит след свастики на голове,
это значит, над всеми нами висит секач.

Эпопея кончилась, трёхтомник лежит в углу,
у беспалого букиниста горят глаза,
поднимая зенки, стряхнуть бы с ресниц золу,
лишь на финише осознать, что бежал назад.

Так птенец задушен Штирлицем, как Тот войной,
а земля, роженица, блудница, ждут дождя,
акапельно рыдает птица над головой,
потеряв единственное своё дитя.

На страшный холод трескались деревья.
Вагон стоял на тёмном полустанке.
Луна висела на краю деревни,
Хреновым светом падая под дранки.

Приходит утро, каждый лучик роздан,
У Любы в горсть отсыпано похмелье,
И лишний машинист горит с мороза—
Поджечь деревню, вырубить деревья…

Иван Чирик

Тоска по чужому

В ожидании

…Вот так тихо, бесшумно, сквозь крики толпы вдалеке приближается счастье. Я лежу и страшусь. Присыпан сверху листами недописанных книг. Это мёртвые книги. Им уже никогда не быть живыми. Как материальное воплощение совести, они тысячетонным прессом лежат на мне и не дают мне встать. Встал бы—убежал, спрятался. Ведь счастье—это страшно. Незнакомо, неведомо, неизъяснимо, и поэтому—страшно.

Но всё же—лежу. Как узник ждёт часа своей казни, так и я—приговора судьбы, своего смертного счастья. Его лёгкие шаги уже шуршат по осенним листьям… Иногда мне кажется, что деревья—тоже поэты. И все эти жухлые жёлтые листы с иероглифами прожилок—их стихи, неизвестные, неозвученные, но всё же по-прежнему прекрасные. И они, как от груза творения, избавляются от них, выставляют в небо свои корявые руки и—обретают свободу. Улетают в вечность ракетами стволов…

…Но это—деревья. А я—несвободен под прессом ненаписанного. Жду. Страшусь. А в груди—сладкое чувство неизвестности. Как перед прыжком в бездонную пропасть. Счастье—близко, вот оно уже остановилось за закрытой дверью, задержало дыхание, прислушалось. Видимо, ждёт, пока я открою. Но я не могу, я под грузом недописанных книг.

Лежу и шепчу…

Шепчу: «Господи, дай мне свободу…»

Думаю: «А ведь всё-таки страшно…»

В ответ—тишина. Своим многоголосьем она мне вторит одно: «Придёт время—придёт и счастье. Придёт время—придёт и счастье…»

Жду. Время обыкновенно входит без стука, сразу, не таясь. Вот уже слышу стук его сапог о немытый паркет… Время придёт и откроет дверь. Счастье увидит, что я не могу подойти. Всё поймёт. Поверит. Простит. И зайдёт внутрь…

А пока—сам, ворочаясь с боку на бок, смотря сквозь пальцы на клубящую, пролетающую далеко в небе жизнь, тихонько дописываю. Избавляюсь от груза. Вдруг встану—не когда придёт время, а сам, раньше времени—встану и открою дверь. Посмотрю влюблёнными глазами на счастье. И даже если оно грустно вздохнёт и уйдёт, буду знать—оно есть! И придёт. Просто ещё не время…

…И ещё один листок недописанной книги вдруг оказывается заполненным. Съёживается, рыжий и кленовый, становится легче, взлетает вверх, исчезает в клубящейся жизни… И становится легче… Пустее… Дышее… *Свободней*…

Дожди

Всё началось с того, что километрах в пятнадцати от села Исым на скале поселился дракон.

Как ни удивительно, но первым человеком, узнавшим эту новость, был я, хотя я обычно обо всём узнаю самым последним.

Я—Пастух. Специфика моей работы заключалась в том, что я постоянно, с утра до вечера, на ней пребывал. В селе по имени меня почти никто не звал, а называли прямо по профессии: Пастух. Конечно, кроме меня был и второй, мы с ним дежурили по очереди, но у него была всем известная кличка Шкаф (которая вполне подходила к его лицу), и пастухом его никто не звал.

Тот день был жарким, время—полдень, самый пик, и я вместе со своей пастушьей собакой прятался в тени раскидистого клёна. Коровушкам нашим было всё нипочём, они паслись чуть ниже, в поле, а козы вместе с нами бродили по слегка лесистому холму, рогами добывая себе самые тёмные и прохладные места.

Слегка дрожащее от жары небо было ярко-голубым и абсолютно безоблачным, поэтому я сразу заметил летящую к нам маленькую белую ленту. Лента приближалась, прорисовываясь всё более чётко, и я увидел, что это был дракон.

Событие было неслыханным, в округе уже более ста лет никто не видел драконов (разве что при галлюцинациях). А тем более белых. По легендам, драконы приносили удачу и счастье тем землям, где селились.

По образованию я был биологом, как добрая половина жителей нашего села (а всё благодаря школьному учителю-биологу Рокотуновскому, нашей гордости, кандидату в доктора биологических наук). Поэтому я знал, что легенды о счастье беспочвенны, но что драконы каким-то образом влияют на погоду, тоже знал точно.

Дракон явно летел к ручью, который находился всего в сотне метров от меня. Я набрался терпения (да и храбрости, знаете ли, пришлось набраться) и стал ждать.

Извиваясь лентообразным телом, дракон подлетел ближе и резко, без перехода опустился на землю. Наклонил косматую голову и стал жадно хлебать воду из ручья. Я имел счастье наблюдать его довольно близко и успел рассмотреть.

Длинное и худое змеиное тело почти светилось ярко белым и слегка серебрилось чешуёй. За большими перепончатыми ушами буйно росли два пучка белых волос. Изо лба, пригибаясь назад, торчала пара небольших рогов. Хвост кончался

копной всё тех же белых волос. Метров шесть, прикинул я, не больше. А без хвоста вообще четыре. Небольшой дракон.

А дракон, утолив свою жажду и не обращая никакого внимания на сонных коров, вновь взлетел и полетел в обратном направлении. Я проследил за его полётом. Путь дракона кончился в одной из расщелин Южной скалы.

Председатель сельского управления Петрович постучал по стакану вилкой, поднял его и начал:

— Товарищи! В этот торжественный день…

Тост был довольно долгим и занудным. Его никто не слушал, кто-то с нетерпением ждал момента, когда будет можно прокинуть в себя поднятую рюмку, кто-то потихонечку подвигал к себе приглянувшийся салатик. Но вот тост, наконец, кончился, и стол забурлил привычным застольем.

Это было одним из негласных развлечений села. Сельское управление подыскивало любой маломальский повод и устраивало в здании местного клуба застолье для уважаемых жителей села. Село было маленьким, и в уважаемых ходила чуть ли не половина населения. Еду на такие застолья приносили сами жители по возможностям. Точнее, по хотению.

На этот раз застолье было организовано по поводу появления в окрестностях дракона, а значит, и спасения урожая.

До этого две недели стояла страшная засуха, и все уже стали всерьёз опасаться за посевы. Но вечером того же дня, когда мною впервые был замечен дракон, грянул дождь. До этого чистое небо быстро затянулось тучами, которые больше не расходились.

И следующий день был объявлен праздником по поводу спасения урожая…

— …Слышь, Пастух? Расскажи Маньке, как ты дракона видел, она ещё не слышала…— раздался голос слева.

За сегодня меня об этом просили в десятый раз. Но после минутных уговоров я сдался, поняв, что сопротивление бесполезно, и рассказал эту историю снова, всё более и более приукрашивая её красочными фактами. Тем более что Манька была девушкой хоть и глупой, но красивой.

…Выпивка кончилась, еда тоже подходила к концу. Столы растащили по углам. Забренчала гитара. Я, уже в состоянии лёгкого опьянения, подхватил Маньку и пустился с нею в пляс. А за окном всё шёл и шёл дождь, посланный нам добрым белым драконом для лучшей урожайности…

— Слышь, Пастух, ты же у нас биолог, и с драконом лично знаком,— заявил председатель Петрович прямо с порога, особо выразительно подчеркнув слово «лично».— Ты бы это, сходил к нему б, что ли. Сказал бы, дескать, урожай спасён, пусть он свой дождь пока выключит. Всё уже промочило, спасу нет, пятый день льёт!

Про пятый день было правдой. И дождь, похоже, шёл совсем без перерывов; просыпаясь иногда по ночам, я слышал его стук. Всё, что могло, пропиталось водой, дороги были одной сплошной лужей, капуста на грядках стояла «по колено» в воде. А тут ещё это стало перетекать в грозу, швырялось молниями куда попало. У Сидоровых сарай спалило, Комсомольская улица вторые сутки без света — повалило столбы.

— Только не надо про личное знакомство,— ответил я.— Я его издали видел, из-да-ли.

— Ну ты же биолог! — взмолился Петрович.— Лучше тебя общий язык с драконом разве что Рокотуновский найдёт, а он сейчас занят. И ещё… Если всё получится, получишь премию…

— А если не получится?

— Уговорил, всё равно получишь. Только сходи…

Мокрыми продрогшими руками я привязал коня к сосне и дальше пошёл пешком.

Размытая глина вперемежку с камнями скользила под ногами, и то и дело приходилось переходить на четвереньки. Я двадцать раз успел пожалеть о том, что согласился на это дело, прежде чем добрался до расщелины.

Туда дождя долетало меньше, но всё равно было зябко. Я утёр мокрое лицо такой же мокрой рукой и отправился на поиски дракона.

Долго его мне искать не пришлось. Он сам меня нашёл. За спиной зашуршал гравий, я обернулся — там стоял дракон и с любопытством разглядывал меня своими пронзительными глазами. Я нерешительно начал, понимая весь абсурд своих действий:

— Господин… Товарищ дракон, я хотел бы… Дождь, понимаете? Прекратите, остановите его… Растения напились вдоволь, если вы так продолжите, они сгниют, понимаете? Сгниют! Остановите дождь, пожалуйста!

Дракон смотрел с любопытством и несколько осуждающе. С точки зрения биолога, я понимал, что он ничего не понимал. А как пастух… Чувствовал это.

Дракон оттолкнулся от земли и ушёл свечой в небо, оставив меня одного, мокрого, грязного и продрогшего, в своей расщелине. Я постоял с минуту, слегка ошарашенный, понял, что дождь выключаться не собирается, и пошлёпал по лужам назад.

Ровно через сутки, такой же мокрый, я стоял на том же самом месте, но уже далеко не один. Мне в затылок дышало ещё пятеро человек.

Во-первых, председатель Петрович (а как же без него). В своём лице он представлял на этой встрече (которую мысленно я уже окрестил стрелкой), по его выражению, «весь правительственный аппарат».

Но, похоже, что Петрович этого дракона побаивался, поэтому вместе с собой притащил ещё и школьного сторожа Васю, заставив его на всякий случай взять ружьё.

Во-вторых, те двое, кого я, собственно, сюда и вёл. Это наш сельский священник Николай и его молодой безымянный помощник. Это очередная безумная идея родилась, как все безумные идеи нашего села, в голове Петровича. Раз на мои обычные человеческие уговоры дракон не поддался, рассудил он, значит, пришла пора заговорить

религии. Словно бы христиане к драконам были ближе, чем простые люди. По моему личному мнению, так даже дальше.

И пятый человек, которого я привёл с собой и на которого в душе возлагал больше всего надежд — Леодор Тихонович Рокотуновский, как уже говорилось, местный самородок, учитель-биолог, которому я обязан многими своими достижениями, кандидат в профессора биологических наук. Специализировался он на различных рептилиях, в том числе и на драконах. Увидеть воочию это дивное творение природы и понять его природу — мечта его жизни. С этой целью он и присоединился к нашему отряду активистов-помешанных.

…Расщелина впереди нас была пуста. И я, кажется, стал смекать, в чём дело.

— Ну и где твой дракон? — нетерпеливо спросил Петрович. А я лишь шепнул на ухо стоящему рядом биологу: «Обернись…».

Он медленно сделал это, и я увидел на его лице улыбку. Тогда объявил всем:

— Да вот он! — и показал пальцем за их спины.

Позади них стоял дракон и с тем же любопытством, что и вчера, смотрел на нас. Сторож Вася рефлекторно схватился за ружьё. Помощник священника отшатнулся и вымолвил:

— Вот чёрт!

Священник молча дал ему подзатыльник. Биолог восхитился:

— Каков экземплярчик!

А Петрович помолчал с минуту и выдал:

— Приступайте, отец Николай!

И Николай с помощником приступили: устроили дракону какие-то песнопения. Дракон слегка ошалело смотрел на весь этот балаган, и я был солидарен с ним во мнении. Если он нормальный человеческий язык понять не может, то какие тут могут быть песнопения? Я бы на его месте давно улетел…

…Дракон словно подслушал мои мысли и взмыл в низвергающее воду небо. Будто и не было в гостях у дракона бестолковой кучки людей, непонятно чего требующей от него, свободного существа…

— Блин! Опя… — сорвался помощник священника и замолк на полуслове, вновь получив подзатыльник.

— Всё, ни черта у нас не получилось, пошлите домой, сушиться, — сказал Петрович. Леодор Тихонович вдруг воспротивился:

— Нет! Вы идите, а я к нему пойду, я видел, куда он сел!

С неба всё лил противный дождь, все были промокшие, продрогшие, спорить никому не хотелось. Поэтому все просто развернулись и пошли обратно в село, прочь из расщелины. Только я, проходя мимо биолога, вновь шепнул ему на ухо:

— Удачи!

…И, похоже, сглазил…

Грохотало так, что дребезжали стёкла. Обед — гроза в самом разгаре. К вечеру останется только дождь, а к следующему обеду вновь будет сверкать и грохотать. Впору делать полуденную сиесту, как в Латинской Америке.

…По лужам, полусогнувшись, немного криво бежал уже подвыпивший паренёк. Не добежал, споткнулся, шлёпнулся в воду. Встал, погрозил небу кулаком:

— Чёртов дождь! У, драконище, попадёшься мне — башку оторву!!! — и пошлёпал быстрее подальше, пока ненароком с неба не пришёл ответ в виде молнии.

Я стоял у окна кухни и наблюдал за этим. На заднем плане Петрович пил кофе и нервно дымил сигаретой.

Грозовая сиеста… Вынужденная приостановка поиска, который вёлся безрезультатно со вчерашнего утра. Биолог Рокотуновский пропал. Как ушёл тогда к дракону, так и с концами в воду. В воду…

Я невесело ухмыльнулся.

— По деревне вовсю ползут слухи, что биолога съел твой бесценный экземпляр, — похоже, Петрович думал о том же. — Я наш народ знаю, ещё сутки без находок, и они твоего дракона вилами заколют…

— Да не ел он его, зуб даю! — сорвался я.

— Да знаю я! Но и меня пойми!! Где он ещё, наш биолог может быть?!! А ты это народу объясни! А дракон твой… Редкий вид… А урожай на корню гниёт!! У половины села света нет, три дома вообще спалило!!!

Петрович замолчал. В наступившей тишине было слышно, как мерно тикали часы и так же мерно по лужам и стёклам стучал дождь.

— Ты извини, сорвался… Все мы сейчас на нервах… — виновато сказал Петрович и потушил окурок в недопитой чашке.

На крыльце раздались быстрые шаги, дверь распахнулась. В кухню залетел мокрый фельдшер:

— Скорее! Скорее!! Рокотуновский вернулся!!!

Рокотуновский дошёл до Исыма сам, хотя в его состоянии это казалось невероятным. Следя за драконом, он попал под камнепад, сломал ногу, рёбра и, вполне возможно, много чего ещё, но для этого требовался более серьёзный медицинский осмотр. Похоже, что помимо всего прочего биолог заработал себе воспаление лёгких.

Рокотуновский лежал на кушетке в страшном бреду, раскаленный изнутри болезнью, весь в бинтах, и всё время порывался вскочить. Приходилось постоянно укладывать его на место. Для этого установили дежурство, «наблюдение за телом», как неудачно, но, по правде говоря, довольно точно выразился фельдшер.

До ближайшей нормальной больницы, где Рокотуновскому могли помочь лучше, чем мы, было полста километров. Но дороги размыло настолько, что вязли даже бульдозеры и трактора.

Было около полуночи, когда я сменил на дежурстве нашего акушера. Тот напоследок сказал, что последний час он вёл себя тихо, а температура спала — бред прекратился.

Лишь только хлопнула за акушером дверь, как Рокотуновский вздрогнул и открыл глаза. Взор был ясен и чист.

— Пастух… — еле слышно прохрипел он. — Это ты, Пастух?

— Да, я,— ответил я.— Как вы себя чувствуете?
— Не важно, неважно,— то ли отмахнулся, то ли честно ответил биолог.— Слушай, Пастух, и запоминай… Кхе-кхе! Кхе! Это… Важно… Есть драконы, приносящие дождь, другие — засуху, третьи — ветер… Ты знаешь…

Я кивнул головой.

— …Сотни лет люди ошибались… В драконах… Ведь не драконы приносят ветер… А ветер… Драконов…

Последние слова были произнесены так тихо, что я практически прочитал их по губам. Глаза Рокотуновского вновь закрылись. Он в последний раз шумно вздохнул и… Умер.

— Нет!— закричал я.— Живите, профессор!!!

…Два десятка людей, промокших до нитки. Чёрный провал могилы. Вода в сапогах. Вода в могиле. Вода везде.

— Опускайте,— тихо приказал Петрович.

Могильщики, хлюпая по грязи сапогами и матерясь сквозь зубы на погоду, подтащили к могиле гроб, опустили.

…Пропитанная водой земля не хотела сыпаться из руки и грязными комьями падала на крышку. А проклятый дождь всё шёл…

…На обратном пути от кладбища кто-то гнусавым голосом громко сказал:

— Урожай гниёт на корню, Рокотуновский умер… И всё из-за этого дракона! Убить его надо!

Эти слова были подобны одному из тех камешков, из-за которых в горах сходят обвалы. Все закричали:

— Точно!
— Убить дракона, убить!!!
— Он умрёт, и дожди кончатся!
— Убить, убить!!!
— Сегодня облаву на него!
— Это дракон обвал Рокотуновскому подстроил! Точно!!!
— Убить!!!
— Петрович, решать надо, без тебя ни шагу…

Все замолчали. Стали жадными глазами (вернее, кровожадными) глазами смотреть на Петровича. А Петрович смотрел на меня.

Я еле заметно мотал головой.

— Не надо…— одними губами вымолвил я.

Я смотрел на Петровича.

А Петрович смотрел на меня.

Остальные же смотрели на него.

— Надо,— решительно сказал Петрович, но голос его дрожал.— Драконы — редкая штука, но… Зачем он нужен, если люди страдают?!

Все одобрительно закивали. А я стоял, словно громом поражённый этими словами.

— Да, мы убьём его, и дожди прекратятся!— более вдохновлено продолжил Петрович.— Сегодня же! Желающие поучаствовать подходят к больнице через (бросив взгляд на часы) час!!!

Все кинулись по домам, за оружием. Дикари, увидевшие раненного мамонта, пять минут назад оплакавшие своего соплеменника. А я, как столб, стоял посреди дороги. Петрович положил мне руку на плечо:

— Извини,— сказал он.— Но так надо…
— Иди ты!..— скинул я руку с плеча и побежал к скалам. Ещё можно было успеть…

А с неба всё лил и лил дождь…

— Дракон! Дракоша!!!— раздавались жалобные призывы в скалах. Это мой голос, осипший и продрогший.

Кричу отчаянно сквозь стену дождя. Срываюсь на мат. В ответ — лишь шум дождя и песня ветра…

…Счёт времени потерян. Кажется, я в дожде целую вечность. И на хрена мне сдался этот дракон?!

Понимаю, что не прав, что убивать его нельзя, что не правы мои «соплеменники». А почему, не понимаю…

…Отчаявшись, сижу под скалой, пытаясь спастись от вездесущей воды. Уже не верю в то, что в мире бывают сухие места. Пустыня звучит, как нелепость…

…Думаю о последних словах Рокотуновского. В них есть смысл, я знаю. Но набухшие от влаги мозги его не улавливают…

…Где-то сбоку послышался шорох камней. Я повернулся, уже зная, что увижу дракона. Но я ошибался: там стоял Петрович. В его руках было два ружья.

— Брось, Пастух, и присоединяйся к нам,— сказал он. В его глазах горел огонь азарта, Петрович улыбался. Как можно было за такой короткий срок превратиться из человека в чудовище? Или не зря эти слова начинаются на одну и ту же букву?

Похоже, Петрович так и не понял, насколько сильно он предал меня.

Я в ответ натянул улыбку и протянул руку к ружью. Петрович отдал мне ружьё, махнул головой — дескать, пошли, и повернулся ко мне спиной. Я резким взмахом ударил его прикладом по голове. Он уронил ружьё и упал вслед за ним сам. Я перевернул его лицом вверх — не дай бог ещё в луже задохнётся — и разрядил ружьё, забрав патроны.

Итак, они начали охоту. Их будет с полтора десятка. Я — один. Но у меня преимущество — я буду знать, что веду на них охоту, а они нет. Тогда начнём?!

Второй моей жертвой стал школьный сторож Вася. Я вышел на него в открытую, из-за скалы. Он сначала вскинул ружьё, потом, чуть помедлив, опустил.

— Ты теперь с нами?— недоверчиво спросил он.— На тебя это не похоже…
— Да, я с вами,— как можно беззаботней сказал я.— Что стоишь, иди, я за тобой…
— Ага, а ты меня в затылок прикладом и давай следующую жертву искать… Лучше ты вперёд…

Сторож сторожем, а сообразительней Петровича оказался. Пришлось идти впереди, и я не знал, что делать…

Совсем рядом, за поворотом, подряд раздались два выстрела. Из-за скалы на нас с бешеной скоростью вылетел дракон. Я всем телом упал на Васю, он выстрелил один раз, в воздух, и мы, сцепившись, покатились в какой-то овраг. Я оказался сверху, два раза ударил его кулаком в лицо… Последнее, что видел, мелькнувший приклад…

Очнулся в грязи, в луже, на дне оврага, без ружья. Голова кружилась, дождь шёл всё так же, и непонятно было, прошёл час или прошли сутки. Я встал и, скользя сапогами по грязи, стал выбираться из оврага.

Побрёл куда-то. Я и не знал, как много у нас скал в округе. Хотя, может статься, что я просто ходил по кругу. Сознание периодически отключалось, и каждый раз я обнаруживал себя бредущим куда-то среди скал. Так я и брёл…

…Пока не очнулся от пристального взгляда дракона. Он смотрел мне прямо в глаза, и в его глазах читалось всё—страх, ненависть к людям с ружьями, искренность, миролюбие к безоружным людям… А за всем этим в душе дракона шёл дождь.

И я неожиданно понял, про что говорил Рокотуновский.

—Дракон,—застонал я.—Господи, какие же мы дураки… От тебя ничего не зависит… Ну улетай же ты, пока не поздно! Улетай! Глубже в лес, подальше от людей! Забудь про дождь, главное—жизнь!!! Улетай!!!

Но дракон стоял не шелохнувшись. Я понял, что это бессмысленно, что он не улетит. Мне захотелось подойти к дракону и обнять его. Пастух, пасущий драконов—нелепо или престижно?

Я сделал шаг в сторону дракона, и взгляд его окатил меня святым дождём. Он мне поверил… Ничего, только объяснить всё людям, и они его больше не тронут…

Два выстрела. В теле дракона—две кровавые дыры. Знаменитая драконья чешуя оказалась мягкой, как фольга.

Из ран дракона хлынула кровь. Он упал, извиваясь, стал царапать когтями грязь. Глаз помутнели, из раскрытой пасти вылилась лужица крови, и дракон умер.

Я наполнился яростью. Я был готов убить того, кто это сделал. Я обернулся и увидел… того самого безымянного помощника священника. Он всё ещё держал ружьё так, как будто собирался стрелять. Руки его дрожали, и помощник еле слышно лепетал одно:

—Я не хотел… Я не хотел…

Я не удержался и плюнул ему в лицо. А он лишь утёрся и продолжал дрожать, как осиновый лист. Я ещё раз посмотрел на дракона. Его тело окружила красная лужа, от которой поднимался пар. А дождь всё так же монотонно хлюпал, превращая красную жидкость в розоватую воду… Скрюченное тело дракона лежало в луже, тело моего родного дракона… И он был мёртв.

И вот тут меня прорвало.

—Что же ты наделал?!—заорал я прямо на помощника. По его лицу текли слёзы вперемежку с дождём, и я понял, что тоже плачу.—Что же ты наделал?!

…Я стоял на кухне и смотрел в окно. Моя голова была перебинтована, как, впрочем, и голова Петровича, дымившего на заднем плане сигаретой. Мне было грустно. А Петрович всё смущённо бубнил что-то, пытаясь пробить ледяную стену, вставшую между нами, и вернуть дружеские отношения.

—…Вот так… Выгонят его с церкви теперь, не станет он никогда священником… Жалко парня… А я тоже с председателя уйду, после того, что было, мне оставаться нельзя…

Я не слушал. Мне было грустно. Я смотрел невидящими глазами в окно и думал…

…Величайшей ошибкой человечества было считать, что драконы влияют на погоду. Это так же, как если бы люди считали, что буревестники вызывают бури… Драконы чувствовали погоду, и летели туда, где им жилось лучше всего. Не драконы приносят ветер, а ветер приносит драконов… Вот что хотел сказать Рокотуновский. А мы не поняли. Вовремя… Не поняли.

Я стоял у окна. Мне было грустно. А за окном шёл дождь…

Завтра Осень

(история, записанная со слов Аркадия)

…И меня никто не спросит,
Потому что завтра осень…
Из неизвестного стихотворения

…С природой в этом году творилось нечто невообразимое. Шёл тридцать первый день августа, а жители города, как деревья весной листьями, покрылись различными куртками, дождевиками и тёплыми кофтами. Уже неделю с небольшими перерывами из клубящегося серого неба накрапывал дождь, а температура по ночам опускалась ниже нуля. От этого образовавшиеся лужи покрывались корочкой льда и приятно хрустели под ногами.

Деревья же—и того хуже: все пожелтели, покраснели и начали сбрасывать листья. Кое-где можно было найти деревья, уже полностью облысевшие и приготовившееся к зиме. Некоторые горожане связывали такое поведение деревьев с закрытым горнохимическим заводом, находившимся неподалёку, другие ссылались на конец света, который ежегодно предрекали какие-нибудь восточные календари; третьи же никаких объяснений не искали и лишь грустно вздыхали, глядя на непогоду за своим окном.

Аркадий ехал в полупустом автобусе, смотрел сквозь запотевшее стекло и тоже грустил. Мимо проносились мокрые машины, мокрые люди и мокрые дома, а ощущения, что автобус куда-то движется, не было вовсе. Аркадий на мгновение задумался над этим, но вскоре вопрос стал неактуальным: автобус подъехал к его остановке и пора было сходить.

Несмотря на то, что лето ещё не закончилось, признаки наступившей осени были везде: на улицах, в небе, на лицах людей. Даже начальник по работе у Аркадия, по обыкновению очень суетливый, стал как-то тих и задумчив.

Аркадий был химиком, разработчиком новых веществ на том самом горнохимическом заводе, и поэтому знал, что завод тут не при чём. Осень пришла сама, не спросив ни у кого разрешения и забыв взглянуть на календарь.

Аркадий шёл через парк к своему дому, немного ёжился от проникавшего под плащ холода и думал.

Ветер гонял по дорожкам сухие опавшие листья и слегка трепал пожелтевшие кроны деревьев. Они-то и были причиной Аркадьиных размышлений.

«Интересно получается,—думал Аркадий.—Глазом моргнуть не успеешь, и жизнь пройдёт. Кажется, вот только вчера пришла весна, а нет, сегодня уже лето, а завтра—осень! Вернее, осень уже сегодня… За всю свою жизнь ещё не помню такого короткого лета».

Тут он на несколько секунд остановил свой быстрый шаг и поднял голову вверх. Оттуда, с высоты пышных жёлтых крон, плавно кружась по своей непредсказуемой траектории, падал иссохший оранжевый лист. Он медленно опустился прямо на глаза Аркадия…

Колёса автобуса наткнулись на какой-то бугор, его корпус сильно качнуло, и Аркадий очнулся от быстрого мимолётного сна. Он тут же понял, что ему что-то снилось, что-то до боли знакомое, но при каждой попытки вспомнить оно ускользало от разума и всё глубже растворялось в памяти. В результате от сна осталось только чувство тревоги и печали.

Аркадий вышел на своей остановке и вдохнул поглубже не по-летнему холодный воздух. Чувство тревоги не покидало его. Он огляделся хорошенько, словно ожидая кого-то встретить, и пошёл к своему дому через опустевший и кажущийся заброшенным парк.

Ветер под его ногами гонял туда-сюда опавшие листья, а Аркадий шёл и думал о том, что жизнь по сути—очень быстротечная штука, что, казалось, только вчера ещё была весна, а завтра уже наступает осень.

Что-то мутно-тревожное заставило его остановиться и поднять голову вверх. Ветер, причудливо закружив в воздухе падающий осенний лист, внезапно уронил его прямо на лицо Аркадию.

И он вспомнил.

Вспомнил то, что этот момент его жизни уже происходил. Когда-то очень, очень давно.

Когда его ещё не было. Когда он ещё был. Был уже не в первый раз.

У Аркадия в мозгах словно бы что-то коротнуло. Мысли, до этого тёкшие относительно спокойно и размеренно, лихорадочно заметались внутри черепной коробки, как будто пытаясь найти из неё выход. Аркадий перестал их контролировать. Огромным роем они кружили там без всякой логики и завершения. Вот давно забытые воспоминания, вот фантастические сцены, видимо, подсмотренные в каких-то фильмах, вот мысли о полученной зарплате… Вот строчка стихотворения, выплывшая из глубин памяти в связи со всем этим: «Смешались в кучу кони, люди»… И где-то среди всего этого хаоса зародилась ещё одна, завершённая мысль. Она быстро окрепла и вытеснила из разума все остальные.

«Всё уже было, и было так, как оно есть».

Сам автор этой мысли, Аркадий, стал осознавать её смысл только после создания.

И результаты анализа этой мысли оказались настолько ошеломляющими, что Аркадий тут же забыл, куда он шёл и шёл ли он вообще. С этого момента его ноги переключились в автономный режим и шли сами, куда даже глаза не глядели.

По этой мысли выходило, что весь мир, окружающий Аркадия, со всеми его городами, людьми, заводами, мыслями и осенними листьями, автобусами и холодным ветром—всё это существует не впервые, а когда-то очень, очень давно уже было и, соответственно, когда-нибудь ещё будет. Но это ещё далеко не всё: мало того, что сам мир, но и все его события вплоть до мельчайших подробностей уже когда-то случались в точно таком же порядке. Люди не могли этого помнить, так как в прошлый раз (да и в будущий тоже) жили не совсем они, а абсолютно точные их копии. Которые тоже не помнят того, что ещё когда-то будут и уже были…

…Далее Аркадий внезапно понял суть строения самого времени. Если он пытался представить его как какое-то физическое тело, вполне видимое и осязаемое, получалось нечто вроде патефона с испорченной пластинкой. Игла проходила круг по одной и той же колее, проигрывала всё те же слова, а потом предательски соскакивала на ту же самую дорожку и начинала всё с начала. Всё было точно так, с той лишь разницей, что дорожка была прошлым и будущим, игла—настоящим, а другой дорожки, другой цепочки идущих друг за другом событий—не было.

Повеяло холодным и влажным ветром, Аркадий попытался запахнуть свой плащ получше и понял, что совершенно не осознаёт, где находится. Он шёл вдоль перил, отделявших высокую землю от лежащей далеко внизу воды. Это был левый берег реки, делившей город на две неравные части. От дома Аркадия до неё было не так уж и мало, по всей видимости он прошагал два десятка улиц в полном беспамятстве. Вода в реке бурлила и была тёмной и мутной. На душе у Аркадия происходило то же самое, что-то сумрачное и неясное клубилось там и перекатывалось с места на место тяжёлыми мыслями.

Он ещё раз вспомнил всю свою жизнь и переосмыслил её; то, что казалось в ней раньше простыми случайностями, глупыми ошибками, теперь виделось совершенно по-новому: всё было заранее предрешено, всё было так, как всегда было и будет, и не могло быть иначе. Это знание, которого когда-то давно иногда так не хватало, теперь переполнило душу Аркадия до краёв, бурлило там, как река внизу, и просилось выплеснуться наружу. И он понял, что не сможет один вынести этого знания, слишком оно уж было тяжёлым для него одного, и что всенепременно необходимо взять—и вот так просто, первому встречному—сейчас же рассказать всё, что только что осознал.

—…И меня никто не спросит, потому что завтра осень…—вдруг услышал чей-то тихий шёпот Аркадий совсем недалеко от себя. Он оторвал свой взгляд от мокрого, кое-где присыпанного опавшими листьями тротуара и увидел человека, довольно таки пожилого, в потёртом клетчатом пальто и с тростью в руках. Лицо его было покрыто небольшой, но густой белесой бородой, над которой поблескивали мощные квадратные очки.

«Вот ему-то я всё и расскажу»,—даже не решил, а просто понял или вспомнил Аркадий. С учётом того, что всё это было и происходило уже не одну тысячу раз, в этом не было ничего удивительного.

Несмотря на это своё мгновенное решение Аркадий заговорил с этим прохожим далеко не сразу. Некоторое время он просто шёл за ним следом, можно сказать—следил.

Человек этот, кроме своей непонятно чем привлекающей внимание внешности, был немного странным и в других вещах. Трость, которую он нёс с собой в руках, была ему явно не нужна, опирался на неё он крайне редко. Кроме того, похоже, он почти не замечал происходящего вокруг, а всё шептал и шептал себе что-то под нос.

Прохожий остановился так плавно и незаметно, что Аркадий чуть ли не налетел на него со спины.

— …Почему так? Я не знаю, лето снова покидает; и меня никто не спросит, потому что завтра— Осень!—как-то особо торжественно и почти в полный голос продекламировал он. Аркадий полушёпотом как бы невзначай сказал:

— Осень уже сегодня…

— Да-да, действительно так!—неожиданно быстро и активно согласился случайный собеседник. Так, будто они давно знакомы и уже около часа ведут какой-то яростный спор.—Я об этом тоже думал, осень сегодня подкралась так незаметно…—прохожий словно только сейчас заметил, что с кем-то разговаривает, и внимательно вгляделся в лицо Аркадия. Подул промозглый ветер, зашевелил на тротуаре листья, и он по инерции продолжил:

— Хотя, впрочем, нет, сейчас—лето. А вы кто будете, позвольте полюбопытствовать, молодой человек?

Аркадий заулыбался, а потом вздрогнул, вспомнив, что собирался рассказать этому приятному старику. Но представился.

— Я—Аркадий, и я хотел бы поведать вам одну интересную и жутковатую вещь.

Прохожий постоял с минуту, как бы раздумывая над услышанным, а потом ответил:

— Не пристало на улице разговаривать о столь серьёзных вещах. Лучше пройдёмте ко мне в квартиру и обсудим всё за чашечкой чая… Тем более, что меня тоже зовут Аркадий…

В этот несколько провинциальный город ещё не до конца проникла вся эта творящаяся в мире вокруг капиталистическая цивилизация со всеми её выгодами и достоинствами. Остатки коммунизма ещё не выветрились полностью из душ жителей города и лёгкой пылью лежали на их сердцах, позволяя им иногда без тени сомнений звать в свой дом на чашечку чая совершенно посторонних и незнакомых людей.

Аркадий второй—поэт. После того, как он признался в этом, у первого сразу же исчезли все вопросы насчёт того, что и кому он шептал на улице, зачем ему трость, если он ей не пользуется, и остальные подобные.

Зато оставался главный: что же делать теперь с этим знанием о повторяемости мира? Как донести его до людей и стоит ли доносить вообще?

Аркадий-химик и Аркадий-поэт молча прихлёбывали из стаканов с настоящими подстаканниками чай с малиной, слушали немного поскрипывающую музыку, доносящуюся из стоящего на столе патефона, думали. Ощущение какого-то радостного исхода, возникшее у Аркадия первого при встрече с Аркадием-поэтом, всё больше и больше подменялось какой-то особенно тоскливой печалью.

— Интересно,—куда-то в пространство заговорил Аркадий-поэт.—Интересно, почему именно в этот самый день на вас снизошло такое озарение…

— А этот день—особенный?..—то ли спросил, то ли утвердил химик.

— Да, знаете ли… сегодня должен был быть последний день перед осенью… Но, как вы заметили, она уже наступила задолго до этого… Давеча, на улице, я создал замечательное творение, объясняющее происходящее вокруг… Всю эту Осень…

От этой фразы ощутимо повеяло холодом, дождями и опавшими листьями. Аркадий-химик даже поёжился.

— И как оно объясняет такую резкую перемену климата?

— Что вы, климат здесь не при чём,—махнул рукой поэт.—Осень внешняя—это дань глубоко засевшему в обществе материализму… Главное происходит там,—он выразительно постучал себя по груди,—Осень—это не состояние мира. Осень—это состояние души…

Наступила тишина. Аркадий явственно почувствовал правоту поэта. И понял, почему именно сегодня догадался о вечном повторении мира. Это из-за осени, проникшей в его душу. Аркадий погрузился в себя, забыл все свои ответы и вопросы, которые ещё надо было обсудить с Аркадием вторым, а лишь сидел и слушал свою душу: шуршур—тихо шуршали там листья, кап-кап—тихо накрапывал дождь… И нельзя, никак нельзя было уйти от этого—ведь это было, было уже сотни раз, и должно повториться снова и снова, от осени нельзя было уйти, её можно было только пережить… И свистал в душе ветер…

— …Тень, моя тень на холодной стене,—доносился грустный женский голос из патефона.—Жизнь моя связана с вами отныне, дождик осенний… Кг… Дождик осенний… Кг… Дождик осенний… Кг…

— Заело,—шепнул Аркадий первый, холодея от ужаса.

Аркадий-поэт, недолго думая, размахнулся кулаком и ударил по столу так, что все вещи, на нём стоявшие, разом подпрыгнули: и чашка с печеньем, и стаканы в подстаканниках, и патефон. Игла тоже подскочила и перешла с уже несколько раз пройденной дорожки на следующую:

— Дождик осенний, поплачь обо мне; дож-дик осен-ний… поплачь… обо мне…

А в душе Аркадия-химика с этим ударом будто что-то оборвалось. Он подскочил, спешно накинул плащ, понял, что сейчас вот-вот опоздает на что-то очень важное, выкрикнул уже у порога Аркадию-поэту:

— Я не могу так! Извините… Надо спешить! Я запомнил ваш дом! Я ещё вернусь! Вернусь!!!

Хлопнула входная дверь, и Аркадий-поэт остался наедине с тишиной. Лишь тихо шуршал патефон. Пластинка закончилась…

Аркадий первый вылетел из подъезда на улицу и, не раздумывая ни секунды над вопросом «зачем», побежал. Зачем? Он не знал. Никто не знал этого. Так было и будет всегда, и автора, писавшего эту бесконечно повторяющуюся пьесу, совершенно не волновали подобные вопросы.

Погода была под стать состоянию души Аркадия: резкие порывы ветра, рвущие засохшие листья с деревьев, крупные капли дождя, холодно хлеставшие Аркадия по лицу. Было холодно; но холод царапал лишь кожу и не мог унять осенний огонь, разгоравшийся у Аркадия в душе.

Вдруг какая-то мысль остановила его. Взгляд его зацепился за человека, стоящего под козырьком у небольшого ларька и неспешно раскуривавшего сигарету. Аркадий подошёл к нему, оценивающе осмотрел и спросил:

— Извините, можно спросить… Как вас зовут?

— Аркадий… А что?

— Нет, нет, это я так…

Аркадий, уже весь промокший, побрёл своей дорогой дальше. Он думал: «Неужели это было случайностью? Нет, никак. Не может один Аркадий встретить случайно подряд двух других. Это было… Судьбой. Всё, что сегодня случилось, было предрешено. И эта осень в душах людей, и моё… Прозрение. Вот только почему я не помню, что же должно случиться дальше? Ведь я так много раз это проживал… И каждый раз забываю…»

Тёмная клубящаяся масса высоко в небе неожиданно треснула, сверкнула молнией и разразилась громом. От этого там словно что-то лопнуло, и через мгновение дождь перешёл в ливень, льющий одним шумным сплошным потоком.

«Надо, чтобы кто-то ещё узнал о повторяемости времени…» — продолжал думать Аркадий ещё рьяней, не замечая ливня. — «Но кто?! Надо рассказать всем, и тогда люди станут жить по-другому! Но кто сможет это постичь и поверить мне?! Как же это рассказать всем?!»

Ливень шумел всё сильнее, по улицам бурлили грязные потоки. Все люди, кто мог, попрятались по своим домам, к тёплым батареям и мягким диванам. Поэтому вряд ли кто видел на улице одинокую фигуру промокшего насквозь Аркадия, уже в полный голос кричавшего небу:

— Кто поверит?! Кто узнает?! Кто услышит?! Кто поймёт?!..

…И лишь гром отвечал ему, громко, грозно, раскатисто. Но Аркадий его не понимал…

Лёгкий сквозняк прошвырнулся по тротуару, но не унёс с собой ни листочка: все они, тяжёлые от влаги, были прибиты к тротуару недавней бурей.

Был тихий вечер. Закатное солнце оранжевыми лучами освещало оранжевые кроны деревьев и спокойную гладь воды у набережной. Было красиво. У самых перил моста стоял Аркадий и молча любовался окружающим миром.

Вся его одежда и он сам по-прежнему были пропитаны влагой, но Аркадий давно научился не обращать внимания на такие мелочи жизни. Он думал, но мысли его были уже не тяжёлыми, как капли начинающегося ливня, а по-осеннему легки, как шуршащие жёлтые листья, кружимые ветром.

Вот лицо его тронула улыбка, и Аркадий тихо прошептал водной глади:

— И меня никто не спросит, потому что завтра осень… И меня никто не спросит, потому что завтра — осень… Да, я помню тебя, мой тёзка-поэт. Я к тебе ещё вернусь. Нам многое с тобой надо ещё обсудить…

Аркадию было хорошо. Он много чего переосмыслил в эту осеннюю бурю в последний день лета. Он много думал о цикличности времени, а потом вдруг понял: к чему все эти страдания? Зачем это учение? Учение о повторяемости жизни не должно было существовать. Аркадий понял вот что: он уже сотни, миллионы, миллиарды раз должен был в последний день перед осенью вспоминать о том, что всё уже было, и пытаться поведать это миру. Но раз мир этого до сих пор не знает, значит, у него ничего не получалось — ни в прошлый раз, ни в позапрошлый, и никогда не должно было получиться. А раз так, то зачем пытаться? Если память человечества этого не сохранила, значит, это и не нужно…

Аркадий улыбнулся ещё раз и сказал ясно и чётко:

— Завтра осень!

После чего развернулся и, наконец-то, неспешно пошёл к себе домой.

И действительно: завтра была осень, и Аркадий-химик вернулся к Аркадию-поэту, и они вместе создали множество прекрасных и умнейших идей. А осень, что была, была самой неповторимой и прекрасной, и никогда доселе и после этого не было такой прекрасной осени, она была единственной в своём роде; и этим она и была прекрасна.

Кое-что о новых целях Махатмы Ганди

Весенне-осенним днём по зелёному-зелёному миру шёл слон. Этот слон назывался Махатма Ганди. Он жил на этом свете очень давно, так давно, что уже не помнил, когда в первый раз родился и умер. Это шествие здесь, по зелёному миру, было явно не первым в его жизни. Но он шёл и шёл… У него не было цели, так как он никогда не доходил туда, куда вовсе не стремился. Но в этом пустом зелёном мире всё же надо было куда-то идти, и он шёл. Слоны всегда верили в то, что можно прийти и туда, куда не собираешься дойти, если очень-очень сильно захотеть, при условии, если ты не будешь мешать идти туда же другим. С учётом того, что все слоны были уже очень давно мертвы и явно не живы, они могли вечно брести по этой дороге, и тем и были счастливы. И Махатма Ганди шёл. Он помнил, что, будучи когда-то живым, он тоже куда-то шёл и убедил идти туда всех остальных. И вот… Теперь и все его ученики, включая его самого, шли по пути к отсутствующей цели. Путь этот, как уже оговаривалось, был бесконечен, как было бесконечно всё: жизнь, смерть, вера, любовь и остальные непонятно для чего и кем созданные вещи. Слоны тоже были вещами, но вещами

особыми, с духовной подоплёкой… Их не так-то просто было сломать. Ведь живых убивают, вещественных ломают, а что делать с бесплотными и мёртвыми? Ответа на этот вопрос не знали даже сами слоны. Они над этим даже не задумывались. Ведь у них была Наивысшая Цель — та цель, которая вечна и недостижима. Именно такие цели обыкновенно называют наивысшими.

Но, с точки зрения цепочки следов, протянувшихся вслед за бредущими в никуда по пустому миру слонами, цели существования слонов сами слоны не знали. Её, конечно же, знали только следы. «Слоны — созданы для того, чтобы брести в никуда, и таким образом вечно и бесконечно продлевать длину следов…». Следы созерцали мир, познавали его, протягиваясь всё дальше, и видели в этом высший смысл.

…А для воздуха, окружавшего слонов и каждодневно вдыхаемого ими, смысла и цели не было. Он просто боролся за свою бесконечность, которую вечно пытались ограничить, а то и вовсе поглотить слоны.

Равновесие

…Пульсирующее ярким душевным огнём, сердце бухнулось на вторую чашу весов. На первой уже лежал большущий булыжник с некачественно оттиснутым изображением богини Маат в профиль. Он был спешно склеен из всех тех камней, которые были перед этим вынуты из души подсудимого.

Подсудимый, которого при жизни звали Сергеем, был явно не в себе. В прямом смысле этого слова. Он с оторопелым видом стоял, пялился на собственное сердце и усиленно пытался вспомнить, как здесь оказался и где был до этого. Память возвращалась с большим трудом…

А Весы тем временем качнулись. Виновата в этом была сила инерции, непонятно зачем придуманная то ли Ньютоном, то ли ещё Галилеем и с тех пор исправно действующая во всех возможных для разумного существования пространствах. Многие боги не любили эти законы, но — закон есть закон, и не важно, бог ты или простой смертный, а следовать закону приходилось. Разница была в том, что боги всё же иногда могли их нарушать…

Весы дошли до своего предела и откачнулись в обратную сторону. Инерция в этом разреженном воздухе угасала мучительно долго.

— Давайте начинать уже, а то пока они определятся…

Голос принадлежал мужчине с кожей зеленовато-мертвенного цвета, восседавшему на троне посреди зала. Человек с головой иссиня-чёрного шакала слегка толкнул в плечо Сергея, шепнув на ухо:

— Это тебе говорит…

Сергей вздрогнул от этого замогильного шёпота и задал вполне логичный с его точки зрения вопрос:

— А что начинать-то?

Следующим звуком в этом зале был звук шлепка ладони серокожего человека о его же лоб. Рядом стоящий писец, старый, но статный, с головой ибиса, что-то быстро пометил в своём свитке.

— Исповедь отрицания, — терпеливо пояснил шакалоголовый, которого, к слову сказать, все называли не иначе как Анубис. От каждого его шипящего слова Сергею было не по себе и становилось ещё более «не по себее». А Весы продолжали раскачиваться…

— Я не… Знаю такой исповеди, — признался Сергей.

— Но начал-то ты правильно, — рассмеялся собачьим смехом Анубис. — Продолжай.

И Сергей продолжил, словно знал эту исповедь когда-то очень, очень давно, но забыл и теперь вспоминал на ходу.

— Я не… Творил зла людям. Я не делал дурного. Я не убивал. Я не был причиной слёз…

В это время Исида поднесла зеленокожему Осирису какую-то толстую книгу в сером переплёте, и он теперь, полистывая её, с довольной ухмылкой поглядывал на исповедующегося. Сергей опять ощутил неловкость и почувствовал, что часть сказанных им слов застывают в воздухе тяжёлой пылью, зримо оседая на первой чаше и увеличивая вес булыжника. И понял — это произнесённая им ложь…

— …Я никому не приносил страданий, — между тем вдохновенно продолжал его собственный язык. — Я не сквернословил. Я не угнетал раба перед лицом господина его… Эй, что это за? Я отказываюсь произносить такой устаревший текст. У нас вообще нет рабов… По-моему…

Память возвращалась слишком медленно.

Сокологоловый Гор, бывший в числе прочих сорока двух наблюдателей (на Великом Дворе Двух Истин было довольно людно, а ещё точнее, божно), не обращая никакого внимания на подсудимого, обратился к Исиде:

— …А я уже сколько раз говорил, что текст исповеди давно пора редактировать. Так нет же, Тот всё ленится…

Тот это услышал, перестал делать пометки в своём свитке и живо отреагировал:

— Я-то тут при чём?! Я бы давно уже всё переписал, но, пока у меня нет на руках соответствующих документов, да ещё подписанных рукой Амона, я не обладаю полномочиями изменять…

— Ээ! Люди! Ничего, что я здесь стою с душой нараспашку?! — возмутился Сергей. И тут же получил от Анубиса увесистую оплеуху.

— За что?!

— Как ты посмел, смертный, называть нас людьми? — прорычал он. В тот же миг Тот (извините за своеобразную тавтологию) напоказ перечеркнул в свитке целую строку и заявил:

— Протестую! Подсудимый действительно имеет право на внимание к себе. Всё же речь идёт ни больше, не меньше о его собственной жизни… Опустите, Сергей, всё остальное, сами всё знаем, давайте концовку и разбежимся…

— Ну… Как же там… А! Я чист, я чист, я чист!

А сам подумал: «А кто — Я?». Память возвращалась слишком, чрезвычайно, непозволительно медленно…

…Весы остановились. Но… Ни одна чаша так и не перевесила другую.

— Как обычно,— со скукой произнёс царь Загробного мира Осирис.— Гор, будь добр, сходи за линейкой…

Гор растворился в пространстве, а Сергей наконец-то получил возможность как следует оглядеться.

…Большой зал. Посередине — трон с Осирисом, вокруг толпятся, сидят на полу и парят в воздухе скучающие боги. За плечом конвоиром скалится загадочный Анубис. У левой стенки зала — те самые Весы с булыжником и сердцем. Сергей присмотрелся и понял: непонятно почему, но оно всё ещё билось. Или так казалось из-за колышущегося гретого воздуха? Там же, под Весами, свернувшись калачиком, косилось на Сергея косматое и давно нестриженное чудовище: львиное тело и оригинально смотревшаяся на его фоне огромная крокодилья пасть. Правая стена зала — полностью увитая плющом. Или же другим подобным растением, Сергею некогда было разбираться в особенностях местной флоры.

…Гор вертелся у Весов долго, мерил линейкой углы и так, и сяк и в итоге констатировал с ироничной улыбкой (она была настолько ироничной, что отразилась даже на его птичьем лице):

— Никаких шансов. Полное *равновесие*. Опять придётся брать дело на словесное рассмотрение…

В толпе богов прошёл недовольный шёпот.

— Сколько можно…

— До обеда ещё вечность, а нам опять заседать…

— Хоть самому на гирю давить уже…

— Голову потерял, на гирю? Под трибунал же пойдёшь…

— И что за люди нынче пошли?!

— Давить таких надо…

И, как снег на голову, к Сергею вернулась память.

…Сергей шёл по засыпанному снегом тротуару и тихо, чтобы никто не услышал, матерился на коммунальщиков. Третий день был снегопад, и город сделался похожим на один большой сугроб. И за всё это время он не видел ни одной снегоуборочной машины! По Сергею, это был вполне достойный и праведный повод обозлиться. Вот он и злился. А ещё шеф сегодня был в плохом настроении, прививая это настроение другим. А ещё месяц назад от Сергея ушла девушка, так ничего и не объяснив. А ещё гастрит, с таким трудом вылеченный три года назад, снова давал о себе знать. А ещё в магазине кончились деньги, разлетевшись на ненужные мелочи, а большую ненужную вещь, за которой он и направился в магазин, купить так и не смог…

В общем, поводов любить этот мир было немного. Зато много было желчи, накопленной на него в процессе жизни. При ходьбе возникало ощущение, что она так скоро и начнёт выплёскиваться за края воображаемой чаши терпения. Но… Сергей всё ещё терпел. Он не покупал автомата для кровавой расправы над человечеством в своём офисе, не готовил предсмертных записок с обвинениями в адрес теперь уже ненавистной ему бывшей подруги… Сергей держался. И имел полное право считать себя за это чуть ли не героем. И считал. Вот только раздражало то, что из окружающих никто этого геройства не замечал.

…Так вот, скрипя от скрываемой злобы зубами, Сергей шёл (точнее, пробирался) по заваленной снегом дороге и всё пытался полюбить этот мир. Получалось не очень. Душе не хватало света…

А вот, кстати, и он! Два ярких пятна из-за поворота. Скрип тормозящих шин. Но — не зря же шоссе было сковано гололёдом — водитель не успел. Огромная железная туша автомобиля мощно оттолкнула Сергея назад и вверх, прервав на середине вялый, скучный и ставший ненавистным в последние дни поток ленивых обыденных мыслей. Короткий и жгущий тело полёт в небо — и назад, на холодную твёрдую землю… Гряммм…

…И темнота…

…Анубис поморщил свой шакалий нос и высказал своё далеко не лучшее для Сергея мнение:

— О чём тут говорить? Вы посмотрите только, какой мелочный и желчный этот Сергей! А́мту его, А́мту!

— Ты всегда был максималистом, Анубис,— успокоил его мудрый и старый Тот.— Я тоже вижу в этом человеке больше недостатков, чем… Но Весы показали, что грехи его равны его добрым деяниям, и поэтому мы не имеем права сразу направить его в ад, а сначала…

— Эй!— окликнул его Сергей.— Вы сказали так, будто потом меня всё равно…

— По сути дела, так оно и есть. Словесное совещание богов — всего лишь формальность…— с лукавой (насколько это вообще возможно для ибиса) улыбкой ответил ему Тот, одновременно опять помечая что-то в своём бесконечном свитке. Эта его манера вести разговор начала раздражать Сергея. Он окинул взглядом весь зал в поисках хоть какой-то поддержки, но не нашёл. Зато наткнулся на внимательный и заинтересованный взгляд косматого чудища.

— А… А *это* на меня что так странно смотрит?— сглотнув слюну, поинтересовался Сергей. Но, по сути, ответ уже знал.

— А это и есть Амт. Будьте знакомы…— подсказал ему кто-то из богов.

— Рад знакомству,— очень неуверенно произнёс Сергей. Амт в ответ ощерился воистину крокодильей улыбкой.

— …Ну зачем все эти формальности? Мы же все прекрасно понимаем, чем закончится заседание,— продолжал гнуть своё Анубис.— А Амт голодный. Вы только посмотрите в его глаза…

Амт, проникшись сложившейся ситуацией, даже прослезился. Сергей тут же вспомнил поговорку про крокодильи слёзы…

— …Разве можно держать голодом бедное животное?— шакалоголовый продолжал речь, потихоньку подталкивая Сергея к Весам и лежащему под ним лицемерным чудищем.— Пока суд да дело, так и с голоду помереть можно…

Амт почуял свою победу, встал на все четыре ноги и разинул Пасть.

В раскрытом виде Пасть оказалась в несколько раз больше. В ней свободно мог уместиться

человек, даже встав в полный рост (и даже если б не хотел, растопырил бы руки с ногами, всё равно бы влез). Три ряда огромных и острых клыков на самом деле являлись чисто декоративным украшением. Амт явно не собирался никого жевать. По вполне простой причине: в глубине его Пасти скрывалось не его же брюхо, а самый настоящий Ад. Пылал адский огонь, обжигающий своим равнодушием; на грани слышимости раздавались стоны, леденящие своей безмолвностью. И эта темнота была всё ближе… Ближе…

Пасть захлопнулась, а Амт, по-собачьи взвизгнув, виновато зажался в угол. Виной этому был свиток Тота, несколько раз равномерно опустившийся чудищу примерно между глаз.

— Правила есть правила,— заявил Тот.— И даже если всё предрешено, мы всё равно обязаны их исполнять. Вспомни Осириса: думаешь, он не хотел воскреснуть сразу же после того, как его убили? Ещё как хотел. Но, как добропорядочный гражданин, вылежал в саркофаге столько, сколько положено и на сколько положили. Поэтому сейчас и царь Загробного мира, а не безвестный божок богом забытой местности…

— Ну ладно,— нехотя вздохнул Анубис.— Я ж хотел как лучше, чтоб нам меньше с ним возиться… Только куда мы его? На время-то суда? Не будет же он стоять тут и слушать, как мы ему приговор составляем?

— Известно куда,— заговорила вдруг тяжёлым мужским голосом жаба, до этого молча сидевшая на увитой плющом стене и казавшаяся Сергею просто частью антуража.— В моей обители всем места хватит…

— Это верно,— согласился Осирис и поднялся с трона.— В обитель вечности его, а там уже решим… Весы покажут…

Анубис бесцеремонно скрутил Сергею руки и потащил к увитой плющом стене.

— Эй! Я протестую! Я буду жаловаться!— закричал Сергей, безуспешно вырываясь на свободу.

— А куда?— лукаво оскалился Анубис.— Выше уже некуда…

Жаб соскочил со стены, и в то же мгновение плющ пополз в сторону, открывая взорам богов ещё одну, скрытую до этого от посторонних глаз дверь. Жаб слегка толкнул её, и она распахнулась, открывая за собой бесконечное и необозримое *ничто*.

— И где я буду?…— слабым голосом «поинтересовался» своей судьбой Сергей.

— Нигде,— коротко и ясно ответил жаб. Анубис отпустил его и толкнул внутрь (или наружу? Где вообще может находиться «нигде?»). Сергей зашарил руками опоры, но было уже поздно… И он провалился в *ничто*…

— Сволочи! Собаки недоделанные!— запоздало крикнул Сергей, куда-то туда, где секунду назад была дверь. Но её там уже не было. Сергея окружало холодное и, по всей видимости, безвоздушное пространство. Просто ему, умершему, воздух был уже не сильно-то и нужен, разве что только как что-то декоративное, как кактус на окне: он есть — и ладно, и не вспоминаешь, благо поливать не надо, а нет его — так и не горюешь… Вот только холодновато было в этом вакууме… Ну и, конечно же, пустовато…

Сергей попытался куда-нибудь переместиться, но это ему вряд ли удалось — без ориентиров присутствовало чёткое двойственное ощущение: что ты всё время куда-то падаешь и в то же время, как бы ни дрыгал ногами, остаёшься в одном и том же месте.

«Так тебе и надо»,— подумал про себя Сергей. Разве не логичный итог такой бессмысленной и пустой жизни? Святому — рай, грешнику — ад, а ему-то куда, не славившемуся при жизни добротой, но и не грешившему толком? «Давить таких надо…» — вспомнилась фраза одного из богов. Вот его и задавили. И вышвырнули за пределы реальности, как лишний кусочек пазла пространства. Если и без него вся картинка прекрасно собирается, зачем его куда-то ещё впихивать и портить идиллию?

«Давить таких надо…». Так, выходит, он не один такой? Вспоминая теперь свою земную жизнь, Сергей понимал: да, таких ещё очень и очень много. Идёшь по городу, а навстречу тебе — пустые лица, сотни, сотни глаз, не выражающих ничего, кроме озлобленности и усталости от этого мира. Даже на нормальную ненависть не способны… Да и он сам был таким… Был? Или до сих пор есть? Сергей, если честно, не верил в окончание Загробного суда. Разве то, что он испытывал сейчас, не являлось единственно подходящим наказанием для человека с такой пустой жизнью?……

…Пустота…

…Время, отказавшись от двадцатичетырёхчасового рабочего дня, устроило забастовку и осталось стоять на одном месте.

…Теперь Сергей уже не знал, когда начал думать о своей судьбе, и тем более, когда планирует эти размышления закончить…

…Попытка забыться сном закончилась крахом. Сергей допускал мысль о том, что он всё-таки смог поспать, но без сновидений отличить «реальность» (какая вообще может быть реальность в несуществующем месте?!) от «грёз» было невозможно. Да и была ли между ними принципиальная разница?

— Боженька, вытащи меня отсюда…— в приступе отчаянья и тоски прошептал в пустоту Сергей. Он никогда не был верующим при жизни. Даже в обширный класс так называемых сомневающихся (людей, верящих так, на всякий случай, по воскресеньям и во время пожаров) его можно было записать с большой натяжкой. Но… Сквозь слова желчи и ненависти, которыми он пользовался чаще других, прорывались и эти — как слова-паразиты, произносимые при неожиданном столкновении или сильном удивлении. «О Господи!», "Бог ты мой…" Сергей никогда не думал о значении произносимого им. Он просто жил и разговаривал, часто — не думая, мимоходом, для отвода глаз, а сам в это время всё жалел себя и копил злобу на других.

— Господь, я теперь знаю, что тебя нет, а есть только эти зверомордые судьи, но именно сейчас я готов поверить, что ты — есть… Если я выберусь отсюда, я выберусь с твоим именем на устах…

— Не пори чушь,— посоветовал грубый мужской голос, в котором Сергей узнал жаба — хозяина этой бесконечности. Сергей заоборачивался, но так никого и не увидел.
— Ты мне не указ, земноводное,— огрызнулся Сергей, оскалившись во тьму совсем по-звериному.
— Одичал уже, я смотрю,— расхохотался невидимый собеседник.— Ты б лучше сидел смирно, не знаешь что ли: каждое сказанное вами слово может обернуться против вас… Жди, мы скоро, похоже, сможем закончить…
— Только не оставляй меня одного в пустоте… Эй! Слышишь?!

Но ответа не последовало. Либо жаб затаился, либо уже ушёл туда, откуда приходил. И Сергей опять остался один…

…Захлопнув за Сергеем дверь, Анубис вздохнул как-будто бы с облегчением.
— На себя посмотри, человек,— ответил он на последнюю реплику Сергея, произнесённую им уже во время падения.— Посмотри на свою жизнь и на свою смерть и подумай: разве хорошо быть человеком? По мне, так собаки в тысячу раз благородней и важней, хоть даже пусть и недоделанные…
— Он тебя уже не слышит,— печально-усталым тоном произнёс Тот, вновь помечая в своём свитке ещё одну неприжизненую выходку Сергея. Оглядел его от края до края.— Судя по статистике, мёртвой пыли у него всё же окажется больше, чем живой крови…
— В этом никто и не сомневался,— сказала Исида как можно равнодушней, но нотки печали прозвучали и в её голосе.— Вопрос в том, как скоро он изловчится нагрешить в полной пустоте до такой степени, что чаши Весов наконец-таки сделают свой выбор… Гор, сын мой, принеси вина. Скучно…

Осирис, который тоже всегда был непрочь выпить чашу-другую, на этот раз не отозвался. Он углубился в чтение книги в сером переплёте — то бишь книги жизни самого Сергея.
— …Такие странные люди,— вздохнул Осирис, дочитав последнюю главу.— Вместо жизни — одна мелочность, как бы выгодней сегодняшний день продать, чтоб потом якобы от этого лучше пожить… И продают год за годом, а самой жизни — как не было, так и нет… Вот у него тут в начале последней главы девушка ушла, так он вместо того, чтоб задуматься, ещё и возненавидел её за это! Столько злобы, словно дети Сета, а не творения Ра. И все так уверены в том, что ещё успеют пожить, а когда?!
— Сами они не живут, от того они и злые на неё, на жизнь,— ответила Исида.— А не живут… Потому что не умеют. Их с самого детства обучают неумению жить. Сначала в детском саду, потом в школе, потом в университете… И везде одно да потому. Искусство не жить, а существовать, не работать, а зарабатывать, не думать, а логично мыслить, не чувствовать, а анализировать… А те, кто их учит, сами не умеют… Замкнутый круг.
— Но есть же и те, кто с робкой мечтательностью по ночам всё же смотрит на моих деток и на меня саму,— возразила Нут, до этого от скуки принявшая облик коровы и медленно жевавшая плющ со стены жаба Хеха, властелина бесконечности. Плющ по мере сил отбивался, но ничего не мог поделать против богини.— Далеко не все люди таковы, какой есть этот скучный представитель человечества… Каждый выбирает свой путь сам, и воспитание тут ни при чём.
— С этим ещё можно поспорить,— не согласился Осирис, во всех спорах всегда принимавший сторону своей мудрой жены.— Вот смотри… Допустим… — поперелистывал книгу, нашёл:
— «…После вечера в кафе подсудимый повёл Анну Ермолову на улицу, где шли медленно, в течение часа обсуждая созвездия и возможность существования внеземных цивилизаций. В злых умыслах за время пути замечен не был». Ну, как? Видишь теперь, что почти у всех них было в своё время Своё Время, своя жизнь… А что они выбрали? Вот то-то и оно, что выбрали ненависть! Вперёд, разрушим старый мир! А всё только от того, что сами не способны построить… Ничего не способны построить. Умеют только отчёты писать.
— …Да, кстати,— вдруг встрепенулся слегка задремавший Тот.— Надо ходатайство Ра подать задним часом на использование бесконечности для выявления отклонений Весов от состояния Равновесия. Он, конечно, подпишет, но подать надо — документация…
— Бюрократы! — возопил во все щёки жаб Хех.— Моя бесконечность, кого хочу туда, того и сажаю!
— Ты не прав,— с усталой улыбкой вздохнул Тот.— Ты же знаешь, в Своё Время мы научили людей всему, что могли: земледелию, добыче огня, письменности… А теперь — Их Время. Таковы законы. И мы должны научиться, хотя бы попытаться научиться всему тому, что умеют сейчас они…
— По-моему, легче научиться ходить вверх ногами, чем выдержать такой поток документации… Нет, ей-богу. У нас никаких гробниц не хватит все эти отчёты хоронить.

Анубис оскалился на эти слова.
— Отчёты недостойны такой смерти! Максимум, что я могу им позволить — одну общую безымянную могилу. Ничего, недолго осталось… Вот кончится Их Время, и мы им покажем, этим бюрократам-бумагам! Пиши ходатайство, Осирис. Мы его закопаем.

Осирис достал рябое и потрепанное перо Маат из-под трона, папирус и стал шоркать по нему туда-сюда, с видимым отвращением составляя миллионный акт за сегодняшний день. Всё дело было в том, что время в этих местах (по обоюдной договорённости с ним самим) текло гораздо медленнее, чем в местах иных. Осирис давно мечтал об отпуске и об тех самых «иных» местах. Вот только кончится Их Время, и — Осирис отправится Жить…
— Сейчас бы вина,— закончил он наконец.— Где этот Гор летает, ослеп он, что ли?

Мгновенно с этими словами воздух вокруг наполнился шелестом крыльев, пространство посреди Великого Двора Двух Истин треснуло пополам и явило скучавшим богам двух сцепившихся друг с другом существ. Одно из них было Гором, отрастившем свои соколиные крылья для

удобства полётов за вином. А второе… Было ангелом. Правда, выглядел он уже слегка помято и грязновато, всё-таки противник по рангу был явно выше его.

— …Он под нашей юрисдикцией как христианин! — верещал ангел, яростно отбиваясь от злостных выпадов Гора. Судя по его «божественному» поведению, он явно хотел возразить.

— Эх, не хотел я этого делать… — послышался усталый голос Тота.

Звуки хлёстких ударов, и вскоре ангел с Гором сидели в разных углах, потирая ушибленные места. Всё-таки свитки Тота были очень увесисты и эффективны в плане миротворчества. Не зря же когда-то эти самые свитки помогали Ра сотворять мир…

— Говорите по одному, — спокойно и увесисто сказал Осирис на правах здешнего правителя.

— Он хочет… — Начал злорадно Гор.

— Не ты! Тебе, как гостю, дорогой ангел, я предоставляю право первого слова.

Ангел встал, отряхнул свои вымазанные в пыли потрёпанные крылья и не менее злорадно начал:

— Вот видишь… Я, как уполномоченный представитель христианской части неба, официально заявляю: человек, чьё сердце сейчас находится у вас на Весах, а сам он — чёрт знает где, я у него спрашивал, да только он, сволочь, не говорит, подлежит действию наших, а не ваших Законов.

— Это не ангел, а чудо в перьях какое-то… — шёпотом хихикнула Исида.

— Из чего были сделаны столь поспешные выводы? — услышал её, но не подал виду Осирис. — Вот, посмотрите документацию, ни к какой из религий гражданин умерший себя не причислял, а если смотреть генеалогическое древо… Да вот, вы посмотрите, видите? Вот эта ветвь из Египта, и вот эта… На основании этого я считаю вполне приемлемым провести акт распределения над душой именно в нашем помещении и по нашему египетско-загробному законодательству.

— Мы на небесах не только всё видим, но и слышим… А вот вы, похоже, совсем оглохли в своих пустынях. Песок с ушей ещё не сыплется? Вы послушайте, что он прямо сейчас говорит…

— Хех, — коротко выкрикнул Осирис, жаб мгновенно понял и среагировал — кинулся на плющ и исчез в его глубинах. Анубис зарычал и оскалился на ангела совершенно симметрично своему питомцу Амту. А египетский царь Царства Мёртвых обратился к крылатому посланцу:

— Да какой вы после этого ангел? Это же прямое оскорбление сотрудников Мироздания при исполнении…

— А мне какое дело? Какое время, такие и ангелы…

Амт сорвался с места и клацнул Пастью там, где мгновенье назад стоял ангел.

— Цыц! — прикрикнул Анубис. Амт нехотя вернулся под Весы, которые от рывка стали *раскачиваться.*

— Я буду жаловаться, — обиженно пробормотал напуганный ангел, паря под потолком.

— Мы тоже, — пообещал Осирис. — А теперь попрошу удалиться из помещения… Он наш и выдаче не подлежит. И точка.

Ангел озлобленно поморщился и скрылся в щели сплошь покрытой трещинами материи пространства.

— Да, перешивать надо, а то рухнет когда-нибудь весь этот Двор во владения Хеха… — задумчиво и иронично произнёс Тот.

Исида сорвалась с места и тоже пропала из виду. Зато вернулся Хех.

— Представьте себе, этот безбожник от пустоты уже молиться начал…

— Вот дурак, мы же с ним по-хорошему, а он… Ладно, пусть верит, коль хочет, это лучше, чем вообще ничего. Кажется, отвоевали… Его же там сразу: руки в ноги и в Чистилище, и плутал бы там до скончания вечности… А здесь… Мы даём ему какой-никакой, а всё же — шанс исправиться…

После этих слов Осирис замолчал. Всё его внимание теперь было приковано к мучительно медленно *раскачивающимся* из стороны в сторону чашам Весов…

Сергей висел в бесконечной пустоте в позе лотоса и спокойно размышлял. За это время (за какое время, если даже его существование здесь было под сомнением?) он вспомнил все свои грехи, мысленно попросил прощения у всех своих друзей и недругов и даже заплатил в воображаемой кассе за украденную когда-то палку колбасы. Вспомнил все закаты, которые когда-либо видел в своей жизни, и перешёл к рассветам. В полной тишине прослушал шум лесного ручья из детства и шелест листьев возле своего окна, на который раньше никогда не обращал внимания. Ему было хорошо в этой бесконечности. Никогда доселе Сергей не чувствовал себя так спокойно. Он был в гармонии с этим бесконечным миром, а мир был в гармонии с ним… Он был умиротворён и *уравновешен…*

…Что-то светлое стало пробиваться сквозь его сомкнутые веки, промелькнула шальная мысль: «Неужели я умер снова?». Сергей понял, что давно уже не открывал глаз в этой тёмной пустоте и открыл их…

Прямоугольник раскрытой двери, а за ним — Анубис, слегка нахмуренный, но с лукавым взглядом. Он вытянул руку к Сергею (Сергей был достаточно далеко от двери, но рука как-то неожиданно и совершенно естественно удлинилась в несколько раз), встряхнул его за плечо для верности и произнёс:

— На выход. Ты заслужил лучшего мира.

Сергей взглянул с удивлением.

— Что может лучше этого мира? Мне и здесь хорошо, не пойду я никуда…

Теперь настала очередь удивляться Анубису.

— Эй, человек, ты меня слышишь?! Мы тебя выпускаем в поля Иалу, иди и радуйся! Давай уже!

— Нет!!! — закричал Сергей. Он явственно представил себе эти бесконечные зелёные поля, и испытал какой-то дикий, животный ужас.

— Нет!!!

Анубис изо всех сил затряс его за плечо…

…Сергей сделал усилие и открыл глаза ещё раз.

Вокруг было так же темно, как и всегда. От чувства спокойствия не осталось и следа. Да и было ли оно? Сергея трясло от холода и нервов.

«Неужели в этих местах тоже бывают сны?»
— Эй! — закричал он опять. — Выпустите!!! Отдайте мне моё сердце, мне холодно здесь без него!!! Выпустите, сволочи!..

…Гор безнадёжно замотал головой.
— А мне ведь и вправду показалось, что сердце этого человека всё же смогло перевесить пыль его грехов, — еле слышно вздохнул Осирис. Гор выкинул линейку в сторону и закрыл руками свои птичьи глаза.
— Как я замаялся с этим человечком, какой он странный, даже грешить по-нормальному не умеет… — простонал он, вдавил кулаки в глазницы так, что левый глаз выпал и покатился в сторону.
— Ох, ну что за проклятье эти старые увечья… — собрался было за ним идти, но его подобрала чья-то рука. Мгновением позже в Великом Дворе Двух Истин материализовалась и вся остальная Исида.
— Держи, Горушка, горюшко ты моё… — заботливо промолвила она и обернулась к Осирису. — Я навела справки, так и есть: этот ангел был низверженный, хотел выслужиться перед Богом лишней душой…
— Так я и думал, — вставил своё веское и как всегда мудрое слово Тот. — Слишком много было в этом ангеле человеческого… Злобы… Самоуверенности…
— А я-то уж думал, Исида, — уныло покачал головой Осирис. — Что ты просто мне за вином пошла…
— Потерпи, милый, — легла у его ног Исида. — Все мы устали. Вот кончится Их Время, и пойдём Жить…

Осирис и сам прекрасно знал о том, что Их Время скоро кончится. Кончится сразу же, как проснётся Брахма. Уж так они договорились, боги… Вот только было у Осириса смутное подозрение, что какой-нибудь вредитель вроде Сета когда-то подмешал в питьё Брахме снотворного…
— Может, оно никогда и не кончится? — иронично предположил Анубис, чесавший пузо своему питомцу. Амт от удовольствия высунул длиннющий язык из Пасти, мурлыкал и подёргивал ногами.
— Ты ещё скажи, что этот человечишка никогда Равновесия Весов не нарушит, — улыбнулся Гор, но тут же испуганно взглянул на отца. Отец тоже задумался…
— Этот Сергей — уникальный случай, — провещал Осирис на весь зал, так, что даже самые ленивые боги поднялись из углов, открыли глаза и уплотнили свои полубесплотные от скуки оболочки. — Пришло время нестандартных решений. Он воистину долго смог продержаться в состоянии Равновесия, не качнув Весы ни в ту, ни в другую сторону. Так почему бы не дать ему возможность… Возможность всё исправить в своей жизни…
— Жизни? — удивилась Нут, захлопав своими коровьими глазами. — Он же мёртв, как он будет её исправлять?

Амт поднял голову и внимательно вгляделся в глаза Осириса.

А Осирис лишь загадочно улыбнулся, тайком думая о тех далёких счастливых днях, когда он уйдёт в отпуск в поля Иалу… Жить…

Сергей не думал ни о чём. Он просто висел в пространстве безвольным телом, чьё сердце где-то там, на Весах, бессмысленно отстукивало ритм уже потерянной жизни.

«Если бы я жил снова, я бы жил по-другому», — подумал Сергей.

«Но ты не будешь жить снова. Надо было жить тогда, когда у тебя была жизнь», — за неимением собеседника ответил он же сам себе.

Что-то прошуршало, и в полуметре от него возникло маленькое тельце жаба, который словно в издевательстве над его недавним сном тоже завис в позе лотоса.
— Что, человек, жить-то хочется? — спросил Хех ехидно.

Сергей собрался вспылить, но вдруг понял, что не хочет обижать это мирное и божественное существо. Захотел обидеться сам — и понял, что не может обидеться на правду.
— Хочется, — вздохнул Сергей.

Хех повёл лапкой в сторону, и под Сергеем возник прямоугольный проём той самой двери. Мгновением позже сработала гравитация, и он выпал из бесконечности в Великий Двор Двух Истин прямо под нос зевавшему Амту.

«Вот и всё», — подумал Сергей совершенно безучастно, наблюдая за захлопывающейся над ним Пастью гривастого монстра. Но… Пасть захлопнулась, а Сергей всё ещё оставался снаружи. Амт хитро подмигнул ему и отвернулся.
— Что это значит? — Сергей встал и обвёл глазами толпу богов с загадочно-хитрыми взглядами на него самого. — Что вы задумали?
— Что, вернём Сергею его сердце? — спросил Осирис.

Шелест разнокалиберных рук, и — голосование состоялось.
— Единогласно, — с довольной улыбкой подвёл итог царь Царства Мёртвых. — Хотя я бы, Сергей, не обольщался… Не думай, что это их симпатия к тебе…
— А что же?
— Всего лишь усталость, — лукаво ответил бог. — Ведь даже нам, богам, свойственно это чувство…

Анубис бесцеремонно цапнул сердце с чаши. Весы тут же перевесило, булыжник с профилем Маат рухнул на пол и разлетелся в прах.
— Ааа, — как-то неэмоционально испугался Сергей.
— Вот и всё, нет у тебя прошлой жизни. Начинай с нуля, — с этими словами Анубис подошёл к Сергею и ещё бесцеремонней воткнул сердце ему в грудь. Сергей вскрикнул: «Боже!…», — исполняя данное в пустоте обещание, а после рухнул на пол и развеялся пылью. Теперь пыль булыжника и его пыль было уже не различить.
— Сжечь, — коротко распорядился Осирис и отдал книгу жизни Сергея кому-то из богов. А сам прижмурил глаза, со всей сладостью мечты представляя себе зелёные поля Иалу…
— Интересное решение, — пробурчал себе под клюв Тот. — Надо обязательно об этом написать отчёт. Думаю, Ра это будет небезынтересным…

Амт ухмыльнулся на эти слова крокодильей улыбкой. Ведь кому как не ему было знать, что

всё пламя в Аду держится только за счёт этих отчётов… И кому как не ему было знать, что Ра уже обо всём знал. Ведь он, чудовище с телом льва и головой крокодила, смотрел на мир именно его, Ра, глазами…

— Следующий,— отрывисто сказал Осирис, открыв глаза.

Новое — другое — сердце бухнулось на Весы. И Весы покачнулись…

…Боль пронзила всё тело Сергея одновременно с белой вспышкой, ослепившей его изнутри.

«Неужели я умер снова?»

Но нет, глаза остыли и вновь обрели способность видеть, а уши — слышать. И он расслышал голоса врачей:

— Ещё разряд?

— Пойди проверь…

— Оо, у нас изменения! Пульс есть! Дыхание тоже. Будет жить…

Глаза Сергея наполнились слезами. Но это были слёзы счастья. Он вступал в новую жизнь чистым, освобождённым от груза старых грехов…

Перед тем, как уйти прямо на операционном столе в спокойный глубокий сон — первый в своей жизни — и перед тем, как окончательно забыть всё случившееся с ним там, Не-Здесь, Сергей всё-таки успел внутренне рассмеяться и подумать:

«Действительно, что мне ещё остаётся? Пульс есть. Дыхание тоже. Буду Жить…»

Тоска по чужому

(семнадцатилетний рассказ)

…Жил однажды человек своей собственной жизнью. Взаймы он эту жизнь не брал, не воровал, не выигрывал ни в честной борьбе, ни в лотерее, не ползал на коленях, вымаливая у Высших хоть чуточку жизни. Эта жизнь ему просто так досталась. Даром, так сказать.

Одна беда была у человека: как-то так получилось, что никто ему инструкции к этой самой жизни не дал, и как пользоваться этой штукой, он не знал. Подумал: «А, научусь как-нибудь, в процессе…». И пошёл жить.

Вот прожил человек год, прожил два, три… Прожил так целых семнадцать лет. Чувствовал он, всё это время чувствовал, что что-то не так, а что именно, понять не мог. И вдруг совершенно случайно наткнулся на Чужой фотоальбом.

Как голодный зверь, вцепился человек в него, стал лихорадочно перелистывать…

…Вот день рождения, застолье. Все веселы, кроме самого именинника. Конечно же, с кем не бывает — пришли все кроме лучшего друга. Вот и грустно ему, в день рождения. Человек взрослеет постепенно, а его душа — лишь иногда, именно в такие моменты…

«А ведь у меня и не было застолий,— подумал человек.— И никто не приходил ко мне, и не было грустно от этого».

…Вот пикник, у костра. Три весёлых подружки, двое парней, фехтующих на ветках, и один, чуть поодаль — задумчивый. Он тоже умеет веселиться, он тоже умеет фехтовать, но сейчас ему некогда, он занят более важным — вздыхает по девушке, которая слева, с волосами по пояс. Придёт ещё время, и перестанет вздыхать, будет есть шашлыки и смеяться с друзьями…

«А ведь я не фехтовал… И не жарил шашлыков. И не смеялся. А всегда сидел с краю, на месте этого парня…»

…Следующее фото. Кружок друзей, одна — с гитарой. Все слушают. Песня не из самых весёлых, печального тона, поэтому никто не улыбается, все тоже печальны. Печальны, но по-светлому, каждый вспоминает прошлое, грустит по нему, но верит в будущее… Хотя нет, не все. Вон те двое, он и она, стоят в обнимку, глядят друг на друга. Им просто хорошо. И нет для них ни прошлого, ни будущего, ни грусти, а есть лишь они сами, каждый друг для друга… Когда-нибудь и это станет прошлым, прошлым печальным, всплывающим со дна души во время грустных песен, но тоже светлым… Белым… Белым пеплом…

…И много-много других фотографий — праздников, будней, новоселий, встреч — и ни одной фотографии с человеком, которому не дали инструкции к жизни.

Душа, лежавшая глубоко внутри все эти годы смирно, вдруг очнулась, заворочалась, заскребла когтями по сердцу:

— Я тоже хочу погрустить… Вспомнить былое, вздохнуть… Все эти глупости, которые ты, человек, должен был успеть натворить за 17 лет жизни… И все эти мудрости, которыми являются все эти глупости…

Человек согласился с душой. Стал вспоминать… И не вспомнил.

День рождения? Не было…

Пикник у костра? Не было.

Вечер с гитарой? Не было!

Понял человек: вот где было что-то не то! У него не было жизни! Он жил… Но и не жил вовсе, а просто — существовал. У него не было прошлого, о котором можно было вздыхать, а значит, не было и будущего, в которое можно было бы верить. Его фотоальбом был пуст.

«Что ж,— решил человек.— Раз о своём я тосковать не могу, потоскую за других. У них жизнь бурлит, некогда даже задуматься, так я им подсоблю».

И стал тосковать по чужому. Ох, тяжела была эта тоска! Не своя ведь — чужая! А как перетерпел он её, перестрадал, так сел и написал свою биографию:

«Родился — жил — умер».

И больше ничего прибавить было нельзя.

…Но на этом рассказ не закончился. Человек подумал и… Написал Инструкцию к жизни. Дескать, мою жизнь уже и топором не исправишь, а другим-то ещё можно помочь! Вот встречу кого-нибудь без инструкции — и подарю её! Даром!

[инструкция прилагается]

Дина Лазарчук

На трассе Квебек—Сингапур

Мы зовём их родными и милыми…
Несть пророка в бескрайней отчизне:
Мы клянёмся в любви над могилами
Тех, кого забывали при жизни.

Мы находимся в вечном движении,
Ускользая от дальних и близких,
Но ушедших в своё Отражение
Мы заносим в особые списки.

Мы встречаем намёками смутными,
Провожаем—по высшему чину.
Вспоминаю тебя ежеутренне
По простым и понятным причинам.

Глянь, весенняя потная лапища
Топит город в прожорливой пыли…
Я работаю около кладбища,
На котором тебя хоронили.

Я хочу не дожить до войны:
Громких маршей, расстрелов, бомбёжек,
Ведь ничто так не злит меня, Боже,
Как отсутствие чувства вины.
Моё право на выбор туманно,
Но осмелюсь сказать свысока—
Я бы стала героем романа,
Но никак не героем полка.

Я хочу не дойти до конца:
Оборваться на вдохе, на пике,
Чтоб усталости хладные блики
Не испортили контур лица.
Со вселенной найти пониманье
Всё равно никогда не смогу—
Лучше сдохнуть на пятом стакане,
Но никак не на пятом кругу.

Я хочу не увидеть тебя:
Ни в гробу, ни в гостях, ни в постели.
Я тоскую по солнцу апреля
Как никто не тоскует, любя.
Мне непарные карты милее,
Чем сомнительный этот марьяж—
Лучше стану кометой Галлея,
Чем звездою на твой фюзеляж.

Во снах мне приходит, похожий на беса,
Кочевник, дурак, балагур.
Шальной, босоногий, он просит два песо
На трассе Квебек—Сингапур.

Он машет любой проносящейся фуре.
Пусть душно, и солнце палит,
А он не сдаётся: смеётся и курит
И движется к центру земли.

Курилы, Бейрут, Коста-Рика, Айова—
Не более, чем рубежи.
Он знает так мало, что может любого
Поймать на бахвальстве и лжи.

Он выбрал себе эту пыльную трассу—
Ну что ж, мене, текел, фарес.
Он просто не выстоял очередь в кассу,
Он шут—и искатель небес.

Он долго искал полосу для разбега,
Чтоб землю прощупать извне.
Я знаю его. Он моё alter ego.
Он путь от меня и ко мне.

Он больше не верит в надёжность эфеса,
Не ждёт от судьбы синекур,
А с дурьей ухмылкою клянчит два песо
На трассе Квебек—Сингапур.

Однажды я очнусь от немоты,
Приду в себя от спячки, от наркоза,
Провозглашу всё сложное простым,
Сменяю страх на смех, на воду—слёзы.

Сдеру, ломая ногти, паранджу
И в наготе предстану перед Богом,
И всё, что прежде мыслилось, скажу,
Вчитаю в небеса чеканным слогом.

Мой тихий ангел с бездной вместо глаз
Откроет мне всё дивное на свете,
И здравица вдруг лязгнет, как приказ.

Мы выкурим вдвоём по сигарете
Из мятой пачки прожитых столетий,
И сладок дым окажется для нас.

Валерий Белозёров

Поднебесная окрошка

Археологическое

Бегут времена и меняются даты,
Чего-то хранится, чего-то гниёт.
И вот археологи влезут с лопатой
В забытое всеми жилище моё…

И деньги искать! Только денежек — фига!
Найдут из-под водки стеклянный сосуд;
Возможно, к татаро-монгольскому игу
Они пребыванье моё отнесут.

Учёные эти и эти студенты
Доказывать будут, что я не дебил,
И телик цветной соберут по фрагментам,
Который недавно кувалдой разбил.

Костёр разведут и устроят дебаты,
И выдвинет каждый идею свою —
Зачем змеевик моему аппарату?
Когда догадаются — песню споют.

И вот зазвучат голоса и гитары,
Пугая окрестных собак и старух,
Отечества дым пополам с перегаром
Напомнит забытого времени дух.

И всё хорошо, и ослабятся нервы,
И кто-то задумчиво так в облака
Промолвит с улыбкою: «Век двадцать первый —
Эпоха большого в стране бардака!».

Элегия

Вот оно, какое время года —
В синие, пустые небеса
Бережно укутала природа
Вдруг осиротевшие леса.
Не напрасно прочила кукушка
Людям приближение беды,
Листьев облетевшие веснушки
На холодном зеркале воды.
Опустели гнёзда и беседки,
И, перебирая не спеша
Прожитые радости, из клетки
Улетать готовится душа.
За шальными птицами, за дымом
Суету земную позабыть,
Ты мне так ещё необходима,
Чтобы это всё перелюбить.
Нам не расставаться невозможно,
Только я не буду о плохом.
Нарисуй, пожалуйста, художник,
Ты меня малюсеньким штрихом.
Не опознаваемого даже,
Чтобы не угадывали век:
В глубину осеннего пейзажа
Медленно уходит человек.

Туристическое

1.

Хорошо на природе с друзьями
Вечерком посидеть у костра,
Наблюдать, как шевелится пламя,
Песни разные петь до утра.

Вот сидишь, дорогая подружка,
И под нежные звуки гитар
Смотришь, как в алюминиевой кружке
Загибается пьяный комар.

Так и люди. Но завтра с устатку,
Только вылезет солнечный круг,
Я пойду за тобою в палатку
На коленях при помощи рук.

Если ты догадаешься, кто я,
И, приняв закупоренный вид,
Грудь мою отлягаешь ногою —
Значит, дружба опять победит.

2.

Отвори же ты мне, отвори ты!
Это я, только очень небритый,
Алкоголем и дымом пропахший,
Обессилевший, но не пропавший.
Отвори мне, пожалуйста, Маня,
Я принёс тебе клюквы в кармане!

Пришла весна, и не впервой
Запахло жжёною травой
И светом!
Порывы воздуха легки,
Деревья дремлют у реки
Валетом!
Ольха лиловая, смеясь,
Глядит, как вылизали грязь
Сугробы.
Подснежник — рыжий обормот —
В который раз меня берёт
На пробу!
За ним! За ним! По небесам
Слова разбрасываю сам
Кому-то!
Хочу под музыку вещать,
Хочу совсем не ощущать
Минуты!
Я — случай!
Я сегодня зван
На волю!
Везучий,
Слышу барабан
Над полем!

Гиппопотам

У меня есть папа с мамой,
Есть сестра и даже дед,
Только вот Гиппопотама
В жизни не было и нет.
За моим окошком прямо
Есть река и даже пруд,
Только там гиппопотамы
Почему-то не живут.
Смотрит папа виновато,
Тяжело вздыхает дед:
В зоопарке нету блата
И знакомых даже нет.
И в любую непогоду
Я спешу на край земли—
В магазин живой природы
Снова их не завезли.
Мама вся в делах по горло,
У неё полно забот,
Говорит, что аист скоро
Мне братишку принесёт.
Но понять не хочет мама
Настроенья моего—
Я хочу Гиппопотама,
Значит, больше никого.
Говорят, что я взбесился
И с годами стал упрям,
Только мне вчера приснился
Милый мой Гиппопотам.
Отчего приснился снова—
Я ответа не найду:
Будто я его, родного,
На верёвочке веду.

Поднебесная окрошка

Поднебесная окрошка
Нам устроила пургу.
Я с тобою понарошку,
Дорогая, не могу.

Твой дружок не будет мешкать,
Очень вовремя придёт
И обнимет, и утешит,
И своею назовёт.

Ничего не полагая,
У подруги на виду
Уведёт меня другая
По напудренному льду.

Не единожды приснится
Сон, ласкающий сердца,
Как у солнышка ресницы
Разворачиваются.

Не любви ли мы хотели?
Жаль, желания не впрок.
Переполнены купели
Наших путаных дорог.

Оттого, что счастье—мимо.
Оттого, что мир таков,
Плачьте, плачьте, Херувимы,
Под холмами облаков!

Может, выморозят зимы
Ваши слёзы в хрустале?
Может, будем мы любимы
На оплаканной земле?

Борис Кутенков

Литературные журналы *haute couture*

зима–лето 2010

«Дети Ра» и другие: юбилей Ковальджи

Кириллу Владимировичу Ковальджи, поэту и наставнику поэтов, из чьей студии при журнале «Юность» вышло в своё время немало крупных авторов, 15 марта 2010 года исполнилось 80 лет. Событие это получило резонанс и совпало с выходом новой книги мэтра «Литературное досье», а в Малом зале ЦДЛ, где отмечался юбилей, яблоку было негде упасть. «Толстые» журналы сочли своим долгом отметить эту немаловажную для литературного процесса дату: так, журнал «Дружба народов» № 3 за 2010 год открывается стихотворной подборкой Ковальджи под названием «Палитра», своим вниманием поэта не обошёл журнал «Арион» (№ 1 за 2010 г.), где опубликована подборка его стихотворений и отдельно — переведённые им стихи румынских авторов, а в четвёртом номере журнала «Дети Ра» творчество Ковальджи представлено во всём многообразии: поэзия, проза, эссеистика. В номере также опубликовано интервью с Кириллом Владимировичем и воспоминания коллег о нём.

«Дети Ра» представляют современную русскую поэзию в её единстве и разнообразии. Это и Екатерина Горбовская — преимущественно силлабо-тонический стих, стилизованный под народный, с намеренно простыми рифмами; и похожий в этом на неё — Евгений Лесин, с помощью народного стиха, окрашенного «фирменной» авторской иронией, вовлекающий читателя в социальный водоворот; и стилистически примыкающие к ним — Елена Баянгулова с подборкой «Живая трава», Александр Вепрев — «Земля становится небом». Даже рецензии, кажется, подобраны «в такт» художественной задаче журнала — сочетанию профессионального мастерства и исконной народной традиции: Олег Хлебников, поэзию которого Андрей Коровин характеризует как «сохранение человека как биологического вида с человеческим лицом или, точнее сказать, с человеческой душой»; «социальный иронист» Всеволод Емелин и Светлана Василенко, книга которой — «Проза в столбик» — причудливый синтез жанров — поэзии, прозы и эссеистики.

«Урал»: коллективная поддержка и камчатский голос вне формата

Уральские журналы осваивают традиции поддержки премий и Интернет-порталов своего региона. Так, по словам Василия Чепелева, куратора премии «Литературрентген», *«редакции „Урала“ и мне как куратору, готовившему эти публикации, показалось логичным совместить в одном большом корпусе поэтических подборок мэтров, представителей среднего поколения и дебютантов, причём не отдавая особого предпочтения кому-то из них, скажем, по объёму публикации»*. Поэтому в мартовском номере «Урала» представлены подборки стихотворений Андрея Абросимова, Алексея Александрова, Алексея Афонина, Павла Гольдина, Данилы Давыдова, Насти Денисовой, Дмитрия Зернова, Никиты Иванова, Ивана Кожина, Николая Кононова, Демьяна Кудрявцева, Ильи Манилова. Эту традицию подхватил и журнал «День и ночь», который начиная с третьего, июльского, номера отводит специальную рубрику для публикации авторов Евразийского литературного портала «Мегалит». В разделе «Евразия-2010» журнала «Урал» конкурс драматургов представлен монологом Андрея Крупина «Луна и трансформер».

Очень интересную рубрику в «Урале» ведёт Василий Ширяев. Называется она «Голос с Камчатки, или Критика вне формата». В переводе с камчатского *«Рецензия-словарь на антологию Новая русская критика. Нулевые годы / Сост. Р. Сенчин»*. Василий, не так давно дебютировав на Форуме молодых писателей в Липках, а позже отметившись яркими статьями в «Литературной России», «Урале» и других изданиях, уже успел привлечь к себе внимание писательского цеха — прежде всего ярким языком, намеренно стилизованным под «падонковский». И вот уже приходится слышать как восхищённые, так и критические реплики в его адрес: например, одна поэтесса, которой я показывал наш с Васей диалог о литературе, сейчас ожидающий своей очереди в журнале «Урал», написала: «*…что касается Васи, он, на мой взгляд, слишком уже заигрывается. Помнится, была в своё время такая популярная журналистская аксиома: «К читателю обращайся как к умному человеку, но не забывай, что он идиот». — Вот Вася эту аксиому «зеркалит»: обращается к читателю, как к идиоту, при этом несколько самодовольно оперируя культурным кодом, понятным образованному человеку. Если так будет продолжаться и дальше, он рискует превратиться в заезжего камчатского комика. А ведь он и умнее, и тоньше*». Действительно, мои — вполне литературные — реплики несколько диссонировали со своеобразным стилем Васи. Однако, приглядевшись к этому критику, находишь в его речах и эрудицию, и ум, и чувство юмора. Впрочем, то же самое можно сказать и о Всеволоде Емелине. При чтении его сборника «социально-политической лирики» «Спам» я испытывал одно лишь желание — отложить книжку в сторону

и больше никогда не возвращаться к этому поэту. Но, увидев недавно его «живое» выступление в московском «Театре.doc», больше похожее на театрализованное представление, прочитав рецензию Андрея Коровина на книгу Емелина «Челобитные», я понял, что недооценивал Емелина.

«Арион»: верлибризация поэзии

Журнал «Арион» продолжает традицию верлибризации русской поэзии. Известно, что за семнадцать лет существования поэтический альманах приобрёл статус безусловного авторитета в этой области. На недавнем мастер-классе журнала в «Булгаковском доме» главный редактор Алексей Алёхин сказал, что несёт ответственность за все стихи, и напечатанные в журнале в разные годы, и каждое из них перед тем, как быть отданным в печать, прочитывается им… не больше, не меньше, 17 раз! До этого редактор упоминал и то, что не любит «средних поэтов», отбирая для журнала только то, что добавляет что-то к современной поэзии; «просто хорошие стихи» им отсеиваются. Об этом и многом другом — статья Леонида Костюкова «Провинциализм как внутричерепное явление» в 4-ом номере «Ариона».

Автор статьи классифицирует стихи на «хорошие сами по себе» и те, которые «хоть самую малюсенькую детальку добавляют к отечественной поэзии, что-то на свой ряд интонируют, преломляют». Костюков приводит примеры и тех, и других стихов, не называя их авторов. По его мнению, в «графоманской поэзии» ничто не ново, она не даёт приращения смысла.

Впрочем, думаю, если судить стихи таким образом, можно легко обмануться. Так, в том же «Арионе» по-настоящему сильные стихи (Олеси Николаевой, Ильи Фаликова и др.) чередуются с откровенно слабыми. Что, например, добавляет к поэзии такой стишок:

уличное кафе
пустые столики
опрокинутые стулья
лето кончилось
воробей
второпях подбирает
августовские крошки

И что здесь вообще от лирического стихотворения? Похоже на вялый, немотивированно разбитый на межстрочные паузы прозаический отрывок, не требующий усилия формы…

Склонность к афористическому верлибру зачастую подводит «арионовцев». Однако «мусор» в журнале вполне гармонично оттеняется жемчужинами. Например, удачен «маргинальный» цикл Владимира Зуева из первого номера за 2010 год. Любой редактор, отбирая стихи, ориентируется ещё и на то, будет ли интересно стихотворение читателям или его равнодушно минуют как нечто скучное. А шедевр Зуева, даже несмотря на возможные упрёки в «засорении языка» (которое мне кажется здесь мастерской стилизацией), наверняка не оставит читателя равнодушным:

Зёма, пёхай за гаражи…
Так, покурим… да чё ты, на?!
Нет курёхи? ну, на, держи,
опа… опа… у нас одна…
Ну, покурим на всех одну,
ты куда так скакал, олень?!
На учёбу?! Ну, ты загнул…
Ты, в натуре, не порти день…
Есть мобила напозвонить,
чисто, маме «привет» сказать …
Да не ссы ты, не будем бить!
Нет мобилы? Прости мне, мать!
Нет мобилы?! Реально, лох?
А бабули, лавэ, бабло?
За стипендией шёл? да по х…
Нам конкретно с ним не свезло,
С хреном этим… Давай рюкзак…
Книги только… Чего? Стихи?!
Ты, в натуре, олень, мудак!
Мать, прости мне мои грехи!
Чё ты шепчешь? Какой, на, Фет?
Афанасий? Чё, кореш твой?
На районе такого нет,
отвечаю своей башкой…
Афанасий поэтом был?
Типа Круга?! Силён чувак!
Я не сразу, прости, вкурил,
что ты наш… Ну, бывает так…
Не в обиду, удачи, зём!
Если чё, подходи, зови!
На районе ж одном живём!
Мы ж, в натуре, одной крови!

В последних номерах «Ариона» читателю будут интересны рецензии Яна Шенкмана, Евгения Абдуллаева и Марии Галиной на книги Веры Павловой, Александра Переверзина и Ани Логвиновой соответственно (рубрика «Свежий оттиск»), статьи о поэзии Александра Величанского и Ирины Ермаковой, об Иосифе Бродском, статья Владимира Губайловского «О профессиональной поэзии», новые стихи Бориса Херсонского, Геннадия Чернецкого, Юрия Ряшенцева и других.

«День и ночь» и «Мегалит»

Журнал «День и ночь», как известно, позиционирует себя как издание, предназначенное «для семейного чтения». А семейное чтение предполагает и стихи, и прозу, и очерки, и даже социальную публицистику. Так, отцам семейства наверняка придётся по душе то, что первый номер за 2010 год открывается монологом Николая Печуркина «Наказы-пожелания сибиряка президентам двух сверхдержав» — письмом к президентам США и России с подробным анализом политической ситуации, цитатами из академика Сахарова, Джона Кеннета Гэлбрейта, рассуждениями о солидаризме и торговле оружием… Напрямую связан с современной социальной ситуацией в стране и мире философический «Манифест человека» Льва Роднова. Андрей Канавщиков в рубрике «ДиН память» рассказывает о творчестве и жизни татарского поэта Энвера Жемлиханова в контексте поэзии

«рубцовского призыва». Воскрешать в памяти читателей полузабытые, но достойные внимания имена — традиция, без сомнения, благородная. Конечно же, рассказ был бы неполон без подборки стихотворений Жемлиханова, продолжающей традиции «лагерной», тюремной литературы.

Стихотворные подборки в номере, как всегда, отличаются разнообразием. Это, своего рода, разновекторный срез современной поэзии порою в полярных — эстетических, социальных — её образцах. Приятно и то, что журнал старается как открывать новые поэтические имена, так и публиковать уже состоявшихся авторов (выражаясь научным языком, — текстоцентричный, а не автороцентричный подход). Так, обрадовали стихотворные подборки сразу двух моих коллег — студентов Литературного института Дмитрия Иващенко и Алексея Чернеца (оба — с семинара Сергея Арутюнова). Ирония и присутствие особого поэтического зрения — основные черты творчества Алексея Чернеца. Многоплановость и обилие культурных аллюзий создают неповторимую атмосферу лирического пространства, где Пётр Первый «выходит в маленький дворик», раздаются «хрущёвые артритные шаги», и в каждом городе по-своему «лается отчизна».

В противоположность стихам Чернеца — произведения Дмитрия Иващенко сдержанные, мужские, тяготеющие преимущественно к монологу: цикл из семи стихотворений «Стройплощадка» о рабочем труде — полноценная поэма, в которой наряду с основной темой проводятся и другие, вечные — любовь к женщине, природа, Родина… Всё, впрочем, — без высокопарности, на негромкой интонации, точных деталях: «*Мои заботы непреложны: на всю семью бюджет итожить да по ночам, когда уснёшь ты, беречь дыхание твоё…*».

Метафизическая поэзия, основанная на интересных семантических связях, иногда трудноуловимых ассоциативных рядах — так можно, пожалуй, охарактеризовать представленные в номере стихи небезызвестной Аси Анистратенко, редактора сайта «Сетевая словесность». Историческую традицию продолжает поэма «Чалдонская тетрадь» Анатолия Вершинского (название невольно отсылает к «Воронежским тетрадям» Мандельштама). Пожалуй, среди стихотворных отделов «толстых» журналов «ДиНовский» — самый весомый и обширный по объёму и количеству представленных авторов.

Скромно озаглавлено историческое исследование главного редактора журнала Марины Саввиных — «Записки провинциальной учительницы». Между тем, под этим названием кроется большой труд о Пушкине, содержащий интересные наблюдения. И за учительским столом, готовясь к очередному уроку, оказывается, можно провести оригинальное сопоставление стихотворений Александра Сергеевича и Михаила Юрьевича, опираясь при этом на всем известные исторические факты, но при индивидуальной и наполненной смыслом их трактовке. Погружению читателя в русскую историю способствует и очерк Георгия Листвина о генерале Колчаке, и републикация известных стихотворений Бориса Пастернака, посвящённых Цветаевой и Брюсову, а также специальная рубрика «Мы и Чехов» к 150-летнему юбилею писателя… Тут, пожалуй, сделаю небольшую передышку в анализе первого номера, ибо все 250 страниц охарактеризовать непросто. Скажу лишь с уверенностью: журнал, в отличие от многих других «толстяков», старается не предлагать читателю свою субъективную версию литпроцесса, а освещать культурное пространство с различных сторон — как представляя современную литературу, так и сохраняя верность традициям.

Портал «Мегалит», возглавляемый Александром Петрушкиным, также старается держаться на волне литературного мэйнстрима и как можно более объективно освещать литературный процесс страны.

В первом номере питерского журнала «Зинзивер» за 2010 год лидирующее место занимают рецензии: Татьяны Хофман на книгу Игоря Клеха «Хроники 1999 года» и Алексея Давыденкова на книгу Дмитрия Строцева, а также Петра Казарновского, Ольги Валаамовой и Елены Зейферт на книги Аркадия Бартова, антологию «Актуальной поэзии на Пушкинской-10» и Владимира Рецептера соответственно… Интересно также переложение сказки о Синей Бороде Нины Алексеевой, оформленное в жанре электронных писем с фигурированием сказочных и пелевинских героев в фэнтезийном контексте. Из стихотворных подборок в номере наиболее яркие — Анастасии Афанасьевой, Жени Лаптевой, Бориса Лихтенфельда, Александры Соболевой и др.

Журнал «Новая реальность» № 14 почти целиком состоит из стихов. Галина Рымбу — молодой поэт из Омска — тяготеет к акцентному и свободному стиху. Тем интереснее выглядит в подобной подборке попытка единственного полностью рифмованного «чистого» ямба, что говорит о безупречном владении любой техникой. Повторы создают ощущение «рассеянности» пространства и одновременно — монотонности ожидания:

в пол-января на тёмных станциях
большая теплится земля.
ты на вокзале пишешь стансы и
всё пишешь, видимо, не зря,
поскольку снег и снег просеивать
устало небо лишь на треть,
и дядька с улицы бассейной,
сосредоточенный на смерть…

«Зрелость смотрит в микроскоп / Мимо Бога, мимо чёрта / Ибо это между строк / В окуляре — меловочка», — писал в одном из своих стихотворений Дмитрий Быков. Ощущение метафизического, высшего смысла в сочетании с вполне прозаическими земными деталями есть и в стихах Бориса Херсонского — одного из самых обсуждаемых поэтов последнего времени:

носишь разный хлам в квартирку чтобы не пустовала
напеваешь песню которую мать напевала
кружевные салфетки китайские покрывала

ничего что всё меньше места среди разнородных
предметов выпуклых плоских холодных
никому не нужных господу не угодных

В подборке Стаса Картузова, в этом году заканчивающего Литературный институт, находит отражение литинститутская атмосфера — поэзия, творческие семинары, Тверской бульвар, упоминания великих… Одно из стихотворений выглядит аллюзией или своеобразным ответом на похожее Бориса Рыжего о Рейне («Рейн Евгений Борисыч уходит в ночь…»):

Рейну стихи я писать
бы не стал —
велик пьедестал.
Рыжий Борис
(когда они в каком-то кафе собрались)
всё уже написал
и междустрочно подписал:
«Стасичка, крепись»,
я хнычу, платок доставая:
«Мне бы такой шрам,
чтоб на лице будто
красивая вторая мировая,
будто разрушенный храм…

Также стоит обратить внимание на стихи небезызвестных в литературных кругах Наталии Черных, Марии Марковой, Анны Голубковой (её подборка называется «Стихи о тяжёлой жизни непопулярных поэтов»).

Журнал «Контрабанда», выпускаемый главным редактором и создателем сайта «Точка зрения» Алексеем Караковским, можно поздравить с дебютом: это его первый номер вообще и на «Мегалите». Идея журнала родилась в 2007 году на Форуме молодых писателей в Липках. Наиболее интересные материалы в номере — статья Андрея Моисеева о поэтических сообществах Живого Журнала (будет полезна всем начинающим поэтам), литературоведческая статья Кирилла Ковальджи о «загадочном» стихотворении Пушкина («Как счастлив я, когда могу покинуть…»), интервью с Алексеем Караковским, главным редактором издания. К материалу Моисеева примыкает исследование Елены Бондаренко «Врунет: прозаики» о кочках и подводных камнях сетевой литературы и рассказ Сергея Алхутова об авторском праве. Что касается собственно беллетристики, то редакция журнала старается соблюдать нейтралитет между её «элитарностью»» и «доступностью». Однако, большая часть публикаций удерживает планку качества. Стихотворения Алексея Шмелёва можно условно подразделить на «лирические» и «юмористические». Первые — настраивают читателя на меланхолический лад, вторые — полны иронии, оптимизма, иногда эротических откровений, но и те, и другие одинаково интересны.

Рассказ Веры Эвери «Дом с привидениями», рассказ Марины Дробковой «Я — ромб», в котором действуют геометрические фигуры, и стихотворения поэта-ирониста Юрия Козлова (продолжающего традицию И. Иртеньева, В. Вишневского…) дополняют картину «художественно-развлекательного» направления «Контрабанды».

Центральной темой 5-го номера журнала «Альтернация» стало творчество Бориса Поплавского. Почему именно в этом номере — не совсем ясно, возможно, потому, что в этом году исполняется 75 лет со дня смерти крупного русского поэта-эмигранта. В разделе «Архетекст» можно прочитать стихотворение «Тёмен воздух. В небе розы реют», а попытку литературного осмысления творчества Поплавского сделали Эдуард Лукоянов, Александра Володина, главный редактор журнала Дмитрий Дзюмин.

Журнал «Ликбез» оправдывает своё название, на протяжении восьми номеров перепечатывая по частям «Войну и мир» Толстого наряду с произведениями современной литературы. А следом журнал планирует републикацию полного собрания сочинений Достоевского. Что ж, весьма неплохая и даже оригинальная идея — может быть, хотя бы таким способом читатели перечитают или даже прочтут впервые великие произведения, до которых прежде у них руки не доходили.

Ульяна Лазаревская

Рассуждение книжного червя после долгожданной трапезы

Неутолимый аппетит книжного червя, отдаляемого бесконечными делами от вожделенного пиршества, побуждает меня время от времени набрасываться на скопившиеся у монитора горы томов и томиков, журнальных тетрадей и миниатюрных полиграфических шедевров с жадностью троглодита, выследившего дичь.

Мой рабочий стол обладает чудовищным магнетизмом—не успеваешь разгрести завалы, распределить по полкам, стойкам и кладовкам всё, что нападало на него за последнюю неделю, ан—глядь!—снова чашку с кофием некуда поставить… И раздражаешься, и бурчишь под нос сердито, и пытаешься отодвинуть бумажный бархан от компьютера, освобождая жизненное пространство, пока в один прекрасный миг необходимость не заставит тебя открыть хотя бы одну из прилетевших по почте или подаренных кем-то книг. Тогда—пиши пропало… ты потеряна для общества. Как минимум до тех пор, пока умственный worm не оставит тебя в покое. Мало того, что чуть ли не каждая «бумажная» публикация зовёт тебя к перу (топору?),—так ещё и в Интернет бросаешься за цитатами, справками, ходишь по ссылкам… в общем, веселишься от души!

И уже хочется поделиться весельем…

Разбирая почту последних трёх месяцев, я, например, с удовлетворением обнаружила, что сетования пристрастной публики по поводу скудости и общего упадка нашей литературной критики становятся неактуальны. Критики много. И комплиментарной, и, что симптоматично, «критической». На портале «Мегалит» открылось даже новое виртуальное издание—приложение к журналу «Новая реальность» под названием «Запасник: литература о литературе и литераторах». Здесь, в первом выпуске, представлено более двадцати литературоведческих «разборок»—достаточно внимательных и компетентных. А если пробежаться по выпускам самой «Новой реальности», по соответствующим рубрикам других журналов, представленных на «Мегалите»: «Альтернации», «Знаков», «Бельских просторов», «Контрабанды»,—убедишься, что эта критическая активность,—отнюдь не случайность, а—не побоюсь этого слова—тенденция.

Пространные поля и многоводные потоки плодов и излияний критической мысли предстают нашему взору—и на традиционных бумажных страницах, и на экранах мониторов,—стоит только набраться терпения и дочитать (долистать) каждый из журналов до конца: ведь именно там, под занавес, на пике впечатлений, и ожидает читателя встреча с Аристархами и Зоилами современного литературного процесса. И что же? «Новый мир», «Октябрь», «Звезда», «Нева», «Знамя»—можно сказать, крейсеры журнального флота—ведут свою линию в той же добротной манере, какая и прежде была им свойственна… Подробные разборы, благожелательная интонация—даже при высказывании действительно «критических» оценок. В общем, интеллигентно ведут себя люди, несмотря на то, что нередко пишут о наболевшем. Как говаривал когда-то философ В. С. Библер: «Я не осуждаю, а рассуждаю». Слава Богу, подавляющее большинство «журнальной молоди» следует этой достойной традиции.

Однако интеллигентская склонность к «рассуждению» нередко изменяет критикам новейшего, усовершенствованного образца. Чем-то «шариковско-швондерским» временами веет в чистом поле литературоведческого дискурса. Чем-то даже болезненно-маниакальным… Убедилась—не меня одну тревожит обнаружившийся симптом.

Вот Айрат Бик-Булатов, казанский филолог и поэт, в своём «Блоге поэта» пишет: «Больше всего стали раздражать грубость и хамство, которые легализуются не только в блатной среде, но и в среде интеллектуалов… Хамство оправдывается как некий род интеллектуальной игры… мол, а там-то, внутри—двойное дно! Запрятанная искренность. Не выпяченная интеллигентность. Смотрите, де, вы думали, хам, а он—кандидат наук! На самом же деле, хамство остаётся просто хамством. Маска превращается в лицо». Примерно о том же пишет и Антон Чёрный в предпоследнем, пятнадцатом, номере «Новой Реальности»[1].

Люмпенский тон в редакционных заметках о свежих публикациях всё чаще удивляет при чтении, казалось бы, столь почтенного доселе журнала, как «Сибирские огни». Манера, в которой скрывающиеся за инициалами (и, тем не менее, без труда узнаваемые) авторы, рассказывают о новинках, заставляет вспомнить Пролеткульт в самых гротескных и жутких его образцах![2]

«Библиографический» же опус некоего В.Т., запачкавший страницы четвёртого в 2010 году номера «Сибогней», вызвал резонанс по всему сетевому пространству и, видимо, надолго поколебал авторитет старейшего сибирского журнала в глазах просвещённой публики. Куратор литературного портала «Мегалит» Александр Петрушкин

1. Антон Чёрный. О «замшелом библиографе», или Как устроена плохая критическая статья.
2. «Сибирские огни», №2, 2010 г.

в сердцах молвил по этому поводу: «Неоднократное прочтение «библиографии» меня убедило, что нельзя спускать подобный непрофессионализм и заносчивость…»[3].

Так что, друзья мои, кажется, «разменяли» и мы эпоху нового витка литературной борьбы. Взаимные покусывания имеют место. Иногда они весьма болезненны и к самому литпроцессу, как правило,—увы!—могут быть отнесены лишь косвенно.

Однако о находках. Настоящих и волнующих. С удовольствием наблюдаю за становлением нового литературного альманаха «*Аргамак*», который издаётся в Татарстане. Как большинство нынешних региональных «толстяков», он не замыкается в кругу «своих», местных авторов—и в Издательском совете люди крупные—от Москвы до самых до окраин, и среди авторов—известные и ещё не очень. Во втором номере (то есть просто по счёту—втором)—особенно привлекателен раздел «Поколение. Казанские шестидесятники». Здесь можно прочесть пронзительную прозу Рустема Кутуя «Неубывающая тропа», прекрасные стихи Виля Мустафина, повесть Романа Солнцева «Золотое дно»… Всё это—дань памяти мудрым нашим предшественникам, ушедшим уже из грешного мира сего и оставившим такую литературу, в которую ныне погружаешься, как в живую воду. И—счастье наше, что ещё можно написать и позвонить Николаю Беляеву, товарищу Солнцева и Мустафина, можно прикоснуться к его новым строчкам…

> Для художника точка на чистом холсте—
> композиция… Буква на белом листе—
> это точка прорыва в бессмертную речь,
> клятва—помнить её, понимать и беречь.

Видимо, поэтому так органичен в «Аргамаке» следующий за «Поколением» раздел «Эстафета». Здесь—стихи Екатерины Беляевой-Чернышевой и Дины Садыковой. А под рубрикой «Званые гости»—Николай Рачков:

> Бежит речушка,
> Светится вода,
> Шмель разрывает солнечные сети…
> Как много раз я приезжал сюда,
> Чтоб убедиться,
> Жив ли я на свете.

…Светлана Савицкая с подборкой рассказов и Олег Глушкин с миниатюрными эссе.

Подлинная публицистическая страстность отличает статьи Веры Хамидуллиной о разорении русского языка и Петра Ткаченко о трактовке известной русской пословицы.

Продолжая тему языка и культуры, третий—самый свежий—номер «Аргамака» отводит изрядную часть своей площади аллюзиям к «Слову о полку Игореве…». Новая версия перевода «Слова…» кисти Петра Прихожана, изумительная перекличка двух плачей—русской Ярославны и татарки Сююмбике—запечатлённая в поэме Зиннура Мансурова (перевод Л. Газизовой и С. Малышева), эпические стихи Натальи Вердеревской «Баллада о речке Дарье». Военная тема развёрнута под рубрикой «Великой Победе—65». Формальные эксперименты представлены главой из романа-катавасии Елены Колядиной «Весёлая галиматья». Впечатляющая подборка стихов. Но подлинной поэзией в этом номере «Аргамака» мне прозвучало эссе Владимира Ермакова «Музыка во льду: последняя интеллигенция». Поэзией сколь горькой, столь и катарсической.

Ко всему—замечу: «Аргамак» щедро и (что, в общем, ныне редкость!) со вкусом иллюстрирован. Приятно листать, рассматривать—читать. Переворачиваешь последнюю страницу с ощущением расставания с добрыми друзьями—умными и талантливыми.

Спасибо Николаю Алешкову—он сделал это!

В скромном Тульском журнале «*Приокские зори*» увидела новые рассказы Александра Астраханцева, очень хорошего красноярского «рассказчика», и потянулась к «приокской» прозе. Привлекли рассказ москвички Анны Лео «Революционер» и маленькие рассказики Сергея Крестьянкина. Очень много стихов, достаточно ровных и таких… планиметрических, не резонирующих взору, по крайней мере, моему. Отдельно представлено русское литературное зарубежье—Наум Ципис (г. Бремен) с дневниковыми эссе «Сны на русском языке». Прочла с возрастающим интересом. Рекомендую обратить внимание.

Подарок из Омска—от Сергея Денисенко. Роскошно изданная антология стихотворений омских журналистов за последние полвека «*Заря не зря, и я не зря!..*»[4]. Сто с лишним авторов! Триста сорок страниц весьма убористого текста. Из тех имён, что лично у меня постоянно на слуху,—Евгений Асташкин, Виктор Вайнерман, Сергей и Иван Денисенко, Галина Кудрявская, Татьяна Четверикова, Вероника Шелленберг… Не говоря уже об ушедших—прославленных!—поэтах Вильяме Озолине и Аркадии Кутилове. Мелованная бумага. Иллюстрации. Суперобложка. Дизайн. В общем, *книга*. При ничтожности тиража—уже раритет.

Рядом на столе—новый сборник Вероники Шелленберг «*Сны на склоне вулкана*»[5] с предисловием Юрия Беликова: «Не всех впускает сад, завещанный Господом. Но сие не означает, что пути сюда заказаны для тех, кто сделал этот Сад запущенным. Исполненная внутреннего драматизма книга Вероники оставляет надежду для заблудших и завет для преображённых:

> Кто-то ведь должен
> стараться полить целиком
> Детским ведёрком
> огромный запущенный сад».

Согласна.

Книжечка Сергея Сутулова-Катеринича, главного редактора альманаха «45-я параллель», называется

3. http://www.promegalit.ru/publics.php?id=1501
4. «Заря не зря, и я не зря!». Антология стихотворений омских журналистов (1958—XXI век)/Омск: Издательство ООО «Омскбланкиздат», 2010.—352 с.: илл., фото; 1000 экз.
5. Шелленберг В.В. Сны на склоне вулкана. Книга стихов. Вступ. ст. Ю. Беликова.—Омск, 2009.—104 с.; 500 экз.

«*Полная невероять*»[6]. Издана в Таганроге. В сборнике — стихотворения, баллады, танкетки. Странная, косноязычная, угловато-неудобная для глаза и уха поэзия… но зело маскулинная, брызжущая энергией — и от того оптимистическая. Мандельштам говорил: «Стихи Пастернака почитать — горло прочистить, дыхание укрепить, обновить лёгкие: такие стихи должны быть целебны для туберкулёза». Ни в коем случае не провожу здесь параллелей, но стихи Сутулова-Катеринича — причём, в целом, как явление, — должны быть целебны для депрессивных параноиков. Как электрошок или ведро ледяной воды на маковку.

Друзья-красноярцы также порадовали подарками. У Сергея Кузнечихина вышел сборник стихов «*Дополнительное время*»[7]. Наследник поэзии шестидесятых, Кузнечихин верен и нравственной требовательности предшественников, и жёстко заданной высокой планке художественного вкуса. Это остроумный, яркий, самобытный — и в то же время исключительно техничный поэт. Его стихи-афоризмы мгновенно ложатся на память — может быть, потому, что и чужие стихи он, как фокусник, извлекает из памяти, стоит только подвернуться случаю!

Успех пропитан запахом натужности —
Не тем, так этим маешься в угоду.
Лишь осознанье собственной ненужности
Даёт поэту полную свободу.
Когда канонов мнимые приличия
И прочие былые заблуждения
Забудешь, и людское безразличие
Из наказания в освобождение
Перешагнёт,
Останется бескрайняя
Свобода слов. Свобода тьмы и света.
Но хватит ли для самовозгорания
Огня в душе ненужного поэта?

А прозаик Эдуард Русаков принёс книгу «*На пороге рая*» — шестой том Собрания сочинений, которое методично, книжку за книжкой, мизерным тиражом издаёт друг писателя Николай Негодин. Некоторые рассказы из этого сборника публиковались в толстых журналах, другие — читаю впервые. И те, и другие носят отпечаток характерного стиля Русакова — печальной иронии знатока души человеческой… И светит, и греет, и слеза на ресницу просится. Жаль, рядовой читатель этой книжки, скорее всего, не увидит: она расходится по знакомым. Так что следите за журналом «День и ночь», друзья. Здесь Русаков печатается регулярно!

Из Чикаго прилетела изумительная книжка под интригующим названием «На троих». Два прозаика и художник. Владимир Хохлев, Семён Каминский и Андрей Рабодзеенко. Ностальгические чувства, расшевеливаемые этой книгой, — не только и не столько чувства эмигрантские. Поколение семидесятых найдёт в ней своё честное зерцало… отодвинутое в пространстве и времени. Большое, как известно, видится на расстоянье. В книге много тепла, иронии, стремления к человеческой совместности, и это делает её желанной. Кладу на тумбочку у кровати.

И, наконец, Дмитрий Владимирович Мурзин со своей новой книгой «*Клиническая жизнь*»[8]. Стихи Мурзина — творения математика-расстриги. Вот ведь, кажись, не хочет он формальной логики, бежит её, как чёрт ладана, а — нет… сквозь филологический и живописный (импрессионистский) дым, нарочно напускаемый в стихи, просвечивают жесты… Эйлера? Или — Господи, кого ещё вспомнить из школьной программы? — Лобачевского? Так же точно несовместимо совмещаются в нём человек, глубоко православный, и — не догулявший своё греховодник. Поэтому проводок, который Мурзин умудряется — по мере чтения стихов — вживить в нервную систему читателя, попадает, прямо скажем, на вполне-таки готовую к энергообмену с автором почву (ибо кто из нас — грешных чад мира сего — не таков?). Иногда он задевает сильно. Иногда — скользит… мне кажется, некоторые укоренившиеся в системе Мурзина оглядки сегодня мешают ему до конца быть собой. Впрочем, собой — это кем?

Математиком? Художником? Филологом? Саркастическим иронистом? Страстотерпцем?

Вяло сигарету разминаю.
Не курю. И не прошу огня.
Будто бы не знал, но вспоминаю
Тех, кто жил на свете до меня.

Как они здесь сеяли-пахали,
Как бывали здесь навеселе,
Как они наивно представляли
Всё, что будет после на земле.

Вот уж на чужом пиру похмелье,
Вот уж пальцем не туда попал…
Вряд ли они этого хотели.
Ничего-то я не оправдал.

Нет печи. А так — считай, Емеля,
Полон весь намерений благих,
Даже помолиться не умею
За безвестных пращуров своих.

Вздрогнув и очнувшись от напасти,
Брошу сигарету — баловство,
Задыхаясь от стыда и счастья,
Как Иван, припомнивший родство.

Вот так, впадая, как в ересь, в неслыханную простоту, утончённый виртуоз-версификатор и мастер парадокса Дмитрий Владимирович Мурзин возвышается до классической прекрасной ясности, за что честь ему, благодарность и хвала от удовлетворённо цыкающего зубом —

Книжного Червя.

6. Сергей Сутулов-Катеринич. Полная невероять. Стихотворения, баллады, танкетки. / Таганрог: «Нюанс». 2010. — 32 с.; 500 экз.
7. Кузнечихин С. Д. Дополнительное время. Стихи. — Красноярск: Семицвет, 2010. — 136 с.; 200 экз.
8. Мурзин Д. В. Клиническая жизнь. Стихи / Кемерово: «Примула», 2010. — 88 с.; 300 экз.

Вислава Шимборска

Три самых странных слова

Русское прочтение с польского Людмилы Винской

Молчание растений

Одностороннее знакомство между нами
мне с каждым днём становится дороже.

Я знаю: вот—листок, вот—лепесток.
А это колос, шишка.
Это—стебель.
Я знаю также вашей жизни ход,
что с вами происходит в декабре,
и что—в апреле.

Взаимности не жду,
когда склоняюсь
над кем-нибудь из вас
иль снизу вверх
восторженно гляжу.

Я вас зову по именам.
Ты—Клён, а ты—Лопух…
Омела, Незабудка, Можжевельник.
Но я для вас без имени, увы…
Хотя мы вместе движемся куда-то,
но всё молчим—ни реплик, ни вопросов.
Ни о погоде, ни о пустяках,
которые мелькают за окном.
Тем много.
Да и общего у нас
достаточно.
Одна звезда нам светит.
И тени мы бросаем—вы и я.
Мы пробуем хоть что-нибудь узнать,
пусть всяк по-своему.
А то, чего не знаем,—тоже сходство.

Я объяснила бы, когда бы вы спросили,
что значит видеть этот мир глазами
и для чего стучит, волнуясь, сердце,
и почему у тела нет корней.

Но как ответить, если нет вопросов?
И более того—ведь я являюсь
для вас лишь кем-то,
кто для вас—никто.

А всё, что вам я говорю сегодня,
лишь монолог,
но он не слышен вами.

Хоть с вами разговор необходим,
к тому же—срочно,
невозможен он.

И мною в этой жизни торопливой
отложен диалог на никогда.

Мгновение

Молодая трава на пригорке.
Цветы—на зелёном.
Разноцветье,
как будто на детском рисунке.
И небо
сквозь туман проступает,
прохладой слегка голубея.
Тишина.
От соседних холмов
веет утренним сном.
И мне кажется:
этой картине
сотни тысяч веков.

Будто не было здесь
никаких тектонических сдвигов,
ни пылающих грозных ночей
и ни дней, что затянуты тьмою.
И не резали пропасти землю.
И бред лихорадки
не рождал леденящий испуг.

И моря
волновались не здесь,
разрывая края горизонта…

Я смотрю на часы.
Девять тридцать.
Всё в полном согласье.
Ручеёк по долинке бежит,
говорливо-игривый.
И тропинка в лесу.
И над лесом—
летящие птицы…

А над всем, что я вижу,
господствует только мгновенье.
Лишь одно из мгновений земных,
о продленье которых и просят.

Три самых странных слова

Не успеваю сказать—«Будущее»,
как первый слог—уже в прошлом.

Если я говорю «Тишина»,
то разрушаю тишину.

А если произношу слово «Нечто»,
то сотворяю нечто:
в любом небытии его не уместить.

Три самых странных слова…

Платон,

или Почему по неясным причинам, в неизвестных обстоятельствах Жизнь Идеальная перестала себя удовлетворять

Она могла бы длиться без конца
в своих садах над миром, тихих, сонных,
из света выкована и от тьмы отделена.

Зачем ей поиск всяких впечатлений
в плохой компании—с материей—вести?

Зачем наследники такие, у которых
надежды нет на вечность? Несуразность—
их спутница.
Удача прочь бежит.

А прок от мудрости какой?
Она хромает,
поскольку в пятке терние у ней.

А воды… Всю гармонию они
безбожно и бездумно разрушают,
кипя, как взбунтовавшийся котёл…

А Красота, набитая кишками!

И почему Добро в союзе с тенью,
хотя до этого оно без тени было?

Должна же быть какая-то причина,
хотя бы небольшая. Но её
не выдаст даже Правда, что в земном
копается неспешно гардеробе.
Костюмов столько—не перетрясти.

А тут ещё ужасные поэты,
Платон, и сонм сомнительных идей…
Летят осколки из-под монументов,
как будто знак великой Тишины…

Телефонная трубка

Вижу сон: будто я просыпаюсь,
потому что звонит телефон.

Я уверена: это умерший
мне звонит.

Снится мне,
что тянусь я за трубкой.

Снится тяжесть в руке—это трубка,
вся она как корнями вросла,
оплела ими нечто.
Что конкретно—не знаю.
Но чтобы поднять эту трубку,
мне её надо вырвать оттуда
со всею Землёю.

Снится: будто борюсь я,
но эти боренья напрасны.

Снится мне тишина—
потому что умолк телефон.

Снится мне: будто я засыпаю
и вновь через миг просыпаюсь.
И так—бесконечно…

Негатив

На хмуром небе облако темнеет
в обводке чёрной—солнечной.
А слева
внизу…
Ах нет, конечно, справа
я вижу ветку белую черешни,
украшенную чёрными цветами.
И на твоём лице почти что чёрном
играют тени светлые.
Сидишь
у столика,
и руки
ты на него устало положил.
Мне страшно: руки серые,
и ты
похож на духа.
Этот дух обычно
к себе живых столь властно призывает.
Поскольку я жива—
должна явиться,
чтоб пожелать тебе спокойной ночи.
Иль вымолвить печальное: «Прощай».
И не жалеть вопросов
ни на один ответ.
Они—о жизни,
и о грозе—пред вечной тишиной.

Первая любовь

Говорят, что первая любовь
навсегда завладевает сердцем,
будто бы и нет её главнее…
Может быть. Довольно романтично.
Но, признаюсь, то не обо мне.

Что-то было между нами. Только
в дальней дали и не разглядеть,
будто ничего и не случилось…

Нет, конечно, было.
Но ушло.
Всё ушло.
И руки не дрожат,
если я случайно натыкаюсь
на твои подарки или письма—
пачки перевязаны шнурком.
Для чего храню,—сама не знаю.

Да и та единственная встреча—
через годы—
мне напоминает…
Вы, наверно, станете смеяться.
Но напоминает мне она
разговор двух стульев у стола,
на который руки положи—вмиг озябнут.

Всё

Всё—слово, наглое и надменное.
Его надо бы заключать в кавычки.
Оно притворяется, будто не пропускает ничего,
что сосредотачивает, обнимает, содержит и имеет.
Но оно—всего лишь клочок хаоса.
И не более того.

Эльдар Ахадов

Сказки про выхухоль

Свадьба

Решил выхухоль жениться. Пошёл к бобрам-соседям. В хатку бочком влез, поклонился и говорит: «Соседушки дорогие, пора бы мне, знатному выхухолю, остепениться, семьёй обзавестись. А сосватайте-ка мне невестушку из недальней запруды. Говорят, хороша собой: пузико большое, гладкое, лапки махонькие, перепончатые, рыльце чудненькое, длинное, глазки кругленькие мелкие-мелкие, как молодые опятки. Красавица!».

Вздохнули бобёр с бобрихой. А делать нечего, надо соседушку уважить. Поплыли к соседней запруде. А там косматый поползень настороже: «Кто такие? Чего надобно? Подругу свою—выхухоль нежную—не дам в обиду!». Перья распушил, драться лезет. Кое-как угомонили бобры-старики храброго поползня, три раза им в воду с головой пришлось нырять…

И вот вышла выхухоль—на бережок, помолилась солнышку, похихикала невдомёк чему, узелок с нехитрым приданым за спину закинула и поплелась вслед за бобрами на соседнюю запруду замуж выходить.

А поползень косматый, пока они берегом плелись, уже прилетел к жениху на помощь застолье готовить. И был пир на весь мир, и такая невидаль на том свадебном пиру собралась, что, ох, долго вспоминали после местные зайцы да вороны, белки да лисицы про зверушек редких, диковинных…

А прописано про всех них в одной большой печальной книге. В той же самой, в которой и про русских выхухолей говорится. И называется книга та Красной, оттого, наверное, что стыдно людям должно быть, что почти извели они и доверчивых русских выхухолей, и косматых поползней, да и бобрам одно время крепко досталось.

Кончилась свадьба. Разбежались, разлетелись, расползлись гости дорогие. Кто как. И началась у наших выхухолей новая жизнь. Совет им да любовь!

Ну, что стоите? Идите уже домой. Не мешайте молодым жизнь устраивать, семья ведь оно дело такое—личное, не для чужих глаз…

Русская тоска

Напала на выхухоля тоска. И так он от неё уворачивался, и эдак. Нет. Вцепилась в горло, не отпускает. Побарахтался выхухоль в речке. Вылез. Отряхнулся. Посмотрел на воду. Тоска зелёная. Посмотрел на небо. То же самое. Куда деваться?

И пошёл тоскливый куда глаза глядят. Подальше ото всего. Шёл, шёл, видит: впереди нет никого. И сзади тоже. И сбоку. Вообще нигде никого нет. А тоска рядом. Никуда не пропадает. Сел на землю и завыл волком, только тоненько так, потому что сам маленький.

Через некоторое время ответный вой послышался. А потом красные волки появились. Немного, правда, штуки три. А следом за ними дзерен приплёлся и ещё козёл безоаровый. Те не выли, потому что блеять умеют. И вот собрались они все вокруг выхухоля, молчат, прислушиваются.

Они молчат, и выхухоль рот закрыл, на них глазеет. А они на него. Смотрели, смотрели, а потом вдруг улыбаться начали. А потом кто-то хихикнул нечаянно. Козёл, наверное. А, может, и волки. Не важно.

Но как только это хихиканье проскользнуло, так вся тоска куда-то и пропала. Потому что всем вдруг стало смешно. И как начали они смеяться, как начали!.. Никак остановиться не могли. Выхухоль вообще на пузико от смеха свалился, лапками перепончатыми дрыгает, глазки прикрыл, ухахатывается весь.

А кто-нибудь из вас видел смеющихся красных волков вперемежку с козлами? Вот это зрелище! И не хочешь—расхохочешься!

Смеялись долго, до слёз, до кашля. Кое-как успокоились. А потом дзерен и спрашивает у выхухоля: «Ты зачем выл? Откуда в тебе тоска-то такая завелась?».

Задумался выхухоль. Помолчал маленько, а потом и говорит так серьёзно и тихо:

— Не знаю я—почему тоска. Но я—русский. Понимаете? И она—тоже. А русские—своих не бросают.

— Не кручинься, брат-выхухоль. Ты теперь не один. И мы тебя не оставим. А тоска пусть себе ждёт, когда мы уйдём. А мы не уйдём, друг, не бросим тебя. Не доставим тоске удовольствия.

И обнялись они все крепко. И рассмеялись опять—громко-громко, от всей души.

Баян

Пошла выхухоль на базар, мужу баян покупать. Он бы, конечно, и сам мог сходить, да стесняется, жену послал. Вот если б дудка понадобилась какая-нибудь или балалайка, ну, гармошка деревенская на худой конец, он бы конечно. А тут—целый баян. Неудобно как-то, лучше жену отправить.

А на базаре-то чего только нет! И гири пудовые, и пряники с повидлом, даже гармошка губная заморская—и та нашлась. А вот баяна-то как раз и нет. Походила выхухоль, походила попусту и обратно к дому пошла. Только к дому подходит: слышит, как муж на баяне играет. Довольный!

Оказывается, пока она по базару мыкалась, к ним же домой прискакал козёл безоаровый

с баяном. Где достал и зачем он ему — козёл и сам не понял толком, говорит, мол, через лопухи к речке пробирался, думал, что репьи к хвосту пристали. Оглянулся: а это баян! Целый! Новенький! Заводской — в масле ещё. Заводские всегда маслом смазывают почему-то.

Набаянились козёл с выхухолем, пока хозяйки дома нет — от души. И с притопом, и с прихлопом. Ещё и поползня косматого к себе позвали. Тот как раз мимо, как бы нечаянно, пролетал. Втроём-то оно по-русски вроде и веселиться привычнее. Тем более, когда тут радость такая — целый баян!

Заходит хозяюшка в дом, а эти трое уже так напрыгались, так начирикались да наблеялись, что и на ногах не стоят. Лежат по лавкам, стонут от счастья-радости баянской.

Огорчилась выхухоль, что без неё это всё прошло, да делать нечего, надо печку топить, мужа кормить. Иначе проснётся голодный и горевать начнёт. Напекла выхухоль оладушек, козла с поползнем подкормила да спровадила из дому потихоньку, и пошла мужа к столу звать: соскучился поди по оладушкам-то…

А баян они на самое почётное место поставили: посреди стола, чтобы если гости нагрянут, то ходить за ним было недалеко. Так он там и прижился.

Пятая сторона света

Сидят выхухоли на крылечке, смотрят, как солнце утром на востоке встаёт. Потом за весь день набегаются по всяким выхухольим делам, а к вечеру опять на крылечко, следят: как солнце на западе исчезает. Весной ещё птицы разные на север летят, курлычут. А по осени они же обратно торопятся — на юга.

Не вытерпела однажды выхухолева жена и спрашивает:

— Ну, хорошо, раз солнце к нам с востока идёт на запад, значит, у нас тут ни востока, ни запада нет. А ежели по птицам судить, то у нас тут ни севера, ни юга тоже нет. Иначе, зачем бы им туда улетать, если то, куда они летят, у нас тут находится? Получается, что от нас можно на все четыре стороны идти, а к нам-то как попасть, а? Мы-то сами где?!

Умная у выхухоля жена, грамотная — жалко только, что ничего не знает. Если б знала, то от неё, наверное, вообще проходу не стало бы. Начали они вместе думать. Ничего не придумывается. Тут мимо пролетал хохлатый старик. Позвали его.

— Признавайся, — говорят, — где мы находимся, если тут ни севера, ни юга, ни запада, ни востока нет? Вот где все мы сейчас? Отвечай!

Заволновался хохлатый старик. Клювом щёлкать начал. На щёлканье авдотка к выхухолям подлетела, а следом лопатень с пискулькой заявились. Думали-гадали — ничего на ум не идёт. Переглядывается птичье племя, крыльями пожимает.

И тут на хохлатого старика звезда упала. Маленькая совсем, но яркая, как искорка. Склевал он её и засиял весь.

— А давайте у медведя спросим, — говорит, — он здесь самый большой, наверное, самый умный.

Позвонили медведю, позвали в гости к выхухолям. Мёда пообещали. Знают, что косолапому надо. Ну, медведь тут же пришёл. За мёдом. А что тянуть-то?

— Где, — говорит, — мой медок? В чём дело? На что ответить надо?

И как только ему всё объяснили, так он рассмеялся на всю ивановскую и говорит:

— В России мы живём, ребятушки! В России! Есть такая — пятая сторона света. Не запад, не восток, не юг, не север, а просто Россия. Кому непонятно? Давайте сюда мой мёд! Можно с чаем…

Голос выхухоля

Народились в семье выхухолей две славные маленькие выхухольки. Мама возле них деньденьской хлопочет: то кормит, то песенки поёт, то подгузники меняет. Одичала совсем. Так она однажды и заявила своему знатному выхухолю.

Хватит, мол, отлынивать от детского воспитания. Посиди, мол, часик с детьми, позанимайся, а я пойду коррекцию когтей делать к ежихе. Ну, и пошла.

Остался папочка один на один с выхухольками. А те спят как раз. Носиками длинными посапывают. Он и обрадовался, на цыпочках к дивану пошёл читать свежую газету «Голос выхухоля». Очень важная газета с проблемами: как дальше жить и до чего мы все докатились. Только зачитался, похрапывать было начал, как в детской грохот раздался. Выхухоль туда бегом. А там… никого. Кроватка на боку лежит. Игрушки разбросаны. Окошко открыто. И только занавески колышутся.

Как прыгнет выхухоль в окно, как помчится сломя голову прямо на речку! Сразу сообразил: куда детки могли направиться. А те уже в бобровую хатку забрались, и давай там свои порядки наводить, безобразничать!

Кое-как собрал выхухоль свою молодую поросль и поволок домой. А выхухольки визжат всю дорогу, из папашиных лапищ всё вырваться норовят. Пока до дома дошёл, одна из двух всё-таки убежала куда-то. Запер он оставшуюся в детской комнате. Окошко на все шпингалеты застегнул да ещё к ручке их привязал. А сам побежал вторую разыскивать.

А тут мама с когтями модными вернулась. Смотрит: дома дитё одно запертое в комнате плачет-надрывается. Другого — и вовсе нигде нет. И папашка исчез куда-то, одна газета на диване от него осталась на самом интересном месте. Ужас!

Выхухоль кое-как ребёнка своего в кустах догнал, запыхался совсем, глазёнки на лбу сошлись, сам думает: ой, что сейчас мне дома будет!

Ну, и было ему дома, конечно, что-то не очень хорошее. Как в воду глядел. С той поры газету «Голос выхухоля» он читает только вслух, громко и бодро и не на диване в гостиной, а в детской комнате. Чтобы не ему одному, а всей семье от газеты хоть какая-то польза была: и жене чтоб нескучно, и дети ума-разума заодно уж набирались.

Выхухоль в отпуске

Пришёл как-то выхухоль с работы и говорит: «Всё! Шабаш! Хватит работать! Пора в отпуск идти! Поехали в Испанию!».

— Ура! — закричали выхухольки. — А почему в Испанию, пап?
— А потому вот и потому, — разволновался отец, — слушайте страшную тайну! Только в далёкой Испании есть у нас с вами хоть и дальние, но всё-таки родственники. Зовут их Дон и Донья Выхухолио Пиренейские. Очень древний род. У всех полно родственников за границей: у зайцев, у белочек, у ёжиков, а вот нам, настоящим выхухолям, только Испания и досталась. Там, в Пиренейских горах, на границе Испании и Франции живут они. Правда, их там очень мало… Короче, поехали!

И полетели выхухоли ближайшим рейсом самолёта завтра же в настоящую Испанию. Дон и Донья Выхухолио Пиренейские встретили их прямо в аэропорту и сразу же увезли к себе в горы.

Вот ведь незадача: народ наш по испаниям ездит, чтобы на пляжах загорать и купаться — Коста Брава, Коста Дорада всякая там, а русским выхухолям для отдыха достались какая-то небольшая горная речка да озерко возле него.

Хозяева оказались ростом помельче наших русских, но очень гостеприимные. Закормили испанскими деликатесами. Выхухольский молодняк вдосталь набегался по горам и нахватался разных красивых слов могучего испанского языка, а папа с мамой всё свои пузики серенькие на солнышке грели и улыбались.

В конце отпуска старший выхухоль даже запел для мамы, как будто опять в России половодье началось. Настоящий выхухоль обычно в половодье только и поёт. А тут, наверное, солнышко повлияло. Правда, пел он, как обычно, на русском выхухольском, поскольку к прочим языкам, несмотря на все усилия, оказался совершенно не способен.

В общем, после отпуска мама сказала, что, наверное, скоро у выхухолек появятся братишки или сестрёнки, или братишки с сестрёнками.

Вот ведь что выхухольское пение с женской душой может сотворить! Представляете? «Эх, вдоль по Питерской!..».

Селёдка

«А, ты здесь?» — мордочку выхухоли мучительно озарила вялая радость. За прилавком магазина перед ней стыдливо стояла японская могера. После того, как её место лучшего друга занял косматый поползень, прошло уже достаточно времени, чтобы простить ей всё и забыть как-нибудь. Но не получилось.

«Чего изволите? Мы вам так рады, так рады!» — прощебетала могера неожиданно для себя и до того неестественно приторно-любезно, что выхухоли тут же захотелось поскорее что-нибудь купить у неё и немедленно уйти подобру-поздорову.

Выхухоль второпях купила какую-то селёдку в вакуумной упаковке и тут же рванула домой к мужу и детям. «Вот и свиделись» — на прощанье подумала она.

На улице назревала лютая весна. По траншее между нависающими сугробами выхухоль скоренько добралась до дома, быстро отварила гречневой каши, вскипятила мужу воду для чая и молока ребятишкам. Разложила на столе ложки, вилки, тарелки и кружки.

«Родимые! Идите-ка ужинать!» — нежно позвала выхухоль своё семейство, которое тут же и набежало со всех сторон к столу.

И что же вы думаете? Селёдка-то оказалась тухлой! Вот она какова, могерушка… Ай-яй-яй! Что ж это делается-то, а?

Выхухоль подколодный

Ходит выхухоль по дому из угла в угол. Ходит. Ворчит. Выглянет в окно:
— А? — спрашивает.
— А! — эхо ему отвечает. И горы выхухолю не те, и реки не туда, и всё, как попало. Да, разве ж можно так жить?

И опять ходит он по дому из угла в угол, и опять хандрит.

А на улице дождик идёт. И невдомёк бедолаге носатому, что дождь на самом деле идёт именно потому, что выхухоль хандрит, а не наоборот. И потому выхухолиха права, что ворчит на него из-за бесконечного дождя, а он-то спроста считает, что рехнулась жена. Ничего подобного. Ныть надо меньше, дождя и не будет. А он из дома ушлёпал, чтоб не слышать упрёков.

Нахохлился, залез под какую-то колоду деревянную и трясётся. А дождь ещё пуще наяривает. Подлетел к колоде косматый поползень. Рядом хохлиться начал.

Прячутся от дождя, ворчат оба. Хохлатый старик их услышал и тоже под колоду полез ворчанию подсобить… Недолго, правда, товарищи выхухолю подсобляли, сомлели под колодой, свернулись калачиками и спят.

Не спит один выхухоль подколодный. Ноет и ноет. Всем надоел. Прибежали выхухолята молодые: «Пап, вылезай! Оладушки дома стынут!»

Умолкла колода. Голод не тётка. Нытьё нытьём, а оладушки ждать не будут, как остынут, так совсем уже не то. Побежал. Припрыгал домой и скорее за стол. Оладушек налопался, в окошко глянул. А там — радуга. И солнышко сияет.

Вот здорово-то как!

На рыбалке

— Соседушко! Айда на рыбалку! Погода замечательная: ночь, тишина, ни ветерка, и на озере никого! — зазывали, заманивали бобры выхухоля. Ну, а что он в доме сидит бестолку? Уж лучше на бережку да, глядишь, и с уловом…
— И-эх! Была не была! Подай, жена, удочку! Пойду, счастья рыбацкого попытаю!

Подала выхухоль удочку мужу, а ребятишки сами за ним увязались. Интересно же! Расселись все: бобры на другом берегу, а выхухоль с выхухольками на этом, на ближнем. У бобров дело сразу на лад пошло: рыбёшек одну за другой таскают из озера. А у выхухоля — ничего. Ни одной поклёвки. Водица ровная, как тёмное стекло, не шелохнётся.

Ребятня копошилась, копошилась, всё ждала чего-то, а потом разом уснула возле папы-выхухоля. Сидит выхухоль с удочкой на бережку, на воду смотрит, печалится и ждёт. Вот уже и к нему сон

подкрадываться начал, и вдруг на воде мелькнуло что-то быстрое, узкое, длинное-длинное, огненное. Возле поплавка. У выхухоля чуть удочка из лапок не выпала: «Золотая рыбка! Не может быть!!! Точно—золотая! Эх, не успел…».

И следом—опять неподалёку на воде—вжик! Ух, здоровенное какое! Это ж не рыбка, а рыбища какая-то золотая! Деду из сказки маленькая попалась, и то проку-то сколько с неё можно было выпросить! А тут такое плавает, тут уж всякого добра можно… ух!

Заволновался выхухоль. Начал прикидывать, что ему у рыбищи по хозяйству надо бы попросить. Уж он-то своего не упустит! Побежал жену будить, чтобы список составляла, пока он золотую рыбищу отлавливает. Та спросонья ничего понять не может, пока объяснил, пока бумагу да карандаш нашли—скорей, скорей!

Прибежал обратно на бережок: а там этих огненных на воде мелькает—полным-полно. Ребятки! Просыпайтесь! Хватайте удочки! Рыбищу золотую ловить будем!!!

Обрадовались выхухольки. Носятся по берегу. Визжат от радости. Балуются. Папа золотую рыбищу ловит! Вот забава-то!

Носился выхухоль с удочкой вдоль берега. Как увидит золотую черту на воде—сразу туда—удочкой трясти. Запыхался весь, взмок. Ноги уже не держат… Не попадается на удочку рыбища золотая! Ну, никак! Ну, никак!!!

Мама-выхухоль возле дома стоит—с бумагой, с карандашом, в очках, улова ждёт. Старался отец, старался, так устал, что сел на травку, бегать уже не может, удочка из лапок выпадывает, сил никаких. Ой-ёй-ёй…

— Соседушко!—кричат бобры,—Не печалуйся, соседушко! Не вешай носа! Голову подними! Смотри в небе звездопад какой! Звёзды-то какие летают! А ты-то их отражения на воде почто поймать пытаешься? Не надо! Лучше любуйся на красу небесную да ребятишкам, да жене покажи! Повезло тебе: не каждую ночь звездопады случаются! Счастливый ты—соседушко!

Задрал выхухоль голову. Смотрит: и правда, чего расстраиваться… Красота-то какая!!!

Счастье

Явились как-то к выхухолям старинные приятели: три красных волка, козёл безоаровый, дзерен и амурский горал:

— Братишка, айда с нами счастья искать!

— Никуда он с вами не пойдёт,—заявила умная выхухоль и выразительно посмотрела на мужа из-под очков.

— Это почему?

— Прежде чем искать, надо знать, где это находится. Хотя бы примерно.

— Бе-е! А мы знаем!—похвастался безоаровый козёл.

— Знаем, знаем!—закивали головами волки.

— И где?—оживилась мама-выхухуль, а из-за двери детской комнаты тут же повысовывались любопытные выхухоличьи мордашки.—Папуля, ты куда?

— Полевой комбинезон одевать. Видишь: тут дело серьёзное. Счастья искать—это вам не семечки щёлкать.

— Дело, видите ли, в том,—продолжил речь козла вежливый дзерен,—что у нас есть старинная тайная карта, на ней точно указано, где закопано наше счастье. Там много. На всех хватит.

— Счастья много не бывает,—жадным голосом произнесла выхухоль,—давайте сюда вашу карту, мы разберёмся. А вы пока…

— Мамуля, не жадничай,—перебил её выхухоль-папа,—за счастьем пойдут все. Так надо. Понимаешь? Так будет лучше для всех. Дети, одевайтесь теплее. Мы все идём за счастьем! Дорогая, в пути нам понадобятся бутерброды и термос с горячим чаем.

Вскоре все выхухоли собрались на лужайке возле дома, где их поджидали добрые и честные друзья—козлы да волки, все шестеро. И они тут же все вместе отправились за счастьем.

Счастье оказалось совсем недалеко: за речкой на пригорке возле кустов смородины. Выхухоли начали рыть землю, а все остальные им помогали, потому что выхухоли—самые лучшие копальщики земли и строители нор во всей округе… Вскоре из-под земли послышался торжествующий, но тихий, вопль всего выхухолиного семейства: «Нашли!». «Тащите скорее!»—запрыгали от радости козлы да волки. Выхухоли вышли наружу…

В лапках папаши-выхухоля сверкал на солнце маленький хрустальный сундучок с золотой надписью «*Счастье*».

— У-ууу! Так мало!—огорчено завыли красные волки. И, правда, сундучок был совсем уж крохотный. Все задумались: что теперь с этим счастьем делать, раз его так мало на всех?

Вздохнул папа выхухоль и говорит:

— Ну, ладно. Раз оно такое маленькое, то давайте не будем его открывать и делить, а пусть оно один день побудет у нас дома, а на другой день у волков, а потом—у козлов. Пусть каждый его возьмёт и подержит у себя. Ведь когда счастье в твоих руках, то да, конечно,—это уже само по себе—замечательно! Но передать счастье своему другу и видеть его счастливым—это же такая великая радость.. А когда ты видишь, как счастлив один твой друг, а потом другой, и третий—и все-все друзья твои счастливы, то это же—*огромное счастье!* Понимаете?

Так они и сделали. Не стали делить счастье, а подарили его—каждому.

Ночной полёт

— Слушай, дорогая, а что ты во сне делаешь?

— Кто? Я? Ничего. Я во сне сплю в кровати. А что? Что во сне можно делать? А ты что—не спишь во сне?

— Нет, я тоже сплю, но тебе снится что-нибудь во сне? Вот, например, я вчера во сне опять летал.

— Ты летал? Я спала в кровати, а ты куда-то летал? И куда, интересно?

— Как «куда»? В небо.

— В какое небо, дорогой? У тебя же крыльев нет и лапки маленькие! И вообще, ты—толстый.

— Не толстый, а упитанный и солидный.

— Прости, ты прав. Да, ты — упитанный и солидный. И никуда ты лететь не можешь, потому что ты выхухоль, а не птица какая-нибудь.

Тут выхухоль обиделся на жену, замолчал и отвернулся. Мама и папа выхухоли стояли на краю зелёной лужайки, по которой с криком, играя в догоняшки, носились маленькие выхухольки… Светило ослепительно яркое и тёплое солнце. По голубому от счастья небу плыли маленькие, как выхухольки, облачка.

— Ну, прости, дорогой. Не дуйся. Летай сколько хочешь, но только во сне! Договорились?

— Как ты не понимаешь! Летать — это же так хорошо!

— Откуда мне знать, если я во сне сплю, как все нормальные замужние выхухоли, а не летаю, как некоторые, непонятно где и с какой целью?!

— Я же тебе уже говорил! Я летаю в небе! И цели у меня нет, потому что это — сон!!! Ну, как тебе объяснить?! Во сне не важно — есть у тебя крылья или нет, толстый ты или тонкий, маленький или большой — не важ-но! Потому что это — сон!

— А-а-а! Поняла. Значит, ты не летаешь. А просто спишь. А потом просыпаешься, завтракаешь и придумываешь разные странные сны, которых я не вижу. И мне обидно, что у тебя есть такие сны, а у меня их нет. А ты всё дразнишься, дразнишься снами… Ы-ы-ы…

Выхухоль расплакалась, так ей стало обидно и жалко себя, несчастную.

— Ну, не плачь. Пожалуйста. Я не хотел.

— Ага! Вот всегда так! Сначала скажет обидное, а потом говорит, что он не хоте-е-ел… Ы-ы-ы…

И тогда выхухоль пообещал жене, что следующей ночью он во сне, прежде чем полететь, обязательно разбудит её, и они полетят вместе.

— А как же дети? — испугалась выхухоль — Вдруг они проснутся среди ночи, увидят, что нас нет, разревутся…

— А мы их тоже в небо возьмём! Полетать! Это же во сне! Там летать не страшно.

На следующее утро хохлатый старик и косматый поползень, случайно встретившись, тут же наперебой стали рассказывать друг другу странный сон, приснившийся каждому из них в отдельности прошлой ночью. Почему странный? Да, потому что оба они во снах своих видели, как по небу пролетала целая стая выхухолей — довольных таких, упитанных, с маленькими крылышками, как у ангелочков. И летали они, и кувыркались в небе, даже, представляете, в догоняшки играли!

Пропажа

— Экий ты выхухоль. И что ж ты такой-то? Почему?

— Да, уж, такой вот я. А что? Хорош?!

— Хоро-ош! Выхухоль он и есть выхухоль! Ни с кем не спутать!

— А на что похож?

— Да на себя самого и похож. Тебе что — этого мало? Повернись бочком. О! Так и стой! Красавец!

— Ты куда? Долго стоять-то? Эх, поползень-поползень — торопыга! Опять куда-то ушмыгнул. Лягу-ка я спать… Нет, не успею. Вот он уже назад летит. С фотоаппаратом почему-то. Ты зачем фотоаппарат приволок? Осторожней с ним, ещё разобьёшь нечаянно.

— Как зачем?! Тебя фотографировать.

— Для чего?

— На память, мало ли что. Спрячешься куда-нибудь. Тебя начнут искать, а фотографии нет. Как тогда искать-то?

— Не собираюсь я прятаться, мне стесняться нечего.

— А вдруг?

— И вдруг не собираюсь. У меня жена, дети, хозяйство. Куда мне от них прятаться-то? Всё равно ведь найдут.

— Ну, что тебе, жалко что ли? Давай я тебя щёлкну. Вот так. И ещё разок. И ещё… Всё. А теперь иди куда хочешь.

— Ладно. Я пошёл… Пока.

— Пока-пока!

И выхухоль куда-то ушёл… Только косматый поползень начал делать фотографии, как навстречу ему идёт мама-выхухоль.

— Привет! Как дела? Ты моего не видел случайно?

— Привет-привет! Видел. Вот этого? — поползень вытащил фотографию. И начал показывать.—Он?!

— А как он попал туда? Он у меня здоровенький!

— Я его специально сфотографировал, чтобы смотрели на фотографию и помнили, каков он — этот выхухоль, который ушёл…

— Как «ушёл»?! Куда «ушёл»??? Вот это новости!

— Не знаю куда. Не сказал. И когда вернётся — тоже не говорил.

— Кошмар. Дай сюда фотографию. У народа поспрашиваю. Детям покажу… А-а-а!!! Помогите! У меня выхухоль пропал!!!!

Внезапно отчаявшаяся выхухоль выхватила у поползня фотографию мужа и убежала. А косматый поползень со своим фотоаппаратом полетел домой, в родное гнездо. Птенчиков пофотографировать: мало ли что? Вдруг тоже пригодится.

Вскоре по всей округе на заборах появились фотографии выхухоля с надписью: «Срочно разыскивается выхухоль! Редкое животное! Занесён в Красную книгу! Живёт только в России!!! Просьба каждому кто его встретит — срочно вернуть домой!».

До самого вечера выхухоль и её дети искали отца, все кусты облазили, все норы проверили, по всем хаткам прошлись. Нигде не нашли.

И только когда вернулись домой, обнаружилось, что выхухоль-папа мирно спит на своём диванчике под свежим номером газеты «Голос выхухоля». Всё это время он находился дома, просто ему некому было об этом сказать.

Так что — не пригодилась фотография.

Вдоль да по речке

Возле выхухолевского дома росла сосна одинокая. Высокая да стройная была. Выбежит, бывало, выхухоль из дому, глянет на сосну: «На месте? Ага, на месте. Ну, значит, всё в порядке. Жить можно».

И дальше живёт. А тут вчера ребятня шушукалась что-то, глазки отворачивала. Поутру выходит выхухоль во двор, смотрит на сосну и ничего понять не может. Вроде, дерево на месте, но что-то не так. Ах, вот оно в чём дело!

Почти на самом верху (уж, не знаю, как получилось) полощется на ветру привязанный к сосновому стволу ужасный пиратский флаг. Чёрный такой, с костями.

Насторожился выхухоль и пошёл маму-выхухолиху звать. Пришла. Смотрит. Лапками всплёскивает, возмущается. «Ух, я этим пиратам сейчас трёпку задам! Ишь, чего удумали! В пираты податься! Ай-яй-яй! Ну-ка, быстренько снимайте флаг!».

Прибежали выхухолята, хнычут «Ну, не надо! Ну, пожалуйста! Это мы так, понарошку… Мы никого грабить не будем, разбойничать не будем, мы хорошие!».

— А чего ж вам, пострелятам, надобно? Зачем вам флаг пиратский?—спрашивает папа-выхухоль строгим голосом.

— Мы путешествовать хотим на кораблике или на плоту хотя бы. Только не успели ещё построить…

Задумался выхухоль, в огород с мамой ушёл шушукаться. А на следующее утро…

— А, ну, просыпайся, народ! Нас ждут великие дела!

Смотрят ребятишки, глазёнки протирают, а в дверях стоит папа, на глазу у него чёрная повязка, к ноге костыль привязан, сам за косяк дверной держится, раскорячился, вот-вот свалится. Обрадовалась ребятня, с кроваток повскакали, визжат.

А у берега плот готовый на волнах качается. Настоящий, выхухолевый. Сели в него всей командой, даже мамулю с собой взяли, хотя она сначала отнекивалась. Ничего, даже самой отчаянной команде повара тоже ведь нужны, а по-морскому—коки. Так мама и стала коком. И поплыла она со всеми вместе вдоль да по речке в дальние страны неведомые… Это же так хорошо, когда все—вместе.

Евтихей

Все выхухоли обожают сказки, особенно сказки про смелых и добрых выхухолей, спасающих мир. Перед сном папа и мама выхухоли обязательно читают эти удивительные волшебные истории сначала ребятишкам, а потом самим себе. У мамы есть своя личная любимая книжка сказок, у папы—своя.

Угомонятся дети, заснут, а взрослые включают ночники и начинают читать. А потом и сами незаметно засыпают…

Мчится выхухоль на коне молодецком прямо на Змея Горыныча, а потом—на Кащея Бессмертного, а потом на серого волка пересаживается и скачет, и скачет куда-то, мечом-кладенцом размахивая. С кем только храбрый выхухоль не сражался—всех побеждал. Одолеет очередного супостата, окинет взором богатырским окрестности, подойдёт к Василисе Прекрасной и Премудрой и говорит: «Ты свободна, прелесть моя! Иди куда хочешь».

А Василиса отвечает ему таким знакомым выхухолевым голоском: «Пошли домой, папулечка, ты—настоящий герой! Только имя своё назови, молодец добрый! И тогда я на всё согласна, даже замуж за тебя пойду!».

Растерялся добрый молодец, слез с коня, сел на пенёк, съел пирожок, думал, думал, а потом и говорит: «Имён у нас, выхухолей, отродясь никто никому не давал, но раз надо, то ладно, так и быть. Только назови меня, краса-девица, сама. На то ты—и Премудрая!»

Сказал и забрался, довольный, на печь, которая по щучьему велению стояла наготове тут же рядом.

Василиса недолго размышляла, на ромашке погадала на выхухоля и говорит: «Будешь Евтихеем! Устраивает?». Выхухоль сразу согласился, стал Евтихеем и даже согласился взять Василису замуж. И только свадьба должна была начаться, как сон кончился.

Проснулся Евтихей, смотрит: а рядом с ним в сказочной фате спит-посапывает его милая славная жена. Загляделся на неё выхухоль, залюбовался. До чего ж она хорошенькая: и хоботок, и пузико, и лапки перепончатые—всё самое лучшее, точь-в-точь Василиса Премудрая да Прекрасная, которая только что приснилась! Родное, своё—оно ведь всегда самое лучшее и есть!

Выхухоль и поползень

Встретилась однажды русская выхухоль с японской могерой и пошли они искать подружек своих: гигантскую бурозубку и малого подковоноса. Идут они, идут по дороге, а навстречу им вместо малого большой подковонос подвернулся. Как подвернулся, так и лежит посреди дороги с подвёрнутой ногой. Лежит, стонет: «Где моя остроухая ночница?! Где моя гигантская вечерница?! Где гигантский мой слепыш?! Ой, друзья-подружки мои! И почто вы меня, подковоносика вашего, покинули? Ой-ёй-ёй! О-хо-хонюшки-и-и!!!».

Удивилась русская выхухоль, обернулась к японской могере и говорит: «Слушай, могерушка, отчего это мир так устроен, что кого положено, того рядом нету, а что подвернулось, то кругом без надобности?».

А могерка японская ничегошеньки не слышит, глазки щурит да носом воздух крутит. А вот почему: чудится ей, будто где-то близко-близко, рядом, ,уже тарбаганом пахнет, да не простым тарбаганом, а самым настоящим монгольским тарбаганищем!

«Сейчас, сейчас»,—бормочет могера да как прыгнет в ночную темноту. Ой, визгу, писку было! Пуха, перьев! Словом не передать… Больше могера не появлялась. Зато выползли из темноты, еле дыша, маньчжурский цокор, жёлтая пеструшка и дзерен с перевязкой: та ещё компания. Большой подковонос сразу куда-то отковылял.

И осталась выхухоль одна против всех, как обычно в таких случаях и остаются.

«Ты кто?!»—завопили дзерен с цокором. А перевязка на всякий случай сзади выхухоли встала. И поняла выхохулюшка, что деваться ей некуда. И подняла она очи к небу и возопила несчастным голосом!

И тут же в небе такой гвалт встречный поднялся! Такой птичий базар начался. Ну, никак за этаким не уследить. Амурский горал и козёл

безоаровый — уж на что молчуны, и то — заблеяли с перепугу. А над головами отчаянной компании колпица кричит, пискулька носится, савка надрывается, авдотка с лопатенем страху нагоняют. Чернозобик с тиркушкой степной, чеграва с пыжиком короткоклювым, с хохотуном черноголовым, со стариком хохлатым, с суторой тростниковой, с говорушкой красноногой такой поднебесный концерт закатили, что сбежали нагловатые выхухолины супостаты. Сбежали, не солоно хлебавши, и тому рады-радёшеньки…

А потом угомонилось всё. Не сразу, правда. И вот открыла русская выхухоль глазоньки испуганные и видит: никого рядом. Пригляделась, как следует. Ан, нет. Есть кто-то. Не спит ещё, хотя уже и светает.

Стоит на тонких ножках своих неподалёку от выхухоли косматый поползень. Стоит, улыбается, клювом тюкает по камешку придорожному. «Слышь, выхухоль, зачем тебе могеры всякие японские? Ты же своя! И я — свой. Давай дружить. Вместе от врагов обороняться будем. У меня родня крепкая, все друг за дружку держатся…».

Согласилась выхухоль русская. И задружили они с той поры. Крепко-крепко. Так что никто больше русскую выхухоль не смел обижать. Только глянут на косматого поползня и тут же молча — в кусты. От греха подальше. Вот ведь что дружба крепкая может сотворить.

Рыжий хомячок

— Ты что делаешь в нашей норке?! Папа! Мама! Идите сюда! Мы с братом тут поймали кого-то! Или он нас поймал! Ещё не знаем!

Примчались с огорода взрослые выхухоли разбираться: ну-ка, кто это тут у нас завёлся?

Ах, ты! Рыжий какой! А пузатенький! А естьпить просит как! Глазёнками стреляет! Сразу видно: стреляный воробей — этот рыжий хомячок! А ну, выкладывай: кто таков? Зачем пробрался?

— Ой, хозяева! Ой, что было! Что было-о-о!

— А что было?

— А бежал я к вам из страшной тайной страны Зайзай! Еле вырвался! Скачут там огромные зайзаи по всему острову и стерегут волшебную гигантскую морковку! Растёт морква на огромном сырень-дереве глубокими тёмными ночами. А вокруг зайзаи: скачут и скачут великие да могучие с косыми глазищами. Сами вперёд несутся, а глазищи назад смотрят, за морковой следят.

— Ну, а ты-то причём?

— А нас, рыжих хомячков, зайзаи поработили, работать заставляют: грядки копать, свежие сырень-дерева сажать. Морква с них гроздьями свисает: уж такая крупная, что страшно рядом стоять. Вот-вот на голову свалится, придавит!

— А где это всё находится? Далеко ли от нас?

— Ох, далеко, ребятки! Тайная страна Зайзай находится за тридевять земель в Диком океане на острове. Я сделал себе маленький хомячий плотик и сбежал оттуда по волнам, пока они спали, не шевелились.

— И куда ж ты путь держишь, рыженький?

— А путь я держу в другую волшебную страну под названием Думдум! Есть такая маленькая Думдум, где живут счастливые хомячки. Спят они на маленьких подушечках-думках. И снятся им разные добрые сказки. Какая сказка им понравится, в такую они и летят на думках своих. Повеселятся, порадуются, а потом назад возвращаются и меняются сказками, чтобы и другим веселья досталось.

— А к нам в нору под домом зачем пожаловал?

— Нечаянно я, честное слово! Заблудился просто, пока в Думдум дорожку искал. Вот поверьте мне, выхухоли дорогие, клянусь великой морквой! Не позвольте умереть маленькому хомячку! Дайте ему подкрепиться хорошенько на дорожку!

Выхухоли гостя незваного помыли, причесали, напоили, накормили, колыбельную ему спели и спать уложили. Мама-выхухоль — добрая хозяйка. Да и ребятне интересно же всё. Спит хомячок в гостевой кроватке, волнуется: то ли жуткие зайзаи за ним гоняются по всему острову, то ли прекрасная страна Думдум на горизонте засияла… Кто знает?

А, может, и напридумывал всё? Рыжий ведь, непростой зверёк…

— Ну, и что если даже напридумывал, — говорит выхухоль-папа маме, — ты глянь на наших детёнышей: глазки горят, ушки торчком, а разговоров-то, разговоров между собой! Думдум, Зайзай, морква… Без выдумки и жить-то не так интересно! Пускай потешатся. На неделе, мамуля, готовь нам харчи в дорогу, пойдём с малышнёй искать чудесную Думдум, а потом хомячков спасать будем от ненасытных зайзаев.

И не мотай головой! Всё равно ведь пойдём, ты же меня знаешь!

Про старые времена

Пристала ребятня к папе-выхухолю: расскажи да расскажи про старые времена. Долго он отнекивался, но когда утащили у него свежий номер любимой газеты «Голос выхухоля», терпеть стало совсем уже невмоготу.

Сдался старый выхухоль Евтихей, покряхтел, погоревал о свежей прессе, созвал детишек и говорит так жалостливо:

— Ребятушки, давайте сразу договоримся: я вам про старые времена расскажу, а вы мне газетку вернёте и подушечку «дум-дум», под которую хорошо спится, достанете. Ага?

А детворе-то что, жалко что ли: тут же головами закивала, мол, всё вернём, принесём, достанем, ты только сказывай скорее про старые времена, не тяни.

Ну, слушайте… Жили в стародавние годы на Руси древние выхухоли. Хотя это они сейчас выглядели бы древними, а тогда очень даже шустрыми были и молодыми.

А вокруг росли дремучие леса, стояли нехоженые болота и текли непуганые реки. Изредка только по дальней кружной дороженьке проскочит на могучем коне Илья Муромец какой-нибудь или Добрыня Никитич, и опять лет на триста время затихает.

А в соседях с нашими прародителями жили тогда разные удивительные существа—славянские духи. Круглый год в лесной чаще прятались, надували щёки и аукали пузатые ауки, а по осени в опавшей листве шуршали маленькие лохматые лесавки. Из кучи опавших листьев возле нашего теперешнего дома на лесавкины голоса отзывался старенький листин. А за непослушными, как вы, ребятишками в сумерках из камышей являлся бабай с большим суровым мешком.

Летом после дождя на солнечных лугах скакали по мокрой траве и распевали песенки луговые—те ещё озорники… А по всему небу, разгоняя последние дождевые облака, летали огромные призрачные существа—облакопрогонники.

В заповедных пущах следил за порядком строгий серьёзный пущевик: чуть заприметит где-нибудь лесной пожар, сразу туда торопится, гасит. А уж шишиг на болотах было—видимо-невидимо! Как начнут квакать отовсюду, так хоть уши затыкай.

В домах же выхухольих селились ласковые цмоки: молочко по ночам пили причмокивая. Ну, и детишек перед сном целовали, конечно…

Так бы и слушали юные выхухольки папины истории про древнюю заповедную славянскую жизнь выхухолей, если бы мама не позвала всех есть только что испечённый пирог с клюквой. Но раз мама позвала, то надо торопиться, тем более, когда от печки такой вкусный дух по всему дому расходится…

—Золотко,—интересуется папа, с аппетитом поедая уже третий кусок пирога,—а откуда у нас клюква-то взялась?

—Как «откуда»? Вы разве не видели, как к нам утром шишига с болота заглядывала? Вот она-то клюковку и принесла, а ещё вам всем, ребятки, и папе тоже—привет передавала, хорошенький такой приветик, симпатичный. Вот, поглядите, послушайте, как ваш привет в шишигиной корзинке под лавкой до сих пор листьями шуршит… Всем слышно? То-то и оно. Ешьте, ешьте пирог. Завтра ещё испеку.

Хароша

Прилетела авдотка в гости к выхухолям, чаем с баранками угостилась, детишек родителям похвалила, чтоб хозяева довольны были, поблагодарила всех и улетела.

А наутро встретилась авдотка с лопатенем, с колпицей да с хохотуном черноголовым и стала им рассказывать, как вчера в гостях побывала. А в конце своего рассказа начала она вдруг жалеть выхухолеву жену:

—А уж жена-то выхухолева—ох, кака хароша! И печёт, и стирает, и гладит, и прибирается по дому: уж така хозяюшка, така справна, така могутна! Одна беда у ней—имени нету. У мужа ейного имя есть—Евтихеем кличут, а у неё, нищастной, нету никакова имени!

Закивал сочувственно головами птичий народ. Да-а-а, жалко бедолажку-выхухоль. Мог бы её муженёк и позаботиться, дать имечко хозяюшке дома своего.

Разнеслась эта история по всем окрестным местам. Дошла она и до Евтихея. Передали ему, что жёнушку его все жалеют. Как же так: без имени жить? Послушал Евтихей, помучался совестью и говорит:

—Знаю, кака хароша ты у меня. Такой и оставайся, миленькая моя. Нарекаю тебя с лёгкого авдоткиного языка Харошей. Пусть теперь все нас с тобой зовут Евтихей и Хароша.

Васильки

—Евтихеюшка! Слышь-ко, у безоарового козла двойня родилась: козлик и козочка! То-то радости родителям! Надо бы сходить, поздравить: приглашение прислали…

—А кто сказал, моя Хароша?

—Авдотка новости на хвосте принесла, а под крылом—приглашение.

—Ой, славно-то как! Раз такое дело—непременно надо идти.

Собрались выхухоли в гости, стали подарок придумывать.

—Давай-ка, Евтихеюшка, подарим козликам безоаровым по букету цветов, наших, русских,—предложила Хароша.

—Точно! Козлику молодому подарим букет синих-пресиних васильков!

—Это хорошо! А вот козочке как? Ведь синее-то дарят мальчикам, а девочкам—розовое.

—Ну, и не беда. Подарим козочке розовые, нет, даже малинового цвета василёчки!

—А разве такие есть?

—Конечно, луговым-то васильком издавна кличут кого? Малиновый цветок…

—Ох, красиво-то как? А ещё маме и папе безоаровым тоже бы по букету надобно.

—И это горе—не беда! Отцу безоаровому вручим букет настоящих русских белых васильков, а мамочке… а мамочке ярко-жёлтые васильки подыщем.

—Батюшки! Неужто и они—тоже василёчки?

—А ты как думала? Конечно…

Ну, что ж: сказано—сделано. Набрали выхухоли васильков разноцветных на целых четыре букета: и жёлтых, и белых, и синих, и малиновых… Младшие выхухольки вручили цветы родителям, а старшие—папа с мамой—наоборот: новорождённым. То-то радости было! Спасибо тебе, василёчек! Спасибо, родной! Вот все говорят, что ты—небесного цвета. А ведь так оно и есть: небо-то в разное время суток—тоже разного цвета бывает.

Синяя тетрадь

«Вот эта синяя тетрадь
С моими детскими стихами».
Ахматова

Размышляя о вечном…

(Литературно-философские сочинения красноярских школьников)

Артём Трофимов, 6 класс

О Кавказе

Говорят, место есть на огромной Земле,
Где горы укрылись в туманистой мгле,
На склонах растёт бирюзовая ель,
А в горной речушке играет форель.
Как стражники грозные, горы стоят,
Камней превысоких могучий отряд,
Где солнце небесное слепит нам глаз,
И край тот зовётся—манящий Кавказ.
Неторопливо траву щиплют мулы,
Теснятся в горах адыгейцев аулы,
Орлы к бесконечным просторам летят,
Кинжалы, как капли, на солнце блестят.
Резвится Чегем, среди скал пробираясь,
Гора, кабардинкой глазам представляясь,
Хиджаб надевает из ткани тумана,
И веет в горах разнотравье дурмана.
А ветер качает на склонах травинки,
И льётся Баксан в быстром ритме лезгинки,
И в снежной папахе Эльбрус двухголовый
Стоит, как джигит, к приключенью готовый.
И там, среди горных заснеженных пик
Журчит водопадом балкарский язык.
И путник с равнин, видом гор окружённый,
Стоит, неземной красотой поражённый.
Недаром я здесь и такое слыхал,
О тайне Кавказа мне старец сказал:
«Когда горы Кавказа сойдутся,
Когда камни начнут говорить,
Вот тогда я Кавказ позабуду,
Вот тогда перестану любить!»
Пускай же всегда чабаны будут петь!
И будет в горах звонко флейта звенеть!
И будет сквозь скалы орёл пролетать,
И песню Кавказа средь гор напевать!

Сотворение мира

Изначально не было ничего, только одна огромная курица. Скучно ей стало, и решила она, чтобы был ещё кто-нибудь, кроме неё.

И снесла курица яйцо. Долго смотрела она на него, то слева зайдёт посмотрит, то справа… Снова скучно ей стало, она взяла да и разбила его клювом.

Раскололось яйцо, растеклось! Из его жидкости сотворились моря, реки и озёра. А из скорлупки появилась суша.

Весело стало курице, выщипала она у себя пух и перья и посадила их в землю. И выросли из них деревья, и зазеленели они. А из самого мелкого пуха получилась трава. И тут поняла курица, что ей предстоит создать новый мир. И начала она копаться в земле. Из глины она слепила всех живых существ. Потом из деревьев выжала сок и сбрызнула им фигурки. И ожили они!

И так обрадовалась курица, что даже засияла от радости, что у неё всё получилось. Сияние это было таким ярким, что стала она солнцем.

До сих пор на солнце можно различить едва заметное оперение, которое люди принимают за солнечные лучи.

Вот почему петухи кричат по утрам—они встречают свою прародительницу.

О счастье и несчастье человека

«Из тварей, которые дышат и ползают в прахе, истинно в целой Вселенной несчастнее нет человека»,—так сказал великий Зевс. Вы, наверное, готовы с ним поспорить! Человек додумался до величайших изобретений, построил огромные города, в конце концов, человеку не надо прятаться от диких зверей и ценой своей жизни добывать себе пищу. Достаточно просто ходить на работу.

Однако, Бог обманывать не станет! С неба-то ему виднее… Человек! Челове-е-е-ек!!! Приглядись внимательнее к своей повседневной жизни! Посмотри со стороны на жизнь на Земле. Всё, что на ней происходит, есть изначальный замысел Бога. Все живые существа, все растения, даже камни—всё, что движется и развивается, есть гениальная, слаженная работа всех составляющих матери Природы. Равновесие гениально! Одна жизнь сменяется другой. Можно сравнить нашу планету с огромным организмом, в котором всё происходит слаженно, и никакая его часть не может быть в обиде на другую.

Но отбился от этого равновесия человек. Пошутить вздумал над своей родиной. Однако мать-Природа не такова, чтобы прощать шалости. Она просто взяла и вывела человека из мирового круга.

Да, умён человек и могуч, но чувствовать человеческие страдания не дано другим живым существам. У них ведь какая цель в жизни? Родиться, есть, пить, продолжить свой род… У животных всё происходит так, как заложили в них поколения предков. Человек же с самого рождения стоит перед выбором: быть таким, как все, или быть не похожим на других. Много часов в своей жизни человек тратит на раздумья, ища в мире самого себя. Он читает мудрые книги, пытается что-то изменить в себе и вокруг. А в результате проклинает себя за то, что совершил.

И чего только не делает человек, чтобы найти счастье! Хочет помочь другим, а получается только хуже. Допустим, ты культурен, образован, правильно говоришь, опрятно выглядишь, а живёшь в мире, устроенном в принципе иначе, пьющем, курящем, матерящемся… В этом мире не любят таких, как ты. Ты выглядишь белым лебедем на грязном, вонючем болоте и, ища в этой грязи себе подобных, только пачкаешь себе крылья. Вот уже, действительно, «горе от ума». В прямом смысле.

А тут ещё ссоры с друзьями, усталость… В такие дни лишь редкая встреча с милым другом может как-то скрасить серую действительность. А если друга неожиданно завлечёт в дурное общество? Кажется, жизнь вдруг теряет все краски, хочется убежать от людей в глухую тайгу, забраться на высокую гору и завыть, как дикий зверь… может, тогда мать Природа простит тебя и впустит в свой круг жизни.

Что же с нами происходит? Непонятно. Откуда все беды? Видно, проклят человек Природой. Однако есть у неё одно удивительное свойство. Если была холодная зима — непременно будет тёплое лето. То же самое с её неразумным сыном, человеком. Ведь как сладка полоса удач после полосы невезения!

Так что, наверное, нельзя сказать, что человек — только несчастен. Моменты печали сменяются моментами радости. И наоборот.

Можно заметить, что человек, оторвавшись от Природы, вырос, зажил самостоятельной жизнью и, в отличие от животных, создал собственный круг жизни, где тоже всё взаимосвязано. Человек изменчив, как погода.

Так счастлив человек всё-таки или нет? Мы сравнили человека с погодой. А насчёт погоды есть старая английская пословица: «Нет плохой погоды, есть плохая одежда».

Одежда служит защитой от холодного ветра и дождя. В восприятии человека любое событие может быть окрашено по-разному. Для кого-то разбитая тарелка — трагедия. А другой скажет — «на счастье!». Кто-то скажет: «Какой ужас! Пошёл дождь!». А другой ему ответит: «Зато, какая свежесть после дождя!».

Два друга, можно сказать, живут в разных мирах. В мире пессимиста небо всегда затянуто тучами, а в мире его друга — всегда ясная погода.

Каков же тогда более или менее обычный, нормальный человек? Наверное, в нём есть что-то от всякой противоположности. Как «инь» и «ян». И для пессимиста иногда сияет солнце, и оптимист иногда грустит.

Ну, а каких из этих противоположных частичек будет больше в твоей душе, — решать тебе.

Анастасия Ясеницкая, 9 класс

На море асфальта я вижу свой берег

Никто никогда не замечал, на что становится похож наш город с течением времени? Ничего странного? Если взобраться на возвышенность и посмотреть на центр, можно заметить, что изо всех щелей, как грибы, растут странные кубикообразные, слащаво глянцевые или кислотные до ряби в глазах сомнительные произведения архитектуры. Исторический центр становится похожим на декорацию к фантастическому фильму. Только нет в этих наспех собранных домиках ни хара́ктерности, ни фактурности, ни даже относительной красоты. Странно выглядят такие здания на сизом берегу Енисея, будто вырезанные фигурными ножничками и приклеенные на панораму города. Кажется, коснись их пальцами — и попадают пустые картонки. И на фоне этих попугайских зданий совершенно выпадают из поля зрения, заталкиваются на задворки старинные деревянные домики Красноярска — тихие голоса прошлого. Они безумно красивы, если кто-то не замечал, хоть и обшарпанные, покрытые облупившейся краской, вросшие по самые окна в землю, объятые зеленью с заднего двора, жмущиеся по обочинам дорог. Этакий островок души среди моря асфальта. Они смотрят на наш бешеный бездушный мир глазами — окнами с цветастыми занавесками и узорными ставнями. И уничтожается такая красота планомерно и безжалостно. Всё в нашей современной жизни должно быть технично и приносить прибыль. Потому эта неповторимая часть Красноярска погибает, отданная на растерзание коммерческим организациям. Наш город — классическая иллюстрация к менталитету народа. Почему, по неизменной русской привычке, мы принимаем всё чужое, в придачу искажённое, совершенно ненужное, отрицая исконное? Нет, я не призываю ходить по улицам в лаптях и пить чай исключительно из самоваров. Я желаю сохранить малую толику того купеческого города, той красоты, которой мы лишены сейчас. Зачем же строить плохую копию псевдобританского Биг-Бена или или что-то отдалённо похожее на европейскую ратушу, если всё это весьма похоже на абсурд и вызывает чувство несоответствия? Почему бы нам хотя бы не сохранить домики старого города? Часть нашей истории и погибающую красоту…

Твоё море

Мне было четыре года, когда мы поехали в Севастополь. Мои самые первые туманные и неясные впечатления детства были связаны с этим местом. Все вокруг казалось мне прянично-волшебным, мир был полон солнечного света и зелени деревьев, всё маленькое и незначительное в моих глазах становилось огромным и безумно важным. В это время я встретилась с тем, что означает слово «море». Помню, как мы с мамой пролезаем через какую-то дырку в заборе на пляж. Впереди песок, песок, песок, а ещё дальше тысячи бликов до самого неба и крохотные двигающиеся точки, купающиеся в этом солнце. Потом я поняла, что это люди.

Палящее солнце. Набережная. Огромные зелёные камни, похожие на чудовищ. Горечь на губах. Мама, папа. Красный чепчик. Теперь всё это возникает в моей голове, когда я слышу слово «море».

Три элегии

Элегия известна с древнейших времён и актуальна по сей день. Своё происхождение она берёт

от френа — полного скорби плача по усопшим. Изначально основным формальным признаком элегии был «элегический дистих», в процессе развития происходило раскрепощение формы. Постепенно элегию стало характеризовать настроение задумчивой грусти, мотивы разочарования, неизбежности судьбы, одиночества, несчастной любви.

На своей родине, в Древней Греции, элегия имела в основном нравственно-политическое содержание. Классическим примером этому можно считать элегию Солона «Благозаконие». Солон, мастер элегического жанра, упрекает свой народ в неблагоразумии и невежестве. Афины в то время раздирала борьба между богатой аттической аристократией, владеющей большей частью плодородных земель, и обнищавшим плебсом. Земледельцы были вынуждены брать в долг у эвпатридов и, не имея возможности расплатиться, попадали в долговую кабалу. Солон взял на себя роль обличителя таких дурных свойств, как себялюбие, корысть, пренебрежение к Закону. Великим Афинам не угрожает гнев богов, говорит он, но граждане, объятые безумием, сами уничтожат свой город:

Им непривычно спесивость обуздывать и, отдаваясь
Мирной усладе пиров, их в тишине проводить, —
Нет, под покровом деяний постыдных они богатеют.
И, не щадя ничего, будь это храмов казна
Или народа добро, предаются, как тати, хищенью, —
Правды священной закон в пренебреженье у них!

Если жители Афин не задумаются, предупреждает Солон, то скоро город настигнет возмездие за их неподобающее поведение:

Но, и молчанье храня, знает Правда, что есть и что было:
Пусть, хоть и поздно, за грех всё-таки взыщет она!
Будет тот час для народа всего неизбежною раной,
К горькому рабству в полон быстро народ попадёт.

«Благозаконие» призывает людей к благоразумию, законопорядку (эвномии), воспевает чувство умеренности, усмиряющее несправедливость и беззаконие. Гармония и умение соблюдать золотую середину — основная гражданская добродетель. Эта элегия — горький упрёк тому времени, беспощадный анализ настоящего и будущего, в ней чувствуется скорбь и беспокойство за свою неразумную родину и её дальнейшую судьбу.

Думаю, именно в этом и состоит сходство элегий Солона и продолжателя его дела, русского поэта Н. А. Некрасова («Пускай нам говорит изменчивая мода…»). Каждая из них пропитана тревогой за родину, причастна общественно-политическим проблемам. Взгляд в них направлен не на внутренний мир человека, а на актуальную политическую и нравственную ситуацию. Элегия по существу — размышление. У Солона и Некрасова это размышление о судьбе народа. Эти поэты, подвизаясь на поприще гражданской поэзии, являются глашатаями народа, общественной совестью. Они призывают к деятельности, бичуют пороки власти. Схожие по основной идее, они различаются по интонации. Размышления Солона резки и обличительны, каждая фраза как бы предполагает восклицательный знак. Элегия Солона — восклицание. Это завершённый вывод, конкретное громкое предупреждение. Плавная речь и отсутствие конкретного вывода отличает элегию Некрасова от строгой определённости и чеканности Солона. Она полна любованием бытом русского народа, переживанием неразделимой с ним природы. Произведение Некрасова — вопрошание, и заканчивается оно нерешённым вопросом, который, думаю, не разрешился и до сих пор:

И лес откликнулся… природа внемлет мне,
Но тот, о ком пою в вечерней тишине,
Кому посвящены мечтания поэта, —
Увы! Не внемлет он и не даёт ответа…

Элегия написана в ответ на критику, обвиняющую Некрасова в том, что непрестанно поднимая гражданские темы и говоря о проблемах народа, поэт исписался и не способен заинтересовать публику:

Пускай нам говорит изменчивая мода,
Что тема старая «страдания народа»
И что поэзия забыть её должна,
Не верьте, юноши, не стареет она.

Отмена крепостного права дала надежду на улучшение положения народа, но привело ли это к реальным изменениям — главная мысль автора, прошедшая красной нитью по всему произведению:

Я видел красный день: в России нет раба!
И слёзы сладкие я пролил в умиленье…
«Довольно ликовать в наивном увлеченье, —
Шепнула Муза мне, — пора идти вперёд:
Народ освобождён, но счастлив ли народ?»

Некрасов — продолжатель дела Солона и других поэтов, открывающих читателям глаза на реальный порядок вещей. Это поэты действительности. Элегия — удобнейший инструмент, помогающий выразить недовольство существующей ситуацией. Некрасов — идеальный пример поэта, не имеющего грани между личными стремлениями, страданиями и общественным долгом. Поэт — служитель народа. Элегия — лирический жанр, раскрывающий внутренние переживания героя. Следовательно, у настоящего поэта нет личного. Народ — его плоть и кровь. Поэт — рупор страданий. Элегия кричит, возмущает, обращает на себя внимание, требуя перемен.

От этих двух элегий стихотворение Бродского «Однажды этот южный городок» кардинально отличается тем, что переживания лирического героя направлены не на судьбу государства или народа, а на внутренний мир человека. Эта элегия аполитична, как, впрочем, и само творчество Бродского. Бродский продолжает дела классиков, использовавших элегию (В. А. Жуковский «Море», элегии А. С. Пушкина) как инструмент передачи глубоко личных переживаний героя, размышлений о смысле бытия, грусти о минувшем. В отличие от политических элегий, рассмотренных выше, элегия Бродского не имеет какой-либо цели. Она не протестует и не возмущается. Она, рефлектируя, прежде всего, разговаривает сама с собой.

В то же время элегия Бродского охватывает более обширную область человеческой мысли. Если в политических элегиях предмет осязаем и конкретен, то в данном произведении поэт касается вопросов глобальных. Лирический герой предаётся грустным размышлениям, анализируя прошлое и настоящее. Течение времени — данность. И остаётся только вспоминать в одиночестве прошлые потери:

На древнем камне я стою один,
Печаль моя не оскверняет древность —
Усугубляет. Видимо, земля
Воистину кругла, раз ты приходишь
Туда, где нету ничего, помимо
Воспоминаний.

Элегия Бродского несёт в себе, в первую очередь, настроение и размышление над вечными вопросами человеческой души. Это не острый социальный вопрос настоящего или осуждение морального облика общества. Это взгляд внутрь, что имеет свою обособленную нишу в литературе.

Каждая из этих трёх элегий будет актуальна до тех пор, пока не изменится человеческая сущность (то есть вечно). Будь то глупость и жадность власть имущих, судьба и неискоренимый национальный характер или меланхолия по поводу неотвратимости бега времени и былых потерь — всё будет находить отклик в сердце читателя, так как проблемы эти вечны, как и творчество поэтов, размышляющих над ними.

Саша Радионова, 6 класс

Читая «Илиаду»

Диомед Неистовый

Почему Диомед, несмотря на то, что нападал на богов, утверждает, что никогда этого не делал? Люди — всего лишь пешки в руках богов, а шахматная доска — целый мир. Диомед, которому Афина затуманила разум, не может ничего вспомнить. Елена подвластна Афродите. Все, все люди находятся под властью богов. Мне кажется, что Диомед послушен богам. Просто, когда он ранил Афродиту и Ареса, гнался за Аполлоном, он не осознавал, что делает. Его разум был как в тумане. Бедный Диомед не знал, что Афина явилась, чтобы использовать его в своих целях, а вовсе не для того, чтобы возвысить или предупредить его.

Ахиллес

Ахиллес — неразумное дитя, которому ещё даже не стригли волос. Это подросток, юноша. Он не слушает старших, а так как своего опыта мало, совершает множество ошибок. Он жаждет власти, и эта жажда порой затмевает его разум. Сбывается пророчество. Ахейцы начинают отступать к своим кораблям. Ахиллес делает вид, что ему это безразлично, но всё же видно, как он волнуется. Он пытается понять себя и не может. Действительно, «Илиада» — мировое произведение, созданное на все века. Ведь Гомер точно описывает душевные бури, перемены настроения и терзания подростка. Всё это присуще и моим современникам! Мир меняется, — не меняются люди. По «Илиаде» можно писать многотомное пособие по психологии.

Агамемнон — военачальник и человек

Силы и стремления к победе ему не занимать. Прекрасный политик и стратег, он всегда знает, когда нужно выступить в бой, как лучше проверить верность своих воинов. Но когда ситуация становится критической, он — на наших глазах — откровенно трусит и даже впадает в отчаянье. Ахейцы отброшены к своим кораблям, которые уже пылают от горящих троянских стрел, — и Агамемнон отправляет послов, чтобы умолять Ахиллеса вернуться к битвам! А ведь совсем недавно он осыпал юного царя мирмидонцев оскорблениями.

Главное качество Агамемнона-человека — властолюбие. Больше всего он уязвлён тем, что Ахиллес предъявляет права на *его* власть. Он всегда боится показаться смешным или не понятым! Боится, что воины его покинут, не подчинятся его воле, отвернутся от него и без него уплывут из Троады. Как и всякого правителя, военачальника, предводителя это мучает его со страшной силой! Жестокий, гордый, властный, но всё-таки… трусливый. Таков Агамемнон.

Жестокость его проявляется в зверских убийствах и издевательствах над противником.

Ныне ж его Агамемнон нагого во прахе оставил
И понёс меж толпами доспех поражённого пышный…

В бою Агамемнон убивает врага с гомерической яростью. И чем больше людей увидит проявление его свирепости — тем лучше ему. По законам «Илиады», Агамемнон наделён силой, но никогда не слушает советов мудрых воинов. Поэтому и совершает множество глупых ошибок. Но Гомер, показывая своего героя не с лучшей стороны, не забывает о его достоинствах. Ведь именно Агамемнон вселяет в ахейских воинов веру в победу и поддерживает в них боевой дух перед новым сражением.

Ася Пузанова, 6 класс

Боги… как люди

Древнегреческие боги будто созданы по подобию людей. Совершенных? Это как посмотреть. Вот они, совершенные боги, взирают на греков с Олимпа…В чём же их совершенство? Во внешности? Конечно, нет… Внешность же не важнее характера. Возьмём хотя бы Гефеста. Он родился таким уродцем, что мать сбросила его с Олимпа. Хотя богини, конечно, ослепляют красотой… Но, может быть, боги совершенны морально? Однако, взгляните только на их поступки! Они помогают тем героям, которым симпатизируют, а прочим приходится терпеть их бесконечную жестокость и коварство. Вспомним, с чего началась Троянская война! С яблока раздора, которое было подброшено на пиршественный стол одной из богинь. Из-за чего? Из-за желания отомстить? Из-за обиды? Вполне человеческие качества! Богини спорят, кто из них прекраснейшая. И что? Каждая хочет быть

первой. Они пытаются подкупить Париса, обещая ему любовь и власть. Тоже вполне по-человечески. Идеализм? Возможно, ведь добрые богини так прекрасны. Но они не знают грани между добром и злом. И подвержены вполне человеческим, мелким чувствам. Боги — как люди.

Мария Вербицкая, 6 класс

Ахиллес в гневе, мщении, страдании и прощении

Ахиллес на протяжении всей «Илиады» проявляет свои эмоции с поистине гомерическим размахом! Душа Ахиллеса переполнена гневом, и, когда юный герой уже не может удержать этот гнев в себе, он выплёскивает его. И гнев этот касается всех, все страдают, все молят о пощаде, но Ахиллес непреклонен. Так гибнут сотни ни в чём не виноватых людей.

Но иногда гнев Ахилла сменяется страданием. И если Ахиллес страдает, то страдания его нестерпимы. Глубоки и невероятно сильны. Он рвёт на себе волосы, громко плачет, осыпает себя землёй. Душа его полна тоски и горя. И в эти минуты желает Ахилл лучше умереть, чем испытывать такую боль, такую тяжесть на душе. Таким мы его видим в минуты горя о погибшем Патрокле.

Но страдания притупляются, когда возвращается гнев. И его сила обращается на виновника страданий. Не отступит месть, пока не погибнет её виновник. И идёт месть кровавыми шагами, пропитанная гневом. Месть стремительна и неумолима. Гибнут люди вокруг, но Ахиллес от задуманного уже не отступит. Ведут его месть и гнев, как коварные боги.

И вот, казалось бы, всё… Убит Гектор. Отомщён Патрокл. Но гнев не уходит. Он настолько силён, что, возможно, уже никогда не утихнет. Гомерический Гнев! Неужели останется он навсегда?

Победить гнев способны только любовь и прощение. Сострадание к старику Приаму, потерявшему сына, слёзы, которые Ахиллес проливает вместе с ним, утоляют и боль, и ярость, и жажду мщения.

Всё в душе Ахиллеса поистине сильно. И страдания, и гнев, невероятно неистовый. И месть, неутолимая, кровавая — таким Ахиллес был, убивая Гектора и глумясь над его телом. И прощение тоже — искреннее и глубокое, благородное, сопровождаемое слезами и любовью.

Гомерическая душа у Пелида! Бывает он неистов, бывает — предельно спокоен. Великая душа!

Денис Терёшкин, 9 класс

Своя жизнь

Жизнь всегда кажется чем-то необычным, чем-то неизвестным. Казалось бы: живёшь на свете не так уж и много, но не так уж и мало. А ничего в жизни не понимаешь. Не понимаешь людей, не понимаешь мир. Смотришь вокруг себя, видишь столько всего прекрасного: ярких красок, красивых вещей. Понимаешь, что у всего есть душа, у всего есть желание жить, жить без смысла, без цели. Просто жить ради жизни.

А потом взгляд попадает на людей. Вечно ищущих смысл бытия, но не умеющих жить по-настоящему. Жизнь — рутина. Каждый день у них начинается с недовольного выключения будильника, первой мысли «хачу спаааать!», душ, кофе, работа в душном офисе, которую они ненавидят всей душой, а затем дом, семья, которая их достала, сон. И каждый день всё, как всегда. Поначалу кажется, что это нормально, потом устаёшь. Но уже поздно, все привыкли так жить. Все одинаково выглядят, одеваются, говорят. Биомасса? Нет. Просто люди, которые привыкли делать всё, как все.

Так и хочется сказать кому-нибудь: «Хей, чувак! посмотри, какое небо! Не торопись на свою дурацкую работу, успеешь, чёрт побери. Просто оглянись вокруг». А тебя посылают туда, куда в приличном обществе не посылают точно. Радостно улыбаешься прохожим на улице, а в ответ слышишь лишь сердитое: «Наркоманы жить не дают». Хотя ведь это тебя так от жизни прёт, а не от чего-то ещё.

И вот, в конце концов, тебе это надоедает. Ты не впадаешь в депрессии, ты всё так же улыбаешься, но не прохожим, сквозь них. Радуешься солнцу, но не серому и обыденному, а своему собственному. Удивляешься людям, но они больше тебя не интересуют. У тебя свой мир, который ты сам себе создал. Плюнул на всё и живёшь в своё удовольствие, немного наивно, немного невзросло. Понимаешь искреннюю радость ребёнка.

А двери в твой мир открыты нараспашку: заходи — не хочу. И люди приходят. Ты им радуешься, но потом понимаешь, что ничего хорошего они в твой мир не внесли, только наоборот — после их прихода пропали серебряные ложечки и сервиз. Зато появилась куча грязи, и твой мир понемногу начал походить на тот, большой и чужой. И тогда дверь запирается на амбарный замок, ты влезаешь в окно и смотришь на всё из него. Ты недолго убираешься, всё вновь блестит, если не считать того, что ты разбросал, создавая творческий беспорядок. И вот становишься улиткой, никогда не выходящей из своего домика и путешествующей вместе с ним.

И жизнь прекрасна! Находишь замечательных людей, но предусмотрительно никого не впускаешь, помня о пропавших столовых приборах и изгвазданном полу. Живёшь, не зная бед, а потом становится как-то скучно и одиноко. Но двери открывать страшно. А потом вдруг поступаешь совсем безрассудно: берёшь и даришь ключ от замка другому человеку. А он открывает его, вытирает ноги перед входом, приносит кадку с маленьким Иггдрасилем, шоколад и запирает дверь снова, чтобы никто больше не входил. И ты об этом не жалеешь. Вдвоём в одном мире всё же веселее.

стр. 15 **Алейников Владимир Дмитриевич**
Москва / Коктебель, 1946 г. р.

Поэт, писатель, переводчик, художник. Основатель и лидер легендарного содружества СМОГ. С 1965 года публиковался на Западе. Более четверти века тексты широко распространялись в самиздате. В восьмидесятых был известен как переводчик поэзии народов СССР. Автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний о былой эпохе и своих современниках. Лауреат премии Андрея Белого. Член ПЕН-клуба.

стр. 235 **Ахадов Эльдар Алихасович**
Красноярск, 1960 г. р.

Родился в Баку. Закончил Ленинградский горный институт. В Красноярске живёт с 1986 года. Член Союза писателей России (с 2000 г.) Лауреат Всероссийского литературного конкурса имени В. М. Шукшина «Светлые души» (2006), обладатель Национальной литературной премии «Серебряное перо Руси» (2007), лауреат Национальной литературной премии «Золотое перо Руси» (2007). Автор 12 изданных книг поэзии и прозы.

стр. 20 **Беликов Юрий Александрович**
Пермь, 1958 г. р.

Окончил Пермский университет (1980). Работал в газетах «Чусовской рабочий» (1980–81), «Молодая гвардия» (1981–92), был членом редколлегии журнала «Юность» (1992–95), собственным корреспондентом газеты «Комсомольская правда» по Пермской области (1995–98) и газеты «Трибуна» (с 1998). Печатается как поэт с 1975. Выпускал газету «Дети стронция» (1989–91). Автор нескольких книг стихов и прозы. Печатался в журналах «Знамя», «Юность», «Огонёк». Член СЖ СССР (1985), Союза российских писателей (1991). Областная премия им. А. Гайдара, Гран-при на первом Всесоюзном фестивале поэтических искусств «Цветущий посох» и звание «Махатма российских поэтов» (Бийск, 1989), премия журнала «Юность» (1991).

стр. 37 **Белодубровский Евгений Борисович**
Санкт-Петербург, 1941 г. р.

Родился в Ленинграде. Библиограф. Краевед. Драматург. Публицист. Литературовед. Преподаватель истории литературы Гуманитарной Академии (СПб). Сотрудник издательства Санкт-Петербургского государственного университета. Выпускник Литературного института им. А. М. Горького (отделение «Критика и публицистика»). Автор публикаций и оригинальных статей в журналах и изданиях «Новый мир», «Звезда», «Нева», «Вопросы Истории», «Русская литература», «Байкал», «Памятники культуры. Новые открытия», «Наука и религия», «Дантовские чтения», «Новый топонимический журнал», «Новый журнал» (США), «Антени», «Пламък», «Весни» (Болгария). «Tolstoy review» (США) и мн. др. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Член Координационного Совета Петербургского Союза Учёных.

стр. 224 **Белозёров Валерий Владимирович**
Ярославская область, 1960 г. р.

Родился в пос. Песочное Рыбинского района Ярославской области. По профессии инженер, по призванию — поэт и бард. Лауреат многих фестивалей авторской песни. Автор сборника стихов «Хмель на меду» (Рыбинск, 2000), диска песен «Юмор и лирика» (Рыбинск-Москва, 2004), стихотворных сценариев для театрализованных представлений, выпущенных книгой «От заскока до заскока» (Рыбинск, 2009). Также сочиняет детские стихи и сказки, к которым пишет музыку Максим Леви и делает иллюстрации Марина Белозёрова.

стр. 135 **Бельченко Наталья Юльевна**
Киев, 1973 г. р.

Родилась в Киеве. Выпускница филологического факультета Киевского национального университета имени Т. Г. Шевченко. Поэт, литературовед, переводчица. Публиковалась в изданиях Украины, России, Германии, Швейцарии, Австрии, Франции, Америки, Польши. В частности в антологии «Освобождённый Улисс» (М.: НЛО, 2004), An anthology of contemporary Russian women poets (Айова, 2005, пер. Роберта Рида), «Die Welt ist aus dem Stoff, der Betrachtung verlangt: Ein Gedichtbuch für Hubert Burda zum 65. Geburtstag» (Мюнхен, 2005, пер. Эльке Эрб). Лауреат литературной премии Хуберта Бурды в 2000 году (Hubert-Burda-Stipendium-2000) и литературной премии имени Николая Ушакова Национального союза писателей Украины (2006). Автор пяти книг стихов.

стр. 133 **Верясова Дарья Евгеньевна**
Москва, 1985 г. р.

Родилась в Норильске. Жила и училась в Красноярске. Работала журналистом. Публикации в журнале «День и ночь», газете «Заполярная правда», альманахе «Новый енисейский литератор», на Интернет-сайте «Точка зрения». Участница двух Форумов молодых писателей России (2006–2007). Автор книги стихов «Гипогликемия» (2008).

стр. 25 **Гарбер Наталья**
Москва

Выпускница МГУ (1990). Специалист по медиаобразованию и культурологии. Слушательница творческих семинаров прозы Е. Ю. Сидорова и беллетристики Т. А. Сотниковой при Высших литературных курсах. Автор поэмы «Джаз для нас», получившей Диплом Литературного Конкурса «Заветному звуку внимая…» Государственного академического Большого симфонического

оркестра имени П. И. Чайковского и Союза писателей России. Публикации прозы и поэзии в журналах «День и ночь», «Кольцо А», «ЛитЭра», «Литературная учёба», «Дорога вместе», «Истина и жизнь», «Чайка» (Бостон, США), «Зарубежные записки» (Дортмунд, ФРГ).

стр. 139 **Горланова Нина Викторовна**
Пермь, 1947 г. р.

Родилась в деревне Верхний Юг Пермской области. Закончила среднюю школу в посёлке Сарс Октябрьского р-на. Выпускница ПГУ (1970). Работала библиотекарем в вечерней школе. Автор 9 книг прозы и более полутора сотен публикаций в журналах и альманахах. Лауреат премий журналов «Урал» (1981), «Октябрь» (1993), «Новый мир» (1996), «Знамя» (2003).

стр. 149 **Грешилов Анатолий Васильевич**
Железногорск

Родился в Белгороде. Работает в проектном институте, заслуженный архитектор России. Автор сборника стихов. Публиковался в коллективном сборнике «Послание во Вселенную», альманахе «Новый Енисейский литератор».

стр. 144 **Дёмкин Андрей**
Санкт-Петербург, 1970 г. р.

Родился в Ленинграде. Выпускник Военно-медицинской академии. Служил на Северном флоте. Специализировался в области психофизиологии. В настоящее время работает в ВМА на должности психолога в научно-исследовательском центре. Имеет 26 научных публикаций, в том числе и по истории живописи.

стр. 168 **Димов Олег Афанасьевич**
Чита, 1951 г. р.

Родился в Шилкинском районе Читинской области. После окончания школы работал в топографической партии, потом был призван в ряды Советской Армии, в Заполярье, трассовым радистом стратегической авиации. Вернувшись на Большую землю, учился в Московском геологоразведочном институте, затем многие годы работал в геологических экспедициях: дробильщиком горных пород, маршрутным рабочим, техником-геологом, геологом, промывальщиком, радиометристом, зимовщиком. В 1986 году окончил Московский литературный институт им. А. М. Горького. Возглавил Читинское отделение Восточно-Сибирского книжного издательства. Член Союза писателей России.

стр. 137 **Елизарова Наталия Михайловна**
Москва

Родилась в г. Кашира Московской области, там же окончила общеобразовательную и музыкальную школу. По первому образованию юрист, в настоящее время — студентка заочного отделения Литературного института им. Горького. Член Союза Писателей г. Москвы с 2006 г.

стр. 204 **Ерёменко Маргарита**
Касли, 1982 г. р.

Родилась в г. Минусинске Красноярского края. С 1989 г. живёт в г. Касли Челябинской области. Публиковалась в журналах «Транзит-Урал», «Урал», «Уральский следопыт», «Берег А», «Новая реальность». Лауреат премии К. Нефедьева (Магнитогорск). Участник поэтического семинара «Северная зона».

стр. 138 **Карапетьян Рустам Анатольевич**
Красноярск, 1972 г. р.

Выпускник психолого-педагогического факультета Красноярского государственного университета. Слушатель семинара Андрея Лазарчука. Публикации в различных коллективных сборниках, в журналах «День и ночь», «Контрабанда», альманахах «Часовенка» и «Новый енисейский литератор», в Интернет-журналах «Точка зрения» и «Пролог». Дипломант альманаха «Новый енисейский литератор» (2007). Лауреат премии Фонда им. В. П. Астафьева (2008). Победитель конкурса «Король поэтов» (Красноярск, 2008).

стр. 128 **Коврижных Виктор Анатольевич**
Кемеровская обл., 1952 г. р.

Родился в селе Старобачаты Кемеровской области. Работал трактористом, водителем, машинистом железнодорожного крана, составителем поездов. В настоящее время служит пожарным-спасателем в противопожарном отряде г. Белово. Автор пяти поэтических книг, ряда публикаций поэзии и прозы в центральных и региональных изданиях, коллективных сборниках, хрестоматиях и антологиях. Лауреат литературных премий журнала «Огни Кузбасса» и областного поэтического конкурса «Образ». Член Союза писателей России.

стр. 13 **Кузнечихин Сергей Данилович**
Красноярск, 1946 г. р.

Родился в посёлке Космынино Костромской обл. в семье служащего. Окончил Калининский политехнический институт. Работал инженером в Свирске Иркутской области, в Красноярске — сторожем. Печатается как поэт с 1977 года. Автор книг стихов «Жёсткий вагон», «Соседи», «С точностью до шага», «Поиски брода», «Неприкаянность». Выпустил книги прозы «Аварийная ситуация», «Омулёвая бочка». Постоянный автор и член редколлегии журнала «День и ночь». Член СП СССР (1991). Награждён медалью «За трудовое отличие» (1981).

стр. 226 **Кутенков Борис**
Москва

В настоящее время — студент Литературного института им. А. М. Горького (семинар поэзии, 4 курс). Работает корреспондентом районной газеты. Стихотворения и статьи публиковались в «Литературной газете», журналах «Наш Современник», «Юность», «Студенческий Меридиан», «День и ночь», газете «Литературная Россия». Участник

9-го Форума молодых писателей в Липках (октябрь 2009). В 2009 г. в издательстве при ЦУНБ им. Некрасова вышел первый персональный сборник «Пазлы расстояний».

стр. 223 **Лазарчук Дина Андреевна**
Санкт-Петербург, 1988 г. р.

Родилась в Красноярске. Училась в Красноярском литературном лицее. Стихи и проза, написанные в детстве, публиковались в сборниках «Пегас ворвался в класс», «По Красноярску на Пегасе», «Девятнадцать» и других. В настоящее время — студентка исторического факультета СПбГУ (кафедра этнографии и антропологии).

стр. 4 **Лукин Евгений Валентинович**
Санкт-Петербург, 1956 г. р.

Поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Публиковался в журналах «Нева», «Аврора», «Литературная учёба», «Северная Аврора» и других. Автор книг «Sol oriens», «Lustgarten, сиречь вертоград царский», романа «По небу полуночи ангел летел», сборника философско-литературных эссе «Пространство русского духа» и других. Член Союза писателей России. Лауреат литературной премии имени Н. В. Гоголя.

стр. 188 **Мамонтов Роман Анатольевич**
Пермь, 1971 г. р.

Поэт, прозаик, эссеист. Закончил строительный факультет Пермского политехнического института. Входил в качестве гитариста в рок-группу «Музыка Народов Нагорья». Финалист всероссийского литературного конкурса памяти Ильи Тюрина. Печатался в альманахах «Илья» (Москва) и «Литературная Пермь», международном журнале поэзии «Дети Ра». Как прозаик дебютировал в «Дне и ночи» с рассказом «Леса достославные». Затем здесь же была опубликована его острая молодёжная повесть о рок-тусовке «Суки-буги-дэнс». Участник движения дикороссов. Член Союза российских писателей с 2004 года.

стр. 205 **Маркова Мария**
Вологда, 1982 г. р.

Родилась в Магаданской области. Студентка филфака Вологодского педагогического университета. Дипломант шестого международного литературного Волошинского конкурса в номинации «Если древняя чаша полна…». Лауреат международной литературной премии «Серебряный стрелец 2009». Публиковалась в «Дружбе народов», «Сибирских огнях», «Литературной газете».

стр. 191 **Москвин Евгений Юрьевич**
Москва, 1985 г. р.

Родился в г. Королёве. Окончил экономический факультет МГУ им. Ломоносова. Пишет романы, рассказы, пьесы. Член Союза писателей России с 2006 года, член Литфонда России. Печатался в «Литературной газете», «Литературной России», журналах «Октябрь», «Нева», «Москва», «Волга», «Сибирские огни», «День и ночь», «Крещатик», «Юность», «Московский вестник», «Аполлинарий», «Уральский следопыт», «Литературная учёба», «Российский колокол», «Дети Ра», «Literarus — литературное слово», «Край городов», в литературных сборниках. Участник 7–9 форумов молодых писателей России. Победитель литературного конкурса «Бекар» за лучшее произведение о музыке в номинации «Проза. Классическая музыка» (2006).

стр. 153 **Найда Григорий Станиславович**
Красноярск, 1961 г. р.

Родился в Махачкале (Дагестан). Жил в Кизляре, где закончил среднюю школу. В середине 80-х переехал в Красноярск. Выпускник Красноярской средней школы милиции МВД СССР. Более десяти лет служил в отделениях уголовного розыска УВД г. Красноярска и Красноярского края. Автор рассказов, опубликованных в журналах «День и ночь», «Енисей», «Чайка» (США), а также сборника очерков «Алюминиевые войны» (ЭКСМО, 2003) и более десятка криминальных романов.

стр. 20 **Нарочницкая Наталья Алексеевна**
Москва, 1948 г. р.

Политический деятель, историк и политолог. Доктор исторических наук. Специалист по США и общим проблемам и тенденциям международных отношений. Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений.

стр. 11 **Никулина Наталья**
Обнинск

Поэтесса, журналист. Пишет для газет «Обнинский вестник», «Обнинск». В последней — ведущая литературной странички «Бумажный кораблик». Публиковалась в местной и областной прессе, на сайте православного журнала «Фома», в литературных журналах «Дети Ра», «Новая Юность».

стр. 129 **Переяслов Николай Владимирович**
Москва, 1954 г. р.

Поэт, критик, прозаик, переводчик стихов национальных поэтов, член Международной Ассоциации писателей и публицистов и Международной Федерации журналистов, секретарь Правления Союза писателей России. Родился в Донбассе, работал шахтёром, геологом в Красноярском крае и Забайкалье, журналистом, директором Самарского областного отделения Литературного фонда России. Окончил заочно Литературный институт им. А. М. Горького. Автор 16 книг стихов, прозы и критики, печатался в газетах и журналах России, Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Башкортостана, США, Китая, Германии, Болгарии, КНДР и других стран. Член редсоветов журналов «Всерусскій Соборъ» (СПб), «Север» (Петрозаводск), «Донбасс» (Донецк), «Роман-журнал XXI век» (Москва), «Десна» (Брянск), «Бийский Вестник» (Бийск), альманаха «День Поэзии»

и других изданий. Лауреат нескольких литературных премий, в том числе Большой литературной премии России. В настоящее время — помощник Мэра Москвы.

стр. 42 **Прасолов Владимир Георгиевич**
Санкт-Петербург, 1956 г. р.

Родился в посёлке Тея Северо-Енисейского района Красноярского края. Служил на Северном флоте в экипаже атомной подводной лодки. В 1977 году поступил в Военный Институт Министерства Обороны, откуда перешёл на юридический факультет Красноярского Государственного Университета. Работал председателем Могочинского районного суда Читинской области, на строительстве дорог по программе «Дороги Нечерноземья».

стр. 3 **Саввиных Марина Олеговна**
Красноярск, 1956 г. р.

Родилась в Красноярске. После окончания Красноярского педагогического института работала в школе учительницей русского языка и литературы, преподавала гуманитарные дисциплины в техникуме железнодорожного транспорта и педагогическом колледже, в котором руководила кафедрой культуры. Автор проекта и директор Красноярского литературного лицея. Член Союза российских писателей с 1994 года. Первый лауреат Фонда В. П. Астафьева. Стихи, проза, публицистика печатались в журналах «Юность», «День и ночь», «Уральский следопыт», «Сибирские Афины», «Москва» и др. Главный редактор журнала «День и ночь».

стр. 7 **Степанов Евгений Викторович**
Москва, 1964 г. р.

Выпускник факультета иностранных языков Тамбовского педагогического института, Университета христианского образования в Женеве и аспирантуры факультета журналистики МГУ. Кандидат филологических наук. Литератор, издатель, культуролог. Читал лекции в университетах России, США и Швейцарии. Генеральный директор издательства и типографии «Вест-Консалтинг». Издатель и главный редактор журналов «Дети Ра», «Футурум АРТ» и др. Член редколлегии журнала «Крещатик». Член Союза журналистов Москвы с 1992 года, член Союза писателей Москвы с 2003 года, член Русского ПЕН-центра с 2006 года. Почётный гражданин штата Кентукки (США). Лауреат Отметины имени Отца русского футуризма Д. Д. Бурлюка. Автор нескольких книг стихов, прозы, вышедших в России и за рубежом, а также культурологических монографий. Награждён орденом и медалью.

стр. 176 **Стрельцов Михаил Михайлович**
Красноярск, 1973 г. р.

Родился в г. Мыски Кемеровской области. Выпускник Кемеровского государственного института искусств и культуры. Автор пяти книг стихов и прозы. Публикации в журналах «Москва», «Огни Кузбасса», «Сибирские Афины», «День и ночь», в коллективных сборниках и альманахах. Член Союза российских писателей. Председатель Правления КРОО «Писатели Сибири». Ответственный секретарь редакции журнала «День и ночь».

стр. 202 **Тарковский Владимир Викторович**
Челябинск, 1986 г. р.

Родился в Челябинске. Публиковался в журналах «Транзит Урал», «Новая Реальность», «Другое Небо», альманахах «11:33», «На глубине», «Город поэтов», лауреат программы «Новые Имена», лауреат фестиваля «Новый Транзит», шорт-листер фестиваля «Глубина». Учится на факультете журналистики в Южноуральском Государственном Университете.

стр. 208 **Чирик Иван Николаевич**
с. Большое Озеро, 1992 г. р.

Родился в пос. Кулаково Мотыгинского района. Выпускник Школы Космонавтики (Железногорск Красноярского края). Пишет с детства. Один из рассказов увидел свет в альманахе «Творчество юных» (Санкт-Петербург). Стипендиат Красноярской краевой именной стипендии им. В. П. Астафьева за достижения в литературном творчестве. В литературном журнале публикуется впервые.

стр. 207 **Чубриков Никита**
Челябинск, 1983 г. р.

Родился в Челябинске. Окончил школу № 1 и Челябинский юридический колледж. Постоянный участник поэтических слэмов (дуэльная система отбора авторов), лауреат II степени фестиваля «Глубина», участник финального конкурса пермского фестиваля «Алибитум», член литературного клуба «Подводная лодка».

стр. 233 **Шимборска Вислава**
Краков, 1923 г. р.

Польская поэтесса; лауреат Нобелевской премии по литературе 1996 года. В 1945–1948 изучала польскую литературу и социологию в Ягеллонском университете, однако его не закончила. Дебютировала в печати стихотворением под названием «Szukamsłowa» («Ищу слово») в марте 1945 в газете «Dziennik Polski». Первый сборник стихотворений «Dlategożyjemy» («Для этого живём») издан в 1952.

стр. 85 **Яковлев Артём Евгеньевич**
Красноярск, 1979 г. р.

Руководитель созданной в 2005 году краевой лаборатории изучения урбанистического фольклора, выпустившей в свет несколько сборников современного городского фольклора Сибири, а также три музыкальных альбома (в т. ч. в 2007 году «Север» — первый русскоязычный альбом, номинировавшийся на премию «World Music Awards»). Автор четырёх книг, неоднократно публиковался в красноярских и сибирских сборниках публицистики и художественной прозы. Автор сценариев восьми художественных фильмов и видеоклипов, выпущенных киностудиями Красноярска, Новосибирска и Минусинска.

Как подписаться?

Журнал выходит шесть раз в год. В отдельных случаях возможен выпуск сдвоенных номеров. Полный комплект журнала за 2010 год стоит 1080 рублей. Возможна подписка на отдельные номера. Стоимость одного номера (252 страницы)—180 рублей. Номера журнала доставляются подписчику по мере выхода в течение срока подписки. Подписка производится по России, странам Ближнего и Дальнего Зарубежья. Издания доставляются по почте.

Чтобы оформить подписку, необходимо заполнить квитанцию и перечислить в любом отделении Сбербанка на территории РФ стоимость заказа на расчётный счёт ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“». Оплату можно произвести наличным расчётом в офисе журнала.

Где купить?

Свежие номера журнала «День и ночь» продаются в магазинах «*Книжный дворик*» по адресам:

в Красноярске:
ул. Железнодорожников, 19
ул. Новосибирская, 48

И в *книжных киосках* по адресам:

в Красноярске:
ул. Тотмина, 8а
ул. Тотмина, 35а
ул. Словцова, 12
Академгородок, стр. 1
ул. Киренского, 13

в Емельяново:
ул. Московская, 179.

По вопросам приобретения журнала обращайтесь по т. 8 (391) 240 10 65, e-mail: disksid@mail.ru

---

Извещение

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“» ИНН 2463042749 КПП 246301001
р/сч № 40702810500600000186 в Красноярском филиале
ОАО «Банк Москвы» кор/сч 30101810900000000967; БИК 040407967

Ф.И.О.: ____________________

Адрес для доставки: ____________________

____

Назначение платежа:	Сумма

Кассир

С условиями приема указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. суммы взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.

____________________ (подпись плательщика) ____________________ (дата платежа)

Извещение

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“» ИНН 2463042749 КПП 246301001
р/сч № 40702810500600000186 в Красноярском филиале
ОАО «Банк Москвы» кор/сч 30101810900000000967; БИК 040407967

Ф.И.О.: ____________________

Адрес для доставки: ____________________

____

Назначение платежа:	Сумма

Кассир

С условиями приема указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. суммы взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.

____________________ (подпись плательщика) ____________________ (дата платежа)